АРКАДИЙ

СТРУГАЦКИЙ

БОРИС

СТРУГАЦКИЙ

Annotation

В девятый том собрания сочинений включены произведения, написанные в период с 1985 по 1990 годы: «Отягощенные Злом, или Сорок лет спустя», «Жиды города Питера, или Невеселые беседы при свечах», и киносценарии.

Том дополняют комментарии Б. Стругацкого к данным произведениям

Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ОДИННАДЦАТИ ТОМАХ
ТОМ ДЕВЯТЫЙ
1985-1990

ОТЯГОЩЕННЫЕ ЗЛОМ, или СОРОК ЛЕТ СПУСТЯ

Из десяти девять не знают отличия тьмы от света, истины от лжи, чести от бесчестья, свободы от рабства. Также не знают и пользы своей.

Трифилий, раскольник

Симон же Петр, имея меч, извлек его, и ударил первосвященнического раба, и отсек ему правое ухо. Имя рабу было Малх.

Евангелие от Иоанна

НЕОБХОДИМЫЕ ПОЯСНЕНИЯ

Две рукописи лежали передо мной, когда я принял окончательное решение писать эту книгу.

Решение мое само по себе никаких объяснений не требует. Сейчас, когда имя Георгия Анатольевича Носова всплыло из небытия, и даже не всплыло, а словно бы взорвалось вдруг, сделавшись в одночасье едва ли не первым в списке носителей идей нашего века; когда вокруг этого имени пошли наворачивать небылицы люди, никогда не говорившие с Учителем и даже никогда не видевшие его; когда некоторые из его учеников принялись суетливо и небескорыстно сооружать некий новейший миф вместо того, чтобы просто рассказать то, что было на самом деле, — сейчас полезность и своевременность моего решения представляются очевидными.

Иное дело — рукописи, составляющие книгу. Они, на мой взгляд, без всякого сомнения требуют определенных пояснений.

Происхождение первой рукописи вполне банально. Это мои заметки, черновики, наброски, кое-какие цитаты, записки, главным образом дневникового характера, для отчет-экзамена по теме «Учитель двадцать первого века». В связи с событиями того страшного лета отчет-экзамен мой так никогда и не был написан и сдан. Конечно, можно только поражаться самонадеянности того восторженного юнца, зеленого выпускника Ташлинского лицея, вообразившего себе, будто он способен вычленить и сформулировать основные принципы работы своего учителя, состыковать их с существующей теорией воспитания и создать таким образом совершенный портрет идеального педагога. Помнится, Георгий Анатольевич отнесся к моему замыслу с определенной долей скептицизма, однако отговаривать меня не стал и, более того, разрешил мне сопровождать его во всех его деловых хождениях, в том числе и за кулисы тогдашней ташлинской жизни.

И самонадеянный юнец ходил за своим учителем, иногда в компании с другими лицеистами (которых учитель отбирал по каким-то одному ему понятным соображениям), иногда же сопровождал учителя один. Он внимательно слушал, запоминал, записывал, делал для себя какие-то выводы, которых я теперь, к сожалению, уже не помню, пламенел какими-то чувствами, которые теперь тоже основательно подзабылись, а вечерами, вернувшись в лицей, с упорством и трудолюбием Нестора заносил на бумагу все, что наиболее поразило его и показалось наиболее важным для

будущей работы.

Я основательно отредактировал эти записи. Кое-что мне пришлось расшифровать и переписать заново. Многое там было застенографировано, зашифровано кодом, который я теперь, конечно же, забыл. Некоторые места вообще оказалось невозможно прочесть. Разумеется, я полностью опустил целые страницы, носящие дневниково-интимный характер, страницы, касающиеся других людей и не касающиеся Георгия Анатольевича.

Теперь, когда я закончил книгу и не намерен более изменять в ней хоть слово, мне бывает грустно при мысли, что я, несомненно, засушил и обескровил забавного, трогательного, иногда жалкого юнца, явственно выглядывавшего ранее из-за строчек со своими мучительными возрастными проблемами, со своим гонором, удивительно сочетавшимся у него с робостью, со своими фантасмагорическими планами, великой жертвенностью и простодушным эгоизмом. В процессе работы я все это элиминировал беспощадно, ибо считал — и считал совершенно справедливо, — что незачем мне выпячивать себя в трагедии моего учителя. Все-таки книга эта прежде всего о нем и только потом уже — обо мне.

Это о первой рукописи.

Происхождение второй рукописи загадочно — столь же загадочно, как и ее содержание. Георгий Анатольевич вручил мне ее вскоре после того, как определилась тема моего отчет-экзамена. Он сказал, что эта рукопись может оказаться полезной для моей работы, во всяком случае, она способна вывести меня из плоскости обыденных размышлений. Этих слов его я тогда не понял, не понимаю я их и сейчас. Видимо, не так-то просто вывести меня из плоскости обыденных размышлений.

Помнится, Георгий Анатольевич рассказал мне, что рукопись эта была несколько лет назад обнаружена при сносе старого здания гостиницы-общежития Степной обсерватории, старейшего научного учреждения нашего региона. Рукопись содержалась в старинной картонной папке для бумаг, завернутой в старинный же полиэтиленовый мешок, схваченный наперекрест двумя тонкими черными резинками. Ни имени автора, ни названия на папке не значилось, были только две большие буквы синими чернилами: О и З.

Первое время я думал, что это цифры «ноль» и «три», и только много лет спустя сообразил сопоставить эти буквы с эпиграфом на внутренней стороне клапана папки: «...у гностиков ДЕМИУРГ — творческое начало, производящее материю, отягощенную злом». И тогда показалось мне, что «ОЗ» — это, скорее всего, аббревиатура: Отягощение Злом или

Отягощенные Злом, — так свою рукопись назвал неведомый автор. (С тем же успехом, впрочем, можно допустить и то, что ОЗ — не буквы, а все-таки цифры. Тогда рукопись называется «ноль — три», а это телефон «Скорой помощи», — и странное название вдруг обретает особый и даже зловещий смысл.)

Формально автором следует считать Сергея Корнеевича Манохина, от имени которого и ведется повествование. С. К. Манохин — личность вполне историческая, астроном, доктор физматнаук, он действительно в конце прошлого века был сотрудником Степной обсерватории, причем довольно долгое время. Более того, понятие «звездных кладбищ», упоминаемое в рукописи, было на самом деле введено им. Он предсказал это редкое и своеобразное явление природы, и, насколько я понял, еще при его жизни оно было обнаружено в наблюдениях. Больше никаких заметных следов в науке он не оставил, во всяком случае, никаких данных подобного рода мне найти не удалось. И уж совсем никаких данных не удалось мне обнаружить о том, что С. К. Манохин когда-либо баловался художественной литературой. Так что вопрос об авторстве «Отягощения Злом» и сейчас остается для меня открытым.

Читатель должен иметь в виду, что в рукописи «ОЗ» элементы гротесковой фантастики затейливо переплетены с совершенно реальными людьми и обстоятельствами. Ни у кого не вызовет сомнения, скажем, что Демиург — фигура совершенно фантастическая (наподобие булгаковского Воланда), но при этом упоминаемый в рукописи Карл Гаврилович Росляков действительно был директором Степной обсерватории, самым первым и самым знаменитым. Что же касается удивительной фигуры Агасфера Лукича, то этого человека я просто видел собственными глазами, причем при обстоятельствах трагических и незабываемых.

Проще всего было бы предположить, что автором рукописи «ОЗ» является сам Георгий Анатольевич. Однако принять это предположение не позволяет мне целый ряд обстоятельств.

Бумага, папка, технология машинописи, орфографические особенности текста — все это совершенно однозначно заставляет датировать рукопись восьмидесятыми годами прошлого века. В крайнем случае — девяностыми годами. То есть получается, что Георгию Анатольевичу, если бы это сочинение писал он, было тогда меньше лет, нежели мне, когда я его читал. Дьявольски маловероятно.

Далее, такая мистификация противоречила бы всему, что я знаю о Георгии Анатольевиче, — никак не укладывается она ни в его характер, ни в его отношение к своим ученикам.

Наконец, само содержание рукописи, выбранный автором герой. Зачем Георгию Анатольевичу понадобилось бы делать своим лирическим героем астронома? Георгий Анатольевич никогда не интересовался естественными науками. Разумеется, он был в курсе новейших представлений физики и той же астрономии, но не более, чем просто культурный, образованный человек. И уж совсем непонятно, зачем ему, при его деликатности, было брать героем астронома, реально существовавшего, да еще работавшего здесь же, в двух шагах от Ташлинска.

Нет, гипотеза эта при всем ее кажущемся правдоподобии не может быть принята за окончательную. А ведь я еще ничего не сказал (и говорить сейчас не намерен) о тех элементах сочинения, которые не объясняются вообще никакими рациональными гипотезами.

Боюсь, все дело в том, что я так и не сумел понять, какую же связь Георгий Анатольевич усматривал между моим отчет-экзаменом и рукописью «ОЗ», на какие именно мысли должна была вывести меня эта рукопись. Вполне допускаю, что, если бы мне удалось нащупать эту связь, если бы удалось мне выйти из плоскости неких представлений, я бы понял больше и в самой рукописи, и в загадке ее происхождения.

Может быть, кто-нибудь из читателей окажется удачливее и, прямо скажем, сообразительнее автора этой книги. Я же в заключение замечу только, что рукопись «ОЗ» помещена мною в книге без каких-либо исправлений и пропусков. Я позволил себе лишь разбить ее на части в примерном соответствии с тем, как сам читал ее в то страшное лето (урывками, по ночам).

Игорь В. Мытарин

ДНЕВНИК. 10 ИЮЛЯ (НОЧЬ НА 11-е)

Только что вернулся из патруля. Левое ухо распухло, как оладья. А было так.

Мы уже попрощались. Иван с Сережкой пошли своей дорогой, а я — своей. И тут у ворот в Парк космонавтов я вижу, как трое «дикобразов» прижали своими мотоциклами двух парнишек, явных фловеров, к запертым воротам и, очевидно, намереваются учинить над ними какое-то хулиганское действие. Я по всем правилам науки издал воинственный клич матмеха и выступил на защиту Флоры, как будто она уже занесена в Красную книгу. Я и глазом моргнуть не успел, как «дикобразы» накидали мне по ушам. Говоря серьезно, все могло бы кончиться вовсе не забавно, если бы не подоспели Ванька с Серегой, услышавшие беспорядок за два квартала. «Дикобразы» моментально оседлали свою технику и были таковы. Но что характерно! Фловеры, за которых я пролил свою благородную кровь, оказались таковы в тот же миг, когда «дикобразы» обратили свое внимание от них на меня. Дерьмо.

А во время патрулирования мы говорили главным образом о «неедяках». Не помню, кто начал этот разговор и почему. Я рассказал ребятам, откуда появилось это слово — они представления об этом не имели.

(ПОЗДНЕЕ ПРИМЕЧАНИЕ. Слово «неедяка» придумал и использовал в одном из своих рассказов писатель середины прошлого века Илья Варшавский. У него «неедяки» — всем довольные жители иной планеты, прогресс коей начался только после того, как пришельцы-земляне напустили на них блох.)

Ваня Дроздов относится к нашим «неедякам» чрезвычайно просто. Для него они делятся на два типа. Первый — люмпены, бродяги, тунеядцы вонючие, хламидомонады, Флора сорная, бесполезная. Второй — философы неумытые, доморощенные, блудословы, диогены бочкотарные, неумехи безрукие, безмозглые и бездарные. Один тип другого стоит, и хорошо было бы первых проперeть с глаз долой куда-нибудь на болота (пусть там хоть медицинских пиявок кормят, что ли), а вторым дать в руки лопаты, чтобы рыли судоходный канал от нашей Ташлицы до Арала. Иван, будучи мастером-брынзоделом, чрезвычайно суров к людям, не имеющим профессии и не желающим ее иметь.

Впрочем, бескомпромиссное отношение его к «неедякам» носит

характер скорее теоретический. У Сережки невеста из семьи «неедяк», и Иван на весь город объявляет с упреком: «Танькин папан? Что ты мне про него болбочешь? Он же человек! А я про нищедухов тебе!» Тогда я рассказываю ему про дядю друга моего Мишеля. И снова: «Слушай, это же совсем другой обрат! Разве я тебе о таких толкую? У него же талант!»

Смех смехом, а в результате всего этого трепа у меня сформулировалась довольно любопытная классификация нынешних «неедяк».

Класс А. «Элита». Доморощенные философы, неудавшиеся художники, графоманы всех мастей, непризнанные изобретатели и так далее. Инвалиды творческого труда. Упорство, чтобы творить, есть. Таланта, чтобы творить, нет, и на этом они сломались. Между прочим, Мишкин дядя тоже, конечно, элита, но совсем в ином роде. Г. А. называет таких людей резонаторами и утверждает, что они — большая редкость. Некий странный взбрык развития цивилизации. Действительно, поскольку цивилизация порождает такое явление, как поэзия, должны, видимо, возникать индивидуумы, приспособленные ТОЛЬКО к тому, чтобы потреблять эту поэзию. Они не способны производить ни материальные, ни духовные блага, они способны только потреблять духовное и резонировать. И вот это их резонирование оказывается чрезвычайно важным для творца, важнейшим элементом обратной связи для того, кто порождает духовное. (Странно, что дегустаторы чая, вина, кофе, сыра — уважаемые профессионалы, а дегустатор, скажем, живописи — не критик, не искусствовед, не болтун по поводу, а именно природный, интуитивный дегустатор — считается у нас тунеядцем. Впрочем, ничего странного здесь нет.)

Класс Б. Назовем их «воспитатели». Всю свою жизнь и все свое время они посвящают воспитанию своих детей и совершенствованию своей семьи вообще. Они почти не участвуют в процессе общественного производства, они замкнуты на свою ячейку, они отдельны. Это раздражает. В том числе и меня. Однако я понимаю осторожность Г. А., когда он отказывается дать однозначную оценку этому явлению. Рискованный эксперимент, говорит он. Если бы это зависело только от меня, я бы, наверное, не разрешил его, говорит он. А теперь нам остается лишь ждать, что из этого получится, говорит он. Очевидно, что получиться может все, что угодно. Пока известны дети «неедяк-воспитателей» и вполне удачные, и не совсем чтобы очень.

Класс В. «Отшельники». Желающие слиться с природой. Руссо, Торо, все такое. «Жизнь в лесу». В этих людях нет ничего нового, они всегда

были, просто сейчас их стало особенно много. Наверное потому, что туристическое оборудование сделалось дешево и общедоступно, в особенности списанное военно-походное снаряжение. Да и консервы для домашних животных распространились и стоят гроши.

И, наконец, класс Г. Г — оно и есть Г. (Зачеркнуто.) Люмпены. Флора. Полное отсутствие видимых талантов, полное равнодушие ко всему. Лень. Безволие. Максимум социальной энтропии. Дно.

Не знаю, куда отнести «дикобразов» с их мотоциклами и садизмом, а также «птеродактилей» с ихними дельтапланами и садизмом же. Какая-то разновидность технизированной Флоры. Полунеедяки, полууголовники.

Получившаяся классификация, я надеюсь, содержательна. Бурлящий энтузиазмом изобретатель вечного двигателя и полурастительный фловер, который от лени готов ходить под себя, — что общего между ними? Отвечаю: чрезвычайно низкие личные потребности. Уровень потребностей у всех «неедяк» настолько низок, что выводит их всех за пределы цивилизации, ибо они не участвуют во всеобщем процессе культивирования, удовлетворения и изобретения потребностей. Чеканная формулировка. Надо будет рассказать Г. А.

Кстати, нынче утром Г. А. вручил мне довольно солидную, музейного вида папку и сказал, что рекомендует ее мне как некую литературу к моему отчет-экзамену. Сто двадцать четыре нумерованные страницы. На обложке цифры: ноль — три. А может быть, буквы — О и З. Судя по всему, чей-то дневник. Какого-нибудь древлянина. Читать нет ни малейшего желания, но, вручая, Г. А. был настолько многозначителен и настойчив, что читать придется. Буду читать каждый вечер перед сном. Страниц по десять.

Ну какое отношение к моему отчет-экзамену могут иметь такие строки: «Дом этот был сдан строителями под ключ поздней осенью — дожди сделались уже ледяными, а время от времени сыпало и снежной крупкой...»?

Ухо болит. Возьми велосипедную цепь. Туго обмотай изолентой в десять-пятнадцать слоев. Образовавшийся предмет хватай за любой конец, а другим бей. По уху.

«We must find a way... to make indifferent and lazy young people sincerely eager and curious — even with chemical stimulants if there is no better way»[1].

По сути, это вопль отчаяния. Но как тут не завопить? Ведь, по сути, мы обязаны чуть ли не любой ценой создать человека с заданными свойствами. У Шкловского почти об этом сказано: «...если бы некто захотел создать условия для появления на Руси Пушкина, ему вряд ли пришло бы в голову выписывать дедушку из Африки».

РУКОПИСЬ «ОЗ» (1–3)

1. Дом этот был сдан строителями под ключ поздней осенью — дожди сделались уже ледяными, а время от времени сыпало и снежной крупкой. Странноват он был и, возможно, даже уникален вычурной своей и неудобоописуемой архитектурой. Был он целиком красного кирпича и тянулся вдоль Балканской улицы более чем на два квартала. Крыша была плоская, словно бы предназначенная для посадки воздушных кораблей будущего, фасад изукрашен провалами и изгибами сложной формы, прямоугольные тоннели висели над высоченными арками, — и для каких же, интересно, целей разрезали фасад узкие, до пятого этажа ниши? Неужто для неимоверно длинных и тощих статуй неких героев или страдальцев прошлого? И зачем понадобилось архитектору воздвигнуть на торцах удивительного дома совершенно крепостные башни, полукруглые и разной высоты?

Леса давно были уже разобраны и увезены, и стекла окон были вымыты и прозрачны, и новенькие двери в подъездах не вызывали никаких нареканий, и чисты были каменные ступени, ведущие к ним, — но все пространство от этих ступеней и до асфальта мостовой представляло собою сплошную грязь вперемешку со строительным мусором. Там можно было увидеть мокрые, частью измочаленные доски со страшными торчащими гвоздями и битые кирпичи, и треснувшие шлакоблоки со ржавой арматурой, и завитые неведомой силою в спирали водопроводные трубы, и забытые всеми секции батарей парового отопления, и какие-то расплющенные ведра, а между одиннадцатым и двенадцатым подъездами пребывал, накренившись, некий гусеничный механизм, и мокрый ветер хлопал его полуоткрытой дверцей.

Дом был сдан под ключ, но жильцов в доме не было и в помине. Пусто было на лестничных пролетах, пусто, темно и тихо, и пахло краской и нежильем, и мертво стыли коробки лифтов, поднятые к самой крыше. Все двери всех подъездов казались плотно и надежно запертыми, да так оно, наверное, и было на самом деле, однако в дом войти было можно. В него входили. И, наверное, выходили тоже. Во всяком случае, на каменных ступеньках тринадцатого подъезда, ведущего в южную торцовую башню, обнаруживались грязные следы. На длинной крашеной ручке парадной двери криминалист без труда обнаружил бы отпечатки пальцев. Пыль на цементном полу вестибюля кое-где свернулась во множественные шарики,

как будто некто, войдя с улицы, энергично отряхнул здесь свою промокшую под дождем шляпу.

И кто-то забыл, или бросил за ненадобностью, или потерял в панике ветхий полураскрытый чемоданчик на лестничной площадке четвертого этажа, и высовывалось из чемоданчика вафельное полотенце сомнительной свежести. А на площадке восьмого этажа, в углу, у двери в квартиру номер пятьсот шестнадцать отсвечивали тускло две стреляные гильзы — то ли опять же потерянные здесь кем-то, а скорее всего, лежащие там, куда выбросило их отсечкой-отражателем. При этом дверь квартиры пятьсот шестнадцать, как и всех почти квартир этого дома, была плотно заперта и не открывалась с тех пор, как покинул эти места бригадир бригады отделочников. Или, скажем, бригадир бригады сантехников.

Открыта же была в этом доме одна-единственная квартира — почему-то без номера, а если считать по логике расположения, то квартира номер пятьсот двадцать семь, — трехкомнатная, по замыслу, квартира на двенадцатом, последнем, этаже южной торцовой башни.

В одной из комнат этой квартиры окно выходило на проспект Труда. Сама комната была оклеена дешевенькими, без претензий, обоями, торчали из середины потолка скрученные электропровода, паркетный пол, хотя и довольно гладкий, все-таки нуждался в циклевке, а в дальнем от окна углу стоял забытый строителями деревянный топчан, густо заляпанный известкой и масляной краской.

В этой комнате разговаривали. Двое.

Один стоял у окна и смотрел вниз, на грязевые пространства под серым моросящим небом. Он был огромного роста, и была на нем черная хламида, совершенно скрывавшая его телосложение. Нижний край ее свободно располагался на полу, а в плечах она круто задиралась вверх и в стороны наподобие кавказской бурки, но так энергично и круто, с таким сумрачным вызовом, что уже не о бурке думалось, — не бывает на свете таких бурок! — а о мощных крыльях, скрытых под черной материей. Впрочем, никаких крыльев, конечно, там у него не могло быть, да, наверное, и не было, просто такая одежда необычайного и непривычного фасона. И не была эта одежда более странна и непривычна, чем сам ее материал с чудящимися на нем муаровыми тенями: ни единой складки не угадывалось на поразительной хламиде, ни единой морщины, так что казалось временами, будто и не одежда это никакая, а мрачное место в пространстве, где ничего нет, даже света.

А на голове стоящего у окна был, несомненно, парик, белый, может быть, даже пудреный, с короткой, едва до плеч косицей, туго заплетенной

черным шнурком.

— Какая тоска! — произнес он словно бы сквозь стиснутые зубы. — Смотришь — и кажется, что все здесь переменилось, а ведь на самом деле — все осталось как и прежде...

Его собеседник отозвался не сразу. Видимо, совсем не боясь испачкаться, он сидел на топчане, скрестив короткие, не достающие до пола ножки, и быстро проглядывал пухлый растрепанный блокнот, то и дело подхватывая и водворяя на место выпадающие странички. Маленький, толстенький, грязноватый человечек неопределенного возраста, в сереньком обтерханном костюмчике: брюки дудочками, спустившиеся носки, тоже серые, и серые же от долгого употребления штиблеты, никогда не знавшие ни щетки, ни гуталина, ни суконки. И серенький скрученный галстук с узлом, как говорят англичане, под правым ухом.

Человечку этому было, наверное, жарко, пухлое лицо его было красно и покрыто мелкими бисеринками пота, влажные белесые волосенки прилипли к черепу, сквозь них просвечивало розовое. Шляпу свою и пальтишко человечек снял, и они неопрятной, насквозь мокрой кучей валялись в уголке вместе с разбухшим обшарпанным портфелем времен первого нэпа. Совершенно обыкновенный человечек, не чета тому, что черной глыбой возвышался перед окном.

— Зато как ВЫ изменились, Гончар! — откликнулся он, наконец. — Положительно, вас невозможно узнать! Да вас и не узнает никто...

Тот, что стоял у окна, хмыкнул. Дрогнула косичка. Колыхнулись крылья черной хламиды.

— Я говорю не об этом, — сказал он. — Вы не понимаете.

Серый человечек словно бы не слышал его. Он все листал да перелистывал свой блокнот. Необыкновенный был этот его блокнот: то один, то другой листочек вдруг озарялся изнутри ясным красным светом, а иногда даже схватывался по краям явственным огненным бордюрчиком, и даже дымок как будто взвивался, а потом фокусы эти мгновенно прекращались, и наступало облегчение, что и на этот раз толстые грязноватые пальцы серого человечка остались целы.

— Вы и не можете понять, — продолжал тот, что стоял у окна. — Все это время вы торчали здесь, и вам здесь все примелькалось... Я же смотрю свежим глазом. И я вижу: какие-то фундаментальные сущности остались неколебимы. Например, им по-прежнему неизвестно, для чего они существуют на свете. Как будто это тайна какая-то за семнадцатью замками!..

— За семью печатями, — поправил серый человечек рассеянно.

— Да. Конечно. За семью печатями... Вот, полюбуйтесь на них: прямиком, через грязь, цепляясь друг за друга, как больные... Да они же пьяны!

— О да, здесь это бывает, — произнес серый человечек, отвлекшись от своего занятия. Он заложил блокнот грязным пальцем и стал смотреть в спину стоявшего у окна, в гладкое черное пространство под косицей. — Последнее время меньше, но все-таки бывает. Вы привыкнете, Гефест, обещаю вам. Не капризничайте. Раньше вы не капризничали!

Тот, что стоял у окна, медленно повернул голову и глянул на серенького собеседника, и собеседник, как всегда, мгновенно вильнул глазами и, подавшись назад, набычился, словно в лицо ему пахнуло раскаленным жаром.

Ибо лик стоявшего у окна был таков, что привыкнуть к нему ни у кого не получалось. Он был аскетически худ, прорезан вдоль щек вертикальными морщинами, словно шрамами по сторонам узкого, как шрам, безгубого рта, искривленного то ли застарелым парезом, то ли жестоким страданием, а может быть, просто глубоким недовольством по поводу общего состояния дел. Еще хуже был цвет этого изможденного лика — зеленоватый, неживой, наводящий, впрочем, на мысль не о тлении, а скорее о яри-медянке, о неопрятных окислах на старой, давно не чищенной бронзе. И нос его, изуродованный какой-то кожной болезнью наподобие волчанки, походил на бракованную бронзовую отливку, кое-как приваренную к лику статуи.

Но всего страшнее были эти глаза под высоким безбровым лбом, огромные и выпуклые, как яблоки, блестящие, черные, испещренные по белкам кровавыми прожилками. Всегда, при всех обстоятельствах горели они одним и тем же выражением — яростного бешеного напора пополам с отвращением. Взгляд этих глаз действовал как жестокий удар, от которого наступает звенящая полуобморочная тишина.

— Это не каприз, — произнес тот, что стоял у окна. — Я и раньше ненавидел пьяных — всех этих пожирателей мухоморов, мака, конопли... Может быть, мне с этого и надо было все тогда начинать, но ведь не хватило бы никакого времени!.. А теперь, я вижу, уже поздно... Вы заметили: вчерашний клиент явился навеселе! Ко мне! Сюда!

— Да им же страшно! — сказал серенький человек с укоризной. — Попытайтесь же понять их, Ткач, они боятся вас!.. Даже я иногда боюсь вас...

— Хорошо, хорошо, мы уже говорили об этом... Все это я уже от вас слышал: человек разумный — это не всегда разумный человек... хомо

сапиенс — это возможность думать, но не всегда способность думать... и так далее. Я не занимаюсь самоутешениями и вам не советую... Вот что: пусть у меня будет здесь помощник. Мне нужен помощник. Молодой, образованный, хорошо воспитанный человек. Мне нужен человек, который может встретить клиента, помочь ему одеть пальто...

— Надеть, — произнес серенький человек очень тихо, но стоявший у окна услышал его.

— Что?

— Надо говорить «надеть пальто».

— А я как сказал?

— Вы сказали «одеть».

— А надо?

— А надо — «надеть».

— Не ощущаю разницы, — высокомерно сказал тот, что стоял у окна.

— И тем не менее она существует.

— Хорошо. Тем более. Я же говорю: мне нужен образованный человек, в совершенстве знающий местный диалект.

— Нынешние молодые люди, Кузнец, плохо знают свой язык.

— И тем не менее мне нужен именно молодой человек. Мне будет неудобно командовать стариком, а я намерен именно командовать.

— Здесь никто ничего не делает даром, — намекнул серый человечек с цинической усмешкой. — Ни старики, ни молодые. Ни воспитанные, ни хамы. Ни образованные, ни игнорамусы... Разве что какой-нибудь восторженный пьяница, да и тот будет все время в ожидании, что ему вот-вот поднесут. Из уважения.

— Ну что ж. Никто не заставит его работать даром... Как вы болтливы, однако. Есть у вас кто-нибудь на примете?

— Вам повезло, Хнум. Есть у меня на примете подходящая особь. Сорок лет, кандидат физико-математических наук, воспитан в такой мере, что даже умеет пользоваться ножом и вилкой, почти не пьет. А что же касается жизненного существа его, воображаемого отдельно от тела...

— Увольте! Увольте меня от ваших гешефтов! Скажите лучше, что он просит. Цена!

— Я в этом плохо разбираюсь, Ильмаринен. Гарантирую, впрочем, что просьба его вас позабавит. Другое дело — сумеете ли вы ее выполнить!

— Даже так?

— Именно так.

— И вы полагаете, что это лежит за пределами моих возможностей?

— А вы по-прежнему полагаете, будто можете все на свете?

Черно-кровавое яблоко глянуло на серенького поверх левого крыла, и человечек вновь отпрянул и потупился.

— Укороти свой поганый язык, раб!

Наступила зловещая тишина, и только через несколько долгих секунд неукрощенный серенький человек пробормотал:

— Ну зачем же так высокопарно, мой Птах? Зовите меня просто: Агасфер Лукич.

— Что еще за вздор, — с отвращением произнес стоявший у окна. — При чем здесь Агасфер?..

2. Действительно, при чем здесь Агасфер? Я специально смотрел: того звали Эспера-Диос (что означает «надейся на бога») и еще его звали Ботадеус (что означает «ударивший бога»). Это был какой-то древний склочный еврей, прославившийся в веках тем, что не позволил несчастному Иисусу из Назарета присесть и отдохнуть у своего порога, — у Агасферова порога, я имею в виду. За это бог, весьма щепетильный в вопросах этики, проклял его проклятьем бессмертия, причем в сочетании с проклятьем безостановочного бродяжничества. «Встань и иди!»

Так вот, начнем с того, что Агасфер Лукич никакой не еврей и даже не похож. Внешне он больше всего напоминает артиста Леонова (Евгения) в роли закоренелого холостяка, полностью лишенного женского ухода и пригляда, — в жизни не видел я таких засаленных пиджаков и таких заношенных сорочек. Далее, Агасфер Лукич, конечно, дьявольски непоседлив и подвижен (на то он и страховой агент, волка ноги кормят), однако спит он как все нормальные люди (плюс еще часок после обеда), и никакие мистические голоса не командуют ему, едва он заведет глаза: «Встань и иди!»

Я познакомился с ним в конце лета, когда, вернувшись с того злосчастного симпозиума в Ленинграде, обнаружил, что в номер ко мне подселили за время моего отсутствия некоего деятеля, совершенно постороннего и к обсерватории отношения не имеющего. Негодование мое, наложившееся на все те неприятности, которые я услышал в Ленинграде, выбило меня из обычной колеи до такой степени, что я унизился до скандала. Я накричал на дежурную, ни в чем, разумеется, не повинную. Я сцепился по телефону с Суслопариным, обвинил его в коррупции и швырнул на полуслове трубку. Я бы и Карла моего Гаврилыча не пощадил, конечно, уж я бы объяснил ему, что быть директором обсерватории означает в первую очередь обеспечивать комфортные условия жизни для наблюдателей, — да, по счастью, оказался он в то время в Москве, в

Академии наук. Я со стыдом вспоминаю сейчас тогдашнее свое поведение. Но уж очень это достало меня тогда: вхожу в номер — в свой, законный, раз и навсегда за мною закрепленный, — и вижу на столе своем чьи-то безобразного вида носки, небрежно брошенные поверх моей рукописи...

Впрочем, как это часто случается в жизни, все оказалось вовсе не так уж страшно и беспросветно.

Агасфер Лукич проявил себя как человек чрезвычайно легкий и приятный в общении. Он был абсолютно безобиден, он ни на что не претендовал и со всем был согласен. Он тут же постирал свои носки. Он тут же угостил меня красной икрой из баночки. Он знал неимоверное количество безукоризненно свежих и притом смешных анекдотов. Его истории из жизни никогда не оказывались скучными. И он умудрялся совсем не занимать места. Он был — и в то же время как будто и отсутствовал, он появлялся в поле моего внимания только тогда, когда я был не прочь его заметить. Он был на подхвате, так бы я выразился. Он всегда был на подхвате.

Но при всем при том было в нем кое-что, мягко выражаясь, загадочное. Он-то сам очень стремился не оставлять по себе впечатления загадочного, и, как правило, это ему превосходно удавалось: комический серенький человечек, отменно обходительный и совершенно безобидный. Но нет-нет, а мелькало вдруг в нем или рядом с ним что-то неуловимо странное, настораживающее что-то, загадочное и даже, черт побери, пугающее. Например, эта поразительная его записная книжка... или манера класть на ночь свое искусственное ухо в какой-то алхимический сосуд... или другая манера — бормотать что-то неразборчивое в отключенный телефон... но это ладно, это потом. И я уже не говорю про портфель его!

Первое, что удивляло, это — за какие такие невероятные заслуги ничтожного страхового агента подселяют ко мне, к без пяти минут доктору, к человеку, прославившему эту обсерваторию... Да разве в науке здесь дело, — что нашему Суслопарину до науки? Ко мне, к личному другу директора, — подселяют серенького страхагента! Милостивые государи мои! Наш заместитель по общим вопросам товарищ Суслопарин К. И. никогда и ничего не делает зря и ничего и никому не делает даром. Видимо, какую-то огромную, мало кому известную пользу можно, оказывается, извлечь из системы государственного страхования, и мы с вами, простые смертные, чего-то здесь недопонимаем, и недополучаем мы чего-то весьма значительного, опрометчиво проходя мимо заглядывающего нам в глаза скромного человека, жаждущего всучить нам договор из трех рублей в год... Загадка эта была сформулирована мною в первый же день знакомства

с Агасфером Лукичом, но при прочих моих заботах и неприятностях того времени оставила меня в общем и целом равнодушным. Какое, в конце концов, мне дело до хитрых махинаций товарища Суслопарина?

Удивляло, конечно, почему он Агасфер. Хотелось все время спросить: при чем тут Агасфер? Что это за Лука такой нашелся, что назвал родного сына Агасфером? (Или, может, не родного все-таки? Тогда не так жалко, но все равно непонятно...) Да ведь не станешь же спрашивать малознакомого человека, откуда у него такое имя, а на обличический вопрос о родителях Агасфер Лукич ответил мне: «О, мои родители — они были так давно...» — и тут же перевел разговор на другую тему.

Удивляла популярность Агасфера Лукича в Ташлинске. Когда я уезжал в Ленинград, никто здесь о нем и слыхом не слыхивал, а теперь, спустя всего две недели, не было, казалось, ни одного человека ни в обсерватории, ни даже в городе, чтобы в Агасфере Лукиче не был заинтересован. Даже совсем незнакомые мне люди останавливали меня на улице (в магазине, на терренкуре, на автобусной остановке), чтобы справиться, как идут дела у Агасфера Лукича, и передать ему самые благие пожелания. Хуже того: после вороватых озираний по сторонам сообщалось что-нибудь вроде того, что договор-де можно бы и подписать, но только сумму страховки неплохо бы было удвоить. И странное дело! Когда я об этом Агасферу Лукичу сообщал, он всегда мгновенно понимал, о ком именно идет речь, словно заранее ждал эти приветы и эти предложения, и тут же из недр затерханного пиджачка появлялась знаменитая его записная книжка, и вываливающиеся страницы принимались порхать в его пальцах с такой скоростью, что казалось, будто они вот-вот загорятся от трения о воздух. И загорались ведь, я видел это собственными глазами, и не раз: загорались, горели и не сгорали...

Воистину, Агасфер Лукич, говорил я ему с опаской, воистину страховое дело в наши дни требует от своих адептов способностей вполне необычайных. На что он обычно отвечал мне со странным своим смешком: «А как же, батенька. Конкуренция! Нынешний страховой агент — это, знаете ли, человек высоко и широко образованный, это, батенька, дипломированный инженер или кандидат наук! Изощренность потребна, батенька, одной науки мало, надобно еще и искусство, а иначе того и гляди перехватят клиента, чихнуть со вкусом не успеешь!»

Наукой здесь и не пахло. Пахло мистикой. Преисподней здесь пахло, государи мои! Эта мысль приходила на ум всякому, кто хоть раз видел в действии портфель Агасфера Лукича. Портфель этот был таков, что с первого взгляда не производил какого-нибудь особенного впечатления:

очень большой, очень старый портфель, битком набитый папками и какими-то бланками. Обычно он мирно стоял где-нибудь под рукой своего владельца и вел себя вполне добропорядочно, но только до тех пор, пока Агасферу Лукичу не подступала надобность что-нибудь в него поместить. То есть, когда Агасфер Лукич что-нибудь из этого портфеля доставал, портфель реагировал на это, как любой другой битком набитый портфель: он сыто изрыгал из недр своих лишние папки, рассыпал какие-то конверты, исписанные листы бумаги, какие-то диаграммы и графики, подсовывал в шарящую руку ненужное и прятал искомое. Однако же когда портфель открывали, чтобы втиснуть в него что-нибудь еще (будь то деловая бумага или целлофановый пакет с завтраком), вот тут можно было ожидать чего угодно: фонтанчика ледяной воды, клубов вонючего дыма, языка пламени какого-нибудь и даже небольшой молнии с громом. По моим наблюдениям, Агасфер Лукич и сам несколько остерегался своего портфеля в такие минуты.

Это о портфеле.

А теперь о телефоне. Агасферу Лукичу звонили довольно часто, и тогда он брал трубку, выслушивал и отвечал что-нибудь краткое, например, «Согласен» или, наоборот, «Не пойдет», а иногда даже просто «Угу», и сразу клал трубку, а если ловил при этом мой взгляд, то немедленно прижимал к груди короткопалую грязноватую лапку и безмолвно приносил извинения.

По своему же почину он прибегал к телефону редко, и выглядели такие его акции дешевым аттракциончиком. Извинительно улыбаясь, он выдергивал телефонную вилку из розетки, уносил освободившийся аппарат в свой угол и там, снявши трубку и отгораживаясь от меня плечом, принимался дудеть в нее что-то малоразборчивое, так что я схватывал только отдельные слова, иностранные какие-то слова, а может, и не просто слова, а имена собственные, очень меня в те времена интриговавшие. Откровенно говоря, все это было не столько даже странно, сколько смешно. Меня разбирало, я хохотал, несмотря на владевшее мною тогда дурное настроение. Я полагал, что он меня таким образом развлекает, этот серенький потешный клоун, но однажды я случайно проснулся в необычную для меня рань и стал свидетелем того, как он разыгрывает эту свою телефонную пантомиму, полагая меня спящим. И оказалось тогда, что ничего смешного во всем этом нет. Страшно это было, до обморока страшно, а вовсе не смешно...

Я сижу сейчас на заляпанном известкой топчане в пустой комнате, оклеенной дешевенькими обоями, совершенно один, жду и трусливо

посматриваю на дверь в Кабинет, и дверь эта, как всегда, распахнута настежь, а за нею, как всегда, космический мрак, и, как всегда, неохотно разгораются там и сразу же гаснут белесые огни.

Я пишу все это, потому что не знаю иного способа передать свое знание еще хоть кому-нибудь, пишу плохо, «темно и вяло», пишу сумбурно, ибо многое спуталось в моей бедной памяти, пораженной увиденным. Я раздавлен, унижен, растерян и потерян.

У нас есть чувство глубокого удовлетворения, есть чувство законного негодования, а вот с чувством собственного достоинства у нас давно уже напряженка. Поэтому, когда наш немудрящий опыт и наша многоопытная мудрость, столь же глубокая, как глубокая тарелка для супа, сталкиваются даже не с жутковатым Агасфером Лукичом или с его вполне жутким партнером (хозяином? творцом?), а просто хотя бы и с отпетым хамом или образцово-показательным подлецом, — мы, как правило, теряемся. Нам бы опереться тут на чувство собственного достоинства, раз уж недостает мудрости или хотя бы жизненного опыта, но собственного достоинства у нас нет, и мы становимся циничными, небрежными и грубо-ироничными. Так что пусть никто не удивляется тому ерническому тону, в котором пишу я обо всех этих моих обстоятельствах. Ничего забавного и занимательного в них нет. На самом деле мне страшно. И всегда было страшно. Я уж не помню, с какого момента. По-моему, с самого начала...

3. Приемная наша более всего напоминает мебельный склад. Югославский гарнитур «Архитектор» из тридцати семи предметов чудом втиснут на площадь в 18,58 квадратных метров. Здесь есть два трельяжа, чудовищная, невообразимая, необозримая кровать, на которой лежат двенадцать полумягких стульев, а могло бы валяться двенадцать десантников со своими девками. Имеют место и какие-то застекленные шкафы неизвестного назначения, и микроскопическая книжная стенка, уставленная муляжами книг, выполненными весьма реалистично. (Помнится, увидевши впервые золотыми буквами на корешках: Р. Киплинг, Петроний Арбитр, Эдгар Райс Берроуз, — я среагировал мгновенно и непроизвольно: «Все! Это я сопру, и будь что будет!» И каково же было разочарование мое, когда, выдернув вожделенный томик, обнаружил я в руках своих пустую картонную обложку, и вынырнувший у меня из-под локтя Агасфер Лукич произнес сочувственно: «Декорация, Сережа. Всего лишь декорация». Впрочем, со временем обнаружились у нас в квартире и настоящие книги, множество книг. Однако все это были словари да энциклопедии, только словари, справочники, руководства и энциклопедии:

«Словарь атеиста», «Техническая энциклопедия», «Медицинский справочник для фельдшеров», «Краткий словарь по эстетике», «Мифологический словарь», «Дипломатический церемониал и протокол», «Справочник по экспертизе филателистических материалов», «Словарь ветров»... Видимо, подразумевалось, что я должен стать эрудитом. И я попытался им стать. Без особого, впрочем, успеха.)

Есть в Приемной два кресла лоснящейся коричневой кожи, одно для посетителей, а другое — непонятно для кого, ибо из самой середины его сиденья совершенно открыто и нагло торчит длинный стальной шип сантиметров двадцати, да такой острый, что озноб пробирает по коже за того беднягу, которому предназначено устроиться на нем.

Кроме этого шипа, есть в Приемной и другие предметы, не входящие в югославский гарнитур. Очень большие и разношенные полосатые тапочки выглядывают из-под кровати. В самом дальнем углу, куда я так до сих пор и не сумел добраться, торчком стоят толстые рулоны — то ли географических карт, то ли линолеума, то ли ковров, а быть может, и просто бумаги. Рядом с рулонами, загораживая половину окна, висит картина на античный сюжет: Сусанна и сладострастные старцы. Старцы там как старцы, и Сусанна, в общем-то, как Сусанна, но почему-то с большим пенисом, изображенным во всех анатомических подробностях. Рядом с этими подробностями морщинистые физиономии и масленые глазки старцев, и даже их рдеющие плеши приобретают совершенно особенное, не поддающееся описанию выражение.

И великое множество телевизоров. Число их и модели все время кем-то меняются, но никогда их не бывает меньше четырех. Включать и выключать их я не умею, они включаются и выключаются сами собой. И сами собой они наводятся на резкость, и сами собой устанавливают контрастность, и сами выбирают себе программу, и, надо сказать, странноватые, как правило, оказываются у них программы. Помню, однажды вдруг пошла передача из прозекторской. Точнее, художественный фильм из жизни патологоанатомов. Изумительное изображение, пиршество красок, показалось, даже запахами потянуло. Клиента, застигнутого этой передачей, мне пришлось спешно выволакивать в санузел, и все-таки он заблевал мне часть Приемной и весь коридор. (Помнится, он был начфином Н-ского стройбата и пришел выпрашивать для нашего советского рубля статуса свободно конвертируемой валюты.) Или, помнится, однажды «Джейвиси» битых полтора часа передавал в черно-белом варианте практические уроки, как восстанавливать и затачивать иголки для примуса. Это надо же, оказывается, и такие иголки еще существуют...

Телефоны. Их всегда три. Один стоит на моем столике — роскошный, с кнопочным управлением, с запоминающим устройством на двести пятьдесят шесть номеров, с маленьким встроенным экраном и с дисководом для гибких дисков. Он не работает. Второй телефон присобачен к филенке двери позади моего рабочего места. Это обыкновенный таксофон, можно бросить монетку и позвонить родным и близким, у кого они есть. Можно не звонить. Иногда он разражается отвратительными квакающими звуками. Я снимаю трубку, и Демиург говорит мне что-нибудь, не предназначенное для ушей клиента. Как правило, это распоряжения из ресторанно-отельного репертуара. «Такому-то на обед полпорции селянки, да погорячее». Или: «Постельное белье в номерах опять сырое. Проследите». Или даже: «Сергей Корнеевич, не в службу, а в дружбу. Башка трещит, сил нет. У вас там, кажется, был пенталгин...» Тогда я извиняюсь перед клиентом и бегу отрабатывать свой хлеб. Смысла или хотя бы простой логики во всем этом я уже давно не ищу... Что же касается третьего телефона, то это золотой предмет в стиле ретро, в сумраке он светится, и толку от него никакого, потому что стоит он на шкафу, перед которым расположено трюмо, перед которым, в свою очередь, стоят друг на друге две полированные тумбочки для постельного белья. Иногда этот золоченый мегатерий звонит. Звон у него нежный, мелодичный, он радует слух. Так что толку от него все же больше, чем от Сусанны.

Каждое утро я ползаю, карабкаюсь, протискиваюсь среди всего этого добра с пылесосом. Пылесос у нас замечательный. Собранную пыль он прессует в брикеты. Брикеты я сдаю под расписку Агасферу Лукичу, он составляет акт о списании и бросает эти брикеты в свой портфель. Расписку и акт я обязан вручать лично Демиургу. Совершенно не могу понять, откуда в Приемной набирается столько пыли. Ей-богу, каждые сутки граммов на двести брикетов...

Особенная пылища собирается почему-то в платяном шкафу. Есть в Приемной такой, вполне доступный, и в нем полно одежды. На все возрасты и на все вкусы. Там можно найти мужской костюм-тройку, совершенно новый, ни разу не надеванный. А рядом будет висеть мятый плащ-болонья с рукавом, испачканным уличной засохшей грязью, и в кармане плаща найдется смятая пачка «Примы» с единственной, да и то лопнувшей сигаретой. В шкафу можно обнаружить и школьную форменную курточку с заштопанными локтями, и великолепное мохнатое пальто с плеча какого-то современного барина, и полный кожаный женский костюм с отпечатками решетчатой садовой скамейки на заду и на спине, и целый кочан разноцветных мужских сорочек, нацепленных на одну

распялку... А внизу, в слое старой и новой разрозненной обуви, я нашел вчера табель ученика пятого «А» класса 328-й школы Манохина Сергея с оценками за первую четверть 1948 года, с двойкой по истории и с двумя тройками — по рисованию и по физкультуре...

4. Вечером первого, как сейчас помню, августа (дело было еще в Ташлинске) меня остановил на терренкуре наш шофер Гриня. Отведя меня в сторонку, он...

ДНЕВНИК. 12 ИЮЛЯ

...Это примерно в пятнадцати километрах от города.

На десятом километре северо-восточного шоссе надо свернуть налево на грунтовую дорогу. Дорога петляет между холмами и все время идет почти параллельно Ташлице, которая протекает здесь между высокими обрывистыми берегами белой и красной глины. Холмы округлые, выгоревшие, покрыты короткой жесткой колючей травкой. Пыль за машиной поднимается до самого неба. Километра через два после поворота слева от дороги открывается вид на древний скотомогильник. Огромная страшная гора лошадиных, бараньих, коровьих черепов, хребтов, лопаток, ребер, кости эти белые, как пыль, глазницы черные. Впечатляет. Г. А. говорит, что этому скотомогильнику лет сто, а может быть, и двести.

От скотомогильника по спидометру ровно три километра — и попадаешь в райский уголок. Это распадок между холмами, большие деревья, тень, прохлада, мягкая зеленая трава, кое-где выше пояса. Ташлица делает здесь излучину и разливается, образуя заводь. Гладкая черная вода, листья кувшинок, заросли камыша, синие стрекозы. Парадиз. Потерянный и возвращенный рай.

Впрочем, вид стойбища Флоры основательно портит это впечатление. Похоже, они раздобыли где-то оболочку старого аэростата и набросили ее на верхушки молодых деревьев и высокого кустарника, так что получилось нечто вроде огромного неряшливого шатра неопределенного грязного цвета с потеками. Видимо, под этим шатром они всей толпой спасаются от дождей. Трава вокруг вытоптана и стала желтая. Неописуемое количество мятых бумажек, оберток, рваных полиэтиленовых пакетов, окурков и пустых консервных банок и бутылок. Запахи. Мухи. Множество черных выгорелых пятен — кострища. Тошнит на это глядеть, честное слово.

Между кустами натянуты веревки. На веревках сушится тряпье: майки, юбки, пятнистые комбинезоны, подозрительные какие-то подштанники... На других веревках вялится рыба. Оказывается, в Ташлице довольно много рыбы, кто бы мог подумать! Несколько костров дымится, булькают закопченные котелки над огнем. Сорок тысяч лет до новой эры. А в отдалении, сцепившись рогами, теснится целое стадо мотоциклов.

Фловеры нашим прибытием заинтересовались, но пассивно. Кто сидел — остался сидеть, кто лежал — остался лежать, а прямостоящих или прямоходящих я не заметил там ни одного. Множество лиц повернулось в

нашу сторону, множество рук поднялось, но не для приветствия, а чтобы прикрыть глаза от низкого солнца. Судя по движениям губ, последовал множественный обмен неслышными репликами. И только.

Павианий вольер, вот на что это было похоже больше всего. Было их там сотни две особей. Г. А. рассказывал, что они собираются сюда каждое лето со всего Союза, живут недели по две и перебредают в другие регионы, а на их место прибредают новые. Однако процентов десять составляют наши, местные, ташлинские. Главным образом школьники. Я искал знакомые лица, но не обнаружил ни одного.

Г. А. достал из багажника кошелку и направился наискосок через стойбище к самому населенному костру, расположенному в десятке метров от берега. Вокруг костра этого сидело человек пятнадцать, и, когда мы приблизились, народ раздвинулся и освободил нам место, всем троим. Г. А., усевшись, пробормотал: «Принимайте в компанию», — и принялся извлекать из кошелки продукты. Он неторопливо вынимал пакет за пакетом — крупу, консервные банки, леденцы, макароны, твердую колбасу — и, не глядя, передавал девице, сидевшей справа от него. Она брала, говорила: «Спасибо...» — и передавала дальше по кругу. Фловеры оживились, зашевелились. Огромный парень, сплошь заросший (от макушки до пупка) черным курчавым волосом, в десантном комбинезоне, спущенном до пояса, принявши очередной пакет, надорвал его, заглянул внутрь и высыпал содержимое — мелкую вермишель — в кипящий котелок. Фловеры шевелились, усаживались поудобнее, я ловил на себе одобрительные взгляды. Вокруг произносились слова, которые я большей частью не понимал. Это был какой-то совершенно незнакомый жаргон, ужасная смесь исковерканных русских, английских, немецких, японских слов, произносимых со странной интонацией, напомнившей мне китайскую речь, — какое-то слабое взвизгивание в конце каждой фразы. Я несколько раз повторил про себя: «Каждый человек — человек, пока он поступками своими не доказал обратного», — и посмотрел на Микаэля. У Микаэля моего был такой вид, будто его вот-вот вытошнит — прямо на спину Г. А. Я понял, почему Г. А. взял с собой именно его. Он брезглив, наш Майкл, а ведь он не имеет права быть брезгливым. Любовь и брезгливость несовместны.

Г. А. посоветовал покрошить в котелок колбасы. Наголо стриженная девица (с грязноватым лицом и гигантским боа из кувшинок на голых плечах) послушно принялась крошить колбасу. Г. А. не посоветовал сыпать в котелок консервированные креветки, и банка креветок была отставлена. Поварская ложка была уже в руке у Г. А., он ворочал ею в котелке,

зачерпывал, пробовал, подувши через губу, и все смотрели теперь на него и ждали его решений. Он сказал: «Соль», — и за солью сейчас же побежали. Он сказал: «Перец», — но перца во Флоре не оказалось.

Я честно наблюдал их, стараясь сформулировать для себя: что они такое? (Я не чувствовал себя учителем, я чувствовал себя этнографом, в крайнем случае, врачом.) Парни были как парни, девчонки — как девчонки. Да, некоторые из них были неумыты. Некоторые были грязны до неприятности. Но таких было немного. А в большинстве своем я видел молодые славные лица — никакой патологии, никаких чирьев, трахом и прочей парши, о которых столько толкуют флороненавистники, и, конечно же, все они разные, как и должно быть. И все-таки что-то общее есть у них. То ли в выражении лиц (очень бедная мимика, если приглядеться), то ли в выражении всего тела, если можно так говорить. Расслабленность движений почти нарочитая. Никто не положит предмет на землю — обязательно уронит, вяло разжавши пальцы. И не на то место, с которого взял, а на то место, которое поближе, словно сил уже не осталось протянуть руку...

И еще — непредсказуемость поступков. Я не взялся бы предсказывать их поступки, даже простейшие. Вот сидел-сидел, перекосившись набок, пришла пора хлебать из котелка, а он вдруг встал и лениво удалился — на другой конец стойбища — и там сел у другого костра. А на его место явился новый — длинный и тощий, как шест, в десантном комбинезоне, на широком ремне — фляга, на ногах — эти их знаменитые «корневища», огромные пуховые лапти, выкрашенные в зеленое. Пришел, уселся, отцепил флягу, полил свои корневища водицей и объявил, ни к кому не обращаясь: «Здесь врастаю». И стал, прищурясь, смотреть на Г. А.

Было ему лет двадцать пять, был он гладко выбрит и подстрижен вполне обыкновенно, в расстегнутом вороте комбинезона висела на безволосой груди какая-то эмблемка на цепочке. Живые ореховые глаза, большой рот уголками вверх и отличные белые зубы. Сразу было видно — это ихний предводитель. _Н`уси_. И ни в одном ухе не было у него этих чертовых музыкальных заглушек, _функов_, из-за которых они выглядят такими сонными и как бы не от мира сего. Этот был вполне от мира сего, невзирая на свой комбинезон, корневища и прочие вытребеньки. И он явно знал Г. А. (Есть у меня подозрение, что и Г. А. его знает. Где-то они уже встречались и не слишком любят друг друга. Однако это все чистая интуиция. Мойша считает, что я все это выдумал.)

Тут почти голая девица, сидевшая слева от меня, тоненько рыгнула, отдулась, облизала ложку и произнесла с удовлетворением:

— _Поб`еги_ — _д`асьта_.

(Мишель объяснил мне потом, что это значит. Это — по-русско-японски — «дать побеги». В прежние времена она сказала бы «словила кайф», а теперь вот — «дала побеги». Флора!)

Наевшись, они завозились, устраиваясь на переваривание. Кто-то закурил. Кто-то принялся шумно жевать _бетель_, пуская оранжевые слюни. Кто-то захрустел леденцами. Начался _зеленый_ _шум_. Конечно, я не понимал и половины того, что говорилось, но, по-моему, там и понимать особенно было нечего. Один вдруг заявляет: «Щекотно. Червяки по корням ползают». Другой тут же откликается: «Личинки совсем заели. Дятлов на них нет. И ведь не почешешься». Третий вступает: «Влаги мало. Сухо мне, кусты. Влаги бы мне побольше». И так далее без конца. И видно, что им это очень нравится. Всем без исключения. На лицах блаженные улыбки, и даже глаза блестят.

Потом вдруг поднялся один парень в пестрых плавках и в полосатой распашоночке, отошел на несколько шагов в сторону, выбрал площадку поровнее и принялся выламываться в медленном, почти ритуальном танце. Надо понимать, он плясал под свой функен, так что музыку слышал он один, а мы видели только ритм этой музыки. И нам это нравилось, и пока он танцевал, зеленый шум притих, все смотрели на танцора, а когда он устал, остановился, сел и лег, все как бы перевели дух, и моя соседка слева снова произнесла: «Побеги — дасьта».

Тем временем начало смеркаться, и луна объявилась над деревьями. Объявились комары. Над заводью возник туман и стал распространяться на прибрежные кусты. Вдруг взревели двигатели, вспыхнули фары, грянула в полную мощь огромная музыка, и дюжина всадников на мотоциклах умчалась прочь — перевалила через вершину ближнего холма, и снова стало тихо.

Какой-то парнишка по ту сторону костра (видимо, новичок, почти не знающий жаргона) принялся рассказывать про суд, который прошел вчера в городе. Трое _гомозяг_ из спецтеха, которые целый год спокойно курочили автомашины и приторговывали запчастями, получили по году принудработ, поскольку руки у них золотые и все сверху донизу характеризуют их положительно. А фловера — Костик из Хабаровска, рыженький такой, без переднего зуба — засадили на месяц клозеты мыть задаром на «тридцатке», на мясокомбинате, за то, что два батона стяжал в булочной, когда фургон разгружал.

Флора помолчала, усваивая информацию. Кто-то пробормотал: «Круто здесь у них». Пошли вопросы. Как фамилия судьи, сколько заседателей?

Почему не шесть? Как зовут? Кто возбудил дело? Парнишка почти ничего не знал. Он не знал даже, что в суде бывает адвокат. «Тихий ты, куст», — упрекнули его и оставили в покое.

Кто-то стал рассказывать про суд в Челябинске, но это уже был сплошной жаргон, я не понял даже, хороший там в Челябинске был суд или плохой. За что и кого судили, я тоже не понял. «Не суди, и не судим будешь», — почти пропел в сумраке женский голос. Слова эти прозвучали пронзительной, отчетливой, высшей правдой после шумовой неубедительности жаргона.

И тут заговорил нуси.

Это была проповедь. На прекрасном литературном языке. Если он и переходил на жаргон, то лишь для того, чтобы особо подчеркнуть, растолковать самым непонятливым какую-нибудь важную для него формулировку.

Он говорил о Флоре. Он говорил об особенном мире, где никто никому не мешает, где мир, в смысле Вселенная, сливается с миром, в смысле покоя и дружбы. Где нет принуждения, и никто ничем никому не обязан. Где никто никогда ни в чем не обвиняет. И поэтому счастлив, счастлив счастьем покоя.

Ты приходишь в этот мир, и мир обнимает тебя. Он обнимает тебя и принимает тебя таким, какой ты есть. Если у тебя болит, Флора отберет у тебя эту боль. Если ты счастлив, Флора с благодарностью примет от тебя твое счастье. Что бы ни случилось с тобой, что бы ты ни натворил, Флора верит и знает, что ты прав. Флора никому не навязывает свое мнение, а ты свободен высказаться о чем угодно и когда угодно, и Флора выслушает тебя со вниманием. За пределами Флоры ты дичь среди охотников, здесь же ты ветвь дерева, лист куста, лепесток цветка, часть целого.

Он говорил о законах Флоры. Флора знает только один закон: не мешай. Однако, если ты хочешь быть счастливым по-настоящему, тебе надлежит следовать некоторым советам, добрым и мудрым. Никогда не желай многого. Все, что тебе на самом деле надо, подарит тебе Флора, остальное — лишнее. Чем большего ты хочешь, тем больше ты мешаешь другим, а значит, Флоре, а значит, себе. Говори только то, что думаешь. Делай только то, что хочешь делать. Единственное ограничение: не мешай. Если тебе не хочется говорить, молчи. Если не хочется делать, не делай ничего.

Пила сильнее, но прав всегда ствол.

Ты нашел бумажник? Берегись! Ты в большой опасности.

Хотеть можно только то, что тебе хотят дать.

Ты можешь взять. Но только то, что не нужно другим.

Всегда помни: мир прекрасен. Мир был прекрасен и будет прекрасен. Только не надо мешать ему.

(Г. А. сказал потом по этому поводу: «Стань тенью для зла, бедный сын Тумы, и страшный Ча не поймает тебя». И спросил: «Откуда?»)

В самый разгар проповеди странные звуки привлекли мое внимание. Я вгляделся сквозь дым и обмер. Тот самый бородатый-волосатый (обволошенный) принялся овладевать своей бритой соседкой.

Мне сделалось невыносимо стыдно. Я опустил глаза и не мог больше поднять их. Особенно мучительно было сознавать, что все это видят и Мишка, и Г. А. За фловеров мне тоже было стыдно, но их-то как раз все это совсем не шокировало. Я видел, как некоторые поглядывали на совокупляющуюся пару с любопытством и даже с одобрением.

«Внезапно из-за кустов раздалось странное стаккато, звук, который я до сих пор не слышал, ряд громких, отрывистых О-О-О; первый звук О был подчеркнутый, с ударением и отделен от последующих отчетливой паузой. Звук повторялся вновь и вновь, и через две или три минуты я понял, что было его причиной. Ди Джи спаривался с самкой».

Вопрос: откуда? Ответ: Джордж Б. Шаллер «Год под знаком гориллы».

РУКОПИСЬ «ОЗ» (4)

4. Вечером первого, как сейчас помню, августа (дело было еще в Ташлинске) меня остановил на терренкуре наш шофер Гриня. Отведя меня в сторонку, он с небрежностью, показавшейся мне несколько нарочитой, спросил:

— Как там у вас сейчас насчет субстанции?

— Где это — у нас? — осведомился я, пребывая в настроении злобно-ироническом.

— Ну, в Ленинграде, в Москве...

— Да как везде, — сказал я, продолжая оставаться в том же настроении. — Семнадцать тридцать пять. А повезет — так десять с маленьким.

— Ну да, ну да... — промямлил Гриня неопределенно. — Ну, а если, скажем, она особая?

— «Особая»?.. Да ее, по-моему, давно уж не выпускают.

— Да нет, я не про эту «Особую» тебя... — сказал Гриня нетерпеливо. — Я тебя спрашиваю: особая субстанция — как? Нематериальная, независимая от моего тела!

Я пригляделся к нему, но ничего такого не заметил. Вообще-то, Гриня, по моим наблюдениям, был человек непьющий и вполне положительный. Хозяин. Лучший садовый участок при обсерватории. С домиком. Все своими руками. Старый «Москвич» собрал себе своими руками... Он правильно оценил мой взгляд и несколько смутился.

— Да нет, это я так... — проговорил он уклончиво и вдруг принялся рассказывать, как заезжие гастролеры в прошлом году обманули мать его, старуху, выклянчивши у нее за пятерку дедовскую икону, коей цены нет и за которую любой музей отдал бы, не глядя, два стольника, самое малое.

Я слушал его с недоумением, а он вдруг, оборвав свой рассказ, предложил мне зайти к нему в «домишко» через два часа, чтобы «посвидетельствовать». Он, оказывается, хочет некую сделку совершить, и нужно ему, чтобы при том присутствовал надежный человек.

Не могу сказать, чтобы предложение это пришлось мне по вкусу, однако и отказаться я тоже не мог. Нас с Гриней связывают давние приятельские отношения, еще с тех времен, когда я был начальником, а он шофером экспедиции, занимавшейся в Туркестане поисками места для установки Большого Телескопа. Гриня мне многим был обязан, да и я ему

кое-чем обязан был, ибо оба мы были грешны в молодости, Гриня — побольше, я — поменьше, но оба.

И вот спустя два часа, то есть поздним уже вечером, оказался я в Грининином «домишке», что прятался в зарослях каких-то экзотических кустов на его садовом участке. Снаружи стояла глубокая южная тьма, кричали цикады, пахло пряностями и цветами, а внутри под лампой с розовым абажуром за столом, покрытым старенькой, но чисто выстиранной скатертью, некогда роскошной, сидели мы втроем: Гриня (Григорий Григорьевич Быкин, водитель первого класса), я (Сергей Корнеевич Манохин, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник) и Агасфер Лукич (Агасфер Лукич Прудков, агент Госстраха).

ГРИНЯ: осведомляется у Агасфера Лукича, не возражает ли тот против присутствия здесь вот этого вот свидетеля.

АГАСФЕР ЛУКИЧ: не только не возражает, но всячески приветствует, ибо знает, ценит и полностью доверяет.

ГРИНЯ: предлагает прямо приступить к делу, потому что мало ли что.

АГАСФЕР ЛУКИЧ: суетливо и хлопотливо извлекает из переполненного портфеля своего розовые бланки страховых свидетельств и принимается за работу.

ГРИНЯ (с некоторой тревогой): А это на кой хрен понадобилось?

АГАСФЕР ЛУКИЧ (не переставая бегать пером): А как же иначе, батенька? Без этого никак нельзя. Это, можно сказать, всему голова.

ГРИНЯ: с хмурым недоумением смотрит на Агасфера Лукича, затем лицо его вдруг проясняется, словно он что-то понял.

Я: не понимаю ничего, начинаю раздражаться, но пока молчу.

АГАСФЕР ЛУКИЧ: профессионально сияя, вручает Грине «Страховое свидетельство по страхованию от несчастных случаев».

ГРИНЯ (просматривает свидетельство и ухмыляется): Как раз трешник. Вот потом и вычтешь...

АГАСФЕР ЛУКИЧ: Само собой, само собой. Тут у меня все учтено. (Достает из портфеля и кладет перед Гриней большой лист плотной белой бумаги, исписанный от руки чрезвычайно красивым, каллиграфически красивым почерком с наклоном влево.)

ГРИНЯ: изнуряюще долго читает текст, шевеля губами, зверски наморщив при этом лоб.

АГАСФЕР ЛУКИЧ: приятно улыбается.

Я: не знаю, что и думать, испытываю самые неприятные, но решительно неясные подозрения.

ГРИНЯ: дочитав документ по второму разу, с большим сомнением

мотает щеками.

АГАСФЕР ЛУКИЧ: Замечания? Дополнения?

ГРИНЯ: Не пойдет так. Не нравится. Тут у вас, например, сказано прямо... (читает вслух) «Передаю мою особую нематериальную субстанцию, независимую от моего тела...» Не пойдет. Насчет субстанции я справки навел, много неясного... Тем более — «особая».

АГАСФЕР ЛУКИЧ: Понял вас. Разумно.

ГРИНЯ: Во-вторых. Не передаю, а, скажем, отдаю в аренду...

АГАСФЕР ЛУКИЧ: На девяносто девять лет.

ГРИНЯ: Н-н-н... Ладно. Это еще туда-сюда... Тоже, между прочим, могли бы навстречу пойти... Ну, ладно. И главное! (Строго стучит ногтем по бумаге.) Прямо здесь должно быть сказано: трешками! Других не приму!

АГАСФЕР ЛУКИЧ: Момент! (Жестом фокусника выхватывает из портфеля и кладет перед Гриней новый роскошный лист, исписанный тем же каллиграфическим почерком.)

ГРИНЯ: подозрительно поглядев на Агасфера Лукича, вновь погружается в чтение.

Я: только диву даюсь, на какие ухищрения приходится идти нынешнему страхагенту ради трех рублей: я заметил уже, что первый каллиграфический лист словно растворился в воздухе, на скатерти его больше нет, и неприятные подозрения во мне укрепляются.

ГРИНЯ (прочитав, передает лист мне): «Ознакомься, Корнеич», — говорит он озабоченно.

Я: ознакамливаюсь, и волосы мои встают дыбом.

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ

Я, нижеподписавшийся Григорий Григорьевич Быкин, в присутствии свидетеля, названного мною Сергеем Корнеевичем Манохиным, отдаю предъявителю сего в аренду на 99 (девяносто девять) лет, считая с сего 1 августа 19.. года, свое религиозно-мифологическое представление, возникающее на основе олицетворения жизненных процессов моего организма, в обмен на 2999 (две тысячи девятьсот девяносто девять) казначейских билетов трехрублевого достоинства образца 1961 года. Каковая сумма должна оказаться в моем распоряжении в течение двадцати четырех часов с момента подписания мною данного акта.

Подпись.

Дата.

Я: в полном обалдении принимаюсь читать все сначала.

ГРИНЯ (скворчит у меня над ухом): Религиозное... это... как его там... религиозное — это одно, не жалко... А субстанция — совсем другое дело, как ты считаешь, Корнеич?

АГАСФЕР ЛУКИЧ (ласково вещает где-то на краю моего сознания): Очень разумно, очень здраво поступаете, Григорий Григорьевич.

Я (как всегда, слетевши с рельсов повседневности, оказавшись в положении идиотском и абсолютно фальшивом, перескакиваю в истинно-мужскую грубоватую иронию и произношу первую же пришедшую на ум пошлость): С тебя полбанки, Гриня, в честь такого дела!

Даже то ничтожное мозговое усилие, которое потребовалось мне, чтобы изрыгнуть вышеприведенную пошлость, оказалось, видимо, в тогдашнем моем состоянии чрезмерным. То ли обморок, то ли прострация овладели мною. Дальнейшее вспоминается мне урывками. И как бы сквозь некую вуаль. Отчетливо помню, однако, как Агасфер Лукич, опасливо отклонясь, раскрыл портфель, и оттуда, словно из печки с раскаленными углями, шарахнуло живым жаром, даже угарцем потянуло, а Агасфер Лукич, схвативши (видимо, уже подписанный Гринею) акт передачи, сунул его в самый жар, в багрово-тлеющее, раскаленное, и торопливо захлопнул крышку, лязгнув железными замками.

— А не сгорит оно там к ядрене-фене? — опасливо спросил Гриня, следивший за всей этой процедурой с понятной настороженностью.

— Не должно, — озабоченно ответствовал Агасфер Лукич и наклонил к портфелю живое ухо, как бы прислушиваясь к тому, что происходит там внутри.

Помню также, что Гриня принялся немедленно и без всякого стеснения нас выпроваживать.

— Давайте, давайте, мужики, — приговаривал он, слегка подталкивая меня в поясницу. — Так ты обещаешь, что под орехом? — спрашивал он Агасфера Лукича. — Или под платаном все ж таки? Осторожно, ступеньки у меня тут крутые...

Агасфер же Лукич отвечал ему:

— Именно под орехом, Григорий Григорьевич. Или уж в самом крайнем случае — под платаном...

Затем, помнится, шли мы с Агасфером Лукичом по терренкуру в кромешной тьме, разноображенной разве что огоньками светлячков, Агасфер Лукич явственно сопел у меня под ухом, цепляясь за локоть мой, и, помнится, спросил я его тогда, не хочет ли он дать мне какие-нибудь

объяснения по поводу происшедшего. Решительно не сохранилось в моей памяти, ответил ли он что-либо, а если и ответил, то что именно.

Сейчас-то я понимаю, что ни в каких ответах и ни в каких таких особенных объяснениях я в ту ночь уже не нуждался. Конечно, многие детали и нюансы были тогда мне непонятны, так ведь они остаются непонятны мне и сейчас. В них ли дело?

Надо сказать, Агасфер Лукич никогда и не делал особенной тайны из своих трансакций. Попытки легализовать свою сомнительную деятельность сопутствующими страховыми операциями не могут, разумеется, рассматриваться как серьезные. Они производят впечатление скорее комическое. В главном же Агасфер Лукич всегда был вполне откровенен и даже, я бы сказал, прямолинеен — просто ему не нравилось почему-то называть некоторые вещи своими именами. Отсюда это почти трогательное пристрастие к неуклюжим эвфемизмам — и даже не к эвфемизмам, собственно, а к суконным формулировкам, извлеченным из каких-то сомнительных учебных пособий и походно-полевых справочников по научному атеизму. Впрочем, и контрагенты его, насколько мне известно, как правило, предпочитали эвфемизмы. Забавно, не правда ли?

Не знаю, существует ли в системе Госстраха понятие «служебная тайна», «тайна вклада» или что-нибудь в этом роде. Во всяком случае, Агасфер Лукич любил поболтать. Без малейшего побуждения с моей стороны он поведал мне множество историй, как правило, комичных и всегда анонимных, — имен своих клиентов Агасфер Лукич старательно бежал. Иногда я догадывался, о ком идет речь, иногда терялся в догадках, а чаще всего догадываться и не пытался. Сейчас все эти истории, вероятно, тщательно анализируются прокуратурой, не буду их здесь приводить. Но не могу не восхититься деловой хваткой зама нашего по общим вопросам товарища Суслопарина и не могу не плакать о судьбе бедного моего друга Карла Гавриловича Рослякова.

Суслопарин был единственным человеком (насколько мне известно), который без стеснения называл все вещи своими именами. Никаких субстанций, никаких религиозных представлений — ничего этого он признавать не желал. Цену он запросил немалую: гладкий, без ухабов и рытвин, путь от нынешнего своего поста через место директора номерного сверхважного завода, главнейшего в нашей области, к, сами понимаете, посту министерскому. Не более, но и не менее. Однако, много запрашивая, немало он и предлагал. А именно, всех своих непосредственных подчиненных с чадами и домочадцами предлагал он в бездонный портфель Агасфера Лукича. Говоря конкретно, предлагались к употреблению:

помощник товарища Суслопарина по снабжению И. А. Бубуля; комендант гостиницы-общежития Костоплюев А. А. с женой и свояченицей; племянник начальника обсерваторского гаража Жорка Аттедов, коему все равно в ближайшее время грозил срок; и еще одиннадцать персон по списку.

Самого себя товарищ Суслопарин включать в список не спешил. Он полагал это несвоевременным, он выражал опасение, что это было бы неверно понято. Агасфера Лукича казус этот приводил почти в неистовство. По его словам, это было невиданно, неслыханно и беспрецедентно. С этаким он не встречался даже в Уганде, где поселен он был в отдельный дворец для иностранцев. Нынешнее же положение его чрезвычайно осложнялось еще и тем обстоятельством, что сделка такого рода никакими нравственными правилами не запрещалась, но влекла за собой массу чисто технических осложнений и неудобств. Переговоры затягивались, и я так и остался в неведении, чем они завершились.

Совсем в другом роде история разыгралась с Карлом Гаврилычем, директором обсерватории. Я хорошо знал его, мы учились на одном факультете, он был старше меня на три курса. Я играл тогда в факультетской волейбольной команде, а он был страстным болельщиком. Боже мой, как он любил спорт! Как он мечтал бегать, прыгать, толкать, метать, давать пас, ставить блок! От рождения у него были сухая левая рука и врожденный вывих левого бедра. Это печальное обстоятельство плюс ясная, все запоминающая голова определили его жизнь. Он быстро продвигался по научной лестнице и сделался блестящим доктором, когда я еще в ухе ковырял над своей кандидатской. За ним были все мыслимые почести и звания, о которых может мечтать ученый в сорок пять лет, а назначение его директором новейшей, наисовременнейшей Степной обсерватории было даже научными его недоброжелателями воспринято как естественный и единственно правильный акт.

Однако руку ему это не вылечило, и хромать он не перестал. Еще какие-то недуги глодали его, он быстро терял здоровье, и когда Агасфер Лукич сделал ему свое обычное предложение, мой бедный Карл не задумался ни на минуту. Фантастические перспективы ослепили его. Обычная жесткая его логика изменила ему. Впервые в жизни не сработал скепсис, давно уже ставший его второй натурой. Впервые в жизни пустился он в азартную игру без расчета — и проиграл.

Мне еще повезло увидеть его в конце того лета, крепкого, сильного, бронзово-загорелого, ловкого и точного в движениях — совершенно преображенного, но уже невеселого. Он только что вернулся из Ялты, где и

состоялось с ним это волшебное преображение, где он впервые вкусил от радостей абсолютного здоровья. И где он впервые почуял неладное, когда ему наскучило гонять в пинг-понг с хорошенькими курортницами и он присел как-то вечерком у себя в номере рассчитать простенькую модель... Строго говоря, я ведь не знаю толком, что с ним произошло. Агасфер Лукич клялся мне, что зловещий портфель здесь совершенно ни при чем, что это просто лопнули от перенапряжения некие таинственные жилы, сплетавшие воедино телесное и интеллектуальное в организме моего бедного Карла... Может быть, может быть. Может быть, и вправду сумма физического и интеллектуального в человеке есть величина постоянная, и ежели где чего прибавится, то тут же соответственно другого и убывает. Вполне возможно. И все-таки мне иногда кажется, что лукавит Агасфер Лукич, что не обошлось здесь без его портфеля, и в раскаленной топке исчезла не только «особая нематериальная сущность» Карла моего Гаврилыча (как названо это в «Словаре атеиста»), но и его «активное движущее начало» (как это названо там же). В конце памятного августа Карл был просто машиной для подписывания бумаг. Я думаю, сейчас он уже спился.

Должен признаться, однако, что в те поры мне было не до него. Собственные проблемы одолевали и угнетали меня, как мучительная хроническая болезнь. Я все придумывал, как бы мне избежать этого самого стыдного пункта моего повествования, но вижу теперь, что совсем избежать его мне не удастся. Постараюсь, по крайней мере, быть кратким.

В конце концов, если подумать, мне нечего стыдиться. Как бы там ни было, а честь открытия Юго-Западного Шлейфа принадлежит все-таки мне, и одиннадцать шаровых скоплений, которые я обнаружил в Шлейфе, были предсказаны мною заранее — я предсказал, что их должно быть десять-пятнадцать. Этого у меня никто не отнимет, да и не собирается отнимать. И докторская диссертация моя, даже если вынуть из нее главу относительно «звездных кладбищ», все равно останется работой неординарной и вполне достойной соответствующей ученой степени. Другое дело, что претендовал-то я на большее!

Теперь я вижу, что поторопился, надо было выждать. Не надо было писать этой статьи в «Астрономический журнал», и уж вовсе не надо было посылать заносчивое письмо в «Астрономикл лэттэрз». Гордость фрайера сгубила. Очень захотелось быть блестящим, вот что я вам скажу. До смерти надоело числиться вдумчивым и осторожным ученым. Ладно, господь с ним...

Когда Ганн, Майер и Исикава, независимо друг от друга, пошли

публиковать — кто в «Астрофизикл джорнэл», кто в «Ройял обзерватори бюллэтенз», — что эффект «звездных кладбищ» обнаружить им, видите ли, не удалось, это было еще полбеды. Все наблюдения шли на пределе точности, и отрицательный результат сам по себе еще ничего не значил. Но вот когда Сеня Бирюлин рассчитал, как «эффект кладбищ» должен выглядеть на миллиметровых волнах, сам отнаблюдал, ничего на миллиметровых волнах не обнаружил и с некоторым недоумением сообщил об этом на июльском ленинградском симпозиуме, — вот тут я почувствовал себя на сковородке.

Я заново проверил все свои расчеты. Ошибок, слава богу, не было. Но обнаружилось одно место... этакий логический скачочек... К черту, к черту, не хочу сейчас об этом писать. Даже вспоминать отвратительно, какой ледяной холод я вдруг ощутил в кишках в тот момент, когда понял, что мог ведь и просчитаться... Не просчитался, нет, пока еще никто не вправе кинуть в меня камень, но видно уже, что стальная цепь логики моей содержит одно звено не металлическое, а так, бублик с маком. (Стыдно признаться, а ведь я за это звено так до сих пор и не решился потянуть как следует. Не могу заставить себя. Трусоват.)

Тогда, в августе, я даже думать на эту тему боялся. Мне только хотелось, как страусу, зажмурить глаза, сунуть голову под подушку — и будь что будет. Разоблачайте. Драконьте. Топчите. Жалейте.

Ведь что более всего срамно? Ведь не то, что ошибся, наврал, напахал, желаемое принял за сущее. Это все дело житейское, без этого науки не бывает. Другое срамно — что занесся. Что дырки в лацканах стал проверчивать для золотых медалей, перестал с окружающими разговаривать, принялся вещать. Публично же сожалел (в нетрезвом виде, правда), что по статусу не полагается Нобелевской премии за астрономические открытия! Аспирантика этого несчастного задробил... как бишь его... вот уж и фамилии не помню... А ведь вполне может быть, что он в своей работенке — детской работенке, зеленой — вполне справедливо меня поддел. Это тогда, сгоряча, я, кроме глупости да неумелости, ничего в его статейке не углядел, а он как раз, может быть, и ухватился за этот мой бублик с маком, и был это мне первый звоночек, так сказать...

Пути назад у меня были отрезаны, вот что меня губило. Слишком много было наболтано, нахвастано, наобещано, не мог я уже выйти перед всеми и сказать: «Пардон. Обосрался». И оставалось мне только одно: ждать и надеяться, что обойдется, что не обгадился я на самом деле, что вот запустят американцы «Эол», и в рентгене все получится по-моему...

Я докатился тогда до состояния такого ничтожества, что не мог даже

заставить себя сесть и трезво, холодно просчитать все слабые места заново: да — да, нет — нет. Куда там! Всех моих душевных сил хватало лишь на то, чтобы лежать на кровати навзничь, заложивши руки под голову. И ждать, пока Сеня перепроверит свои наблюдения на «Луче» или американцы запустят «Эол».

Собственно, именно в таком состоянии у людей и рождаются сумасшедшие, бредовые, фантастические идеи. Только обычно идеи эти перегорают, не оставивши по себе даже копоти, а у меня под боком оказался Агасфер Лукич.

Агасфера Лукича я определил бы как человека широко, но мелко образованного. Обо всем он знает понемногу, но самое замечательное в нем — его понятливость. Понятлив и догадлив, вот как бы следовало его определить. Что такое шаровое скопление — он не знал, не приходилось ему о таком ранее слышать, но стоило объяснить, и он тут же, ухвативши суть, поинтересовался, не искали ли чего-либо необычного в центре этих гигантских звездных колобков, а если искали, то что именно, и нашли ли. Со «звездными кладбищами» оказалось посложнее, все-таки это вещь сугубо специальная, тут он так и остался в некотором недоумении, однако сразу же заметил, что для нашего дела это его недопонимание существенной роли играть не может. Очень быстро схватил он также и самую суть моих неприятностей. Причем, надо отдать ему справедливость, проявил большую деликатность и тонкость чувств, — он напомнил мне чрезвычайно опытного хирурга, умело и деликатно орудующего ножом вокруг самых больных мест, но нимало их не тревожащего.

С деловитостью врача он предложил мне на выбор два апробированных пути излечения моей хвори. Я отвергнул их немедленно, почти без размышлений. Я не слишком высокого мнения о своей личности (особенно в свете происходящего), но и менять ее вот так, за здорово живешь, при первой же серьезной неприятности я не собирался. И вовсе не собирался я ради собственных амбиций водить за нос (всю жизнь!) такое количество ни в чем не повинных и, как правило, вполне симпатичных людей.

Тогда Агасфер Лукич взял у меня ночь на размышление и утром выдал мне третий путь.

Едва он заговорил, я даже вздрогнул: мне показалось, что он угадал мою собственную бредовую идею. Оказалось, однако, нет, не угадал, хотя и его идея была вполне достаточно бредовой. Он предложил организовать сравнительно небольшие изменения в распределении материи в нашей Галактике с тем, чтобы в обозримом будущем (10^{12}–10^{13} секунд) мою

гипотезу нельзя было бы ни опровергнуть, ни подтвердить. Речь шла о подвижках в пространстве сравнительно незначительных масс темной материи и о внеплановом взрыве двух-трех сверхновых, способных существенно исказить наблюдаемую картину в моем Юго-Западном Шлейфе. Главная трудность здесь заключалась в том, что эта работа космологических времен`ых и пространственных масштабов должна была сопровождаться мелкими, но чрезвычайно кропотливыми и скрупулезными подчистками в ныне существующих архивах наблюдательной астрономии. Я не совсем понял — зачем, но требовалось непременно создать впечатление, будто новая наблюдаемая картина имела место всегда, а не появилась только что, на глазах изумленных наблюдателей. Этот путь я даже не стал критиковать. Я просто предложил Агасферу Лукичу свой.

Сначала он не понял меня. Потом задумался глубоко. Впервые в жизни я тогда увидел, как изо рта у Агасфера Лукича идет зеленоватый дым, — зрелище по первому разу жутковатое. Потом он встрепенулся от задумчивости и посмотрел на меня с каким-то странным выражением.

Действительно, ведь моя гипотеза «звездных кладбищ» не нарушала ни одного из фундаментальных законов физики. Она могла быть ложной, она могла быть истинной, но она никак не могла быть названа невозможной. Природа вполне могла быть устроена таким образом, чтобы «звездные кладбища» существовали в реальности. И если оказывается, что она устроена не так, то почему бы не вмешаться, буде есть на то желание и соответствующие возможности. Пусть это будет сравнительно редкое явление, я вовсе не настаивал на его метагалактической распространенности. В конце концов, возьмите фуоры. Во всей Галактике их обнаружено несколько штук. Редкость. Особое сочетание физических условий. Вот и с моими «кладбищами» пусть будет так же. Только пусть они будут (если их нет). А все свои расчеты я готов предоставить по первому требованию.

Дико и нелепо устроен человек. Ну, казалось бы, чем мне тут гордиться? А я горжусь. Удалось мне озадачить Агасфера Лукича. Забегал он у меня, засуетился, заметался. Признался, что такое ему не по плечу, но обещал в ближайшее же время навести справки.

Вот так, на трагикомическом уровне, определилась нынешняя судьба моя. И теперь сижу я на шершавом испачканном топчане, за окном постоянный ноябрь, белые мухи, в комнате жарко, хотя батареи еще не продуты, — пишу эти записки, не адресуя их никому, трепетно жду, когда ударят в космическом мраке Кабинета шаги моей сегодняшней судьбы.

Вот сейчас вспомнилось ни с того ни с сего. Гриня повадился каждый

день разменивать в столовой новехонькую трешку и, как стало широко известно, записался в месткоме на «семерку-жигули»... Следователь районной прокуратуры, который допрашивал меня, деликатно, но весьма настойчиво добивался, не замечал ли я в последнее время каких-либо перемен в характере, поведении и образе жизни гражданина Быкина Г. Г. Меня и самого интересовал этот вопрос. Мне и самому было болезненно интересно узнать, что же происходит в конечном итоге с людьми, «ставшими жертвами жульнических махинаций гражданина Прудкова А. Л., выдававшего себя за сотрудника системы Государственного страхования». Так что я ничем не мог помочь товарищу следователю, я только честно признался ему, что сам жертвой упомянутых махинаций не стал. По-моему, он мне не поверил. Во всяком случае, прощаясь, он с довольно неприятным видом пообещал, что мы еще встретимся.

Но мы, конечно, никогда больше не встретимся.

5. Этот был рослый, выше меня на голову, в длинном кожаном...

ДНЕВНИК. 14 ИЮЛЯ

Вчера ничего не записывал, потому что весь день работал в 4-й детской. По-прежнему самое мучительное и невыносимое для меня — ассистировать при операциях. Поэтому вызвался на все шесть и четыре благополучно проассистировал, а перед пятой Борисыч прогнал меня в палаты носить горшки и приходить в себя.

В лицей вернулся в начале десятого без задних ног и сразу завалился. Думал, просплю до утра. Фигушки. В два часа ночи приперся Михей, распираемый впечатлениями. Он, оказывается, ходил с Пашкой и Иришкой слушать этого пресловутого Вегу Джихангира. Они от него в рептильном восторге. Набрался полный стадион народу. Джихангир ревет. Синтезаторы ревут. Народ ревет. Прожектора. Синхролайтинги. Петарды рвутся. И так четыре часа подряд. Потом взвалили себе на плечи своего Джихангира и понесли в гостиницу через весь город.

Ни одной Джихангировой песни Мишель, конечно, не запомнил, но зато на обратном пути университетские студиозусы обучили его своему боевому маршу, который начинается так:

Рехо, рехо, рехо-хо-хо-хо-хо!
Ага-него, ням-ням-ням-ням,
Первички ня-а-ам!
А ну-ка демо! А шервервумба!

А шервервумба, вумба-вумба,
цум-бай-квеле,
тольминдадо,
Цум-бай-квеле, цум-бай-ква...

И так далее. О, эти ташлинские титаны духа! Мишель никак не мог остановиться, я не выдержал и все-таки заснул. В результате утром проспал.

До обеда прилежно писал отчет-экзамен.

Доброта и милосердие. Разумеется, понятия эти пересекаются, это ясно. Но есть какое-то различие. Может быть, в отношении к понятию

«активность»? Доброта больше милосердия, но милосердие глубже. И милосердие, в отличие от доброты, всегда активно. Литература по этой теме огромна и бесполезна. Если выпарить это море слов, останется чайная ложка соли. Воробьиная погадка. Надо бы спросить Г. А.: почему наиболее интуитивно ясные понятия более всех прочих оболтаны за истекшие двадцать веков? (ПРИПИСКА 16 июля. Г. А. сказал: потому что интуиция — в подкорке, а понятие — в коре. Непонятно. Надлежит обдумать.)

После обеда Г. А. послал меня в библиотеку читать последний выпуск «Логики...». В чем дело? Оказывается, он недоволен, как идут у меня по логике Санька Ежик и Сева Кривцов. Здрасьте вам! А я-то был уверен всегда, что они у меня идут на десять баллов. Я человек скромный и себя хвалить не терплю, но если у меня что хорошо, то хорошо. Оказывается, нет. Нехорошо у меня. Мы с ним поспорили. Я слово, он два. Ладно. Пошел в библиотеку, поднял «Логику...» за последний год. Все-таки Г. А. — бог. Сам он всегда убеждает нас, что главное — не знать, а понимать. Но ведь он-то вдобавок и ЗНАЕТ! Все знает! И бес, посрамлен бе, плакаси горько.

В «Молодежных новостях» сообщение про вчерашний концерт Джихангира: «Встреча с новой песней». С подъемом описывается радость, испытанная городскими любителями синхрозонга, от встречи с популярнейшим и любимейшим Марко да-Вегой. Новые тексты... новая манера... совершенно новое сопровождение... «К сожалению, конец этой волнующей встречи был омрачен хулиганскими выходками наиболее незрелой части слушателей. Кто бы ни был инициатором этих выходок — заезжие «дикобразы», местные фловеры или просто загулявшие студенты, — прощения и оправдания им быть не может. Мы уверены, что милиция с помощью общественности в ближайшее же время установит и строго накажет распоясавшихся хулиганов».

В «Городских известиях» колонка под названием: «Ночной пандемониум». Никакого праздника синхрозонга на стадионе не было. Был омерзительный шабаш. Четырехтысячная толпа, состоящая главным образом из так называемых фловеров, устроила отвратительное побоище, сопровождавшееся актами вандализма. Стадиону нанесен значительный ущерб. Изуродовано несколько автомашин. В окрестных постройках не осталось ни одного целого стекла. Несколько десятков искалеченных хулиганов доставлены в больницы. Несколько десятков задержаны. Органы милиции ведут расследование. Газета не раз выступала против приглашений в наш город этих так называемых «властителей дум». Нынешний ночной пандемониум — лишнее, хотя и печальное, доказательство ее правоты.

Иришка с Мигелем утверждают, что ничего подобного не было. Все было очень громко, но вполне мирно.

Кому верить?

На сон грядущий пошли поболтать с Г. А. Серафима Петровна подала пирог-плетенку с абрикосовым вареньем. Сначала болтали о том о сем, а потом вдруг выяснилось, что разговор идет о преступности. (Ни минуты не сомневаюсь, что на эту тему повернул нас Г. А. Но в какой момент? Каким образом? И почему я опять этот поворот прозевал?)

Я считаю, что в наше время существуют три главных фактора, которые в сочетании делают человека преступником. Во-первых, система воспитания не сумела выявить у него направляющего таланта. Человек оставлен вариться в собственном соку. Во-вторых, он должен быть генетически предрасположен к авантюре: риск порождает в нем положительные эмоции. В-третьих, духовная нищета: духовные запросы подавлены материальными претензиями. Вокруг полно прекрасных вещей: автомобили, птеры, роскошные девочки, жратва, наркотики, в конце концов. Зарабатывать все это невыносимо скучно и тяжко, потому что любимой работы у него нет. Но очень хочется. И он начинает брать то, что по существующему праву ему не принадлежит, рискуя свободой, жизнью, человеческими условиями существования, причем делает это не без удовольствия, а может быть, и с наслаждением, потому что риск у него — в генах.

Конечно, это самая грубая схема, не учитывающая никаких нюансов, да и великого множества разнообразных социальных и личных обстоятельств. Однако основную массу насильственных преступлений такая схема, по-моему, объясняет.

Аскольд: существует ли талант к преступлению? В конце концов, разработка и исполнение преступного замысла — это в самом широком смысле слова игра, требующая незаурядных творческих способностей, своеобразных эстетических данных и психологической проницательности.

Возможно, не спорю. Наше дело — устроить так, чтобы ему было интереснее играть в любую другую игру, но не в эту. А если общество не в состоянии предложить ему ничего, кроме как есть хлеб свой в поте кислой физиономии своей, то немудрено, что он предпочитает играть в казаки-разбойники и норовит ходить по краю. Вот если бы мы умели с младых ногтей привить ему человечность и милосердие, это было бы самой надежной прививкой и против бездуховности, и против тяги к преступному риску. Да что толку говорить об этом, если мы все равно этого не умеем делать сейчас так же, как тысячу лет назад!

«Пересадить свою доброту в душу ребенка — это операция столь же редкая, как сто лет назад пересадка сердца».

Г. А. сказал как бы между прочим: закон никогда не наказывает ПРЕСТУПНИКА. Наказанию подвергается всего лишь тварь дрожащая — жалкая, перепуганная, раскаивающаяся, нисколько не похожая на того наглого, жестокого, безжалостного мерзавца, который творил насилие много дней назад (и готов будет творить насилие впоследствии, если ему приведется уйти от возмездия). Что же получается? Преступник как бы ненаказуем. Он либо уже не тот, либо еще не тот, кого следует судить и наказывать... Слава богу, что хоть смертная казнь у нас отменена!

РУКОПИСЬ «ОЗ» (5–9)

5. Этот был рослый, выше меня на голову, в длинном кожаном пальто. Войдя, он снял огромную меховую шапку и, пригладив прическу ладонью, проговорил негромко:

— Колпаков. Мне назначено на семнадцать.

Он отряхнул шапку от мокрого снега, положил ее на столик под зеркалом, снял пальто («Благодарю вас, я сам...») и аккуратно, любовно повесил его на распялку.

Мы прошли в Приемную. Он шагал широко, бесшумно, на каждом шаге слегка подаваясь по-куриному туловищем вперед, и непрерывно мыл ладони воздухом. В Приемной он бегло, но цепко огляделся, как бы прицениваясь к обстановке, а когда я предложил ему кресло, он сел с видом человека, готового долго и терпеливо ждать. Если он и волновался, то волнение свое умело скрывал. Он даже ладони перестал умывать.

Я сел на свое место и сказал:

— Можете говорить.

Он снова огляделся, теперь уже с некоторым недоумением, но быстро сориентировался (он, видимо, вообще умел быстро ориентироваться) и заговорил. Я смотрел, как он говорит, и мне почему-то вспомнилось, что Юрий Павлович Герман называл таких людей «красивый, но вьялый». Такой рослый, такой благообразный, такой русый, и широкие плечи, и кровь с молоком, и глаза вполне стальные, а в то же время — какая-то бледная немочь во всем: движения плавно-замедленные, голос тихий, интонации умеренные. Умеренность — его лозунг. Умеренность и аккуратность.

Говорил он в пространство перед собой. (Как, откуда узнал он, что не я его собеседник, а ведь, кроме меня, в Приемной никого не было!..) Говорил, словно на докладе у начальства, — на память, не сбиваясь, но и не увлекаясь чрезмерно, только время от времени, в особенности, когда шли цифры, поглядывая в шпаргалочку, оказавшуюся незаметно у него в ладони. И хотя не предпосылал он своему докладу никакого названия, после первых же двух-трех периодов стало ясно, что речь идет о «Необходимых организационных и кадровых мероприятиях для подготовки и проведения кампании по Страшному Суду».

Говорил он по моему секундомеру почти десять минут — восемнадцати секунд не хватило для ровного счета. Закончив, осторожно

положил свою шпаргалочку на полированную поверхность трюмо рядом с пепельницей и смирно свел пальцы больших белых рук у себя на коленях.

Демиург молчал целую минуту, прежде чем задал первый свой вопрос.

— Надо понимать, Зверь из моря — это лично вы? — спросил он.

Колпаков заметно вздрогнул, но отозвался тотчас же, без малейшего промедления:

— Возражений не имею.

Демиург вдруг очень красиво процитировал — нарочито бархатным, раскатистым голосом профессионального актера старой школы:

— «Зверь был подобен барсу: ноги у него как у медведя, а пасть у него как пасть у льва; и дал ему Дракон силу свою, и престол свой, и великую власть...» Дракон, надо понимать, — это я?

Колпаков позволил себе бледно усмехнуться.

— Не могу согласиться, извините. В данном штатном расписании это уж скорее товарищ Прудков. Агасфер Лукич.

Полная тишина была ему ответом, и усмешка пропала с бледного лица, и оно стало еще бледнее. Потом Демиург заговорил снова:

— «...И поклонились Зверю, говоря: кто подобен Зверю сему и кто может сразиться с ним? И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать сорок два месяца». У вас губа не дура, Колпаков.

— В некоторых переводах стоит: «сорок два года», — чуть повысив голос, возразил Колпаков.

— И вы, разумеется, предпочитаете именно эти переводы. Да, губа у вас не дура. И как же вы намерены развязать Третью и последнюю? Конкретно!

— Мне кажется, один случайный запуск... одно случайное неудачное попадание... Мне кажется, этого уже достаточно было бы...

— Во-первых, недостаточно! — загремел Демиург. — Во-вторых, если вы даже сумеете организовать бойню, понимаете ли вы, чем она кончится? Послушайте, вас вообще-то учили, что через шесть месяцев погибнет от девяноста пяти до девяноста восьми процентов всего населения? Вы перед кем, собственно, намерены «гордо и богохульно» говорить на протяжении сорока двух месяцев... я уж не скажу — лет?

На физиономии Колпакова не осталось ни кровинки, однако он и не думал сдаваться.

— Прошу прощения, — произнес он с напором, — но ведь у меня и намерения такого не было — конкретизировать начало хаоса. Мне казалось всегда, что это как раз — на ваше усмотрение! И железная саранча

Аваддона... и конные ангелы-умертвители... и звезда Полынь... Вообще весь комплекс дестабилизирующих мероприятий... Я как раз не беру на себя ответственность за оптимальный выбор...

— Он не берет на себя ответственность, — грянул Демиург. — Да ведь это же главное, неужели не ясно — оптимальный выбор! Максимум выживания козлищ при минимуме агнцев!

— Позвольте же заметить! — не сдавался Колпаков. — Был бы хаос, а все остальное я беру на себя, у меня агнцев вообще не останется, ни одного! Что же касается организации хаоса... Согласитесь, это совсем вне моей компетенции!

— Так уж и вне... — произнес Демиург саркастически. — Вон чего вокруг насочиняли... Кстати, а что такое в вашем понимании агнцы?

И опять не дрогнул Колпаков. И опять он ответил как по писаному:

— Насколько мне доступно понимание высших целей, это сеятели. Сейте разумное, доброе, вечное. Это про них сказано, как я понимаю.

— Ясно, — произнес Демиург. — Можете идти. Сергей Корнеевич, проводите.

Я встал. Колпаков все еще сидел. Красные пятна разгорались у него на щеках. Он разлепил было губы, но Демиург сейчас же сказал, повысив голос:

— Проводить! Пальто не подавать!

И поднялся бедный Колпаков, и пошел, понурившись, в прихожую, и снял с распялки роскошный свой черный кожан, и принялся слепо проталкивать руки в рукава, и мужественная челюсть его тряслась, а вокруг реял невесть откуда взявшийся Агасфер Лукич с портфелем на изготовку и говорил как заведенный — ворковал, курлыкал, болботал:

— Не огорчайтесь, батенька, ничего страшного, не вы первый, не вы последний, откуда нам с вами знать, может, оно и к лучшему... Сорок два года все-таки, — такой труд, такая работа, напряжение адское, ни минуты отдыха, никакой расслабленности... Да господь с ними, с этими глобальными мероприятиями!.. Ведь пришлось бы руку поднять на отечество свое, на все человечество! Стоит ли? Не лучше ли подумать прежде всего о себе, что вам лично нужно? Так сказать, персонально... в рамках существующей действительности... не затрагивая никаких основ... Скажем, заведующий отделом, а? Для начала, а?

Они вывалились из квартиры, Агасфер Лукич вел Колпакова, обнимая его ниже талии, и, заглядывая ему в лицо снизу вверх, все ворковал, все болботал, все курлыкал. Я слышал, как они медленно спускаются по лестнице. Колпаков, видимо, опомнясь, принялся что-то отвечать высоким

обиженным голосом, но слов уже было разобрать невозможно из-за лестничной реверберации.

Я запер дверь, вернулся в Приемную, поправил сдвинутое кресло, взял с трюмо забытую шпаргалку и попытался было ее прочитать, но ничего там не разобрал, кроме каких-то бессмысленных «убл», «опр», «II сзд».

Я прошел в Комнату и уселся на топчан в ожидании приказаний. Приказаний не было, не было и обычных ворчливых комментариев. Черная крылатая глыба у окна была нема и неподвижна, как монумент Отвращению. Потом вернулся Агасфер Лукич, запыхавшийся от подъема на двенадцатый этаж и очень недовольный. Швырнув портфель в угол, он уселся рядом со мной и сказал:

— Это тот случай, когда я не испытываю никакого удовлетворения. Фактически я его обманул. Не нужны ему те мелочи, дребедень эта, которую я ему всучил... Ему Великое служение нужно! Он создан для служения! Чтобы всех, кто под ним, — в грязь, но и сам уж перед вышестоящим — в пыль... А я ему — дачу в Песках...

Демиург произнес, не оборачиваясь:

— Все они хирурги или костоправы. Нет из них ни одного терапевта.

По-моему, это тоже была цитата, но я не сумел вспомнить — откуда и, наверное, поэтому не понял, что он хотел сказать.

6. Разговоры об истории. О новой истории, о новейшей истории и особенно часто — об истории древней. Агасфер Лукич из истории знает всё. Есть у него один-два пробела (например, Центральная Америка, шестой век, — «тут я несколько поверхностен...»), но в остальном он совершенно осведомлен, захватывающе многоглаголен и нарочито парадоксален. «Не так все это было, — любит приговаривать он. — Совсем не так».

Иуда. Да, был среди них такой. Жалкий сопляк, мальчишка, дрисливый гусенок. Какое предательство?! Перестаньте повторять сплетни. Он просто делал то, что ему велели, вот и все. Он вообще был слабоумный, если хотите знать...

«Не мир принес я вам, но меч». Не говорилось этого. «Не мир принес я вам, но меч...ту о мире», — это больше похоже на истину, так сказано быть могло. Да, конечно, по-арамейски подобная игра слогов невозможна. Но ведь по-арамейски и сказано было не так. «Не сытое чрево обещаю я вам, но вечный голод духа». Причем так это звучит в записи человека явно интеллигентного. А на самом деле вряд ли Учитель рискнул бы обращаться с такими словами к толпам голодных, рваных и униженных людей. Это

было бы просто бестактно...

Конечно же Он все знал заранее. Не предчувствовал, не ясновидел, а просто знал. Он же сам все это организовал. Вынужден был организовать.

«Осанна». Какая могла быть там «осанна», когда на носу Пасха, и в город понаехало десять тысяч проповедников, и каждый проповедует свое. Чистый Гайд-парк! Никто никого не слушает, шум, карманники, шлюхи, стража сбилась с ног... Какая могла быть там проповедь добра и мира, когда все зубами готовы были рвать оккупантов и если кого и слушали вообще, то разве что антиримских агитаторов. Иначе для чего бы Он, по-вашему, решился на крест? Это же был для Него единственный шанс высказаться так, чтобы Его услышали многие! Странный поступок и страшный поступок, не спорю. Но не оставалось Ему иной трибуны, кроме креста. Хоть из обыкновенного любопытства должны же были они собраться, хотя бы для того, чтобы просто поглазеть, — и Он сказал бы им, как надо жить дальше. Не получилось. Не собралось почти народу, да и потом невозможно это, оказывается, — проповедовать с креста. Потому что больно. Невыносимо больно. Неописуемо.

7. ...Я был в полном отчаянии. Видимо, начиналась уже истерика. Я собою не владел. Не помню, как я оказался на лестничной площадке. В ушах гудело — то ли бешеная кровь накручивала спирали в помраченном мозгу моем, то ли перекатывалось в лестничных пролетах эхо от удара двери, которую я изо всех сил за собой захлопнул.

Весь трясясь, но уже в себе, я спустился на этаж ниже и присел на калорифер. Ледяное железо резало зад, но не было сил стоять, и даже не в силах дело — в голову мне не приходило встать на ноги. Я весь сосредоточился на процессе закуривания. Шарил по карманам, ища мундштук. Долго извлекал сигарету из пачки прыгающими пальцами, сломал две, прежде чем вставил в мундштук третью. Потом принялся ломать спички одну за другой, но закурить в конце концов удалось, и, едва успев сделать первую затяжку, я услышал шаги.

Кто-то поднимался по лестнице, да так быстро, с энергичным напористым ширканьем одежды, мощно, по-спортивному дыша и даже напевая что-то вместе с дыханием, что-то классическое — не то «Рассвет на Москве-реке», не то «Боже, царя храни». И я подумал злобно: это же надо, какой веселый, энергичный клиент у нас пошел, наверняка с какой-нибудь особенной гадостью, с гадостью экстра-класса, с такой гадостью, чтобы уж всех вокруг затошнило, чтобы женщины плакали, сами стены блевали, и сотня негодяев ревела: «Бей! Бей!»...

Он увидел меня и остановился пролетом ниже. Фигура моя здесь, на лестнице, застала его врасплох. Теперь ему надлежало немедленно принять респектабельный и, по возможности, внушительный вид, дабы сразу было ясно, что перед вами не шантрапа какая-нибудь, не горлопан из молодежного клуба, не полоумный прожектер какой-нибудь, а человек солидный, личность, со значительным прошлым, с весом, со связями, готовый предложить, отдать, пожертвовать идею, которую он глубоко продумал в тиши своего личного кабинета и отшлифовал в диспутах с людьми заслуженными, излюбленными и высокопоставленными.

Белесовато-бесцветная, квадратная физиономия его с остатками юношеского румянца на щеках, как бы присыпанных пудрой, наглые васильковые глаза с пушистыми ресницами педераста мимолетно показались мне знакомыми — где-то я видел этот приторный набор — то ли в рекламном ролике, то ли на плакате... Я не захотел вспоминать. Я слез с калорифера и, зажавши мундштук в углу рта, чувствуя, как немеют у меня от злобы челюсти, пошел спускаться ему навстречу и вдруг поймал себя на том, что на ходу судорожно похлопываю раскрытой ладонью по перилам.

Он быстро сорвал легкомысленно сдвинутую на затылок шляпу, прижал ее к груди и коротко, по-белогвардейски, дернул головой, отчего белобрысые волосы его слегка рассыпались. И уже явственно проступил на его поганой морде приличествующий джентльменский набор: солидность, печать значительного прошлого, отсвет глубоко продуманной идеи. И вот тогда я его вспомнил. Это был Марек Парасюхин по прозвищу Сючка, мы вместе кончали десятый класс, а потом он, окончивши все, что полагается, стал литсотрудником тоненького молодежного журнальчика с сомнительной репутацией, расхаживал в черной коже (не подозревая, конечно, по серости, что это форма не только эсэсовских самокатчиков, но и американских «голубеньких»), публиковал статейки, в коих тщился реабилитировать Фаддея Булгарина либо доказывал кровное родство князя Игоря и Одиссея Итакского, а в анкетах в графе «национальность» неизменно писал «великоросс». И известно мне было, что в определенных кругах на него рассчитывают.

— Ты зачем сюда приперся, скотина? — произнес я перехваченным голосом, надвигаясь на него.

Против света не видел он моего лица и узнать меня не мог, и теперь, задним числом, я понимаю, что до определенного момента он воспринимал все мои слова и действия как своего рода проверку, искус своего рода. Он приятно осклабился и ответил:

— Явился по вызову. Моя фамилия Парасюхин, честь имею.

— Сука ты, дрянь поганая, — произнес я, с наслаждением беря его за манишку.

Улыбка его несколько побледнела, но он продолжал рапортовать:

— Готов к докладу. Имею проект, предварительно одобренный...

— Какой еще проект? — просипел я, наматывая его манишку на кулак. Глаза у меня застилало. Отвратительное чувство априорной безнаказанности владело мною. Ведь вся эта погань испытывает наслаждение, не только издеваясь над теми, кто попал ей в лапы, она же наслаждается и собственными своими унижениями в лапах того, кого считает выше себя.

Парасюхин только пискнул: «Однако же... Позвольте...» — и тут же продолжал:

— Имею проект полного и окончательного решения национального вопроса в пределах Великой России. Учитывая угрожающее размножение инородцев... учитывая, что великоросс не составляет уже более абсолютного большинства... На новейшем уровне культуры и технологии... Без лишней жестокости, не характерной для широкой русской души, но и без послаблений, вытекающих из того же замечательного русского свойства... Право же... мне немножко дышать... неудобно... Особое внимание уделяется проблеме еврейского племени. Не повторять ошибок святого Адольфа! Никаких «нутциге юде»...

Я врезал ему левой между глаз, да так, что сразу отшиб себе все косточки в кулаке. Руку мне пробило болью до самого плеча. Он болезненно охнул и замолчал. Мы раскачивались на площадке, лицо в лицо, тяжело дыша, как борцы на ковре. Я тянул его правой рукой за манишку к себе (совершенно непонятно — зачем, мерзко подумать, что целился я вцепиться зубами ему в нос), левая рука моя висела плетью, она хотела бить, но не могла, а он слабо упирался, из расквашенного носа у него текло, одичавшие глаза разъезжались. Но он нашел в себе силы снова изобразить улыбку и продолжить:

— Полуостров Таймыр переименовать в Новую Галилею... Или Галилею Ледовитую... Район, давно уже требующий решительного освоения... и никому не будут мозолить глаза... Третья мировая уже идет... сионизм против всего мира...

Я швырнул его по лестнице вниз и бросился следом. Я гнал его уцелевшим кулаком и пинками пролет за пролетом, а он все не понимал, все пытался оправдаться, лицо его было разбито в кровь, ни единой пуговицы не осталось на пальто, шляпа пропала. Но каждый раз, оторвавшись от меня на расстояние вытянутой ноги, он хватался за перила,

истово выкатывал глаза и визжал свое:

— Язву смешанных браков — каленым железом... Поздно будет... И особенно подчеркиваю, что надвигается время армянского вопроса... Пора это уже понять... Армян — в Армению!.. Поздно же будет, россы!..

И вдруг на каком-то этаже он меня узнал. Он завизжал, как женщина, и огромным прыжком оторвался от меня на целый пролет. А у меня уже и сил не было. Я сел на ступеньки и, кажется, заплакал — от боли в руке, от тоски, от безнадежности.

Он стоял на площадке пролетом ниже, расхлюстанный, весь в черных пятнах, судорожно раскорячив руки и оскалив окровавленные зубы, глядел на меня снизу вверх и повторял, не находя слов:

— А ты... А ты... А ты...

И я глядел на него сверху вниз и с отчаянием думал, что вот опять я ничего не могу, даже сейчас, когда всего-то и надо, что раздавить мерзкую поганку, когда, казалось бы, все в моих руках, только от меня и зависит, и никто мне помешать не успеет, не посмеет мне никто помешать, но — не могу. Слаб, заморочен, скован, сам себя повязал по рукам и ногам взаимоисключающими принципами... «Раздави гадину...» — «Не убий...». «Если враг не сдается...» — «Человек человеку — друг...». «Человек по натуре добр...» — «Дурную траву с поля вон...». И ведь подумать только, который месяц уже нахожусь я у источника величайшего могущества, давным-давно смог бы устроить свою судьбу, и не только свою, и не только своих близких — судьбы мира мог бы попытаться устроить! И ведь ничего...

И тут он, Сючка поганая, непотребная, нашел наконец нужные слова и прошипел радостно:

— То-то жена у тебя полупархатая! Прихвостень жидовский...

Я кинулся на него сверху. Убить. Наверное. Я еще успел увидеть вскинутую руку его, и сразу же, одновременно, — лиловая вспышка, треск выстрела и страшный удар в голову.

Теперь мне кажется, что я тогда нисколько не удивился. Мне и в голову не приходило, что такая тля, как Парасюхин, может быть вооружена. Но когда он выстрелил, это меня нисколько не удивило.

Очнулся я на своем рабочем месте. Раскрытый бювар. Набор шариковых ручек. Календарь. Шестнадцатое ноября. Толстый красный фломастер и тонкий черный. Все было готово к работе.

Клиент, правда, к работе готов еще не был. Он ворочался в своем кресле, хлюпал носом, болезненно тянул воздух сквозь зубы и промакивал лицо мокрым испачканным платком. Никаких тезисов на столе перед ним

не усматривалось — то ли не успел он их еще вынуть, то ли знал свое дело наизусть.

Голова моя, в особенности с правой стороны, разламывалась от боли, и, поднеся осторожную руку к виску, я обнаружил, что обмотан толстым слоем бинта — вокруг всей головы и вокруг шеи.

Голос Демиурга грянул:

— Кстати, откуда у вас пистолет?

Клиент с достоинством продекламировал:

— Всякая истинная идея должна уметь защитить себя. Иначе грош ей цена.

И с шумом потянул в себя кровавые сопли.

Телефон квакнул над моей многострадальной головой. Я снял трубку.

— Я поздравляю вас, Сергей Корнеевич, — сказал Демиург. — Вы получили контузию у меня на службе. Вы должны знать, что это вам зачтется. Однако в дальнейшем я попрошу вас обходиться без рукоприкладства. Я же ведь — обхожусь!

— Да, — сказал я.

— А теперь распорядитесь, — сказал Демиург, — чтобы клиент приступал. И чтобы покороче.

Я повесил трубку и сказал клиенту:

— Приступайте, пожалуйста. И постарайтесь быть кратким.

8. Рассказывают, что, когда товарищу Сталину демонстрировали только что отснятый фильм «Незабываемый 1919-й», атмосфера в просмотровом зале с каждой минутой становилась все более напряженной. На экране товарищ Сталин неторопливо переходил из одной исторической ситуации в другую, одаряя революцию единственно верными решениями, и тут же суетился Владимир Ильич, то и дело озабоченно произносящий: «По этому поводу вам надо посоветоваться с товарищем Сталиным», — все было путем, но лицо Вождя, сидевшего по обыкновению в заднем ряду с погашенной трубкой, порождало у присутствующих все более тревожные предчувствия. И когда фильм окончился, товарищ Сталин с трудом поднялся и, ни на кого не глядя, произнес с напором: «Нэ так всо это было. Савсэм нэ так».

Фильм, впрочем, прошел по экранам страны с обычным успехом и получил все полагающиеся премии.

9. Так вот: не так все это было, совсем не так.

10. Иоханаан Богослов родился в том же году, что и...

ДНЕВНИК. 16 ИЮЛЯ

Сегодня утром, когда я возвращался из столовой, в большом коридоре на меня с разбегу налетел какой-то юнец, по виду — типичный _куст_, — весь в зеленом и пятнистом, босой, и полна голова репьев. Налетел он на меня с такой силой, что репьи посыпались во все стороны, и стал выпытывать, где ему найти Г. А. Сначала я не хотел его осведомлять, потому что знал, что Г. А. сейчас сидит у себя в кабинете и проверяет наши тест-программы. Но куст шумел, трепыхался, размахивал ветвями и чуть не плакал. Правая щека у него была заметно больше и румянее левой, мне стало его жалко, и я на нем сосредоточился. Ничего не удалось мне разобрать в его потемках, кроме бурлящего там беспокойства, граничащего с отчаянием, и я отвел его к Г. А.

Я уже забыл об этом происшествии, как вдруг Г. А. зашел ко мне и произнес обычное: «Пойдемте со мною, Князь».

Лицо Г. А. ничего не выражало, кроме обычной благожелательности. Пока мы шли по бульвару, он не уставал раскланиваться со всеми встречными и поперечными и раз даже остановился поболтать с какой-то раскрашенной старухой лет пятидесяти, но я-то чувствовал (даже не сосредоточиваясь), что он озабочен, причем озабочен сильно, гораздо сильнее обычного. И тогда я вспомнил о том кусте и спросил Г. А., чего ему было надо. Г. А. ответил, что я скоро сам все пойму, и мы вошли в горисполком.

Мы прошли прямо в кабинет к мэру, нас, видимо, ждали, потому что секретарша без лишних слов тут же распахнула перед Г. А. дверь.

Мэр уже шел нам навстречу по ковровой дорожке, разнообразными жестами выражая радушие. (Мне он сказал: «Я тебя помню, ты Вася Козлов». Мы с Г. А. не стали его поправлять.) Мэр тоже был озабочен, и это тоже было видно невооруженным глазом. Они с Г. А. сели лицом друг к другу за стол, а я скромно примостился у стены. Последовавший разговор я конспектировал и привожу его довольно близко к тексту.

Мэр начал было о погоде, но Г. А. его сразу же деликатно прервал — похлопал его ладонью по руке и сказал: «До меня дошли слухи, что готовится некая акция против Флоры. Это правда?»

Мэр сразу же перестал радушно улыбаться, отвел глаза и стал мямлить в том смысле, что да, есть кое-какие соображения по этому поводу. «Я слышал, что вы намерены их прогнать», — сказал Г. А. Мэр промямлил в

том смысле, что прогнать — не прогнать, а формируется такое мнение, что надо бы их попросить — и из самого города, и из-под города, и вообще. «А если они не согласятся?» — спросил Г. А. «Так в этом-то всё и дело!» — сказал мэр с горячностью.

Г. А. спросил, кто это затевает и с чего это вдруг. Мэр сказал, что по поводу этой распроклятой Флоры на него давят со всех сторон уже давно, а теперь, после этого распроклятого концерта на стадионе, все словно взбеленились. Г. А. сказал, что, по его сведениям, ничего особенного на концерте не произошло. Мэр возразил: как-никак четверо покалечены, стекол побили тысяч на пять, автобус перевернули, две легковушки помяли — в общем и целом тысяч на пятнадцать.

Г. А.: А при чем здесь Флора?

Мэр: Там было полно фловеров. Все четверо пострадавших — фловеры.

Г. А.: Там же были не только фловеры. Там были студенты, рабочая молодежь, солдаты. Там были «дикобразы».

Мэр: «Дикобразов» след простыл, а фловеры твои — тут как тут. Всем мозолят глаза и всем жить мешают.

Г. А. осведомился, кому персонально мешают жить фловеры. Выяснилось, что главный противник пригородной Флоры — завгороно Ревекка Самойловна Гинсблит. Она и сама-то рвет и мечет, а вдобавок ее подзуживают и растравливают остервеневшие родители. Флора притягивает ребятишек как магнитом. Бегут из дома, бегут с занятий, бегут из спортлагерей. Жуткие манеры, жуткие моды, жуткие нравы, ничего не читают, даже телевизор не смотрят. Масса сексуальных проблем, страшные вещи происходят в этой области. И наркотики! Вот что самое страшное!

Далее — милиция. Милиция утверждает, что половина всех хулиганских проступков и три четверти мелких краж в городе, если брать два последних года, — дело рук фловеров. И вообще, Флора ежедневно и ежечасно порождает преступность. Вдобавок на милицию жмут производственники, у которых прогулы и текучесть молодежных кадров, кл`убники, комсомол, жилконторы, ветераны, дружинники, кооператоры, итэдэшники. Все это сидит у мэра на шее уже больше двух лет, а сейчас все словно с цепи сорвались, и он, мэр, боится, что вот-вот дойдет до насильственных действий, чего он, мэр, не терпит и терпеть не намерен. Он, если хотите знать, и в отставку может подать в такой вот ситуации, благо сессия на носу...

Г. А.: Подавать в отставку ни в коем случае нельзя. И руки заламывать тоже нельзя, в тоске и печали. Ты — мэр, ты обязан контролировать

ситуацию. Ты — первый человек города, ты — лицо города. Тебя для этого выбирали. Если ты уступишь этим экстремистам, позор на всю Россию, на весь мир позор.

Мэр: Меня убеждать не надо. Ты их попробуй убеди.

Г. А.: Будь покоен. А я хочу быть спокоен, что не подведешь ты.

Мэр: Это для тебя они экстремисты, а для меня — ближайшие помощники, мне с ними работать и работать, я без них как без рук. А страшнее всего, если хочешь знать, — родители! С ними не поговоришь, как с тобой или, скажем, как с Ревеккой. На них логика не действует!

Г. А.: Ревекка тоже не сахар. Для нее, между прочим, Флора — это только предлог. Она гораздо дальше метит.

Мэр: Знаю. В тебя она метит.

Г. А. (демонстративно поглядев в мою сторону): Тихо, тихо, Петр! Дэ ван лез анфан!

Мэр снова закатывает речь о том, как ему тяжело. На носу осенняя сессия. Итэдэшники требуют снижения регионального налога. Контракт с грузинами заключили, а проект до сих пор не готов. В ноябре общеевропейская конференция в обсерватории, сам Делонж приедет, а где их селить? Старую гостиницу снесли, а новую и до половины не построили. И так далее. Одним словом — самое время в отставку. Г. А. похлопывает его по руке, смеется, но по-прежнему озабочен. А вот мэру явно полегчало. Видимо, ему просто некому было тут поплакать в жилетку.

Г. А.: Значит, я на тебя надеюсь.

Мэр: На мэра надейся, но и сам не плошай.

Оба смеются. И тут в кабинет вваливается какой-то деятель с бюваром. Коломенская верста, по всей голове — белоснежная седина, а лицо молодое, острое и красное, как у индейца. Одет безукоризненно. Разит одеколоном на весь дом. Сначала он мне просто даже понравился, тем более что с ходу подключился к беседе, причем на стороне Г. А.

Г. А. при нем и рта не раскрыл, а он высыпал на мэра все те же безотбойные аргументы: лицо города, срам на всю Европу, нечего потакать крикунам и паникерам. И даже более того, — почтительные, но твердые упреки «господину мэру»: нельзя быть нерешительным, колебания — залог поражения, давно пора стукнуть кулаком по столу и показать, кто именно в городе хозяин.

Из контекста его выступления мне стало ясно, что он у нас в городе главный по культуре. Вся наша городская культурная жизнь, как я понял, лежит на его широких плечах и им одним вдохновляется — конечно, при поддержке «господина мэра» и вопреки яростному сопротивлению

крикунов и паникеров. (Сам себя не похвалишь, то кто же?) Оказывается, и концерт Джихангира на нашем стадионе — это тоже его личная заслуга. Именно он, вопреки крикунам и паникерам, переманил к нам Джихангира из-под самого носа у Оренбурга, и вот теперь вся Европа пишет про нас, а не про них.

Мэру все это нравилось, он бодрел прямо на глазах, и вдруг Г. А. ни с того ни с сего сказал — причем голосом неприятным и даже сварливым: «Петр Викторович, я рассчитывал говорить с вами с глазу на глаз. Если вы заняты, я могу зайти позже». Возникла очень неловкая пауза, у мэра челюсть отвалилась, а наш культуртрегер так просто почернел. Впрочем, он быстро оправился, заулыбался и, извинившись, сказал как ни в чем не бывало, что забежал, собственно, только на минутку — подписать вот эту смету. Мэр, не читая, подмахнул, и культуртрегер, вновь извинившись, удалился. После этого произошел следующий разговор.

Мэр: Ну, брат Георгий Анатольевич, ты меня удивил! Единственный человек в городе тебя поддержал, и ты его — как врага!

Г. А. (тоном нравоучительным до нарочитости): А мне, Петр Викторович, чья попало поддержка не нужна. Я, Петр Викторович, человек разборчивый.

Мэр: А я, значит, неразборчивый. Спасибо тебе. Однако мое мнение: кто за доброе дело, тот и есть мой союзник. Нравится он мне или не нравится, симпатичен мне или антипатичен.

Г. А.: За доброе дело не всегда выступают из добрых намерений. Представь себе, например, что наш военторг затоварен десантными комбинезонами бэ-у. Кто главный потребитель этого тряпья? Фловеры. И кто будет тогда главным защитником Флоры? Заведующий военторгом.

Мэр (с огромным подозрением): Ты на что это намекаешь?

Г. А.: Я пока ни на что не намекаю. Вокруг доброго дела всегда толкутся разные люди — и добрые, и недобрые, и полные подонки. Флора — это рынок сбыта наркотиков. Удар по Флоре — удар по наркомафии. Помяни мое слово, если завтра в городе начнется дискуссия, завтра же газеты обвинят меня в том, что я — главный мафиози. А ты — мой сподвижник!

Мэр (ошарашенно): Йокалэмэнэ! Об этом я не подумал.

Г. А.: Вот и подумай. И будь готов: драка предстоит почище, чем на выборах.

Когда мы вышли от мэра, Г. А. спросил, что я думаю по этому поводу. Не очень-то приятно объявлять своему учителю, что ты с ним не согласен, но истина дороже, и я честно ответил: Флора мне активно не нравится, я

считаю ее источником всякой скверны, текущей в город, так что выходит, мои симпатии на стороне противников Г. А. Другое дело, что я тоже не хочу и против насильственных действий. Язвы надо лечить, а не вырубать из тела топором. Так что в этом отношении я на стороне Г. А.

Г. А. помолчал, а потом спросил, что я думаю по поводу свободы образа жизни. Я ответил, что эта свобода, конечно же, должна быть полной, но при условии, что избранный образ жизни никому не мешает. «Так что в этом отношении ты на стороне Флоры?» — сказал Г. А. довольно ядовито. Я растерялся, но не больше чем на полминуты. Я возразил, что никогда не утверждал, будто Флора во всем не права. У Флоры, конечно же, есть свои плюсы, иначе она не привлекала бы к себе так много людей.

По-моему, Г. А. понравилось мое рассуждение, но разговор на этом кончился, потому что мы пришли в гороно и оказались перед секретарем заведующей. Секретарша удалилась в кабинет Ревекки, и ее довольно долго не было, так что мы стояли без толку и разглядывали прошлогоднюю выставку детского рисунка, развешанную по стенам. Мне понравилась акварелька под названием «Любимый учитель». Был изображен Г. А. — почему-то за обеденным столом. В одной руке у него был огромный кусок торта, в другой — огромный уполовник с вареньем, и еще огромная банка с вареньем стояла на столе перед ним. Видимо, парнишка собрал на картинке все свои предметы любви.

Потом мы предстали.

Ревекка Самойловна поздоровалась с Г. А. и сразу же спросила: «А что это за юноша?» Г. А. сказал: «Это мой выпускник, ему было бы полезно послушать, ты не возражаешь?» Ревекка явно хотела сначала возразить, но потом почему-то раздумала. Она протянула мне руку, и мы познакомились. Я сел в уголок и стал смотреть и слушать.

Она немолодая, но сногсшибательно красивая. У меня из-за этого мысли были вначале несколько набекрень. И мне понадобилось очень основательно осознать, до какой степени она враг Г. А., чтобы я перестал видеть в ней женщину. (Вообще-то они с Г. А. знакомы с незапамятных времен. Они вместе учились в Ташлинском педтехникуме, а потом в Оренбургском педвузе. Он на три года ее старше. Кажется, отцы их тоже росли вместе и даже вместе воевали где-то. В Афганистане, наверное. Поразительно красивая женщина. А какова же она была тридцать лет назад?)

Г. А. перешел прямо к делу. Он сказал, что пришел самым покорнейшим образом просить ее смягчить свою позицию по отношению к Флоре. Он называл ее Ривой и смотрел на нее почти умоляюще.

Она холодно возразила в том смысле, что обо всем об этом у них с ним уже сто раз говорено и переговорено и что ждать от нее смягчения позиции просто нелепо. Или Флора, может быть, перестала быть источником нравственной проказы? Или, может быть, Г. А. придумал новые аргументы, способные успокоить обезумевших от беспокойства родителей? Или Г. А. изобрел способ отвлекать неустойчивых школьников от низких соблазнов Флоры? Может быть, лучи изобрел какие-нибудь? Или микстуру? Впрочем, называла она его Жорой и была скорее иронична, чем неприязненна.

Г. А. иронии не принял. «Ты хорошо представила себе, как это будет? — спросил он. — Этих мальчишек и девчонок будут волочить за ноги и за что попало и швырять в грузовики, их будут избивать, они будут в крови. Потом их перешвыряют на платформы, как дрова, и куда-то повезут. Тебе это ничего не напоминает?»

Она несколько побледнела и построжела, но тут же возразила, что Г. А. сгущает краски, все эти ужасы вовсе не обязательны, все будет проделано вполне корректно и в рамках человечности.

Г. А. сказал: «Ты прекрасно понимаешь, что никакой корректности при выполнении подобных акций быть не может. Наши дружинники и наша милиция — это всего-навсего обыкновенные горожане, точно такие же обезумевшие от беспокойства родители, родственники и просто ненавистники Флоры. При малейшем сопротивлении они сорвутся и начнут карать. Потом они опомнятся, им сделается непереносимо стыдно, и чтобы спасти свою совесть от этого стыда, они дружно примутся оправдывать себя друг перед другом и в конце концов эту самую позорную страницу своей жизни они представят себе как самую героическую и, значит, изувечат свою психику на всю оставшуюся жизнь».

Она нервно закурила, ломая спички, и снова сказала, что Г. А. сгущает краски, что она и сама, разумеется, не видит ничего хорошего в этой акции, но вовсе не намерена рассматривать ее как некую преступную трагедию. Главное — все тщательно и четко организовать. Разумеется, всем участникам будет внушено, что они действуют во имя добра и должны действовать только добром...

Г. А. не дал ей договорить. «Держу пари, — сказал он с напором, — что сама ты не осмелишься присутствовать на этой акции. Ты все тщательно и четко организуешь, ты произнесешь нужные речи и дашь самые правильные напутствия. Но сама ты останешься здесь, за этим вот столом, — заткнув уши и закрыв глаза, будешь сидеть и мучительно ждать, пока тебе доложат, что все окончилось более или менее благополучно».

Еле сдерживаясь, она объявила, что не желает больше слушать этого

карканья. Она совершенно убеждена, что никаких ужасов не произойдет.

Г. А. сказал печально: «Ты наговариваешь на себя. Я ведь вижу, ни в чем ты не убеждена. Ни в какие магические свойства инструкций и напутствий ты не веришь. Ты же умница, ты же знаешь людей. И, конечно, ты своевременно позаботишься о том, чтобы все больницы города были приведены в полную готовность, ты и соседние медсанбаты задействуешь, и в тылах твоей армии двинутся на Флору десять, двадцать, тридцать карет «Скорой помощи»... Само решение твое организовать эту акцию уже проделало дырку в твоей совести. Сейчас ты эту дырку начала латать и будешь латать ее дальше...»

И тут она сорвалась. «Прекрати демагогию! — почти закричала она. — Перестань выкручивать мне руки! И не воображай, пожалуйста, будто я стану разводить антимонии вокруг моей дырявой совести, когда речь идет о судьбе детей, которых ежедневно отравляет эта зараза...»

Тут вот, совершенно не вовремя, у меня опять схватило живот, да так, что глаза на лоб полезли, и я почти перестал слышать что-либо, просто стало ни до чего. (Возрастное это у меня, соматическое или психическое — когда схватывает, разницы никакой. Главное, что не вскочишь, не побежишь вон, да и не знал я, где у них там заведение.)

Я сидел, обхвативши свой несчастный живот, и молился только об одном, чтобы лицо мое ничего не выражало. Вспоминалось: харакири; рак желудка; лисенок, пожирающий внутренности юного спартанца. И сейчас я просто горжусь, что, несмотря на мое несчастье, я все-таки кое-что услышал, запомнил и даже записал. Правда, только то, что говорил Г. А. От Ревекки остался в памяти один лишь резкий, почти истерический голос, от которого боли мои заметно усиливались, словно попадая в резонанс. А вот Г. А., чем больше она на него кричала, говорил все тише и печальнее.

Человечность едина. Ее нельзя разложить по коробочкам. А человечность, которую вы все исповедуете, состоит из одних принципов, вся расставлена по полочкам, там у вас и человечности-то не осталось — сплошной катехизис. Твой ученик лучше сожжет свои старые ботинки, чем отдаст их босому фловеру. И будет считать себя человечным в самом высоком смысле: «Пойди и заработай», — скажет он.

(Сейчас я вспомнил: на прошлой неделе какой-то скот подкинул Флоре ящик тухлых консервов. Я, пожалуй, берусь логически обосновать позицию, с которой это деяние выглядит высокочеловечным. Тезис первый: человечность должна быть с кулаками... И так далее.)

Человечность выше всех ваших принципов, сказал Г. А. Человечность выше всех и любых принципов. Даже тех принципов, которые порождены

самой человечностью.

Потом обнаружилось, что они почему-то говорят уже о лицеях. Оказывается, существуют две крайние точки зрения. Одни считают, что лицеи надобно упразднить как заведения элитарные и противоречащие демократии, а другие — что сеть лицеев, наоборот, надлежит всемерно расширять и открывать по стране не три лицея в год, как сейчас, а тридцать три. Или триста тридцать три. Замечательно, что и в том, и в другом случае самой идее лицея как школы, в которой учат будущих учителей, самым благополучным образом наступает окончательный конец.

Не знаю, заметил ли Г. А. мое состояние, или исчерпалась необходимость в дальнейшем продолжении беседы, но он вдруг (мне показалось — ни с того ни с сего) поднялся и произнес:

— Что, Рива, дорогая моя, мерзко тебе чувствовать себя госпожой Макиавелли?

И произнес он это таким странным голосом, что у меня разом прошли все мои боли, и я полностью очухался, — весь мокрый от пота, но в остальном как огурчик.

Ревекка вдруг покрылась красными пятнами, сделалась совсем старой и некрасивой и объявила с вызовом:

— Понятия не имею, что ты имеешь в виду.

Что и было явным враньем. Прекрасно она понимала, что Г. А. имеет в виду. В отличие от меня.

И тогда Г. А. сказал совсем уже тихо:

— Приговор мне и моему делу читаю я на лице твоем.

И мы ушли. Вежливо попрощавшись.

(Мы свернули по коридору направо и очень скоро оказались перед дверью в сортир. Вопрос на засыпку: зашли мы туда потому, что это понадобилось Г. А., или потому, что он таким образом дал мне деликатно возможность воспользоваться? И тогда, спрашивается, что правильнее: проявить такую деликатность, но зато заставить потом младшего ломать голову, нет ли в этой деликатности некоего унижающего манипулирования его, младшего, самодостаточностью; или прямо сказать ему: сортир направо, я подожду здесь, — что, безусловно, на минутку покажется ему, младшему, неприятно бестактным, но зато не оставит по себе никаких обременяющих сомнений и рефлексий. Не знаю. Я не знаю даже, важно ли это и стоит ли об этом думать. Сам Г. А. наверняка о таких пустяках не думает и в подобных ситуациях действует совершенно рефлекторно. Но, с другой стороны, тот же Г. А. утверждает, что в отношениях между людьми пустяков не бывает.)

На лестнице Г. А. процитировал: «Шли головотяпы домой и воздыхали. Один же из них, взяв гусли, запел... Откуда?» Вместо ответа я продолжил: «Не шуми, мати, зеленая дубравушка...» Однако обычного удовольствия от обмена такого рода репликами мы не испытали. Во всяком случае, я. А когда мы вышли на улицу, Г. А. вдруг остановился и, посмотрев на меня и сквозь меня, произнес задумчиво: «Когда доброму гражданину цивилизованной страны больше некуда обратиться, он обращается в милицию». И мы направились в гормилицию. Три автобусные остановки. Довольно жарко. Тени нет.

У входа в «Снегурочку» нас словно поджидал некий очень молодой гражданин, который пристроился к Г. А. и сказал ему негромко, глядя прямо перед собой: «Они уже автобусы готовят». Я узнал его, это был давешний куст, но уже без репьев в голове, умытый и облаченный в цивильное, как все добрые граждане.

Г. А. ничего ему не ответил, только кивнул в знак того, что услышал и принял к сведению. Юнец тут же отстал, а Г. А. почему-то пошел медленнее, без всякой целеустремленности, а как бы фланируя, и даже руки заложил за спину. Так и профланировали мы до самого подъезда гормилиции. Г. А. молчал, а я — тем более. Перед подъездом он вдруг как-то прочно остановился. «Нет, — сказал он мне, — к этому разговору я еще не готов. Пойдемте-ка домой, ваша светлость».

Перечитал записи последних дней насквозь. Мне не нравится:

1. Что Г. А. так активно вступился за Флору. Милосердие милосердием, но, по сути дела, речь идет о выборе между благополучием все-таки подонков и социальным здоровьем моего города.

2. Что Г. А. явно останется в одиночестве. Если уж мне не хочется его поддерживать, то что же тогда говорить, например, о Ване Дроздове и о Сережке Сенько?

3. И мне не нравится то, что я сейчас написал. Люди несоизмеримы, как бесконечности. Нельзя утверждать, будто одна бесконечность лучше, а другая хуже. Это азы. Я отдаю предпочтение одним за счет других. Это великий грех. Я опять запутался.

Муторно. Поужинаю — и сразу спать.

17 ИЮЛЯ. 5 ЧАСОВ УТРА

События развиваются странно.

Около полуночи Г. А. постучался и безо всяких объяснений велел нам с Мишелем одеваться. (Я проспал часа три, а Михей вообще только глаза завел.) Мы оделись и сели в машину — Г. А. за руль, мы сзади.

Сначала я подумал было, что Г. А. решился наконец запустить нас в ночную смену на скотобойню, но мы поехали совсем в другую сторону, к университету, и остановились в тени новостройки неподалеку от третьего блока общежития для женатиков. Там Г. А. велел Мишелю сесть за руль и ждать, а сам удалился — пересек сквер и нырнул в пятый подъезд.

«Как интере-е-есно», — фальшивым голосом пропел Мишка и спросил меня, заметил ли я, как странно одет Г. А. Я ответил, что да, заметил, и в свою очередь спросил, заметил ли Мигель, что в этом полотняном балахоне Г. А. какой-то непривычно толстый и неповоротливый. Мигель заметил и это. Он приказал мне выйти из машины и принялся проверять стоп-сигналы, указатели поворота и прочее электрооборудование.

Пока мы этим занимались, откуда ни возьмись появился Г. А. в сопровождении какого-то хомбре. Это был очень красивый хомбре баскетбольного роста, головы на три длиннее Г. А. Лет ему было порядком за двадцать, на нем был немолодой варсовый костюмчик, — вернее сказать, только штаны были на нем, а курточку он все никак не мог на себя напялить, видно, сильно нервничал, и она у него совсем перекрутилась на могучих плечах, в рукава не попасть.

Увидевши меня, он стал как вкопанный и спросил сипло: «А этого зачем?» Очень я ему не занадобился, он даже с курточкой своей воевать перестал. Г. А. буркнул ему что-то успокаивающее, но он не успокоился и жалобно проныл: «А может, не надо, Георгий Анатольевич?» Г. А., не вдаваясь, приказал ему сесть назад, и он сел, словно натянув на себя через голову нашу бедную малолитражку. Г. А. сел рядом с ним, а я вперед — рядом с Мишелем. Хомбре опять уже ныл в том смысле, что надо ли да стоит ли, но Г. А. его совсем не слушал. Он приказал Михаилу: «В университет», — и мы поехали. Хомбре тут же заткнулся, видимо, отчаялся.

Мы подъехали к университету и принялись колесить по парку между зданиями. Г. А. командовал: направо, налево, — а хомбре только один раз

подал голос, сказавши: «Со двора бы лучше, Георгий Анатольевич...» Со двора мы и заехали. Это был двор лабораторного корпуса. Ничего таинственного и загадочного.

Г. А. скомандовал нам не отходить от машины и ждать, а сам вместе с хомбре двинулся вдоль задней стены, и они исчезли за контейнерами. Где-то там хлопнула дверь, и снова стало тихо.

«Как интере-е-есно», — повторил Мишель, но ни ему, ни мне не было интересно. Было тревожно. Может быть, именно потому, что никаких оснований для тревоги вроде бы не усматривалось. (Я знаю, что такое предчувствие. Это когда на меня воздействует необычное сочетание обычных вещей плюс еще какая-нибудь маленькая странность. Например, атлетический хомбре, напуганный, как пятилетний малыш. Он ведь так и не сумел натянуть свою курточку, так она и осталась валяться на заднем сиденье.)

Ждать пришлось минут десять, не больше. Прямо над ухом с леденящим лязгом грянуло железо, и в двух шагах от машины распахнулся грузовой люк. Из недр люка этого, как из скверно освещенной могилы, выдвинулся хомбре, на шее которого, обхватив одной рукой, буквально висел наш Г. А. Другая рука Г. А. болталась как неживая, а лицо его было в черной, лаково блестящей крови.

Мы кинулись, и Г. А. прошипел нам навстречу: «Стоп, стоп, не так рьяно, дети мои...» А затем он проскрипел трясущемуся, как студень, хомбре: «Чтобы через два часа вас не было в городе. Заткните этого подонка кляпом, свяжите и бросьте, пусть валяется, а сами — чтобы духу вашего не было!..» И снова нам, все так же с трудом выталкивая слова: «В машину меня, дети мои. Но мягче, мягче... Ничего, это не перелом, это он просто меня ушиб...»

Мы осторожненько впихнули его на заднее сиденье, я сел рядом, прислонив его к себе, и мы помчались. Только две мысли занимали меня тогда. Первая — кто посмел? И вторая — почему бока у Г. А. твердые, как дерево?

Ответ на второй вопрос обнаружился быстро. Когда мы с Майклом принялись обрабатывать Г. А. в лицейском медкабинете, мы прежде всего разрезали на нем дурацкий балахон, спереди весь заляпанный кровью и в двух местах распоротый от шеи до живота. И тогда оказалось, что Г. А. облачен в старинный, времен афганской войны бронежилет.

Выяснилось, что у Г. А. страшенный ушиб левого предплечья (ударили либо какой-то дубиной, либо ногой в подкованном сапоге) и длинная ссадина на правой половине лица, содрана кожа на скуле, надорвано ухо

(по-моему, удар кастетом, но, к счастью, по касательной). Ушибом занимался Мишель, а ссадину обрабатывал я. Еле-еле управился — все внутри у меня тряслось от бешенства и жалости. Теперь я очень понимаю, почему врачи избегают пользовать своих родных и близких.

На протяжении всех процедур Г. А., как и следовало ожидать, развлекал нас шутками. Шуток этих я не запомнил ни одной, но зато очень даже запомнил, как он вдруг сказал с горечью: «Реакция у меня уже не та, ребятки. Да и всю жизнь у меня с реакцией было не ах. Но ведь это же был профессионал. Из бывших десантников, наверное». Словно мальчишка, который оправдывается, что его одолели в драке. Честно говоря, слышать это было странно. И в то же время трогательно. (Сначала я вообще не хотел об этом писать, мало ли кто прочтет, а потом решил: а почему, собственно?)

Дело наше уже подходило к концу, и нам с Мишкой совершенно одновременно пришло в голову: что теперь соврать Серафиме Петровне и вообще всем нашим? Г. А. эту нашу мысль моментально уловил и решительно нас пресек. Звонить никуда не надо, сообщать никому ничего не надо. Тем более не надо врать без самой крайней необходимости. Он благополучнейше переночует в своей каморке при кабинете. Князь сделает ему на ночь укольчик, и утром он, Г. А., будет как новенький.

А перед тем, как отпустить нас, он сказал совсем уже другим тоном, без всякой шутливости, жестко и повелительно:

— Имейте в виду. Сегодня ночью вы постелей своих не покидали и ничего не видели. Я покалечился, потому что поскользнулся на лестнице. И вот что: никаких попыток расследовать, отыскать, отомстить и прочее. Это приказ. И просьба. Не знаю, что для вас обязательней. Особенно это тебя касается, Мигель де Сааведра!

Мы вернулись к себе в два часа ночи. Сейчас пять. Больше двух часов ломали голову: что все это означает? Кто такой этот хомбре? Что Г. А. понадобилось в подвале? Он заранее знал, что будет опасно, и поэтому надел бронежилет. Почему тогда не взял с собой нас? Что еще там за профессионал объявился? Ничего не понятно. Только раздражение одно.

Ложусь спать. Майкл уже спит, только бурболки отскакивают.

Нет, не спит Майкл. Повернулся ко мне и произнес мечтательно:

— А ведь он там так и валяется, связанный. И с кляпом. А?

Что я ему мог сказать?

17 ИЮЛЯ. ВЕЧЕР

Около полудня Г. А. взял меня с собой в гормилицию.

Чувствует он себя неплохо. Рука на перевязи и почти не болит. А что касается ссадины, то великая это вещь — терамидоновый пластырь. Лицо ничуть не опухло, разве что несколько оттянут внешний уголок правого глаза.

Майор Кроманов принял нас без задержки. Я вижу его не впервые и каждый раз удивляюсь, до чего же человек может быть не похож на начальника гормилиции. Он широкий, рыхлый, вяловатый в движениях и обожает поболтать о том о сем. Битых полчаса они с Г. А. рассказывали друг другу разные случаи о падениях с лестниц. А также — с трапов, с пандусов и прочих наклонных путепроводов. Потом Г. А. перешел к делу.

Какова позиция городской милиции в отношении готовящейся акции против Флоры? Что думает по этому поводу он, Михайла Тарасович, лично? Что правильнее: сделать милицию непосредственной участницей планируемой акции или уделить ей роль некоего сдерживающего фактора, некоего нейтрального механизма, призванного обеспечить порядок и дисциплину? Вообще, понимает ли Михайла Тарасович всю деликатность своего положения?

Михайла Тарасович деликатность своего положения понимал очень даже хорошо. Флора — это настоящая куча дерьма. Чем меньше ее трогаешь, тем меньше вони. Таково личное мнение Михайлы Тарасовича. Если бы можно было всю эту кучу в одночасье поддеть на лопату и бесшумно перенести в соседнюю, скажем, область, то это было бы самое то. Однако бесшумно такое дело не сделаешь. Вот если бы поступил приказ УВД, тогда никаких проблем бы не было и быть не могло, и уже не очень важно, шумно ты выполняешь этот приказ или бесшумно. Однако приказа такого нет и что-то не предвидится. А имеет место быть общественное движение. Бесспорно, мощное движение, единодушное, но руководство исполкома не слишком его поощряет, а уж о горкоме и речи пока нет.

Теперь смотрите сюда, дорогуша Георгий мой Анатольевич. Существование Флоры никакими законами не запрещается. Массовая неформальная молодежная организация, никаких преступных целей не преследующая. Статья сорок вторая Общего уложения, пункты А, Б и В. Это с одной стороны. А с другой стороны — массовое общественное движение, которое стремится стереть эту Флору с лица земли, —

волеизъявление большинства, причем подавляющего большинства, того самого большинства, которому мы с вами, милый вы мой учитель, обязаны служить. А с третьей стороны — меня здесь посадили, чтобы я охранял общественный порядок. А что такое общественный порядок? Это значит: никакого мордобоя, никакого насилия, вообще никаких эксцессов, а тем более — носящих массовый характер. Вот и получается, что я обязан всячески защищать Флору, всячески способствовать ее уничтожению, а также не допускать, чтобы хоть что-нибудь происходило, — и все это одновременно.

Г. А.: Признает, что да, трудные настали времена для милиции.

М. Т. (мечтательно заведя глаза): Вот, помню, когда я еще был курсантом... (Рассказывает замшелую историю, как ему пришлось принимать участие в великой битве древних «дикобразов» с ныне вымершими рокерами. Милиция оказалась бессильной, так вызвали из-под Оренбурга роту мотопехоты — и никаких разговоров. Буквально тридцать минут понадобилось, вот по этим часам. — Убедительно стучит ногтем по дисплею старинного «роллекса».)

Г. А.: А если бы вы сейчас получили указание держать нейтралитет?

М. Т.: Чье указание? Петра Викторовича, что ли?

Г. А.: Хотя бы... Или, например, из Оренбурга, по вашей линии.

М. Т.: Милый вы мой и дорогой! Ей-богу, все понимаю, одного понять никак не могу. Ну что вам эта Флора? Грязная ведь куча, и больше ничего. Что вы за нее так хлопочете?

Услышав это, Г. А. некоторое время молчал, а потом сказал (дословно):

— Флора не нарушает никаких законов. Значит, то, что задумано, незаконно. Флора ни в чем не виновата. Город хочет наказать невиновных. Это несправедливо. Несправедливо и незаконно сразу. Как же я должен поступать?

М. Т. (крайне возмущен): То есть как это — несправедливо? Дети наши бегут туда, как в банду! Наркотики. Хулиганство. Промискуитет, простите за выражение. Принципиальное тунеядство! Мало ли что нет против них закона! Значит, отстаем мы от времени, не успевает наша юридическая наука за событиями... Ведь это только как официальное лицо я колеблюсь, а будь я сейчас в отставке, завтра же на Флору вашу первым же пошел бы и был бы в своем праве! (Он долго разоряется на эту тему, я записал только самое нутряное, у него еще было там четыре ссылки на древнюю историю, когда он был рядовым курсантом, а потом старшиной, и двадцать четыре ссылки на внучатых племянников и троюродных золовок.)

Г. А. (пытается втолковать): Они не бегут во Флору, они образуют

Флору. Вообще они бегут не «куда», а «откуда». От нас они бегут, из нашего мира они бегут в свой мир, который и создают по мере слабых сил своих и способностей. Мир этот не похож на наш и не может быть похож, потому что создается вопреки нашему, наоборот от нашего и в укор нашему. Мы этот их мир ненавидим и во всем виним, а винить-то надо нам самих себя.

Для М. Т. все это как с гуся вода. Он откричался и вновь сделался благорасположен и самодостаточен. «Это, душа моя, все философия, — говорит он (от себя говорит, ни в коем случае не цитирует!). — Я ведь, собственно, что хотел вам посоветовать? Не связывайтесь вы с Оренбургом. Оренбург помалкивает. «Действуй по обстановке», — вот и весь разговор. И очень хорошо я их понимаю. И, между прочим, действую. По обстановке. В Новосергиевке давеча полезли было эти неумытики из «пятьсот веселого» Оренбург — Черма, так там железнодорожники совместно с милицией вежливенько подсадили их обратно по вагонам, сигнал машинисту, и поехали они дальше... Оренбург официально слова не сказал, но было дано понять, что так, мол, держать и в дальнейшем. В Оренбурге ведь с вами и разговаривать не станут, Георгий свет Анатольевич! Ну, примут к сведению. Ну, пообещают чего-нибудь, поскольку вы все-таки депутат и заслуженный учитель. Но до дела не дойдет. Уклонятся. Да и нет такой силы, чтобы заставить их выступить против всей демократии, против народа выступить».

Г. А. некоторое время молчал, баюкая ушибленную руку, а потом вдруг посмотрел на меня. Я сейчас же встал и попросил разрешения выйти. Г. А. (с признательностью) разрешил и велел мне ждать его в буфете, и чтобы взял я ему там бульон с пирожками — пусть остынет.

Все получилось очень мило, и все-таки я, конечно, был обижен. Ничего не могу с собой поделать. Не в первый раз. Все понимаю, и напрасно Г. А. потом приносит мне свои извинения. И все равно обидно. Возрастное. Вроде резей в животе.

Чтобы развлечь себя, я стал придумывать дальнейшее развитие беседы. Например, такое: «Ну, хорошо, Михайла Тарасович. Убедить вас мне не удалось. Тогда позвольте предложить вам взятку. Вот вам для начала тысяча рублей».

Г. А. отсутствовал пятнадцать минут. Потом пришел, не говоря ни слова, как-то механически похлебал бульону, откусил пирожка и только затем вдруг спохватился и принес мне свои извинения. Причем, к изумлению моему, счел даже возможным объясниться. Оказывается, они там без меня обменялись кое-какой информацией, имеющей

узкослужебный характер.

Когда мы вернулись домой, в приемной дожидался Г. А. какой-то человечек. Я пишу сейчас о нем по одной-единственной причине: в жизни не видел я таких странных людей, да и не только я, как выяснилось.

Они с Г. А. скрылись в кабинете, а я все никак не мог разобраться. Физиономия совершенно бесцветная. Манеры — приторные до подхалимства. Одно ухо красное, другое желтое. Пиджачная пуговица на сытом животике висит на последней нитке. И штиблеты! Где он взял такие штиблеты? Не туфли, не мокасины, не корневища, а именно штиблеты. У одного только Чарли Чаплина были такие штиблеты. И тут меня осенило: человечек этот, весь как есть, вывалился к нам в лицей прямиком из какой-то древней кинокомедии. Еще черно-белой. Еще немой, с тапером... Весь как есть, даже не переодевшись.

После ужина я спросил Г. А., кто это к нему приходил. Мне показалось, что Г. А. тоже порядком озадачен. «А тебе этот человек никого не напоминает?» — спросил он. Я сказал, что Чарли Чаплина. «Чарли Чаплина? Вот странная идея», — произнес Г. А., и разговор наш на этом закончился.

В обиде, разочаровании и озадаченности заканчиваю я день сей.

РУКОПИСЬ «ОЗ» (10–14)

...Не так все это было, совсем не так.

10. Иоханаан Богослов родился в том же году, что и Назаретянин. Собственно, родился он не один, родилась двойня. Второго близнеца назвали Иаковом Старшим, потому что он увидел свет на несколько минут раньше Иоханаана. Кстати, Иоханаан (Иоанн, Иоганн, Иван, Ян, Жан) означает «Милость бога» («Яхве милостив»). Надо бы посмотреть, что означает Иаков (Джекоб, Яков, Жак).

Название рыбацкого поселка на берегу Галилейского озера, где увидели свет близнецы, не сохранилось, точно так же, как и сам поселок, дотла разрушенный римлянами во время Иудейской войны. Зато сохранилось имя счастливого отца. Был он рыбак и рыботорговец, и звали его Заведей. В семье Заведея было еще девять дочек, но они не играют в нашем повествовании совсем никакой роли.

Иоанн и Иаков в детстве были хулиганы и шкодники. В соответствии с легендой прозвище Боанергес («Сыны громовы») дал им Назаретянин, когда всем троим было уже за тридцать. Это неправда. Прозвали их так соседи, когда юные гопники вступили в пору полового созревания, и надо тут же подчеркнуть, что только в современном восприятии перевод жутковатого прозвища «Боанергес» звучит как нечто грозно-благородное. Для соседей же не Сыны громовы были они, а сущие сукины сыны, бичи божьи и кобеля-разбойники. Срань господня.

Время было смутное — время ожидания больших перемен, время великих пророчеств и малых бунтов. Как и вся галилейская молодежь того времени, Боанергес не желали идти по стезе покорности. Они не желали ловить рыбу и доходы свои смиренно отдавать мытарю. Они вообще не хотели работать. С какой стати? Они хотели жить весело, рисково, отпето — играть ножами, портить девок, плясать с блудницами и распивать спиртные напитки. И в то же самое время хотели они великих подвигов во имя древнего бога и древнего народа, мерещились им голоса могучих пророков и команды блестящих полководцев, грохот рушащихся стен Иерихона и жалкие вопли гибнущих иноверцев. Короче говоря, они являли собою великолепное сырье, из которого опытная рука могла вылепить все, что угодно, — от фанатичных убийц до фанатичных мучеников.

Однако, когда встал на их пути Иоанн Креститель, дороги братьев

Боанергес разошлись. Выслушав первую лекцию знаменитого проповедника, Иаков сплюнул в пыль жвачку, затянул потуже пояс с римским мечом и негромко спросил: «Ну, что? Пошли к бабам?» Но Иоанн не пошел к бабам. Он остался. Парадоксальная идея любви к людям и всеобщего братства странным образом захватила его.

«Не будь занудой! — говорили ему. — Брось ты своего старого пердуна, и пойдем выпьем эфесского!» — «Сами вы пердуны, — ответствовал он. — В одном пуке моего пердуна в сто раз больше толку, чем во всем вашем болботанье». — «Но ведь это учение совершенно бессмысленно! — втолковывали ему. — Как ты можешь верить в подобную чушь?» — «Потому и верую я, что это бессмысленно», — отвечал он, на много лет предваряя достославного Квинта Септимия Тертуллиана — епископа Иберийского. «Но ты же должен понимать, что это учение противоречит здравому смыслу!» — внушали ему. «Киш мири ин тухес со своим здравым смыслом, — огрызался он, — унд зай гезунд!» (по-арамейски, разумеется, это звучало иначе, но смысл был тот же: поцелуйте меня в задницу со своим здравым смыслом и будьте здоровы).

А потом появился Назаретянин (тот, которого тогда и потом все называли Назаретянином), и Иоанн отдался ему всей душой. Он стал учеником его, и телохранителем, и снабженцем, когда это требовалось, — иначе говоря, он стал апостолом его, одним из двенадцати и одним из двух любимых. Вторым любимым был Петр.

В традиции Петр представляет экзотерическую, всенародную сторону христианства — исповедание веры, данное всем и каждому. Иоанн же — эзотерическую сторону, то есть мистический опыт, открытый лишь избранным, немногим. Поэтому церковь всегда стремилась дополнить начало Петра началом Иоанна, а еретики — гностики второго века, катары одиннадцатого — тринадцатого веков — всячески противопоставляли Иоанна Петру. Все это домыслы, и все это совершенно неважно. Главное и единственное зерно истины здесь — противопоставление.

Они на самом деле не любили друг друга. Иоанн не любил Петра, потому что не верил ему (как показали события — справедливо). Петр же попросту ревновал, он никак не мог понять, почему Учитель ставит на одну доску с ним, смиренным, просветленным и безгрешным Петром, этого буйного, злоязычного, не расстающегося с оружием греховодника.

Петр был солиден и степенен. Иоанн был дерзок и резок.

Петр был велеречив и многоглаголен. Иоанн был зубоскал и ругатель.

С Петром Учителю было легко. С Иоанном ему было надежно.

Именно Иоанн возлежал на груди Учителя во время той последней

трапезы, и это вовсе не было проявлением сентиментальности — просто помстилось ему вдруг, что вот-вот тоненько взвякнет в кустах за окном тетива и стрела вонзится в сердце любимого человека. И он заслонил собою это сердце и, слушая биение его, вдруг с ужасом ощутил, как страшное знание предстоящей муки переливается в него, Иоанна, страшным, мучительным предчувствием, обессиливающим и не оставляющим надежды.

И именно он, Иоанн, единственный из всех, встал с мечом в руке у входа и рубился со стражниками, не отступая ни на шаг, весь окровавленный, с отрубленным ухом, оскальзываясь в крови, хлещущей из него и из поверженных врагов, пока Учитель, сорвав голос, не подбежал к нему сзади и не вырвал у него меч. Тогда он голыми руками проложил себе дорогу к свободе и бежал, не желая видеть, что будет дальше, потому что он уже знал, что будет дальше.

Он должен был умереть этой же ночью, попросту истечь кровью, но добрые люди подобрали его в придорожной канаве, и каким-то чудом он сумел выжить. Слово «чудо» употребляется здесь не как фигура речи, он совершенно уверен, что спасло его именно чудо, мистическое вмешательство, — первое мистическое вмешательство в его жизнь. (С именем Иоанна традиция всегда связывала мистические мотивы. Византийские авторы прилагали ему слово «мист», церковно же славянские — «таинник».)

Через два месяца после гибели Назаретянина, когда Иоанн кое-как, на карачках, впервые выполз на солнышко погреться, его нашел Иаков Старший. «Все, — сказал матерый разбойник. — Хватит дурью маяться. Пошли, там у меня повозка». С этого момента и на некоторое время Иоанн перестал быть христианином. Наверное, его следовало бы назвать отступником. На самом деле никакого отступничества в строгом смысле этого слова не было. Просто от горя и отчаяния он потерял какую бы то ни было перспективу и пустился во все тяжкие.

Несколько лет спустя, когда Боанергес, наслаждаясь заслуженным отдыхом, прогуливали хабар в компании шлюх и подельщиков в одном из притонов на окраине Александрии, Иаков вдруг толкнул брата в бок:

— Гляди, кто пожаловал, — сказал он.

Иоанн поглядел и увидел длинного и сухого, как жердь, нищеброда, который, стоя у порога, торопливо и жадно поедал неаппетитную снедь, извлекая ее грязными пальцами из щербатой глиняной миски.

— Да это же тот самый Агасфер! — сказал Иаков. — Ботадеус, «Ударивший бога»!

— Не знаю такого, — отозвался Иоанн, — да и знать не хочу. По-моему, это его бог ударил, а не наоборот.

И тут Иаков с жаром пересказал ему, что произошло в день казни между Учителем и Агасфером на дороге к Голгофе, в то время как раз, когда Иоанн подыхал от потери крови у добрых людей.

Иоанн внимательно выслушал всю историю до конца. Он вдруг испытал огромное облегчение. Оказывается, он ничего не забыл. Оказывается, все эти годы он мучился мыслью, что Иуда сумел уйти от возмездия. Каифа тоже давно откинул копыта. Пилат недосягаем. И есть еще тысячи. Они не убивали Его. Они всего-навсего оскорбляли Его. Их тысячи, и они безымянны. Но вот наконец появился некто с именем. Длинный, тощий, унылый, пожирающий отбросы. Ударивший бога.

— Этот человек должен быть строго наказан, — сказал Иоанн громко.

Он не знал, что этот человек уже наказан достаточно строго — так строго, как неспособны наказывать смертные. И, уж конечно, ему в голову не могло прийти, что, наказывая этого унылого дерьмоеда, он бесповоротно нарушает волю единственного человека, которого он любил, — из живых и из мертвых.

Никто не обратил внимания на его слова, а он спихнул с колен разомлевшую эллинку, легко поднялся, подошел вплотную к нищеброду и тем самым длинным ножом, которым только что кромсал баранью лопатку, ткнул под щербатую миску — снизу вверх, по самую рукоятку.

Exit Агасфер, он же Эспера-Диос, он же Ботадеус, Ударивший бога.

И дальше понесло братьев Боанергес по пределам Великой империи, и уже полиции двадцати городов и шестнадцати провинций числили их в своих списках «листид энд вонтид», трижды стяжали они и трижды промотали громадные состояния, четырежды принимали участие в мятежах против римских властей, и неисчислимое множество раз совершили они разбойные нападения на купцов, на помещиков, на ростовщиков, на мытарей, на случайных прохожих, а однажды даже — на базу морских пиратов, — пока не оказались в Риме и не попались на самом что ни на есть пустяковом дельце.

Поскольку дельце было пустяковое (они зарезали поддатого горожанина, возвращавшегося из бани, и были взяты _ин_ _флагранти_), все было закончено в одно заседание. Разумеется, братья назвались чужими именами. Иаков Старший выдал себя за беглого из Пергама, а Иоанн, словно по наитию, назвал себя Агасфером, горшечником из Иерусалима. Господину районному судье, завзятому антисемиту, с утра вдобавок страдающему от алкогольного отравления, все это было совершенно

безразлично. «Пергамец! — сказал он с болезненным сарказмом. — Это с такими-то пейсами! А ну скажи: «На горе Арарат растет красный виноград»!..» Дело было абсолютно ясное. Двое бродяг из колоний дерзко лишили жизни римского гражданина. Приговорить мерзавцев к смерти через отравление.

В ночь перед казнью Иоанна почему-то совсем замучил дурацкий вопрос — зачем это ему вдруг понадобилось назвать себя именно Агасфером из Иерусалима? Что это было? Приступ бандитского ухарства, лихая предсмертная шутка? Холодный ли расчет? Назовусь-ка я именем мертвеца, пускай ищут. Или, может быть, подсознательное желание еще раз опозорить позорное имя?

О том, что это было предопределение, Иоанну суждено было догадаться гораздо позднее.

Иаков, проглотив яд, умер довольно быстро, хотя, разумеется, и помучился, ровно в той мере, в какой это было предусмотрено имперским правосудием. Иоанн — не умирал. Трижды ему, связанному, вливали в рот смертельное пойло, и трижды, судорожно корчась, он извергал все обратно. Случай это был хотя и редкостный, но далеко не первый, и в соответствии с прецедентом положено было доварить Иоанна в кипящем масле.

Так ему выпала еще одна ночь жизни. Видимо, яд все-таки проник в его организм, потому что до самого утра мучили его образы и одолевали голоса. Это было страдание. Он никак не мог понять, кто разговаривает с ним и что именно говорит. Нет, это не был Назаретянин. Это был кто-то равный Ему, но не внушающий любви и не дарящий радости. Слова его были невнятны Иоанну. Иоанн понял только, что ему снова выносят приговор и снова его наказывают.

Заколов Агасфера, ты нарушил волю Учителя, — вроде бы сказано было ему.

Приняв имя Агасфера, ты сам определил себе наказание, — вроде бы сказано было ему.

Отныне и до Страшного суда ты будешь ходить по миру, — сказано было ему.

И будешь ты делать нечто, нечто и нечто, — сказано было ему.

А вот что такое это «нечто», Иоанн так и не понял в ту ночь.

Утром его привели к Латинским воротам и при небольшом скоплении народа сунули ногами вниз в огромный чан с кипящим маслом. Это было невыносимо больно, и Иоанн потерял сознание. Но он опять не умер.

Очнувшись, обнаружил он, что лежит на каменном полу в знакомом помещении суда, а над ним в пять глоток бранятся чины римской

юридической коллегии. Оказывается, никакого преступника нельзя казнить трижды. Казнить третий раз, оказывается, означает искушать долготерпение богов. Искушать долготерпение не хотелось никому, кроме господина районного судьи, который, таким образом, оказался в меньшинстве. Однако, с другой стороны, никакого преступника нельзя, разумеется, оставлять безнаказанным. Поэтому юридическая коллегия приговорила: сослать навечно Агасфера из Иерусалима в одну из самых занюханных колоний Рима, в Азию, а именно — на островок Патмос. Что и было исполнено.

(СПРАВКА: Патмос, крошечный остров в Эгейском море в сорока километрах южнее линии, соединяющей острова Икария и Самос. В описываемое время его населяло несколько десятков вполне диких фригийцев, имеющих словарный запас в две дюжины слов и питающихся козьим сыром, вяленой рыбой и водорослями. Кроме фригийцев и коз, из крупных млекопитающих обитали там также и ссыльнопоселенцы.)

Иоанн провел на Патмосе сорок лет.

Чрезвычайно важным обстоятельством является то, что все это время рядом с ним безотлучно находился ученик его и слуга по имени Прохор. В высшей степени замечательная фигура этот Прохор. В утро кипящего масла у Латинских ворот ему было шестнадцать лет. Он был грек по происхождению и тайный христианин по убеждениям. Случайно оказавшись у места казни, он со всевозрастающим восторгом и обожанием наблюдал и слушал, как торчащая из булькающего масла голова с закаченными глазами хрипло провозглашает слова Учения вперемежку со странными откровениями и описаниями чудесных видений. К тому моменту, когда палачи отчаялись выполнить свой долг и потратили все отпущенное им масло, а вокруг котла собралось уже пол-Рима, Прохор понял, что се человек из царства не от мира сего. Судьба его определилась в это утро, и он последовал за Иоанном на Патмос, исполненный предчувствия подвига. При нем был большой запас пергамента и чернил, а также мешок сушеных смокв на первое время. Все это, разумеется, он украл у своего прежнего хозяина, в лавке которого отправлял обязанности ученика писца.

Предыстория Иоанна-Агасфера на этом заканчивается. На острове Патмос начинается его история.

11. В полном молчании мы поднялись на наш двенадцатый этаж и остановились перед дверью без номера. Миша сказал, слегка задыхаясь:

— Ты вот что, Серега. Говорить буду я, а ты помалкивай.

Я ничего ему не ответил, меня бил озноб. Только на лестнице, минуту назад, до меня вдруг дошло, что я втягиваю своего старинного дружка в крайне опасную для него затею. И тот факт, что у него, мол, служба такая и что он сам настоял на этом визите, меня ничуть не оправдывает. Очень мне хотелось сейчас сказать ему: «Ладно, Мишка, не надо. Ну их всех к черту». Но ведь и так поступить я тоже не мог! Надо же было как-то разрывать проклятый замкнутый круг...

В прихожей я помог Мише снять плащ, повесил его на распялку, а мокрый берет его положил под зеркало. Миша неспешно расчесывал перед зеркалом свои сильно поредевшие русые кудри. По-моему, он был абсолютно спокоен, будто в гости пришел в семейный дом коньячок пить и лимончиком закусывать.

— Куда прикажешь? — спросил он негромко, продул расческу и сунул ее в карман.

— Сейчас, подожди минутку, — сказал я.

Я не желал, чтобы мой Миша вел эту беседу из кресла для паршивых просителей. И вообще, пусть все увидит своими глазами.

— А вообще-то, чего ждать? Пошли, — сказал я и двинулся прямо в Комнату.

— Спокойно, Серега, спокойно, — промурлыкал Миша у меня за спиной. — Все нормально...

Комната была пуста. Я посторонился, пропуская Мишу, чтобы он увидел все: и дурацкий топчан у стены, и две блестящие металлические полосы, протянувшиеся от окна к дверям Кабинета, и дверь в Кабинет, как всегда распахнутую в глухую бездонную тьму, пронизываемую мутными пульсирующими вспышками. Миша все это быстро оглядел, и на лице его появилось незнакомое мне выражение. Он словно бы затосковал слегка, будто предстояло ему теперь же и непременно проглотить стакан касторки.

Демиург грянул:

— Клиента — в Приемную! Что еще за вольности?

Я стиснул зубы и злобно процедил:

— Это не клиент. Я попросил бы вас выйти и поговорить с ним.

— Делайте, что вам сказано!

Миша крепко взял меня за локоть и сказал в сторону Кабинета:

— Меня зовут Михаил Иванович Смирнов. Я — майор государственной безопасности и хотел бы с вами побеседовать.

Демиург, по-видимому, нисколько не удивился.

— Побеседовать или допросить? — осведомился он.

— Я здесь неофициально, — ответил Миша. — Просто хочу задать

вам несколько вопросов.

— Почему — мне?

— Я хотел бы разобраться, представляет ли ваша деятельность интерес для моей службы. Уточняю: сейчас вы вправе не отвечать на мои вопросы.

— Можете не уточнять. Я всегда в таком праве... Сергей Корнеевич, я все равно не выйду, не надейтесь. Предложите гостю сесть.

— Не беспокойтесь, — сказал Миша. — Я сегодня весь день сидел. А вот повидать вас мне бы, честно говоря, хотелось.

— Еще бы... Ладно, я обдумаю эту идею. Посмотрим, как вы будете себя вести. А пока можете задавать ваши вопросы.

У меня икру свело от напряжения. Я кое-как дохромал до топчана, сел и принялся растирать ногу. А эти двое уже разговаривали, да так бойко, словно были знакомы всю жизнь и теперь затеяли игру в «барыня прислала туалет».

— Кто вы такой?

— У меня много имен. Меня зовут Гончар, Кузнец, Ткач, Плотник, Гефест, Гу, Ильмаринен, Хнум, Вишвакарман, Птах, Яхве, Милунгу, Моримо, Мукуру... Достаточно, я полагаю?

— Я не спрашиваю ваше имя. Я спрашиваю, кто вы такой.

— Я гончар, кузнец, плотник, ткач... Неужели мало? Я Демиург, наконец.

— Но вы, я полагаю, человек?

— Конечно! В том числе и человек.

— А еще кто?

— Вы что — не знаете, кто такой демиург? Так посмотрите в словаре.

— Хорошо. Посмотрю. И давно вы здесь?

— Больше полугода... Хотя... Это же зависит от того, как считать. Послушайте, а вам не все равно?

— Мне не все равно. Но если вам трудно ответить, оставим пока этот вопрос. Откуда вы прибыли?

— Вот что, майор. Хочу вас предупредить. Если я стану отвечать на ваши вопросы, касающиеся пространства и времени, то уверяю вас: ни удовольствия, ни удовлетворения вы не получите.

— Хорошо, я приму это к сведению, — терпеливо сказал Миша. — Так откуда вы прибыли?

— Да ниоткуда я не прибыл. Я был здесь всегда.

— Вот в этой самой комнате?

— Эта комната была здесь не всегда, майор. А я — всегда. В известном смысле. Причем и здесь, и не только здесь.

— Это любопытно. Насколько мне известно, человек такими возможностями не обладает. Прикажете мне сделать вывод, что вы все-таки не человек?

— Человек такой способностью не обладает. Верно. Зато я обладаю способностью быть человеком. И не только человеком.

— Ну что ж, это ваше право. Это никакими законами не возбраняется. А теперь расскажите мне, пожалуйста, если можно, конечно, какова цель вашего пребывания здесь?

— Мне кажется, что вы привыкли иметь дело с иностранцами.

— Почему же это вам кажется?

— Очень правильная речь. Очень свободные манеры. И вы явно привыкли задавать этот вопрос — о целях пребывания.

— Между прочим, я и ответы привык получать на этот вопрос. Итак?

— Я ищу Человека.

— Кого именно?

— Я ищу Человека с большой буквы.

Все время, пока шел этот быстрый обмен вопросами и ответами, Миша не оставался в покое ни на минуту. У меня было даже такое впечатление, словно он не особенно задумывается над своими вопросами и не очень-то вслушивается в ответы. Бесшумно ступая, он обошел комнату, внимательно оглядывая и ощупывая стены, постоял, задрав голову, под свисающим черным шнуром, изучая его прищуренными глазами, потом подошел к окну и заглянул вниз, а потом, присевши на корточки, осмотрел металлические полосы и даже постучал по ним ногтем — по одной и по другой. С отчаянием и бессильным разочарованием наблюдал я, как на его лице все отчетливее проступает сожаление о зря теряемом времени. Я словно читал его мысли: да, порядочной ерундой я тут занимаюсь, позвоню-ка я в раймилицию, пусть участкового пришлют, и все дела...

Услышав про Человека с большой буквы, он легко поднялся с корточек, подмигнул мне и, неслышными шагами направляясь к двери в Кабинет, произнес с комической серьезностью:

— А вы возьмите меня.

И впервые не последовала ответная реплика. Миша успел сделать еще два осторожных шага, и тут из тьмы навстречу ему выдвинулся Демиург, остановился на пороге и навел на Мишу бешеные яблоки своих глаз.

Я вскочил. Я испугался чуть не до обморока. А Миша отступил на шаг и сделал странное, незаконченное движение правой рукой — то ли хотел заслониться ею, то ли (несмотря на заверения его) что-то все-таки висело у него под мышкой левой руки. Он побелел, и крупные капли пота разом

выступили у него на лбу. И тогда Демиург прогрохотал:

— Я обдумаю ваше предложение.

Сказал и соскользнул обратно во тьму.

12. В прихожей я попытался подать Мише плащ, но он отобрал его у меня со словами: «Давай, давай сюда! Что еще за китайские церемонии!» Пока он застегивался и напяливал перед зеркалом берет, я все ждал, скажет он мне что-нибудь прямо здесь или мы поговорим на лестнице. Но тут рядом обрушилась спускаемая вода, щелкнула задвижка, и из совмещенного санузла вывалился в прихожую Агасфер Лукич. Он хлопотливо, обеими руками застегивал ширинку, ухитряясь при этом тремя пальцами правой руки держать при себе свой любимый портфель.

— Пардон, пардон, пардон! — жизнерадостно воскликнул он, лаская Мишу Смирнова профессиональным взглядом. — Разрешите представиться: Агасфер Лукич Прудков, Госстрах, к вашим услугам. Руки не подаю — в силу последнего местопребывания. Не могу не воспользоваться моментом, однако. Госстрах, уважаемый Михаил Иванович, предлагает к вашим услугам...

И с феноменальной скоростью, нисколько, впрочем, не отражающейся на разборчивости и внятности, Агасфер Лукич рассыпал перед ошеломленным Мишей роскошный бисер всех услуг, которые предоставляет в распоряжение добропорядочного гражданина наша система государственного страхования.

Меня поразило, что Миша, по-видимому, совершенно забыл все, что я рассказывал ему об Агасфере Лукиче. Для него это явно был обыкновенный навязчивый страхагент, от которого совершенно не знаешь как избавиться без откровенной грубости и хамства. Миша неловко улыбался, делал обеими руками отстраняющие жесты, прижимал ладони к груди со словами: «Благодарю вас, я уже...» — в общем, вел себя не как Исаев-Штирлиц, а как занюханный кандидат наук, застигнутый у родимой кассы с зарплатою на руках. И когда мы выкатились наконец на лестничную площадку и я захлопнул за собою дверь, он с комическим облегчением вытер со лба воображаемый пот и сказал:

— Уф-ф... Еле ушел!

Мы начали спускаться по лестнице.

— Ну, как тебе? — нетерпеливо спросил я с тревогой.

И тут выяснилось такое, о чем я и сейчас вспоминаю с ознобом между лопатками. Хотя на самом-то деле — ну чего другого мог я ожидать? А было так.

На протяжении первых четырех этажей Михаил говорил неохотно, как бы через силу, говорил не потому, что хотел говорить, а потому, что считал себя обязанным сказать мне хоть что-то. Он мне благодарен. Я молодец. Я правильно сделал, что обратился к нему. Дело вызревает нешуточное. Этим займутся те, кому положено, а мне оставаться здесь совершенно не нужно. Может быть, даже опасно... Что тебя, собственно, здесь держит? Может быть, нужна помощь? Так скажи! Лучше всего, если ты уйдешь прямо сегодня, прямо сейчас... О жилье не думай, это все будет устроено...

На девятом этаже он взял меня под руку и принялся доверительно рассказывать, что аналогичный случай уже был у него — лет пятнадцать назад. Жулики эти мои, надо сказать, ловкие, однако ничего нового под луною, как известно, нет. Стоило ему увидеть эти металлические направляющие, как он сразу все понял. Никакие это не направляющие — это шины. А в кабинете у них — генератор. Правда, кое-что он даже сейчас объяснить не может, да это и не его дело... Это вообще не наше дело. Участковый прохлопал, ясно как день. У него в участке, понимаешь, такая банда аферистов, месяц уже орудуют как минимум, а он ушами хлопает. Я вот чего не могу понять: тебя-то они чем держат? Неужели ты такой легковерный? Мамочка моя, а еще кандидат, без пяти минут доктор... Ты дождешься, что тебя вместе с ними заберут! Статья такая-то, соучастие в жульнических махинациях... Не купили же они тебя, в самом деле. Понимаю, понимаю: обманули. Я и сам спервоначала черт-те что подумал, а ведь я — стреляный волк... Ничего, не дрейфь, я тебе верю, заступлюсь, пройдешь по делу как свидетель... И возвращайся-ка ты в свою Степную, займись своими любимыми звездами, забудь про все про это, черт тебя сюда принес!..

На третьем этаже он крепко обнял меня за плечи и продолжал совершенно уже дружески растроганным тоном. Хотя, с другой стороны, что ты имел в своей Степной? Гостиничный номер? А здесь такая квартирка, ей-богу, завидно. Спальней ты меня просто убил, я даже Варьке рассказывать не буду, она же меня живым съест... И где только люди достают такие гарнитуры! И вообще, где ты книги берешь? Блат у тебя, что ли? Я «Военные мемуары» всю жизнь собираю, но такого набора... Жалко, Соня твоя на работе, сто лет не виделись. Слушай, что за манера — приглашать среди бела дня? Давай встретимся по-человечески, с женами, с ребятишками, моего Саньку с твоей Танькой познакомим... (тут он заржал). Как она из туалета-то выскочила... заалелась, будто маков цвет... Красивая девка, между прочим, растет. Да, брат, стареем, матереем, еще пяток лет — и детей женить пора... А коньячок у тебя ничего был, штатный. И все-таки,

когда ты ко мне придешь, я тебе поднесу такого, какого ты никогда не пивал и не выпьешь, если я об этом не позабочусь... Ну, ладно, спасибо за приглашение, спасибо за угощенье, спасибо за привет... Нет-нет, провожать не надо, я знаю — вон там «шестерка» останавливается. Ну, давай!

Он обнял меня мимоходом, похлопал по спине и сбежал по ступенькам. Я остался стоять, придерживаясь рукой за мокрую, ледяную от дождя бетонную стену, и смотрел ему вслед, как он ловко перескакивает с кирпича на кирпич, пересекая грязевую полосу, а потом, глянув налево-направо, переходит улицу, направляясь к остановке автобуса.

13. Демиург сказал:

— Есть у вас еще вопросы?

— Нет, — сказал Миша. — Благодарю вас.

Он уже вполне оправился, и румянец вернулся на лицо его, но пот все стекал со лба по щекам на шею, и Миша то и дело вытирал его скомканным платком.

— Тогда я задам вам вопрос, — сказал Демиург. — Всего один. Чего вы хотите?

— Сейчас я хочу только одного, — криво улыбаясь, проговорил Миша. — Чтобы вас не стало. И никогда бы не было. Чтобы я сейчас благополучно проснулся. Проснулся, а вас нет и не было.

— Воистину, странный ответ, — сказал Демиург. — Не ожидал от вас... Впрочем, я вовсе не имел в виду вас персонально.

— Ах, вы имели в виду... Знаете, всё, чего мы хотим, изложено в Программе Партии. Прочтите, там все написано.

Демиург грянул:

— Благодарю вас! Вы свободны, майор. Сергей Корнеевич, проводите, пожалуйста, майора. Пальто и шляпу — подать.

...И когда я, как старая кляча, влекомая на живодерню, приволокся на свое место в Приемную, он сказал:

— Впредь прошу вас не приводить сюда своих друзей без специального предупреждения. У меня здесь не салон, а служебное помещение... Впрочем, в данном конкретном случае я вам, пожалуй, даже благодарен. Ведь ваша эпоха — это эпоха могущественных организаций, а я по старинке все вожусь с отдельными фигурами. Вы навели меня на мысли, благодарю вас.

14. СПРАВКА. Я уже много лет не женат, нахожусь в разводе. Мою первую и последнюю жену звали Александра. Миша Смирнов никогда ее

не видел. Детей у меня не было и нет. Не было и нет среди моих близких и друзей, а также среди знакомых женщины с именем Соня, Софья или что-нибудь в этом роде.

В дальнейшем я еще дважды звонил Мише Смирнову. Один раз мне сказали, что он в длительной командировке. В другой раз мы с ним несколько минут побеседовали по телефону. Он был приветлив и вполне дружелюбен, однако от встречи уклонился, сославшись на крайнюю занятость. Прощаясь, он с удовольствием вспомнил «славный вечерок», который провел у меня в гостях, и попросил передать привет «Сонечке и Танюшке».

Других знакомых «в могущественных организациях» у меня нет. Прямое, по официальным каналам, обращение не сулит в перспективе ничего, кроме сумасшедшего дома.

Я остался один. Теперь уже совсем один.

15. Был уже поздний вечер. Даже, скорее, ночь. Я лежал...

ДНЕВНИК. 18 ИЮЛЯ (ДОПОЛНЕНИЕ К 17-му)

Я, точно так же, как Михайла Тарасович, никак не могу ясно объяснить себе, почему Г. А. так рьяно болеет за Флору.

«Милость к падшим призывал»?

Не то. Совсем не то. Я совершенно точно знаю, вижу, чувствую, что он не считает их падшими. Это мы все считаем их как бы падшими, не в том, так в другом смысле, а он — нет. Он вообще не признает это понятие — «падший». Все, что порождено обществом, порождено законами общества, а значит, закономерно, а значит, в строгом смысле не может быть разделено на плохое и хорошее. Все социальные проявления на плохое и хорошее делим МЫ, — тоже управляясь при этом какими-то общественными законами. (Именно поэтому то, что хорошо в девятнадцатом веке, достойно всяческого осуждения в двадцать первом. Безоглядное чинопочитание, например. Или, скажем, слепое выполнение приказов.)

Понимание и милосердие.

Понимание — это рычаг, орудие, прибор, которым учитель пользуется в своей работе.

Милосердие — это этическая позиция учителя в отношении к объекту его работы, способ восприятия.

Там, где присутствует милосердие, — там воспитание. Там, где милосердие отсутствует, — где присутствует все, что угодно, кроме милосердия, — там дрессировка.

Через милосердие происходит воспитание Человека.

В отсутствие милосердия происходит выработка полуфабриката: технарь, работяга, лабух. И, разумеется, береты всех мастей. Машины убийства. Профессионалы.

Замечательно, что в изготовлении полуфабрикатов человечество, безусловно, преуспело. Проще это, что ли? Или времени никогда на воспитание Человека не хватало? Или средств?

Да нет, просто нужды, видимо, не было.

А сейчас появилась? «Как посмотришь с холодным вниманьем вокруг...» Значит, все-таки появилась! Иначе теория ПВП никогда бы не пробилась через реликтовые джунгли Академии педагогических наук. И не была бы создана система лицеев. И Г. А. был бы сейчас в лучшем случае передовым учителем в заурядной 32-й ташлинской средней школе.

Конечно, бытие определяет сознание. Это — как правило. Однако, к

счастью, как исключение, но достаточно часто случается так, что сознание опережает бытие. Иначе мы бы до сих пор сидели в пещерах.

Проснулся Микаэль. Как всегда с утра, скабрезен.

18 ИЮЛЯ. ВЕЧЕР

Только что вернулись из столовой. Дискутировали. Горло саднит, будто парадом командовал. Настроение мерзопакостное. Говорил — ни к черту плохо. Не умею говорить. Но каков Аскольд!

Не хочу сейчас об этом писать.

Г. А. чувствует себя неважно. Пластырь я ему снял, но рука болит. Мишка озабочен и смотрит виноватым. Делали руке волновой массаж. Серафима Петровна вызывала Михея к себе в кабинет, угощала меренгами и допрашивала с пристрастием.

С одиннадцати до четырнадцати был в больнице. Помогал Борисычу с историями болезни, выносил горшки (на самом высоком профессиональном уровне) и вел лечебную физкультуру по всем палатам третьего этажа.

С пятнадцати до девятнадцати готовился к отчет-экзамену, конспектировал мадам Тепфер. Все-таки до чего трудно! Неужели же придется всерьез браться за эту чертову психогеометрию? Высшая педагогика, будь она неладна! Не верю я в нее. А если у человека нет способностей к абстрактному мышлению? Все-таки мы живем в очень жестоком мире.

События.

С утра по городскому каналу выступил Михайла Тарасович и объявил о больших победах. Наша доблестная милиция обнаружила и разгромила подпольную фабрику наркотиков. Фабрика располагалась в подвале лабораторного корпуса университета. (Эге! — разом подумали мы с Мишелем и молча посмотрели друг на друга.) Задержано шесть человек: один курьер, трое распространителей и двое боевиков. Арестован главный мафиози нашего города. Каковым оказался гражданин Тютюкин, занимавший пост заведующего отделом культуры горисполкома. (Эге! — сказал я сам себе и, за отсутствием Г. А., переглянулся с Аскольдом.) По подозрению в причастности задержана еще куча лиц, в частности заведующий складом химикатов, владелец кафе «Снегурочка», один из университетских садовников и прочие добрые граждане. (Ни одного студента. Что характерно.) Следствие продолжается. Есть все основания полагать, что в ближайшее время наш город наконец будет полностью очищен от наркомафии.

Уединившись с Мишкой, мы быстро обсудили, как же все это надобно

понимать. Пришли к странному выводу. Получается, что Г. А. уже некоторое время знал и про подпольную фабрику, и про «крестного» из горисполкома, и еще, видимо, многое, но почему-то молчал, а позапрошлой ночью принялся действовать, причем как-то странно. Почти очевидно, что атлетического хомбре и прочих студиозусов вывел из-под удара именно он. Вопрос: зачем? Чем они лучше прочей наркомерзости? И откуда он мог знать, что Михайла Тарасович начнет свою операцию именно этой ночью?

Во время этого торопливого разговора мне пришла в голову одна довольно странная мысль, которая многое объясняет. Майклу я решил ее не сообщать. И воздерживаюсь излагать ее здесь. И так запомню.

Г. А. знает, что делает, — на этом мы с Михой и порешили.

Сегодняшние газеты полны Флорой. Оказывается, позавчера (я пропустил) Ревекка разразилась большой статьей в «Городских известиях», и теперь по всем газетам идут отклики. Триста тридцать три вопля отчаяния, горя, боли, ненависти, мести. Волосы шевелятся. Я представил себе моего Саньку Ежика, как он валяется в остывшей золе у костра, ясные глаза остекленели, рот распущен, и слюни тянутся, а он, ничего не помня, раз за разом режет себя бритвой, а эти полуживотные смотрят на него даже без особого интереса. Я не сдержал себя и выразился. При всех. Вслух. Дело было за обедом. При женщинах. И даже не извинился. Впрочем, никто не обратил внимания, а Борисыч мрачно прорычал: «Давно пора с этой чумой кончать. В гинекологии две девчонки оттуда лежат — одной двенадцать, другой тринадцать. Знаете, как они себя называют? _Подлесок!_»

Никогда такого не видывал: в городе появились пикеты. Пожилые люди, на вид пенсионеры, — стоят по двое, по трое перед дверями дешевых заведений и уговаривают туристов не заходить. Перед «Неедякой» — двое седобородых с самодельными плакатами. На одном плакате: «Здесь моего внука приучили к наркотикам». На другом: «Порядочные люди этот вертеп не посещают».

Еще плакаты (на оградах, на бульваре перед горсоветом, прямо поперек улицы) — черным по красному: «Твои дети в опасности! Спаси их!», «Бросай работу! Раздави гадину!», «Сделаем наш город чистым от зеленого гноя!»...

На улицах полно людей. И милиция. Никогда в жизни не видел столько милиционеров сразу, разве что на стадионе. И какая-то непривычная атмосфера всеобщего подъема, нервического, лихорадочного, нездорового, словно все слегка _приняли_ то ли для смелости, то ли для бодрости, — раздаются приветственные возгласы в повышенном тоне, трещат по спинам

увесистые хлопки крепких ладоней, все говорят, перебивая друг друга. Такое впечатление, будто никто сегодня не пошел на работу. Атмосфера не то вокзала, не то банкета. Атмосфера предвкушения.

(Вообще говоря, мне это не нравится. Неприятно даже представить себе хирурга, который жадно потирает ладони, хлопает ассистенток по попкам и возбужденно хихикает, предвкушая процедуру удаления опухоли.)

И конечно же, ни одного фловера. Что не удивительно. Будь я фловером, духа бы моего не было в этой атмосфере. И вообще в радиусе трехсот километров. Может быть, все-таки обойдется без насилия? Не полные же они дураки, должны же они понимать, что надо уносить ноги побыстрее и подальше?

В конце бульвара у меня екнуло сердце: на дереве болтался повешенный. Маскировочный комбинезон, зеленые лапти, все честь по чести. Но, конечно, это оказалось всего-навсего чучело. Под чучелом деловито суетилась парочка пацанов лет двенадцати со спичками и зажигалками. Я окоротил их: во-первых, десантные комбинезоны не горят; во-вторых, омерзительно, когда жгут даже чучело человека; в-третьих, они похожи сейчас на куклуксклановцев, поджигающих повешенного негра. Они удалились на третьей скорости, а я пошел своей дорогой, горестно размышляя о том, что атмосфера охоты на чудовищ уже начала порождать чудовищ.

(Впрочем, сейчас мне кажется, что я, как это часто бывает с педагогами, приписываю свой собственный нечистый образ мыслей ребятишкам, которые ни о чем таком и не думали. Действо, которому я придал символический смысл, для них не имело никакого отношения ни к фловерам, ни к страшным замыслам взрослых вообще. Во вчерашней хронике они видели, как демонстранты сожгли чучело премьер-министра перед парламентом, а сегодня попалось им это чучело на бульваре, и захотелось, чтобы трещал огонь, валил дым, чтобы все вокруг забегали в панике, а там, глядишь, и пожарники подвалят... Что-нибудь в этом роде. Так что мой педагогический заряд мощностью в десять килотонн оставил их вполне невредимыми и в недоумении, а брызнули они от меня только потому, что форменная куртка лицеиста пользуется у школьников большим уважением, а может быть, они вообще знают меня лично, может быть, вел я у них в прошлом году какие-нибудь уроки, и перепугались они, что я их тоже узнал. Педагогика. Наука.)

А за ужином дискуссия началась с того, что Иришка с негодованием поведала нам вполне омерзительную историю. Нынче она с утра дежурила

в специнтернате «Вишенка», и заявился к ним после обеда инструктор гороно товарищ Лютиков Андрей Максимович, созвал весь персонал в преподавательскую и выступил с «гениальным предложением»: вывести на завтрашнюю демонстрацию к горсовету всю «Вишенку» в полном составе, включая парализованных, слепых и безнадежных. Колонна пойдет под лозунгом: «Мы обвиняем Флору!» Это произведет эффект. Это найдет отклик.

Это произвело эффект. Все в преподавательской обалдели. Это нашло отклик. Андрею Максимовичу, товарищу Лютикову, так врезали по мордасам со всех сторон, что он посинел, как вурдалак, и принялся орать неестественно тонким голосом, что все здесь будут уволены завтра же, что он этот рассадник защитников Флоры растопчет лично, а интернат развеет и расточит. Тогда Сергей Федорович взял трубочку, позвонил Риве и в двух словах объяснил ей, чем тут занимается ее инструктор. Рива велела отключить экран, а трубку передать Лютикову. «И затрясся вурдалак проклятый...»

В преподавательской воцарились три минуты великого молчания. В великом молчании товарищ Лютиков выслушал, что говорилось ему Ривою, в великом молчании осторожно положил трубку, в великом молчании собрал свой портфель и удалился. И был он при этом уже не синий, а серый, что его, впрочем, тоже не украшало.

Все-таки трудно придумать что-либо более отвратное, чем потуги взрослых вмешивать в свои взрослые дела детей. В особенности если это не дела, а делишки, а дети не просто дети, а несчастные от рождения. Нет этому оправдания и быть не может, какие бы красивые слова при этом ни говорили взрослые. Признаюсь, я почувствовал к Риве неизъяснимую симпатию, хотя казалось бы, ну что такое особенно хорошее она сделала? Любой нормальный человек на ее месте должен был поступить так же. Особенно на ЕЕ месте. Тут, видимо, все дело в контрасте. На фоне злобного идиота даже самый обыкновенный человек выглядит ангелом, до умиления симпатичным.

Каким именно образом возникла дискуссия, я сейчас уже и не помню. Ведь вначале, сразу после рассказа Иришки, мы все пребывали в полном согласии. И вдруг — гвалт, размахивание руками, и каждый — ни шагу назад. Главное, в лицее-то нас осталось сейчас всего шесть человек. Страшно вообразить, как бы все это выглядело, если бы орали и размахивали руками все двести.

Картина: в столовой почти все огни погашены, тридцать пустых ненакрытых столов, мы все шестеро на ногах, стулья опрокинуты, ужин

недоеден, а в дверях кухни застыл в изумлении и испуге Ираклий Самсонович, белый колпак сдвинут набекрень, в глазах ужас, в руке — невостребованный белый соус к биточкам.

Вот что замечательно: если отвлечься от взрывов эмоций, от взрывов остроумия лицейского, имеющего целью повергнуть противника в прах любой ценой, а также от взрывов взаимных обвинений, вообще не имеющих никакого отношения к спору... так вот, если отвлечься от всего этого, то останется на удивление мало. Так, несколько тезисов.

Нам казалось тогда, что мы спорим по широчайшему кругу вопросов, а на самом деле спорили мы только об одном: прав Г. А. или нет. И как относиться нам к его правоте или неправоте. (Господи! Куда подевались все лекции по риторике и по культуре дискуссий? Ираклий Самсонович свидетель: шестеро мартышек, швыряющих друг в друга пометом и банановыми шкурками.)

И что еще замечательно: ведь общего между нами гораздо больше, чем разного. Все мы ученики Г. А., и все мы обучены свято следовать своим убеждениям. Все мы ненавидим Флору и тем самым не являем собою ничего особенного — целиком и полностью держимся мнения подавляющего большинства. Все мы любим Г. А., и все мы не понимаем его нынешней позиции, а потому чувствуем себя виноватыми перед ним и слегка агрессивными по отношению к нему.

Мы с Мишелем размахиваем руками, главным образом, потому, что нам не нравится оказаться в одной куче с большинством. Мы от этого отталкиваемся, но никаких серьезных оснований отмежеваться от большинства у нас нет, и это нас ужасно раздражает. И никаких оснований мы не находим, чтобы полностью стать на сторону Г. А., и это нас ужасно беспокоит. Потому что ясно: если кто-то здесь и ошибается, то уж, наверное, не Г. А. То есть это для нас с Мишелем ясно. А совсем не ясно нам с Мишелем — как быть дальше. Следовать своим убеждениям — значит остаться в дураках, да еще предать Г. А. вдобавок. А слепо идти за Г. А. означает растоптать свои убеждения, что, как известно, дурно.

Вот у Иришки все просто. Она очень любит Г. А., и она очень жалеет Г. А. Этого для нее вполне достаточно, чтобы целиком быть на стороне Г. А. Это вовсе не означает, что она растаптывает свои убеждения. Просто у нее такие убеждения: ей жалко любимого Г. А. до слез, а на остальное наплевать. Флоры и фауны приходят и уходят, а Г. А. должен пребывать и будет пребывать вовеки. Аминь! А будешь много тявкать, получишь этой овсянкой по физиономии.

Кириллу хорошо: у него билет домой на завтра, на тринадцать

двадцать. Впрочем, он теоретик. «Верую, ибо абсурдно». Человековедение — это не наука, это такая разновидность веры. Здесь ничего нельзя ни доказать, ни опровергнуть. Человековерие. Ты либо просто веришь, либо просто не веришь. Что тебе ближе. Или теплее... Г. А. — бог. Он знает истину. И если даже ваша паршивая практика покажет потом, что Г. А. оказался не прав, я все равно буду верить в Г. А., и смеяться над вашей практикой, и жалеть вас в минуту вашего жалкого торжества, а потом, может быть, позволю вам, отступникам, поплакать у меня на груди, когда в конце концов ваша жалкая практика превратится в пепел под лучами истины.

Зоя кричала и размахивала меньше всех. Простым глазом видно было, что сам разговор о Флоре вызывает у нее тошноту почти физическую. Она со своей душевной чистотой, доходящей уже до фригидности, не переносит Флору органически. (И дело здесь вовсе не в повышенной брезгливости. Во время эпидемии, помню, она работала вместе с нами и лучше многих из нас — с утра до ночи и с ночи до утра, гнойные простыни, желто-красные язвы, кровавые испражнения умирающих...) А Флора для нее — за пределом. Ведь это уже не люди. Это даже не животные. Это какие-то мерзкие осклизлые грибы, гнездящиеся на падали. Они вне моей сферы. Они вне наших законов. Они вообще вне... Г. А. — святой, а вы — нет. А я уж совсем нет, до последней степени — нет. И заткнитесь вы, ради бога, хватит об этом, ужин ведь все-таки...

В общем, никто меня особенно не удивил. Аскольд меня удивил. Он всегда был малость супермен, с первого класса, и всегда ему это нравилось. Я-то раньше думал, что это у него поза такая. Имидж. Г. А., помнится, пошутил как-то: с такими манерами, Аскольдик, прямая тебе дорога преподавателем в кадетское училище. Однако сегодня выяснилось, что это не только манеры. Тунеядство должно быть уничтожено. Перед нами выбор: либо мир труда, либо мир разложения. Поэтому у каждого тунеядца не может быть образа жизни, у него может быть только образ неотвратимой гибели, и только в выборе этого образа гибели мы можем позволить себе некоторое милосердие. И каждый тунеядец должен это усвоить твердо. А мы с вами должны сделать так, чтобы каждый потенциальный тунеядец, которому не повезло с генотипом, с семейной средой, со школой и прочим, был с наивозможной убедительностью предупрежден о своей неотвратимой гибели. Не надо: слюней, соплей, метаний и самопожертвования. Надо: железную твердость, беспощадную последовательность, абсолютную непримиримость. Г. А. — гений, это бесспорно. Да с этим никакой дурак и не собирается спорить. Просто надо помнить, что гении тоже ошибаются.

Ньютон... Толстой... Эйнштейн... и так далее. Мы должны иметь свою голову на плечах, хоть мы и не гении. Мы должны сохранять хладнокровие мысли и не позволять нашему преклонению и восхищению застилать глаза нашему разуму...

Как всегда, аргументов в нужный момент у меня не нашлось, и все мои аргументы были — яростное швыряние помета и банановых шкурок. А как славно было бы спеть с ним тогда такой, например, дуэт:

Я: Предположим, что ты врач. Новая страшная эпидемия поражает только негодяев. Твои действия?

Он (пренебрежительно): Было. Сначала венерические болезни, потом СПИД. Старо.

Я: Нет, не старо. Там болезнь поражала всяких людей. Совершенно ни в чем не повинные страдали тоже. А теперь представь, что болезнь поражает только и исключительно подлецов. Ты, разумеется, будешь в этом случае железно твердым, беспощадно последовательным и абсолютно непримиримым?

Он: Что ты ко мне пристал? Я не врач!

Я: Да, ты не врач. Ты не приносил клятву Гиппократа. Но ты принимал присягу Януша Корчака! Люди вроде тебя всегда норовили делить человечество на агнцев и козлищ. Так вот, врач может делить человечество только на больных и здоровых, а больных — только на тяжелых и легких. Никакого другого деления для врача существовать не может. А педагог — это тот же врач. Ты должен лечить от невежества, от дикости чувств, от социального безразличия. Лечить! Всех! А у тебя, я вижу, одно лекарство — гаррота. Воспитанному человеку не нужен ты. Невоспитанный человек не нужен тебе. Чем же ты собираешься заниматься всю свою жизнь? Организацией акций?

Он (в бессильной ярости принимается швырять в меня пометом и банановой кожурой).

Да, воистину: самые убедительные наши победы мы одерживаем над воображаемым противником.

Сейчас мне пришло в голову, что ведь, пожалуй, и Аскольдовы подопечные Сережка Петух и Ахмет-богатур заметно отличаются и от моих ребятишек, и от всего остального их класса. Холодные драчуны. Кадеты. Маленькие аскольдики. Это уже неконтролируемое размножение! Ей-богу, хватит с нас и одного Аскольда.

Настроение, и без того не радужное, вконец у меня испортилось. Врачу, исцелися сам. Педагогу, воспитай себя, а уже потом суйся воспитывать других. А то ты такого навоспитаешь, что сотня Г. А. их не

перевоспитает.

Для поднятия тонуса сходил в комнату моих ребяток. Пусто и уже припахивает пылью. Но на стенах — милые сердцу картинки. На подоконнике — недостроенная модель Термократора. На столике — развороченный компьютер. На спинке стула — забытая Ежикова майка с надписью «It's Time of Total Truth»... Я присел перед подоконником, впаял Термократору недостающий глаз, и на душе у меня полегчало. Проще надо быть! Проще! Счастье — в простом.

Мне кажется, я понимаю, какую связь подразумевает Г. А. между этой древней рукописью и моей работой, но это слишком долго, а я слишком устал, чтобы сейчас об этом писать.

(ПОЗДНЕЕ ПРИМЕЧАНИЕ. Совершенно не помню, что я тогда имел в виду. К сожалению.)

РУКОПИСЬ «ОЗ» (15–18)

15. Был уже поздний вечер. Даже, скорее, ночь. Я лежал под одеялом у себя в каморке и читал на сон грядущий Агасферов «Преканон». Они разговаривали в Комнате. Тоже, видимо, на сон грядущий. Я не прислушивался. Как всегда между собою, они говорили на каком-то сугубо экзотическом языке, которого я никак освоить не мог, — гортанном и изобилующем придыханиями и шипящими. Вдруг голоса их возвысились. Я глазом моргнуть не успел, как они уже орали друг на друга. Встревоженный, я спустил ноги с тахты, и тут Демиург заревел, как иерихонская труба, а Агасфер Лукич завизжал невыносимым, скребущим душу визгом. Ничего подобного в жизни своей я не слыхивал. Визг этот был не животный, не механический и не электронный. Он был вообще не от мира сего. Так мог бы визжать Конь Бледный, бешено топча сонмы грешников. И сейчас же что-то тяжело ударило в стену, да так, что все висевшее на ней оружие с лязгом обрушилось.

В одних трусах влетел я в Комнату. В голове моей торчала одна-единственная нелепая мысль: «Весь ведь квартал на ноги поднимут, уроды!»

Уроды же выглядели так.

Агасфер Лукич, весь расхлюстанный, блистая потной плешью и потным брюхом, вывалившимся из-под брючного ремня, наскакивал на Демиурга, совершая диковинные взмахи и взбрыки ручками и ножками, — то ли норовил вскарабкаться на него, как на Красноярский столб, то ли стремился причинить ему какое-нибудь физическое увечье приемами борьбы, бывшими в ходу две тысячи лет назад.

Демиург же, отгораживаясь от него крылатым плечом, возился со знаменитым портфелем. Я впервые увидел руки Демиурга, они были черные, с зеленоватым отливом, с неопределимым количеством пальцев. Пальцы эти, длинные и мосластые, сложно и омерзительно шевелились, как шевелятся лапы паука, когда он бинтует муху.

На моих глазах он распахнул портфель (Агасфер Лукич вновь издал апокалиптический визг) и, придерживая его левой рукой, засунул правую в пышущие жаром недра — засунул глубоко, неправдоподобно глубоко, куда-то этажом ниже, как мне показалось. Несколько долгих секунд он шарил там, в жарких пространствах, звучно рыча и беспорядочно вращая налитыми кровью яблоками глаз.

Только на несколько секунд его и хватило — портфель полетел в сторону, а освобожденная рука взметнулась к потолку. Она была невероятной длины и с множеством локтей, а кисть ее до первого локтя была раскалена и светилась всеми цветами побежалости, и с кончиков ослепляюще белых пальцев срывались и летели по Комнате дымные искры и капли. А потом (волосы поднялись у меня по всему телу) левой рукой он ухватился за правую, с хрустом выдернул ее вон и швырнул в угол. Глаза его сделались уже как дыни, он разинул пасть, изрыгнул непонятную, но явную брань, многоэтажную и древнюю, щучьими зубами впился в первый подвернувшийся локоть левой руки, бешено мотнул медной головищей так, что кисточка парика взвилась дыбом, с тем же хрустом выдернул из себя и левую руку и словно окурок сигары выплюнул ее в бездонную тьму за дверью Кабинета.

И сразу стало тихо. Демиург осанисто поводил головой из стороны в сторону и плавно приподнимал то одно плечо-крыло, то другое, как бы демонстрируя нимало не уменьшившуюся мощь и боеготовность своего организма. Агасфер Лукич сидел на корточках возле топчана, любовно оглаживая, осматривая и даже обнюхивая свой счастливо возвращенный портфель. В углу все еще корчилась, остывая, страшная рука — скребла по обуглившемуся паркету сосульками оплавленных пальцев. Пахло потом, гарью и медной окалиной.

Потом Агасфер Лукич вдруг, словно бы спохватившись, перекатился на четвереньки и принялся озабоченно оглядывать пол вокруг себя. Не обнаружив искомого, он двинулся вдоль стены на трех конечностях, прижимая четвертой портфель к голому потному боку. Тут я понял наконец: Агасфер Лукич в пылу сражения потерял свое искусственное ухо.

Демиург грянул:

— Да вон же оно, под калорифером! Что вы, в самом деле, будто Иов на гноище!

Агасфер Лукич, не поднимаясь, быстро добежал до калорифера, нащупал драгоценное и, радостно улыбаясь, приладил его на место.

— Благодарствуйте, мой Яхве! — весело сказал он.

Так закончилась еще одна ссора между ними. Правда, раньше до драки дело у них не доходило. Чего они не поделили на этот раз? То ли Демиург хотел отобрать что-то в свою пользу у Агасфера Лукича, то ли Агасфер Лукич ухитил что-то у Демиурга... Бог у бога портянки украл.

16. Вот этот клиент мне окончательно осточертел. То есть я, кажется, уже всяких повидал, но этот был — что-то неописуемое. Тощий, старый,

бледно-зеленый, с запекшимися губами, с горящими глазами фанатика, он многословно и невнятно, постоянно повторяясь и сбиваясь, излагал свою методу спасения человечества. Мысль его, словно поезд метро, постоянно двигалась по одному и тому же замкнутому кругу. Его можно было прервать, но отвлечь его было невозможно. И этот ужасающий местечковый акцент!..

Все очень просто. Христианство исказило естественное течение человеческих отношений. Учение Христа о том, что надлежит любить врага своего и подставлять ему все новую и новую щеку, это учение привело человечество на грань катастрофы. Древний благородный лозунг «око за око, зуб за зуб» оклеветан, забросан грязью, заклеймен как человеконенавистнический. Все беды — именно отсюда. Зло сделалось безнаказанным. Обидчики и нападатели привольно разгуливают по жизни, попирая ими же поверженных. Все дозволено тому, кто нагл, силен и злобен. Нет управы на него, кроме законов человеческих, коим цена — овечье дерьмо. Хулиган безнаказанно измывается над слабым. Чиновник безнаказанно измывается над робким. Наглый безнаказанно топчет скромного. Клеветник безнаказанно порочит правдивого. Властитель безнаказанно попирает всех.

Конечно, сам по себе лозунг «око за око», будучи формулой человеческой, ничего в этом мире изменить не способен. Но теперь, когда его может осенить мистическое могущество, если он воссияет на хоругви, несомой мощными дланями...

Четырежды Демиург давал мне распоряжение проводить. Четырежды ходатай за обиженных замолкал на мгновение, чтобы тут же начать все сначала. Мне пришлось буквально выковыривать его из кресла, затем отдирать от платяного шкафа, за который он уцепился, а затем отклеивать его пальцы от дверного косяка. И все это время он, как бы не замечая моих усилий и своего унизительного положения, втолковывал нам, что единственный способ раз и навсегда защитить обижаемых, унижаемых и оскорбляемых — это наделить их способностью поражать обидчиков своих чем-нибудь наподобие электрического разряда.

Еле я его выпроводил. Когда я вернулся в Приемную, с отвращением обтирая об себя ладони, липкие от хладного пота ходатая, Демиург спросил:

— А как вы полагаете, Сергей Корнеевич, почему третий закон Ньютона не выполняется в сфере человеческих отношений?

Я подумал.

— На самом-то деле он, наверное, выполняется. В конце концов, всем

известно: как аукнется, так и откликнется. Просто в человеческих взаимоотношениях нет ясных понятий действия и противодействия.

Демиург ничего не сказал на это, и я, подождав минуту, отправился на кухню. Наступило время обеда.

17. Я шел с авоськой по Балканской, направляясь в молочную, и думал о каких-то пустяках, когда произошло событие необыкновенное.

То есть началось-то оно вполне обыкновенно. Грохоча и лязгая, промчался мимо воняющий самосвал и с ходу обдал меня грязью из рытвины в асфальте. С обыкновенным проклятьем я остановился и принялся кое-как стряхивать с плаща и с брюк холодную жижу, как вдруг позади меня забухали приближающиеся сапоги, и хриплый, задыхающийся голос просительно просипел:

— Позвольте мне! Мне позвольте!

Я и ахнуть не успел, как здоровенный мужик в телогрейке, совершенно незнакомый, рухнул возле моих ног на колени и принялся трясущимися красными лапищами осторожно, как драгоценнейшее произведение искусства, обтирать полу моего плаща, брючину и заляпанный ботинок. При этом он, словно в лихорадке, бормотал:

— Сейчас!.. Моментально!.. Секундочку только, и все...

Я в ужасе огляделся. Никого вокруг не было, и лишь шагах в двадцати вонял на холостых оборотах давешний самосвал, стоя совершенно наперекосяк. Я шарахнулся, мне было гадко и страшно, но мужик не выпустил полу моего плаща, он побежал за мною, быстро перебирая коленями, и, заглядывая мне в лицо совершенно собачьими глазами, отчаянно прохрипел:

— Языком вылижу! Блестеть будут...

А у меня и голоса не было. Я только рванулся изо всех сил, освободился наконец и быстрым шагом пошел прочь, еле удерживаясь, чтобы не перейти на бег. До самого угла я боялся, что он меня догонит, и, поворачивая на проспект Труда, украдкой глянул через плечо назад. Безумец так и стоял на коленях, он лишь опустил зад на пятки и медленно обтирал руки о ватник, понурив голову. У него был вид человека, обреченного на казнь.

Душевное равновесие мое было нарушено, и, не сделав по проспекту Труда и нескольких шагов, я налетел на пенсионера самого почтенного вида — в шляпе и с тростью. Собственно, столкновения не произошло, в последнюю секунду я сумел притормозить, и мы только слегка коснулись друг друга плечами. Я пробормотал что-то вроде: «А, ч-ч-ч... Виноват...»

Он же с поразительной живостью отступил на шаг, сорвал шляпу, взяв на отлет свою палку, проговорил, словно в театре:

— Мой дорогой! Разрешите принести вам мои глубочайшие извинения! Я позволил себе задуматься и был крайне небрежен.

— А-ап... — сказал я. — А-ас... Собственно, это я был небрежен... Вина, собственно, моя... Еще раз — пардон.

— Мы оба были небрежны, — с видимым облегчением произнес пенсионер и улыбнулся, как мне показалось, фальшиво. — Вообще-то, сейчас время такое, что глаза лучше дома не забывать.

— Правда ваша, — согласился я, чтобы не затягивать сцену, и пошел себе дальше в молочную.

Неприятное предощущение зашевелилось во мне. Где-то под ребрами справа. Все вокруг было до тошноты знакомо. Испещренный трещинами неровный асфальт с вечными лужами, и прошлогоднее пятно на нем от пролитой краски перед хозяйственным магазином, похожее на рисунок кроманьонца. Мокрые жалкие прутья садовых насаждений вдоль тротуара, в некоем неприличном контрапункте странно сочетающиеся с гигантским вылинявшим плакатом «Саду — цвесть!» на брандмауэре бывшего доходного дома. Отгородившаяся от неба лоснящимися зонтиками терпеливая очередь за обоями в хозяйственный магазин. Прохожие, прохожие, прохожие, все больше тетки с кошелками, с сумками, с бидончиками, с собаками. И машины, машины, машины, господи, сколько нынче в городе машин!..

Вроде бы все как обычно, но чем дальше, тем страшнее мне становилось. Что-то происходило в городе, только я не мог уловить, что именно, и я не знал, как об этом спросить.

...Решительно, машины двигаются слишком медленно. Правда, на проспекте Труда везде «40», но ведь и вчера здесь было «40», а половина шоферов, как водится, никакого внимания на это не обращала... У всех машин включены подфарники по случаю туманной погоды. То есть буквально у всех!..

...Что они мне все улыбаются? Я эту тетку вижу впервые в жизни, а она мне кланяется и вся расплылась в улыбке, такой же фальшивой, как ее зубы... И эта туда же...

— Здрасьте... И вам здрасьте... Приветствую вас...

Вот оно! Ведь все же прячут глаза... лица прячут... Кто прикрывается зонтиком, кто смотрит под ноги, словно пятак потерял, кто отворачивается к витрине, хотя в витрине ничего, кроме ремонта, нет... Но если уж так выходит, что глаза наши встречаются, тогда сразу пасть до ушей, поклон

чуть ли не подобострастный и — «здрасьте! здрасьте вам! доброго денечка!».

Сначала я подумал было, что это моя известность как личного секретаря Демиурга распространилась вдруг на все население ближайших кварталов. Но я не успел даже продумать последствия такого ошеломляющего предположения. Я обнаружил, что они все друг с другом раскланиваются, все друг другу осклабляются, все желают друг другу добренького денечка.

...Нет, не все, конечно. Им это явно не нравилось, они делали это явно через силу. Они делали это только в том крайнем случае, когда встречались друг с другом глазами и вынуждены были (почему, собственно?) непременно оказать внимание друг другу, как старым добрым знакомым. Можно было подумать, что нынче утром, пока я распинался на службе, власть в городе захватили исступленные почвенники и призвали соотечественников (под угрозой наказания на теле) вспомнить, откуда все они произошли, припасть к чистому источнику древних обычаев, погрузить обе руки в сокровищницу патриархальных нравов и, хотя бы на улицах, вести себя в соответствии.

Смешного тут не было ничего. Я предпочел бы сейчас вернуться домой, пусть даже без кефира и масла, и навести справки у Агасфера Лукича или по крайности включить телевизор. Но масла в доме не было никакого, это во-первых, а во-вторых, черт побери, надо было хотя бы попробовать разобраться во всем самому.

В молочной на первый взгляд ничего необычного я не обнаружил. Очередь в кассу была небольшая, за сметаной стояло старух десять, но сметана меня как раз не интересовала. Я набрал в сумку четыре бутылки кефира, обогнул стойку, взял три пачки масла по двести граммов и пристроился в очередь в кассу.

Нет, здесь тоже было нехорошо. Очередь вела себя не как очередь, а словно бы на светском рауте, как я себе это представляю. Они беседовали. Все. Они не стояли друг другу в затылок, как это принято испокон веков, они норовили встать друг к другу вполоборота, чтобы, упаси бог, не оказаться к кому-нибудь спиной.

Физиономию у кассирши, казалось, свело судорогой от перманентной любезной улыбки, руки ее так и порхали — выбивали, отрывали, отсчитывали, выдавали, и с каждым покупателем она здоровалась и каждому говорила спасибо. (Обычно она разговаривает так: «Чего вы все лезете со своими десятками? Нет у меня рублей, ослепли, что ли?» Зовут ее Аэлита.)

В магазине были еще грузчики. Я заметил их не сразу, потому что они были бесшумны. Эти два опухших амбала в грязных черных халатах катали и разгружали свои тележки с продуктами, передвигались как бы на цыпочках, мгновенно замирая на месте, если путь им пересекал случайный покупатель. Ни лязга не было слышно, ни грохота, ни своеобычных возгласов: «Валек! На хрен ты, падла, это сюда приволок?.. Эй, мамаша, подбери корпуса!..»

До кассы было восемь человек. От силы десять минут.

В очереди разговаривали:

— Дожди и дожди, а снегу все нет...

— Очень нужен снег. Для урожая.

— Это вы совершенно правильно говорите, дама. Снег зимой — это самое первое дело.

— То-то Рейган радуется!

— У них там — тайфуны. Я вам так скажу, что уж лучше пусть будут дожди, чем тайфуны...

Шесть человек до кассы.

Грузный седой дядька, стоявший передо мною, повернулся ко мне вполоборота и, напрягшись, выдавил заветное:

— Осень в этом году. Все тянется и тянется...

Я напрягся и ответил:

— Да. Полгода уже тянется.

— И не говорите. Когда она кончится!

До кассы оставалось всего четверо, но тут из сметанной очереди прискакала бабка и, рассыпаясь в корявых извинениях, пристроилась второй. Она там занимала, оказывается, старая карга.

Дядька передо мной еще раз поднатужился и пошел по новой:

— Когда осень, обязательно дожди. Случая такого не припомню, чтобы осень — без дождей.

Я не успел сообразить ответ, как из-за спины моей уже подхватили:

— Это вы правильно говорите, мужчина. Только в Африке этого нет.

— И в Австралии! — объявил дядька с неожиданным апломбом, но тут же спохватился: — Хотя точно утверждать не могу. В Австралии, может быть, и есть. Южное полушарие все-таки...

Я был уже третьим от кассы, но тут подошла особа в шляпе и с банкой сметаны в руке и сказала моему дядьке:

— Я, кажется, перед вами занимала...

— А, пожалуйста, — сказал дядька с готовностью и потеснился ко мне.

Особа вперлась. Я оглянулся. Народу-то за мной стояло всего два человека. Нет, ей обязательно надо использовать свое право. Ладно, я четвертый, переживу... А вот я и опять третий...

И вдруг раздался странный звук, что-то вроде сдавленного мычания. Что-то треснуло. Банка со сметаной упала на кафельный пол и разлетелась белой многоконечной звездой. Дядька шарахнулся и наступил мне на ногу, а особа в шляпе, хватая воздух пальцами в черных нитяных перчатках, стала медленно падать вбок от очереди. На секунду все замерло. Раздался короткий взвизг. Я стоял столбом в обычном своем для подобных ситуаций ступоре. Особа в шляпе мягко, как волейболист, упала на спину, и сейчас же тело ее противоестественно выгнулось дугой, а голова несколько раз с силой ударилась затылком о кафель.

Я все стоял столбом, уставясь на бьющуюся в судорогах женщину, но уже понимал, что это у нее какой-то припадок, приступ какой-то, и надо броситься и помочь ей, и я сейчас вот брошусь и помогу, только надо куда-то пристроить проклятую сумку с кефиром... Самое страшное, однако, заключалось в том, что люди вокруг, вместо того чтобы броситься женщине на помощь или хотя бы стоять столбом, как я, кинулись врассыпную кто куда, только бы подальше отсюда, сбивая друг друга с ног, с треском круша стойки и перегородки, нечленораздельно крича и панически взвизгивая.

Тут перед глазами у меня вспыхнуло, и я на некоторое время отключился.

Первое, что я, очнувшись, услыхал, был пронзительный, душераздирающий вопль Аэлиты:

— Ты что наделал, облом тамбовский? Харя твоя непроспатая! Это же ученый из нового дома, каждый день сюда ходит!

Я лежал щекой на кафеле, и кто-то осторожно стягивал с меня берет.

— У них такое пятно должно быть лысое за ухом... — виновато и опасливо бормотал незнакомый сипловатый басок.

— За каким ухом-то? За правым? За левым? — спрашивал другой голос, тоже сиплый и напряженно-испуганный.

Голову мою осторожно повернули и положили на кафель другой щекой.

— Нет у него ни хрена, — с явным облегчением и уже раздраженно сказал второй голос. — Ни за левым, ни за правым... Дурак ты, боцман, и шутки у тебя дурацкие.

— Да я же вам говорю! — снова завопила Аэлита. — Ученый он, из нового дома на Балканской!

— Так а чего он, понимаешь... — агрессивно-виновато сипел басок.

— Чего, чего... В очереди человек стоял, вот чего!

— Так а чего он на нее глядел? Так и вперился, как этот...

— Ладно, давай хоть посадим его, что ли...

Меня взяли под мышки и аккуратно посадили, прислонив спиной к прилавку-холодильнику. Две опухшие сизоватые физиономии возникли перед моим лицом. Амбалы разглядывали меня внимательно и с сочувствием.

— Извини, друг, — просипел тот, что был слева. — Мы тебя за этого приняли... за громобоя... знаешь, который разрядом человека бьет... Уж больно ты страшно на эту бабу уставился... Прямо вызверился, как этот...

В магазине не было ни одного покупателя. Припадочная особа тихо лежала головой в луже сметаны. Она уже моргала.

— Продуктов-то сколько потоптали! — завопила Аэлита с новой силой. — Прилавок опять разнесли!.. Ну, чего встали, запойные? Вызывайте милицию! «Скорую» вызывайте!

18. Я сказал Демиургу:

— Я очень прошу вас впредь не делать меня участником ваших экспериментов.

Демиург ничего не ответил, а Агасфер Лукич напомнил мягко:

— Сережа, ведь я же говорил вам: не надо нам кефира, обойдемся! Ведь говорил же!

— Так масла же не было в доме ни крошки, — сказал я растерянно.

19. Остров Патмос на поверку оказался...

ДНЕВНИК. 19 ИЮЛЯ (УТРО)

У Лема есть рассказ, как изобрели снадобье, от которого совокупляющийся человек терпит непереносимые мучения. Идея изобретателя: половой акт должен иметь исключительно функциональное значение. Как называется рассказ? Не помню. И Мишель тоже не помнит.

19 ИЮЛЯ. 20 ЧАСОВ 30 МИНУТ

Утром позвонил тренер: занятия по субаксу сегодня отменяются. Вообще все тренировки в доме спорта сегодня отменены. Вопрос: «Почему?» Ответ: «Вы что — сами не понимаете?»

В газетах продолжается вчерашнее. По-прежнему гнев, стоны, проклятья, душераздирающие факты. Однако появились некоторые попытки теоретических обоснований.

«Городские известия». В. Кривошапкин, заведующий отделом трудовых ресурсов. «Мы в принципе не против так называемых _неедяк_, которых все-таки правильнее было бы называть лицами с добровольно редуцированными потребностями (ДРП). Мы достаточно богаты, чтобы прокормить их, одеть и обуть и даже обеспечить жильем. Тем более что уровень потребностей их в три-пять раз ниже среднего в нашем городе, и тем более что большая часть группы ДРП как-никак, а принимает участие в общественно полезном труде, причем берет на себя (пусть даже только спорадически) наименее престижные и непривлекательные работы. Я уже не говорю о том, что небезынтересный эксперимент некоторых семейств ДРП, посвятивших себя целиком воспитанию своих детей, не может не привлекать самого пристального и благожелательного внимания. Однако мы решительно против каких бы то ни было крайностей. А Флора, что бы ни говорили сердобольные ее защитники, это и есть та самая отвратительная крайность, с которой мы не можем позволить себе мириться...»

«Университетский вестник». Профессор Н. Микава излагает предварительные результаты первого социологического исследования Флоры в нашем регионе. Лиц мужского пола во Флоре больше, чем лиц женского. Пятнадцатилетних больше, чем шестнадцатилетних. (Ну и что?) Пробовали наркотики хотя бы один раз 96,2% опрошенных. (Это и так все знают.) Алкоголем балуются примерно 30%. (Ну и что?)

Ни выводов, ни рекомендаций, ничего. Только гордое признание в конце: де прозевали мы те сложные объективные процессы в социуме, которые привели к возникновению Флоры, и надлежит теперь нам, социологам, искупить свою вину, вплотную занявшись этим поразительным социальным явлением. И тут же заметка группы студентов: чего вы к ним пристали? Вспомните хиппи, вспомните битников, «металлистов», «караканаров», «акутагуев», «шлемников»... Перебесятся и

вернутся к нормальной жизни. Двое из подписавших заметку — сами бывшие фловеры.

Но зато статья проректора — это нечто! Оказывается, это Флора виновата, что в университетских подвалах гнали наркотики. Каленым железом! Поганой метлой! Дустом их, дустом!

«Ташлинский агропром». Сплошной мрак. Средневековье. Ночь. И горит городская свалка.

«Кооператор». Все авторы без исключения предостерегают сограждан от экстремизма — главным образом от пикетирования предприятий, бьют себя в грудь на тему «не виноватая я!» и в качестве доказательства своей абсолютной лояльности призывают пустить на Флору кавалерию. При этом все они категорически требуют не смешивать Флору с мирными неедяками, приводя примерно те же аргументы, что и «Городские известия».

«Молодежные новости». Тоже демонстрируют гордое признание своей вины. Это не только наша беда, это также и наша общая вина. Куда смотрел горком ВЛКСМ? Куда смотрели комсомольские организации предприятий и учебных заведений? Вот они, плоды чрезмерной заорганизованности комсомольской работы — с одной стороны, и чрезмерного потакания самым невзыскательным вкусам — с другой. Одним словом, Что Лично Сделал Ты — Чтобы Твой Друг Не Ушел Во Флору? Замечательная газета. Ты комсомолец? Да! Ужель не поумнеешь никогда?

Все это, впрочем, цветочки, а ягодки — в «Ташлинской правде». Целая полоса. Три статьи. Дискуссия, если можно так выразиться.

Застрельщиком выступает некий Плюхин К. П. Из текста явствует, что к Флоре он никогда и близко не подходил, знает о ней только понаслышке да по рассказам знакомых, так что весь пафос его базируется на отвращении к внешнему виду фловеров, которых он случайно встречал на улице, а также на совершенно разумном тезисе, что труд сделал из обезьяны человека, а тунеядство поворачивает этот процесс вспять. Нынешняя молодежь совершенно не знакома с подлинными жизненными трудностями. Ей далеко до тех, кто осваивал Тюмень и Сургут, строил БАМ и выполнял свой интернациональный долг. И хотя в массе своей наша молодежь «поднялась на здоровой закваске», закрывать глаза на уродливые отклонения от нормы в ее среде у нас нет никакого права.

Тут бы, казалось, самое время вскричать: «Огнем и мечом!» — однако же нет. Оказывается, нам всем надлежит всего-навсего использовать все меры воспитательного, идеологического и политического воздействия, основанные на рекомендациях наших педагогов и социологов. Комсомол должен встать во главе перевоспитательного движения.

Правоохранительные органы обязаны пребывать на высоте и не терять бдительности ни на малую секунду. Что же касается отдельных экстремистских тенденций, заявивших себя в городе в последнее время, то их надо рассматривать как паникерские, волюнтаристские и столь же опасные, как тенденции к пассивному приятию существующего положения. Социальная пассивность и социальная агрессивность — это две стороны стершейся фальшивой монеты дешевого политиканства.

Таким вот путем.

Дальше на две колонки идет наш Г. А. Горькая и блестящая статья. Очень его, очень личная. Читаешь и все время слышишь его голос.

(ПОЗДНЕЕ ПРИМЕЧАНИЕ. Статья эта не сохранилась. Я не нашел ее даже в Публичке. И можно лишь сожалеть, что в ту июльскую ночь я не переписал ее в свой дневник целиком, а только ограничился изложением некоторых ее тезисов, наиболее меня затронувших.)

Флора — разновидность преступного мира? Вздор. Ничего общего. Преступный мир паразитирует на нашей цивилизации, а Флора образует свою цивилизацию, свою собственную. Преступник вообще ближе к нам, чем Флора, — и по системе материальных ценностей, и по иерархии внешнего престижа. Дух цивилизации Флоры совершенно иной. Наши ценности для них — ноль. Их ценности для нас — за пределами нашего понимания, как кошачий язык.

Флора — дикари, не доросшие до нашей цивилизации? Неверно. Флора проросла из нашей цивилизации, как из слоя гумуса. Да, это дикари. Но это дикари совершенно особого типа — племя, вкусившее от нашей цивилизации и с отвращением извергнувшее то, что оно вкусило.

Суть происходящего в том, что никто не понимает Флору. А главная беда происходящего в том, что никто и не пытается понять Флору, потому что всем кажется, будто понимать здесь нечего, все и так ясно.

Флора не есть что-то отдельное от нас — некий отвратительный и опасный зверь из джунглей, которого надлежит либо уничтожить, либо отогнать на край света. (Кстати, куда хотите отогнать вы его? В соседнюю область? В соседний регион? В соседнюю республику?)

Флора — это боль наша, наше страдание. Может быть, это болезнь. Может быть, это гноящаяся рана. Но тогда нужен врач, профессионал, носитель знания и милосердия. И никакого самолечения! Никаких шаманских плясок! Никаких самопальных знахарей — с водкой вместо наркоза и ножовкой вместо ланцета.

А может быть, на наших глазах как бы стихийно возникает совершенно новая компонента человеческой цивилизации, новый образ

жизни, новая самодовлеющая культура. И тогда кровь, боль, нечистоты — роды! Младенец неприглядeн, даже уродлив, он вопит и гадит, но он обречен на рост, и в обозримом будущем он обречен занять свое место в структуре человечества. И если это так, то упаси нас боже от нечистоплотных повивальных бабок и деловитых абортмахеров!

Кто больше всех кричит в нашем городе? Оглянитесь вокруг себя, присмотритесь, прислушайтесь, задумайтесь!

Очень громко, оглушительно кричат те (как водится), кто больше всего виноват в происходящем, те, кто не сумел воспитать, не сумел увлечь и отвлечь, не сумел привязать к себе — и в первую очередь те, кто был ОБЯЗАН все это делать, числился специалистом, получал за это деньги и премии: плохие педагоги в школах, равнодушные наставники на предприятиях, бездарные культмассовые работники. Они заходятся в крике, чтобы заглушить собственную совесть и оглушить тех, кто рядом с ними пытается разобраться, где же виновные.

Зычно взревывают ответственные лица, те, кто определял на месте, выдвигал, пестовал упомянутых кое-какеров, теперь они пытаются свалить вину на своих подопечных, на объективные обстоятельства, на мифических соблазнителей и, уже как водится, на тлетворное влияние извне. А рядом не менее зычно ревут пока еще полуответственные, быстро сообразившие, что вот-вот начнут освобождаться места и что сейчас самое время сколотить политический капиталец, продемонстрировав свою объективность, деловитость и готовность решительно исправить положение. О, это вечное племя, призванное отвечать за все и потому не отвечающее ни за что!

И уже заболботали, зачуфыкали, закашляли наши родимые хрипуны, ревнители доброй старины нашей, спесивые свидетели времен очаковских и покоренья Крыма, последние полвека познающие жизнь лишь по газетным передовицам да по информационным телепередачам, старые драбанты перестройки, коим, казалось бы, сейчас правнуков своих мирно тетешкать да хранить уют семейных очагов, — нет, куда там! Вперед, развернувши старинные знамена, на которых еще можно разобрать полустертые лозунги: «Тяжелому року — бой! Не нашей культуре — бой! Цветоволосы — с корнем! Синхролайтинги — с корнем! _Системки_ — на помойку! _Контакторы_ — под каблук!»

И залязгали железными голосами ревнители абсолютного порядка, апологеты фрунта, свято убежденные в том, что от любых социальных осложнений есть только одно лекарство: строй, марш и бравая песня с запевалой. Тот, кто вне строя, тот и вне закона. А с тем, кто вне закона, надлежит поступать однозначно: высоко и коротко.

И с каждым часом все громче орут, улюлюкают, горланят в предвкушении веселой охоты соскучившиеся молодцы, почуявшие уже, что наступает времечко, когда можно будет дать себе волю, безнаказанно разнуздать себя, почесать кулаки, пуститься во все тяжкие, не опасаясь правоохранительных органов. Уже за одну только эту свору не будет прощения тем, кто сейчас, вылупивши шары, мечет молнии демагогических словес, вместо того чтобы помолчать и задуматься.

«Я не называл имен, хотя я мог бы их назвать. Я был резок и, наверное, даже груб, но я не прошу прощения за это. Все, что я сказал здесь, обращено к людям, добрая половина которых — мои ученики и ученики моих учеников. Все, что я сказал здесь, обращено к ним в той же мере, в какой я обращаю это и к себе самому. Стыд и горе мучают меня последние дни, ибо вину за происходящее я полностью принимаю и на себя лично — в той мере, в какой может принять ее отдельный человек. И я прошу вас только об одном: замолчите и задумайтесь. Ибо настало время, когда ничего другого сделать пока нельзя».

Замыкает подборку декан социологического факультета. Статья его посвящена главным образом роли тунеядства — и, в частности, Флоры — как социального явления в обществе начала второй НТР. Все очень разумно, академично и, на мой взгляд, бесспорно. В полемику с Г. А. он явно предпочел не вступать (не знаю уж из каких соображений), однако чувствуется, что он не согласен с Г. А. практически по всем позициям. Ни с содержанием, ни с формой.

Но мне кажется примечательным одно его рассуждение. Высказавшись в том смысле, что Флора была бы невозможна, если бы мы научились предоставлять каждому молодому человеку работу по его вкусу, он замечает: «Пока мы еще имеем моральное право осуждать Флору. Не хватает рабочих рук, очень много непривлекательного и непрестижного труда, на который мы с упреком указываем Флоре, но уже недалеко то время, когда вторая НТР завершится (ориентировочно через 40 — 50 лет), непривлекательный и непрестижный труд будет целиком отдан кибертехнике, и что мы тогда ответим Флоре, когда она скажет нам: ладно, давайте вашу работу. Необходимо уже сейчас понять, что с нынешней точки зрения это будет очень странное время — время, когда труд навсегда перестанет быть общественной необходимостью. Может быть, нам действительно надлежит рассматривать нынешнюю Флору как некую модель общей социальной ситуации не столь уж отдаленного будущего?»

Что я из всего этого понял?

Редакционной врезки под публикацией нет. Следовательно, горком еще

не принял своего решения по поводу намечающейся акции. И вообще заметно, что позиция горкома скорее умиротворяющая, нежели побуждающая. С другой стороны — подписи. Мне кажется важным, что про Плюхина К. П. все прописано досконально: и ветеран, и персональный пенсионер, и почетный наставник, и заслуженный рабочий РСФСР. То же и про декана: профессор, членкор, лауреат, депутат... А про Г. А. сказано просто, без затей: Г. А. Носов. Конечно, это можно понимать так, что каждый в городе знает, кто таков Г. А. Носов, и рекомендовать его нет никакой необходимости. Но при желании можно усмотреть здесь и некий предупреждающий намек: мол, сегодня ты и заслуженный учитель, и лауреат, и депутат, и член горсовета, а завтра — Г. А. Носов, и точка. Кирилл из всей этой подборки сделал в высшей степени оптимистические выводы: горком никаких крайних акций не допустит — пошумят, погалдят и утихомирятся. Смотри тон статьи ветерана, а также отсутствие среди авторов подборки преподобной красотки Ривы, да и арбитром выбран высоколобый, а не практик, не чиновное лицо.

Все это он изложил нам в вестибюле с чемоданом наперевес. Говорил очень убежденно, но в его положении странно было бы говорить что-нибудь другое, например: да, ребятки, дело ваше дерьмо, ну да ладно, как-нибудь вывернетесь, а мне пора в круиз вокруг Африки.

Едва мы его проводили, как меня вызвал Г. А. и сказал: «Пойдем». Мы пошли, и по дороге я все гадал, куда это мы идем, и, конечно, не догадался. А пришли мы на телецентр и поднялись прямо к главному начальнику. Главный начальник оказался длинным, сутулым, потным, волосатым (несимпатичным), и сразу же выяснилось, что он на грани истерики. Едва мы вошли к нему, как он вскричал рыдающим голосом: «Ну что тебе, Георгий? Ну что тебе еще?»

Да, он старый и верный друг Г. А. Да, он до гроба благодарен Г. А. за свою дочь. Кажется, он уже не раз доказывал свою благодарность и словами, и делами. Но сейчас сделать нельзя ничего. Неужели он неясно выразил эту простую мысль в телефонном разговоре? Нет, по радио тоже нельзя. Нет, никаких секретов, никаких тайных пружин, и он никого не боится. Но он держится буквально из последних сил. Он не намерен на старости лет марать свою совесть, а самое малейшее вмешательство в происходящее с неизбежностью приведет к тому, что он будет замаран с ног до головы. Нет, это глубокое заблуждение, будто «хуже не будет, а лучше — может быть». Будет именно хуже, причем гораздо хуже! Сколько трудов стоило ему уклониться от чести предоставить эфир: заведующей гороно, председателю Совета ветеранов, главному редактору «Ташлинского

агропрома»... Если сейчас в эфир выйдет Г. А., тогда он (волосатый, несимпатичный главный начальник) по простой логике гласности должен будет предоставить эфир всем названным лицам и еще двум десяткам неназванным, которые, как собаки с цепи, рвутся призвать граждан к поганым метлам, каленому железу и ежовым рукавицам...

Кончилось тем, что Г. А. пришлось утешать его, волосатого, несимпатичного, вытирать ему сопли, напоминать о каких-то обстоятельствах, когда все закручивалось и похлеще, а кончилось благополучно, и в конце концов волосатый несимпатичный совершенно разрыдался — уже не в переносном, а в самом прямом смысле слова, и Г. А. взглядом показал мне, чтобы я вышел.

На обратном пути я спросил Г. А., что он думает о подборке в «Ташлинской правде». Г. А. ответил: «Могло бы быть значительно хуже». Потом помолчал и добавил: «А может быть, еще и будет значительно хуже. Посмотрим». Потом еще помолчал и пробормотал как бы про себя: «Во всяком случае я больше никуда обращаться не буду. Поздно». Это было ключевое слово: «Поздно, поздно! — кричал Вольф, — продекламировал Г. А., оживившись. — Пена и кровь стекали по его подбородку». Как всегда, цитата эта привела его в хорошее настроение. Он поглядел на меня повеселевшими глазами и вдруг спросил: «А не кажется ли вам иногда, Князь, что мы сейчас живем на переломе истории? Никогда не появляется у вас это ощущение? На переломе истории ужасно неуютно: сквозит, пахнет, тревожно, страшно, ненадежно, но с другой стороны — счастл`ив, кто посетил сей мир в его минуты роковые... А, Князь?»

В самом деле, каково это — жить на переломе истории? Надо подумать. Что это такое, собственно, — перелом истории? Когда на перекрестках стоят броневики и чадят костры, на которых догорают старые истины, — это уже не перелом истории, это уже началась новая история. А перелом — это производная по времени. Говорят, сердечники реагируют не на плохую погоду, а на изменение хорошей. Вокруг еще солнышко сияет, тепло, благорастворение воздухов, но давление начало меняться, и сердечник хватается за сердце. Может быть, и с историей так же? Может быть, Г. А. со своей чуткостью реагирует на изменения, которые только-только еще начались? Не удивился бы, хотя сам никаких изменений не ощущаю.

Пикетов еще больше, чем вчера. Лозунги примерно те же. Интуристам страшно интересно, они непрерывно сверкают вспышками и шуршат во все стороны видеокамерами.

Спросил Михея, что он, комсомолец Михей, сделал для того, чтобы его

друг, Князь Игорь, комсомолец же, не ушел во Флору? Реликтовые звуки были мне ответом.

РУКОПИСЬ «ОЗ» (19–22)

19. Остров Патмос на поверку оказался довольно оживленным местечком. Видимо, в то время он располагался на пересечении нескольких каботажных если и не дорог, то, во всяком случае, тропинок. Чуть ли не каждую неделю в его удобной южной бухточке бросало якорь какое-нибудь судно, чтобы пополнить здесь запас пресной воды, снабдиться вяленой козлятиной, а то и спустить на берег очередного ссыльного.

На Патмосе оказалось полным-полно ссыльных. Они называли себя жаргонным словечком _прикахты_, что соответствует примерно нашему понятию «крестник». Были там крестники Калигулы, крестники Клавдия, крестники Тиберия. Возомнившие о себе сенаторы, проштрафившиеся артисты, иноземные князья, мастера и любители красного словца, непотрафившие реформаторы — некоторые при семействах и скарбе, а некоторые без ушей, без языка, иногда без гениталий.

И все это была элита, даже те, кто был без гениталий. Социально близкие. А полуголый, вываренный в кипящем масле, облезлый профессиональный бандит был социально чуждым. Строго говоря, он был даже недостоин ссылки: если уж на него не хватило масла, то место ему было, без всякого сомнения, на кресте, а не в светском обществе. Поэтому первые недели пребывания его на острове были омрачены инцидентами.

Впрочем, правильнее было бы сказать, что недели эти были омрачены с точки зрения гордых прикахтов. Они стремились исправить упущение властей — и не преуспели.

Сначала были убиты три собаки: его пытались травить собаками, он убил их и вместе с Прохором съел, зажарив на угольях. Затем были изувечены четверо рабов сенатора Варрона, посланные отомстить за собак. Бандит лишил их гениталий, чтобы они в дальнейшем ни в чем не превосходили своего хозяина.

Тогда на него устроили настоящую облаву, которой руководили опальные офицеры Четырнадцатого легиона. Облава кончилась ничем: сожгли пустую развалюху, в которой ютился он с Прохором, разбили единственный его горшок со вчерашней похлебкой да захватили несколько коз, случившихся неподалеку и вряд ли ему принадлежавших.

Той же ночью поселок прикахтов запылал, подожженный с четырех концов пастухами-фригийцами, а бандит со своим Прохором, нагрузившись скарбом сенатора Варрона, ушел в горы. Таким образом, развеселое

приключение изнывавших от скуки крестников трех императоров превратилось в тяжелую и бессмысленную войну с аборигенами, окончившуюся лишь месяц спустя капитуляцией на достаточно унизительных условиях.

Иоанн-Агасфер стал жить в горах. С точки зрения стороннего наблюдателя, это было чисто растительное существование. Он ничего не делал, только ел да спал. Приносил воду и добывал пищу Прохор. Иногда приходили пастухи. Не здороваясь, садились у костра и пили кислое вино, принесенное с собой в облезлых мехах. Тогда Иоанн напивался. Иногда ему хотелось женщину. Свободных женщин на острове не было. Он обходился козами. Никаких иных желаний у него не возникало. Собственно, он был счастливейшим человеком своего времени: ему не надо было работать, и все, чего он желал, было у него под рукой.

Вокруг него ничего не происходило.

Зато внутри него происходили вещи, поистине поразительные, и он с тревогой и изумлением впитывал их в свое сознание часами напролет, валяясь на шкурах в убогом шалашике. Началось это, несомненно, от римского яда, когда он трупом плавал в луже собственной блевотины на полу экзекуторской. Это продолжалось сквозь нестерпимую боль, когда его варили у Латинских ворот. И с тех пор это не прекращалось. Были ли это голоса, теперь уже вполне ясно и внятно рассказывающие ему о принципах и законах бытия? Возможно. Возможно, это были именно голоса. Были ли это видения, яркие и огромные, видения того, что было, того, что будет, того, что есть? Да, очень может быть. Он видел. Он видел, он обонял, он осязал, он ужасался и восторгался. Но он не участвовал.

Долгое время он думал, что это боги говорят с ним, что они готовят его к какому-то великому деянию и наделяют его для этого нечеловеческим знанием, — _всезнанием_ наделяют они щедро его. Но по мере того как сознание его наполнялось, по мере того как вселенная вокруг него и в нем самом становилась все огромнее, все понятнее, все яснее в своих неисчислимых связях, протянутых в прошлое и будущее, все проще в своей неизреченной сложности, — по мере того как все это происходило, он все тверже укреплялся в мысли, что никаких богов нет, и нет демонов, и нет магов и чародеев, что ничего нет, кроме человека, мира и истории, и все то, что озаряет его сейчас, идет не извне, а изнутри, из него самого, и что никаких таких особенных деяний не предстоит ему, а предстоит ему просто жить вечно, со всей вселенною внутри.

Замечательно, что в минуты бодрствования, пока он пожирал печеную рыбу, или глотал квашеное молоко, или подбирался к похотливой козе, он

оставался прежним Иоанном-Агасфером, и даже не Иоанном-Агасфером, а попросту Иоанном Боанергесом — диким, хищным, простодушным галилеянином, не знающим грамоты и живущим только пятью чувствами и тремя вожделениями. Даже память об Учителе уже потускнела в нем, оставив лишь смутное ощущение неопределенной ласковой теплоты.

Он никогда не мог похвастаться хорошей памятью, если это не касалось мести и ненависти. В часы бодрствования сверхзнание его спало в нем, как Левиафан в толще вод, и если бы в такие часы его спросили, например, почему восходят и заходят небесные светила, он просто не понял бы вопроса. И если бы самому ему пришло в голову задаться вопросом, почему, например, дети похожи на родителей, он бы только подивился неожиданному баловству мысли, узревшей вопрос в естественном порядке вещей, а искать ответ он бы даже не попытался.

Знание просыпалось в нем неожиданно и всегда помимо воли. Как правило, это случалось в минуты крайнего раздражения, когда настигали его приступы нетерпимости к людям, к их глупости, к их самоуверенной болтливости, к их рабскому наслаждению собственным ничтожеством перед высшими силами — богами, жрецами или властями, — к их животному.

Впервые это случилось жарким летним вечером, когда солнце уже зашло и возле тлеющего костра шла неторопливая, специфически мужская беседа под молодое самодельное вино. Обыкновенным путем разговор от женщин перешел на коз, и пастухи с большим знанием дела принялись втолковывать Иоанну и Прохору все тонкости этого приятного занятия: по каким признакам следует выбирать животное; каким образом надлежит подготовить его к употреблению; а главное, какие меры надо принять, чтобы и в удовольствии ничего не было потеряно и чтобы не случилось скверного — чтобы не зачать чудовище.

Иоанн-Агасфер ничего не имел ни против мужской беседы, ни против козлиного поворота ее. Но когда пастухи понесли чепуху о козлолюдях, об их ужасном облике, об их кровавых повадках, когда вранье пошло громоздиться на вранье, когда наперебой и безудержно пошли мешаться авторитетные ссылки на богов и дедов, когда под треск раздираемых на грудях козьих шкур пошли в ход свидетельства очевидцев и непосредственных виновников, вот тогда Иоанн-Агасфер не выдержал. Он заговорил. Он сказал этим крикливым дуракам, что потомство коз от людей невозможно. (Он только что с совершенной ясностью понял, что знает это и, более того, совершенно точно знает, почему это невозможно.) Он попытался объяснить им, почему это невозможно. Впервые в жизни он

ощутил, как это мучительно, когда все понимаешь, но не хватает слов. Лингвистическое удушье.

Они не поняли его. Он стал кричать. Он бил кулаками в каменистую землю. Он сплетал и расплетал пальцы, силясь продемонстрировать механизмы. Он заикался, как паралитик. Он заплевал себе всю бороду. Пастухи в ужасе разбежались, и он остался один — только Прохор рядышком с привычной сноровкой орудовал стилом по мятому листу грязноватого пергамента. Иоанн заплакал, швырнул в него головешкой и упал лицом в землю.

Ему пришлось учиться рассказывать. Он оказался способным рассказчиком. И очень скоро обнаружилось в нем четвертое вожделение: жажда делиться знанием. Это было что-то вроде любви. Здесь тоже нельзя было торопиться, а надлежало быть (если хочешь получить исчерпывающее наслаждение) обстоятельным, вкрадчивым, ласковым и нежным к слушателю. Приступы внезапного раздражения его против людской тупости, самодовольства и невежества не прекращались, но теперь сверхзнание его уже не нуждалось в них, чтобы изливаться совершенно свободно. Теперь ему достаточно было лишь корректной оппозиции. Это заставляло Иоанна искать партнеров.

Он сильно переменился к интеллигенции. Ему стали нравиться люди начитанные и исполненные любопытства к окружающему миру. Разумеется, с его высоты начитанность их представляла собою всего лишь систематизированное незнание, более или менее сложный комплекс неверных, ошибочных или неточных образов мира, но образование вооружило их логикой, скепсисом и пониманием извечной невозможности объять необъятное.

Он стал своим человеком в колонии прикахтов.

А Прохор все записывал.

Но было бы неправильным утверждать, будто Прохор записывает каждое слово своего возлюбленного пророка, хотя сам-то Прохор был искренне уверен, что ни единое слово не пропало втуне. Он начал записывать еще у Латинских ворот. Он продолжал записывать на галере, которая везла их на Патмос, мечущегося в бреду Иоанна, с которого кожа слезала, как со змеи. На Патмосе, пока сверхзнание вызревало в нем, Иоанн-Агасфер разговаривал во сне. Прохор записывал и эти речи — горячечные беседы Иоанна с воображаемыми богами.

Он записывал, когда взбешенного Иоанна рвало знаниями перед перепуганными пастухами. Он записал диспут Иоанна с Плинием Старшим, высадившимся на Патмосе проездом, чтобы забрать

помилованного вождя германцев. И диспут с Юстом Тивериадским, прибывшим на Патмос специально встретиться с удивительным ученым. И еще многие и многие диспуты записал он, пока сам не научился умело заданными вопросами побуждать к извержению вулкан знаний своего пророка.

Так рождался АПОКАЛИПСИС, «Откровение Иоанна Богослова», знаменитый памятник мировой литературы, который сам Иоанн-Агасфер называл не иначе, как _кешер_ (словечко из арамейской фени, означающее примерно то же самое, что нынешний «_р`оман_», — байка, рассказываемая на нарах в целях утоления сенсорного голода воров в законе). Ибо между тем, что рассказывал Иоанн, и тем, что в конечном счете возникало под стилом Прохора, не было ничего общего, кроме, может быть, страсти рассказать и убедить.

Иоанн-Агасфер говорил, бредил и рассказывал, естественно, по-арамейски. На арамейском Прохор был способен объясниться на рынке, и не более того. Писал же он и думал, естественно, по-гречески, а точнее — на классическом _койне_.

Далее. У Иоанна-Агасфера поминутно не хватало слов, чтобы передать понятия и образы, составляющие его сверхзнание, и ему все время приходилось прибегать к жестам и междометиям. Сознание его вмещало всю вселенную от плюс до минус бесконечности в пространстве и времени, и как ему было объяснить молодому (а хотя бы и пожилому!) уроженцу Херонеи, сыну вольноотпущенника от иберийской рабыни, что такое: пищаль, гравилет, ТВЭЛы, питекантроп, мутант, гомункулус, партеногенез, Линия доставки, протуберанец, многомерное пространство, инкунабула, Москва, бумага, бронепоезд, капитализм, нуль-Т, римско-католическая церковь, магнитное поле, Облачный город, лазер, инквизиция... Он и сам-то, Иоанн-Агасфер, не умел не только объяснить, но и просто назвать эти понятия, предметы и явления. Он всего лишь ЗНАЛ о них, он только имел представление о них и о связях между ними. Однако Прохор был великий писатель и, как все великие писатели, прирожденный мифотворец. Воображение у него было развито превосходно, и он с наслаждением и без каких-либо колебаний заполнял по своему разумению все зияющие дыры в рассказах и объяснениях пророка.

Далее. Прохор изначально убежден был в том, что перед ним действующий пророк во плоти. Иоанн-Агасфер делился знанием, Прохор же записывал пророчества. Смутность, непонятность и бессвязность Иоанновых рассказов только укрепляли его в убеждении, что это, конечно же и именно, пророчества. И задачу свою он видел в том, чтобы

растолковать, привести в систему, расставить по местам, связать воедино. Он вычленял главное, он безжалостно отсекал второстепенное, он искал и находил всем доступные образы, он обнаруживал и выявлял смысл, а когда он считал необходимым, то скрывал смысл, он выстраивал сюжет, он выковывал ритм, он ужасал, вызывал благоговение, дарил надежду, ввергал в отчаяние...

В результате он создал литературное произведение, обладающее совершенно самостоятельной идейно-художественной ценностью. Как и большинство крупных литературных произведений, оно не имеет ничего общего со стимулами, которые подвигли автора на написание. Поэтому толковать получившийся кешер можно множеством способов в зависимости от идейных установок и даже эстетических вкусов толкователя.

Насколько известно, ни один из толкователей не принял во внимание того замечательного и, может быть, решающего факта, что значительную и плодотворную часть своей жизни (как-никак четыре десятка лет) Прохор провел в окружении прикахтов, в клокочущем котле оппозиционерских страстей, где бок о бок варились и яростные ненавистники Рима, и чрезмерные его паладины, и те, кто считал Рим тюрьмой народов, и те, кто полагал, что пора, наконец, решительно покончить с гнилым либерализмом. В этом бурлящем котле варились и переваривались самоновейшие слухи, сплетни, теории, предсказания, опасения, анекдоты, надежды, и Прохор, безусловно, был в курсе всего этого бурления. Он не мог не испытывать на себе, как и всякий великий писатель, самого глубокого воздействия этого окружения.

Так появляется еще одно возможное толкование Апокалипсиса, на этот раз как остросовременного сверхзлободневного политического памфлета, в котором элементы пророчества должны рассматриваться не более как литературный прием, с помощью которого до современника доводилась идея неизбежности трудного и страшного конца Римской империи. Главный же кайф современник должен был ловить, узнавая знакомую атрибутику римской иерархии, римской персоналии, римской инфраструктуры в чудовищных образах Зверя, железной саранчи и прочего. Во всяком случае, когда в конце шестидесятых Прохор, переводя с листа, читал Иоанну-Агасферу избранные отрывки из своего Апокалипсиса, пророк хлопал себя по коленям от удовольствия и, похохатывая, приговаривал: «Да, сынок, тут ты их поддел, ничего не скажешь, молодец...» А когда чтение закончилось, он, сделав несколько чисто стилистических замечаний, предрек: «Имей в виду, Прохор, этой

твоей штуке суждена очень долгая жизнь, и много голов над ней поломается...»

Конечно, сейчас, спустя две тысячи лет, никто уже не способен воспринимать Апокалипсис Прохора как политический памфлет. Но ведь и другое великое явление мировой литературы, «Божественную комедию» Данте, тоже не воспринимают как политический памфлет, хотя и задумана, и исполнена она была именно в этом жанре.

А много лет спустя, когда не было уже ни Прохора, ни прикахтов, ни самой Римской империи, пришла однажды Иоанну-Агасферу в голову странная мысль: не был Апокалипсис Прохора ни мистическим пророчеством о судьбах ойкумены, ни политическим памфлетом, а был Апокалипсис на самом деле тщательно и гениально зашифрованным под литературное произведение грандиозным планом всеобщего восстания колоний-провинций против Рима, титанической диспозицией типа «ди эрсте колонне марширт...», в которой все имело свой четкий и однозначный военно-политический смысл — и вострубление каждого из ангелов, и цвет коней, на коих въезжали в историю всадники, и Дева, поражавшая Дракона... И применена была эта диспозиция впервые (некоей своей частью) во времена Иудейской войны и, вполне по Л. Н. Толстому, обнаружила при столкновении с реальностью полную свою несостоятельность.

20. Самым трудным оказалось взгромоздить эту проклятую картину на наш этаж. Она оборвала мне руки, с меня семь потов сошло, два раза я ронял шапку, всю извалял в грязи и пыли. Я оцарапал щеку о золоченый багет. Где-то на середине подъема стекло хрустнуло, и сердце мое оборвалось от ужаса, однако все кончилось благополучно. Задыхаясь, из последних сил, я протащил картину через коридор, внес в Комнату и прислонил к стене: полтора на полтора, в тяжеленном багете и под стеклом.

Пока я переводил дух, утирался, отряхивал шапку, еле шевеля оторванными руками, из столовой появился Агасфер Лукич — прямо из-за стола. Он что-то аппетитно дожевывал, причмокивая, пахло от него жареным лучком, уксусом и кинзой.

— М-м-м! — произнес он, остановившись перед картиной и извлекая из жилетного кармана зубочистку. — Очень неплохо, очень... Вы знаете, Сережа, это может его заинтересовать. Дорого заплатили?

— Ни копейки, — сказал я, отдуваясь. — С какой стати? А если не подойдет?

— И как это все вместе у нас называется?

— Не помню... Мотоцикл какой-то... Да там написано, на обороте. Только по-немецки, естественно.

Агасфер Лукич живо сунулся за картину, весь туда залез, так что только лоснящаяся задница осталась снаружи.

— Ага... — произнес он, выпрастываясь обратно. — Все понятно. «Дас моторрад унтер дем фенстер ам зоннтаг морген». — Он посмотрел на меня с видом экзаменатора.

— Ну, мотоцикл... — промямлил я. — В солнечное утро... Под дверями, кажется...

— Нет, — сказал Агасфер Лукич. — Это живописное произведение называется «Мотоцикл под окном в воскресное утро».

Я не спорил. Некоторое время мы молча разглядывали картину.

На картине была изображена комната. Окно раскрыто. За окном угадывается утреннее солнце. В комнате имеют место: слева — развороченная постель с ненормальным количеством подушек и перин; справа — чудовищный комод с выдвинутым ящиком, на комоде — масса фарфоровых безделушек. Посередине — человек в исподнем. Он в странной позе — видимо, крадется к окну. В правой руке его, отведенной назад, к зрителю, зажата ручная граната. Все. В общем, понятно: аллегорическая картина на тему «Береги сон своих сограждан».

— Больше всего ему должна понравиться граната, — убежденно произнес наконец Агасфер Лукич, вовсю орудуя зубочисткой.

— «Лимонка», — сказал я без особой уверенности. — По-моему, у нас они давным-давно сняты с вооружения.

— Правильно, «лимонка», — подтвердил Агасфер Лукич с удовольствием. — Она же «фенька». А в Америке ее называют «пайн-эппл», что означает — что?

— Не знаю, — сказал я, принимаясь снимать пальто.

— Что означает «ананаска», — сказал Агасфер Лукич. — А китайцы называли ее «шоулюдань»... Хотя нет, «шоулюдань» — это у них граната вообще, а вот как они называли «Ф-1»? Не помню. Забыл. Все забывать стал... Обратите внимание, у нее даже запал вставлен... Очень талантливый художник. И картина хорошая...

Я оставил его любоваться произведением живописи, а сам вернулся в прихожую повесить пальто. И вообще переоделся в домашнее. Когда я вернулся, Агасфер Лукич по-прежнему стоял перед картиной и разглядывал ее через два кулака, как детишки изображают бинокль.

— Но, во-первых, — сказал он, — во-первых, я не вижу мотоцикла. Мало ли что он пишет «дас моторрад», а на самом деле там у него, скажем,

шарманщик. Или, страшно сказать, ребятишки с гитарой... Это во-первых. А во-вторых... — Глаза его закатились, голос сделался страдальческим. — Статично у него все! Статично! Воздух есть, свет, пространство угадывается, а движение где? Где движение? Вот вы, Сережа, можете мне сказать — где движение?

— Движение в кино, — сказал я ему, чтобы отвязаться. Мне очень хотелось есть.

— В кино... — повторил он с неудовольствием. — В кино-то в кино... А давайте посмотрим, как у него дальше там все развивается!

Человек на картине пришел в движение. Он хищно подкрался к окну, кошачьим движением швырнул наружу «лимонку» и бросился животом на пол под подоконник. За окном блеснуло. На нас с Агасфером Лукичом посыпался с потолка мусор. Звякнули стекла — в нашем окне. А за тем окном, что на картине, взлетел дым, какие-то клочья, и взвилось мотоциклетное колесо, весело сверкая на солнце многочисленными спицами.

— О! — воскликнул Агасфер Лукич, и картина вновь застыла. — Вот теперь то, что надо. Ясно, что мотоцикл. Не шарманщик какой-нибудь, а именно мотоцикл. — Он снова сделал из кулаков бинокль. — И не вообще мотоцикл, Сережа, а мотоцикл марки «цундап». Хороший когда-то был мотоцикл... — Он возвысил голос. — Кузнец! Ильмаринен! Подите сюда на минутку! Посмотрите, что мы вам приготовили... Сюда, сюда, поближе... Каково это вам, а? «Мотоцикл под окном в воскресное утро». Реализовано гранатой типа «Ф-1», она же «лимонка», она же «ананаска». Граната, к сожалению, не сохранилась. Тут уж, сами понимаете, одно из двух: либо граната, либо мотоцикл. Мы тут с Сережей посоветовались и решили, что мотоцикл будет вам интереснее... Правда, забавная картина?

Некоторое время Демиург молчал.

— Могло бы быть и хуже, — проворчал он наконец. — Почему только все считают, что он — пейзажист? Хорошо. Беру. Сергей Корнеевич, выдайте ему двести... нет, полтораста рейхсмарок, обласкайте. Впредь меня не беспокойте, просто берите все, что он предложит... Каков он из себя?

Я пожал плечами:

— Бледный... прыщавый... рыхлое лицо. Молодой, черная челка на лоб...

— Усы?

— Усов нет. И бороды нет. Очень заурядное лицо.

— Лицо заурядное, живопись заурядная... Фамилия у него незаурядная.

— А какая у него фамилия? — встрепенулся Агасфер Лукич и нагнулся к самому полу, силясь прочитать подпись в правом нижнем углу. — Да ведь тут только инициалы, мой Птах. «А» и «Эс» латинское...

— Адольф Шикльгрубер, — проворчал Демиург. Он уже удалялся к себе во тьму. — Впрочем, вряд ли это имя что-нибудь вам говорит...

Мы с Агасфером Лукичом переглянулись. Он состроил скорбную гримаску и печально развел руками.

21. — ...Трудно мне вас понять, Агасфер Лукич, — сказал я наконец этому страховому лжеагенту. — Все-то вы толкуете о своем всезнании, а о чем вас ни спросишь, ничего не помните. Апостолов — поименно — не помните. Где у Дмитрия стоял запасной полк — не помните, а ведь утверждаете, будто принимали личное участие... Библиотекарем Иоанна Грозного были, а где библиотека находилась — показать не можете. Как прикажете вас понимать?

Агасфер Лукич выпятил нижнюю губу и сделался важным.

— Чего же тут непонятного? Знать — это одно, а помнить — совершенно иное. То, что я знаю, — я знаю. И знаю я действительно все. А вот то, что я видел, слышал, обонял и осязал, — это я могу помнить или не помнить. Вот вам аналогия нарочно очень грубая. Блокада Ленинграда. Вы знаете, что она была. Знаете когда. Знаете, сколько людей погибло от голода. Знаете про Дорогу Жизни. При этом вы сами там были, вас самого вывозили по этой дороге. Ну и много ли вы сейчас помните? Вы, который так чванится своей молодой памятью перед, мягко выражаясь, старым человеком!

— Ладно, ладно, не горячитесь, — сказал я. — Понял. Только опять вы все перепутали. Не был я в блокаде. Меня тогда еще и на свет не родили.

22. На небольших глубинах теплых морей, а также в чистых реках Севера обитают на дне хорошо всем понаслышке известные моллюски из класса двустворчатых (бивалвиа). Речь идет о так называемых жемчужницах. Морские жемчужницы бывают огромные, до тридцати сантиметров в диаметре и до десяти килограммов весом. Пресноводные — значительно меньше, но зато живут до ста лет.

В общем, это довольно обыкновенные и невзрачные ракушки. Употреблять их в пищу без крайней надобности не рекомендуется. И пользы от них не было бы никакой, если бы нельзя было из этих раковин делать пуговицы для кальсон и если бы не заводился в них иногда так называемый жемчуг (в раковинах, разумеется, а не в кальсонах). Строго

говоря, и от жемчуга пользы не много, гораздо меньше, чем от пуговиц, однако так уж повелось испокон веков, что эти белые, розовые, желтоватые, а иногда и матово-черные шарики углекислого кальция чрезвычайно высоко ценятся и числятся по разряду сокровищ.

Образуются жемчужины в складках тела моллюска, в самом, можно сказать, интимном местечке его организма, когда попадает туда по недосмотру или по несчастливой случайности какой-нибудь посторонний раздражающий предмет — какая-нибудь колючая песчинка, соринка какая-нибудь, а то и, страшно сказать, какой-нибудь омерзительный клещ-паразит. Чтобы защититься, моллюск обволакивает раздражителя перламутром своим, слой за слоем, — так возникает и растет жемчужина. Грубо говоря, одна жемчужина на тысячу раковин. А стоящие жемчужины — и того реже.

Где-то в конце восьмидесятых годов, в процессе непрекращающегося расширения областей своего титанического сверхзнания, Иоанн-Агасфер обнаружил вдруг, что между двустворчатыми раковинами вида П. маргаритафера и существами вида хомо сапиенс имеет место определенное сходство. Только то, что у П. маргаритафера называлось жемчужиной, у хомо сапиенсов того времени было принято называть _тенью_. Харон перевозил тени с одного берега Стикса на другой. Навсегда. Постепенно заполняя правобережье (или левобережье?), они бродили там, стеная и жалуясь, погруженные в сладостные воспоминания о левобережье (или правобережье?). Они были бесконечны во времени, но это была незавидная бесконечность, и поэтому ценность теней как товара была в то время невысока. Если говорить честно, она была равна нулю. В отличие от жемчуга.

Люди того времени воображали, будто каждый из них является обладателем тени. (Так, может быть, раковины П. маргаритафера воображают, будто каждая из них несет в себе жемчужину.) Иоанн-Агасфер очень быстро обнаружил, что это — заблуждение. Да, каждый хомо сапиенс в потенции действительно способен был стать обладателем тени, но далеко не каждый сподобливался ее. Ну, конечно, не один на тысячу, все-таки чаще. Примерно один из семи-восьми.

Некоторое время Иоанн-Агасфер развлекался этой новой для себя реальностью. Азарт классификатора и коллекционера вдруг пробудился в нем. Тени оказались замечательно разнообразны, и в то же время в разнообразии этом угадывалась удивительной красоты и стройности схема, удивительная структура, многомерная и изменчивая. Он углубился в анализ этой структуры. Ему пришлось создать то, что значительно позже будет

названо теорией вероятности, математической статистикой и теорией графов. (Он открыл для себя мир математики. Это открытие потрясло его.)

Попервоначалу он обрадовался, обнаружив россыпи теней, как радуется старатель, наткнувшись на золотую россыпь. Он еще не понимал, кому и как он будет сбывать тени, однако, будучи человеком практичным и безжалостным, радовался тому, что является единственным в ойкумене обладателем некоего редкостного товара. Он стал прикидывать организацию торговой компании. Возбуждение общественного спроса на тени. Массовая скупка товара. Создание рынков сбыта в Риме, в Александрии, в Дамаске, выход по «шелковому пути» к парфянам и дальше, в Китай... Очень скоро это надоело ему. Он пережил свой меркантилизм, как переживают романтическую любовь.

И тогда он вдруг понял, что открыл для себя, чем ему заполнить предстоящую необозримую вечность. Он будет искать, обнаруживать и приобретать все новые и новые жемчужины. Он будет неторопливо, но глубоко познавать механизмы их сродства и взаимоотталкивания, природу их образования и развития, он постигнет закономерности их формирования и, может быть, научится вникать в них, сливаясь и срастаясь с ними. Он научится обустраивать и формировать историю вида хомо сапиенс таким образом, чтобы выращивать именно те виды и сорта жемчужин, которые в данный миг, в данных условиях более всего привлекают и воспламеняют его. Он мечтал уже о селекции и — кто знает? — может быть, о синтезировании их вне раковин... Он загорелся энтузиазмом, будущее его наполнилось. Он был молод тогда и простодушен, все эти планы представлялись ему грандиозными, обещающими все на свете и неописуемо привлекательными. Так в наши дни маленький мальчик мечтает о счастье сделаться водителем мусоровоза.

Весь доступный ему на Патмосе материал он исчерпал в первый же год. Свои первые жемчужины он получил за глоток вина, за обломок ржавого ножа, за ловко рассказанную байку. Они недорого обошлись ему, да они немногого и стоили — мелкий тусклый грязноватый товарец для начинающего дилетанта. Однако жалеть о потерянном времени не приходилось: он отрабатывал технику, он делал первые маленькие открытия в области психологии раковины, он учился точно определять ценность товара, не подержав его в руках. Он учился разглядывать жемчужину сквозь створки. Несколько раз он ошибся. Он познал горечь и радость таких ошибок.

Он давно бы покинул остров, если бы не Прохор.

Прохор, сделавшийся к тому времени сухим, жилистым,

козлообразным старикашкой, облезлым, вонючим, высокомерным, драчливым, брюзгливым, вызывающе неопрятным, — этот Прохор оказался носителем жемчужины удивительной, фантастической красоты!

Апокалипсис Прохора под именем «Откровение пророка Иоанна» уже вовсю ходил в самиздате и был знаком тысячам и тысячам знатоков и ценителей, фанатиков и скептиков. Первые яростные толкователи его уже появились, и появились первые его мученики, распятые при дорогах или зарезанные на базарных площадях. Имя Иоанна гремело. Что ни месяц, на острове появлялся новый адепт, чтобы припасть к ногам пророка, поцеловать край его лохмотьев и вкусить от его мудрости из уст в уши. Как правило, были они все безудержно фанатичны, неумны и слышали только то, что способны были воспринять жалкими своими извилинами. По сути дела, это были глухие. Иоанн отправлял их к Прохору.

Сначала Прохор стеснялся навязанной ему роли. Потом попривык и только строго поправлял паломников, когда те пытались называть его Иоанном. А спустя какое-то время и поправлять перестал. Что и говорить, из них двоих именно Прохор был более похож на пророка. Ведь Иоанн не старился, он так и оставался крепким сорокапятилетним мужиком с разбойничьими глазами, без единого седого волоска в бороде, и весь облик его ничего иного не выражал, кроме готовности в любую минуту обойтись с любым собеседником без всяких церемоний.

Году этак в девяностом Прохор уже впал в старческий маразм. Гордыня окончательно помутила его мозги. В состоянии помутнения повадился называть он Иоанна Прохором и даже Прошкой, пытался ему диктовать свое евангелие, которое должно было стать лучше всех других, известных к тому времени, вариантов описания жизни Учителя, самым полным, самым точным, самым содержательным в идейном отношении. При этом имелось в виду, что в конечном итоге оно самым естественным образом станет единственным. В минуты просветления он плакал, пытался возлечь на грудь Иоанна, каялся в непомерном своем честолюбии и жадно выспрашивал все новые и новые подробности времен ученичества Иоанна в звании апостола.

Его можно было понять. Он был стар. Он проделал огромную и замечательную работу, написав Апокалипсис. Он привык изображать Иоанна, и больше всего на свете хотелось ему теперь хотя бы остаток жизни своей прожить не просто признанным, но и подлинным Иоанном Боанергесом.

Идея сделки лежала на поверхности. Иоанн сделал осторожное предложение. Предложение было принято немедленно. Совесть каждого

смущенно улыбалась. Каждому казалось, что он получил теленка за курицу. Они расстались, довольные собой и друг другом, — облезлый козлообразный пророк Иоанн отправился принимать очередную делегацию паломников из Эфеса, а крепкий и агрессивный Агасфер, держа под мышкой узелок с жемчугами, спустился в гавань и купил место на первый же баркас, уходящий к материку.

Начинался новый, бродячий период жизни Агасфера, Вечного Жида, Искателя и Ловца Жемчуга Человечьего.

Десяток лет спустя, находясь в Йасрибе, в славной лагуне человечьего моря, полной жемчуга, он узнал от Ибн-Кутабы, странствующего поэта и новообращенного христианина, что святой Иоанн по прозвищу Богослов, великий пророк и один из апостолов Иисуса Христа, скончался в девяносто восьмом году в Эфесе.

Замученный жаждой посмертной славы, неутолимый Прохор даже помереть себе не позволил впросте, по-человечески. Он велел закопать себя живьем при большом стечении народа.

Воистину, прав был Эпиктет, сказавши: «Человек — это душонка, обремененная трупом».

23. Теперь их было уже трое. И у каждого...

ДНЕВНИК. УЖЕ 20 ИЮЛЯ. НОЧЬ, 1.30

Около одиннадцати позвонил снизу Ваня Дроздов и предложил встретиться. Срочно. Мы встретились в «Кабачке», и он с ходу объявил мне: «Ну, все. Доигрались вы со своим Носовым». Он был взвинчен до последней степени, я даже перепугался. Оказалось (по его словам), что статья Г. А. привела город в необычайное враждебное возбуждение. Все теперь жаждут его крови, а заодно жаждут стереть с лица земли наш лицей. Как рассадник и гнездо. Завтра с утра ждите пикетов и еще скажите спасибо, если это будут пикеты от нашего молокозавода, у нас все-таки нет таких обалдуев, как на крупнопанельном или, там, на «тридцатке». Г. А. одного в город не выпускать — ни в коем случае, рядом чтобы не меньше трех мужиков, да поздоровее, не таких, как ты...

Он меня, признаться, совсем запугал было, но я не дался и сказал ему: что ты мелешь, мы с Г. А. весь день по городу ходили, что ты панику разводишь, паникер? «Это вы сегодня ходили, — сказал он. — Завтра уже не походите. Ты вообще-то знаешь, что в городе делается? Про детскую демонстрацию знаешь?» Я сказал, что знаю, потому что решил, что речь идет про ребятишек из специнтерната. Однако оказалось совсем не то.

Оказалось, что эти гады из управления пионерлагерей посадили с три сотни детишек в автобусы, свезли на площадь перед горсоветом и устроили там отвратительный цирк. Между прочим с полного одобрения огромной толпы идиотов-родителей. Ребятишкам сунули в лапы какие-то дурацкие лозунги, заставили их выкрикивать какие-то дурацкие требования, а вокруг бесновались наши доблестные добры молодцы, порывавшиеся бить в горсовете стекла. Все это Ваня видел своими глазами, потому что стоял в оцеплении и всячески добрых молодцев урезонивал.

Длился этот пандемониум минут двадцать, а потом на своей «ноль сорок третьей» примчалась ураганом красотка Рива и учинила всеобщий разгон. Детишек в два счета повезли в Ташлинский Центр смотреть новейшую серию «Термократора», родители были расточены и разогнаны, добры молодцы обратились в бегство, а всех остальных Рива уволила на месте. Осталось одно оцепление. Оно постояло-постояло и пошло на работу.

Рассказ этот вызвал у меня самые неприятные ощущения. С одной стороны, конечно, силы разума победили, а с другой — дикость ведь, двадцатый век! Главное, я никак не мог понять: зачем была эта

демонстрация? Что им было надо? И кому, собственно? Иван утверждает, что город недоволен мэром. Весь город настроился на «субботник», все уже готово, а мэр тянет и тянет. Надо его подхлестнуть, труса мордастого. Вот его и подхлестывают.

«А ты-то куда смотришь? — спросил я, ощутивши вдруг приступ неописуемой злости. — Тоже на «субботник» настроился? А ведь я тебя держал за приличного человека». И мы тут же поцапались.

Ни в чем я его убедить не смог — может быть, потому, что сам потерял ориентировку. Все-таки это довольно нелепая ситуация — ты говоришь: «Так делать нельзя», а когда тебя спрашивают: «А как нужно?», — ты отвечаешь: «Не знаю».

В конце концов Иван угрюмо сказал: «Ладно. Я сюда не спорить с тобой пришел. У тебя свое, у меня свое. Ты про Носова своего все понял, что я тебе сказал?» Я ответил, что не верю во всю эту чушь. Г. А. в городе — человек номер один, тут и говорить не о чем. Иван возразил мне, что это вчера Носов был человек номер один, а нынче он и на шестерку еле-еле тянет. «Я тебя предупредил, дурака, — сказал он мрачно. — А там уж как знаете».

На том мы и расстались, и я сразу же побежал к Г. А. Оказалось, что у Г. А. в кабинете собрались все. Пока я разговаривал с Иваном, Г. А. сам собрал всех у себя. Он получил ту же информацию по своим каналам и теперь инструктировал нас, как нам должно себя вести в сложившейся ситуации. Спокойствие, выдержка, достоинство. В город выходить только по двое. Девочек — сопровождать. Но! Силовые приемы — только в самых крайних случаях. Субакс не использовать вообще. Говорить, объяснять, спорить. Ситуация хотя и не уникальная, но в наше время достаточно редкая: дискуссия с враждебно настроенной толпой — не с коллективом, а с толпой. Хорошая практика. Такой редкий случай мы упускать не имеем права. И так далее.

Я встал и поднял вопрос о его, Г. А., безопасности. В конце концов, главная злоба города направлена не против нас, не против лицея, а против Г. А. лично. К моему огромному изумлению, Г. А. тут же согласился, чтобы его при выходе в город сопровождал эскорт. Однако при этом он тут же добавил: мы должны знать и помнить, что не только он, Г. А., но и наш лицей как учреждение определенного типа давно уже является бельмом на глазу у некоторой части городского чиновничества. Поэтому в будущих дискуссиях мы должны быть готовы защищать и отстаивать право и обязанность нашего лицея на существование. «То, что под ударом сейчас оказался я, — это полбеды, а самая беда в том, что кое-кто использует

ситуацию, чтобы поставить под удар наш лицей и всю систему лицеев вообще».

(ПОЗДНЕЕ ПРИМЕЧАНИЕ. Напоминаю: действие происходит в самом начале тридцатых. Вот-вот появится печально знаменитое постановление Академии педнаук о слиянии системы лицеев с системой ППУ, в результате чего долгосрочная правительственная программа создания современной базы подготовки педагогических кадров высшей квалификации окажется подорванной. Глухая подспудная борьба, имевшая целью уничтожение системы лицеев, шла с конца двадцатых годов. Основное обвинение против лицеев: они противоречат социалистической демократии, ибо готовят преподавательскую элиту. По сути дела, антидемократическим объявлялся сам принцип зачисления в лицеи — принцип отбора детей с достаточно ярко выраженными задатками, обещающими — с известной долей вероятности — развернуться в педагогический талант. Ташлинский лицей оказался только первой жертвой тогдашней АПН.)

Потом разговор перекинулся на статью. Выяснилось, что все мы восприняли ее по-разному. Но самым разным оказался, как всегда, наш Аскольдик. Он объявил, что эта статья есть большая ошибка Г. А. Ни в какой мере не затрагивая основных положений этой статьи, с коими он вполне согласен, он тем не менее хочет подчеркнуть, что Г. А. выступил здесь как поэт и социолог, в то время как от него (по мнению Аскольдика) требовалось выступление педагога и политика. В результате вместо того, чтобы утихомирить взбушевавшуюся стихию, он возбудил ее еще больше.

Г. А. возразил, что у него и в мыслях не было кого бы то ни было утихомиривать, он ставил перед собой совсем другую задачу — заставить задуматься тех людей, которые способны задуматься.

В ответ на это вконец распоясавшийся Аскольд объявил, что и эту свою задачу Г. А. не выполнил. Своей статьей он ухитрился оскорбить весь город, чуть ли не каждого доброго гражданина, так что десять человек в городе, может быть, и задумались, но зато десять тысяч только вконец остервенились.

Г. А. не стал с ним спорить. «Десять задумавшихся — это совсем не так мало, — сказал он примирительно. — Дай бог каждому из вас на протяжении всей жизни заставить задуматься десять человек. Не к народу ты должен говорить, — продолжал он, возвысив голос с иронической торжественностью, — но к спутникам. Многих и многих отманить от стада — вот для чего пришел ты... Откуда?» Никто не знал, и Г. А. сказал: «Ницше. Это был большой поэт. Однако ему весьма не повезло с

поклонниками».

И велел всем нам идти спать.

20 ИЮЛЯ. 11 УТРА

Мы в осаде.

В семь утра нас поднял на ноги дикий рев, лязг, гром, одним словом, оглушительная какофония. Я бросился к окну. Вдоль всего фасада растянулась толпа прилично одетых павианов. Добры молодцы. Человек двести, наверное. Все кривляются, все размахивают конечностями и неслышно орут на нас. У каждого функен, включенный на полную мощность, и, кроме того, они приволокли еще десяток стационарных _звучков_, каждый ватт на сто, и эти звучки тоже работают вовсю. Надо же — не поленились! Не поленились притащить звучки, не поленились подняться в такую рань, не поленились намалевать плакаты. На плакатах: «Носов, убирайся из города!», «Долой дворянское гнездо!», «Лицеисты, стыдно! Вы должны быть с нами!». Морды потные, налитые, волосы дыбом, как у диких, пасти разинуты, но что орут — ничего не слышно за музыкой.

Между ними и лицеем вдоль тротуара стоят редкой цепочкой спиною к нам ребята из городского патруля. (Не без удовольствия узнал я среди них Сережку Сенько, Рената Гияттулина, Рейнгарта Хансена с биологического и — с особенным удовольствием — Ивана моего родимого Дроздова.) Не знаю, как уж они там договорились с добрыми молодцами, но те ближе чем на два шага к ним не приближаются. Не сразу заметил я в сторонке два «лунохода» и кучку милиционеров. Угрюмых. Происходящее им явно не нравится. Издержки демократии.

Сначала все это показалось мне скорее забавным. Потом, когда я познакомился с лозунгами, я испытал сильнейший приступ естественного раздражения. Но страха вначале не было совсем, это я помню точно.

Однако пять минут спустя мне пришлось принять участие в нелегкой процедуре обуздания и остужения нашего Аскольда. Будучи настоящим суперменом и чемпионом города по субаксу, он побелел лицом, выпятил челюсть и танком двинулся вниз по лестнице к выходу — наводить порядок. Исполненный железной твердости, беспощадной последовательности и абсолютной непримиримости. Девчонки с визгом повисли на нем с двух сторон, но он их даже и не заметил. Пришлось тут уж и мне тряхнуть стариной, и только втроем мы сначала притормозили, а в вестибюле и остановили его неудержимое движение. Румянец вернулся ему на щеки, он принес нам извинения за свою горячность, и мы все

направились к Г. А.

И вот тут на меня накатило. Воображение мое ни с того ни с сего нарисовало мне картину, как Аскольдик вырывается от нас, врезается в толпу, и что тогда начинается? Лишь в этот момент я понял, что ничего забавного у нас тут не происходит, что все держится на волоске, и стоит этому волоску лопнуть, как волна зверства захлестнет и нас, и ребят из патруля, и милицию, — не только в том смысле, что зверье растерзает нас, но и в том смысле, что мы все сами сделаемся зверьми.

(Страшная штука — неуправляемое воображение. Я уверен, что и Аскольдика подвело именно оно. Выглянул он в окошко, увидел это кишение зверья и испытал страх — но, будучи суперменом, бросился выбивать клин клином, с каждым шагом к выходу сам все более превращаясь в зверя.)

Пока мы шли к Г. А., мне объяснили, что лицей, оказывается, пуст. Кроме нас в здании никого нет. Ни повара, ни библиотекаря, ни дежурного преподавателя — никого. Только Серафима Петровна не испугалась. Даже ночной вахтер таинственно исчез. Видимо, драпанул через хозяйственный выход.

Г. А. спустился нам навстречу. Он был совершенно такой, как всегда. Последовали распоряжения. Зойке и Аскольду — отправиться на кухню, готовить завтрак, а заодно и обед. Серафима Петровна уже там, будете на подхвате. Остальным заниматься своими делами. Кстати, где наш де Сааведра?

Де Сааведра тут же появился. Оказывается, все это время он торчал на крыше и снимал осаду на видеопленку, правда, к сожалению, без акустики. Смешной он был — встрепанный, в одних трусах, и аппарат на ремне, как автомат. Г. А. посмотрел на него с одобрением и продолжал: к окнам желательно не подходить. То есть если очень интересно, то подходить, разумеется, можно, но при этом языки не показывать, козу не делать и вообще не совершать аллегорических телодвижений. Стекол жалко.

Мы разошлись по постам.

Пневмопочта работает. Я просмотрел газеты. Признаюсь, с отвращением. Все-таки настолько всеобщего взрыва озлобления и неприязни я не ожидал. В рамках держалась только «Ташлинская правда». Все же прочие наши газеты шипели и плевались, как ошпаренные коты.

Деятельность, несовместимая с высоким званием народного педагога... Проповедь ложных утверждений, противоречащих самым высоким идеалам социализма... Ядовитая проповедь провозглашения (проповедь провозглашения!) мира между трудом и тунеядством... Претензии на роль

некоего гуру, проповедующего новую религию, проповедь взглядов, идейно разоружающих строителей коммунизма... Приговоры: запретить преподавательскую деятельность; выгнать на пенсию; в двадцать четыре часа выдворить из города — через посредство административной высылки в установленном порядке...

Более всего неистовствуют, конечно, наши обожаемые хрипуны. Но совсем ненамного отстают от них господа наробразовцы, молодежные вожди, заместители деканов и вообще кадровики всех мастей. Несколько рабочих с «тридцатки», пара мастеров-наставников с крупнопанельного и даже трое каких-то неедяк, видимо, насмерть перепуганных размахом происходящего. И уж совсем ни к селу ни к городу — военный комендант.

Что характерно: Ревекка не выступила. Милиция промолчала. Горсовет практически промолчал. Такое впечатление, что весь этот рык и рев — действительно глас народа. Видимо, Г. А. своей статьей попал в самое больное место, я даже не понимаю, в какое именно. О Флоре — почти ни слова. Такое впечатление, что про нее забыли совсем. Мне даже пришло в голову, что Г. А., может быть, нарочно выступил со своей статьей, чтобы перевести огонь на себя. Чтобы они оставили в покое Флору и разрядились на него.

В нескольких газетах встретились мне какие-то непонятные намеки. Можем ли мы доверять подготовку будущих педагогов человеку, который оказался столь беспомощным в своих собственных, личных делах? Не следует ли предположить, что трогательная забота о тунеядствующей Флоре вызвана соображениями, совершенно личными, весьма далекими от философии, социологии, педагогики? И снова: не следует ли Г. А. Носову разобраться сперва с собственными, частными делами, а потом уже заниматься общественными?

Я показал эти места Мишелю. Он странно взглянул на меня и спросил: «Ты что — не знаешь, что ли?» Я не знал. «Вырастешь, Ига, узнаешь», — пробурчал Михей, и я вдруг понял, что узнать не хочу. Это какая-то гадость, ну ее к черту.

Ура! Наконец-то наш Ташлинск попал в центральную прессу. Не могу отказать себе в удовольствии — цитирую дословно из «Известий»:

«Ташлинск, 19 июля. На два месяца раньше срока запущена полностью автоматизированная линия по производству высококачественных брынз на Ташлинском молочном комбинате имени Емельяна Пугачева...» и так далее.

А мы-то, дураки, тут переживаем!

Имеет место определенная эволюция звуков, раздающихся снаружи.

Сначала была просто сумасшедшая какофония. Потом им это надоело (сами, видимо, оглохли), и они принялись развлекаться: громовыми голосами читали избранные выдержки из сегодняшних газет. Тоже надоело. Принялись паясничать: «Внимание, внимание! Через пять минут здание лицея будет взорвано на воздух! Предлагается всем находящимся в здании капитулировать. Выходить без оружия по одному с интервалом в тридцать секунд, держа руки за головой. Первым выходит Носов, лично...» На этом месте диктора окончательно разбирает смех, и окрестности оглашаются громоподобным фырканьем и хрюканьем. Это им тоже надоело, и сейчас они гоняют Джихангира. Несколько _сцепок_ пустились в пляс.

Аскольд наладил мегафон и предложил Г. А. выступить. «Чтобы они не думали, будто мы испугались и прячемся». Г. А. резко ответил: «Нет. Мне все равно, что они думают. Я не люблю их сейчас. Я не хочу с ними разговаривать».

РУКОПИСЬ «ОЗ» (23–25)

23. Теперь их было у нас уже трое, и у каждого был свой кабинет. В кабинете каждый из них спал, принимал пищу и посетителей, а также писал меморандумы, докладные, наставления, рекомендации, замечания и представления. Кроме того, у каждого был свой столик на кухне.

Кабинет Колпакова был светел, чист и пустоват. Петр Петрович был аскет. Канцелярский стол с двумя аккуратными пачками брошюр и справочных изданий. Железный ящик-сейф справа от стола. В углу за скромной ширмой — скромная раскладушка, застеленная серым шерстяным одеялом. У изголовья простая тумбочка, а на ней — Библия в издании Московской патриархии. Простой — и даже простейший — стул за столом и два таких же простейших стула у стены напротив стола. Голые стены: ни портретов, ни картин. Скромность и достоинство. Трезвость и целеустремленность. Умеренность и аккуратность. И чемодан с самым обыкновенным барахлом — под койкой.

Парасюхин же был апологетом безудержной роскоши. Он спешил жить. Он дорвался. Из моей приемной Марк Маркович уволок (сам, лично, обливаясь потом, задыхаясь и хрипя, иногда даже попукивая от нечеловеческого напряжения): половину чудовищной, невообразимой кровати; два телевизора цветного изображения; два застекленных шкафа невыясненного назначения; книжную стенку вместе с муляжами книг; толстый рулон весом тонны в полторы (это оказались ковры, я думал, он умрет под этим рулоном, но он уцелел); картину с Сусанной, старцами и пенисом. Он порывался уволочь кресло для посетителей, но я запретил ему это делать, и тогда он уволок кресло со стальным шипом. Из платяного шкафа были им изъяты и унесены: плащ болонья (испачканный), мужской костюм-тройка (новый, на три размера меньше, чем ему требовалось), мохнатое пальто мужское (одно), мужские сорочки разноразмерные (двенадцать, дюжина), бюстгальтеры женские разноразмерные (семь)... Много чего он уволок, мне в конце концов надоело за ним записывать, и я только следил, чтобы он не упер что-нибудь из моего рабочего инвентаря.

В результате кабинет Парасюхина блистает роскошью, словно комиссионный магазин. Ковры. Роскошные покрывала. Огромный письменный стол с огромным письменным прибором (представления не имею, откуда он это-то припер), на одной стене — Сусанна в тяжелой золоченой раме, на другой — портрет святого Адольфа, украшенный

дубовыми листьями и черной муаровой лентой в знак вечного траура по великому человеку, над роскошной постелью — бессмертное творение кисти великого человека «Дас моторрад унтер дем фенстер ам зоннтаг морген». Кресло с шипом приспособлено для посетителей: на шип положена крышка от унитаза, а поверх крышки — подушка-думка с вышитой надписью «Кто рано встает, тому Бог дает». В дальнем углу — огромное старинное зеркало, местами потемневшее, — перед ним Марк Маркович репетирует свои будущие речи. Пафос и верность. Нордическая лень и неколебимая уверенность. Славянская широта и арийский гемютлихькайт. И запашок, как в борделе.

А вот кабинет, или, точнее, обиталище, Матвея Матвеевича Гершковича (Мордехая Мордехаевича Гершензона) являл собой типичный интерьер одинокого пенсионера районного значения. Здесь постоянно, а также сильно пахло сердечными каплями и вчерашней едой. Подоконник здесь был вечно заставлен кастрюльками, судками и особыми баночками — Матвей Матвеевич никогда ничего не оставлял на кухне из опасения, что кто-нибудь подкинет ему в бульон чего-нибудь трефного. (Не то чтобы он был таким уж верующим, но всю жизнь свою он прожил по коммунальным квартирам, а это, знаете ли, накладывает свой отпечаток.)

Если, войдя, вы видели, что в левой половине помещения пол натерт и блестит, на аптечной тумбочке — ни пылинки, а лекарственные пузырьки расставлены строго по ранжиру, зеркало платяного шкафа свежепромыто, фикус в углу тщательно полит и даже обрызган из специального пульверизатора, то в правой половине комнаты обязательно будет безобразно развороченная постель, стул будет помещен на столе вверх ножками, огромный дедовский сундук неаппетитно распахнут, и лезут из него через край какие-то сиреневые фланелевые предметы, пол замусорен мятыми бумажками, просыпанными кнопками и высохшими стержнями из-под авторучек, а сам Матвей Матвеевич сидит среди всего этого на банной скамеечке, взлохмаченный и восторженный, и в который уже раз с наслаждением перечитывает роман «Во имя отца и сына».

В этом весь Матвей Матвеевич. Ему никогда не хватает выдержки и целеустремленности, чтобы убрать свою комнату от альфы до омеги. Он теоретик. Он великий моралист-теоретик. В теории он беспощаден, жесток, непреклонен и мстителен безгранично. Как сам Иегова. Око за око, зуб за зуб. Поднявший меч от меча да погибнет. Если враг задирает, его уничтожают. Мне отмщение, и только мне... Казалось бы, дай ему волю, — и полмира насилья ляжет в дымящихся развалинах. Но не хватает целеустремленности, черт ее подери совсем. Мешает, черт ее подери

совсем, природная незлобивость, а также врожденная убежденность, что два взрослых человека всегда могут договориться между собой. Поэтому перехода от теории к практике не происходит у Матвея Матвеевича никогда. Если бы Матвею Матвеевичу хоть раз в жизни привелось бы воплотить в реальность хоть один из своих страшных лозунгов, я думаю, он перепугался бы до икоты, а может быть, и совсем бы умер от огорчения, что так нехорошо получилось.

Он из тех знаменитых евреев, которые способны вызвать приступ острого антисемитизма у самого Меира Кахане или даже у теоретика сионизма господина Теодора Герцля. Он является утром на кухню и принимается назойливо докладывать непроспавшемуся и злобному Парасюхину, что совсем уже почти договорился со вдовой из дома напротив, так она ему устроит пансион. Пять рублей в день, ну и что? Это недорого. Обед и ужин, а завтракать он будет здесь, он всегда имеет возможность достать свежие яички и другие молочные продукты. В конце концов, если ему покажется недостаточно, так он всегда сможет прикупать. Пусть другие берут яйца по рубль тридцать. Вот я вижу, вы всегда берете яйца по рубль тридцать. А я могу брать по девяносто, и они будут лучше, чем ваши. Ваши битые, а у меня будут целые, хорошие яички. Вы — молодой человек, вы этого не понимаете, что главное — это устройство с питанием...

Кто может выдержать такое? Разве что Петр Петрович Колпаков. Он стоит к Матвею Матвеевичу вполоборота, вежливо улыбается и корректнейше кипятит себе молоко в кастрюльке. Видимо, он глубоко и тщательно обдумывает вопрос, куда ему отнести Матвея Матвеевича. К злакам или к плевелам? К агнцам или к козлищам? Истребить его в запланированном армагеддоне или, наоборот, возвысить?

Непроспавшийся же и злой антисемит Парасюхин, конечно же, не выдерживает. В кухне становится черным-черно, как в известном письме известного писателя известному историку.

Однако в отличие от известного историка Матвей Матвеевич (Мордехай Мордехаевич) ни эвфемизмов, ни аллюзий, ни литературных реминисценций не понимает. Он улавливает только общую идею о том, что весь мир заполонили дурные, своекорыстные люди, везде блат, по знакомству можно достать все, а без знакомства человек ничто — особенно, если он не сумел как следует устроиться с питанием.

Он живо подхватывает и развивает эту идею, и тогда Марек Парасюхин, прикованный к газовой плите необходимостью помешивать овсяную кашу, чтобы не подгорела, и потому лишенный даже возможности

бежать, заткнувши уши, испускает из себя освященную веками нутряную исступленную жалобу: «Да господи же боже мой! Ну нигде же нет от них спасения! Куда ни сунься — везде ведь они!»

Простодушный Матвей Матвеевич уже заранее кивает, готовый согласиться и с этим утверждением, но тут на кухне объявляется слегка встрепанный после душа Агасфер Лукич. В правой руке у него чашечка кофе, в левой — бисквитик, а на устах — бессмертное: «Если в кране нет воды, значит, выпили жиды...»

Происходит двойной взрыв. Парасюхин взрывается потому, что усматривает в дурацкой частушке Агасфера Лукича злобный выпад против проверенных веками, глубоко теоретически обоснованных и животрепещущих установок и выводов по известному вопросу. Матвей же Матвеевич взрывается, потому что начисто лишен даже самого элементарного чувства юмора и в дурацкой частушке усматривает недвусмысленное и очевидное оскорбление своего национального достоинства.

Дуэт:

— Здесь нет ничего смешного, Агасфер Лукич! Довольно странно, что вы, при вашем опыте, при ваших знаниях, норовите отделаться шуточками, когда речь заходит об угрозе всей славянской цивилизации! Ведь вы же русский человек! Что вы тут нашли смешного? Да, выпили! Если нет воды, значит, именно они и выпили! В прямом или в переносном смысле! И ничего смешного!..

— Что значит — жиды? При чем здесь опять жиды? Почему у вас во всем и всегда виноваты жиды? Как вам только не стыдно, Агасфер Лукич? Ведь вы же сами — древний еврей! И откуда, интересно, вы взяли, что нет воды? Вода есть, пожалуйста! Пейте! Открывайте кран и пейте!..

Петр Петрович Колпаков неопределенно улыбается, видимо, размышляя, куда ему отнести Марека Парасюхина. Агасфер Лукич доволен. Кухня наполняется ароматом подгоревшей овсянки, и тут вхожу я и, сдерживаясь из самых последних сил, осведомляюсь:

— Слушайте, кто из вас постоянно не спускает воду в унитазе? Вот поймаю, возьму за шкирку и носом — в унитаз, в унитаз!..

Двадцать первый век на пороге. Коммуналка. Тоска. И над всем этим — черным фломастером по белому кафелю кухонной стены — напоминание: «Lasciate ogni speranza»[2].

Что держит меня здесь? На что я еще надеюсь? Почему давным-давно не сбежал?

Держит что-то. Надеюсь на что-то. Чего-то еще жду.

Вообще странные вещи происходят со мной в последнее время. Видимо, я так сжился со всеми этими людьми и настолько пропитался атмосферой наших поганых чудес, что почти воочию могу наблюдать любого из них в любой момент и сквозь любые стены.

Вот сейчас, например. Пожалуйста. Я пишу в своей каморке и точно знаю, что за четыре стены от меня Парасюхин сидит на своей роскошной постели со шлюхой, которую он привел с «плешки». Я не слышу его слов, однако знаю откуда-то, что рассказывает он ей о преимуществах настоящего арийского и в особенности — славяно-арийского полового аппарата в сравнении с таковым же любого унтерменша, будь то косоглазый азиат или (в особенности) какой-нибудь пархатый семит. Шлюха, немолодая, утомленная, курит длинную шведскую сигарету и слушает его вполуха. О половых аппаратах она знает все.

Сегодня шестнадцатое ноября. Опять. И опять все та же слякоть на мостовых и падающий с серого неба то ли дождь, то ли снег.

А может быть, это Сверхзнание начинает прорастать во мне, превращая меня в нового Агасфера?..

24. Разговор начался с того, что Агасфер Лукич, сияя, как блюдо с красной икрой под яркой люстрой, явился предо мною и с легким поклоном протянул номер журнала в знакомой обложке. Это был последний «Астрофизикл джорнэл», и он по крайней мере наполовину был посвящен моим «звездным кладбищам».

Ганн, Майер и Исикава, независимо друг от друга, приносили извинения за неточности, допущенные ими ранее в их прежних публикациях на эту тему, и наперебой сообщали о наблюдениях, подтверждающих самые разнообразные следствия эффекта, предсказанного доктором Манохиным. Запущенный в начале ноября «Эол» сделал свое дело.

Ничуть не отставая от них, Семен Бирюлин, используя данные нашего «Луча», подтверждал мои «кладбища» в миллиметровых волнах и теоретически предсказывал, как это будет выглядеть в субмиллиметровых. И Карпентер тут же подтверждал, что в субмиллиметровых все выглядит именно так. И еще большая методологическая статья Де-Прагеса... и еще два письма каких-то незнакомых китайцев...

Удивительно, но все это оставило меня совершенно равнодушным. Как будто я не имею и никогда не имел ко всему этому никакого отношения. Как будто никогда я не мучился угрызениями совести, стыдом, ужасом публичного позора, как будто не пошел в свое время в дикую,

унизительную и странную службу ради того фактически, чтобы полистать такой вот выпуск «Астрофизикл джорнэл» или хотя бы «Астрономикл лэттэрз».

Столько раз представлял себе, что буду листать его жадно, впиваясь глазами и упиваясь злорадным облегчением и утоленной гордыней, а теперь вот листал его равнодушно, совершенно безразлично и думал более о том, что вот пуговица у меня на манжете оторвалась и ускользнула в рукомойник и теперь вот придется идти по такому дождю со снегом ради одной пуговицы в «Галантерею»...

И когда я поднял глаза на Агасфера Лукича, я обнаружил, что банкетное сияние в лице его значительно потускнело. «Что же это вы, голуба моя?» — с обидой и упреком произнес он и тут же сделал мне выговор.

Известно ли мне, сколько и каких усилий пришлось потратить ему, Агасферу Лукичу, чтобы подвигнуть известное лицо на выполнение этого моего научно-исследовательского каприза? Известно ли мне, какого неестественного напряжения стоило известному лицу сначала понять поставленную задачу, а потом разобраться во всех деталях этой моей совершенно чуждой и неинтересной ему механики? Сколько упреков было обрушено, сколько досады было вымещено, — вообще сколько времени было потрачено, драгоценного, невосполнимого времени известного лица? И наконец, известно ли мне, как близко, на какой последний волосок пришлось подойти известному лицу к той границе, за которой начинается абсолютное небытие, — и все для чего? Для того только, чтобы овеществить, сделать реальностью замысловатый бред, излившийся с кончика шкодливого пера капризного, избалованного теоретика!..

Большею частию все это было мне неизвестно, поскольку ни во что это меня не посвящали, так что я оставался вполне равнодушен под градом его упреков и диатриб. Оказывается, я уже основательно забыл, с чего началась эта моя история. Все былые чувства мои увяли, горечь выветрилась, а яд высох, как говаривал сэр Редьярд Киплинг. Гигантский груз новых впечатлений, нового знания и новой ответственности буквально выдавил, вытеснил, выпарил из меня прежнего С. Манохина с его маленькими амбициями, детскими капризами и совершенно микроскопическими вожделениями. В сущности, я давно перестал быть С. Манохиным. Я был теперь мелким лемуром в безотказном услужении у непостижимого чудовища, только в отличие от фаустовских лемуров я сохранял способность сознавать и все еще пытался разобраться в происходящем, упростить его до такой степени, чтобы оказаться

способным его понять и, следовательно, — хоррибле дикту! — влиять на него...

Агасфер Лукич, конечно же, разобрался во всех этих моих мыслях и тут же направил огонь своих репримандов на другой фланг. Оказывается, уже довольно давно я вызываю у него определенное беспокойство. Я плохо ем. Я почти не улыбаюсь. Я перестал шутить. Опыт с женщиной, который Агасфер Лукич произвел, имея в виду мое духовное и физическое здоровье, окончился скорее неудовлетворительно...

Ему, Агасферу Лукичу, совершенно понятна причина этого духовного и физического увядания. Я потерял ориентировку. Я утратил представление о конечных целях. И все это потому, что с самого начала, вот уже много месяцев, я пребываю в состоянии хронического недоумения по поводу того мира, который окружил меня.

Сначала я (впопыхах и сгоряча) вообразил себе, будто оказался секретарем, мажордомом и лакеем Антихриста, явившегося наконец на Землю с тем, чтобы подготовить процедуру, известную в источниках под названием Страшный Суд. Эта безумная при всей своей примитивности идея заметно травмировала мою психику закоренелого атеиста, потому что продралась в мое сознание в результате свирепого сражения между всей совокупностью благоприобретенных материалистических представлений, с одной стороны, и железной логикой наблюдения — с другой. Это было время, когда мое душевное здоровье находилось под самой серьезной угрозой, ибо нельзя последовательному материалисту надолго погружаться в мир объективного идеализма безнаказанно.

К счастью, дальнейшее накопление наблюдаемых данных (скажем, появление в доме таких перлов мироздания, как Марек Парасюхин, участковый Спиртов-Водкин и неописуемая Селена Благая) благополучно разрушили первоначальную апокалиптическую гипотезу. Рассудок мой был спасен, однако ненадолго.

Новая гипотеза сформировалась. Известное лицо из совершенно мифического Антихриста трансформировалось в некоего Космократа, фантастически могущественного, фантастически вездесущего, фантастически надчеловеческого — вообще фантастического, но при этом фантастического научно. Сей Космократ обрушил свое внимание на Землю, имея целью произвести над человечеством некий грандиозный, сами понимаете, эксперимент, суть коего для современного землянина принципиально, сами понимаете, непостижима. И вот собирает он здесь, в этой квартире без номера, людей и людишек, одержимых самыми конкретными идеями, как наилучшим образом ущемить, ущучить, уязвить

несчастное человечество. Зачем? А затем, чтобы Космократ в дальнейшем дал бы им всем волю, а сам наблюдал бы интересующие его реакции человечества на все эти ущемления, ущучивания и уязвления.

Именно это мучительное видение несчастного человечества, поверженного на гноище неописуемых страданий, подвергаемого беспощадным и равнодушным вивисекциям, и привело меня сейчас на грань отчаяния и безнадежности, за которыми вновь встает призрак безумия.

Ибо, несмотря ни на что, я все-таки люблю человечество. Несмотря на тупое стремление к самоистреблению этой огромной массы людей. Несмотря на тупое стремление этой массы людей получить самые низменные удовольствия ценою самых высоких наслаждений духа. Несмотря на потоки глупостей, подлостей, мерзостей, предательств, преступлений, уже тысячелетиями порождаемых и извергаемых из себя и на себя этой огромной массой людей. И несмотря, наконец, на совершенную несоизмеримость моей отдельно взятой личности с этим грандиозным явлением природы, частицей которого я, несмотря ни на что, остаюсь.

Любовь, как известно, зла. Она порождает удивительные намерения и провоцирует любящего на поступки противоестественные и благородные, благородные до неестественности, до извращенности даже. Если здесь вообще можно говорить о логике, то она у меня такова: раз уж Космократу так приспичило произвести гигантский эксперимент над миллионами, так, может быть, ему будет благоугодно устроиться таким образом, чтобы совершить миллионы экспериментов над одним? Ведь с научной точки зрения это одно и то же, то есть с научной точки зрения две эти ситуации инвариантны. Дело лишь за искусством экспериментатора, а в нем сомневаться не приходится. Что же касается подопытного материала, то вот он, здесь, перед вами! Грядите и приступайте!

Глядя на меня с жалостью и брезгливым восхищением, Агасфер Лукич всплескивал короткими лапками и повторял: «Какое нелепое простодушие! Какое благородное убожество! Какая несусветная и неуместная мизинтерпретация великого образца! Стыд! Изуверство! Какое беспомощное изуверство!..»

Признаюсь, ему таки удалось расшевелить меня. Это было крайне неприятно — ощущать себя просматриваемым насквозь, да еще глазом бывалого микропсихолога. И в то же время я испытывал определенное облегчение человека, болезнь которого наконец названа и признана пусть тяжелой, стыдной, неприличной, но излечимой. Я искал слова, чтобы

достойно ответить, и слышал уже энергические и раздраженные толчки пульса в висках, уже просыпалась во мне целительная злоба, однако нужные слова найти я не сумел, и Агасфер Лукич продолжал.

Откуда у меня эта презумпция зла? Откуда это навязчивое стремление громоздить ужасы на ужасы, страдания на страдания? Что это за инфантильный мазохизм? Разумеется, он, Агасфер Лукич, понимает, откуда у меня все это. Но ведь я же все-таки научный работник, сама профессия моя, сама моя идеология обязывают, казалось бы, смотреть широко, анализировать добросовестно и с особенной настороженностью относиться к тому, что лежит на поверхности и доступно любому полуграмотному идиоту.

По складу ума своего я не способен воздерживаться от построения гипотез относительно всего, что окружает меня. Я не люблю без гипотез, я не умею без них. Ради бога! Но если уж повело меня строить гипотезы, зачем же сразу строить такие ужасные, что меня же самого норовят свести с ума? Почему не предположить что-нибудь благое, приятное, радующее душу?

Почему бы не предположить, например, что известное лицо, вконец отчаявшись затопить Вселенную добром, решило по крайней мере избавить ее от зла? Как мне это понравится: собрать в квартиру без номера всех наиболее омерзительных, безапелляционных, неисправимых и настырных носителей разнообразного зла, а собравши, — утопить в Тускарорской впадине? «Всех утопить!» Фауст. Пушкин.

Я ни в коем случае не должен воображать, будто эта гипотеза хоть в какой-то мере соответствует истинному положению вещей. По рангу своему, по своей глубине она столь же убога, как и первые две. Но неужели я не вижу за ней по крайней мере одного преимущества — преимущества оптимизма?

Нетрудно догадаться, что именно помешало мне предпочесть оптимизм всем этим гипотезам барахтанья в тоскливом болоте апокалиптических и псевдонаучных ужасов. Разумеется, уже сам внешний вид известного лица никак не способствует приступам сколько-нибудь радужных чувств. Его неприятная метаестественность. Его грубость. Его брезгливость ко мне подобным. Его истерики. Наконец, его манера таращить глаза, каковая манера даже Агасфера Лукича приводит в рефлекторное содрогание...

Все это так. Но за всем тем не мог же я не заметить его постоянной изнуряющей занятости. Его метаний. Его измученного, но неутолимого любопытства. Не мог же я не заметить на этих изуродованных плечах

невидимого мне, непонятного, но явно тяжкого креста. Этой его забывчивости, этих странных его оговорок и невнятных распоряжений... Да в силах ли я понять, что это такое: пребывать сразу во всех восьмидесяти с гаком измерениях нашего пространства, во всех четырнадцати параллельных мирах, во всех девяти извергателях судеб!..

Да в силах ли я понять, каково это: вернуться туда, где тебя помнят, чтут и восхваляют, и выяснить вдруг, что при всем том тебя не узнают! Никто. Никаким образом. Никогда. Не узнают до такой степени, что даже принимают за кого-то совсем и чрезвычайно другого. За того, кто презираем тобою и вовсе не достоин узнавания!.. Проклятые годы. Что делают они с нами!..

Да в силах ли понять я, каково это: быть _ограниченно_ всемогущим? Когда умеешь все, но никак, никак, никак не можешь создать аверс без реверса и правое без левого... Когда все, что ты умеешь, и можешь, и создаешь доброго, — отягощено злом?.. В силах ли я понять, что Вселенная слишком велика даже для него, а время все проходит, оно только проходит — и для него, и сквозь него, и мимо него...

Агасфер Лукич разволновался. Я никогда не видел его таким прежде. Мне показалось, что это был восторг самоуничижения. Я слушал его, затаив дыхание, и тут, в самый патетический момент, грянул над нами знакомый голос, исполненный знакомого раздраженного презрения:

— На кухне! Из четвертого котла утечка! Опять под хвостами выкусываете?

25. Я не слышал звонка. Впрочем, никакого звонка, наверное, и не было. Я проснулся оттого, что неподалеку бубнили голоса, и голоса эти возвышались. Вначале я не понимал ни слова, я не сразу понял даже, кто это бубнит у нас посреди ночи, — гортанно, яростно, с придыханиями, на совершенно незнакомом языке.

Впрочем, довольно быстро я понял, что один из бубнящих — Агасфер Лукич, а затем, как водится, начал разбирать и о чем они бубнят, сперва общий смысл, затем отдельные слова. Ни общий смысл, ни отдельные слова, ни в особенности все возвышающийся тон мне решительно не понравились, я торопливо натянул штаны, снял со стены тяжелый шестопер и высунулся в коридор.

В коридоре было темно и пусто, вся наша контора спала, но в прихожей горел свет, и я увидел Агасфера Лукича, стоявшего профилем ко мне и, надо думать, лицом к своему собеседнику. Собеседника не было видно за углом — Агасфер Лукич, надо понимать, дальше порога его не

пускал.

Надо было понимать также, что Агасфер Лукич прямо из постели: был он в своем бежевом фланелевом белье со штрипками, памятном мне еще по гостинице «Степной», из-под рубашки торчал угол черного шерстяного платка, коим Агасфер Лукич оснащал на ночь поясницу в предчувствии приступающего радикулита, он даже накладное ухо свое не нацепил, оставил в граненом стакане с агар-агаром...

Невидимый мне визитер гортанно выкрикнул что-то насчет того, что демонам зла и падения дана великая власть, но не дано им преграждать путь ищущему милости Милостивого, ибо сказано: рабу не дано сражаться, его дело — доить верблюдиц и подвязывать им вымя. В ответ на это странное сообщение Агасфер Лукич уже совершенно для меня внятно произнес, почти пропел, явно цитируя:

— «Свои пашни обороняйте, ищущему милости давайте убежище, дерзкого прогоняйте». Почему ты не говоришь мне этих слов, Муджжа ибн-Мурара? Или твой нечистый не поворачивается повторять за тем, кого ты предал?

Я вышел в прихожую и встал рядом с ним, держа шестопер на виду. Теперь я видел абитуриента. Это был грузный, я бы сказал даже — жирный, старик в синих шелковых шароварах, спадающих на расшитые золотом крючконосые туфли. Шаровары еле держались у него на бедрах, низко свисал огромный, поросший седым волосом живот с утонувшим пупом, по-женски висели жирные волосатые груди, лоснились округлые потные плечи, а свежевыбритая круглая голова была измазана сажей, и следы сажи были у него по всему телу полосами от пальцев, и лицо его, черное от солнца, тоже было в саже, и белая растрепанная борода была захватана грязными руками, а черные глазки с кровавыми белками бегали из стороны в сторону, как бы не зная, на чем остановиться.

Двери на лестничную площадку не было. Зиял вместо нее огромный треугольный проем, и из этого проема высовывался на линолеум нашей прихожей угол роскошного цветастого ковра (совершенно так же, как давеча вместе с Бальдуром Длинноносым ввалился в прихожую огромный сугроб ноздреватого оттепельного снега). Абитуриент стоял на своем ковре. То ли дальше не пускал его Агасфер Лукич, то ли сам он боялся ступить на гладкий блестящий зеленый линолеум.

— Демон зла и падения Абу-Сумама! — после некоторого молчания возгласил абитуриент. — Снова и снова заклинаю тебя: перед тобой смертный, который нужен Рахману!

— Муджжа ибн-Мурара, — явно пародируя, ответствовал Агасфер

Лукич. — Ничтожнейший из смертных, предавший учителя и благодетеля племени своего Масламу Йемамского, снова и снова отвечаю тебе: ты не нужен Рахману!

Муджжа ибн-Мурара непроизвольно облизнул пересохшие губы и, словно бы ожидая подсказки, оглянулся через жирное плечо в темноту треугольного проема.

Мрак там, надо сказать, не был совершенно непроницаемым. Какой-то красноватый огонь тлел там — то ли костер, то ли жаровня, — и колебались на сквозняке огоньки светильников, и отсвечивало что-то металлическим блеском, — вроде бы развешанное по невидимым стенам оружие. И в этом неверном свете чудилось мне некое белесое лицо с черными, исполненными ужаса провалами на месте глаз и рта.

— Я свидетельствую: ты лжешь, Абу-Сумама! — прохрипел толстяк, не получивший из тьмы никакого подкрепления. — Я нужен Рахману! Если он захочет, я залью кровью Египет во имя его!

— Он не захочет, — равнодушно сказал Агасфер Лукич. — И Омар ибн ал-Хаттаб обойдется без тебя. Он заберет Египет мечом Амра. И без особенной крови, между прочим...

— Омар ибн ал-Хаттаб — жалкий пес и выскочка! — взвизгнул толстяк. — Он стал халифом только потому, что Пророк по упущению Рахмана остановил благосклонный взгляд на его худосочной дочери! Клянусь темной ночью, черным волком и горным козлом, кроме этой дочери, нет ничего у Омара ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем!

— Клянусь ночью мрачной и волком смелым, — отвечал Агасфер Лукич, — у тебя, Муджжа, нет даже дочери, не говоря уже о сыновьях, ибо Рахман справедлив. Уходи, ты не нужен Рахману.

Толстяк рванул себе бороду обеими руками. Глаза его выкатились.

— Я не прошу службы, — прохрипел он. — Я прошу милосердия... Я не могу вернуться назад. Доподлинно стало мне известно, что не переживу я этой ночи... Пусть Рахман оставит меня у ног своих!

— Нет тебе места у ног Рахмана, Муджжа ибн-Мурара, предатель. Иди к салукам, если они примут тебя, ибо сказано: ближе нас есть у тебя семья — извечно не сытый; пятнистый короткошерстый; и гривастая вонючая... Да только не примут тебя салуки, и даже тариды тебя не примут — слишком ты сделался стар и жирен, чтобы приводить кого-нибудь в трепет...

Я почти ничего не понимал из происходящего. Мне все время казалось, что Агасфер Лукич терзает этого жирного старца из, так сказать, педагогических соображений, что вот он сейчас поучит его уму-разуму, а

потом сделает вид, будто смягчился, и все же пропустит его пред светлые очи. Однако довольно скоро я понял, что не пропустит. Ни за что. Никогда.

И как видно, толстый старый Муджжа тоже понял это. Выкаченные глаза его сузились и остановились наконец, чтобы испепелить ненавистью.

— Лишенный стыда и позволивший называть себя именем Абу-Сумамы, — просипел он, тяжело глядя в лицо Агасферу Лукичу. — Я узнал тебя. Я узнал тебя по отрубленному уху, Нахар ибн-Унфува, прозванный Раххалем! Клянусь самумом жарким и верблюдом безумным, я отрублю тебе сейчас второе ухо моим йеменским клинком!

Короткопалая рука его судорожно зашарила у левого бедра, где ничего сейчас не было, кроме шнурка полусвалившихся шаровар. Агасфер Лукич ничуть не испугался.

— Клянусь пустым кувшином и высосанной костью, — сказал он с усмешкой. — Ты никому не сможешь ничего отрубить, Муджжа ибн-Мурара. Здесь тебе не Йемама, смотри, как бы тебе самому не отрубили последнее висящее. Уходи вон, или я прикажу своим ифритам и джиннам вышвырнуть тебя, как шелудивого, забравшегося в шатер.

Кто-то часто задышал у меня над ухом. Я оглянулся. Ифриты и джинны были тут как тут. Вся бригада в полном составе. Тоже, наверное, проснулись и сбежались на крики. Все были дезабилье, даже Селена Благая. Только Петр Петрович Колпаков счел необходимым натянуть спортивный костюм с наклейкой «Адидас».

Наверное, с точки зрения средневекового араба мы все являли собой зрелище достаточно жуткое и уж, во всяком случае, фантастическое. Однако Муджжа либо был не из трусливых, либо уже на все махнул рукою и пустился во все тяжкие, не думая больше о спасении жизни, а лишь о спасении лица. Он не удостоил нас даже беглого взгляда. Он смотрел только на Агасфера Лукича, все сильнее сутулясь, все шире оттопыривая жирные руки, обильно потея и тяжело дыша.

— Ты, Раххаль, — произнес он, захлебнувшись, — шелудивый бродяга и бездомный пес. Ты смеешь называть меня предателем. Предавший самого пророка Мухаммеда и перекинувшийся к презренному Мусейлиме!..

— А я запомнил времена, когда этого презренного ты называл милостивый Маслама! — вставил Агасфер Лукич, но Муджжа его не слушал.

— Трусливый и бесчестный, приказавший четвертовать мирного посланника! Вспоминаешь ли ты Хабиба ибн-Зейда, которого даже презренный Мусейлима отпустил с миром, не решившись преступить справедливость и обычаи? Посланником Пророка был Хабиб ибн-Зейд, а

ты велел схватить его, мирно возвращавшегося, и отрезать ему обе руки и обе ноги, — ты, Раххаль, да превзойдут зубы твои в огне гору Оход!

— Пустое говоришь, — снисходительно сказал Агасфер Лукич, — и в пустом меня обвиняешь, ибо отлично знаешь сам: презренный Хабиб умерщвлял младенцев, отравлял колодцы и осквернял поля. Все получившее благословение Масламы он отравлял, чтобы погибло. Я всего лишь приказал отрубить ноги, носившие негодяя, и руки, рассыпавшие яд.

— Свидетельствую, что ты лжешь! — отчаянно выкрикнул Муджжа и вытер трясущейся ладонью пену, проступившую в уголках рта. — Лучше меня знаешь ты, что именно благословения фальшивого Мусейлимы были ядом для детей, для земли и для воды йемамской! Ты, Раххаль, раб лжепророка, предавший и его, вспомни сражение у Акрабы! Может быть, стыд наконец сожжет тебя? Ты, бросивший свое войско перед самым началом битвы, покинувший лучших из лучших Бену-Ханифа умирать под саблями жестокого Халида! Ты бросил их, и все они легли там, у Акрабы, все до единого, кроме тебя!

— А ты с фальшивыми оковами на умытых руках беспечно смотрел из шатра Халида, как они умирают, твои братья по племени...

— Лжешь ты и лжешь! Железо оков проело мясо мое до костей моих, слезы прожгли кровавые вади на щеках моих, но когда пришло время, я спас от жестокого Халида женщин и детей Бену-Ханифа, я обманул Халида!.. Ты, бросающий лживые обвинения, вспомни лучше, почему ты ускакал от Акрабы, будто гонимый черным самумом! Это похоть гнала тебя! Клянусь черным волком, похоть, похоть и похоть! Ради бабы ты бросил все — своего лжепророка, которому клялся всеми клятвами дружбы и верности; и сына его, Шурхабиля, которого Мусейлима доверил твоей верности и мудрости; и друзей своих, и своих воинов, которые, даже умирая, кричали: «Раххаль! Раххаль с нами!» Ты бросил их всех ради грязной христианской распутницы, которую ты сам же сперва подложил под бессильного козла Мусейлиму, надеясь заполучить таким образом его душу...

— Я не советую тебе говорить об этом, — произнес Агасфер Лукич таким странным тоном, что меня всего повело, словно огромный паук побежал у меня по голой груди.

Но Муджжа уже ничего не слышал.

— ...однако лжемилостивый оказался слишком стар для твоего подарка, и ты остался с носом — и без вожделенной души его, и без своей вожделенной бабы! Ты, Раххаль, дьявол при лжепророке, преуспевший во зле!

Муджжа замолчал. Он задыхался, борода его продолжала шевелиться, будто он еще говорил что-то, и клянусь, он улыбался, не отрывая жадного взгляда от окаменевшего лица Агасфера Лукича. А тот медленно проговорил все тем же страшным, кусающим душу, голосом:

— Ты просто чувствуешь приближение смерти, Муджжа. Перед самой смертью люди часто говорят то, что думают, им нечего больше скрывать и незачем больше таиться. Я вижу, ты сам веришь тому, что говоришь, и трижды заверяю я тебя, Муджжа: не было этого, не было этого, не было.

Тогда Муджжа засмеялся.

— Записочку! — проговорил он, захлебываясь смехом и пеной. — Записочку вспомни, Раххаль! — хохотал он, задыхаясь и всхлипывая, тряся отвислыми грудями и огромным брюхом. — Вспомни записочку, которую передали тебе накануне битвы... Ты помнишь ее, я вижу, что ты не забыл! Так слушай меня и никому не говори потом, что ты не слышал! Твоя Саджах нацарапала эту записочку, сидя на могучем суку моего человека. Ты знаешь его — это Бара ибн-Малик, горячий и бешеный, как хавазинский жеребец, вскормленный жареной свининой, искусный добиваться от женщин всего, что ему нужно. А нужно ему было тогда, чтобы дьявол Раххаль, терзаемый похотью, покинул войско Мусейлимы на чаше верных весов!

И сейчас же, без всякой паузы:

— Ты позволил себе недозволенное, — произнес Нахар ибн-Унфува по прозвищу Раххаль. — Ты должен быть строго наказан.

«Милиция!» — ужасно взвизгнул у меня над ухом Матвей Матвеевич. Он понял, что сейчас произойдет. Мы все поняли, что сейчас произойдет. И уж конечно, Муджжа ибн-Мурара понял, что сейчас произойдет. Рука его нырнула во тьму треугольного проема и сейчас же вернулась с широким иззубренным мечом, но Раххаль шагнул вперед, мелькнуло на мгновение длинное узкое лезвие, раздался странный чмокающий звук, широкое черное лицо над испачканной бородой вмиг осунулось и стало серым... храп раздался, наподобие лошадиного, и страшный плеск жидкости, свободно падающей на линолеум.

Тут я, видимо, на некоторое время вырубился.

Вся прихожая была залита. Ужасно кричал Матвей Матвеевич. «Милиция! — кричал он. — Милиция!» Уткнувшись головой в зеркало, неудержимо блевал Марек Парасюхин... А Агасфер Лукич, фарфорово-белый, совершая выпачканными лапками выталкивающие жесты, бормотал нам успокаивающе:

— Тише, тише, граждане! Ничего страшного, все будет путем. Идите,

идите, я тут все сам приберу...

Exit Муджжа ибн-Мурара, наместник йемамский.

26. Вся эта история завязалась тринадцать с половиной веков назад...

ДНЕВНИК. 20 ИЮЛЯ. 13 ЧАСОВ

Мы остались без Мишеля.

За ним приехал отец из Новосергиевки. Всю ночь гнал на машине, как сумасшедший. Была очень тяжелая сцена. Мишель, конечно, уезжать отказывался, но отец сказал ему, что мать лежит в тяжелом приступе (начиталась газет, наслушалась слухов, в Новосергиевке ходят ужасающие слухи) и Мишель ее просто убьет, если не приедет тотчас же. Огромный седоголовый красавец, а глаза тоскливые, губы трясутся, руки трясутся, — я не стал на это смотреть, ушел подобру-поздорову.

Конечно, Мишель сдался. И я бы сдался. Любой в таком положении сдался бы. Тем более что у нас здесь ничего страшного не происходит, толпа основательно подрассосалась — надоело, опять же и обедать пора. Ребята из патруля уже не стоят цепочкой, а столпились у крыльца и покуривают. Только милиция по-прежнему на своем посту, но смотрит уже явно не так угрюмо, как раньше.

Мишель демонстративно не взял с собой ничего. Он объявил, что через два дня снова будет здесь.

Без Мишеля тускло.

20 ИЮЛЯ. 15 ЧАСОВ

Плохо дело.

В два часа в дверь позвонили. Это явился Первый и с ним еще какой-то деятель в элегантнейшем костюме и фотохромных очках. Я им открыл. Точно помню, что уже тогда подумал: «Плохо дело», — хотя еще не понимал, что именно плохо и почему.

Первый поздоровался, представился и сказал, что хочет видеть Г. А. Я повел их под перекрестными взглядами жалких остатков нашего гарнизона, сбежавшегося на дверные звонки. На лестнице Первый изволил пошутить: «Ну как вы тут, осажденные? Крыс уже всех подъели?» Мне было не до шуток.

Я запустил их в кабинет Г. А. и остался сидеть в приемной. Девочки и Аскольд посидели со мной немного, а потом разошлись по своим делам. Все они были настроены совершенно оптимистично. Логика: раз уж сам Первый нанес визит, значит, все будет ОК.

Из кабинета не доносилось ни звука. Я ждал. И чем дольше я ждал, тем яснее мне становилось, что ничего хорошего ожидать не приходится. Раз уж сам Первый в такое время и в такой ситуации наносит визит Г. А., это может означать только одно: дорогой Георгий Анатольевич, мы вас высоко ценим и глубоко уважаем, однако вы должны понять нас правильно... демократия... позиция первичных партийных организаций... наробраз... комсомол... невозможно, да и неверно было бы идти против воли всего города, выраженной настолько определенно... разумеется, мы учтем все ваши соображения, они представляют большую ценность, мы тщательно изучим их при формировании долгосрочной политики в будущем, но сегодня, сейчас... и не обращайте внимания на выпады экстремистов... культура дискуссий у нас пока еще далека от совершенства, и вы погорячились, и они вот теперь горячатся... но все мы ни на минуту не забываем, что вы — гордость нашего города, всего края, всего Союза, наконец!..

Все это я представлял себе так ясно, как будто слышал своими ушами. (А может быть, я действительно все это слышал? Только не ушами. Со мной и раньше такое бывало, когда доводили меня до крайности.)

Когда они вышли от Г. А., я еще владел собой. Пока пожимались руки и происходил обмен прощальными любезностями, я все еще сдерживался. (Лицо у Г. А. было такое, что я только разок глянул на него и больше уж не

смотрел.) И я еще сдерживался, пока вел их по главному коридору, вывел на лестничную площадку и вот тут сдерживаться перестал. (Г. А. с нами уже не было, он вернулся к себе.)

К сожалению, — а может быть, к счастью, — я плохо помню, что я им говорил. И спросить не у кого — ни одного из наших поблизости не оказалось. Допускаю, что я назвал их предателями. Вы предали его, сказал я. Он так на вас надеялся, он до последней минуты на вас надеялся, ему в этом городе больше ни на кого не оставалось надеяться, а вы его предали. (Щеголь в фотохромных очках, кажется, пытался остановить меня: «Не забывай, с кем ты разговариваешь!» И я тогда сказал ему: «Молчите и слушайте!») Может быть, вы вообразили себе, что ваши комплименты и все ваши красивые слова что-нибудь для него значат? Да не нужны ему ни ваши комплименты, ни ваши фальшивые похвалы. Ему нужна была ваша поддержка!..

И еще что-то в этом роде, совсем не помню. А помню, как он прервал меня и спросил с искренним удивлением: «Так ты что же — веришь во все эти его фантазии?» — «Нет, — сказал я честно. — К сожалению, нет. Умишка у меня не хватает в это поверить. Но я одно знаю: пусть это фантазии, пусть это он даже ошибается, но его ошибка в сто раз грандиознее и выше, чем все ваши правильные решения. И в сто раз нужнее всем нам».

Они обошли меня с двух сторон и стали спускаться по лестнице, а я говорил им вслед. А может быть, и не говорил, может быть, только думал. Вы сейчас послали его на крест. Вы замарали свою совесть на всю свою оставшуюся жизнь. Наступит время, и вы волосы будете на себе рвать, вспоминая этот день, — как вы оставили его одного в кабинете, раздавленного и одинокого, а сами нырнули в эту толпу, где все вам подхалимски улыбаются и молодцевато отдают честь...

И с лютым наслаждением ловил я токи растерянности, недоумения и недовольства собой, исходящие от их прямых спин и аккуратных вороных затылков.

20 ИЮЛЯ. ПОЛОВИНА ШЕСТОГО ВЕЧЕРА

Подуспокоив нервы, отправился к Г. А. посмотреть, как он там. Все наши уже сидели у него. Серафима Петровна принесла плюшки. Мы пили чай и молчали. Иришка как-то странно на меня посматривала, а Зойка все время подкладывала мне плюшки. Видимо, они все-таки слышали, как я орал на Первого. А может быть, ничего они не слышали, а просто вид у меня был недостаточно успокоенный.

Потом Г. А. посмотрел на часы и включил телевизор. Оказывается, голова наш Петр Викторович вознамерился сегодня, на неделю раньше срока, выступить с ежемесячным обращением к своему городу.

Обычная двадцатиминутная речь. Как всегда жовиален, прост, округл, хитроват и задушевен. Наши немалые достижения и главным образом наши недоделки, недостатки и недодумки. Средства освоены, с одной стороны, сроки не выдерживаются, с другой стороны; приток валюты, с одной стороны, отток квалифицированной рабочей силы, с другой стороны; не умеем еще как следует работать, с одной стороны, отдыхать совершенно разучились, с другой стороны...

И только в самом конце, без особого нажима, как о делах, всем хорошо известных, а потому не требующих никаких специальных пояснений, — сначала о работе санэпидслужбы города (недостаточный надзор за очистными сооружениями, успешная ликвидация сезонной эпизоотии у сусликов), и только потом, наконец: «В окрестностях города у нас уже который год регулярно возникает нездоровая в гигиеническом отношении обстановка, особенно на десятом километре, в излучине Ташлицы. Не могу сказать, что мы ничего не предпринимали. Уговаривали, предупреждали, вели разъяснительную работу. К сожалению, безуспешно. Васька, понимаете ли, слушает, но по-прежнему ест. Все необходимые меры мы уже давно подготовили. Упрекнуть нас ни в чем нельзя, разве что в излишней неторопливости, которая происходила от нашей излишней, может быть, терпимости. Могу сообщить, что сегодня нами сделано последнее и окончательное предупреждение. Всякому терпению приходит конец, и у нашего города терпения больше нет». И снова — об осушении Ереминского болота, о мерах против бродячих животных, еще минуты две жовиальности и простодушия и: «До следующей встречи, спасибо за внимание».

Вот так. Спасибо тебе, Петр Викторович. «На мэра надейся, но и сам

не плошай... Кто за доброе дело, тот мой союзник».

Г. А. выключил телевизор. На нас он не глядел, и мне подумалось, что ему стыдно сейчас глядеть на нас, своих учеников. За все человечество перед нами стыдно. Мне, во всяком случае, было стыдно, и я старался ни на кого не глядеть — только на Г. А., да и то исподлобья.

Тут Г. А. пододвинул к себе телефон и набрал номер. На экранчике появился Михайла Тарасович, вяловатый и безмятежный. Вид у него был такой, словно его грубо оторвали от заслуженного отдыха. Впрочем, обнаружив, кто его беспокоит, он очень натурально обрадовался, приветствовал Г. А. шумно и многословно и тут же принялся с добродушной укоризной высказывать свое мнение по поводу вчерашней статьи.

Г. А. прервал его немедленно. Что же это такое? Значит, завтра все-таки акция? Михайла Тарасович подувял и со вздохом развел руки: что поделаешь, такова жизнь. Г. А. сказал очень резко: «Как же вам не стыдно? Вы же обещали!» Михайла Тарасович перестал улыбаться и сказал заносчиво: «Что это я вам обещал? Ничего я вам не обещал!»

Г. А.: Стыдно, Кроманов. Стыдно! Перед людьми за вас стыдно! А что будет, если я расскажу всем о нашей договоренности?

М. Т.: О какой еще такой договоренности? Не было никакой договоренности... Вы, Георгий Анатольевич, говорите, да не заговаривайтесь. Я при исполнении служебных обязанностей. Я вам не кто-нибудь, я в договоренности с частными лицами не вступаю!

Г. А. молча глядит на него, приспустив набрякшие веки, и чем дольше он глядит, тем более каменеет и бронзовеет Михайла Тарасович, превращаясь уже не просто даже в образцового начальника гормилиции, а в памятник образцовому начальнику гормилиции.

М. Т. (чеканит): Я бы попросил вас не забываться. Намеков и оскорблений я терпеть не намерен. Пусть вы даже и заслуженный человек, но тогда тем более, извольте знать меру и понимать порядок...

И еще что-то в этом же роде, исполненное достоинства и служебной добродетели самой высокой пробы.

Г. А. все молчит. Он уже не просто глядит на него, а откровенно его рассматривает. И Михайла Тарасович не выдерживает этого рассматривания. Он приостанавливает свои речи, надувает щеки и медленно выпускает воздух.

М. Т. (тоном ниже): В вашем положении я бы вообще, извините за выражение, помалкивал. Договоренность... Какая может быть в таких делах договоренность? Я ведь, знаете ли, мог бы и дело против вас возбудить!..

Сокрытие информации, важной для следствия... пособничество преступлению, между прочим... укрывательство, если угодно! Это все, знаете ли, не шутки. Тут не только депутатского мандата, тут всего можно лишиться...

Он отводит глаза, потом бегло взглядывает на Г. А., потом снова отводит глаза и произносит совсем уже миролюбиво:

— Да не переживайте вы так, Георгий Анатольевич! Ничего там страшного не будет, в этой операции. Главные хулиганы у меня посажены, по закону сорок восемь часов будут сидеть как миленькие. Личный состав проинструктирован, эксцессы будем пресекать в зародыше... Что ты, в самом деле, Георгий Анатольевич? Мне же самому нужно, чтобы все прошло гладко, без драки, без крови... Неужели ты не понимаешь?

Г. А. выключает телефон.

Он оглядел нас всех по очереди очень внимательно, словно надеялся обнаружить в нас что-нибудь обнадеживающее, не обнаружил и сказал:

— Всё. Вот теперь уж окончательно всё. «...Всегдашний прием плохих правительств — пресекая следствие зла, усиливать его причины». Откуда?

— Ключевский, — сейчас же ответил Аскольд.

— Правильно, — проговорил Г. А. уже рассеянно. — Впрочем, один шанс у нас еще остался...

Он набрал какой-то номер, и на экране возникла недовольная старуха. Г. А. кротко поздоровался с нею и попросил к телефону Гарика. Через десять секунд на экране возник Гарик. Это был тот самый зеленый куст, который давеча прибегал в лицей с репьями в голове. Произошел примерно следующий разговор.

Г. А.: Гарик, мне надо срочно увидеть нуси.

Гарик: Нуси в ложе.

Г. А.: Пусть придет, когда выцветет.

Гарик: Он выцветет к дождеванию.

Г. А.: Скажи, чтобы пришел как можно скорее. Я буду его ждать.

Гарик: Трава на ветру (или что-то в этом роде).

Ребята из этого разговора не поняли ничего. Никто из них не был во Флоре, никто не знал, кто такой нуси, но я-то знал и, хотя жаргона не разобрал, догадался, что Г. А. вызывает к себе главаря Флоры, скорее всего, чтобы уговорить Флору сняться и уйти до утра. Действительно, это и есть, наверное, последний шанс. И самый лучший выход — и для них, и для нас, и для всего города. Только уж больно мал этот последний шанс. Если бы это было так просто — уговорить их уйти, — Г. А. давным-давно бы их уговорил.

Г. А. усталым и виноватым тоном попросил нас оставить его одного, и мы поднялись, чтобы уходить. И тут Аскольд вдруг спросил: «А как понимать все эти слова — про сокрытие информации, про преступление?» (Поразительно все-таки холодная задница, этот Аскольд!) Г. А. молчал так долго, что я решил, он вообще отвечать не будет. Но он все-таки ответил: «Это надо понимать так, — сказал он, — что в истории было много случаев, когда ученики предавали своего учителя. Но что-то я не припомню случая, чтобы учитель предал своих учеников».

20 ИЮЛЯ. СЕМЬ ВЕЧЕРА

Потому что тогда он сразу переставал быть учителем. И в истории он как учитель уже не значился.

Хотел пойти поговорить с Ванькой Дроздовым и прочими, — как они насчет завтрашнего? Пойдут все как один? С развернутыми знаменами? Может быть, еще и хлебнут для храбрости? Акция ведь все-таки — дело новое, непривычное!

Поздно спохватился. Перед лицеем уже никого нет, одни окурки катаются, да кучка добрых молодцев, окружив последний звучок, препирается, кому его отсюда тащить. И еще стражи порядка прохаживаются в отдалении. («В отдалении реяли квартальные».)

Появился Ираклий Самсонович. Длинно и путано объясняет, что утром его не пропустили. Готовит на завтра хаши.

Объявилась библиотекарша. Сделала мне выговор, что не вернул на место сегодняшние газеты. Нагрубил ей. Хамло я такое.

Тоскливо. Аскольда видеть не хочу (что дурно). Зойка в миноре, а Иришка твердит как заклинание, что все будет хорошо.

РУКОПИСЬ «ОЗ» (26–27)

26. Вся эта история завязалась тринадцать с половиной веков назад, когда пророк Мухаммед уже умер и первый арабский халиф Абу-Бекр принялся приводить к исламу Аравийский полуостров.

Был некто Нахар ибн-Унфува по прозвищу Раджаль или Раххаль, что означает «много ходящий пешком», «много путешествующий», или, говоря попросту, «бродяга», «шляющийся человек». Был он вначале учеником и доверенным Мухаммеда, жил при нем в Медине, читал Коран и утверждался в исламе. А потом Мухаммед послал его своим миссионером и связником в Йемаму, к Мусейлиме, вождю и вероучителю племени Бену-Ханифа.

Конечно, в то время никто не называл Мусейлиму Мусейлимой. Все звали его тогда: почетный Маслама, пророк Маслама и даже милостивый Маслама, то есть бог Маслама. Сам Мухаммед называл его тогда своим собратом по пророчеству. Действительно, учения их были во многом сходны, однако имелись и различия, которые, будучи применены к политической практике, развели собратьев настолько, что в Медине перестали называть Масламу почтенным и приклеили ему презрительное имя Мусейлима, то есть, говоря по-русски, что-то вроде «Масламишка задрипанный».

Раххаль выбрал Масламу. Он остался в Йемаме, в этой житнице Аравии, и сделался правой рукой Масламы, исполнителем самых деликатных его поручений и невысказанных желаний. Он показал себя великолепным организатором и контрпропагандистом. Он наладил для Масламы политический сыск и, будучи тонким знатоком Корана, был непобедим в открытых диспутах с миссионерами, которых Мухаммед упорно продолжал засылать в Йемаму.

Слава о нем распространилась широко, но это была недобрая слава. Считалось, что при Масламе поселился дьявол, которому Маслама повинуется, а потому и преуспевает во зле. Сам Пророк незадолго до смерти говорил о Раххале как о человеке, зубы которого в огне превзойдут гору Оход. (Видимо, Оход был вулканом, и странную эту фразу надо понимать в том смысле, что, когда Раххаль будет гореть в аду, зубы его запылают пламенем вулканическим.)

Наследник Мухаммеда халиф Абу-Бекр в первую голову решил заняться усмирением Йемамы. Однако никакого боевого опыта у его

военачальников тогда еще не было. Лихие кавалерийские наскоки Икримы ибн-Абу-Джахля, равно как и Шурхабиля ибн-Хасана, были благополучно отбиты на границах, и тем не менее положение Йемамы сделалось тяжелым. С запада по-прежнему угрожал ей Шурхабиль ибн-Хасан, с востока — ал-Ала ибн-ал-Хидрими, с юга грозил подойти отбитый Икрима, а тут еще с севера обрушилась на Йемаму и дошла до самого харама (обиталища Масламы) христианская пророчица Саджах из Джезиры с двумя корпусами диких темимитов на конях и верблюдах.

Саджах было наплевать и на Масламу, и на Абу-Бекра в одинаковой степени. Она была христианка. Ислам ей был отвратителен как святотатственное извращение учения Христа. Она пришла в Йемаму за зерном и вообще за добычей.

Масламе удалось заключить с нею оборонительно-наступательный союз, хотя обе договаривающиеся стороны были невысокого мнения друг о друге. Йемамцы презрительно называли кочевников-темимитов «люди войлока», а темимиты говорили йемамцам-земледельцам: «Сидите в своей Йемаме и копайтесь в грязи. И первый, и последний из вас — рабы».

Детали военного союза нас не интересуют. Последующее мусульманское предание представило этот союз в скабрезном виде. Совершенно напрасно: Маслама был аскетом и по убеждениям, и по образу жизни. Да и по возрасту, если уж на то пошло.

Не было скабрезности в этой истории. Была любовь. Огромная, фантастическая, рухнувшая в одночасье на двух совершенно разных людей — на бешено фанатичную красавицу-темимитку и на невзрачного, но зато окутанного легендой и тайной, не верящего ни в бога, ни в дьявола Раххаля, друга, руководителя и клеврета самого Масламы. История этой поистине удивительной и поражающей воображение любви была, говорят, воспета бродячим поэтом-салуком (которого называли иногда вторым Антарой ибн-Шалдадом) в поэме «Матерь запутанных созвездий», то есть «Полярная звезда». Текст поэмы, к сожалению, не дошел до нас.

Счастье их было недолгим. Саджах вернулась к себе на север. То ли влюбленный дьявол Раххаль наскучил ей, то ли политическая нужда потребовала ее присутствия в Месопотамии. Маслама потерял могущественного союзника. Хуже того, в отсутствие своей предводительницы темимиты возмутились против него. Абу-Бекр немедленно использовал все преимущества новой ситуации. На Йемаму двинулась армия лучшего тогда полководца мусульман Халида ибн-ал-Валида.

И тут на сцене появляется наш знакомец Муджжа ибн-Мурара. Был он

шерифом, то есть принадлежал к воинской знати Йемамы. И был он великим честолюбцем. Разночтения и нюансы ислама не интересовали его. Он хотел властвовать — спихнуть Масламу и властвовать в Йемаме.

В самом начале кампании он перекидывается к Халиду и предлагает ему тщательно разработанный план покорения Йемамы, с тем, чтобы по окончании всего Абу-Бекр сделал его, Муджжу ибн-Мурару, там наместником.

Этот план предусматривал не только хитроумное удаление от войска йемамцев дьявола Раххаля в самый ответственный момент, но и обеспечение добровольной покорности побежденных после окончания военных действий. Раххаля предстояло удалить с помощью подложной записочки от его возлюбленной Саджах (а может быть, и подлинной, кто знает?). Сам Муджжа брал на себя роль патриота-страдальца, мучимого жестоким Халидом: он будет ходить закованным в кандалы, полумертвым от голода и жажды, а в нужный момент он «обманет» Халида, и Халид «попадется» на этот обман, и слава Муджжи ибн-Мурары, мученика и страдальца за свой народ, сумевшего обмануть свирепого полководца, широко распространится по всей поверженной Йемаме, и все Бену-Ханифа будут неустанно благословлять имя его, своего нового владыки.

Все прошло как по маслу. То есть замысел Муджжи реализовался целиком и полностью.

Правда, отсутствие Раххаля, противу всяких ожиданий, никакой особенной роли не сыграло. И в битве под Акрабой, и при взятии харама Масламы йемамцы бились бешено и неистово, предпочитая умереть, нежели побежать. Взаимная ненависть достигла последнего предела. Мать Хабиба (которому Раххаль несколько лет назад велел отрубить руки и ноги за шпионско-диверсионные дела), давшая клятву, что не будет мыться, пока не будет убит проклятый Мусейлима, дралась, как безумная, и в битве за харам потеряла руку и получила двенадцать боевых ранений. Шурхабиль, сын Масламы, перед боем призвавший войско сражаться за своих жен и за свою честь — о вере он упомянуть забыл, — так вот Шурхабиль задохнулся насмерть под грудой зарубленных и заколотых им врагов. Упомянутый выше «бешеный и горячий» Бара ибн-Малик при взятии харама остервенел до такой степени, что приказал своим воинам перебросить себя через стену харама — там, окруженный воющей толпой йемамцев, он, как безумный, пробился к воротам, впустил внутрь харама свой отряд, после чего снова запер ворота, а ключ зашвырнул в пространство...

В этих сражениях полегло десять тысяч йемамцев. Как военная сила

Бену-Ханифа перестали существовать. Но и потери мусульман были ужасны: список одних только знатных, погибших на поле боя, достигает тысячи двухсот человек.

Муджжа ибн-Мурара исправно разыгрывал свою роль. Изможденный и несчастный, лязгая кандалами, подталкиваемый в спину ножнами жестоких конвойных, он бродил по полям битв, опознавая тела наиболее известных врагов Халида. Он опознал труп Мухаккима, командира гвардейского полка Масламы. Он опознал труп самого Масламы и опознал труп сына Масламы — Шурхабиля. И конечно же, он опознал труп Раххаля, так что весть о гибели дьявола сразу же широко распространилась по всей Йемаме.

Над телом Масламы, малорослого, желтого, тупоносого человечка, между Муджжой и Халидом при стечении свидетелей произошел следующий диалог:

— Вот это и есть главный враг ислама, — объявил Муджжа. — Теперь вы избавились от него.

— Быть того не может! — с хорошо разыгранным изумлением воскликнул Халид. — Неужели этот облезлый привел вас туда, куда он вас привел?

— Да, именно так оно и случилось, Халид, — сказал Муджжа сокрушенно. Но тут же гордо выпрямился и произнес на всю округу: — Однако клянусь богом, не радуйся слишком рано. Пока против тебя вышли только передовые застрельщики из самых торопливых, по-настоящему опытные ждут тебя в крепостях, и с ними тебе непросто будет справиться.

И действительно, когда Халид подступил к Хаджру, он увидел на стенах его огромную массу воинов в сверкающих доспехах — весьма внушительное и грозное зрелище. На самом же деле это все были женщины да подростки, настоящих воинов в стенах столицы почти не осталось.

Халид картинно задумался, а затем, повернувшись к советникам, вопросил: «Что скажете, почтенные?» Почтенные тут же высказались в том смысле, что, мол, хватит проливать кровь и надлежит немедленно предложить противнику условия капитуляции, а именно: желтое и белое (золото и серебро) — все, какое есть; кольчуги и кони — все, какие есть; а от пленных — только половину.

Переговоры начались. Муджжа выступил делегатом от Халида, и все закончилось даже легче, чем опасались в Хаджре. И наконец, последняя сцена.

Ворота крепости распахиваются, Халид входит в город, и очень скоро обнаруживается, что там только женщины и дети. На рыночной площади,

полной народа, Халид в великолепной ярости топает ногами, хватается за саблю и орет на Муджжу: «Ты обманул меня!» — а тот, изможденный, но гордый, высоко поднимает голову и ответствует в том смысле, что да, обманул, однако поступил так исключительно во имя и ради своего народа. Буря восторгов. Все валятся ниц. Занавес.

О дальнейшей судьбе Муджжи ибн-Мурары известно немного. Он более или менее благополучно правил Йемамой, обращенной в ислам, исправно платил подати халифу и железной рукой подавлял беспорядки. Умер он как-то странно. Существует версия, будто некий колдун заранее предсказал день и час его смерти. И действительно, в назначенное время он был найден на ковре в своих покоях зарезанным. Кто его зарезал и почему — осталось тайной. Знающие люди связывали это убийство с претензиями Муджжи возглавить поход мусульман на Египет.

27. Саджах.

О Саджах!

Саджах из Джезиры!

Груди твои...

Получив записку, Раххаль не размышлял и минуты. Записка была на арамейском: «Любимый! Я жду тебя в Басре. Спеши, ибо ты можешь опоздать». Четыре месяца он ждал этого зова и вот дождался. Даже не извинившись перед Шурхабилем, он встал и вышел из шатра. Военный совет остался у него за спиной. Он уже забыл о нем. Он распорядился вполголоса. Верблюдов снаряжали целую вечность. Наконец доложили, что все готово, он принял из рук Молчаливого Барса драгоценный кофр, обшитый свиной кожей, и сам приторочил к седлу Белобрюхого.

Через десять минут Акраба, спящая армия и поле завтрашней битвы остались у него за спиной. Он уже забыл о них. До Басры было тридцать караванных переходов. Следовало пройти этот путь за десять суток или даже быстрее. Это было в пределах возможного. Под ними были лучшие дромадеры Аравии, и всадники были лучшими в Аравии: двадцать бывших таридов, изгоев без роду и племени, двадцать телохранителей, двадцать поэтов, двадцать побратимов, преданных друг другу до последнего и почитающих его, Раххаля, как самого бога. А может быть, как дьявола. Они никогда ни о чем не спрашивали его, как никогда ни о чем не спрашивают тебя твои руки. Он мельком тепло подумал об этих людях.

Он был безумен. Любовь старого человека производит обычно впечатление несколько комическое. Этим летом Раххалю исполнилось шестьсот тридцать четыре года. Любовное безумие старика не способно

вызвать уже ни улыбки, ни сочувствия. Оно вызывает только страх. Раххаль сейчас был неудержим, ничто не могло его остановить. Ни войско, ни самум, ни землетрясение. Ни даже море. Ни даже смерть. Так, по крайней мере, он ощущал себя. Он сам был страшнее любого самума, землетрясения или смерти. Его снова назвали «любимый», и он рисковал опоздать.

Саджах.

О Саджах!

Саджах Месопотамская!

Бедра твои...

(С непривычно и неприятно стесненным сердцем следил я украдкой за Агасфером Лукичом, как он мечется по моей комнатушке, то и дело сшибая плечом со стены развешанное оружие, с хрустом выкручивает себе пальцы, как он то бросается к двери и замирает, упершись слабыми ручками в косяки, то с размаху кидается в мое колченогое кресло у стола и колотит кулачками по столешнице рядом с иззубренным йеменским мечом Муджжи ибн-Мурары, маленький, нелепый, безобразный, — и говорит, говорит, говорит...)

Отряд стремительно мчался по пустыне, и шайки разбойных темимитов, уже нацелившиеся было наброситься, в ужасе разворачивали коней и, словно стаи вспугнутых уток, опрометью разлетались кто куда.

Басра.

Ее здесь нет уже. Был бой, персы отбросили ее, и она ушла на Хиру. Точно ли на Хиру? Умирающий от ран танухид клянется богом своего племени: ушла на Хиру, здорова, прекрасна, но не весела. Неужели опоздал? Неужели я нужен был ей здесь, под Басрой? Проклятые персы!

Купцы каравана, попавшегося под ноги, валятся ничком на раскаленный песок, в мыслях своих расставшись уже и с желтым, и с белым, и с мягким, и с сухим, и с жидким, и с самою жизнью в придачу. Некогда! Потом, братья, потом! Вперед!

Хира.

Она была здесь. Еще дымятся развалины гарнизонной казармы, еще причитают, исходя проклятиями, женщины на порогах своих глинобитных халуп, вывернутых наизнанку, еще болтается веревка на поперечной балке, где она распорядилась повесить ромейского попа, знаменитого зверскими своими расправами над несторианами... Слава всем богам, удача сопутствовала ей здесь, она разгромила ромеев и пошла на Алеппо... Куда? На Алеппо? Она тоже обезумела. С толпой дикарей она одна идет на всю мощь ромеев! Несомненно, это любовная тоска. Он понимает ее. Она

готова сейчас грызть железо, только потому, что любимого нет рядом с нею. Он вспоминает: лесная прогалина над Гангом после любовных игр пары леопардов — словно табуны диких жеребцов сутки напролет дрались там не на жизнь, а на смерть. Вот что такое любовная тоска Саджах. А любимый слишком медлителен, он еле ползет по бесконечным пескам... Коней! Где взять коней?

В двух переходах от Хиры он натыкается на кочевье безвестного племени. Кони. Много коней. Но эти кочевники не понимают своего положения. Им кажется, будто их много, и они могут сделать выгодный обмен. Тем хуже для них, потому что торговаться некогда. Это безвестное племя — оно навсегда останется безвестным, больше о нем никто никогда не услышит. А мы сохраним в сердцах наших брата Шарана, брата Серого и брата Хасана Беззубого. Не хоронить! Некогда! Вперед!

Сиффин.

Она не дошла до Алеппо. Под Сиффином ее встретила бригада панцирной кавалерии под командованием генерала Аммона и пресвитера Евпраксия. Они убили ее. Им удалось взять ее живой, и вот здесь, на Бараньем Лбу, пресвитер Евпраксий предал ее ужасной смерти как еретичку и лжепророчицу.

Саджах.

О Саджах!

Саджах, дочь танух и тамим!

Лоно твое...

Тысячи и тысячи женщин были у него, он никогда не был аскетом, он был лакомка, он и сейчас не пройдет мимо сдобной булочки, несмотря на годы свои и на свою невзрачную внешность. Почему же из этих тысяч и тысяч всегда глодала его душу, мучительно гложет сейчас и, видно, вечно будет глодать память о ней одной? Почему эта любовь так болит? Ведь ее давно нет, она была тринадцать веков назад! Почему же так мучительно ноет, ломит и саднит она, словно мочка отрубленного уха в дурную погоду?

О Саджах.

Насмерть перепуганный сиффинец не только показал, по какой дороге ушли ромеи, но и согласился быть проводником. Уже на третий день Раххаль увидел дымы их костров. Дальше все было делом техники. На рассвете четвертого дня они уже скакали назад. Рядом с Молчаливым Барсом, перекинутый через спину подсменного жеребца, дергался и мычал ковровый мешок, содержащий в себе пресвитера Евпраксия (взятого в полевом нужнике со спущенными штанами).

На Бараньем Лбу в присутствии стонущих от ужаса свидетелей гибели

Саджах проделал Раххаль с пресвитером все то, что было проделано с любимой. Разумеется, с необходимой поправкой на мужские стати. Пресвитер Евпраксий кричал, не переставая, все два часа. Раххаль не слышал его. Чувства в нем отключились. Он только вспоминал.

Губы твои...

Глаза твои...

Что же все-таки произошло на самом деле с этой достопамятной запиской? Может быть, следует поверить появившимся позднее слухам о том, что записка была подложной, — умный враг состряпал ее для того, чтобы в нужный момент заставить грозного дьявола бросить все и умчаться на север, где никто не ждал его и где никому он не был нужен? Ведь и действительно, если судить по всем действиям Саджах, она к тому времени уже напрочь выбросила бывшего возлюбленного из головы и сердца и жила в свое удовольствие — лихо, дерзко, кроваво. Ей и в голову не могло прийти, что он спешит к ней, а потому и не было от нее к Раххалю ни связных, ни гонцов, ни пересыльщиков. И только в любовном своем безумии способен был объяснить хитрый, многоопытный, осторожный Раххаль поступки ее как любовное безумие хитрой, многоопытной, осторожной воительницы.

Гипотеза о подложной записке долгое время утешала его. Из этой гипотезы следовало, что она вовсе и не ждала его помощи, нисколько не рассчитывала на него и в последние страшные минуты свои не искала сквозь кровавый туман на горизонте блеска его сабель. И тогда можно было проклинать злобного врага, подсунувшего ему эту фальшивку, только за то, что фальшивка была подсунута слишком поздно. Ведь получи ее Раххаль хотя бы тремя днями раньше, все обернулось бы по-другому.

Ну конечно же, возлюбленный у нее был. Трезвой частью своего существа он сознавал, он знал наверняка, что возлюбленный был — молодой, горячий, неутомимый. Людская молва называла одного абиссинца, старшего сына смельчака Вашхии ибн-Харба, того самого, что зарубил Масламу на пороге харама. Однако Раххаль не мог ревновать. Он точно знал: абиссинец дрался за Саджах до последнего своего вздоха, — утыканный ромейскими стрелами, иссеченный ромейскими мечами, проткнутый ромейскими пиками, залитый своей и чужой кровью так, что не видно было ни одежды его, ни лица.

А вот блестящий пустоголовый жеребец Бара ибн-Малик быть ее возлюбленным не мог. Это было совершенно невозможно. Не получалось по времени. Муджжа ибн-Мурара в своем мучительном предсмертном стремлении уколоть побольнее солгал. Хотя, конечно, он точно рассчитал,

что нельзя представить себе соперника, более достойного сжигающей ревности, нежели Бара ибн-Малик.

Да разве в сопернике дело? Какая разница — абиссинец, Бара ибн-Малик, еще кто-то, — они насчитывались десятками. Не было мужчины, который, увидев ее, не превратился бы в воспламененного леопарда. Ей оставалось только выбирать. И никак не Раххалю, прекрасно понимавшему свое физическое несовершенство, следовало угнетаться ревностью. Ему достаточно было и того, что Саджах выбрала его хотя бы на несколько дней...

Муджжа ибн-Мурара заскорузлым пальцем ткнул в затянувшуюся рану и сделал очень, очень больно. Потому что открылось, что письмо могло и не быть фальшивым. И вмиг воспалившееся воображение нарисовало картину поистине адскую: молодой, ловкий наемный любовник, мастер и ходок, подосланный расчетливым негодяем, диктует задыхающейся от страсти Саджах, что ей надлежит сделать и что написать.

Почему эта мысль, такая простая, такая естественная, не пришла ему в голову тогда, тринадцать веков назад? Он бы нашел этого наемника. А сейчас даже глины не найти, в которую обратились его кости...

Уста твои, страстной неге навстречу раскрытые,
Лоно твое, как нехоженый луг, молодыми сочащийся травами.
Кипящая жизнью, нетронутая, нежная мякоть груди,
И затуманенный взгляд призывающий твой...

(Я смотрел, как он плачет мутными, старческими слезами, и поражался ему, и не понимал его, и думал: нет, видно, никогда не распадается цепь времен, ибо воистину, как смерть, крепка любовь, люта, как преисподняя, ревность, и стрелы ее — стрелы огненные...)

28. Я ходил в сберкассу и проторчал там в очереди три четверти часа...

ДНЕВНИК. 20 ИЮЛЯ. ОКОЛО ПОЛУНОЧИ

Странно, мы никогда не думали о семейной жизни Г. А. Знали понаслышке очень немногое, и этого нам хватало вполне. Это было для нас не важно. Знали, что жена его умерла пятнадцать лет назад. Кажется, она была эпидемиологом, заразилась во время первой эпидемии «африканки» и погибла. Знали, что у него двое детей, сын и дочь, но где они, кто они — никого это не интересовало. Г. А. для нас всегда был Г. А. — одинокий, единственный и самодостаточный. Без приложений. Мы не нуждались ни в каких к нему приложениях. Наверное, они бы даже мешали нам.

Г. А. провожал нуси к выходу, а я подслушивал. Это был безнадежный конец какого-то безнадежного разговора. И нуси сказал: «Папа, зря ты меня позвал, и зря я к тебе пришел. У тебя свои ученики, у меня — свои. У вас, папа, своя правда, а у нас — своя». Они говорили еще что-то, но я стоял, как пыльным мешком трахнутый, и ничего больше не слышал и не понимал. «Папа»! Понимаешь теперь, на что эти гниды намекали? Не знаю, что писать. В голове не помещается.

21 ИЮЛЯ. ДВА ЧАСА НОЧИ

Это ничего не значит. Во-первых, всегда можно сказать, что в детях гениев природа отдыхает. А во-вторых, если подумать, нуси-то ведь тоже учитель — и причем самого высокого класса! Держать в подчинении такое стадо, оплодотворить эту безмозглую пустыню идеей...

Неужели Г. А. угадал, и они в конце концов заставят нас потесниться, будучи в полном праве, как равные, а в перспективе, может быть, и в большинстве... Господи, бедный Г. А.

А может быть, не такой уж и бедный? Пусть даже это его педагогическая ошибка, но зато какая! Она равна открытию!

Гордись, Игорь Всеволодович, ты хорошо сказал сегодня: «Если он даже ошибается, каждая его ошибка в сто раз значительнее и важнее, чем все ваши правильные решения».

«The uncommon man wants to leave a world different from what he found; a better, enriched by his personal creation. For this he is willing to sacriface much or all of the happiness that the common man enjoys»[3].

РУКОПИСЬ «ОЗ» (28–29)

28. Я ходил в сберкассу и проторчал там в очереди три четверти часа, до самого обеда.

Когда я вернулся, он уже сидел на кухне и хлебал из эмалированной миски югославский пакетный суп. Был он тощий, нелепый, угловатый, костлявый, с чешуйчатыми от грязи плоскостопыми ножищами. Тонкая прыщавая шея, гигантский шмыгающий нос, выпученные глаза со слезой, скудный лобик под всклокоченной пегой шевелюрой. Дрисливый гусенок. Лет ему было, наверное, не более шестнадцати, голос у него ломался, а унылую физиономию его покрывали «бутон д'амур».

Когда я вошел в кухню, он шарахнул в мою сторону паническим взглядом, но, не обнаружив, по-видимому, во мне никакой опасности, провел пальцем под носом и снова вернулся к хлёбову. Я только глянул на его неописуемый бурнус и сразу понял, где источник того странного запаха, который я почуял еще в прихожей. Этот бурнус не стирали. Никогда. И не снимали тоже. Его только носили. И днем, и ночью. В нем даже наверняка ни разу не тонули.

— Кто таков? — спросил я грозно.

Бригада моя, сочувственно окружавшая носителя бурнуса, безмолвствовала — как мне показалось, трусливо и виновато.

— Кто впустил? — продолжал я, беря тоном выше. — Почему не сделали санобработку? Инструкция не для вас писана? По холере соскучились?

Кто его впустил — так и осталось неизвестным. В конце концов, может быть, и на самом деле никто не впускал, а просто внесло его в нашу прихожую, — и всех делов. Бывали такие случаи. И не раз. А вот пакетным супом (овощным со специями, тридцать семь копеек пакет, счет прилагается) его накормил сердобольный Марек Парасюхин, в коем, как известно, всегда сочетались нордическое милосердие и славянская широта натуры.

Дохлебав угощение до последней капли, он вылизал миску, да так быстро и ловко, что мы и рук протянуть не успели, а она уже была как новенькая. Потом он принялся говорить — так же торопливо, жадно, брызгаясь и захлебываясь, как только что ел.

Вначале, кроме постоянно повторяющейся просьбы оставить здесь и спрятать, мы ничего не понимали. Какие-то жалобы. Что-то там у него

было с родителями, то ли мать померла, рожая его, то ли сам он чуть не помер при родах... отец был богатый, а денег на него совсем не давал... И все его били. Всегда. Пока он был маленький, его били ребятишки. Когда он подрос, за него взялись взрослые. Его обзывали: выблядком, тухляком, говешкой, прорвой ненасытной, масалыгой, идиотом, дерьмочистом, дерьмодралом и дерьмоедом, сирийской рыбой, римской смазкой, египетским котом, шавкой, сявкой и залепухой, колодой, дубиной и длинным колом... Девицы не хотели иметь с ним дела. Никакого. Никогда. Даже киликийские шлюхи. И все время хотелось есть. Он съел даже протухшую рыбу, которую подсунули ему однажды смеха ради, и чуть не умер. Он даже свинину ел, если хотите знать... Ничего не было для него в этом мире. Ни еды. Ни женщин. Ни дружбы. Ни даже простого доброго слова...

И вот появился Рабби.

Рабби положил руку ему на голову, узкую чистую руку без колец и браслетов, и он почему-то сразу понял, что эта рука не вцепится ему в волосы и не ударит его лицом о выставленное колено. Эта рука источала добро и любовь. Оказывается, в этом мире еще оставались добро и любовь.

Рабби заглянул ему в глаза и заговорил. Он не помнит, что сказал ему Рабби. Рабби замечательно говорил. Всегда так складно, так гладко, так красиво, но он никогда не понимал, о чем речь, и не способен был запомнить ни слова. А может быть, там и не было слов? Может быть, была только музыка, настойчиво напоминавшая, что есть, есть, есть в этом мире и добро, и дружба, и доверие, и красота...

Конечно, среди учеников он оказался самым распоследним. Все его гоняли. То за водой, то на рынок, то к ростовщику, то к старосте. Вскопай огород хозяину — он нас приютил. Омой ноги этой женщине — она нас накормила. Помоги рабам этого купца — он дал нам денег... Опасный Иоанн со своим вечным страшным кинжалом бросает ему сандалии — чтобы к утру починил! Ядовитый, как тухлая рыба, Фома для развлечения своего загадывает ему дурацкие загадки, а если не отгадаешь — «показывает Иерусалим». Спесивый и нудный Петр ежеутренне пристает с нравоучениями, понять которые так же невозможно, как и речи Рабби, но только Рабби не сердится никогда, а Петр только и делает, что сердится да нудит. Сядет, бывало, утром на задах по большому делу, поставит перед собой и нудит, нудит, нудит... тужится, кряхтит и нудит.

И все равно — это было счастье. Ведь рядом всегда был Рабби, протяни руку — и коснешься его. Он потреплет тебя за ухо, и ты весь день счастлив, как птичка.

...Но когда они пришли в Иерусалим, сразу стало хуже. Он не понимал, что случилось, он видел только, что все сделались недовольны, а на чело Рабби пала тень тревоги и заботы. Что-то было не так. Что-то сделалось не так, как нужно. Что тут было поделать? Он из кожи лез вон. Старался услужить каждому. В глаза заглядывал, чтобы угадать желание. Бросался по первому слову. И все равно подзатыльники сыпались градом, и больше не было шуток, даже дурацких и болезненных, а Рабби стал рассеян и совсем не замечал его. Все почему-то ждали Пасхи. И вот она настала.

Все переоделись в чистое (кроме него — у него не было чистого) и сели вечерять. Неторопливо беседовали, по очереди макали пасху в блюдо с медом, мир был за столом, и все любили друг друга, а Рабби молчал и был печален. Потом он вдруг заговорил, и речь его была полна горечи и тяжких предчувствий, не было в ней ничего о добре, о любви, о счастье, о красоте, а было что-то о предательстве, о недоверии, о злобе, о боли.

И все загомонили, сначала робко, с недоумением, а потом все громче, с обидой и даже с возмущением. «Да кто же? — раздавались голоса. — Скажи же! Назови нам его тогда!» — а опасный Иоанн зашарил бешеными глазами по лицам и уже схватился за рукоять своего страшного ножа. А он тем временем украдкой, потому что очередь была не его, потянулся своим куском к блюду, и тут Рабби вдруг сказал про него: «Да вот хотя бы он», — и наступила тишина, и все посмотрели на него, а он с перепугу уронил кусок в мед и отдернул руку.

Первым засмеялся Фома, потом вежливо захихикал Петр, культурно прикрывая ладонью волосатую пасть, а потом и Иоанн захохотал оглушительно, откинувшись назад всем телом и чуть не валясь со скамьи. И захохотали все. Им почему-то сделалось смешно, и даже Рабби улыбнулся, но улыбка его была бледна и печальна.

А он не смеялся. Сначала он испугался, он решил, что его сейчас накажут за то, что он полез к меду без очереди. Потом он сообразил, что его проступка даже не заметили. И тут же почему-то понял, что ничего смешного не происходит, а происходит страшное. Откуда у него взялось это понимание? Неизвестно. Может, родилось оно от бледной и печальной улыбки Рабби. А может быть, это было просто звериное предчувствие беды.

Они отсмеялись, погалдели, настроение у всех поднялось, они все рады были, что Рабби впервые за неделю отпустил шутку и шутка оказалась столь удачной. Они доели пасху, и ему было велено убрать со стола, а сами стали укладываться на ночь. И вот, когда он мыл во дворе посуду, вышел к нему под звездное небо Рабби, присел рядом на

перевернутый котел и заговорил с ним.

Рабби говорил долго, медленно, терпеливо, повторял снова и снова одно и то же: куда он должен будет сейчас пойти, кого спросить, и когда поставят его перед спрошенным, что надо будет рассказать и что делать дальше. Рабби говорил, а потом требовал, чтобы он повторил сказанное, чтобы он запомнил накрепко: куда, кого, что рассказать и что делать потом.

И когда, уже утром, он правильно и без запинки повторил приказание в третий раз, Рабби похвалил его и повел за собой обратно в помещение. И там, в помещении, Рабби громко, так, чтобы слышали те, кто не спал, и те, кто проснулся, велел ему взять корзину и сейчас же идти на рынок, чтобы купить еду на завтра, а правильнее сказать — на сегодня, потому что утро уже наступило, и дал ему денег, взявши их у Петра.

И он пошел по прохладным еще улицам города, в четвертый, в пятый и в шестой раз повторяя про себя: кого; что рассказать; что делать потом, — и держал свой путь туда, куда ему было приказано, а вовсе не на рынок. И он удивлялся, почему черное, звериное предчувствие беды сейчас, когда он выполняет приказание Рабби, не только не покидает его, но даже как будто усиливается с каждым шагом, и почему-то виделись ему в уличных голубых тенях бешеные глаза опасного Иоанна и чудился леденящий отблеск на лезвии его длинного ножа...

Он пришел, куда ему было приказано, и спросил того, кого приказано было спросить, и сначала его не пускали, и мучительно долго томили в огромном, еле освещенном единственным факелом помещении, так что ноги его застыли на каменном полу, а потом повели куда-то, и он предстал, и без запинки, без единой ошибки (это было счастье!) проговорил все, что ему было приказано проговорить. И он увидел, как странная, противоестественная радость разгорается на холеном лице богатого человека, перед которым он стоял. Когда он закончил, его похвалили и сунули ему в руки мешочек с деньгами. Все было именно так, как предсказывал Рабби: похвалят, дадут денег, — и вот он уже ведет стражников.

Солнце поднялось высоко, народу полно на улицах, и все расступаются перед ним, потому что за ним идут стражники. Все, как предсказывал Рабби, а беда все ближе и ближе, и ничего невозможно сделать, потому что все идет, как предсказывал Рабби, а значит — правильно.

Как было приказано, он оставил стражников на пороге, а сам вошел в дом. Все сидели за столом и слушали Рабби, а опасный Иоанн почему-то припал к Рабби, словно стараясь закрыть его грудь своим телом.

Войдя, он сказал, как было приказано: «Я пришел, Рабби», и Рабби, ласково освободившись от рук Иоанна, поднялся и подошел к нему, и обнял его, и прижал к себе, и поцеловал, как иного сына целует отец. И сейчас же в помещение ворвались стражники, а навстречу им с ужасающим ревом, прямо через стол, вылетел Иоанн с занесенным мечом, и начался бой.

Его сразу же сбили с ног и затоптали, и он впал в беспамятство, он ничего не видел и не слышал, а когда очнулся, то оказалось, что валяется он в углу жалкой грудой беспомощных костей, и каждая кость болела, а над ним сидел на корточках Петр, и больше в помещении никого не было, все было завалено битыми горшками, поломанной мебелью, растоптанной едой и обильно окроплено кровью, как на бойне.

Петр смотрел ему прямо в лицо, но словно бы не видел его, только судорожно кусал себе пальцы и бормотал, большей частью неразборчиво. «Делать-то теперь что? — бормотал Петр, бессмысленно таращa глаза. — Мне-то теперь что делать? Куда мне-то теперь деваться? — а заметивши наконец, что он очнулся, схватил его обеими руками за шею и заорал в голос: — Ты сам их сюда привел, козий отброс, или тебе было велено? Говори!» — «Мне было велено», — ответил он. «А это откуда?» — заорал Петр еще пуще, тыча ему в лицо мешочек с деньгами. «Велено мне было», — сказал он в отчаянии. И тогда Петр отпустил его, поднялся и пошел вон, на ходу засовывая мешочек за пазуху, но на пороге приостановился, повернулся к нему и сказал, словно выплюнул: «Предатель вонючий, иуда!»

На этом месте рассказа наш гусенок внезапно оборвал себя на полуслове, весь затрясся и с ужасом уставился на дверь. Тут и мы всей бригадой тоже посмотрели на дверь. В дверях не было ничего особенного. Там стоял, держа портфель под мышкой, Агасфер Лукич и с неопределенным выражением на лице (то ли жалость написана была на этом лице, то ли печальное презрение, а может быть, и некая ностальгическая тоска) смотрел на гусенка и манил его к себе пальцем. И гусенок с грохотом обрушил все свои мослы на пол и на четвереньках пополз к его ногам, визгливо вскрикивая:

— Велено мне было! Велено! Он сам велел! И никому не велел говорить! Я бы сказал тебе, Опасный, но ведь он никому не велел говорить!..

— Встань, дристун, — сказал Агасфер Лукич. — Подбери сопли. Все давно прошло и забыто. Пошли. Он хочет тебя видеть.

29. Сегодня наступило, наконец, семнадцатое, но не семнадцатое

ноября, а семнадцатое июля. Солнце ослепительное. Грязища под окнами высохла и превратилась в серую растрескавшуюся твердь. Тополя на проспекте Труда клубятся зеленью, сережки с них уже осыпались. Жарко. В чем идти на улицу — непонятно. Самое летнее, что у меня есть, это нейлоновая майка и трусы.

Прямо с утра Парасюхин облачился в свой черный кожаный мундир эсэсовского самокатчика (а также патрона «Голубой устрицы») и пристал к Демиургу, чтобы тот откомандировал его в Мир Мечты. Мир — с большой буквы, и Мечта — тоже с большой буквы. Трижды Демиург нарочито настырным, казенно-дидактическим тоном переспрашивал его: Мир чьей именно Мечты имеется в виду? Даже я, внутренне потешаясь над происходящим, почуял в этом настойчивом переспрашивании какую-то угрозу, какой-то камень подводный, и некое смутное неприятное воспоминание шевельнулось во мне, я даже испытал что-то вроде опасения за нашего Парасюхина.

Однако румяный болван не учуял ничего — со всей своей знаменитой нордической интуицией и со всем своим широко объявленным Внутренним Голосом. Он пер напролом: Мир только одной Мечты возможен, все остальное — либо миражи, либо происки... Мечта чистая, как чист хрустальный родник, нарождающийся в чистых глубинах чистой родины народа... его, парасюхинская, личная Мечта, она же мечта родов народных...

С тем он и был откомандирован. Вот уже скоро обедать пора, а его все нет.

Явилась пара абитуриентов. Юнец и юница, горячие комсомольские сердца. Оба в зеленых выгоревших комбинезонах, исполосованных надписями БАМСТРОЙ, ТАМСТРОЙ, СЯМСТРОЙ, такие-то годы (в том числе и 1997, что меня несколько удивило). Лица румянятся смущением и пылают энтузиазмом.

К стопам был повергнут проект «О лишении человечества страха». Фундамент и отец нашей цивилизации — страх... Совесть зачастую тоже базируется на страхе... и тому подобное. Вообще весь проект построен на микроскопическом личном опыте и на вычитанной где-то фразе: «Поскребите любое дурное свойство человека, и выглянет его основа — страх». (Сказано в манере Бернарда Шоу, но это не Бернард Шоу.) Страх сковывает и угнетает: чувство справедливости, прямоту-честность-откровенность, гордость сюда же, собственное достоинство, принципиальность...

Демиург запутал их играючи. Нельзя ведь отрицать, что страх

сковывает и угнетает также: садизм-мазохизм, стремление к легкой наживе, склонность к лжесвидетельству, мстительность, агрессивность, потребительское отношение к чужой жизни, склонность к анонимкам, идиотскую принципиальность... Кроме того, если поскрести кое-какие ДОБРЫЕ свойства кое-каких людей, то и в этом случае частенько вылезает наружу все тот же страх... Впрочем, сама по себе мысль не дурна, есть о чем поразмыслить, однако требуется тщательная и всесторонняя доработка. Проводить! Угостить нашим морсом! Подать пальто!

Какие пальто в середине июля! Я повел их на кухню поить морсом, и тут объявился Парасюхин.

Он обвалился в коридоре, как пласт штукатурки с потолка, и огромным мешком с костями дробно обрушился на линолеум. Я только рот разинул, а он уже собрал к себе все свои руки-ноги, заслонился растопыренными ладонями, локтями и даже коленями и в таком виде вжался в стену, блестя сквозь пальцы вытаращенным глазом. Волна зловония распространилась по коридору — то ли он обгадился, то ли его недавно окунали в нужник, — я не стал разбираться. Я просто крикнул бригаду. Бригада набежала, и я распорядился. Парасюхина поволокли волоком в санобработку, — Колпаков, как обычно, с молчаливой старательностью, Матвей Матвеевич — с визгливыми причитаниями, а Спиртов-Водкин — поливая окрестности сквернословием, словно одержимый болезнью де ля Туретта.

И вот тогда-то я осознал, наконец, смутные свои опасения, отчетливо и в деталях вспомнив о своем собственном печальном опыте в Мире Мечты Матвея Матвеевича Гершковича...

Мир Мечты, назидательно сказал я юнице и юнцу, взиравшим на происходящее с трепетом и жадным любопытством, Мир Мечты — это дьявольски опасная и непростая штука. Конечно же, мечтать надо. Надо мечтать. Но далеко не всем и отнюдь не каждому. Есть люди, которым мечтать прямо-таки противопоказано. В особенности — о мирах.

Юнец с юницей меня не поняли, конечно. Да я и не собирался им что-либо втолковывать, я просто собирался напоить их морсом, что и сделал под разнообразные элоквенции, явственно доносящиеся из санпропускника.

А совсем уже к вечеру объявился Агасфер Лукич, и не один.

«Эссе хомо!» — провозгласил он, обнимая гостя за плечи и легонько подталкивая его ко мне. Гость растерянно улыбался — небольшого роста, ладный человек лет пятидесяти, в костюме странного покроя. На правой скуле его розовело что-то вроде пластыря, но не пластырь, а скорее остаток небрежно стертого грима. И с левой рукой у него было не все в порядке —

она висела плетью и казалась укороченной, кончики пальцев едва виднелись из рукава.

Таким я увидел его в первый раз — немного растерянным, не вполне здоровым и очень заинтригованным.

— Прошу любить и жаловать, — произнес Агасфер Лукич весело. — Георгий Ана...

(ПРИМЕЧАНИЕ ИГОРЯ В. МЫТАРИНА. На этом рукопись «ОЗ» обрывается. Продолжения я никогда не видел и не знаю, существует ли оно. Скорее всего, весь дальнейший текст был изъят самим Г. А. — например, из соображений скромности. Я вполне допускаю, что вся изъятая часть рукописи посвящена главным образом Г. А. Разумеется, возможны и другие объяснения. Их даже несколько. Да только какой смысл приводить их здесь? Все они слишком уж неправдоподобны.)

НЕОБХОДИМОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По понятным причинам, на двадцатом дне июля мои записи прерываются и возобновляются уже только зимой. Прошло сорок лет, и я не способен сейчас подробно и связно изложить события утра двадцать первого июля. Почему мы все оказались рядом с Г. А. около его автомобиля в холодных предрассветных сумерках? Как ухитрились подняться в такую рань после треволнений предыдущего дня? Может быть, мы и вовсе не ложились? Может быть, мы догадывались, какое решение примет Г. А., и всю ночь дежурили, чтобы не упустить его одного? Не помню.

Помню, что сразу же сел за руль.

Помню, как Г. А. непривычно грозным и повелительным голосом объявляет, что девочки не поедут никуда.

Помню, как Зойка без кровинки в лице кусает себе пальцы, запустив их кончики в рот, — словно в какой-то старинной мелодраме, ей-богу.

Помню, как Иришка рвется в машину, заливаясь громким плачем, и слезы у нее летят во все стороны, будто у ревущего младенца.

И очень хорошо помню Аскольдика — как он решительно выдвигается, крепко берет Иришку сзади за локти и успокаивающе сообщает Г. А.: «Не беспокойтесь, поезжайте, я ее придержу».

На всю жизнь я запомнил это: ВЫ ПОЕЗЖАЙТЕ СЕБЕ, А Я ЕЕ ЗДЕСЬ ПРИДЕРЖУ.

(Понимаю и догадываюсь, Аскольд Павлович, наверное, тебе очень неприятно читать сейчас эти твои слова. Допускаю даже, что ты за сорок лет успел совсем позабыть их. Допускаю даже, что ты в то время вообще не придал им значения: слова как слова, не хуже других. Однако в свете того, что произошло потом, они звучат сейчас, согласись, достаточно одиозно. Что делать? Из песни слова не выкинешь. Да и кому это нужно — выкидывать слово из песни?)

Почти совсем не помню проезда нашего по городу. Смутно брезжит только в моей памяти ощущение недоумения по поводу того, что в такую рань на улицах так много народу.

Помню скотомогильник в предрассветных сумерках. Мне показалось тогда, что кости шевелятся, а черепа провожают нас пустыми глазницами.

Флора не спала. Множество костров догорало, и бродили между кострищами понурые зябкие фигуры. Воняло пригорелой кашей, аптекой, волглым тряпьем. Запахи почему-то запомнились. Вот странно!

Г. А. подошел к самому большому костру и сел у огня. Рядом с нуси. Рядом со своим сыном. И сейчас же все вокруг заговорили. Ни одной фразы я не запомнил, тем более что говорили в общем-то на жаргоне, помню только, что это были жалобы и проклятья. Они проклинали Г. А. за ту беду, которую он на них накликал, и жаловались ему, как им страшно сейчас и обреченно. Г. А. молчал, он только обводил взглядом кричавших, плакавших, задыхавшихся в истерике.

Потом все куда-то исчезли, и у костра нас осталось только трое, и нуси принялся уговаривать отца уйти, пока не поздно. Он говорил что-то о смысле и бессмыслице, что-то о судьбах и жертвах, что-то о надежде и отчаянии. Нормальным, я бы сказал даже — нормированным русским языком, безукоризненно чисто и правильно. Г. А. ответил ему: «У тебя свои ученики, у меня — свои. У вас своя правда, у нас — своя», — и нуси ушел.

Помню, как мне было страшно. Зуб на зуб не попадал. Наверное, так чувствуют себя перед казнью. Ни одной жилки не было спокойной в моем теле. Г. А. обнял меня за плечи и прижал к себе. Он был горячий, надежный, твердый и в то же время такой маленький, такой щуплый, такой незащищенный, и я впервые обнаружил, что я ведь на целую голову длиннее его и вдвое шире в плечах.

И тут у костра оказался этот толстенький, лысоватый, в дурацком костюмчике с дурацким разбухшим портфелем под мышкой.

(Я ведь и сейчас толком не понимаю, кто он такой, — то ли в самом деле выплыл из прошлого, то ли все-таки соскочил со страниц этой странной рукописи. Ощущаю я в нем какое-то беспощадное чудо, если только не примерещился он мне тогда у костра, потому что в то утро мне могло примерещиться и не такое. Тогда же, помнится, ни о какой рукописи я и не подумал, — был он для меня просто раздражающе чудаковатый и неуместный тип, не к месту и не ко времени прицепившийся к моему Г. А.)

Они поговорили о чем-то. Коротко и невнятно. Деталей не помню никаких. Помню только, что чудаковатый тип говорил голосом и тоном, совсем не подходящим ему ни по виду его, ни по ситуации. Ах, как жалею я сейчас, что не прислушался я тогда к их разговору. А запомнились мне лишь последние слова Г. А. — видимо, я тут же отнес их к самому себе: «Да перестаньте вы, в самом деле. Ну какой я вам терапевт? Я самый обыкновенный пациент...»

Солнце уже высунулось из-за холмов, и я увидел на западе, там, где проходила дорога, ярко и весело освещенную, желтую клубящуюся стену. Это была пыль. Колонна свернула с шоссе и двигалась к нам.

ЖИДЫ ГОРОДА ПИТЕРА, или НЕВЕСЕЛЫЕ БЕСЕДЫ ПРИ СВЕЧАХ
Комедия в двух действиях

Назвать деспота деспотом всегда было опасно. А в наши дни настолько же опасно назвать рабов рабами.

Р. Акутагава

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Кирсанов Станислав Александрович, 58 лет.
Зоя _Сергеевна_ — его жена, 54 года.
Александр — их старший сын, 30 лет.
Сергей — их младший сын, 22 года.
Пинский Александр Рувимович — старый друг, 58 лет.
Базарин Олег Кузьмич — добрый знакомый, 55 лет.
Артур — друг Сергея, 22 года.
Егорыч — сантехник, 50 лет.
Черный _Человек_.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Гостиная-кабинет в квартире профессора Кирсанова. Прямо — большие окна, задернутые шторами. Между ними — старинной работы стол-бюро с многочисленными выдвижными ящичками. На столе — раскрытая пишущая машинка, стопки бумаг, папки, несколько мощных словарей, беспорядок.

Посредине комнаты — овальный стол, — скатерть, электрический самовар, чашки, сахарница, ваза с печеньем. Слева, боком к зрителям, установлен огромный телевизор. За чаем сидят и смотрят заседание Верховного Совета:

хозяин дома профессор Станислав Александрович _Кирсанов_, рослый, склонный к полноте, украшенный кудрявой русой шевелюрой и бородищей, с подчеркнуто-величавыми манерами потомственного барина, в коричневой домашней толстовке и спортивных брюках с олимпийским кантом;

супруга его, _Зоя_ _Сергеевна_, маленькая, худощавая, гладко причесанная, с заметной сединой, нрава тихого и спокойного, очень аккуратная и изящная (в далекой молодости — балерина), — она в строгом темном платье, на плечах — цветастая цыганская шаль;

их сосед по лестничной площадке и приятель дома Олег Кузьмич _Базарин_, толстый, добродушнейшего вида, плешивый, по сторонам плеши — серебристый генеральский бобрик, много и охотно двигает руками, когда говорит — для убедительности, когда слушает — в знак внимания, одет совершенно по-домашнему — в затрапезной куртке с фигурными заплатами на локтях, в затрапезных же зеленых брючках и в больших войлочных туфлях.

Из телевизора доносится: «Итак, товарищи... Теперь нам надо посоветоваться... Вы хотите выступить? Пожалуйста... Третий микрофон включите...»

Кирсанов. Опять эта харя выперлась! Терпеть его не могу...

Базарин. Бывают и похуже... Зоя Сергеевна, накапайте мне еще чашечку, если можно...

Зоя _Сергеевна_ (*наливая чай*). Вам покрепче?

Базарин. Не надо покрепче, не надо, ночь на дворе...

Кирсанов (*с отвращением*). Нет, но до чего же мерзопакостная

рожа! Ведь в какой-нибудь Португалии его из-за одной только этой рожи никогда бы в парламент не выбрали!

Разговор этот идет на фоне телевизионного голоса — рявкающего, взрыкивающего, митингового: «Я говорю здесь от имени народа... Четверть миллиона избирателей... И никто здесь не позволит, чтобы бесчестные дельцы наживались, в то время как трудящиеся едва сводят концы с концами...» Голос Нишанова: «То есть я вас так понимаю, что вы предлагаете голосовать сразу? Очень хорошо. Других предложений нет? Включите режим регистрации, пожалуйста...»

Кирсанов. Сейчас ведь проголосуют, ей-богу.

Зоя _Сергеевна_. А это с самого начала было ясно. Неужели ты сомневался?

Кирсанов. Я не сомневался. Но когда я вижу, что они сейчас проголосуют растратить шестнадцать миллиардов только для того, чтобы неведомый нам Сортир Сортирыч получил возможность за мой счет ежемесячно ездить в Италию... и даже не сам Сортир Сортирыч, а его зять-внук-племянник... Только для этого заключается контракт века, который по сю сторону никому решительно, кроме Сортир Сортирыча, не нужен... загадят территорию величиной с Бенилюкс... отравят двадцать четыре реки... завоняют всю Среднерусскую возвышенность... Но зато племянник Сортир Сортирыча на совершенно законном основании сможет теперь поехать за бугор и купить там себе «тойоту»...

И в этот момент в квартире гаснет свет.

Кирсанов. Что за черт! Опять?

Базарин (*уверенно*). Пробки перегорели. Говорил я вам, что не надо этот подозрительный самовар включать...

Кирсанов. Да при чем здесь самовар?.. Подождите, я сейчас пойду посмотрю... Ч-черт, понаставили стульев...

Зоя _Сергеевна_. Нет, это не пробки перегорели. Это опять у нас фаза пропала.

Базарин (*с недоумением*). Куда пропала? Фаза? Какая фаза?

Слышны какие-то шумы и неясные голоса с лестницы (из-за кулис справа), голос Кирсанова: «А в том крыле? Что?.. Понятно... Ну и что мы теперь будем делать?..» Базарин, подобравшись в темноте к окну,

отдергивает штору. За окном падает крупный снег, там очень светло: отсветы уличных фонарей, низкое светлое небо, в огромном доме напротив — множество разноцветно освещенных окон.

Кирсанов (*появляется из прихожей справа*). Поздравляю! По всей лестнице света нет. И по всему дому, кажется...

Зоя _Сергеевна_. Ну, по крайней мере, не так обидно. Фаза опять пропала?

Кирсанов. Она, подлая... (*Подходит к окну.*) Живут же люди, горюшка не знают! (*Зое Сергеевне.*) Лапа, а где у нас были свечки?

Зоя _Сергеевна_. По-моему, мы их на дачу увезли...

Кирсанов. Ну вот! За каким же дьяволом? Это просто поразительно — никогда в доме ни черта не найдешь, когда надо!..

Базарин. Станислав, побойся бога. Зачем тебе сейчас свечи? Второй час уже, спать пора... (*Спохватывается.*) Тьфу ты, в самом деле! У меня же в холодильнике суп, на три дня сварено. И голубцы! Теперь, конечно, все прокиснет...

Зоя _Сергеевна_. Ничего у вас не прокиснет, Олег Кузьмич, вынесите на балкон, и все дела.

Кирсанов (*от бюро, с торжеством*). Вот они! Видала? Вот они, голубчики... (*Передразнивает.*) «На дачу, на дачу...»

Зоя _Сергеевна_. Ой, а где же они были?

Кирсанов. В бюро они у меня были. В бюро! Очень хорошее место для свечей. Интересно, как бы ты без меня существовала в этом мире?.. Где спички?

Зоя _Сергеевна_. А в бюро их у тебя нет? Замечательное место для спичек...

Кирсанов (*укрепляет свечи в канделябрах на бюро и расставляет по столу*). Ладно, ладно, лапа, сходи на кухню, все равно стоишь...

Базарин (*чиркает спичкой, свечи загораются одна за другой*). Да на кой ляд вам это понадобилось, в самом деле? Спать давно пора...

Кирсанов. Ну куда тебе спать, ты же сейчас человек одинокий и даже в значительной степени холостой... Сиди, пей чай, наслаждайся беседой с умными людьми...

Из-за кулис справа появляется длинная черная фигура — рослый человек в блестящем мокром плаще до пят с мокрым блестящим капюшоном.

Черный _Человек_ (*зычно*). Гражданин Кирсанов?

Кирсанов (*ошеломленно*). Да... Я...

Черный _Человек_. Станислав Александрович?

Кирсанов. Да! А в чем дело? Как вы сюда попали?

Черный _Человек_ (*зычно*). Спецкомендатура Эс А! (*Обыкновенным голосом.*) У вас дверь приоткрыта, а звонок не работает. Паспорт ваш, будьте добры...

Кирсанов. Какая еще комендатура? (*Достает из бюро паспорт и протягивает Черному Человеку.*) Какая может быть сейчас комендатура? Ночь на дворе!

Черный Человек берет паспорт, и тотчас же во лбу у него загорается электрический фонарь наподобие шахтерского. Внимательно перелистав паспорт, он молча возвращает его Кирсанову, а сам распахивает большой черный дипломат и, держа на весу, некоторое время роется в нем.

Черный _Человек_. Распишитесь... Вот здесь...

Кирсанов (*расписываясь*). А в чем, собственно, дело? Вы можете толком мне объяснить — что, куда, откуда? Войну, что ли, объявили?

Черный _Человек_ (*вручает Кирсанову какую-то бумажку*). Получите.

Кирсанов (*смотрит в бумажку, но ничего не видит, света не хватает*). Я ничего здесь не вижу! В чем дело? Вы что — объяснить не можете по-человечески?

Черный _Человек_. Там все сказано. Будьте здоровы.

Фонарик его гаснет, а сам он как бы растворяется во тьме.

Базарин. Ну и дела!

Кирсанов (*раздраженно*). Не вижу ни черта... Зоя! Где мои очки?

Зоя _Сергеевна_. Дай сюда... (*Отбирает у мужа бумажку и читает вслух.*) «Богачи города Питера!..»

Базарин и _Кирсанов_ (*одновременно*). Что-о?

Зоя _Сергеевна_ (*после паузы*). «Богачи города Питера! Все богачи города Питера и окрестностей должны явиться сегодня, двенадцатого января, к восьми часам утра на площадь перед СКК имени Ленина. Иметь с собой документы, сберегательные книжки и одну смену белья. Наличные деньги, драгоценности и валюту оставить дома в отдельном пакете с

надлежащей описью. Богачи, не подчинившиеся данному распоряжению, будут репрессированы. Лица, самовольно проникшие в оставленные богачами квартиры, будут репрессированы на месте. Председатель-комендант спецкомендатуры Эс А»... Подписи нет, какая-то печать. Господи, что это значит?

Базарин. Это значит, что документы надо сразу же спрашивать, вот что! Извините... (*Осторожно берет бумажку из рук Зои Сергеевны.*) Печать!.. Я вам такую печать из школьной резинки за десять минут сварганю... (*Переворачивает бумажку.*) Так... Кирсанову Станиславу Александровичу... адрес... Правильный адрес... Ну и как прикажете это понимать?

Кирсанов (*нервно*). Дай сюда... (*Он уже нашел и нацепил очки.*) Не понимаю, что это может означать — Эс А? Советская Армия?

Базарин. Социалистическая Антарктида... Судорожная Аккредитация... Чушь это все собачья, и больше ничего! Двери надо за собой запирать как следует. Интересно, Зоя Сергеевна, как там ваша шубка в передней поживает? Я у вас там, помнится, шубку видел...

Зоя Сергеевна, подхватившись, выходит в прихожую.

Кирсанов (*озаренно*). Эс А — это Штурмабтайлунг!

Базарин (*непонимающе*). Ну?

Кирсанов. Штурмовые отряды! Эс А. Ну, помнишь — у Гитлера?

Базарин. При чем здесь Гитлер? Какой может быть Гитлер в наше время?

Зоя _Сергеевна_ (*возвратившись*). Шуба цела... И вообще все как будто цело... Нет, это был никакой не жулик...

Базарин. А кто же тогда?

Зоя _Сергеевна_. Откуда мне знать? А только это был не жулик и не шутник. Может быть, военный... или милиция... или органы...

Базарин. Удивительно знакомая рожа лица! Станислав, а? Тебе не показалось? По-моему, у тебя аспирант такой есть... как его... Моргунов... Моргачев... Ну, на Новый год у вас был, длинный такой, сутулый... Зоя Сергеевна!

Кирсанов, ничего не слыша, читает и перечитывает повестку, сдвинув к себе все канделябры.

Кирсанов. Какой я им богач! Что они — совсем уже с ума

посходили? Нашли богача, понимаете ли. Драгоценности им подавай... Валюту... Идиоты!

Базарин. Ты что? Серьезно все это воспринимаешь?

Кирсанов. Замечательно интересное кино! А как ты мне еще прикажешь все это воспринимать? Является посреди ночи какой-то гестаповец, вручает, понимаете ли, повестку... явиться, понимаете ли, со сменой белья... Послушай, дай-ка я радио включу.

Он подбегает к бюро и включает репродуктор. Комната оглашается сухим мертвенным стуком метронома.

Кирсанов. Ну вот, пожалуйста! А это как прикажете понимать?

Базарин. А что тут такого? Два часа ночи.

Кирсанов. Ну и что же, что два часа ночи? Где это ты слышал, чтобы метроном по радио передавали в мирное время?

Базарин. А что, разве не полагается? Я, честно говоря, трансляцию и не включаю никогда...

Кирсанов. Я, честно говоря, тоже никогда не включаю... Может быть, так оно и должно быть, но, когда я эту хренацию слышу, я сразу же блокаду вспоминаю... Ну его к черту! (*Выключает репродуктор.*) Испортили все-таки настроение, подонки... Так хорошо сидели...

Базарин. Зоя Сергеевна, можно, я еще одну штучку выкурю?

Зоя _Сергеевна_ (*рассеянно*). Курите.

Кирсанов. Дай-ка и мне, пожалуй, тоже...

Базарин (*укоризненно*). Станислав!

Кирсанов. Ничего, ничего, давай... Сегодня можно. Гляди, как руки трясутся, смех и грех, ей-богу!

Базарин. Ты бы лучше корвалола выпил, чем закуривать.

Кирсанов (*закуривает от свечи*). Нет, но как тебе это нравится! Богача отыскали!.. Только ты мне не говори, что это чьи-то шутки. За такие шутки сажать надо! За такие шутки я бы...

Зоя _Сергеевна_ (*прерывает его*). Позвони Сенатору.

Кирсанов. Что?

Зоя _Сергеевна_. Позвони Евдокимову.

Кирсанов. Да ты что — сдурела? Лапочка!

Зоя _Сергеевна_. Позвони Сенатору, я тебя прошу.

Кирсанов (*тыча пальцем в сторону телевизора*). Он же на сессии сейчас сидит!

Зоя _Сергеевна_. Он должен был сегодня прилететь, мне Анюта

говорила. Позвони, прошу тебя!

Кирсанов (*нервно*). И не подумаю. Стану я среди ночи беспокоить человека из-за какой-то дурацкой ерунды!

Базарин. Да, Зоя Сергеевна, тут вы, знаете ли... В самом деле — неловко. Конечно, это очень удобно — иметь среди своих добрых знакомых члена Верховного Совета, но согласитесь, что это все-таки не тот случай...

Зоя _Сергеевна_. Откуда вы знаете, какой это случай?

Базарин. Н-ну... Как вам сказать... Лично я не могу к этому серьезно относиться, как хотите. И вам не советую.

Кирсанов. Главное, что я ему скажу, ты подумала? (*Язвительно.*) «Богачи города Питера!» Да он пошлет меня к чертовой матушке и будет прав. Если уж звонить, то тогда в милицию. Там, по крайней мере, хоть дежурный не спит. Во всяком случае, не должен спать, раз он за это деньги получает...

Базарин (*решительно*). Никуда звонить не надо. Совершенно очевидно, что это чей-то дурацкий розыгрыш. Сегодня же старый Новый год, вот и развлекаются какие-то кретины!

Зоя _Сергеевна_ (*тихо*). Старый Новый год завтра.

Кирсанов (*он снова внимательно изучает повестку*). Это рэкетиры какие-нибудь! Знаете, что у них здесь на печати написано? «Социальная ассенизация»! Идиоты! И рассчитывают на полнейших идиотов!.. Кстати, что это такое — СКК имени Ленина?

Базарин. Спортивно-концертный комплекс. Это где-то на юге, возле Парка Победы.

Кирсанов. Ну вот! Оставлю им все на столе, а сам поскачу с бельем на другой конец города...

Базарин (*с большим сомнением*). М-да, это вполне возможно. Только, по-моему, он очень похож на твоего Моргачева...

Кирсанов. На какого Моргачева?

Базарин. Ну на Моргунова... На аспиранта твоего, как его там...

Кирсанов. Ты, кажется, всерьез полагаешь, будто я уже не способен узнать собственного аспиранта?

Базарин. Извини, но я ничего не полагаю. Я только тебе говорю, что он очень похож...

Кирсанов. У меня нет такого аспиранта. Это не мой аспирант. Это вообще не аспирант. Это либо жулик, черт его подери, либо идиотский шутник!

Базарин (*кротко*). Ну извини, я вовсе не хотел тебя обидеть. Я тоже считаю, что это идиотская шутка и что нам всем надо успокоиться. Зоя

Сергеевна, я вас умоляю: успокойтесь и не берите в голову. Хотите, я чайник пойду поставлю? Газ, я надеюсь, еще не выключили?..

В прихожей хлопает дверь, и в комнате появляется Александр Рувимович _Пинский_. Это длинный, невообразимо тощий человек, долговолосый, взлохмаченный, с огромным горбатым носом и с неухоженной бороденкой. Он старый друг семьи Кирсановых, живет двумя этажами выше по той же лестнице, поэтому он в пижаме и тапочках, а поверх пижамы — в некогда роскошном восточном халате. В руке у него листок бумаги.

Пинский (*возбужденно*). Слава богу, вы не спите... Как вам это понравится? (*Он швыряет бумажку на стол.*) По-моему, это уже переходит все пределы!

К бумажке тянутся все трое, но быстрее всех оказывается Зоя Сергеевна.

Зоя _Сергеевна_ (*читает высоким ненатуральным голосом*). «Жиды города Питера!..» Что это такое?

Пинский. Читай, читай, дальше там еще интереснее.

Кирсанов (*отбирает у жены листок*). Позволь. Дай мне. (*Читает.*) «Жиды...» Так. «Все жиды города Питера и окрестностей должны явиться сегодня, двенадцатого января, к восьми часам утра на стадион «Локомотив». Иметь с собой документы, а именно: свидетельство о рождении, паспорт, расчетные и абонементные книжки по оплате коммунальных услуг. Все ценности, как-то: меха, наличные деньги, сберегательные книжки, валюту, драгоценности и украшения, а также коллекции — оставить дома в надлежащем порядке. Жиды, не подчинившиеся данному распоряжению, подлежат заслуженному наказанию...» Так. Тут у них что-то зачеркнуто... А, понятно. «Лица, самовольно проникшие в оставленные квартиры, будут наказаны...» Но это как раз вычеркнуто. То есть в оставленные квартиры проникать можно... Ну и, конечно, председатель-комендант-ассенизатор. Подписи опять нет, а печать есть. Та же самая...

Пинский (*кипя*). Ну что — узнаете? Что вы на меня вытаращились? Неужели не узнаете? Олег Кузьмич, вы же у нас в некотором роде историк, вы же у нас специалист по межнациональным отношениям!.. Вижу, что ни хрена вы не узнаёте и не помните ни хрена. В сорок первом году в Киеве

немцы такое же вот расклеивали по стенам, почти слово в слово... «Жиды города Киева»... А потом — Бабий Яр! Неужели не помните?.. (*Торжествующе.*) Вот они, наконец, высунулись ослиные уши, хулиганье фашистское, доморощенное! И ведь главное — совершенно уверены, что какой-нибудь еврей обязательно с перепугу попрется к восьми часам, а они там будут на него глазеть и ржать, как жеребцы, и пальцами на него указывать...

Зоя _Сергеевна_ (*Кирсанову*). В последний раз тебя прошу. Позвони Евдокимову.

Кирсанов. Погоди, лапа. Дай разобраться. (*Пинскому.*) Откуда у тебя эта бумажка?

Пинский. Да только что принес какой-то гад. Наглец хладнокровный, еще расписаться заставил. Откуда я мог знать, что он мне подсовывает? Я думал, это из военкомата. Он ведь, подлец, представился: «Спецкомендатура»...

Кирсанов. Рослый такой парень, в черном плаще?

Пинский. Ну!

Кирсанов. И фонарь во лбу?

Пинский. Да! А ты откуда...

Кирсанов (*сует ему в руку свою повестку*). На, почитай.

Пинский. Зачем?

Кирсанов. Читай, читай, увидишь.

Базарин. Так-так-так. Это уже серьезно.

Кирсанов (*ехидно*). А чего тут серьезного? Ну, ходят мои аспиранты, ну, разносят шутливые повестки...

Базарин. Перестань. Может быть, и в самом деле позвонить Евдокимову?

Кирсанов. Но я же не знаю, что ему говорить! Как это все расскажешь? Свежему человеку... в третьем часу ночи...

Пинский (*прочитав кирсановскую повестку*). Что за чертовщина! Откуда это у тебя?

Кирсанов. Спецкомендатура социальной ассенизации. Здоровенный громила с кейсом и с шахтерским фонарем между глаз.

Пинский. Какой же ты, к едрене фене, богач?

Кирсанов. Да уж какой есть, извини, если не угодил.

Базарин. Вот что. Надо немедленно позвонить в милицию и сообщить, что имеют место хулиганские действия со стороны неизвестного лица.

Кирсанов (*раздраженно*). Подожди. Давай сначала разберемся. Если

это хулиганские действия какого-то идиотского лица, тогда звонить совершенно незачем. Ну, дурак, ну, ходит по квартирам и разносит дурацкие повестки. Ну, напугает дюжину дураков вроде нас... Если дело обстоит таким образом, тогда звонить в милицию — сами звоните. Мне уже повестку принесли, меня уже один раз одурачили, и теперь можно спокойно ложиться спать. Вторую не принесут!

Базарин (*задумчиво*). Логично.

Кирсанов. А раз логично, тогда давайте ложиться спать. Хватит. Всё.

Пинский (*алчно*). Догнать бы сейчас этого жлоба и накидать бы ему пачек, чтобы кровавыми соплями умылся, падло позорное...

Кирсанов. Сиди уж, старое дреколье. Да смотри, случайно не пукни, а то развалишься. Догнал он... пачек он накидал...

Пинский. Ничего, ничего, не беспокойся, мне бы его только поймать, а там бы я с ним разобрался, не впервой... Меня ведь, главным образом, что поражает? Меня наглость эта первобытная поражает. Вот они уже по квартирам пошли. Вы понимаете, что это означает? Это означает, что они адрес мой — знают. Спрашивается: откуда? Кто им дал? Зачем? Чувствуете?..

Кирсанов. Между прочим, мой адрес они тоже знают...

Пинский (*отмахивается*). Да перестань ты! Ты-то здесь при чем? Подумаешь, богачом его обозвали! В первый раз в жизни. Меня жидом всю мою жизнь обзывают! Устно. А теперь вот и письменно начали...

Кирсанов. Знаешь, когда в нашей стране человека обзывают богачом, ничего хорошего в этом нет, уверяю тебя. Еще неизвестно, что хуже.

Пинский. Ах, тебе неизвестно, что хуже? Может быть, ты предпочел бы оказаться жидом?

Кирсанов. Я бы предпочел, чтобы на меня не наклеивали ярлыков. Никаких.

Пинский. А жид — это вовсе не ярлык. Жид — это имманентное состояние. Перестать быть богачом можно, а жидом — нет.

Базарин. Да не о том вы говорите, не о том! Оба хуже, вот в чем беда! Так уж у нас сложилось, что миллионы людей это думают. Что еврей, что богач — плохо. Плохо, и все! И мы не имеем права ни в чем винить этих людей. У них есть все основания так думать. Их так воспитали...

Кирсанов. Но позволь, в самом деле! Какой же я, к черту, богач?

Базарин. Да. Ты богач. С точки зрения тети Моти, которая получает семьдесят рублей пенсии, да еще трешку в месяц ей посылает дочка из Сызрани... с точки зрения этой тети Моти, ты — богач! У тебя пять тысяч

на книжке, у тебя автомобиль, у тебя дача, у тебя трехкомнатная квартира, у тебя жена может не работать...

Кирсанов. Так у тебя, наверное, не пять тысяч, у тебя, может быть, двадцать тысяч на книжке... Я же знаю, что ты на вторую квартиру копишь...

Базарин. И я богач! И Александр Рувимович богач. Хотя у него «Жигулей» и нет пока...

Кирсанов. У меня «Жигули» второй год под брезентом стоят, резину не могу купить ни за какие деньги!..

Базарин. «Жигулей» у него пока нет, но он зато дочку отправил в Америку, и она ему оттуда подбрасывает... и не трешку в месяц, уж будьте уверены!

Пинский (*рявкает*). Я дочку в Америку не отправлял! Это ваш Госконцерт говенный ее туда выжил!

Базарин. Этого тетя Мотя ничего не знает. И знать не хочет. Она одно знает: всю жизнь вкалывала как проклятая, а сейчас, старуха, по помойкам бутылки собирает.

Пинский. И виноват в этом, конечно, еврей Пинский.

Кирсанов. И богач Кирсанов.

Базарин. Да! Еврей Пинский и богач Кирсанов! Потому что никаких других объяснений у тети Моти нет!..

Пинский. Как это — нет! А куда же смотрит работник политпросвещения товарищ Базарин Олег Кузьмич?

Базарин (*не слушая*). Потому что сначала ей очень хорошо объяснили, что во всем виноваты вредители. Потом ей объяснили, что во всем виноват Гитлер... Да только она не дура. Сорок лет уже нет ни Гитлера, ни вредителей, а жить-то все хуже и хуже... И всю свою жизнь она видит где-нибудь то барина в трехкомнатной квартире с телефоном, то сытого еврея из торговли...

Пинский. А еврея, который в говенном котле всю смену лежит и заклепки хреном выколачивает, — такого еврея она не видела? Так пусть посмотрит! (*Тычет себя большим пальцем в грудь.*)

Базарин. Представьте себе — такого еврея она не видела. Потому что, простите меня, Александр Рувимович, такой еврей и в самом деле большая редкость...

Кирсанов. Ну ладно, хватит вам, что вы опять сцепились... Не об этом же речь идет. Ей-богу, Олег Кузьмич, ну что ты, в самом деле... Ты что же хочешь мне сказать — сидит где-то какая-то тетя Мотя и сочиняет эти повестки?

Пинский. Не-ет, это не тетя Мотя сочиняет. Это сочиняет сытый, гладкий, вчерашний молодежный вожак, и «Жигули» у него есть, и квартира с телефоном, да только вот бездарный он, к сожалению, серый, как валенок, а потому — убежденный юдофоб... У нас же юдофобия спокон веков — бытовая болезнь вроде парши, ее в любой коммунальной кухне подхватить можно! У нас же этой пакостью каждый второй заражен, а теперь, когда гласность разразилась, вот они и заорали на весь мир о своей парше... Вы, Олег Кузьмич, всегда их, бедненьких, защищаете! Я вас понимаю, сами-то вы выше этого, сами вы все норовите с высоты пролетарского интернационализма проблему обозревать, поэтому у вас всегда и получается, что все кругом бедненькие... даже богатенькие... Мне иногда кажется, Олег Кузьмич, что вы мне просто простить не можете... Это ж надо же, ведь такой был образцово-показательный еврей-котельщик, рыло чумазое, каждое второе слово — мат, подлинное воплощение пролетарского интернационализма, — так нет же, в институты полез, изобретателем заделался, начлабом, дочку в консерваторию пристроил...

Базарин. Перестаньте, Александр Рувимович! Вы прекрасно знаете, что ничего подобного я не думаю и что ничего подобного я не говорил. Я только одно хотел сказать: что в каждой шутке есть доля истины. Даже в самой дурацкой. Мы вот с вами возмущаемся по поводу этих бумажек, а нам бы не возмущаться надо, а задуматься, потому что солома показывает, куда дует ветер...

Пинский хочет ему что-то ответить, но тут Зоя Сергеевна резко поднимается и берет ближайший канделябр.

Кирсанов (*всполошившись*). Лапа, ты куда? (*Пинскому и Базарину.*) Да заткнитесь вы наконец! Хватит! Что вы опять сцепились, как цепные собаки! (*Зое Сергеевне.*) Лапа, не уходи, они больше не будут.

Зоя _Сергеевна_. Три часа уже. Я пойду вещи соберу.

Кирсанов. Какие вещи?

Зоя _Сергеевна_. Я еще сама толком не знаю, надо посмотреть... Что они там глупости пишут — смена белья. Зима на дворе. Носки надо шерстяные обязательно взять, рейтузы теплые...

Базарин. Позвольте, Зоечка Сергеевна...

Зоя _Сергеевна_. Тошно мне вас слушать, честное слово. Вы все делаете вид, будто это шутка, будто развлекается кто-то. Будто вы не чувствуете, что это всем нам конец, начало конца...

Кирсанов (*беспомощно*). Ты что же — серьезно считаешь, что я

должен туда идти?

Зоя _Сергеевна_. Я ничего не считаю. Я знаю только, что идти придется и что ты пойдешь, и я бога молю, чтобы меня пустили с тобой, потому что без меня ты там погибнешь на третий день...

Кирсанов. Лапушка, опомнись! Ну что ты такое говоришь? Ведь это же все ерунда! Ну хочешь, я в милицию позвоню? Подожди, я сейчас же позвоню! (*Он подскакивает к телефону, торопливо набирает 02.*) Алло... Товарищ лейтенант, с вами говорят из дома шестнадцать по Беломорской улице. У нас тут по лестницам ходит какой-то деятель и вручает гражданам хулиганские повестки... (*Замолкает, слушает.*) Так почему же вы ничего не предпринимаете? (*Слушает.*) То есть как это так? А кто же, по-вашему, должен этим хулиганством заниматься? Что? (*Слушает.*) Да, получил... (*Слушает.*) В каком смысле, простите? (*Слушает.*) Позвольте, вы что же хотите мне сказать... (*Слушает, потом медленным движением опускает трубку и поворачивается к остальным.*)

Базарин. Ну?!

Кирсанов. Он говорит: получили предписание — выполняйте...

Базарин. Та-ак. Этого и следовало ожидать.

Кирсанов. Он говорит: это не только у нас в доме, это везде. Милиции это, говорит, не касается.

Зоя Сергеевна, не сказав ни слова, уходит из комнаты в спальню, налево.

Базарин. Проклятье. Я тебе тысячу раз говорил, Станислав: не распускай язык! Тебе не двадцать лет. И даже не сорок. В твоем возрасте нельзя быть таким идиотом и горлопаном!

Пинский. Золотые слова! И главное, такие знакомые... Всю жизнь я их слышу. Иногда с добавлением «жидовская морда».

Кирсанов. Какой я вам горлопан? Что вы городите?

Базарин. На митинге Народного фронта ты речи произносил или папа римский? Кто тебя туда тянул? Что они — не обошлись бы без тебя там?..

Кирсанов. Так это когда было... А потом, при чем здесь Народный фронт? Ведь я же богач! Богач я! У меня же драгоценности! У меня меха!

Пинский. Э! Э! Не примазывайся! Меха — это у меня.

Базарин. Вот теперь и я считаю — хватит. Звони Сенатору.

Кирсанов молчит, выкапывает из пепельницы окурок, затягивается.

Кирсанов. Не хочу. Сам звони.

Базарин. Ну, знаешь ли!.. Как угодно. Только я с ним за одной партой не сидел...

И тут за окном, в доме напротив, разом гаснут все оставшиеся еще освещенными окна. И сейчас же гаснут фонари на улице. Остается только светлое низкое небо над крышами. В комнате делается заметно темнее.

Пинский (*подбежав к окну*). Ого! И в доме десять тоже погасло... Так... И в доме восемь... А вы знаете, панове, во всем квартале, пожалуй, света нет! Знаешь что, Слава, кончай-ка ты выгибать грудь колесом и звони-ка ты своему Евдокимову... если, конечно, он захочет теперь с тобой разговаривать, в чем я вовсе не уверен.

Кирсанов. Нет. Я никогда никого ни о чем не просил и просить не намерен. Пусть будет что будет.

Пинский. А кто говорит, чтобы просить? Спросить надо, а не просить...

Кирсанов. А что, собственно, спрашивать? Тебе вполне определенно сказано: предписание получили? Выполняйте! Старший лейтенант милиции Ксенофонтов...

Из передней доносится стук дверей, топот, приглушенное ржание. Шипящий голос произносит: «Ш-ш-ш! Тихо ты, сундук африканский!..» Щелкает выключатель. «И здесь света нет...» Другой голос отзывается нарочитым баском: «Взлэтаеть... но так — нэвысоко!..» И снова раздается сдавленное ржание. Из прихожей появляется _Сергей_ _Кирсанов_, младший сын профессора, ладный, сухощавый, среднего роста молодой человек в мокрой кожаной куртке, в «варенках», на голове огромная меховая шапка. И сразу видно, что он основательно навеселе.

Сергей. О, веселые беседы при свечах! Старшему поколению!.. (*Срывает с головы шапку и отвешивает низкий поклон. Говорит через плечо в прихожую.*) Заходи смело, они, оказывается, не спят. Причем их тут навалом.

Появляется _Артур_ — тоже ладный, тоже сухощавый, но на голову выше ростом. Одет он примерно так же, но на первый взгляд производит

впечатление странное: он негр, и лица его в сумеречном свете почти не видно.

Артур (*отряхивая о колено свою огромную шапку*). Здравствуйте. Извиняюсь за вторжение. Мы почему-то думали, что вы уже спите.

Сергей (*в прежней шутовской манере*). Олег Кузьмич! (*Кланяется.*) Дядя Шура Пинский! (*Кланяется.*) Батюшка! (*Кланяется.*) А это, позвольте вам представить, Артур Петров. Артур Петрович! Мой друг! Вернее, мой боевой соратник. А еще вернее — мой славный подельщик...

Кирсанов (*очень неприветливо*). Так. Иди-ка ты к себе.

Сергей. Незамедлительно! Мы ведь только представиться. Акт вежливости. А где мамуля?

Кирсанов. Она занята.

Сергей (*Артуру*). «А глаза добрые-добрые!..»

Оба ржут — довольно неприлично. Из спальни слева появляется Зоя Сергеевна.

Сергей. О! Мамуля! А мы тут тебя ждем. Закусочки бы, а? Немудрящей какой-нибудь. А то ведь мы усталые, с работы, мороз, транспорт отсутствует, в такси не содют...

Зоя _Сергеевна_. Хорошо, хорошо, пойдемте.

Слегка подталкивая, она вытесняет обоих приятелей в прихожую и выходит за ними.

Кирсанов (*Пинскому, неприязненно*). Вот оно, твое потакание!

Пинский. А в чем, собственно, дело? Парню двадцать лет. Попытайся вспомнить, каким ты сам был в двадцать лет...

Кирсанов. В двадцать лет у меня не было денег на выпивку.

Пинский. А у него есть! Потому что он работает! Ты в двадцать лет был маменькин сынок, а он работяга. И работа у него, между прочим, достаточно поганая. Ты бы в такой цех не пошел, носом бы закрутил...

Кирсанов. Цех! Ты еще мне скажи — промышленный гигант! Кооперативная, понимаешь, забегаловка на три станка...

Пинский. Ну, конечно! Ну, разумеется! Ведь наши дети могут подвизаться только на великих стройках! Все-таки ты, Станислав, иногда бываешь поразительно туп. Воистину, профессор — это всегда профессор...

Базарин. Мне другое не нравится. Что это за манера такая — водить

в дом иностранцев! Нашел время...

Пинский. Э, у них — свое время. А на наше время они поплевывают. И правильно делают...

Кирсанов. Боже мой, какое счастье, что электричества нет! Ведь он, едва только приходит, как сейчас же включает этот свой громоподобный агрегат... эту свою лесопилку!.. Особенно когда поддатый...

И тут же, словно по заказу, взрывается оглушительная музыка. Словно заработала вдруг гигантская циркулярная пила. Впрочем, некая милосердная рука тотчас сводит этот рев почти на нет. Все трое смеются, даже Кирсанов.

Пинский. У него же портативный есть, на батарейках!

Кирсанов (*Базарину*). Да, Кузьмич, оставляем мы тебе команду не в добром порядке.

Базарин. Ты что, собственно, имеешь в виду?

Кирсанов. А то я имею в виду, что меня вот забирают, Шурку забирают, и остается мой оболтус, хочешь ты этого или не хочешь, у тебя на шее.

Базарин. Перестань. Никуда вас особенно не забирают... и потом позволь напомнить тебе, у Сергея же еще Александр остается. Как-никак старший брат...

Кирсанов. Александр... Александра тоже придется тебе тянуть. Если уж на то пошло, то скорее уж Сережка не пропадет — он в этом мире как рыба в воде. А вот Александра тебе придется тащить на себе. И двух его детей. И двух его бывших жен. И третью жену, между прочим. У меня, честно говоря, такое впечатление, что там уже третья намечается...

Пинский. Да, Олег Кузьмич, вы еще сто раз пожалеете, что сами повестки не получили. Представляете? «Словоблуды города Питера!» И — никаких вам хлопот с чужими детьми...

Вбегает _Сергей_.

Сергей. Пардон, пардон и еще раз пардон! Пап, мамуля сказала, что у тебя свечки лишние найдутся. Дай парочку, не пожалей для любимого сына!

Кирсанов (*роясь в бюро*). Обязательно надо перед приходом домой надраться...

Сергей. Да кто надрался-то? Пивка выпили, и все.

Кирсанов. Тысячу раз просил не являться домой в пьяном виде!.. Кто этот негр, откуда взялся? Зачем таскаешь в дом иностранцев?

Сергей. Да какой же он иностранец? Петров, Артур Петрович, наш простой советский человек. Мы с ним под Мурманском служили. Я ведь тебе рассказывал. Он же меня в эту фирму пристроил...

Базарин. А почему он тогда такой черный?

Сергей. А потому, что у него папан — замбийский бизнесмен. Он тут у нас учился. В Лумумбе. А потом, натурально, уехал — удалился под сень струй.

Базарин. Ах вот оно как. То есть он, получается, замбиец...

Сергей. Ну, положим, не замбиец, а га...

Базарин. Что? В каком смысле — га? Не понимаю.

Сергей. Объясняю. Папан у него из племени га. Есть такое племя у них в Замбии. Га. Но на самом деле Артур, конечно, никакой не га, а самый обыкновенный русский.

Базарин (*глубокомысленно*). Ну да, разумеется, поскольку мать у него русская, то вполне можно считать...

Сергей. Мать у него не русская. Мать у него вепска.

Пинский (*страшно заинтересовавшись*). Кто, кто у него мать?

Сергей. Вепска. Ну, карелка!.. Ну я не знаю, как вам еще объяснить. Народ у нас есть такой — вепсы...

Кирсанов. Ладно. Бери свечи и удались с глаз долой.

Сергей. Слушаюсь, ваше превосходительство! Премного благодарны, ваше высокопревосходительство! (*Уходит.*)

Базарин. Ну и поколение мы вырастили, господи ты боже мой!

Пинский. Да уж. С чистотой расы дело у них обстоит из рук вон плохо. По-моему, все они русофобы.

Базарин. Ах да перестаньте вы, Александр Рувимович! Вы же прекрасно понимаете, что я имею в виду. Нельзя жить без идеалов. Нельзя жить без авторитетов. Нельзя жить только для себя. А они живут так, будто кроме них никого на свете нет...

Кирсанов. Жестоки они — вот что меня пугает больше всего. Живодеры какие-то безжалостные... Во всяком случае, так мне иногда кажется... Без морали. Ногой — в голову. Лежачего. Не понимаю...

Пинский. Не понимаешь... Мало ли чего ты не понимаешь. А понимаешь ты, например, почему они при всей своей жестокости так любят детей?

Кирсанов. Не замечал.

Пинский. И напрасно. Они их любят удивительно нежно и... не

знаю, как сказать... бескорыстно, что ли! Любят трогать их, тискать, возиться с ними любят. Радуются, что у них есть дети... Это совершенно естественно, но согласись, что у нашего поколения все это было не так... А то, что ты их не понимаешь... так ведь и они тебя не понимают.

Кирсанов. Не собираюсь я с тобой спорить, я только вот что хочу сказать: я не огорчаюсь, если люди не понимают меня, но мне становится очень неуютно, когда я не понимаю людей. Особенно своих детей.

Пауза.

Пинский (*ни с того ни с сего*). Был бы я помоложе, взял бы сейчас ноги в руки, только бы меня здесь и видели. Вынырнул бы где-нибудь в Салехарде, нанялся бы механиком в гараж, и хрен вам в зубы...

Кирсанов. Ну да — без паспорта, без документов. Всю жизнь скрывайся, как беглый каторжник...

Пинский. Да что ты понимаешь в документах, профессор? Тебе какой документ нужен? Давай пять сотен, завтра принесу.

Пауза.

Кирсанов. Ноги в руки тебе надо было в прошлом году брать. Сидел бы сейчас в Сан-Франциско — и кум королю!

Пинский. Нет уж, извини. Я всегда тебе это говорил и сейчас скажу. Они меня отсюда не выдавят, это моя страна. В самом крайнем случае — наша общая, но уж никак не ихняя. У меня здесь все. Мать моя здесь лежит, Маша моя здесь лежит, отца моего здесь расстреляли, а не в Сан-Франциско... Я, дорогой мой, это кино намерен досмотреть до конца! Другое дело — голову под топор подставлять, конечно, нет охоты. Вот я и говорю: молодость бы мне. Годиков ну хотя бы пятнадцать скинуть... дюжину хотя бы...

Звонит телефон. Все вздрагивают и смотрят на аппарат. Затем Кирсанов торопливо хватает трубку.

Кирсанов. Да!.. Это я... Ну? (*Слушает.*) А что случилось? (*Слушает.*) Ты мне скажи, дети в порядке?.. Ну, спускайся, конечно... (*Вешает трубку.*) Это Санька. У него какой-то нетелефонный разговор. Посреди ночи. (*Замечает, что в дверях стоит Зоя Сергеевна.*) Это Санька звонил, лапонька. С детьми все в порядке, но есть какой-то нетелефонный

разговор. Сейчас он спустится.

Зоя _Сергеевна_. Повестку получил.

Кирсанов (*ошеломленно*). Откуда ты взяла?

Зоя Сергеевна, не отвечая, подходит к столу и протягивает что-то Кирсанову.

Зоя _Сергеевна_. На, прими нитронг.

Кирсанов. Чего это ради? Я нормально себя чувствую. (*Кладет таблетку на язык, запивает из чашки.*) Я совершенно спокоен. И тебе советую.

Входит _Александр_ _Кирсанов_, старший сын. Такой же, как отец, рослый, рыхловатый, русокудрявый, но без бороды и без какого-либо апломба. Живет он на последнем этаже по этой же лестнице. Видимо, только что разбужен — лицо помятое, волосы всклокочены, он в пижаме, в руке его листок бумаги.

Александр. Папа, я ничего не понимаю! Посмотри, что мне принесли. (*Протягивает отцу листок. Базарину и Пинскому.*) Здравствуйте.

Зоя Сергеевна со словами «дай сюда» перехватывает листок и склоняется у свечки. Все молчат. Зоя Сергеевна читает, потом молча возвращает листок мужу, а сама садится у стола и роняет лицо в ладони.

Кирсанов (*плачущим голосом*). Ну что же это за мерзость, в самом деле! «Распутники города Питера...» Ну как вам это нравится?

Базарин. Распутники?!

Кирсанов. «Распутники города Питера! Явиться к восьми утра на стадион «Красная Заря»...»

Александр (*ноет*). Я не понимаю, как я это должен понимать... Я сначала подумал, что это розыгрыш какой-то... Но ведь приходил настоящий посыльный в какой-то черной форме... расписаться потребовал...

Зоя _Сергеевна_ (*не отнимая рук от лица*). Дети проснулись?

Александр. Да нет, они спят. И потом, там у меня... В общем, там есть человек... Папа, ты что, считаешь, что это серьезно?

Пинский. Понимаешь, Саня, мы с папой тоже такие повестки

получили. Во всяком случае, похожие.

Александр. Да? Ну, и что теперь надо делать? Идти туда надо, что ли? За что? Папа, ты бы позвонил кому-нибудь...

Кирсанов. Кому?

Александр. Ну я не знаю, у тебя же полно знакомых высокопоставленных... Объясни им, что у меня двое детей, не могу же я их бросить, в самом деле... Как же это можно? Что у нас сейчас — тридцать седьмой год? Тогда — враги народа, а тут вот распутником объявили ни с того ни с сего... Какой я им распутник? У меня двое детей маленьких! Пап, ну позвони хотя бы ректору! Он же все-таки член бюро горкома...

Пинский. Саня, сядь. Вот выпей чаю. Он остыл, но это ничего, хороший чай, крепкий... Не унижайся. Не унижайся, пожалуйста. И отца не заставляй унижаться. Они ведь только этого и хотят — чтобы мы перед ними на колени встали. Им ведь мало, чтобы мы им просто подчинялись, им еще надо, чтобы мы у них сапоги лизали...

Александр. Так ведь надо что-то делать, дядя Шура... Может быть, это ошибка какая-нибудь вышла... Может, можно как-то договориться. В крайнем случае отсрочку какую-нибудь получить... Ну позвони, пап!

Зоя _Сергеевна_. У тебя там Галина сейчас?

Александр (*расстроенно*). Да.

Зоя _Сергеевна_. Она завтра сможет побыть с детьми?

Александр. Откуда я знаю? Сможет, наверное...

Зоя _Сергеевна_ (*поднимается*). Пойдем со мной, я тебе дубленку отдам.

Александр. Зачем? Какую еще дубленку?

Зоя _Сергеевна_. Твою. На которой я пуговицы перешила. (*Направляется к двери в спальню.*)

Пинский. Не надо ему дубленку. Отберут у него эту дубленку в первый же день.

Александр (*безвольно следуя за матерью*). Да кому она нужна, старая, облезлая... Папа, ты пока позвони... Ну надо же что-то делать... (*Уходит.*)

Кирсанов. Мерзость... Мерзость!!! Ну хорошо, не угодили вам, не потрафили — посадите в тюрьму, к стенке поставьте, но ведь этого вам всегда мало! Надо сначала в лицо наплевать, вымазать калом, в грязи вывалять! Перед всем честным народом — обгадить, опозорить, в парию обратить! «Богач»! «Распутник»! Это Санька-то мой — распутник! Да он же ни с какой бабой в постель лечь не может без штампа в паспорте, для него же половой акт — это таинство, освященное законом, а иначе —

порок, срам, грех! Нет, он, видите ли, распутник... Ну какая же все-таки подлая страна! Ведь силища же огромная, ни с чем не сравнимая, из любого человека может сделать мокрое пятно, из целого народа может сделать мокрое пятно!.. Но почему же обязательно не просто, не прямо, а с каким-нибудь подлым вывертом?..

Базарин. Станислав, прекрати.

Кирсанов. Нет уж, я скажу. Я и тебе скажу, и завтра им все это скажу! Ведь я чего-нибудь вроде этого ждал. Мы все этого ждали. «Товарищ, знай, пройдет она, эпоха безудержной гласности, и Комитет госбезопасности припомнит наши имена!..» Прекрасно знали! Что не может у нас быть все путем, обязательно опять начнут врать, играть мускулами, ставить по стойке «смирно»! Но вот такого! Презрения этого... унижения!.. Я давно пытаюсь представить себе, как должен выглядеть человек, отдельный человек, личность, но обладающий теми же свойствами, что наша страна... Вы только подумайте, какой это должен быть омерзительный тип — чванный, лживый, подлый, порочный... без единого проблеска благородства, без капли милосердия...

Базарин. Перестань сейчас же, я тебе говорю! Как тебе не стыдно? Это уже действительно чистая русофобия!

Пинский. Ах-ах! Ну конечно же — русофобия. Обязательно! Везде же русофобы! Я только теперь понимаю, почему меня в пятидесятом на физфак не приняли! Русофобы! Пронюхали подлецы, что у меня бабушка русская... Стыдитесь, Олег Кузьмич! При чем здесь русофобия? Он же слова дурного про русских не сказал! Зачем же передергивать? И так тошно.

Базарин. Нет уж, голубчики! Это уж вы не извольте передергивать, Александр Рувимович и Станислав Александрович! Я и без вас все прекрасно понимаю! Точно так же, как и вы, я полагаю, что происходящее недостойно, но я-то считаю, что оно недостойно страны. Не страна у нас недостойная, как вы изволите утверждать, а то, что с нами происходит сейчас, — недостойно нашей страны. Это разные вещи, и путать их не надо. Проще простого — свалить в одну кучу и страну, и всех дураков с негодяями, которые в ней водятся... Я понимаю, мы с вами не в равном положении сейчас. Вы — под ударом, а я как бы выхожу чистенький... Но, уверяю вас, если бы эта молния ударила и в меня тоже, я бы закричал, конечно, потому что больно, потому что обидно, понимаю, но я бы заставил себя задуматься: почему? Почему выбрали именно меня? Может быть, все-таки не зря выбрали? Может быть, я жил как-то неправильно?.. Ведь все наши дураки и негодяи, они же к нам не с неба свалились, они же из нас, из

гущи нашей, они глупые, однако нутром своим они всегда выражают именно гущу, ту самую, от которой мы все оторвались, отгородились своими окладами, своей чистенькой работкой, и, когда нам говорят: ну, ты, гад, выйди из строя, на колени! — может быть, не об унижении своем барском думать надо, а о том надо думать, что это наш последний шанс уразуметь, почему мы чужие, и покаяться... Не перед дураками покаяться, которые нас из строя выдернули, а перед строем...

Кирсанов. Да каяться-то в чем? В чем каяться? И перед каким таким строем? Перед общественным, что ли?

Базарин. Я не знаю, в чем ты должен каяться. Это тебе виднее. Я тебе уже говорил, что с определенной точки зрения и ты, и я, и он, мы все — зажравшиеся баре, которые берут много, а отдают мало. Мы привыкли к этому, и нам кажется, что так и должно быть. Мы сами построили себе свой модус вивенди, мы сами построили себе удобную в употреблении мораль... Ты вот защищаешь Саньку, что он у тебя бабник не простой, а законопослушный, но ты пойми, что, с точки зрения тети Моти, он и есть самый настоящий распутник! В тридцать лет — две жены, каждой по ребенку заделал, а теперь пожалуйста — у него еще и какая-то Галина... Ну что это — не распутство?

Пинский. Ну хорошо. Положим, Саньку можно кастрировать, в крайнем случае. А со мной что вы прикажете делать? Тетя Мотя ведь не еврей, а я — еврей, дрянь этакая...

Базарин. Перестаньте, Александр Рувимович! При чем здесь опять евреи? Вы меня знаете, я не антисемит, но эта ваша манера сводить любую проблему к еврейскому вопросу...

Пинский. Ну да, конечно! А как насчет вашей манеры — все сводить к мнению тети Моти?..

Базарин (*проникновенно*). Когда я говорю о тете Моте, я имею в виду мнение большинства. Того самого большинства, к которому все мы склонны относиться с таким омерзительным высокомерием... Я подчеркиваю: я тоже грешен! Но я хотя бы пытаюсь хотя бы иногда встать на эту точку зрения и посмотреть на себя с горы...

Пинский (*с нарочитым еврейским акцентом*). Таки себе хорошенький пейзажик, наверное, открывается с этой вашей горы!

Базарин. Вы, Александр Рувимович, совершенно напрасно все время стараетесь меня вышутить. Остроты отпускать — самое простое дело. И самое пустое! Вы понять попытайтесь. Понять! Не до шуток сейчас, поверьте вы мне...

Пинский. А это уж позвольте мне самому решать. По мне так с

петлей на шее лучше уж шутки шутить, чем каяться... А если уж и каяться, то никак уж не перед вами и не перед загадочной вашей тетей Мотей!

Базарин (*бормочет*). Гордыня, гордыня... Все мимо ушей...

Кирсанов (*вдруг*). Да, гордыня. Это верно. Хватит. (*Подходит к телефону, набирает номер.*) Сенатор? Ох, слава богу, что ты не спишь... Это Слава говорит. Слушай, мы здесь попали в какую-то дурацкую переделку. Представь себе: моему Саньке вдруг приносят повестку... (*Замолкает, слушает.*) Нет... нет-нет... «Распутники города Питера»... (*Слушает.*) Понятно... Понятно... И что ты намерен делать? (*Слушает.*) Нет, Зоя не получила, а я получил... (*Слушает.*) Понятно... Ну, значит, все будет как будет. Прощай. (*Вешает трубку.*) Он уже упаковался. Он у нас отныне «политикан города Питера»!

Освещенное небо за окном гаснет. Город погружается в непроглядную тьму.

КОНЕЦ ПЕРВОГО ДЕЙСТВИЯ

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Два часа спустя. Та же гостиная, озаренная свечами. _Кирсанов_ за столом, придвинув к себе все канделябры, что-то пишет. _Зоя_ _Сергеевна_ пристроилась тут же с какой-то штопкой. Больше в комнате никого нет. Тихо. На самом пределе слышимости звучит фонограмма песен современных популярных певцов.

Зоя _Сергеевна_. Что ты пишешь?

Кирсанов (*раздраженно*). Да опись эту чертову составляю...

Зоя _Сергеевна_. Господи! Зачем?

Кирсанов (*раздраженно*). Откуда я знаю? (*Перестает писать.*) Надо же чем-то заняться... (*Пауза.*) А эти молодцы все развлекаются?

Зоя _Сергеевна_. Надо же чем-то заняться...

Кирсанов. Надрались?

Зоя _Сергеевна_. Нет. Во всяком случае, в меру. Слушают музыку и играют в какую-то игру. На специальной доске.

Кирсанов. В нарды, что ли?

Зоя _Сергеевна_. Нет. Какое-то коротенькое название. То ли японское, то ли китайское...

Кирсанов. В го?

Зоя _Сергеевна_. Да, правильно. В го.

Пауза. В отдалении Гребенщиков стонуще выводит:

Этот поезд в огне — и нам не на что больше жать,
Этот поезд в огне — и нам некуда больше бежать.
Эта земля была нашей, пока мы не увязли в борьбе...

Кирсанов. Вождь из племени га сидит и играет в го.

Зоя _Сергеевна_. Сережка деньги отдал. Двести рублей.

Кирсанов. Что еще за двести рублей?

Зоя _Сергеевна_. Говорит, ты ему давал в долг. В прошлом году.

Кирсанов. Гм... Не помню. Но похвально. (*Пауза.*) Ты ему все рассказала, конечно...

Зоя _Сергеевна_. Конечно.

Кирсанов. Ну и как он отреагировал?

Зоя _Сергеевна_. Сначала заинтересовался, стал расспрашивать, а потом ехидно спросил: «Веревку велено свою приносить, или казенную там на месте дадут?»

Кирсанов. Замечательное все-таки поколение. Отца забирают черт-те знает куда, а он рассказывает по этому случаю анекдот и садится играть в го...

Зоя _Сергеевна_. Он считает, что нам с тобой вообще никуда не следует ходить...

Кирсанов (*раздраженно*). Ну да, конечно! Он хочет, чтобы они пришли сюда, чтобы вломились, заковали в наручники, по морде надавали... (*Некоторое время угрюмо молчит, а потом вдруг с невеселым смешком произносит нарочито дребезжащим старческим голоском.*) «Что, ведьма, понарожала зверья? Санька твой иезуит, а Сережка фармазон, и пропьют они добро мое, промотают!.. Эх, вы-и!»

Зоя _Сергеевна_ (*утешающе*). Я думаю, ничего особенно страшного не будет. Отправят куда-нибудь на поселение, будем работать в школе или в детском доме... Обыкновенная ссылка. Я помню, как мы жили в Карабутаке в сорок девятом году. Была мазанка, печку кизяком топили... Но холодина была зимой ужасная... А вместо сортира — ведро в сенях. Тетя Юля, покойница, она языкастая была... вернется, бывало, из сеней и прочтет с выражением: «Я люблю ходить в ведро, заносить над ним бедро, писать, какать, а потом возвращаться в теплый дом»... Две женщины немолодые, девчонка — и ничего, жили...

Кирсанов (*с нежностью*). Бедная ты моя лапа... (*Слышится стук в наружную дверь.*) Погоди, я открою. Это, наверное, Кузьмич, совесть его заела...

Он выходит в прихожую и возвращается с _Пинским_. Пинского не узнать: он в старом лыжном костюме, туго перетянутом солдатским ремнем, на голове — невообразимый треух, на ногах — огромные бахилы. В руке у него тощий облезлый рюкзак типа «сидор».

Пинский. Я решил лучше у вас посидеть. Одному как-то тоскливо. Кстати, куда мне ключ девать? Сережке отдать, что ли? Я надеюсь, ему повестку еще не прислали?

Кирсанов. Еще не прислали, но могут и прислать. «Разгильдяи города Питера!»...

Пинский. Да нет, вряд ли. Молод еще. Хотя, с другой стороны, тетя Мотя у нас ведь непредсказуема.

Кирсанов. Правильнее говорить не «тетя Мотя», а «Софья Власьевна».

Пинский. А это одно и то же. Софья Власьевна, а кликуха у ей — тетя Мотя.

Кирсанов. Да-а, юморок у нас с тобой, Шурик... предсмертный.

Пинский. Типун тебе на язык, старый дурень! Не дрейфь, прорвемся. В любом случае это ненадолго. Агония! Предсмертные судороги административно-командной системы. Я даю на эти судороги два-три года максимум...

Кирсанов. Знаешь, в наши годы — это срок.

Пинский. Зоя, что это ты делаешь?

Зоя _Сергеевна_. «Молнию» пришиваю.

Пинский. Ну и глупо. Завтра она у него сломается, и что тогда прикажете делать? Пуговицы надо! Самые здоровенные... И никаких «молний», никаких кнопочек... Слушай, пойдем посмотрим, что ты там ему упаковала... Пошли, пошли!

Кирсанов. Тоже мне — старый зек нашелся.

Пинский. Давай, давай, поднимайся... Зек я там или не зек, а на зеков нагляделся — я с ними две стройки коммунизма воздвиг, пока ты в кабинетах задницу наедал!..

Все трое уходят в спальню налево, и некоторое время сцена пуста. Слышен сдавленный голос Виктора Цоя:

Мы хотели пить — не было воды,
Мы хотели света — не было звезды,
Мы шли под дождь и пили воду из луж...
Мы хотели песен — не было слов,
Мы хотели спать — не было снов...

Из прихожей справа появляется _Базарин_.

Базарин. Можно? У вас там опять замок заклинило...

Проходит на середину комнаты, озирается, останавливается у стола и, зябко потирая руки, читает оставленную на столе опись. Потом пожимает плечами, снова озирается, берет телефонную трубку и быстро набирает номер. Некоторое время слушает, потом нервным движением бросает

трубку. Из спальни выходит _Кирсанов_.

Кирсанов. А, это ты... Куда звонишь?

Базарин. Да так... Занято все время... Ну, можешь меня поздравить. «Дармоед города Питера».

Кирсанов (*не поняв*). То есть? (*И тут до него доходит.*) Ну да?! Тоже получил?

Базарин. Пожалуйста, прошу полюбоваться... (*Вынимает из нагрудного кармана и протягивает Кирсанову сложенную повестку.*)

Кирсанов (*кричит*). Шурка! Зоя! Идите сюда! Кузьмич повестку получил!

Первым выскакивает _Пинский_, за ним появляется _Зоя_ _Сергеевна_ с теплыми кальсонами в руках.

Пинский. Что такое? Что случилось? Епиходов кий сломал?

Кирсанов. Нашего полку прибыло. (*Читает с выражением.*) «Дармоеды города Питера! Все дармоеды города Питера и окрестностей должны явиться сегодня, двенадцатого января, к восьми часам утра на площадь перед городским крематорием...» Ого! Ничего себе, выбрали местечко!

Пинский. Какие все-таки подонки!

Кирсанов (*продолжает читать*). «...иметь при себе документы, в том числе: аттестат, диплом и удостоверения об окончании специализированных курсов, а также необходимые письменные принадлежности...» Заметьте, ни о деньгах, ни о драгоценностях — ни слова. «Дармоеды, не подчинившиеся данному распоряжению, будут мобилизованы приводом. Председатель-комендант...» Ну и так далее. Что ж, все как у людей.

Пинский (*глубокомысленно*). Это они, видимо, придурков набирают.

Кирсанов (*с укоризной*). Шура!

Пинский. Ничего не Шура! Ты не понимаешь! Придурок в лагере — фигура почетная, дай нам бог всем стать придурками... Олег Кузьмич, а кто вам эту штуку доставил? Все тот же самый?

Базарин. Представьте себе, нет. Такой маленький, толстенький, немолодой уже... В очках, очень вежливый. Но ничего, конечно, толком не объяснил, потому что и сам не знает.

Пинский. Ясно. Ну что ж, Олег Кузьмич, надо вам собираться... Позвольте несколько советов. Берите вещи теплые, поношенные, прочные,

но самые неказистые. Никакого новья, никакой «фирмы», вообще лучше никакого импорта... Сало есть у вас дома? Возьмите сала.

Базарин. Да откуда у меня сало?

Пинский. А что — вы не любите сало? Вот странно! Глядя на вас, никогда бы не подумал...

Базарин. Я, если хотите знать, вообще свинины не люблю и не ем.

Кирсанов (*мрачно усмехаясь*). «Для чего же ты не ешь свинины? Только турки да жиды не едят свинины...»

Зоя _Сергеевна_ (*из спальни*). Слава, иди сюда!

Кирсанов. Иду! (*Уходит.*)

Пинский. Прошу прощения, Олег Кузьмич, я тоже вас покину, а то они там без меня наворотят... Этот обалдуй электробритву хотел с собой взять, еле-еле я успел перехватить. (*Уходит.*)

Базарин сейчас же подходит к телефону и снова набирает номер. Видимо, снова занято.

Базарин. Ч-черт...

Вешает трубку, принимается нервно ходить взад-вперед, лихорадочно моя руки воздухом. Слышно, как в отдалении играет музыка и Юрий Шевчук хрипло кричит: «Предчувствие-е-е... гражданской войны!..» Базарин останавливается около телефона, кладет руку на трубку и снова настороженно озирается. Потом снимает трубку и набирает номер.

Базарин. Алло. Семьсот два дайте, пожалуйста... Николай Степанович? Ах, это Сергей Сергеевич... Пардон, не узнал вас... Да, богатым будете... Вы знаете, Сергей Сергеевич, мне тут не совсем удобно разговаривать, поэтому разрешите, я коротко. Понимаете, я получил довольно странную повестку. Я бы даже сказал, оскорбительную. И дело не в том, что я напуган, как здесь некоторые, мне бояться нечего, но я не желаю принимать этот тон, все эти выражения, это оскорбительно... мне кажется, я этого не заслужил. Во-первых, я не понимаю, кто, собственно, проводит это мероприятие... что это за организация такая — «Социальная Ассенизация»? И что это за должность такая — «председатель-комендант»? Это же несерьезно, это же оперетта какая-то! Такое впечатление, будто это мероприятие имеет только одну цель — оскорбить человека... Что?.. Представьте себе: в крематорий! Это же просто издевательство какое-то... Что?

Входит _Александр_, волоча за лямку потрепанный рюкзак. Базарин смотрит на него, но в то же время как бы и не видит — все внимание его приковано к разговору.

Базарин. Это я понимаю... Это я п... Да, все это правильно, но я всегда полагал, что есть граждане, само положение которых... Что?.. Ах, вы так ставите вопрос... Ну, тогда конечно... хотя я со своей стороны... Да, разумеется... Хотя я со своей стороны... Что? Слушаюсь. Понял. Хорошо. (*С расстроенным видом кладет трубку.*) Канцелярия чертова, аппаратчики...

Александр (*жадно*). А что они вам сказали?

Базарин. Что они мне сказали? Хе! Что они мне могли сказать? (*Словно очнувшись.*) Кто это — «они»? Ты про кого спрашиваешь?

Александр. Ну эти... с которыми вы разговаривали. Я понял, это какое-то большое начальство...

Базарин (*неприязненно*). Начальство, мочальство... Ты, собственно, чего сюда приперся? Рано еще.

Александр. Не знаю. У меня там все спят. А я заснуть никак не могу... Так что они вам сказали?

Базарин (*язвительно*). Они мне сказали, что мероприятие находится под контролем. Под полным контролем! Так что, голубчик мой, можешь собирать свои вещички и отправляться в свой крематорий.

Александр (*тупо*). Мне не в крематорий назначено, мне на стадион «Красная Заря»... А может быть, вы еще кому-нибудь позвоните, Олег Кузьмич?

Базарин. Все. Больше некому.

Александр (*нещадно хрустя суставами пальцев*). Я все-таки никак не могу понять, что же это такое с нами происходит? Куда нас, в конце концов, забирают? Это что — мобилизация какая-то? Или, наоборот, наказание? Или еще чего-то? Что мы там — каналы будем копать? Или это переподготовка какая-нибудь? Или перевоспитание очередное? А может быть, и вообще тюрьма? Только если это тюрьма, то абсолютно непонятно — за что? У нас же сейчас не тридцать седьмой год! Даровая рабсила понадобилась? Опять же не те времена: мы же съедим больше, чем настроим. Сколько раз уже сказано было и доказано было, что рабский труд нерентабелен... И вообще, как это можно — всех под одну гребенку? А если у меня бронхиальная астма? Я хоть завтра достану справку, что у меня бронхиальная астма... Я вообще не понимаю, кому это все понадобилось?

Зачем? Это же просто экономически не выгодно! И без того вся экономика по швам трещит, а они тут разыгрывают такие мероприятия... Я, между прочим, системный программист, какой же смысл меня на лопату ставить, на киркомотыгу какую-нибудь?

Базарин (*проникновенно*). Я другого не могу понять. Я самого принципа понять не могу! Ну хорошо: евреи. Это я понимаю. Это еще можно как-то понять...

Александр. А что они? Вы знаете что-нибудь?

Базарин. Подожди, не отвлекайся... Я могу понять экспроприацию. В конце концов, финансовое положение действительно требует чрезвычайных мер. Но не таких же! Пусть будет реформа, сколь угодно жесткая... Пусть будет налоговая система, самая беспощадная... И даже не в этом дело! В конце концов, есть же люди, которые, так сказать, являются опорой! Так сказать, костяком! Нельзя же опору подрубать! Я понимаю, что настала пора радикального лечения организма. Я, кстати, давно уже это утверждаю... и призываю... Однако это уже получается не лечение, это уже какой-то мрачный анекдот! Усекновение головы — лучшее средство от мигреней...

Александр (*вставляет*). Главное, непонятно, чего они этим хотят добиться...

Базарин (*отмахивается от него*). Чего они хотят добиться — это как раз понятно. Контроль утрачен над обществом, неужели ты не видишь? Страна захлебывается в собственных выделениях... Крутые меры необходимы! Ассенизация необходима! Вот оно — откуда у них это слово! Слишком далеко мы зашли — понимаешь, в чем дело? Теперь легко не отделаемся, и поделом нам всем — по вору и мука!

Александр. Ну да... А я-то здесь при чем? Тоже мне — нашли вора... Сами напахали невесть чего, а я должен за это расплачиваться?

Базарин. Конечно, должен! Тебе, Саня, между прочим, уже тридцать годиков миновало, не маленький! Не только мы пахали, но и вы пахали!

Александр. А дети мои при чем?

Базарин. Это несерьезный разговор. Чего ты от меня хочешь? Таковы законы истории. Когда приходит время расплачиваться, расплачиваются все — и виновные, и ни в чем не повинные. Это тебе не ресторан, не жди, никто не скажет: «Счет — мне, пожалуйста».

Из спальни, слева, выходят _Пинский_, _Зоя_ _Сергеевна_ и _Кирсанов_.

Пинский (*втолковывает*). ...а самое правильное — взять сейчас твой «Жигуль» и дернуть куда-нибудь подальше...

Кирсанов. Ну что ты за глупости опять порешь! Ну поймают же, мерзко, за ухо приволокут, как поганых щенков...

Пинский (*орет*). Да кто тебя будет ловить? Кому ты нужен? Отсидишься у себя в Псковской — и вася-кот!

Кирсанов (*орет*). Сам ты дурак! Я же тебе объясняю: колес нет, ни одной целой покрышки нет, ни одной!

Пинский. У тебя никогда ничего нет, когда нужно.

Кирсанов. Да! У меня никогда ничего нет! И отстань от меня! Я на старости лет зайца из себя изображать не намерен! Ты второй раз разговор на эту тему заводишь, и я тебе окончательно говорю: не желаю слушать!

Пинский (*с отчаянием*). Господи ты боже мой, ну кто мог подумать, что все это будет так мерзко, так срамно, унизительно, позорно... Беспомощные дряхлые старикашки, ведь это мы итоги с вами подбиваем! Срамная жизнь, срамное подыхание!

Кирсанов (*топает в бешенстве ногами*). Прекрати! Не желаю этого слушать! Не позволю! Откуда ты знаешь? Мы еще посмотрим! Вот соберется нас пятьдесят тысяч на площади, мы еще посмотрим, что из этого получится! Это тебе не прежние времена! Рабов больше нету! Я на этой площади уже один раз выступал, я и второй раз выступить могу! Они еще пожалеют, что согнали нас всех в одно место!..

Голос у него срывается, и он принимается надрывно кашлять. Зоя Сергеевна торопливо подсовывает ему чашку остывшего чая, а он отстраняет эту чашку и все тщится провозгласить еще что-то, но только отчаянно сипит и больше ничего не может.

Пинский (*перепугавшись*). Да ладно тебе, ну хорошо, хорошо, успокойся только, ради бога... (*Дергает Кирсанова за мочку уха и похлопывает его ладонью между лопаток, издавая губами поцелуйные звуки.*) Черт знает что они с нами делают...

Зоя _Сергеевна_ (*сердито*). А ты бы, между прочим, язык свой мог бы поменьше распускать...

Пинский. Ну, хорошо, ну, виноват, не буду больше... (*Базарину.*) Ну, как вы тут, Олег Кузьмич? Что это вы там про рестораны рассуждали?

Базарин (*с изумлением*). Я? Про рестораны?

Пинский (*поспешно*). Наверное, мне послышалось. Виноват... (*Александру.*) Что, Саня, собрался уже? Это хорошо. Молодец.

(*Решительно.*) Знаешь что? Пойдешь со мной.

Александр. У меня же «Красная Заря»...

Пинский. А наплевать на «Красную Зарю». Давай мне твою повестку, сейчас я там все переправлю и напишу «исправленному верить»... (*Спохватывается.*) Нет, это я чепуху говорю. С жидами тебе лучше не связываться. От жидов, голуба моя, держись сегодня подальше. А вот если с отцом тебя наладить — это хорошая идея! Ты как считаешь, Станислав Александрович?

Александр (*тупо повторяет*). У меня же «Красная Заря», дядя Шура. «Красная Заря»...

Пинский (*нетерпеливо*). Господи, да неважно это. Кому какое дело? Давай повестку, я тебе сейчас же все переправлю...

Александр (*отступая на шаг*). Ну нет, не надо... Еще хуже будет. Зачем это мне?.. Вот если бы папа со мной пошел...

Пинский (*некоторое время смотрит на него ошеломленно, затем кривится в усмешке*). Да, это замечательная идея. Там, в твоей компании, папа будет как раз на месте — самый старый распутник города Питера.

Кирсанов (*севшим голосом*). Я требую, чтобы здесь перестали нагнетать ужасы! Неужели непонятно, что сейчас не те времена? Настоящий террор невозможен — я утверждаю это с полной ответственностью. Все это — очередная глупость нашего начальства, и ничего больше. Сегодня же вечером все мы будем дома. (*Жадно пьет остывший чай из стакана.*) А если и не будем, то все равно не пропадем...

Голос _из_ _прихожей_. Хозяева! Есть тут кто?

В дверях появляется _Егорыч_, местный сантехник, неопределенных лет мужчина, кургузый, в кургузом пиджачке и изжеванных брюках. В руке у него мотается зажженная свечечка, на ногах он держится нетвердо.

Егорыч. Я извиняюсь, я звоню, звоню, никто не выходит, а дверь открытая... С-нислав С-саныч, я извиняюсь, конечно, я тебя спросить х-чу... Х-глупость какая-то. Прихожу домой, супруга моя не спит, говорит: повестку т-бе принесли, доигрался. Фамилие мое, адрес мой. Явиться на Вторую сортировочную. Ладно. Все понятно. Одно непонятно: какие-то удивительные слова попадаются... какой-то мздоним... нзаданим... Посмотри, пожалуйста. Может, это вообще не ко мне?

Пинский (*берет у него повестку*). Какой еще там бздоним... Гм... Действительно, какое-то странное слово. И еще вдобавок от руки накорябано... А-а-а! (*Хохочет.*) Ну, так все правильно, Егорыч! «Мздоимцы

города Питера»!

Егорыч. Какие?

Пинский. Мздоимцы! Которые мзду имут, понимаешь?

Егорыч. Ну?

Пинский. Ну вот и явишься. Куда там тебе? Вторая сортировочная?

Базарин. Перестаньте издеваться над человеком, Александр Рувимович! (*Раздраженно выхватывает повестку из руки Пинского.*) Дайте сюда... (*Читает про себя.*) Черт знает что...

Пинский. Вот именно, Олег Кузьмич! Только не черт знает что, а правильнее сказать: мать их так. Как видите, и до тети Моти добрались.

Егорыч. Я извиняюсь...

Пинский (*обнимая его за плечи*). Не надо, Егорыч, не извиняйся. Иди ты к себе домой и собирай манатки. Теплое бери и курева дня на три... А драгоценности, которые ты стяжал, оставь на столе. Да опись не забудь приложить... в трех экземплярах.

Егорыч (*бубнит*). Я, Александр Рувимыч, все понимаю. Я ведь насчет слова пришел... Слово какое-то непонятное. И супруга моя не знает...

Егорыч и Пинский удаляются в прихожую.

Базарин (*ни с того ни с сего*). Сантехник — это еще не народ.

Кирсанов (*сморщившись*). Я только умоляю тебя, Олег. Не надо никаких высокопарностей. Народ, не народ... Одна половина народа погонит другую половину народа рыть канал. Так у нас всегда было, так у нас и будет. Вот и все твое политпросвещение.

Базарин. Ты, кажется, призывал не паниковать.

Кирсанов. А я и не паникую. Я высокопарностей не люблю. Ты еще нам про родниковые ключи истоков расскажи... или про почву исконную, коренную... (*Обрывает себя и обращается к Александру.*) Александр, тебе денег дать?

Александр (*уныло*). Мне уже мама дала.

Кирсанов (*роется в бюро*). Хорошо, хорошо... Не помешает. Вот тебе еще сотня. Сунь ее куда-нибудь... в носок, что ли...

Пинский (*вернувшись*). Подожди, подожди... Ты что ему — одной бумажкой даешь? Совсем сдурел на старости лет! Мелкими давай! Мелкими! Есть у тебя?

Кирсанов. Есть тут что-то... Мало.

Пинский. Ничего, ничего, зато целее будут... (*Александру.*) Возьми.

Рассуй по разным карманам.

Александр (*уныло*). Спасибо... Папа, так ты, может быть, действительно со мной пошел бы?

Кирсанов. Нет. Ты пойдешь со мной. И не спорь. И перестань ныть! Дай твою повестку... (*Берет у сына повестку и рвет ее на клочки.*)

Александр (*ужасным голосом*). Что ты наделал?!

Кирсанов. Все! Ты свою повестку потерял! И не ныть! Взрослый мужик, стыдись!

Зоя _Сергеевна_ (*Александру*). Хорошо, хорошо, правильно. За отцом присмотришь. И вообще вдвоем вам будет легче...

Александр (*ноет*). Ну а если спросят? Что я им скажу тогда? Что?

Пинский. Скажешь, что подтерся по ошибке... (*Взрывается.*) Да кто там тебя спросит, обалдуй с Покровки? Кому ты там нужен? Паспорт отберут, и весь разговор... Слушайте, панове, а может, паспорт не брать с собой? Ну потерял я паспорт, начальник! Еще в прошлом годе потерял! По пьяному делу! А?..

Базарин (*неприязненно*). По-моему, это противозаконно. Обман властей.

Пинский. Ах-ах-ах! Власти обманул, гадкий мальчик! Власть к нему со всей душой, а он, пакостник, взял ее — и обманул! Дед плачет, бабка плачет...

Кирсанов. Да нет, не в этом же дело, Шура. Противно же это, мелко... Лганье какое-то семикопеечное... У тебя получается, что если власть у нас подоночная, так и мы все должны стать подонками...

Пинский. Ну нет так нет, я же не настаиваю. Я только хотел бы подчеркнуть, что чистенький, подлинненький паспортишко где-нибудь в хорошеньком загашнике — это вещь архиполезная, государи мои!..

Из прихожей, из коридора, ведущего в комнату Сергея, доносятся топот и шарканье, слышится голос Артура: «Ничего, ничего, пошли, не упирайся...» И вот _Артур_ появляется в гостиной, таща за собой за руку вяло сопротивляющегося _Сергея_.

Артур. Вот, я его вам привел. (*Сергею.*) Говори, закаканец! Ведь тебе же хочется это сказать. Ну! Говори!

Сергей (*смущенно и сердито*). Отстань, африканец, отпусти руку! Не делай из меня попугая.

Артур (*отпускает его*). Я тебя прошу: скажи. Думай что хочется; делай что хочется; и говори что хочется!..

Кирсанов. Сергей, что ты еще натворил?

Сергей (*моментально окрысившись*). Да ничего я не натворил! Сразу — натворил! (*Артуру.*) Говорил же я тебе, сундук кучерявый...

Артур. Станислав Александрович, я вас очень прошу: ну помолчите вы несколько минут! Почему вы никогда не чувствуете, когда надо помолчать? Вам надо помолчать, а вы все норовите поскорее принять меры, даже и не попытавшись узнать, в чем дело... (*Сергею.*) Будешь говорить? Нет? Тогда я скажу. Понимаете, он испытал жалость. Мы там сидели как люди, ловили кайф, и было все нормально, и вдруг он сказал: мы вот сидим здесь с тобой, а они там — одни, и помирают со страху, и у них ведь теперь ничего не осталось... Я удивился, а он сказал: у них на старости лет осталась одна погремушка — ихняя демократия и гласность, а теперь вот у них и это отбирают. Потрясли перед носом и тут же отобрали. Насовсем. Он сказал: мне их жалко, мне до того их жалко, что даже плакать хочется. И я увидел, что он плачет...

Сергей. Не было этого! Хватит ерундить-то!

Артур. Было это, Серый, было! Ты уже этому не веришь, я и сам-то не верю, хотя ведь и пяти минут не прошло, да только — было! И я тогда вдруг понял: это минута добра. Бывает момент истины, знаете? — а это была минута добра. И я опять удивился: как же так? Откуда же оно взялось, это добро? Да еще целая минута! Через какую щель оно проползло? И кто его сюда пропустил? И вообще, при чем тут я? И я сказал ему: не бери в голову, Серый! Они получили только то, что сами хотели получить, — ни рюмкой больше, ни рюмкой меньше. А он мне сказал: ну и что же? Тем более они несчастны, и еще больше их от этого жалко... Я снова попытался объяснить ему, что вы уже сделали свой выбор... неважно — почему, неважно — как... но сделали! И тогда он сказал... Он согласился со мной и сказал: да, сделали, но, боже мой, до чего же это жалкий выбор! И тут жалость охватила и меня тоже. Я схватился было за бутылку, но сразу же понял: нельзя. Я подумал: вы тоже должны узнать об этом... Теперь-то я вижу, что сделал глупость, никому из вас этого не надо, но — все равно. Это была минута добра. Очень большая редкость в нашей жизни.

Воцаряется неловкое молчание. И вдруг Зоя Сергеевна подходит к Артуру и целует его, а затем целует Сергея.

Сергей. Ну... что ты, мама? Ну что ты? Ничего! Все будет нормально.

Базарин (*сварливо*). Минуточку, минуточку...

Пинский. Олег Кузьмич, помолчите, ради бога.

Базарин. Нет уж, пардон! Я благодарен молодому поколению за те добрые чувства, которые вызывал у него целую минуту...

Кирсанов. Боже мой, какая зануда!.. Кузьмич!

Базарин. Нет уж, позволь. Молодые люди мягко упрекают нас в том, что мы сделали не тот выбор. Оч-чень хотелось бы знать, какой выбор сделали бы молодые люди, если бы им принесли аналогичные повестки? «Нигилисты города Питера»!

Сергей. Но ведь не принесли же!

Базарин. Но ведь могли принести? И может быть, еще принесут!

Сергей. А вот не могли! И не принесут! Вы этого не понимаете. Приносят тем, кто сделал выбор раньше, — ему еще повестку не принесли, а он уже сделал выбор! Вот маме повестку не принесли. Почему? Потому что плевала она на них. Потому что, когда они вербовали ее в органы в пятьдесят пятом, она сказала им: нет! Знаете, что она им ответила? Глядя в глаза! «Я люблю ходить в ведро, заносить над ним бедро...» И вся вербовка! И когда в партию ее загоняли в шестьдесят восьмом, она снова сказала им: нет! «Да почему же нет, Зоя Сергеевна? Что же, в конце концов, для вас дороже — Родина или семья?» А она им, ни секунды не размышляя: «Да конечно же семья». И все. А вот вы, Олег Кузьмич, в партию рвались, как в винный магазин, извините за выражение...

Кирсанов (*грозно*). Сергей!

Сергей. Папа, я же извинился. И я вообще ничего плохого сказать не хочу. Ни про кого. Я только одно вам объясняю: выбор свой люди делают ДО повестки, а не ПОСЛЕ.

Кирсанов. Это я, спасибо, понял. Откуда только ты все это про нас знаешь, вот чего я не понял.

Сергей. Знаю. Мы вообще много про вас знаем. Может быть, даже все. Мы же всю жизнь ходим возле вас, слышим вас, наблюдаем вас, хватаем ваши подзатыльники и поэтому знаем все. Про ваши ссоры, про ваши тайны, про ваши болезни...

Артур. Про ваши развлечения...

Сергей. Про ваши неудачи, про ваши глупости...

Артур. Про ваши аборты...

Сергей. Мы только стараемся все это не брать в голову, не запоминать, но оно само собой запоминается, лучше любого школьного урока, хоть сейчас вызывай к доске...

Пинский (*вкрадчиво*). Я так понимаю, что минута добра благополучно истекла...

Сергей. Дядя Шура, я ведь извинился... Артур, пойдем отсюда. Я же говорил тебе, что все кончится скандалом...

Кирсанов. Да сиди уж ты... жалостливый. Не будет тебе никакого скандала. Не до скандалов нам сейчас.

Базарин (*отдуваясь*). Да уж какие тут могут быть скандалы... Я только хотел напомнить молодым людям, что прийти за ними могут и без всяких повесток.

Пинский. Представляете, открывается вот эта дверь, и входят трое в штатском...

Артур (*мотает головой*). Нет. Не входят.

Пинский. Почему же это?

Вместо ответа Артур молниеносным движением выхватывает из-за спины большой никелированный револьвер и становится в классическую позу: широко расставленные, согнутые в коленях ноги, обе руки, сжимающие револьвер, вытянуты вперед и направлены в зрительный зал. «Пух, пух, пух», — произносит он, поворачиваясь корпусом слева направо и посылая воображаемые пули веером. Потом тем же неуловимым движением забрасывает револьвер за спину и выпрямляется.

Артур. Вот почему. Зачем, спрашивается, им с нами связываться? Мы опасны. С нас гораздо спокойнее снять деньгами.

Базарин (*ошеломленно*). Позвольте, откуда у вас оружие?

Артур (*широко улыбаясь*). Из республики Замбия. Папа прислал.

Пинский (*настороженно*). Настоящий?

Артур. Нет, конечно. Пугач.

Пинский (*многозначительно*). Гм... Ну естественно... Рэкетиров отпугивать... Да и вообще...

Сергей (*с чувством*). Дядя Шура Пинский! Я вас люблю.

Пинский. Да. Я тебя тоже люблю. Лоботряс.

Сергей. Я вас всех люблю. Я даже Саньку нашего, полупротухшего, тоже люблю. Не ходите вы никуда утром. Повестки эти свои порвите, телефон выключите, дверь заприте... Мы с Артуром сейчас вам замок, наконец, починим. И ложитесь все спать. Не поддавайтесь вы, не давайте вы себя сломать!

Кирсанов (*горько*). Ах, какие вы у нас смелые, какие несломленные! И ничего-то вы не понимаете! Ведь это сейчас они не нас ломают, нас они сломали давным-давно, еще поколение назад. Сейчас они вас ломают! Это ведь они не нам повестки прислали — они вам повестки прислали, чтобы

вы на всю жизнь запомнили, кто в этом мире хозяин...

Он замолкает. Слышны тяжелые удары в дверь.

Сергей. Спокуха! Говорить буду я. Артур, встань тут, в тенечек.

В дверях возникает знакомая фигура — давешний рослый _человек_ в блестящем мокром плаще.

Черный _Человек_ (*зычно*). Гражданин Кирсанов?

Кирсанов поднимается, издает горлом сдавленный жалкий писк.

Черный _Человек_. Станислав Александрович?
Кирсанов (*справившись наконец с голосом*). В чем дело?! Кажется, наше время еще не вышло!

И тут Сергей подхватывает Черного Человека под локоток и ловко выводит его на авансцену.

Сергей. Старик. Давай по-доброму. Что мы, не люди? Давай спокойненько договоримся...
Черный _Человек_ (*обычным голосом*). Чего договоримся? Насчет чего?
Сергей. Спокуха! Все будет нормалек. Ты нас не видел, мы тебя не видели. Дверь заперта, хозяев нет, уехали... Два стольника. И все тихо.
Черный _Человек_. А... Нет, не получится.
Сергей. Ну почему не получится? Тихо, мирно, по-доброму... Ну три стольника — пойдет?
Черный _Человек_. Нет. Не хочу. Брось.
Сергей. Три стольника за минуту молчания. Соображаешь, нет?
Черный _Человек_ (*пытаясь высвободиться*). Пусти. Я же тебе сказал: нет!
Сергей (*уже другим голосом — злым и напряженным*). Четыре!
Черный _Человек_. Нет.
Сергей. Четыре стольника, козел!
Черный _Человек_. Пусти! Я же тебе сказал — нет!

Сергей отпускает его, отшатывается и, как бы падая, вдруг выбрасывает ногу, сделавшуюся невероятно длинной и прямой. Тяжелый

ботинок попадает Черному Человеку прямо в голову. Кейс вылетает у него из-под мышки и кувырком катится по полу, извергая кипы белых листков. Черный Человек с трудом удерживает равновесие, фонарь вдруг вспыхивает у него во лбу, и он становится похож на неуклюжего испорченного робота. И тут из тьмы вылетает Артур, и они вдвоем с Сергеем, издавая устрашающие кошачьи вопли, складываясь и раздвигаясь, как огромные циркули, принимаются избивать Черного Человека ногами. Это длится всего несколько секунд. Слышны только кошачьи вопли и екающие плотные удары. Потом Зоя Сергеевна кричит страшно, отчаянно, как будто бьют ее самое.

Зоя _Сергеевна_. Перестаньте! Прекратите! Не смейте!

Черный Человек мокрой блестящей кучей валяется на полу среди разбросанных листков, Артур и Сергей нависают над ним, еще напружиненные, еще готовые бить и убивать, — Зоя Сергеевна подбегает к ним и хлещет по физиономии — сначала одного, затем другого.

Зоя _Сергеевна_. Звери! Зверье! (*Падает на колени возле избитого, кричит.*) Свет! Свет мне дайте!

И в тот же миг вспыхивает электрический свет. Все остолбенело стоят, ошеломленные, подслеповато моргающие. Пол сплошь усеян белыми листочками, высыпавшимися из распахнувшегося кейса.

Зоя _Сергеевна_. Сергей! Неси аптечку из ванной! Саня! Воду мне сюда холодную! Таз!..

Она поднимает избитому голову, кладет к себе на колени.

Черный _Человек_ (*жалобно и хрипло бормочет сквозь стоны*). За что? Ну за что? Что я тебе сделал? За что?..

Базарин опускается на корточки и принимается торопливо собирать рассыпанные листки, складывает их в пачку, старательно подравнивает дрожащими пальцами, потом читает один листок, садится на пятки, читает другой...

Базарин. Слушайте! Они же все отменили! (*Падает на четвереньки, ползает, ища что-то, наконец находит и садится задом на пол. Читает*

срывающимся голосом.) «Базарину... Олегу Кузьмичу... Во изменение нашего предыдущего распоряжения... предписание вам прибыть... отменяется...» Отменяется! «Впредь до специального распоряжения. Председатель-комендант...» (*Трясет перед собой пачкой мятых листков.*) Всем отменяется! Станислав! Александр Рувимович! И вам тоже отменяется!..

Черный _Человек_ (*стонет*). За что? Ой, больно... Осторожнее!..

Базарин (*поднявшись на ноги и потрясая листками*). Ведь я же говорил! Невозможно это! Я же сразу вам сказал! Невозможно это! Невозможно это! Невозможно!..

Начинает звонить телефон, и звонит долго, но все стоят в полном остолбенении, и никто не берет трубку.

КИНОСЦЕНАРИИ

ДЕНЬ ЗАТМЕНИЯ

Жара.

Раскаленный воздух дрожит над выгоревшим пористым шифером крыш, над размягчившимся асфальтом прямых пустынных улиц. В жарком мареве колышутся бледно-желтые стены сейсмостойких домов, редкие колючие деревья, заросли телеантенн над домами. Улицы пусты, город словно бы заброшен.

Вот на панель выбежал из пыльного палисадника еж, большой, ушастый. Повел носом, поджался и кинулся прочь, оставляя на асфальте цепочку вдавленных птичьих следов.

И тихо. Только подвывают — почти мелодично — торчащие из окон мелкоребристые ящики кондиционеров, истекающие струйками водяного конденсата.

Жара.

Дмитрий Алексеевич Малянов, полнеющий мужчина лет тридцати с небольшим, сидел в одних трусах за столом и довольно бойко перепечатывал на машинке свою статью. В комнате стоял желтоватый от задернутых штор сумрак, было жарко, душно и накурено. Волосатый торс Малянова и небритая его физиономия были покрыты крупными каплями пота. На столе дымилась последним окурком набитая до отказа пепельница, горой лежали справочники, свернутые в трубочку чертежи и графики, папки с бумагами, картотечные ящики.

Впрочем, Малянов чувствовал себя отлично. Он тарахтел клавишами, вслух зачитывал избранные абзацы, время от времени затягивался окурком и что-нибудь поправлял в рукописи. Он работал и был доволен своей работой. Жары и духоты он не замечал.

— Из уравнения четырнадцать, — диктовал он сам себе, — и системы неравенств легко видеть... легко видеть...

Очевидно, видеть было не легко, потому что Малянов прекратил печатать текст, взял листок черновика и глубоко над ним задумался.

Грянул телефон.

— Легко видеть! — сказал Малянов телефонному аппарату.

Телефон гремел. Малянов взял трубку.

— Это база? — осведомился квакающий телефонный голос.

Малянов высоко задрал брови и вытянул толстые губы дудкой.

— А вам какую именно? — вкрадчиво поинтересовался он. — У нас здесь, знаете ли, военно-воздушная. Интересует?

— Чего? — квакнул голос недоуменно. — Это ты, что ли, Печкин?

— Какой я Печкин? Я Спичкин! — провозгласил Малянов и повесил трубку. — Легко видеть... — снова пробормотал он, глядя в листок.

Телефон зазвонил опять.

— Спасу нет от вас, — сказал Малянов аппарату, вылез из-за стола и, подсмыкнув трусы, прошел на кухню. Там он опустился на корточки перед холодильником и отворил дверцу. В холодильнике было пусто, если не считать мятой алюминиевой кастрюли да крошечного кусочка сала, устроившегося на зимовку в морозильнике среди сугробов инея.

Телефон все звонил.

Малянов захлопнул дверцу холодильника и все тем же манером вернулся к письменному столу. Действовал он совершенно механически — глаза его были обращены вовнутрь, губы шевелились.

Он взял трубку.

— Да?

— Это комиссионный? — спросил другой голос, скорее даже приятный.

— Да, это комиссионный, — проговорил Малянов без всякого выражения.

— Скажите, пожалуйста, моя вещь продана?

— Да, ваша вещь продана.

— Можно получить деньги?

— Можно. Можно получить.

— Огромное спасибо! Сейчас приеду!

— Приезжайте-приезжайте... — пробормотал Малянов, кладя трубку. Он покопался в хаосе на столе, развернул черновой график на миллиметровке и погрузился в него.

— Ничего себе — легко видеть! — произнес он с горечью.

Снова зазвонил телефон.

— Пошел к черту! — сказал ему Малянов. — К дьяволу тебя. К свиньям. К собачьим. К свинячьим... — Мысли его были далеко.

Телефон замолк ненадолго, потом зазвонил опять. Малянов снял трубку.

— Алло.

— Димка? Это Захаров говорит. Ну как ты там? Нетленку лепишь?

— Нетленку, нетленку... Чего тебе надобно, Захаров?

— А что так неприветливо?

— Слушай, отец. Я специально отпуск взял. За свой счет. Чтобы поработать как следует. В приятном далеке. Так ведь нет же!..

— Ну извини. Я хотел узнать, ключ от восемнадцатой не у тебя?

— Нет, не у меня. На доске ищи, в проходной.

— Я искал, там нет...

Брови Малянова пошли вверх, губы вытянулись дудкой.

— Так ты что же, отец, хочешь, чтобы я работу свою бросил, вернулся из отпуска, и все для того, чтобы найти тебе ключ?

— Ну ладно, ладно! Ну извини. Тут, понимаешь, слух пронесся, что тебе предложили филиал и ты нас покидаешь.

— Не верь.

— А я и не поверил.

— Но, однако же, решил проверить...

— Так если вся контора гудит! Малянова академик вызывал, Малянову филиал дают, Малянов уходит...

— Все правильно, Захарыч, но я отказался.

— Ну и дурак.

— Тебя не спросили... — сказал Малянов и повесил трубку.

Он стоял в ванной и ждал. Смеситель трясся, грозно рычал, хрипел, плевался брызгами. В ванне воды не было и наполовину. Водопровод в последний раз заворчал на весь дом и затих окончательно.

Тогда Малянов нагнулся над ванной и принялся ополаскиваться. При этом он брызгался и рычал — почти как водопровод. Пока он вытирался обширным полотенцем, в комнате опять зазвонил телефон.

— Это родильный дом? — нарочитым басом спросил Малянов у полотенца и сам себе ответил тоненьким голоском: — Нет, это зоологический магазин. — И снова басом: — А можно у вас купить красные кровяные тельца? — И снова пискляво: — Нет, у нас в продаже только желтые, синие и зеленые...

Не помогло. Телефон надрывался. Широко шагая, Малянов вернулся в комнату и схватил трубку. Сыроватые его волосы сбились в косматый колтун, и он стал похож на толстую, не совсем нормальную ведьму.

— Вторая образцово-показательная психиатрическая клиника! — объявил он и, поскольку трубка молчала в ошеломлении, добавил: — В чем дело, клиент? Сообщите ваш адрес!

— Дима, это ты? — осторожно осведомился низкий размеренный голос.

— Да... Это кто?

— Вечеровский. Здравствуй.

— Тьфу ты, дьявол! Извини, Фил. С утра, понимаешь, наяривают...

Раздался звонок в дверь — длинный и настойчивый.

— Ч-чер-рт! С цепи сорвались, ей-богу! Подожди минутку, Фил, теперь в дверь наяривают...

— Дима! Стой!..

Но Малянов уже бросил трубку на стол в груду бумаг, а сам устремился в прихожую.

— Дима, алло. Дима, Дима, алло, Дима... — монотонно повторяла брошенная трубка.

На кухонном столе возвышалась среди недопитых стаканов с чаем внушительная картонная коробка, обклеенная тонкими полосками липкой ленты. Из-за коробки выглядывал плюгавый мужичонка в кургузом пиджачке неопределенного цвета, небритый, потный и несчастный видом. Он искательно улыбался и протягивал Малянову обширные квитанции, переложенные фиолетовой копиркой. Малянов квитанции отвергал.

— Ты способен понять, отец, что я ничего не заказывал? — втолковывал он плюгавому.

— Ну, может, жена заказывала... — лепетал плюгавый.

— Нет у меня жены! Два года как нет! И денег у меня нет и никогда не было — такие заказы делать!

— Так денег же и не надо! — оживился плюгавый. — Заплочено!

И точно, наискосок по квитанциям шла большими фиолетовыми буквами надпись: «Оплачено».

— Отец! Это ошибка какая-то!

— Не может быть никакой ошибки. Распишитесь вот тут...

— Отец! Из своего кармана вложишь!

— Расписывайтесь, расписывайтесь...

Малянов расписался, и плюгавый тотчас выхватил у него из рук квитанцию и упрятал ее за пазуху. Потное лицо его выражало теперь полнейшую растерянность — он словно перестал понимать, где находится, почему и зачем. Он воровато оглядел кухню, втянул голову в плечи и принялся пятиться, глядя на Малянова исподлобья.

Малянов тоже оглядел кухню, но ничего особенного в ней не обнаружил.

— Гос-споди... — слабо проскрипел вдруг плюгавый и опрометью кинулся вон. Ахнула входная дверь, что-то просыпалось за обоями, и стало тихо.

— Ну и денек, — сказал Малянов и посмотрел на коробку. Оказывается, коробка успела за это время покрыться инеем. Иней неестественно сверкал на солнце, над коробкой дымился парок. Малянов решительно разорвал картон и, выкативши глаза, извлек на свет громадный полиэтиленовый пакет с глубокозамороженным вареным омаром, пламенеющим красно-коричневым панцирем.

Малянов грохнул на стол окаменелое членистоногое, схватил квитанцию и принялся заново изучать ее.

А день потихоньку катился на убыль, но солнце стояло еще высоко. Воздух над городом раскалился до предела. Все живое замерло, расползлось, попряталось...

По кривым узким улочкам старого города, мимо раздражающе, ослепительно белых глинобитных домиков, пыля брезентовым верхом, катился грязно-зеленый УАЗ-469, в просторечии именуемый «газик».

Очередная улочка вывела его на довольно широкую дорогу, и по сторонам пошли новые здания — дома, выстроенные в период так называемых архитектурных излишеств, и странные дома в восточном стиле, — рядом с ними особенно нелепо выглядели старые корпуса производственных зданий с блеклыми разводами на глухих бетонных стенах.

Коротко остриженный лопоухий мальчишка-шофер переключил скорость, и газик, завывая коробкой передач, резво покатил в гору. Выскочив на холм — город сверху казался совершенно покинутым, — шофер лихо заложил вираж, и машина на хорошей скорости понеслась под уклон... Поворот, еще поворот, открылась новая улица, уставленная однообразными аккуратными пятиэтажными домами, у подъезда одного такого дома газик затормозил.

Пассажир распахнул дверцу и неторопливо выбрался наружу, стараясь не слишком испачкаться о пыльный борт. Он был высок ростом и вообще обширен во всех измерениях. Все у него было крупное, массивное — руки, ступни, мясистое грубое лицо, изуродованное старыми шрамами и ожогом.

Он осторожно огляделся — довольно странное движение, совсем, казалось бы, этому человеку не свойственное, — и скользнул взглядом по фасаду дома. В окне второго этажа виднелся Малянов, сидящий на подоконнике. Седой человек приветствовал его, подняв растопыренную пятерню. Малянов с готовностью ответил ему тем же.

Он сидел на подоконнике. Солнце уже ушло в другую сторону дома, и

шторы теперь можно было раздвинуть. В руке Малянов держал гигантский бутерброд, пышно разукрашенный зеленью. Зелень торчала во все стороны, и, откусывая от бутерброда, Малянов погружался в эту зелень, как лошадь в сено.

— ...Представляешь? — говорил он, не переставая жевать. — Моам? Моуа... И причем жратва первоклассная! Омары, например. Кстати, ты не знаешь, что с омарами делают?

Сидя в единственном кресле, его внимательно слушал Филипп Вечеровский, элегантный, как дипломат на приеме, в великолепном костюме, ослепительной сорочке... галстук единственно возможной расцветки... запонки... в руке трубка, и, разумеется, не какое-нибудь там ширпотребовское барахло за три пятнадцать, а настоящий «Данхилл» с белой точкой. Бледное вытянутое лицо его было непроницаемо спокойно, белесые ресницы помаргивали.

— Знаю, — сказал он, и это прозвучало, как приговор.

— Это я и сам знаю, — сказал Малянов. — Но как его приготовить? Он же, подлец, глубокозамороженный...

За окном Малянов видел лопоухого мальчишечку-шофера и седого человека с изуродованным лицом. Они стояли возле газика и разговаривали, причем седой поминутно и очень неумело озирался по сторонам. Оба — в черных мешковатых костюмчиках и в старомодных бобочках с отложными воротничками. Седой держал в руке объемистый кожаный портфель.

— Дима, — сказал Вечеровский, помолчав, — это правда, что тебе предложили филиал?

— Да. А ты откуда знаешь? Уже и до твоего, значит, института...

— Ты согласился?

— Нет.

— Почему?

Малянов отвернулся и стал смотреть в окно. Седого уже не было около газика. Шофер в одиночестве стоял, рассматривая обширную грязную тряпку, которую держал, расправив перед собой. Потом он пошел вокруг машины, отряхивая от пыли брезентовый кузов.

— Не хочу, — сказал Малянов, все еще глядя в окно. — Я, извините за выражение, ученый. Я не хочу быть директором.

— У тебя не осталось идей?

— У меня есть идеи, Фил. Именно поэтому я не хочу превращаться в администратора. Пока что-то еще шевелится здесь... — Он стукнул себя кулаком в потный лоб. — Пока еще не омертвело напрочь...

— Насколько я знаю, филиалу будут выделены большие деньги. Это задумано как очень серьезное предприятие, и человек, имеющий идеи...

— Ты, кажется, тоже вознамерился уговаривать меня, как девку красную?

— Нет. Я просто хотел бы понять, почему ты отказался.

Малянов смотрел, как шофер, прекратив пыльное свое занятие, заталкивает тряпку за противотуманную фару. Седой вышел из парадной и двинулся к машине. Портфеля с ним не было — он держал под мышкой толстенькую ядовито-зеленую папку. Вторая папка, тоже зеленая, но еще более толстая, висела у него в авоське в другой руке. Шофер кинулся ему помогать, они погрузились в автомобиль и уехали.

— А черт его знает, почему я отказался, — проговорил наконец Малянов. — Зло взяло. Какого дьявола? В прошлом году о Малянове и разговаривать не хотели — молод, видите ли, недостаточно зрел и вообще — участник бракоразводного процесса. Ладно, отцы! Я на это наплевал и забыл. А теперь вот, когда у меня самое что ни на есть пошло... Ты помнишь, я тебе рассказывал про полости макроскопической устойчивости?

— Полости Малянова? — сказал Вечеровский, усмехнувшись.

— Ладно-ладно! Нечего!.. Так вот, я доказал, кажется, что они существуют. Ты понимаешь, что это означает и что отсюда следует?

— Откровенно говоря, не совсем.

— Не совсем!.. Я и сам еще не совсем понимаю, но я тебе гарантирую, что это — новая теория звездообразования как минимум, а может быть, и вообще самая общая теория образования материи в физическом понимании этого слова. Сечешь?

— Секу помаленьку, — сказал Вечеровский. Он произнес эти слова так, как мог бы их произнести просвещенный дворянин девятнадцатого века.

— Это — нобелевка, отец! — сказал Малянов, выкатывая глаза и понизив голос. — Это нобелевкой пахнет! А они хотят, чтобы я все бросил и занялся ихним дурацким филиалом? Да гори он огнем! Я и без всяких филиалов работать не успеваю. Отпуск взял. Представляешь, за свой счет. Чтобы никакая собака не мешала. Нет же — звонят с утра: почему не хочешь быть директором? И вообще все как с цепи сорвались — телефон обезумел, дядьки какие-то прутся с доставкой на дом...

Вечеровский немедленно встал, и Малянов спохватился:

— Стой! Я же не про тебя, Фил!.. Давай кофейку сейчас сварганим...

— Спасибо, нет... Да и не умеешь ты кофе варить, если откровенно...

— Ну, ты заваришь! По-венски, а? А потом омара будем тушить. С картошкой!

Но Вечеровский уже неудержимо продвигался к двери.

— Я ведь, собственно, забежал к тебе на минутку. У меня же лекция сегодня... Да, кстати, фамилия Снеговой тебе ничего не говорит?

— Арнольд Палыч? — удивился Малянов. — Он вот в той квартире живет. Дверь дерматином обита.

Они стояли на пороге маляновской квартиры и через лестничную площадку смотрели на обитую дерматином дверь. Потом Вечеровский проговорил медленно:

— Вот как?

— А в чем дело? — спросил Малянов. Реакция Вечеровского была ему непонятна и показалась странной. — Он тебе нужен? Так он уехал только что, я видел в окно...

Вечеровский пару раз моргнул, все еще глядя на дерматиновую дверь, потом спросил:

— А кто он, собственно, такой?

— Инженер, по-моему. А что?

— А где работает?

— Не знаю. Кажется, на объекте. Знаешь объект на Южном мысе? По-моему, там. А что случилось, Фил?

— Где? — странно спросил Вечеровский, обратив наконец на Малянова свои белесые глаза. Малянов от такого вопроса смешался, и Вечеровский, отдав ему что-то вроде чести указательным пальцем, направился к лестнице.

Малянов работал. Пишмашинка с вставленным полуисписанным листом стояла теперь на полу в стороне. Ее место на столе занял микрокалькулятор, и Малянов, нависая над ним, пыхтя и обливаясь потом, пальцем левой руки набирал программу, считывая ее с длинного листка бумаги. Набрал, запустил счет. Калькулятор замигал красным окошечком дисплея, а Малянов удовлетворенно откинулся на спинку стула, отдуваясь и слизывая пот с верхней губы.

Затрещал телефон. Малянов приподнял и тут же опустил трубку жестом совершенно механическим.

За окном уже надвигался вечер. Люди появились на улице. У подъезда на скамеечке сидели неподвижные черные старухи. Жара спадала. Медно-красное солнце тяжело висело над голыми скалами-сопками, окружившими город.

Малянов быстро писал формулы, строчка за строчкой, густо, ровно, как по линеечке. Потом вывел с особой тщательностью: «Легко видеть». Обвел рамкой. Второй. Третьей... Нервно захихикал, подсигивая на стуле. Застыл с идиотской улыбкой, выкатив невидящие глаза.

— Легко видеть! — провозгласил он.

Голос у него был хриплый, и он откашлялся. Телефон брякнул неуверенно. Малянов строго посмотрел на него и сказал:

— Теперь, на самом деле, надо насчет пучностей уточнить... На самом деле, насчет пучностей чушь какая-то у нас получилась, Малянов... — Он принялся перебирать листочки, разбросанные по столу и по полу. — «Отсюда ясно...» — прочитал он. — Вот тебе и ясно. Ясно, что ничего не ясно...

И тут раздался звонок в дверь.

За порогом квартиры стояла понуро, словно отбывая некое неведомое наказание, нескладная молоденькая девица в унылой длинной юбке и затрапезной кофте неопределенного фасона. Испуганные, слегка косящие глаза за толстыми стеклами очков. Костлявые лапки прижимают к животу тоскливого вида ридикюль. И возвышается у ног чудовищный полуторный чемодан, обвязанный белой бечевкой...

Малянов, свирепо хмурясь и играя желваками, еще раз перечитал записку.

— Узнаю свою первую жену, — произнес он с горечью.

— Она сказала, что вы будете только рады... — пролепетала девица.

— Ну еще бы! — сказал Малянов саркастически. — «Она тебе оч. понрав.», — процитировал он из записки. — Это вы. Вы мне оч. понрав.

— Да... — угасающим голосом проблеяла девица. — Но я не буду мешать.

Малянов глянул на нее почти злобно, но тут же спохватился. В сущности, он был человек добрый и склонный к сочувствию.

— Ладно, — сказал он. — Победила дружба. Заходите. Лидочка?

— Да, — сказала девица, счастливо заулыбавшись. У нее даже глаза за очками увлажнились подозрительно. Она подхватила свой чудовищный чемодан и двинулась вперед. Малянов еле-еле успел перехватить.

— Ого! — крякнул он. — Что у вас там? Походная библиотека? Нет, вот сюда, налево...

Он почти протолкнул растерявшуюся Лидочку в бывшую детскую.

Здесь в углу пестрели заброшенные и забытые игрушки. Стены были

увешаны яркими детскими картинками. Кое-где темнели квадраты невыгоревших обоев — там, где какие-то картинки были сняты...

Малянов грохнул чемодан в угол и приказал Лидочке сесть. Она поспешно и послушно опустилась на кушетку, глядя на Малянова овечьим взглядом.

— Спать будете здесь! — распорядился Малянов. — Окно можете открыть. Белье — в шкафу. Сортир — налево за углом. Найдете. Ванна там же. Очень удобно. Я буду работать. Пока я работаю, в доме должна царить абсолютная тишина. Ваша подруга, она же моя первая жена, этого не понимала, поэтому я ее выгнал. Сечете?

В косеньких глазах появился ужас. Малянову это очень понравилось.

— Можете лежать, сидеть, читать. Можете играть вот с тем зайцем. Но тихо! Никакой беготни, никаких этих считалок, песенок и тэ дэ...

Внезапно чудовищный чемодан поехал сам собою по полу и повалился набок. Загудело за окном. Качнулась люстра. Лидочка ошеломленно ойкнула и вцепилась обеими руками в кушетку.

— Спокойно! — сказал Малянов. — Это маленькое землетрясение. В вашу честь. У нас тут бывает... А завтра ожидается даже небольшое солнечное затмение. Тоже — в вашу, как я понимаю, честь...

За окном было уже совсем темно. Малянов включил настольную лампу и сидел за столом, положив волосатые кулаки по обе стороны от чистого листка бумаги, набычившись, выдвинув челюсть, словно собирался наброситься на кого-то, кто сидит по другую сторону стола. Но там никого не было. И в комнате никого не было. Дверь закрыта. Слышно, как ворчит вода в ванной и позвякивает посудой Лидочка на кухне. Потом там раздается отчаянный сдавленный вопль, дребезг стекла, и наступает мертвая тишина.

Малянов вздрогнул и посмотрел на закрытую дверь. Выражение его лица переменилось. Он вытянул губы дудкой, повел носом, как всегда, когда намеревался сострить, но тут же забыл обо всем, схватил фломастер и нарисовал на листке жирный красный контур, а на контуре — стрелку. Взял другой фломастер — зеленый. Рядом со стрелкой красиво вывел «е». Откинулся на спинку, чиркнул спичкой, закурил удовлетворенно, но тут скрипнула дверь, и Лидочка, просунувшись в комнату половинкой жалкой физиономии, пролепетала горестно:

— Дмитрий Алексеевич, я чашку разбила.

— Как! — театрально провозгласил Малянов, развлекаясь. — Еще одну?

— Да. Синюю. С корабликом.

Малянов встал.

— Черт побери! — сказал он уже без всякой театральности. — Извините, Лидия, но вы все-таки поразительная корова!

— Я нечаянно, Дмитрий Алексеевич!..

Малянов проследовал на кухню. Стол там был накрыт к ужину, и со вкусом. Кушанья разложены по тарелочкам. Салат. Зелень. Капельки воды весело искрились на свежевымытой редиске...

А на углу стола лежала синяя чашка в трех частях. Малянов взял в руку одну из частей и бережно покрутил ее в пальцах. Взял вторую. Попытался сложить. Части сложились охотно, и образовалась золотистая надпись: «...ому папе на день рожде...».

Малянов посмотрел на Лидочку. Та обессиленно опустилась под его взглядом на табуретку, и поза ее выразила такое отчаяние, что он смягчился.

— Ладно уж, — сказал он. — Долой сантименты! Где ведро?

— Не надо в ведро, — сказала Лидочка. — Я сама склею.

— С вашими способностями вам знаете что надо склеивать?

— Не знаю, — сказала Лидочка отчаянно. — Я вам еще доску расколола.

— Какую доску?!

— Деревянную. Для хлеба.

Малянов картинно развел руки.

— Ну, это уже все! — провозгласил он. — Вызываю специалиста. Пора.

— Не смейтесь! — сказала Лидочка. — Ничего смешного здесь нет! Вы просто ничего не понимаете... Вы как каменный... Шуточки, прибауточки, а глаза — мертвые, пустые, и весь вы там... — Она ткнула пальцем в сторону кабинета. — С вашими дурацкими проклятыми формулами!.. Вы же не соизволили узнать меня. Я для вас сейчас чучело гороховое, посмешище, а тогда ухаживали, руки целовали... цветы...

Малянов не глядя нащупал стул и уселся.

— Какие цветы? — сказал он растерянно. — Когда?

— Четыре года назад. В Гаграх. Вы еще ходили в такой желтенькой рубашке с надписью: «Дельта сайнс фикшн»... — Она вдруг улыбнулась сквозь слезы. — Помните, как вы меня тогда дразнили: «Лидия! Отвратительная мидия!..» Мы с вами мидий собирали и варили из них похлебку с луком. Ну неужели вы совсем ничего не помните?!

Малянов, растерянно таращивший на нее глаза, не успел ничего ответить, потому что в дверь забарабанили и затрезвонили разом, будто

целая толпа хулиганов рвалась в квартиру, но оказалось, что это всего-навсего один тощий старикашка — сосед с нижнего этажа.

— Вы что тут — с ума все сошли! — ужасным фальцетом вопил он. — Ведь у меня же там все затопило! Что вы тут делаете? Куда смотрите? Потолок же обваливается... обои! Книги!..

Малянов метнулся в ванную. Ванна была переполнена, на полу — по щиколотку воды. Горячей. С паром.

— Лидия! — загремел Малянов. — Ведь я же предупреждал вас, что сток не работает!..

Он схватил тряпку, пустое эмалированное ведро и шагнул в ванную.

Он собирал воду тряпкой и отжимал ее в ведро. Она работала мусорным совком, и довольно ловко. Оба они были мокрые от пота, воды и пара, а старикашка реял над ними, не переставая браниться и жаловаться.

— Надо быть самой фантастической коровой...

— Не предупреждали вы меня! Не предупреждали, и все!

— Самой надо соображать! Самой! Голова вам на что?

— Нет, таких людей нельзя селить в современном доме! — Это уже старикашка. — Это же дикие люди! Таким надо жить в деревне, в кишлаке... Из шайки мыться!..

— Я вам говорил, что струя слишком сильная?

— Нет, не говорили!

— Я вам...

— Не говорили, не говорили, не говорили!!!

— Из шайки, из корыта мыться, но не в ванне...

— Второе ведро возьмите, я вам говорю! В кладовке!

— Откуда мне знать, где тут у вас кладовка!..

— Нет, я все понимаю! — Это — старикашка. — Я сам интеллигентный человек. Но ежегодно устраивать потоп... Ежегодно!

И звенит совок о край ведра, и всхлипывает залитая слезами Лидочка, и ужасно кряхтит Малянов, ползая на коленках по мокрому кафелю пола.

Малянов стоял над своим рабочим столом, тщательно утирался большим махровым полотенцем и тупо рассматривал огненно-красный контур на чертеже, забытом на столе. По всей квартире было натоптано мокрыми ногами, входная дверь распахнута настежь, гремел мусоропровод с лестницы, и доносились из кухни душераздирающие рыдания.

Малянов тяжело вздохнул, смял чертеж с красным контуром, бросил бумажный комок на пол и, растирая полотенцем спину, направился в кухню.

Все уладилось, впрочем, наилучшим образом. Они вкусно и с аппетитом поужинали, выпили водочки из роскошной импортной бутылки, потом откупорили хванчкару. Лидочка раскраснелась, развеселилась и чудо как похорошела. Малянов в свежей белой сорочке и причесанный выглядел почти элегантным — мешала, однако, трехдневная щетина. Разговоры велись самые легкомысленные. Например, о ложной памяти.

— Да нет же, Дмитрий Алексеевич! Я все помню совершенно отчетливо! И эту вашу ярко-желтую рубашечку, и голос ваш, и какие стихи вы мне читали над морем...

— Какие же?

— «Старый бродяга в Аддис-Абебе, покоривший многие племена...»

— Гм. Мо-от быть, мо-от быть... Но, золотко мое...

— Ирина нас познакомила, а потом сама же и ревновала ужасно...

— Вполне! Вот это — вполне! Очень похоже на мою первую жену. Но, Лидочка, поймите... Да, я люблю женщин. К чему скрывать? И они меня любят. И у меня было их много. И моей первой жене это чертовски не нравилось... Но, деточка, не настолько же много их у меня было, чтобы я забывал целые эпизоды!

— А как пограничники за нами гнались, тоже не помните?

— Нет. А почему это за нами вдруг погнались пограничники?

— Мы сидели с вами на пляже поздно вечером. Они прошли мимо, а вы прошептали им вслед таким зловещим шепотом, на весь пляж: «Место посадки обозначьте кострами...»

Малянов радостно ржал, мотал щеками и приговаривал:

— И все-таки не было этого ничего. Не было! Ложная память, дитя мое, ложная память... Это все вам приснилось...

Лидочка с почти священным трепетом рассматривала пустой уже панцирь омара, в то время как Малянов излагал ей предысторию сегодняшнего ужина.

— ...И вино, и водка, и зелень, и все эти вкусности... Представляешь, мать? — Они уже были на «ты».

— И все оплачено?

— И все оплачено! Кем? Не знаю. Как все это получилось? Представления не имею...

— Но ведь ты понимаешь, Митя, что так не бывает. Даром ничего не бывает. За все приходится когда-нибудь платить. И хорошо, если деньгами. Потому что если не деньгами, то чем же?

Лидочка говорила все это так серьезно, с такой неожиданной печалью и горечью в голосе, что Малянов, убиравший столовой ложкой остатки

салата, приостановил свое занятие и посмотрел на нее с сомнением.

Строгая и грустная девушка сидела перед ним. Красивая. Очень чужая и странная. За спиной ее качалась и шевелилась на стене огромная бесформенная тень. А омар в тонких пальцах шевелился как живой и словно пытался вырваться, освободиться, уползти куда-нибудь подальше.

В легком разговоре возник явный и неприятный перебой. Оба молчали. Оба искали, что сказать, и не находили. Малянов несколько судорожно схватил бутылку и принялся старательно подливать вино в стаканы, и без того полные.

— Ну-ну уж, прямо-таки... — промямлил он. — С-слушай... Да! А какие у тебя, мать, планы в нашем прекрасном городишке?

— Планы? — Этот простой вопрос привел, по-видимому, Лидочку в полное недоумение. Она явно не знала, что на него ответить. — У меня?

— У тебя, у тебя.

— А что тут у вас есть?

— Н-ну, как что? Море. Пустыня вон, за сопками... Все есть. Обсерватория. Старый город... Мечеть одиннадцатого века... Слушай, старуха, ты все равно стоишь, достань-ка вон там, с полки, альбом...

Лидочка сейчас же послушно вскочила за альбомом, и Малянов, оживившись, принялся рассказывать про мечеть и про обсерваторию, иллюстрируя свою импровизированную лекцию фотографиями из альбома.

Потом, когда со стола было убрано, сели пить чай с вареньем. Малянов все порывался рассказать о своей работе, но Лидочку это совсем не интересовало. Более того, разговоры о маляновской работе не то злили, не то раздражали ее.

— Не надо, Митя! Не хочу!

— Нет, мать. Ты попробуй представить себе эту картину: жуткая черная бездна, пустота... пустота абсолютная, человек не может себе такую даже вообразить — ни пылинки, ни искорки, ничего! И ледяной холод. Мрак и холод. И вдруг, словно судорога, — взрыв, беззвучный, конечно, звуков там тоже нет... И эта мрачная пустота... это пустое пространство содрогается и сминается, как пластилиновая лепешка...

— Ну не надо, Митя! Я прошу вас, пожалуйста... Не могу я, когда вы об этом говорите и даже думаете... Я не шучу, не смейтесь...

— Старуха! — возмутился Малянов. — Ведь мы с тобой выпили на брудершафт!

— Ну, хорошо, ну, «ты»!.. Только не надо больше про это...

— Эх, Ньютону бы об этом рассказать! Вот бы старик воспламенился! Это он только языком трепал: гипотез, мол, не измышляю. Гордое

смирение! А у самого воображение работало ого-го!

— Я, слава богу, не Ньютон.

— Старушенция! Я же популярно... без математики...

— И популярно не надо. Не думай об этом.

— Невозможно, мать. Когда я работаю, я думаю только о работе.

— А ты не думай. И не работай. Черт побери, Дмитрий! Ты ведь сидишь рядом с женщиной!.. И что это за мужики пошли...

— Дети и книги делаются из одного материала, — процитировал Малянов не без скабрезности.

— Что это такое?

— Бальзак. Или Флобер. Не помню точно.

— Не понимаю.

— А что тут понимать? Либо детей делать, либо книги. Одновременно — не пойдет. Материала не хватит.

— Глупости какие!

— Безусловно. Но сказано элегантно. А может быть, не так уж и глупо, если призадуматься.

— Не надо призадумываться!

— Ох, до чего же вы, бабы, не любите призадумываться!

— А нам это ни к чему. Мы и так все знаем. Наперед. Ведь Ева съела яблоко, а Адам, бедняжка, только надкусил.

Малянов посмотрел на нее критически. Да, она явно кокетничала. Она пыталась ему понравиться, бедняжка. Старалась показаться значительнее и умнее. Но слишком уж она была непривлекательна в дурацком своем наряде и безобразных очках. И косая вдобавок!

— Эх, мать... — Малянов поднялся и налил еще чаю, себе и ей. — Жаль мне вас. Думать — это, брат, прекрасно! Это единственное, что отличает нас от обезьяны. Иногда меня вдруг осеняет: вот сижу я за столом, такой маленький, такой жалкий, ничтожный, крошка, пылинка, полпылинки... а в мозгу у меня — вспыхивают и гаснут вселенные!.. Когда я осознаю это... Старуха! Это ощущение я не променяю ни на какую женщину!.. Вот дети, это — да! Ребенок — это сгусток будущего. Это, мать, будит воображение... Это, знаешь ли... На самом деле... — Он вдруг оживился. — На самом деле, настоящие идеи, они похожи на детей, честное слово. Они зарождаются под черепушкой, как дети во чреве, и копошатся там, и сладко так толкаются... Ты рожала когда-нибудь, старуха? Нет? Ну, ты тогда не поймешь...

Все это он говорит без тени юмора. Ему и в голову не приходит, что в его устах это звучит забавно. Аналогия только что пришла ему в голову и

страшно его увлекла.

— ...Заметь, они требуют усиленного питания — духовного, конечно, в первую очередь... и всяческого внимания, и бережного отношения, и времени... Упаси бог поторопиться — будет выкидыш!.. А потом происходит таинство... акт появления на свет... роды, если угодно... Бог ты мой, как это на самом деле мучительно! Если бы ты понимала! Роди ее, перенеси на бумагу, дай ей словесную, знаковую плоть... И какая она жалкенькая сразу после рождения — даже самая могучая идея! — какая она беспомощная, сырая, уродливая...

Тут вдруг Лидочка посмотрела Малянову через плечо и отчаянно взвизгнула. Малянов резко повернулся, повалив табурет. В полусумраке коридорчика страшно светилось изуродованное лицо Снегового.

Секунду стояла напряженная тишина, а потом Снеговой проговорил хрипло:

— Извините меня, Дмитрий Алексеевич, но дверь у вас была настежь...

— Бога ради, бога ради! — зачастил опомнившийся Малянов. — Замок дрянь, не защелкивается... Да вы заходите, Арнольд Палыч, садитесь.

— Нет-нет! Ни в коем случае, Дмитрий Алексеевич... — Снеговой был вполне корректен и вел себя совсем по-светски, но странно было, что, разговаривая с Маляновым, он почти неотрывно глядел на Лидочку. — Ни в коем случае! Я ведь почему зашел? Книгу! Книгу же я вам обещал и совсем забыл... Вы, может быть, заглянете сейчас ко мне?

— Какую книгу? — ошеломленно бормотал Малянов. — Что-то я не прип...

— А то я, знаете ли, завтра убываю, и надолго... — продолжал вещать Снеговой, беря Малянова за рукав халата и увлекая его за собой. — Я забираю его у вас буквально на минутку, — обратился он к Лидочке. — Извините меня... — И снова к Малянову: — Было бы глупо, если бы я забыл... Сам же обещал, даже навязывал, и сам же забыл... Однако же, слава богу, вспомнил в последнюю минуту...

Продолжая молоть одно и то же, как заведенный, он протащил Малянова через прихожую, а на лестничной площадке, когда Малянову удалось наконец освободить свой рукав и он уже рот раскрыл, чтобы разразиться негодующей речью, Снеговой близко глянул ему в глаза и вдруг поднял и прижал к своим губам толстый корявый палец.

После этого немыслимого жеста Малянов, потрясенный и заинтригованный, полностью покорился, и они осторожно, почти на

цыпочках, прокрались через лестничную площадку к обитой дерматином двери.

В квартире Снегового свет горел повсюду — в прихожей, в обеих комнатах, в кухне и даже в ванной. Все мыслимые источники были включены. И вообще квартира производила довольно-таки странное впечатление. Повсюду — на полках, на столах, на стенах — располагались десятки и сотни разнообразнейших раковин и улиток — от огромных тропических, рогатых и многоцветных, до самых невидных, маленьких и скромных, россыпью наваленных в огромное блюдо на журнальном столике. И не только улитки — самые неожиданные спирали и их красочные изображения наполняли квартиру. Винты, шурупы (и среди них — гигантские!), спиральные пружины, шнеки, яркие схемы каких-то спиральных образований и даже великолепные цветные фотографии спиральных галактик чуть ли не в полстены размером...

— Кто эта женщина? — негромко, но как-то очень напористо и с непонятной неприязнью спросил Снеговой, едва они вошли в комнату.

— Лидочка. Знакомая... Просто знакомая.

— Давно знакомы?

— Н-нет... Сегодня приехала... с запиской от жены...

— Вы же в разводе.

— Да. Но не могу же я отказать... — Малянов спохватился. — Арнольд Палыч, в чем дело? Вы ее знаете? Она что?..

— Стойте. Спрашивать буду я. Времени у нас нет, Дмитрий Алексеевич, вот что. Давайте по порядку. Во-первых, возьмите книгу.

— Какую?

— Любую, — сказал Снеговой нетерпеливо. — Возьмите вот эту и держите в руках, чтоб потом не забыть... И давайте присядем на минутку.

В полном обалдении Малянов взял со стола толстый том и, зажав его под мышкой, опустился на диван у торшера. Снеговой сел рядом и тотчас закурил. На Малянова он не глядел.

Снеговой, видимо, и в самом деле собирался уезжать. На полу и на стульях были расставлены раскрытые чемоданы, наполовину забитые одеждой, книгами и какими-то папками. На распахнутой дверце шкафа висел на распялочке темно-синий парадный костюм с орденскими ленточками, сорочка, галстук... Сам Снеговой был в обширной полосатой пижаме, в домашних стоптанных тапочках.

— Значит, по порядку... — прогудел он, глядя в угол и поминутно затягиваясь папиросой. — Во-первых. Над чем вы сейчас работаете?

— Я? А что?

— Вы ведь, кажется, астроном? Так?

— Так.

— Наблюдатель?

— Нет. Теоретик.

— А такая фамилия — Губарь — вам ничего не говорит?

— Губарь? Губарь... Нет. Арнольд Палыч, что случилось?

Снеговой раздавил окурок в пепельнице и тут же закурил снова.

— А фамилия Глухов?

— Глухов? Тоже нет... Хотя подождите, у Вечеровского есть же приятель Глухов... Владлен... Владлен...

— Историк?

— Д-да... кажется.

— Так! — Снеговой поднялся и, жуя окурок, прошелся по комнате, засунув огромные свои лапы в карманы пижамы. — А Вечеровский?..

— Да я же вас с ним знакомил! Он биолог, очень крупный, с европейским именем...

— Да-да... Помню... Вечеровский... — прогудел Снеговой. — Помню, конечно... Спасибо, Дмитрий Алексеевич. Это очень ценно, что вы мне сообщили... Да! Так над чем вы сейчас работаете?

И тут Малянову стало страшно. Снеговой был не похож на себя. Вопросы его скрывали какую-то тайную угрозу... И Малянов разозлился:

— Слушайте, Арнольд Павлович! — сказал он. — Я не понимаю!..

— Я тоже! — сказал Снеговой резко. — Я тоже не понимаю, а понять надо! Пока не поздно. Рассказывайте. Подождите!.. У вас закрытая тема?

— Какого черта закрытая! — сказал Малянов раздраженно. — Общая космология, немного астрофизики и звездной динамики... теория гравитации... Я доказываю, что некоторые виды сингулярностей устойчивы. Да вы все равно ничего не поймете, Арнольд Павлович.

— Сингулярности... — медленно проговорил Снеговой и пожал плечами. — В огороде бузина, а в Киеве дядька... И не закрытая? Ни в какой части?

— Ни в какой букве!

— И Губаря не знаете?

— И Губаря не знаю.

Снеговой засмолил третью папиросу. Он стоял перед Маляновым, нависая над ним, — огромный, сгорбившийся, страшный — и молчал. Потом он сказал:

— Ну, на нет и суда нет. Извините меня, Дмитрий Алексеевич. У меня все.

— Да, но у меня не все! — сварливо сказал Малянов, поднимаясь. — С вашего позволения, Арнольд Павлович, я бы хотел узнать...

— Не могу, — сказал Снеговой, как отрезал. — Не имею права.

И, не обращая более никакого внимания на Малянова, он подошел к столу и принялся разгружать карманы пижамы. Носовой платок, грязный, мятый, — в угол. Пачка «Беломора». На стол. Коробок спичек. Еще один коробок спичек... Какие-то сложенные бумажки... авторучка...

Потом он извлек на свет огромный пистолет и сунул его небрежно в правый ящик стола.

Увидев этот пистолет, Малянов приоткрыл рот и тихонько попятился к двери.

На пороге своей квартиры Малянов задержался и прислушался. Дверь была приоткрыта, виднелся свет в щели, но звуков никаких слышно не было, кроме, впрочем, ворчания водопровода. Тогда Малянов осторожно прошел в прихожую. Дверь при этом отчаянно заскрипела, и Малянова всего перекосило от этого скрипа.

В кухне было пусто. Стол прибран, чисто протерт. Вся грязная посуда — в мойке. Пол подметен. Газ выключен. И никого.

И в ванной тоже никого. Висят на бельевой веревке розовые трусики и такой же лифчик.

Малянов прошел в кабинет, положил на край стола толстый справочник Снегового и некоторое время стоял в нерешительности, озирая свое хозяйство: включенный калькулятор с красными цифрами на дисплее, груды исписанной бумаги, рулоны графиков, бумажные листы, разбросанные по всему полу...

Потом он вытянул губы дудкой, задрал брови повыше, словно собирался отмочить какую-нибудь шутку, повернулся и на цыпочках, но решительно направился в бывшую детскую.

Лидочка мирно спала. Мигающий фонарь за окном выхватывал из темноты контуры ее тела, закутанного в простыню, бледное, без кровинки лицо с поджатыми губами. Лицо это было сейчас таким непривлекательным и даже страшноватым, что Малянов, казалось, оставил свои решительные намерения и остановился на полдороге, неспособный решить, так ли уж ему нужно то, за чем он сюда приперся.

И вдруг давешний гул прокатился за окном, снова подпрыгнул и повернулся на месте огромный Лидочкин чемодан, и фонарь на улице сперва замигал и задергался, словно припадочный, а потом вдруг разгорелся в полную силу.

Всю комнату залило ртутным мертвенно-синим светом, и в этом свете Лидочка вдруг поднялась с постели, села, придерживая на груди простыню, и уставилась на Малянова ясными, широко раскрытыми глазами. Будто и не спала вовсе.

— Трясет... — сказал Малянов, словно оправдываясь. — Кому-то мы очень не нравимся...

— Дмитрий Алексеевич, — сказала Лидочка негромко, — идите сейчас же спать.

Голос у нее был, что называется, «железный», и опытное ухо Малянова не улавливало в нем ни тени надежды. Само по себе это, может быть, и не остановило бы его, но... Все было не так, как должно быть и бывает обычно в подобных случаях. И резкий беспощадный свет в окно — словно любопытствующий прожектор. И подрагивающие стены, и шорох штукатурки, осыпающейся где-то от подземных толчков. И женщина в постели... Не женщина сидела там, выпрямившись, прижавшись лопатками к стене, — ведьма это сидела, кутаясь в простыню. Сухая кожа туго обтягивала лицо, и обнажились верхние зубы — то ли в улыбке, то ли в оскале каком-то.

— Так уж прямо и спать... — глупо сказал Малянов, переминаясь с ноги на ногу. — Рано еще спать. Пусть дети спят.

Лидочка молча смотрела на него. Ведьма на допросе.

— Ну что ты в самом деле! — сказал он, слегка приободрясь. — Лидия! Отвратительная мидия!

Лицо ее дрогнуло, она словно бы расслабилась мгновенно.

— Что ты глядишь на меня, как ведьма на допросе? — Он шагнул вперед и оказался на краешке кушетки. Женщина снова напряглась и чуть отодвинулась. — Ну ладно. Ну не буду. Как хочешь. Пойду тогда работать. Сегодня весь день не давали работать. Как с цепи сорвались, честное слово. Сначала — телефонные звонки. Потом этот деятель с замороженным омаром. Потом Вечеровский приперся...

— Потом я, — сказала Лидочка тихо.

— Потом ты, — согласился Малянов.

— А кто это сейчас приходил?

— Сосед.

— Зачем?

— Да так... Ерунда разная. Про тебя расспрашивал, между прочим.

— И что ты ему сказал?

— Сказал: это одна моя знакомая ведьмочка... — промурлыкал Малянов, предпринимая кое-какие разведывательные действия.

— А он?

— А он... всякие глупости спрашивал... про общих знакомых...

— А ты?

Малянов не ответил.

Он проснулся утром от выстрела. Выстрел ахнул у него прямо над ухом, так что он подскочил на тахте и сел, озираясь. В комнате все было, как вчера, но из раскрытого окна доносился какой-то галдеж, там рычали двигатели, высокий голос повторял: «Не создавайте препятствия... Проезжайте... Проезжайте быстрее...» И какой-то смутный галдеж доносился из-за входной двери, с лестничной площадки.

Малянов спрыгнул с тахты и прежде всего высунулся в окно. У подъезда толпился народ, стояли неподвижно и ерзали, пристраиваясь поудобнее, многочисленные автомобили: милицейская ПМГ с мигалкой, «скорые», газик Снегового и еще четыре «Волги» — три пропыленные, жеваные, черные и одна новенькая, ослепительно белая. Половина проезжей части была всем этим перегорожена. Проезжающие машины притормаживали, останавливались, гаишник с жезлом прогонял их прочь, покрикивая высоким голосом. Белая «Волга» вдруг газанула, из выхлопной трубы вылетел клубок светлого дыма, выстрелило оглушительно, и «Волга» заглохла...

Малянов кое-как оделся и выскочил на лестничную площадку.

Здесь, оказывается, тоже было полно народу. Малянов узнал кое-кого из соседей, но были и незнакомые, и все они концентрировались около распахнутой настежь квартиры Снегового. Были там среди прочих майор милиции, сержант милиции, двое в штатском, врач в белом халате и дворничиха...

— Что случилось? — спросил Малянов давешнего старикашку из квартиры снизу.

— Смерть случилась, дорогой мой, — торжественно и печально произнес старикашка. — Смерть, голубчик... Беда-то какая, а?

— Кто?.. С кем?

— Снегового, Арнольда Павловича, знали вы? Из одиннадцатой квартиры...

— Ну?!

— Умер. Все. Ушел из жизни.

— Не... не может быть... — пролепетал Малянов, холодея.

— Увы. Уже и вынесли. Все. Финита ля комедия.

— Да что случилось?

Старикашка приблизил горбатый нос к маляновскому уху и прошептал:

— Застрелился он этой ночью. Вот сюда пулю послал... — Он постучал себя по виску. — И ни записки, ничего...

Малянов дико глянул на него и, оскользаясь в домашних шлепанцах, ссыпался по ступенькам. Внизу, в маленьком вестибюле, опять же толклись люди. Здесь был лопоухий мальчишечка-шофер — он силился отворить вторую половинку двери в подъезде. Еще один сержант милиции. Какие-то вовсе бездельные, глазеющие люди и два санитара, держащие на весу носилки с длинным громоздким телом, укрытым простыней...

Пока давались со всех сторон советы, пока ковыряли дверь, пока со скрипом распахивали ее, Малянов стоял столбом, глядя на белое, длинное, мертвое... Он не в силах был ни уйти, ни подойти ближе.

Потом дверь распахнулась, носилки понесли, и только тогда Малянов протолкался к ним и пошел рядом. И вдруг он увидел глаз. Простыня была продрана, и сквозь дыру смотрел на Малянова широко открытый мертвый и потому совсем незнакомый глаз.

Вернувшись домой, Малянов сразу бросился к телефону, набрал номер и долго слушал длинные гудки. Потом пробормотал: «Ну да, у него же лекции с утра...» — и положил трубку. Он все еще не мог прийти в себя. Все еще стоял у него перед глазами огромный страшный Снеговой — как он выволакивает из кармана пижамы и засовывает в стол черный тусклый пистолет... И звучал мрачный голос: «Не имею права...» И мертвый глаз сквозь дыру в простыне смотрел на Малянова, словно с того света...

Малянова передернуло. «Жуть-то какая, господи!.. И глупо же, глупо!» Он бормотал эти слова, не замечая собственного бормотания, а сам снова и снова набирал телефон Вечеровского, уже забыв, что тот с утра на лекции. Телефон вел себя странно: то было занято, то шли бесконечные длинные гудки.

Потом он швырнул трубку и помчался к дверям детской. Постучал. Никакого ответа. Потряс дверь. То же самое. Заглянул внутрь. Все очень чисто, все прибрано и... пусто. Ничего и никого. И исчез громоздкий чемодан, занимавший весь передний угол, где игрушки.

В полном остолбенении Малянов прошел по квартире, заглядывая во все углы. Никого и ничего. И все прибрано, вычищено, вылизано — ни пылинки в доме. И только в ванной на бельевой веревочке сиротливо покачивались на сквознячке розовый лифчик и розовые же трусики.

— Нет, отцы, это чушь какая-то, — громко сказал Малянов.

Медленно, шаркая ступнями по полу, он вернулся в свой кабинет, присел было за стол, но тут же сорвался в прихожую, схватил с вешалки пиджак, обшарил карманы, вытащил бумажник, несколько скомканных кредиток, оглядел все это со стыдливым изумлением и сунул обратно.

— Все равно, — сказал он громко. — Тут что-то не то. Что-то тут, отцы мои, не получается...

Он вернулся в кабинет, снова набрал номер Вечеровского, снова оказалось занято. Он бросил трубку, рассеянно взял несколько листочков из папки, пробежал их глазами, нашарил в столе фломастер и старательно вычеркнул из рукописи очередное «легко видеть, что...».

И в этот момент в кухне звякнула ложечка.

Малянов вздрогнул и уронил листки.

В кухне кто-то был. Кто-то двигался там — шаркнули подошвы, снова брякнул металл о стекло, чиркнула спичка... Малянов слез с края стола и осторожно двинулся в направлении кухни.

Там спиною к Малянову стоял теперь низкорослый странный человек. Он колдовал с чайником над газовой плитой и, когда повернулся к Малянову, в одной руке держал заварочный чайник, в другой — распечатанную пачку чая.

Это был огненно-рыжий горбун в душном черном костюме. Сорочка под пиджаком у него была тоже черная, а галстук белый. И лицо белое, длинное, а борода клином, рыжая и ухоженная.

Малянов только рот раскрыл, чтобы рявкнуть: «Кто вы такой, черт вас побери совсем!», как горбун быстро заговорил:

— Здравствуйте, Дмитрий Алексеевич. Меня зовут Губарь, Захар Захарович Губарь... Нет-нет, меня не Лидия сюда к вам пустила, нет, ее уже не было здесь... Я сам зашел, ибо дверь была настежь... Нет-нет, это вам показалось только, что кухня пуста, я вот тут стоял, видите? А вы заглянули и сразу же ушли. Вот я и решил, покуда вы звоните Филиппу Павловичу, дай-ка я чайку заварю... Но Снеговой, а? Какой кошмар! Тут уж поневоле голова кругом пойдет и всякое начнет мерещиться... Но нельзя, нельзя, Дмитрий Алексеевич! Нельзя! Поддаваться никак нельзя, крепиться надо, держаться... Да вы садитесь, садитесь, я уж у вас тут успел разобраться, где что, и вас обслужу по первому разряду, и себя не забуду, правильно?

Он говорил быстро, весело, но в то же время как бы и с приличествующей печалью, он отвечал на незаданные вопросы Малянова и упреждал его инстинктивные действия. И стоило Малянову подумать (с некоторым испугом): «Губарь?.. Это ведь Снеговой что-то там говорил о Губаре...», как горбун уже подхватывал:

— Губарь, Губарь моя фамилия. И Снеговой вас именно обо мне спрашивал, мы с ним были знакомы... познакомились в свое время...

Какая-то неприятно угрожающая интонация прорвалась у горбуна в последней фразе, но он тут же спохватился:

— А вот и чаек! Прошу вас, Дмитрий Алексеевич. Сейчас, сейчас я все вам расскажу, зачем я у вас оказался, и почему, и с какой целью... Тогда вы сами убедитесь, Дмитрий Алексеевич, насколько все это серьезно и важно...

Малянов молча принял свою любимую чашку — большую цветастую — и отпил из нее. Ему по-прежнему не удавалось вставить ни одного слова, но ответы на большинство своих вопросов он уже получил.

— Знаю, Дмитрий Алексеевич, — продолжал между тем горбун, орудуя чайником, — сам знаю — странно. Все странно. И мое появление тут странно, и мое поведение, и сами слова, коими я ваши вопросы заглушаю. Однако же — терпение. Терпение, Дмитрий Алексеевич, и скоро все разъяснится. Ситуация складывается не совсем обычная, вот почему так странно все и необычно...

В паузах горбун не забывал отхлебнуть чайку. Он и чай даже пил не как все. Редко кто пьет сейчас чай так — из блюдца, поставив его на растопыренные пальцы, с шумом и подсасыванием, через кусочек рафинада.

— Нам с вами надобно разрешить всего лишь одну проблему, Дмитрий Алексеевич, но проблема эта... как бы это выразиться... мучительная проблема, Дмитрий Алексеевич. И для меня мучительная, и в особенности для вас... А для начала позвольте вопросик, всего один: над чем вы сейчас работаете?

Вопрос этот показался Малянову не менее странным и неуместным, чем все прочее. Он представить себе не мог, что, собственно, понадобилось этому удивительному горбуну в его, Малянова, доме. Скорее всего, что-то связанное с исчезновением Лидочки, но, может быть, и не с этим... может быть, с кончиной Снегового... В самом деле, не маляновская же работа привела его сюда!

— Над чем работаю? — повторил Малянов, растерявшись. — Что-то последнее время все интересуются, над чем я работаю...

— А кто еще? — сейчас же спросил горбун. — Кто еще интересовался?

Он сидел напротив Малянова, далеко отведя в сторону руку с растопыренными пальцами, на которых картинно дымилось блюдце с чаем, и смотрел пристально и недобро, как смотрят на противника, а не просто на

собеседника.

Впрочем, выражение лица его тут же переменилось на приятное.

— Ну да, ну да! — проворковал он, заговорщически подмигивая. — Снеговой же и спрашивал... Естественно! Что ему оставалось делать? Никак он не мог поверить, что все это никак не случайное совпадение...

— Что «не случайное совпадение»? — спросил Малянов резко. — О чем это вы все время говорите?

Торжество и неприязнь почудились ему в голосе горбуна, и он вдруг почувствовал приступ страха. Пусть пока еще необоснованного. Инстинктивного. И как всегда в такие минуты, голос его сел и захотелось откашляться. Он откашлялся.

— Да все — не случайное совпадение, — небрежно сказал горбун, вновь принимаясь отхлебывать и причмокивать. — Неужели же и вы, Дмитрий Алексеевич, ученый, интеллигент, неужели и вы считаете, что все это случайные совпадения? И что вам директорство предложили, филиал... в прошлом году и кандидатуру вашу обсуждать не стали, а в этом — бац! — безо всякого обсуждения взяли и предложили? И что телефонные звонки вам жить не дают? И омаров вам на дом поставляют... и женщин... Причем очень недурных женщин, согласитесь!..

Страшная и отвратительная мысль поразила Малянова, но горбун снова не дал ему раскрыть рта.

— Нет, нет, и нет! — очень громко и очень напористо вскричал он. — Ни в коем случае! И думать не могите, Дмитрий Алексеевич! Вы же и сами должны понимать, что это смехотворно. Ну какой же я агент иностранной разведки? Ну сами же посудите: агент должен быть человек тихий, скромный, малоприметный... А я? Да на меня же любая лошадь на улице оборачивается! Каждый, можно сказать, верблюд! Нет, нет и нет!.. Да вы ведь и тайн-то никаких не знаете. Может быть, вы думаете, что нам неизвестно, над чем вы сейчас работаете? Да прекрасно известно! Вы же в прошлом году на семинаре сообщение делали, а в феврале догадались, что надо преобразования Гартвига применить, вот у вас дело сразу и сдвинулось с мертвой точки, пошло как по маслу... Я ведь вам вопрос о работе только потому задал, что проблема у нас с вами, повторяю, мучительная... Ее не то что решить — даже и подойти-то к ней трудно. Надо же было мне как-то завязывать разговор, вот я и начал с вашей работы — для плавности, так сказать...

— Ну вот что... — начал было Малянов и даже поднялся почти, упираясь кулаками в столешницу, но горбун вдруг сказал ему: «Сядьте!» — да так жестко, что Малянов сразу же сел.

— Давайте без истерик! — продолжал горбун все так же жестко и уже без всякого ерничества в голосе. — Никакой измены Родине от вас не потребуется. Выкиньте этот бред из головы. Речь будет идти только о вас и о вашей работе. Больше ни о чем. Никаких государственных и военных тайн, никаких подписок, ничего подобного. Все дело в вашей работе, точнее, в вашей последней статье, еще точнее — в вашей теореме о макроскопической устойчивости. Нам это мешает, и мы самым убедительным образом просим вас дальнейшие размышления в этом направлении прекратить. Самым убедительнейшим образом, Дмитрий Алексеевич! — Он постучал ногтем указательного пальца по крышке стола, для вящей убедительности, что ли, и продолжал все так же жестко, словно гвозди вбивал: — К сожалению, скрытыми средствами отвлечения вас остановить не удалось. Администратором вы стать не пожелали, даже крупным. Обыкновенные житейские помехи на вас не действуют. Женщина вас по-настоящему ни отвлечь, ни увлечь не в состоянии. Даже смерть Снегового... — Горбун резко и словно бы с отвращением отодвинул от себя блюдце с недопитым чаем. — Даже смерть Снегового, к сожалению... — Он снова не закончил фразы. — Впрочем, об этом у вас еще будет время подумать... Сейчас вы должны ясно понять следующее. Ваша работа нам мешает. Следовательно, она вредна. Следовательно, ее надлежит прекратить. Следовательно, она и будет прекращена. Настоятельно советую вам проявить благоразумие, Дмитрий Алексеевич!

Малянов слушал все это, холодея. Неправдоподобность и даже иррациональность происходящего возбудила в нем животный страх, какой у нормального добропорядочного человека бывает разве что в тяжелом душном кошмаре. И, как в кошмаре, он испытывал дурное оцепенение, язык не слушался его и руки-ноги тоже.

А горбун — опять же ни с того ни с сего, словно его переключили на другую программу, — вдруг засуетился, замельтешил почти угодливо.

— А как насчет еще чайку? А? Свеженького? Понято! Айн момент! — И он мигом принялся за дело, вновь и вновь опережая Малянова в вопросах и движениях. — Кто такие «мы», чтобы требовать от вас чего-то, советовать, угрожать и так далее? Какое мы на то имеем право и откуда у нас на это власть? Резонно, резонно, но вы уж поверьте мне, Дмитрий Алексеевич, есть у нас и такое право, и такая власть... Ах, почему не живем мы с вами в благословенном девятнадцатом веке! Представился бы я вам генералом какого-нибудь таинственного ордена или жрецом Союза Девяти... Слыхали про Союз Девяти? Он учрежден был в незапамятные времена легендарным индийским царем Ашокою и существует до сих пор.

Чудесно, тайно, авторитетно... Девять почти бессмертных старцев пристально следят за развитием науки на Земле, следят, чтобы слепая жажда познания не привела людей к преждевременной кончине человечества. Вы же знаете, какие бывают ученые: все ему трын-трава, лишь бы узнать, возможна какая-нибудь там цепная реакция или нет. Потом он узнает, конечно, что реакция да, возможна, но уже поздно! Вот Союз Девяти и следит за порядком в этой области. Если кто-то вырвется слишком далеко вперед, опасно вырвется, не вовремя, вот тут-то и принимаются надлежащие меры! А иначе нельзя, Дмитрий Алексеевич. Никак нельзя! Знаете, что было бы, если бы Эйнштейну удалось построить единую теорию поля? Ведь там, в этой теории, есть такие нюансики... Бац! — и тишина. Надолго!

— Так вы что, жрец Союза Девяти? — спросил Малянов с усмешкой, принимая новую чашку чая.

Горбун замер в неудобной позе. Глаза его торопливо забегали по Малянову, лицо неприятно перекосилось, словно он забыл контролировать свою мимику.

— Не похоже, верно? — проговорил он наконец. — Чушь какая-то получается... Но ведь мы же с вами не в благословенном девятнадцатом. У нас на дворе — конец двадцатого. Электричество вот, газ, на мысу атомный опреснитель строят... Какие уж тут могут быть жрецы?

— Что вам от меня надо, вот чего я никак не могу понять, — сказал Малянов почти благодушно. — Если вы жулик, то...

— Стоп-стоп-стоп! — запротестовал горбун. — Мне от вас вот что надо: а — чтобы вы поняли свое положение, и бэ — чтобы при этом не свихнулись, не принялись бы драться или — упаси бог! — палить себе в висок из казенного пистолета... Понимаете? Чтобы вы все осознали, повели бы себя правильно и чтобы все было тихо-мирно, по-семейному. Вот что мне надо. Я вам специально передышку даю, психологическую, когда рассказываю про Союз Девяти. Бог с ним, с союзом этим, не до него нам сейчас...

— Ну а если я сейчас сюда милицию вызову? Приедет ПМГ...

— Да бросьте вы, в самом деле, милицией пугать, Дмитрий Алексеевич! Что это, в самом деле, за манера: чуть что — сразу милиция, ПМГ... Вы лучше судьбу Глухова вспомните!

— Какого Глухова?

— Да Владлен Семеныча.

— Не знаю я никакой судьбы Глухова...

— Ну тогда Снегового вспомните, Арнольд Палыча. Вспомните ваш с

ним последний разговор... вспомните, какой он был, наш Арнольд Палыч... Между прочим, очень, очень твердый человек оказался. Иногда просто вредно быть таким твердым, честное слово... И куда он только ни обращался — и в милицию, и по начальству... Да только кто же ему поверит, посудите сами?

Тогда Малянов вытянул губы дудкой, поднялся с демонстративной неторопливостью и, повернувшись спиною, направился к телефону. Горбун продолжал говорить ему вслед, все повышая голос и все быстрее выстреливая слова:

— ...Вот и осталось ему одно, бедолаге, — пулю в висок. А куда деваться? Куда? Показания его — бред. А, так сказать, обвиняемый, то есть лично я, сегодня здесь, а завтра...

Он вдруг замолчал, словно его выключили. Малянов обернулся. Кухня была пуста. На столе оставался обсосанный кусочек сахара, блюдце с чаем, чашка... И все. И тишина. Особенная, тяжелая, ватная тишина, какая бывает в болезненном бреду.

И вдруг свет в кухне померк, будто облако закрыло солнце. Но небо за окном было по-прежнему чистое, знойное, белесое. И, однако, что-то там тоже было не в порядке: там, на улице, пронесся вдруг желтый пыльный вихрь, хлопнуло где-то окно, стекла зазвенели, разлетаясь, и раздались какие-то крики — не то отчаянные, не то радостные. И вдруг завыла собака. И другая. И еще...

Малянов, лунатически переступая, вышел на балкон, огляделся (никого на балконе, разумеется, не было), поднял глаза к небу.

Начиналось затмение.

Некоторое время Малянов следил равнодушно, как черный диск наползает на солнце, как бегают и прыгают ребятишки на улице, размахивая закопченными стеклами, как мечутся собаки... Потом вернулся на кухню, налил в стакан воды из-под крана, жадно выпил, залив себе грудь и живот. Резко повернулся: горбун сидел на прежнем месте, улыбался — почему-то грустно — и наливал чай из чашки в блюдце.

— Сегодня я здесь, а завтра... А завтра меня здесь нет, — проговорил он. — И никакая милиция меня не найдет. Так что давайте уж лучше без милиции, Дмитрий Алексеевич...

— Кто вы? — хрипло спросил Малянов.

— Меня зовут Губарь Захар Захарович, — с готовностью представился горбун еще раз. — Но я понимаю, вы не об этом меня спрашиваете... Кто мы? Это трудный вопрос, вот в чем дело. Давайте не будем его обсуждать. Поверьте, это совершенно неважно, кто мы. Важно, что мы — сила,

неодолимая сила, или, как говорят на флоте, форс-мажорная сила. Преодолеть нас вы не сможете, вот что важно. Вы либо подчинитесь, либо погибнете — вот и весь ваш выбор, вот это, Дмитрий Алексеевич, вам действительно важно понять. А кто мы? В девятнадцатом веке мы назвали бы себя Союзом Девяти, в средние века я был бы Мефистофелем, а нынче... Ну, разумеется, вы считаете меня ловким иллюзионистом, гипнотизером, хотя и сами в это не верите... Нет-нет, я не умею читать мысли, успокойтесь, я только умею их вычислять... Поймите, я не жулик и не шпион, я не гипнотизер и не фокусник...

— Пришелец с другой планеты... — хрипло сказал Малянов и откашлялся.

Горбун вскинул на него глаза — веселые, с сумасшедшинкой.

— _Вы_ это сказали!

— Чушь, вздор...

— Не такая уж и чушь, голубчик! Не такой уж и вздор! Пришелец с другой планеты, представитель сверхмощной внеземной цивилизации — это такая же информационная реальность двадцатого века, как Мефистофель пятнадцатого или какие-нибудь туги-душители девятнадцатого... Не отмахивайтесь с пренебрежением! Подумайте! Ведь вам же легче станет, проще, понятнее... Сопоставьте факты. Ваша работа обещает в далеком будущем могучий рывок для всей земной цивилизации. А нашей цивилизации совсем не нужен соперник в Галактике, зачем нам соперник? И поэтому мы этот рывок уничтожаем самым безболезненным способом, еще в зародыше, — работу вашу останавливаем и прекр...

— Убирайтесь, — сказал Малянов негромко. — Убирайтесь вон!

— Дмитрий Алексеевич! Подумайте хорошенько.

— Пошел вон, сволочь! Работу тебе мою? Вот тебе — мою работу! — Малянов привстал со стула и сделал малопристойный жест. — Я ее вам не отдам. Я ее доведу до конца, понял? Она моя. Я эту идею двенадцать лет вынашиваю, она меня измучила. Пошел вон отсюда! Ничего не получишь, пришелец ты или жулик... Мне все равно... Работу ему мою!..

Он замолчал и принялся гулко глотать остывший чай. Молчал и горбун. А в кухне становилось все темнее, и выли за окном собаки.

Потом зазвонили в дверь. Малянов поднялся было, но приостановился и поглядел на горбуна. Тот покивал.

— Давайте-давайте. Это к вам.

Малянов все смотрел на него. В дверь позвонили снова.

— Открывайте-открывайте, — сказал горбун. — Не мытьем, так катаньем, Дмитрий Алексеевич. У нас, знаете ли, тоже выхода нет.

Приходится пользоваться самыми разными средствами...

Тогда Малянов осторожно снял с гвоздя шипастый тяжелый молоток для отбивания мяса, демонстративно взвесил его в руке и неспешно двинулся через прихожую к входной двери.

За порогом, на площадке, стоял мальчик лет семи. На мальчике были трогательные короткие штанишки с двумя лямочками через плечо и с поперечной лямочкой на груди — так одевали обеспеченных мальчиков в тридцатые-сороковые годы, и вообще он производил впечатление ребенка из тех времен, а короткая стрижка с челочкой еще усиливала это впечатление.

Больше на лестничной площадке никого не было. Мальчик стоял один — хмурый, насупленный, руки за спиной.

— Тебе кого надо? — спросил Малянов, не зная, куда теперь девать шипастый молоток.

— Я к тебе, — ясным голосом ответил мальчик. — Я теперь буду у тебя жить.

— Что еще за глупости, — сказал Малянов сурово. — Кто это тебя, интересно, подучил?

— Ай! — вскричал вдруг мальчик, отступая на шаг и заслоняясь ладонями и локтями. Он глядел мимо Малянова, за спину ему, в коридор, и Малянов сейчас же обернулся, заранее отводя молоток для удара.

Но в коридоре никого не оказалось, а мальчишка, довольно гадко хихикнув, прошмыгнул мимо Малянова и по-хозяйски пошел по квартире, отворяя все двери и заглядывая во все комнаты. Ошеломленный Малянов следовал за ним как привязанный.

— Это детская, ясно... — говорил мальчик, подшмыгивая носом. — Твоего Петьки комната? Ничего себе комнатка — светлая, квадратная... Ага. Это у тебя санузел. А почему ванна грязная? Ванну надо мыть — и до, и после... И полотенца небось месяц не стираны... Кухня. Ясненько... — В кухне мальчик чуть задержался, искоса поглядел на стол (пустое блюдце, обсосанный кусочек сахара, чашка, а горбуна, разумеется, и в помине нет), но ничего не сказал, проследовал на балкон. — Здесь что? Ага, здесь затмение... Хорошо. И балкон у тебя хороший, только бутылки надо вовремя сдавать... — Он вернулся в кухню и снова задержался у стола. — А этот... Ушел, что ли? Давно?

Малянов обрел наконец дар речи:

— Послушай-ка, — сказал он. — Кто тебя подослал?

— А в общем-то, ушел — и слава богу, — сказал мальчик, не обращая внимания на вопрос. — Главное, что его тут нет. И воздух чище. Ты

знаешь, ты с ним лучше не связывайся. Ты вообще с ними не связывайся...

— С кем?!

— Тебе-то, может, и ничего не будет, а вот меня они не пожалеют...

Тут Малянов поймал его за плечи и, усевшись, поставил у себя между колен.

— А ну, давай рассказывай все, что знаешь!

Но мальчик вывернулся. Он не хотел стоять (по-сыновьи) между маляновских колен.

— А я еще меньше твоего знаю, — сказал он небрежно. — Да тут и знать-то нечего. Сказано тебе: прекрати, вот и прекращай. А то грамотные все очень стали, рассуждают все: что да как... А тут, знаешь, рассуждать нечего. Тут — закон джунглей. Или ты ложись на спинку и лапки кверху, или... это... не жалуйся.

Малянов поднялся.

— Пойдешь со мной, — объявил он.

— Куда это?

— Пошли, — сказал Малянов, беря мальчика за плечо.

Мальчик послушно позволил вывести себя в прихожую, подождал, пока Малянов отворит наружную дверь, и тут вдруг словно взорвался.

Он мигом вскарабкался по Малянову, как кот по столбу, и принялся лупить его коленками, кулаками, локтями, драл его ногтями и все норовил прихватить зубами щеку или ухо. При этом он орал. Он ужасно орал, выл и верещал, как истязуемый:

— Ой, дяденька, не надо! Ой, больно! Ой, я больше не буду! Дяденька! Не надо! Это не я! Это не я! Не бей меня, я больше не буду!..

Малянов шарахнулся, пытаясь отодрать от себя этого маленького дьявола, но тщетно. Мальчишка дрался и орал как оглашенный, а по всей лестнице уже захлопали двери, зашаркали шаги.

— Что там такое?.. — раздавались голоса. — Что случилось? У кого это? Кажется, ребенок...

Малянов ввалился обратно в квартиру, и мальчишка тут же очень ловко ногой захлопнул входную дверь. Потом он отпустил Малянова, легко соскользнул на пол, шмыгнул носом.

— Вот так-то лучше, — сказал он как ни в чем не бывало. — А то выдумал — милицию в это дело впутывать. Это же — дело деликатное, неужели до сих пор не ясно? Посадят тебя в психушку — и все дела. Не балуй, дядя!

И он не спеша, руки в карманы, проследовал в маляновский кабинет. Огляделся там. Подошел к столу, вскарабкался в маляновское рабочее

кресло, небрежно перебросил несколько листков.

— Все истину ищешь... — пробормотал он осудительно. — Гармонию!.. Не подпирай стенку, сядь. Придется мне вогнать тебе ума в задние ворота... Это кто? — Он выкопал из бумаг фотографию мальчика под стеклом на подставочке. — А, Петька... Сын, стало быть. Вот ты гармонию ищешь, — обратился он к Малянову проникновенно, — а понимаешь ли ты, что вот сына твоего не тронут, это, видите ли, дешевый прием, запрещенный, видите ли... Тебя самого, скорее всего, тоже не станут уничтожать, хотя это вопрос более сложный... А вот со мной церемониться не будут!

— Почему? — спросил очень маленький и очень тихий Малянов, сидящий на краешке тахты у двери.

— А чего со мной церемониться? Кто я такой, чтобы со мной церемониться? Нет, со мной церемониться не будут, не надейся! Ты будешь искать здесь вечную гармонию, весь такой погруженный в мир познания, а меня тем временем... — Он не закончил, сполз с кресла и пошел наискосок через комнату к книжным полкам. — А меня тем временем за это, то есть за искания твои, за твои чистые, бескорыстные искания истины... Вот! — Он перелистнул том Достоевского. — «Да не стоит она (то есть твоя гармония, дяденька) слезинки хотя бы одного только того замученного ребенка!» Помнишь, откуда? «Братья Карамазовы». Это Иван говорит Алеше. «И если страдания детей пошли на пополнение той суммы страданий, которая необходима была для покупки истины, то я утверждаю заранее, что вся истина не стоит такой цены». Вот сказал, так сказал! На сто лет вперед сказал! А может, и на двести? Ведь слова-то никогда и ничего не решали... — Он захлопнул книгу и вдруг попросил: — Кушать хочу! Кушинькать!..

Он сидел на кухне на толстом справочнике, подложенном под него на табуретку, уплетал ложкой яичницу из сковородки и продолжал уговаривать Малянова:

— А ты брось, в самом деле. Брось, и все. Не ты первый, не ты последний... Главное, было бы из-за чего спорить! Я ведь посмотрел, что там у тебя, — закорючки какие-то, циферки, ну кому это надо, сам посуди! Кому от них легче станет, чья слеза высохнет, чья улыбка расцветет?..

— Нет, старик, ты не понимаешь... — проникновенно втолковывал в ответ Малянов. Он основательно хватил из фигурной бутылки с ликером, и настроение его теперь менялось в очень широком диапазоне. — Во-первых, глупости, что это никому не надо. Тогда и Галилеевы упражнения с

маятниками, они тоже никому были не нужны? Или там про вращение Земли — кому какое дело, вертится она или не вертится? Да и не в этом дело! Не могу! Не могу я это бросить, паря! Это же моя жизнь, без этого я ничто... Ну, откажусь я, ну, забуду — и чем же я тогда стану заниматься? Жить для чего? И вообще — что делать? Марки собирать? Подчиненных на ковре распекать? Ты способен понять, какая это тоска, вундеркинд ты с лямочками? И потом — никакая сволочь не имеет права вмешиваться в мою работу!..

— Галилей ты задрипанный! — убеждал мальчик. — Ну что ты строишь из себя Джордано Бруно? Не тебе же гореть на костре — мне! Как ты после этого жить будешь со своими макроскопическими неустойчивостями? Ты об этом подумал? Без работы он, видите ли, жить не сможет...

— Да вранье все это. Запугали они тебя, паря! Ты мне только скажи, кто они такие...

— Дурак! Ой, дурак какой!

— Не смей взрослого называть...

— Да поди ты! Сейчас не до церемоний! Вот подожди... — Мальчик снова раскрыл том Достоевского и прочитал с выражением: — «Скажи мне сам прямо, я зову тебя — отвечай: представь, что это ты сам возводишь здание судьбы человеческой с целью в финале осчастливить людей, дать им наконец мир и покой, но для этого необходимо и неминуемо предстояло бы замучить всего лишь одно только крохотное созданьице, вот того самого ребеночка... м-м-м... и на его слезках основать это здание, согласился ли бы ты быть архитектором на этих условиях...» А? Согласился бы?

Малянов слушал его, полуоткрыв рот. Мальчишка читал плохо, по-детски, но смысловые ударения ставил правильно. Он понимал все, что читает. И когда мальчик кончил, Малянов замотал щеками, словно силясь прийти в себя, и пробормотал:

— Бред, бред... Ну и ну!

— Ты не нуинукай! — наступал мальчик. — Ты отвечай, согласился бы или нет?

— Как тебя зовут, странное дитя?

— Не отвлекайся! Да или нет?

— Ну, нет! Нет, нет, конечно.

— О! Все говорят нет, а посмотри, что кругом творится! Крохотные созданьица мрут, как подопытные мухи, как дрозофилы какие-нибудь, а вокруг все твердят: нет! ни в коем случае! дети — цветы жизни!.. — Он вдруг широко зевнул. — Спатиньки хочу. А ты думай. И не будь

равнодушным ослом. Я ведь знаю, ты детей любишь. А начнешь себя убеждать да накачивать: дело прежде всего! потомки нас не простят!.. Ты же понимаешь, что ты не Галилей. В историю тебя все равно не включат. Ты — человек средненький. Просто повезло тебе с этими полостями устойчивости — додумался раньше прочих... Но ведь ты человек вполне честный? Зачем тебе совесть-то марать, ради чего?.. — Он снова зевнул. — Ой, спатиньки хочу. Спатки!

Он протянул к Малянову руки, вскарабкался ему на колени и положил голову на грудь. Глаза у него тут же закрылись, а рот приоткрылся. Он уже спал.

Некоторое время Малянов тихо сидел, держа его на руках. Он и в самом деле любил детишек и ужасно скучал по сыну. Потом все-таки поднялся, осторожно уложил мальчика на тахту в кабинете, а сам взялся за телефон.

— Вечеровский? Фил, я зайду к тебе. Можно?

— Когда? — спросил Вечеровский, помолчав.

— Немедленно.

— Я не один.

— Женщина?

— Нет... один знакомый.

У Малянова вдруг широко раскрылись глаза.

— Горбун? — спросил он, понизив голос. — Рыжий?

Вечеровский хмыкнул.

— Да нет. Он скорее лысый, чем рыжий. Это Глухов. Ты его знаешь.

— Ах, Глухов? Прелестно! Не отпускай его! Пусть-ка он нам кое-что расскажет. Я иду! Не отпускай его. Жди.

Малянов подкатил на своем старинном велосипеде к высокому антисейсмическому дому, окруженному зеленым палисадником, соскочил у подъезда и принялся привычным движением заводить велосипед в щель между стеной и роскошной белой «тридцать второй» «Волгой» (с белыми «мишленовскими» шинами на магниевых литых дисках).

Пока он этим занимался, дверь подъезда растворилась и из дома вышел давешний лопоухий шофер, который возил только вчера Снегового. Выйдя, он оглянулся по сторонам как бы небрежно, но небрежность эта была явно показной. Шофер чувствовал себя не в своей тарелке и сильно вздрогнул, даже как-то дернулся, словно собирался броситься наутек, когда из-за угла вывернула и протарахтела мимо какая-то безобидная малолитражка. Малянова и появление шофера, и поведение его несколько

удивили, но ему было не до того, и когда шофер, торопливо усевшись в кабину своего газика, уехал, Малянов тут же забыл о нем.

Он вошел в подъезд и нажал кнопку квартиры 22.

— Да? — отозвался хрипловатый радиоголос.

— Это я, — сказал Малянов, и дверь перед ним распахнулась.

Он медленно пошел по лестнице на четвертый этаж. Он ступал тяжело, тяжело сопел, и лицо его стало тяжелым и мрачным. Лестница была пуста и чиста — до блеска, до невозможности. Сверкали хромированные перила, сверкали ряды металлических заклепок на обитых коричневой кожей дверях — Вечеровский жил в каком-то образцово-показательном доме, где все было по классу «А».

У Вечеровского и квартира образцово-показательная, где все было по классу «А». Изящная люстра мелкого хрусталя, строгая финская стенка, блеклый вьетнамский ковер, несомненно, ручной работы, круглый подсвеченный аквариум с величественно-неподвижными скаляриями, ультрасовременная хай-фай-аппаратура, тугие пачки пластинок, блоки компакт-кассет... В углу гостиной — черный журнальный столик, в центре его — деревянная чаша с множеством курительных трубок самой разной величины и формы.

Хозяин в безукоризненном замшевом домашнем костюме (белая сорочка с галстуком! дома!!!) помещался в глубоком ушастом кресле. В зубах — хорошо уравновешенный «бриар», в руках — блюдечко и чашечка с дымящимся кофе. Все дьявольски элегантно. Антикварный кофейник на лакированном подносе. И по чашечке кофе (чашечки — тончайшего фарфора) — перед каждым из гостей.

По левую руку от Вечеровского прилепился в роскошном кресле Глухов, совсем не роскошный маленький человечек, лысоватый, очкастенький, в рубашечке-безрукавочке, в подтяжках, с брюшком. Бледные волосатые ручки сложены и засунуты между колен. Все внимание направлено на Малянова.

Малянов — особенно крупный, потный и взлохмаченный сейчас, среди всей этой невообразимой элегантности, — закончил свой рассказ словами:

— ...Я лично считаю, что все это — ловкое жульничество. Но не понимаю, зачем и кому это нужно. Потому что на самом деле... на самом деле! Ну что с меня взять? Ну, кандидат, ну, старший научный сотрудник... Ну и что? Сто рублей на сберкнижке, восемьсот рублей долгу...

Он энергически пожал плечами и, помотав щеками, откинулся в кресле. При этом задел ногой столик, чашечка его подпрыгнула в блюдце и

опрокинулась.

— Пардон... — проворчал Малянов рассеянно.

— Еще кофе? — сейчас же осведомился Вечеровский.

— Нет. А впрочем, налей...

Вечеровский принялся осторожно, словно божественную амброзию, разливать кофе по чашечкам, а Глухов глубоко вздохнул и забормотал как бы про себя:

— Да-да-да... Удивительно, удивительно... И ведь в самом деле, не пожалуешься, не обратишься... никто не поверит. Да и как тут поверить?

— Ты полагаешь, — сказал Вечеровский Малянову, — что твоя работа действительно тянет на Нобелевскую премию?

— А черт его знает, на самом деле. Как я могу судить? Что я тебе — Нобелевский комитет? Классная работа. Экстра-класс. Люкс. Это я гарантирую. Но мне же ее еще надо докончить! Они ведь мне ее докончить не дают!

— Да-да-да... — снова заторопился Глухов. — Да! Но ведь с другой-то стороны... Вы только вдумайтесь, друзья мои, представьте это себе отчетливо... Дмитрий Алексеевич! Кофе какой — прелесть! Сигаретка, дымок голубоватый, вечер за окном — прозрачность, зелень, небо... Ах, Дмитрий Алексеевич, ну что вам эти макроскопические неустойчивости, все эти диффузные газы, сингулярности... Неужели это настолько уж важно, что из-за этого следует... Ну, вот, например, возьмем звезды. Право же, есть что-то в этой вашей астрономии, что-то такое... непристойное, что ли, подглядывание какое-то... А зачем? Звезды ведь не для того, чтобы подглядывали за ними, за их жизнью... Звезды ведь для того, чтобы ими любовались, согласитесь...

Он не спорил, не настаивал, этот маленький тихий Глухов, он, скорее уж, уговаривал, просил, умолял даже каждой черточкой своего невыразительного серого личика. Но на Малянова эта его речь подействовала почему-то раздражающе, и он, не думая, брякнул:

— А ведь он и вас упоминал, Владлен Семенович!

— Кто?

— Горбун. Рыжий этот, бандит-пришелец.

— Меня?

— Вот именно, вас. «Вспомните, — говорит, — что случилось с Глуховым!..» — Тут Малянов осекся, потому что Глухов побелел, даже позеленел как-то и совсем задвинулся в глубину огромного кресла. Никогда еще Малянов не видел до такой степени испуганного человека.

— А что со мной случилось? — пробормотал Глухов затравленно. —

Со мной все в порядке. Ничего со мной не случилось... и не случалось...

Вечеровский, не глядя, протянул руку вправо, извлек из скрытого холодильника сифон и высокий стакан. Зашипела струя, стакан очутился перед Глуховым, но тот пить не стал, даже в руки его не взял и посмотрел на него, как будто это отрава какая-то. Он только облизнул сухие губы сухим языком и еще глубже засунул слабые свои лапки между колен.

— Это все вздор... Это вздор какой-то, Алексей Дмитр... Дмитрий Алексеевич, — шелестел он. — Вы не верьте. Как можно верить?.. Явные жулики...

Малянов смотрел на него пристально.

— Если это жулики, надо их вывести на чистую воду, так? — спросил он свирепо.

— Конечно, конечно... Но как?

— Для начала каждый должен рассказать все, что знает про них.

— Безусловно, разумеется... — Глухов снова облизнулся. — Но ведь я... Вы, кажется, решили, будто я что-то знаю про них. Но ведь я ничего не знаю, уверяю вас.

— Ничего?

— Право же, ничего... Тут какая-то ошибка...

— Так-таки и ничего? — продолжал наседать Малянов, значительно прищуриваясь.

— Ни-че-го! — неожиданно твердо отчеканил Глухов. Словно точку поставил на этой теме.

Глухов выпростал руки из колен, проглотил свой кофе и сейчас же запил водой из стакана. На лице его вновь обозначился румянец. Он улыбнулся и, неумело изображая развязность, вольготно расположился в кресле, засунув большие пальцы рук под подтяжки.

Малянов ел его глазами, но Глухова все эти взгляды вроде бы и не волновали вовсе — он, казалось, совершенно оправился от своего неодолимого страха и держал теперь себя как ни в чем не бывало.

— Но сами-то вы верите, что это жулики? — спросил наконец Малянов.

— А представления не имею, — ответил Глухов все с той же судорожной развязностью. — Откуда же мне это знать, посудите сами, Дмитрий Алексеевич?

— Ну а все-таки?..

— Отстань от человека, — негромко сказал Вечеровский. — Ты прекрасно понимаешь, что это не жулики.

— То есть? Откуда это следует?

— Если бы ты считал их обыкновенными жуликами, ты бы уже был в милиции, а не здесь...

— Как это, интересно, я попрусь в милицию? А факты?

— Вот именно, — сказал Вечеровский. — Факты. Факты, дорогой мой! Так что не тешь себя иллюзиями, это не жулики. Какое дело жуликам до твоих полостей устойчивости?

— А какое дело до них инопланетным пришельцам?

— Тебе же объяснили, какое. И объяснили весьма логично. Твоя работа в перспективе выводит человечество в ряды сверхцивилизаций, делает нас их соперниками во Вселенной. Естественно, они предпочитают расправиться с соперником, пока тот еще в колыбели. Как это сделать? Высаживать десанты? Взрывать арсеналы? Зачем? Надо именно так: тихо, бесшумно, почти безболезненно скальпелем по самому ценному, что есть у человечества, — по перспективным исследованиям...

— Бог ты мой, Фил! Ты же сам говоришь — это сверхцивилизация, а значит, сверхразум, сверхгуманность, сверхдоброта!..

Вечеровский кривовато усмехнулся.

— Милый мой, откуда тебе знать, как ведет себя сверхдоброта? Не доброта, заметь себе, пожалуйста, а сверхдоброта.

— Все равно, все равно... — Малянов замотал щеками. — Методы... Методы, Фил! Ты пойми, это сверхмощная организация... Он же способен исчезать и появляться мгновенно... это же как волшебство! Если сверхцивилизация, то они, с нашей точки зрения, почти всемогущи. И вдруг такая дешевка — доведение до самоубийства, шантаж, подкуп...

— Что ты знаешь о сверхцивилизациях?

— Нет-нет. Все равно. Нецелесообразно.

— Какова целесообразность моста — с точки зрения рыбы? — провозгласил Вечеровский. — Когда тебе на щеку садится комар, ты бьешь по нему с такой силой, что мог бы уничтожить всех комаров в округе. Это целесообразно?

— Я понимаю, что ты хочешь сказать. Но дело даже не в этом. Как ты не чувствуешь несоразмерности? При их всемогуществе... Ну зачем им поднимать весь этот шум? Зачем им нужно, чтобы Малянов бегал по знакомым и жаловался в милицию? Зачем? Ведь куда проще было подсунуть ему тухлого омара — и концы.

— Н-ну, значит, они принципиальные противники убийства, — сказал Вечеровский, снова принимаясь разливать кофе. — Сверхгуманность.

— Ага, ага, шантажировать можно, а убивать нельзя. Ну ладно... Можно же и без убийства, в рамках, так сказать, гуманности... Можно так,

например, — садится Малянов работать над своей статьей, и сейчас же у него разбаливается живот, да так, что никакого терпежу нет, и уже ни о какой работе говорить невозможно. Отложил работу — все прошло, снова взялся за нее...

Тут Малянов замолчал, потому что заметил, что Вечеровский его не слушает. Вечеровский сидел к нему боком и, крутя в пальцах драгоценную трубку, пристально глядел на Глухова, а Глухов вдруг забеспокоился, зашевелился, снова съежился в кресле, и глазки его приняли выражение, как у загнанного зверька.

— Что вы на меня смотрите, Филипп Павлович? — жалобно проскрипел он.

— Прошу прощенья, — сейчас же отозвался Вечеровский и, отведя глаза, принялся старательно выбивать и вычищать трубку.

— Нет, позвольте! — снова заскрипел Глухов, но теперь уже не жалобно, а скорее даже вызывающе. — Я ваш взгляд понимаю вполне определенным образом... Я и раньше замечал такие взгляды... И ваши прежние намеки! Я хотел бы изъясниться сейчас же и окончательно! И пусть Дмитрий Алексеевич присутствует... Посудите сами, Дмитрий Алексеевич, — он повернулся к Малянову, — будьте судьей. Да, у меня было нечто подобное... Но это аллергия, и не более того. Болезнь века, как говорится...

— Не понимаю, — сказал Малянов сердито.

— Действительно, это было как-то связано с моей работой. Какая-то связь, пожалуй, была... Но ведь не более того. Не более того, Филипп Павлович! Аллергия — и не более того!..

— Я вас не понимаю, Владлен Семенович! — сказал Малянов, оживляясь, ибо кое-что ему стало понятно.

— Все очень просто, — сказал Вечеровский лениво. — Начиная с прошлого марта, стоило Владлену Семеновичу сесть за свою диссертацию, уже почти готовую, между прочим, как его поражала головная боль, причем столь сильная, что он вынужден бывал свою работу прекращать. Это длилось несколько месяцев и кончилось тем, что Владлен Семенович свою диссертацию и вовсе отставил...

— Позвольте, позвольте! — живо вмешался Глухов. — Все это так, но я хочу подчеркнуть, что я отставил ее, как вы выражаетесь, только временно и исключительно по совету врачей... И я попросил бы никаких аналогий здесь не проводить. Всякие аналогии здесь совершенно неправомерны...

— Над чем вы работали? — резко спросил Малянов. — Тема?

— «Культурное влияние США на Японию. Опыт количественного и качественного анализа», — с готовностью отбарабанил Глухов.

— Господи, — сказал Малянов. — При чем тут культурное влияние...

— Вот именно! — подхватил Глухов. — Вот именно!

— А тема у вас не закрытая была?

— Ни в какой степени! Совершенно!

— А Губаря, Захара Захаровича, вы не знаете?

— Да в первый раз слышу!

Малянов хотел спросить еще кое о чем, но спохватился: он вдруг понял, что задает Глухову такие же вопросы, какие Снеговой задавал вчера ему, Малянову.

— Вы понимаете, что я не мог не последовать совету врачей, — продолжал между тем Глухов. — Врачи посоветовали, и я отложил пока эту работу. Пока! В конце концов, в мире достаточно прелести и без этой моей работы... И потом я, знаете ли, амбиций никаких не имею, да и не имел никогда... Я ученый маленький, а если по большому счету, то и не ученый, собственно, а так, научный сотрудник. Конечно, я люблю свою работу, но, с другой стороны... — Он поглядел на часы и всполошился. — Ай-яй-яй-яй! Поздно-то как! Я побегу... Я побегу, Филипп Павлович! Извините, друзья мои, но сегодня же детектив по телевизору... Ах, друзья мои, друзья мои! Ну много ли человеку надо? Если честно, если без дурацкой, простите, романтики? Добротный детектив, стакан правильно заваренного чая в чистом подстаканнике, сигаретка... Право же, Дмитрий Алексеевич, было трудно, очень болезненно было мне выбрать более спокойный путь, но врачи врачами, а если подумать: что выбирать? Ну конечно же, жизнь надо выбирать. Жизнь! Не абстракции, пусть даже самые красивые, не телескопы же ваши, не пробирки... не затхлые же архивы! Да пусть они подавятся всеми этими телескопами и архивами! Жить надо, любить надо, природу ощущать надо... Именно ощущать, прильнуть к ней, а не ковырять ее ланцетом... Когда я теперь смотрю на дерево, на куст, я чувствую, я ощущаю физически: это мой друг, мы нужны друг другу... Ах, Дмитрий Алексеевич!

Он вдруг махнул рукой и пошел из комнаты, на ходу вдевая руки в рукава серого своего занюханного пиджачка. Он даже не простился ни с кем. Пронесся по гостиной сквознячок, колыхнул облако табачного дыма над головой Вечеровского, потом ахнула вырвавшаяся, видимо, из рук входная дверь, и все стихло.

— Ну и что ты думаешь? — осведомился Малянов агрессивно.

— О чем?

— Что ты думаешь о своем Глухове? По-моему, его запугали. Или даже купили. Какая гадость!

— Не суди и не судим будешь.

— Ты так ставишь вопрос? — сказал Малянов саркастически.

Вечеровский наклонился вперед, выбрал в чаше новую трубку и принялся медленно, вдумчиво набивать ее.

— Мне кажется, Митя, — сказал он, — ты плохо пока понимаешь свое положение. Ты возбужден, ты слегка напуган, сильно озадачен и в высшей степени заинтригован. Так вот, тебе надлежит понять, что ничего интересного с тобою не произошло. Тебе предстоит очень неприятный выбор. Неприятный в любом случае, ибо если ты поднимешь руки, то станешь таким, как Глухов, и никогда не простишь себе этого, ты же очень высокого о себе мнения, я тебя знаю. Если же ты решишь бороться, тебе будет так плохо, как бывает только человеку на передовой...

— На передовой люди тоже жили, — сказал Малянов сердито.

— Да. Только, как правило, плохо и недолго.

— Ты что, запугиваешь меня?

— Нет. Я пытаюсь только объяснить тебе, что в твоем положении нет ничего интересного. На тебя действует сила — чудовищная, совершенно несоразмерная и никак не контролируемая...

— Ты все-таки считаешь, что это сверхцивилизация?

— Послушай, дружище, какая тебе разница? Тля под кирпичом, тля под пятаком... Ты — одиночный боец, на которого прет танковая армия.

— Клопа танком не раздавишь, — пробормотал Малянов.

— Верно. Но ты же не согласен быть клопом.

— Хорошо, хорошо, но что ты мне посоветуешь? Я ведь пришел к тебе за советом, черт тебя дери, а не философией заниматься...

— Я тебе могу посоветовать только одно: пойми и осознай, что ничего интересного...

— Это я уже понял!

— По-моему, нет.

— Это я уже понял! — сказал Малянов, повышая голос. — И легче мне от этого не стало. Если это жулики, то я их не боюсь. Пусть они меня боятся. А если это действительно сверхцивилизация, если это действительно вторжение... Во-первых, я не очень-то в это верю... А во-вторых, что ж, мы так и будем сдаваться — один за другим? Мы ляжем на спинку, все по очереди, и будем жалостно махать лапками в воздухе, а они беспрепятственно станут отныне определять, чем нам можно заниматься, а чем нельзя? Нет, отец, этого допускать нельзя, как хочешь...

— Логично, — сказал Вечеровский без всякого, впрочем, одобрения в голосе. — И даже красиво. Только на передовой нет ни логики, ни красоты. Там — грязь, голод, вши, страх, смерть...

Малянов не слушал его. Он глубоко вдруг задумался. Рот приоткрылся, глаза стали бессмысленными. Потом он вдруг улыбнулся.

— Слушай, Фил, — сказал он. — А мощную, наверное, я сделал работу, если целая сверхцивилизация поднялась на нее войной. А?

Дома он снова засел за работу. Он махнул рукой на все, все отринул, все забыл — он работал. Он исписывал формулами листок за листком и швырял черновики прямо на пол. Было уже поздно. Гасли окна в домах напротив. Стало совсем темно. Из открытого окна летели мотыльки, кружились вокруг лампы, падали на бумагу перед Маляновым. Он их досадливо смахивал, но они возвращались на ярко-белое — снова и снова.

Мальчик как с вечера заснул, так и спал беспробудно, обняв во сне мохнатого олимпийского мишку. Малянов прикрыл их обоих шалью. По кушетке разбросаны были книги: том Спинозы, Достоевский, «Популярная медицинская энциклопедия» и какие-то детские, с картинками.

Работалось Малянову очень хорошо, он ни на что не отвлекался, только один раз почудилось ему боковым зрением, что в кресле для гостей сидит, прикрыв лицо ладонью, большой темный человек... Малянов вздрогнул так, что ручка вылетела у него из пальцев и закатилась под бумаги. Еще мгновение он совершенно отчетливо видел человека в кресле и успел понять, что это Снеговой сидит там, упершись локтем в подлокотник, и смотрит одним глазом через расставленные пальцы... Потом страшное видение исчезло — купальный халат лежал в кресле, разбросав пустые рукава. Но Малянов вынужден был встать и пройтись несколько раз по комнате, чтобы успокоиться. Халат он сложил и унес в ванную.

А потом, это было уже часов в одиннадцать, раздался вежливый тихий звонок в дверь, и мальчик сразу сел, словно подброшенный, словно он и не спал вовсе.

— Это за мной! — сказал он с отчаянием.

Малянов с трудом оторвался от своих бумаг.

— Что ты сказал?

— Ты все-таки засел за свою проклятую работу... — продолжал мальчик, отползая по тахте в самый угол. — Я все проспал, а ты опять засел за эти проклятые формулы... Я же предупредил тебя... Эх ты, Галилей задрипанный...

В дверь зазвонили снова.

Малянов, заранее хмурясь, вышел в прихожую и щелкнул замком. На

пороге стоял приятной внешности мужчина лет тридцати в потертых джинсах и какой-то курточке, накинутой прямо поверх майки, — по-домашнему. А на ногах у него вместо ботинок были шлепанцы, тоже по-домашнему.

— Прошу извинить, — сказал он, прижимая руку к сердцу. — Но мне сказали, что мой Витька у вас...

— Витька?

— Вы знаете, он у нас парнишка с фантазиями... Уж извините, если он вас утомил, но у него манера появилась: натворит что-нибудь, а потом удерет, спрячется у соседей, навыдумывает там с три короба...

— Прошу, — сказал Малянов сухо.

Он и сам не мог объяснить себе, чем не нравился ему этот вежливый папаня, явно и очевидно угнетенный невоспитанностью и самодовольством своего капризного сына. Они вместе вошли в комнату, и папаня прямо с порога залебезил:

— Ну что ты, Витька... Что ты, в сам-деле, вытворяешь. Ну, пошли домой, пошли... Хватит. Подумаешь, графин раскокал... Будто тебя за это бить будут. Пошли. Мама там плачет, волнуется... Пошли, а?

Мальчик молча, поджав по-взрослому губы, принялся послушно слезать с тахты, а папаня все продолжал говорить как заведенный:

— Беда мне с ним, беда и беда. Хоть к врачам обращайся. Растет дикий, как камышовый кот. Не признает ну ни малейшей строгости... Витя, застегни, пожалуйста, сандалики... свалятся... Вы только представьте себе: ну, я — мужик, ладно, но матери-то каково, Дмитрий Андреевич!..

— Алексеевич, — машинально поправил Малянов.

— Разве? А мне сказали «Андреевич».

— Кто сказал?

— Да в жакте какая-то тетка... Ты готов, Витька? Ну, пошли... Извините, ради бога, за беспокойство. Ох, дети, дети...

Мальчик взялся за протянутую руку мужчины и только сейчас глянул на Малянова, и взгляд у него был такой странный, что Малянов подобрался и, преодолевая неловкость, проговорил:

— М-м-м... Вы простите, но... Документы ваши... Все-таки чужой ребенок... Разрешите взглянуть...

— Ну конечно, ну ясно! — всполошился мужчина, хлопая себя по карманам курточки и джинсов. — Мы здесь же и живем, в этом же доме, только в четвертом подъезде... Милости прошу, в любой момент... Будем очень рады... Вот, пожалуйста. — Он протянул Малянову маленькую аккуратную визитную карточку. — Полуянов Александр Платонович,

работаю на СМУ-16, главный инженер... так что человек довольно известный... Прошу, так сказать, любить и жаловать. Очень было приятно познакомиться, но в будущем лучше было бы встречаться в более приятной ситуации, правильно? Извините еще раз. Витька, попрощайся с Дмитрием Андреевичем и скажи «спасибо».

— До свидания, — сказал мальчик без выражения. — Спасибо.

И Малянов остался в прихожей один.

Он вернулся к столу, швырнул поверх бумаг визитную карточку и встал около распахнутого окна так, чтобы видеть свой подъезд. Ртутный фонарь мертво светил сквозь черную листву. Прошла заплетающимся шагом парочка в обнимку и скрылась в палисаднике. Две старухи молчали, сидя рядышком на скамеечке около подъезда. Из дома никто не выходил.

Тогда Малянов перегнулся через стол и снова взял в руки визитку. Только теперь это была не визитка. Это был маленький прямоугольник очень белого картона, чистый с обеих сторон.

И вдруг за окном заплакал, забился в истерике ребенок: «Ой, не надо! Ой, я больше не буду!.. Ой-ей-ей... я не буду больше!» Малянов тотчас высунулся из окна по пояс — на улице никого, только хлопнула где-то в отдалении дверь и сразу же стихли отчаянные детские вопли.

В два огромных прыжка Малянов пересек всю свою квартиру и оказался на лестнице. И там, конечно, было пусто тоже. Только лежал на верхней ступеньке пролета какой-то непонятный желтый предмет. Это была маленькая сандалия. С правой ноги. Малянов поднял ее, повертел в руках, потом медленно вернулся домой, к столу, где лампа ярко освещала исчирканные, разрисованные кривыми листки, по которым ошалело ползали большие черные мотыльки и всякая крылатая зеленая мелочь.

Он собрался быстро.

Все бумаги, лежавшие на столе, все листки, разбросанные по полу, чистовые страницы статьи с еще не вписанными формулами, графики, таблицы, красиво вычерченные для показа по эпидиаскопу, — все это он аккуратно и ловко собрал, подровнял и сложил в белую папку «Для бумаг». Папка раздулась, и он для вящей прочности перетянул ее хозяйственной резинкой. Потом нашарил в ящике стола черный фломастер и неторопливо, со вкусом вывел на обложке: «Д. Малянов. Задача о макроскопической устойчивости».

Закончив все дела, он взял папку под мышку, внимательно оглядел комнату, будто рассчитывал обнаружить что-нибудь забытое впопыхах, и выключил лампу. Стало темно, только светились насыщенным красным

светом цифры на дисплее калькулятора. Тогда он выключил и калькулятор тоже.

Он подъехал к дому Вечеровского на велосипеде, которым управлял одной рукой, правой, — потому что под мышкой левой у него была зажата толстая белая папка. Медленно, грузно, словно больной, он сполз с седла, прислонил велосипед к стене и поднялся по лестнице к подъезду.

Дверь была распахнута. В проеме, прямо на пороге, сидел какой-то человек. Он поднял навстречу Малянову лицо, и Малянов узнал Глухова. Лицо у Глухова было измученное, перекошенное и вдобавок измазанное не то сажей, не то краской.

— Не ходите туда, Дмитрий Алексеевич, — проговорил Глухов. — Туда сейчас нельзя.

Он загораживал проход, и Малянов молча стоял перед ним и ждал.

— Еще одна папка. Белая. Еще один флаг капитуляции... — Глухов закряхтел и медленно, в три разделения, поднялся на ноги, держась за поясницу. В руках у него оказалась серая, сильно помятая шляпа. Он нацепил ее на лысину и сейчас же снял.

— Понимаете... — проговорил он. — Никак не решусь уйти. Тошно. Капитулировать всегда тошно. В прошлом веке частенько даже стрелялись, только чтобы не капитулировать...

— В нашем — тоже случалось, — сказал Малянов.

— Да, конечно, конечно. Но в нашем веке стреляются главным образом потому, что стыдятся других, а в прошлом стрелялись, потому что стыдились себя. Теперь почему-то считается, что сам с собой человек всегда сумеет договориться... — Он похлопал себя шляпой по бедру. — Не знаю, почему это так. Мы все стали как-то проще, циничнее даже, мы стесняемся краснеть и стараемся спрятать слезы... Может быть, мир все-таки стал сложнее за последние сто лет? Может быть, теперь, кроме совести, гордости, чести, существует еще множество других вещей, которые годятся для самоутверждения?..

Он смотрел выжидательно, и Малянов сказал, пожав плечами:

— Не знаю. Может быть. Я не знаю.

— И я тоже не знаю, — сказал Глухов как бы с удивлением. — Казалось бы, опытный капитулянт, сколько времени уже думаю об этом... только об этом... сколько убедительных доводов перебрал... Вот уж и успокоишься будто, и убедишь вроде бы себя, и вдруг заноет. Конечно, двадцатый век — это не девятнадцатый, разница есть. Но раны остаются ранами. Они заживают, рубцуются, и вроде бы ты уже и забыл о них вовсе,

а потом переменится погода, и они заноют. И всегда так это было, во все века.

— Это вы про совесть говорите, да?

— Про совесть. Про честь. Про гордость.

— Да, — сказал Малянов. — Все это правильно. Только иногда чужие раны больнее.

— Ради бога! — прошептал Глухов, прижимая шляпу к груди обеими руками. — Я бы никогда не осмелился... Как я могу вас отговаривать или советовать вам? Да ни в коем случае!.. Но я все думаю и никак не могу разобраться: почему мы так мучаемся? Ведь совершенно же ясно, ведь каждый же скажет, что поступаем мы правильно... иначе поступить нельзя, глупо поступать иначе... детский сад какой-то, казаки-разбойники... А мы уже давно не дети... Все правильно, все верно... Почему же так мучительно стыдно? Не понимаю! Никак не могу понять.

Тут он вдруг захихикал совершенно неуместно, а потому и мерзко, и принялся махать шляпой кому-то за спиной Малянова. Малянов оглянулся. Там под фонарем, шагах в двадцати от них, стояла женщина — в летах уже, полная и почему-то с тростью... или с зонтиком?

— Так что все в порядке! — искусственно бодрым и повышенным голосом провозгласил вдруг Глухов. — Если зуб болит, его беспощадно удаляют. Такова логика жизни. Не так ли, Дмитрий Алексеевич? Ну, желаю вам всяческого...

Он снова захихикал, закивал, заулыбался — ясно было, что делает все это и говорит он исключительно для женщины с тростью, но это было глупо: она стояла слишком далеко, чтобы различать его ужимки. А он снова замахал ей шляпой и ссыпался по лестнице — этак молодо, энергично, по-студенчески — и быстро зашагал к фонарю, все еще продолжая размахивать шляпой. «...Тревоги наши позади!.. — доносилось до Малянова, — ...солнце снова лето возвестило!.. вот и я!..» Он подошел к женщине, попытался обнять ее за плечи одной рукой, но это у него не получилось — он был слишком мал для такой крупной женщины, тогда он просто взял ее под руку, и они пошли прочь, она сильно прихрамывала и опиралась на трость, а он все размахивал свободной рукой с зажатою в ней шляпой и все говорил, говорил не переставая: «...всяческая суета!.. и совершенно напрасно!.. как я и говорил... ну что ты, маленькая!»

Малянов проводил их взглядом, взял свою папку поудобнее и стал подниматься по лестнице.

Вечеровский открыл ему дверь не сразу. Узнать его было нелегко — Вечеровский словно только что выскочил из пожара. Элегантный

домашний костюм изуродован: левый рукав почти оторван, слева же, на животе, большая прожженная дыра. Некогда белоснежная сорочка — в грязных разводах, и все лицо Вечеровского в грязных пятнах, и руки его.

— А! Заходи, — сказал он хрипловато, повернулся к Малянову спиной и пошел в глубь квартиры.

В гостиной все было разгромлено, словно лопнул здесь только что картуз дымного пороха. Копоть чернела на стенах, копоть тоненькими нитями плавала в воздухе... Зияла обугленная дыра посреди ковра... И горы рассыпанных, растрепанных книг... и осколки аквариума... и расплющенные обломки звукоаппаратуры... Все искорежено, искромсано и будто опалено адским огнем.

Они прошли в кабинет, где все было, как прежде, безукоризненно чисто и элегантно, и Малянов, обернувшись на разгром в гостиной, спросил:

— Что это было?

— Потом, — сказал Вечеровский и откашлялся. — Что у тебя?

Тогда Малянов положил на стол свою папку и проговорил сквозь зубы:

— Вот. Они забрали мальчика. Пусть это пока у тебя полежит.

— Пусть, — спокойно согласился Вечеровский. Он поднял к глазам чумазые руки и весь перекосился от отвращения. — Нет, так нельзя. Подожди, я должен привести себя в порядок.

Он стремительно вышел, почти выбежал из комнаты, а Малянов, оставшись один, прошел к дверям в гостиную и еще раз, теперь уже очень внимательно, оглядел царивший там разгром.

Когда он вернулся к столу, лицо его было угрюмо, а брови он задрал так высоко, как это только было возможно.

Потом он оглядел стол.

Стол был завален папками. Там была толстая черная папка с наклеенной на обложке белой карточкой: «В. С. Глухов. Культурное влияние США на Японию. Опыт количественного и качественного анализа». Там была еще более толстая, чудовищная зеленая папка с небрежной надписью фломастером: «А. Снеговой. Использование феддингов». Собственно, там было даже две такие папки... Там была простенькая серая тощая папка некоего Вайнгартена («Ревертаза и пр.»), и перетянутая резинкой пачка общих тетрадей (некто У. Лужков, «Элементарные рассуждения»), и еще какие-то папки, тетради и даже свернутые в трубку листы ватмана с чертежами.

И там, с краю, лежала белая папка с надписью: «Д. Малянов. Задача о макроскопической устойчивости». Малянов взял ее и, усевшись в кресло,

прижал к животу.

Вернулся Вечеровский — свежевымытый, с мокрыми еще волосами, снова весь элегантный и по классу «А»: белые брюки, черная рубашка с засученными рукавами, белый галстук, на ногах какие-то немыслимые мокасины.

— Вот так гораздо лучше, — объявил он. — Кофе?

— Что все это значит? — спросил Малянов, показывая на стол.

— Это значит, — сказал Вечеровский, усмехнувшись, — что каждому хочется верить, будто рукописи не горят.

— Значит, все это вот... — Малянов повел рукой в сторону разгромленной гостиной.

— Не без того, не без того... Итак, кофе?

— Но почему все они притащили это именно к тебе?

— А ты? Ты почему?

— Не знаю, — сказал Малянов растерянно. — Я же не знал, что тут у тебя делается... Мне показалось, что... пусть полежит пока у тебя... раз иначе нельзя...

— Вот и им тоже показалось. Всем. В последний раз спрашиваю: кофе?

— Да, — сказал Малянов.

Они пили кофе на кухне, где все сверкало чистотой, все стояло на своих местах и все было только самого высокого качества — на мировом уровне или несколько выше. Папку свою Малянов положил на стол рядом с собою и все время держал ее под локтем.

— Зачем тебе понадобилось связываться с нами? — спрашивал он. — Что за глупая бравада!

— Это не бравада. Это проблема. — Вечеровский отхлебнул кофе из чашечки кузнецовского фарфора и запил ледяной водой из высокого запотевшего стакана. — Посуди сам. Снеговой занимался изучением феддингов. Это — радиотехника, прикладная физика, в какой-то степени атмосферная физика. Глухов — специалист по новейшей истории, социолог, «Культурное влияние» его — это чистая социология. У тебя — астрофизика и теория гравитации... Я хочу понять, что общего у всех ваших работ. По-видимому, где-то в невообразимой дали времен они сходятся в точку, и точка эта очень важна для нас... для человечества, я имею в виду. — Он снова с аппетитом отхлебнул кофе. — Сверхцивилизация, как я понимаю, это сила настолько огромная, что ее вполне можно считать стихией, а все ее проявления — это как бы

проявления нового закона природы. Воевать против закона природы — глупо. Капитулировать перед законом природы — стыдно. В конечном счете — тоже глупо. Законы природы надо изучать, а изучив, использовать. Именно этим я и намерен заняться.

— Глупо, — сказал Малянов. — Глупо! — сказал он, все более раздражаясь. — Зачем тебе в это ввязываться? Ты же уникальный специалист... Ты же лучший в Европе. Они же просто убьют тебя, и все.

— Не думаю, — сказал Вечеровский. — Промахнутся. Пойми, они слишком огромны, они все время промахиваются.

— Откуда ты все это можешь знать?

— Господи, — сказал Вечеровский. — Откуда я могу это знать? Ты видел мою гостиную? Промах! А в прошлую субботу... Да что там говорить! Они лупят меня уже вторую неделю. За мою собственную работу. За мою. Собственную. А вы все здесь совсем ни при чем, бедные мои барашки, котики-песики... Ну что, Митька, я таки умею владеть собой, а?

— Пр-овались ты!.. — сказал Малянов и поднялся. Он был красен и зол.

— Сядь! — сказал Вечеровский, и Малянов сел.

— Налей в кофе коньяк.

Малянов налил.

— Пей. Залпом!

И Малянов осушил чашечку, не почувствовав ни вкуса, ни запаха.

— Ты очень спешишь, — сказал Вечеровский назидательно. — А спешить нам некуда. Предстоит работа... Ты все еще никак не можешь понять, что ничего интересного с нами не произошло. Предстоит работа. Долгая. Тяжелая. Скорее всего, грязная. Не один год, а, может быть, сто лет, или тысячу, или миллиард... Опасно? Да, опасно. Заниматься настоящей научной проблемой всегда было опасно. Архимеда зарезали солдаты. Ньютон свихнулся в мистику. Жолио-Кюри умер от лучевой болезни... Научная проблема — это всегда опасно. А тут — настоящая проблема. На всю жизнь.

— Идиот! — сказал Малянов. — Гордыня проклятая, сатанинская... Архимед, Ньютон... Проблему себе отыскал. Здесь детей убивают, а он проблему себе выдумал на миллиард лет вперед...

— Я вижу, они тебя основательно запугали, — сказал Вечеровский, покусывая губу.

— А тебя они не запугали? — спросил Малянов злобным шепотом. — У тебя под твоей проклятой лощеной маской, скажешь, не прячется маленький, голенький, дрожащий человечек?! Когда у тебя в доме бомбу

рвали, этот человечек что — не плакал, не рвался под кровать — забиться в угол, закрыть глаза и ни о чем не думать?..

Вечеровский молчал, опустив белесые ресницы.

— Вот они меня запугали! — заорал вдруг Малянов, крутя у него перед носом потной дулей. — Я ничего не боюсь! Но на совесть свою гирю навесить не позволю! Нет, ради чего? Во имя человечества? За достоинство землянина? За галактический престиж? Вот тебе! Я не дерусь за слова! За себя драться, за семью, за друзей, даже за мальчишку этого чудовищного, которого я раньше и не видел никогда, — пожалуйста! До последнего, без пощады! Но за какие-то там проблемы? Увольте. Это вам не девятнадцатый век! Кому будет принадлежать Галактика через миллиард лет, нам или им? Да плевал я на это!

Он вскочил и забегал по кухне, размахивая руками.

— Нет, вы подумайте только, какой страшный выбор мне предлагают: или мы тебя сделаем директором великолепного современного института, из-за которого два членкора уже глотки друг другу переели, — или мы тебя шлепнем, как гада, или, хуже того, моральным калекой сделаем до конца дней твоих! Ничего себе выбор! Да я в этом своем институте десять нобелевок заложу, понял? Институт — это тебе не чечевичная похлебка, можно его и на право первородства променять. Не хотите, чтобы я макроскопической устойчивостью занимался, — пожалуйста! Обойдусь! Я в своем институте десять новых идей заложу, двадцать идей, а если вам не понравится еще какая-нибудь, ну что ж, снова поторгуемся!.. И не коптите мне мозги красивыми словами! Через миллиард лет от меня и молекул не останется. А я человек простой, я хочу умереть естественной смертью и совесть свою не пачкать...

Он вдруг замолчал, словно ему заткнули рот, уселся на прежнее место, схватил папку, бросил ее на стол, снова схватил.

— Не знаю, что делать, — сказал он жалобно. — Может быть, они только запугивают?

— Может быть, — сказал Вечеровский.

— Однако Снегового они до смерти запугали.

— Похоже на то.

— Ч-черт! Работу жалко. Экстра-класс. Люкс. У меня, может быть, никогда больше ничего подобного не выйдет.

— Возможно, — сказал Вечеровский.

— Но мальчишка-то? Мальчишка-то как? Или, может быть, запугивают? Ну невозможно же себе это представить, чтобы они осмелились... А может быть, это вовсе и не мальчишка даже? Уж очень он

странный... Может быть, это робот какой-нибудь, а?

Вечеровский, не отвечая, поднялся и снова принялся заваривать кофе. Малянов следил за ним бездумным взглядом.

— А если они тебя угробят? — спросил он.

— Вряд ли.

— А если все-таки?.. Куда же тогда все это денется? — Он потряс папкой.

— Ну ты же в курсе, — сказал Вечеровский, не оборачиваясь. — Да и не один ты. Вас довольно много.

— Только не я, — сказал Малянов, мотая щеками. — Я в это дело впутываться не желаю. Уволь.

Тогда Вечеровский повернулся к нему и прочитал негромко: «Сказали мне, что эта дорога меня приведет к океану смерти, и я с полпути повернул назад. С тех пор все тянутся передо мною кривые, глухие, окольные тропы...»

Малянов застонал, как от боли.

Он сидел, прижав папку к животу, и раскачивался взад-вперед, плотно зажмурив глаза, скрипя стиснутыми зубами, и в голове у него не было ни одной мысли, только глуховатый голос Вечеровского в десятый, двадцатый раз повторял одно и то же: «...с тех пор все тянутся передо мною кривые, глухие, окольные тропы...»

А в пяти километрах от этой кухни, на плоском песчаном морском берегу, на мелководье, в неподвижной, похожей на застывшее стекло воде лежал навзничь, неловко подвернув под себя руку, мальчик в коротких штанишках с лямочкой и с сандалией только на одной левой ноге. Он был совершенно неподвижен, и смотреть на него было неприятно и страшно, потому что он казался давно и безнадежно мертвым.

Над сопками-скалами, окаймляющими город, над недалекими отсюда домами окраины показалось солнце. Длинные синие тени легли на пляж. Легкий ветерок пронесся и зарябил воду у берега. И тогда мальчик вдруг пошевелился. Упираясь ладонями в песок, он поднялся и поглядел сонными глазами вокруг. Потом он вдруг вскочил и запрыгал на одной ноге, вытряхивая воду из уха и приговаривая: «Ухо, ухо, вылей воду на дремучую колоду...»

И был пляж, и было стеклянное море, и солнце вставало самым жизнеутверждающим образом, и мальчуган, вполне живой, здоровый, веселый, разве что несколько мокрый, а потому слегка озябший, бредет вдоль берега босиком, загребая ногами влажный песок, держа в руке

одинокую сандалию.

ЧАРОДЕИ

По улице небольшого северного городка катит запыленный «икарус». По сторонам улицы тянутся сначала старинные крепкие заборы, мощные срубы из гигантских почерневших бревен, с резными наличниками на окнах, с деревянными петушками на крышах. Потом появляются новостройки — трехэтажные шлакоблочные дома с открытыми сквериками, «икарус» разворачивается на площади и останавливается у крытого павильона. Из обеих дверей начинают выходить пассажиры — с чемоданами, с узлами, с мешками, с рюкзаками и с ружьями в чехлах. Одним из последних спускается по ступенькам, цепляясь за все вокруг двумя чемоданами, молодой человек лет двадцати пяти, современного вида: бородка без усов, модная прическа-канадка, очки в мощной оправе, обтягивающие джинсы, поролоновая курточка с многочисленными «молниями».

Поставив чемоданы на землю, он в некоторой растерянности озирается, но к нему сразу же подходит встречающий — тоже молодой человек, может быть, чуть постарше, атлетического сложения, смуглый, горбоносый, в очень обыкновенном летнем костюме при галстуке. Следуют рукопожатия, взаимные представления, деликатная борьба за право нести оба или хотя бы один чемодан.

Уже вечер. От низкого солнца тянутся по земле длинные тени. Молодые люди, оживленно беседуя, сворачивают с площади на неширокую, старинного облика улочку, где номера домов основательно проржавели, висят на воротах, мостовая заросла травой, а справа и слева тянутся могучие заборы, поставленные, наверное, еще в те времена, когда в этих местах шастали шведские и норвежские пираты. Называется эта улочка неожиданно изящно: «ул. Лукоморье».

— Вы уж простите, что так получилось, Саша, — говорит молодой человек в летнем костюме. — Но вам только эту ночь и придется здесь провести. А завтра прямо с утра…

— Да ничего, не страшно, — с некоторым унынием откликается приезжий Саша. — Перебьюсь как-нибудь. Клопов там нет?

— Что вы! Это же музей!..

Они останавливаются перед совсем уже феноменальными, как в паровозном депо, воротами на ржавых пудовых петлях. Пока молодой человек в летнем костюме возится с запором низенькой калитки, Саша

читает вывески на воротах. На левой воротине строго блестит толстым стеклом солидная синяя вывеска: «НИИЧАВО АН СССР. ИЗБА НА КУРИНЫХ НОГАХ. ПАМЯТНИК СОЛОВЕЦКОЙ СТАРИНЫ». На правой воротине висит ржавая жестяная табличка «ул. Лукоморье, д. №13, Н. К. Горыныч», а под нею красуется кусок фанеры с надписью чернилами вкривь и вкось: «КОТ НЕ РАБОТАЕТ. Администрация».

— Это что у вас тут за КОТ? — спрашивает Саша. — Комитет оборонной техники?

Молодой человек в костюме смеется.

— Сами увидите, — говорит он. — У нас тут интересно. Прошу.

Они протискиваются в низенькую калитку и оказываются на обширном дворе, в глубине которого стоит дом из толстых бревен, а перед домом — приземистый необъятный дуб с густой кроной, совершенно заслоняющей крышу. От ворот к дому, огибая дуб, идет дорожка, выложенная каменными плитами, справа от дорожки огород, а слева, посередине лужайки, черный от древности и покрытый мхом колодезный сруб. На краю сруба восседает боком, свесив одну лапу и хвост, гигантский черно-серый разводами кот.

— Здравствуйте, Василий, — вежливо произносит, обращаясь к нему, молодой человек в костюме. — Это Василий, Саша. Будьте знакомы.

Саша неловко кланяется коту. Кот вежливо-холодно разевает зубастую пасть, издает неопределенный сиплый звук, а потом отворачивается и смотрит в сторону дома.

— А вот и хозяйка, — продолжает молодой человек в костюме. — По здорову ли, бабушка, Наина свет Киевна?

Хозяйке, наверное, за сто. Она неторопливо идет по дорожке к молодым людям, опираясь на суковатую клюку, волоча ноги в валенках с галошами. Лицо у нее темное, из сплошной массы морщин выдается вперед и вниз нос, кривой и острый, как ятаган, а глаза бледные и тусклые, словно бы закрытые бельмами.

— Здорова, здорова, внучек, Эдик Почкин, что мне сделается? — произносит она неожиданно звучным басом. — Это, значит, и будет новый программист? Здравствуй, батюшка, добро пожаловать.

Саша снова кланяется. Вид у него ошарашенный: старуха слишком уж колоритна. Голова ее поверх черного пухового платка повязана веселенькой косынкой с изображениями Атомиума и с разноязыкими надписями «Брюссель». На подбородке и под носом торчит редкая седая щетина.

— Позвольте вам, Наина Киевна, представить… — начинает Эдик, но старуха тут же прерывает его.

— А не надо представлять, — басит она, пристально разглядывая Сашу. — Сама вижу. Привалов Александр Иванович, одна тысяча девятьсот сорок шестой, мужской, русский, член ВЛКСМ, нет, нет, не участвовал, не был, не имеет, а будет тебе, алмазный, дальняя дорога и интерес в казенном доме, а бояться тебе, брильянтовый, надо человека рыжего, недоброго, а позолоти ручку, яхонтовый…

— Гм! — громко произносит Эдик, и бабка сразу замолкает.

Воцаряется неловкое молчание, и вдруг кто-то негромко, но явственно хихикает. Саша оглядывается. Кот по-прежнему восседает на срубе и равнодушно смотрит в сторону.

— Можно звать просто Сашей, — выдавливает из себя новый программист.

— И где же я его положу? — осведомляется старуха.

— В запаснике, конечно, — говорит Эдик. — Пойдемте, Саша…

Они идут по дорожке к дому, старуха семенит рядом.

— А отвечать кто будет, ежели что? — вопрошает она.

— Ну ведь обо всем же договорились, — терпеливо поясняет Эдик. — Вам же звонили. Вам директор звонил?

— Звонить-то звонил, — бубнит бабка. — А ежели он что-нибудь стибрит?

— Наина Киевна! — с раскатами провинциального трагика восклицает Эдик и поспешно подталкивает Сашу на крыльцо. — Вы проходите, Саша, проходите, устраивайтесь…

Саша машинально вступает в прихожую. Света здесь мало, виден только белый телефон на стене и какая-то дверь. Саша толкает эту дверь, видит ручку на цепочке и отшатывается, машинально сказавши: «Виноват». За спиной у него Эдик напряженным шепотом втолковывает старухе:

— Это наш новый заведующий вычислительным центром! Ученый!

— Ученый… — брюзжит бабка. — Я тоже ученая! Всяких ученых видала…

— Наина Киевна!.. Саша, не туда, сюда, пожалуйста, направо…

Они входят в запасник. Это большая комната с одним окном, завешанным ситцевой занавесочкой. У окна — массивный стол и две дубовые скамьи, на бревенчатой стене — вешалка с какой-то рухлядью: ватники, вылезшие шубы, драные кепки и ушанки; в углу большое мутное зеркало в облезлой раме, а у стены справа — очень современный низкий диван, совершенно новенький.

— О, смотрите-ка! — восклицает Эдик. — Диван поставили! Это хорошо…

Он с размаху садится на диван, несколько раз подпрыгивает, и вдруг выражение удовольствия на его лице сменяется удивлением, а удивление — тревогой.

— Как это так? — бормочет он. — Позвольте…

Он ощупывает ладонями обивку, вскакивает, становится на колено, запускает руку под диван и что-то там с натугой поворачивает. Раздается странный звук, словно затормозили пленку в магнитофоне. Эдик неторопливо поднимается, отряхивая руки. На лице у него озабоченность. И тут в комнату заваливается старуха со стопкой постельного белья.

— А ежели он тут у меня, скажем, молиться зачнет? — воинственно вопрошает она прямо с порога.

— Да нет, не начнет, — рассеянно говорит Эдик. — Он же неверующий. Слушайте, Наина Киевна, откуда здесь это? — Он показывает на диван. — Давно привезли?

— Опять же вот диван! — сейчас же подхватывает старуха. — Как завалится он на этот диван…

— Это не диван, — говорит Эдик. — Между прочим, Саша, вы действительно воздержитесь от этого дивана… Позвольте, — говорит он, озираясь. — Здесь же была раскладушка…

Ночь. В окно сквозь ветви дуба глядит огромная сплющенная луна. Вдали лают собаки, из-за стены доносится молодецкий храп. Затем где-то в доме бьют часы — полночь.

Саша, укрывшись простыней, лежит на раскладушке, листает толстую книгу, зевает. На полу — раскрытый чемодан, в нем книги вперемешку с носками и галстуками. Когда часы начинают бить, Саша поднимает голову и считает удары, потом сует книгу под раскладушку, приподнимается и тянет руку к выключателю. Раскладушка угрожающе трещит. Саша гасит свет, энергично поворачивается на другой бок, и в то же мгновение раскладушка с лязгом разваливается.

Тишина. Потом храп за стеной возобновляется, Саша, чертыхаясь вполголоса, выбирается из простыни и пытается поднять раскладушку. В руках у него разрозненные детали. И снова, как давеча, слышится явственное хихиканье. Саша резко оборачивается и успевает заметить на фоне окна огромную кошачью голову — наставленные уши, торчащие усы и блеснувшие глаза. И снова в окне только луна да ветви дуба.

— Тьфу-тьфу-тьфу, — произносит Саша через левое плечо.

Он подбирает с пола тощий матрас, подушку, простыни и в нерешительности оглядывает комнату.

Диван.

Несколько секунд Саша еще медлит, а затем твердыми шагами направляется к дивану. Расстилает постель, несколько раз с силой нажимает на диван, словно пробуя его на прочность, и укладывается. Глаза его закрываются, на физиономии появляется блаженная улыбка. И в то же мгновение вновь возникает звук заторможенной магнитофонной пленки, переходящий в обстоятельное откашливание.

— Ну-с, так… — произносит хорошо поставленный мужской голос. — В некотором было царстве, в некотором государстве был-жил царь по имени… мнэ-э-э… Ну, в конце концов, неважно. Скажем, мнэ-э-э… Полуэкт…

Саша некоторое время слушает с открытыми глазами, потом осторожно встает, пригнувшись, подкрадывается к окну и выглядывает. Спиной к дубу, ярко освещенный луной, стоит на задних лапах кот Василий. В зубах у него зажат цветок кувшинки.

— Мнэ-э-э… — тянет он, задумчиво подняв глаза к небу. — У него было три сына-царевича. Первый… мнэ… Третий был дурак, а вот первый?

Кот трясет головой, потом закладывает передние лапы за спину и, слегка сутулясь, плавным шагом направляется прочь от дуба.

— Хорошо, — цедит он сквозь зубы. — Бывали-живали царь да царица… У царя, у царицы был один сын… Мнэ-э… Дурак, естественно…

Кот с досадой выплевывает цветок и, топорща усы, потирает лоб когтистой лапой.

— Пр-роклятый склероз, — говорит он. — Но ведь кое-что помню! «Ха-ха-ха! Будет чем полакомиться: конь — на обед, молодец — на ужин…» А дальше? — Кот делает фехтовальные движения. — Три головы долой, Иван вынимает три сердца и… и… — Плечи его поникают. Он глубоко вздыхает и поворачивает обратно к дубу. В лапах у него вдруг оказываются массивные гусли.

— Кря-кря, мои деточки, — поет он, пощипывая струны. — Кря-кря, голубяточки! Я… мнэ-э-э… Я слезой вас отпаивала… Вернее, выпаивала… — Некоторое время он марширует молча, стуча по струнам, потом немузыкально кричит: — Сладок кус недоедала! — Прислоняет гусли к дубу и чешет задней лапой за ухом. — Труд, труд и труд! — провозглашает он.

— Только труд! — Он снова закладывает лапы за спину и идет в сторону от дуба, бормоча: — Дошло до меня, о великий царь, что в славном городе Багдаде жил-был портной по имени… — Тут он встает на четвереньки, выгибает спину и злобно шипит, стуча лапой по лбу. — Вот с этими именами у меня особенно отвратительно! Абу… Али… н-ну,

хорошо, скажем, Полуэкт…

Голос его прерывается протяжным пронзительным скрипом и отдаленным рокочущим «Ко-о, ко-о, ко-о…». Изба вдруг начинает раскачиваться, как лодка на волнах, двор за окном сдвигается в сторону, а из-под окна вылезает и вонзается когтями в землю исполинская куриная нога — проводит в траве глубокие борозды и снова скрывается. «Ко-о, ко-о, ко-о» переходит в звук тормозящейся магнитофонной пленки и затем в пронзительный телефонный звонок.

Саша сидит на полу рядом с диваном, запутавшись в простыне, и очумело вертит головой. Телефон в прихожей звенит беспрерывно.

Саша наконец вскакивает, выбегает в прихожую и хватает трубку.

— Алло! — хриплым со сна голосом говорит он.

— Такси вызывали? — гнусаво осведомляется трубка.

— Какое такси?

— Это два-семнадцать-шестнадцать?

— Н-не знаю…

— Такси вызывали?

— Нет… Не знаю… Откуда мне знать?

В телефоне гудки отбоя. Саша вешает трубку, некоторое время с сомнением смотрит на телефон, потом возвращается в комнату и… остолбеневает на пороге.

Диван исчез.

На полу, там, где стоял диван, валяется постель. И больше ничего.

Саша оторопело смотрит, потом осторожно подходит, нагибается и ощупывает и похлопывает ладонью то место, где стоял диван.

— По-моему, я на нем спал, — говорит он вслух. — Даже приснилось что-то…

Он подходит к окну, раздвигает занавески и выглядывает. Двор залит лунным светом и пуст. Тишина, храп за стеной, в отдалении лают собаки. Саша стоит у окна, растерянно теребя бороду.

Резкий стук в наружную дверь заставляет его обернуться. Он снова выходит в прихожую, осторожно отодвигает засов.

На крыльце перед ним стоит невысокий изящный человек в светлом коротком плаще и в огромном черном берете. Узкое длинное лицо, усы стрелками, выпуклые пристальные глаза.

— Прошу прощения, Александр Иванович, — с достоинством произносит он, коснувшись берета двумя пальцами. — Я отниму у вас не больше двух минут.

— Да-да… прошу… — растерянно говорит Саша, пропуская

незнакомца в прихожую.

Незнакомец делает движение пройти в комнату, но Саша поспешно заступает ему дорогу.

— Извините, — лепечет он. — Может быть, здесь… А то у меня там, знаете, беспорядок… даже сесть толком негде…

— Как негде? — Незнакомец резко поднимает брови. — А диван?

Некоторое время они молча смотрят друг другу в глаза.

— М-м-м… Что — диван? — шепотом спрашивает Саша.

Незнакомец все смотрит на него, то высоко задирая, то низко опуская брови.

— Ах вот как… — медленно произносит он наконец. — Понимаю. Жаль. Что ж, еще раз прошу прощения.

Он снова прикладывает два пальца к берету и решительно направляется прямо к дверям уборной.

— Куда вы? — бормочет Саша. — Вам не туда… Вам…

— Ах, это безразлично, — говорит незнакомец, не оборачиваясь, и скрывается за дверью.

Саша машинально зажигает ему свет. Стоит несколько секунд с обалделым видом, потом резко распахивает дверь. В уборной никого нет. Мерно покачивается фаянсовая ручка.

Саша, пятясь задом, возвращается в свою комнату.

— Стака́на нет? — раздается за его спиной хриплый голос.

Саша оборачивается.

Верхом на скамье под зеркалом сидит какой-то тип в кепке, сдвинутой на правый глаз. Щетина. К нижней губе прилип окурок.

— Стака́на, говорю, нет? — повторяет тип.

Саша молча трясет головой.

— Значит, с горла́ будем, — оживляется тип. — Ну, давай.

Саша подходит к нему и останавливается, выпятив челюсть.

— А собственно, кто вы такой? — спрашивает он. — Что вам здесь надо?

Тип обращает взор на то место, где раньше стоял диван.

— Чего мне здесь надо, того уже здесь нету, — произносит он с сожалением. — Опоздал, понял? Надо понимать, Витек перехватил. Так шефу и доложим. — Он снова обращает глаза на Сашу. — Этого, значит, не держишь, — говорит он, щелкая себя по шее. — И красного тоже нет? Жаль. Обидел ты меня, друг. — Он глубоко запускает руку в зеркало и, оживившись, извлекает оттуда водочную бутылку. Встряхивает ее, смотрит на свет. Бутылка пуста. — А кто это там приходил? — спрашивает он, ставя

бутылку на стол.

— Не знаю, — отвечает Саша, следя за его действиями, как зачарованный. — В берете какой-то…

Тип понимающе кивает.

— Кристобаль Хозевич, значит. — Он снова запускает руку в зеркало. — Тоже, значит, опоздал. Во Витек дает… — Он сосредоточенно шарит в «зазеркалье» и бормочет: — Всех сделал. Шефа моего сделал, Кристобаля Хозевича — и того сделал… — Лицо его вновь озаряется, и на свет появляется еще одна бутылка, опять пустая. Тип ставит ее рядом с первой и несколько секунд любуется ими. — Это же надо — сколько старуха пьет! Как ни придешь, меньше чем две пустышки не бывает… А одеколона у тебя тоже нет? — спрашивает он без всякой надежды, вытягивая из кармана авоську.

— Нет, — говорит Саша, наблюдая, как тип деловито укладывает бутылки в авоську. — А что здесь вообще происходит? Где диван? Куда это я вообще попал? На чем я теперь спать буду, черт подери?

Тип вдруг вскакивает, сдергивает с головы кепочку и прячет руку с авоськой за спину. Лицо его принимает испуганно-почтительное выражение.

— Пардон, — говорит он кому-то, глядя поверх Сашиного плеча.

Саша оглядывается. У дверей, куда смотрит тип, никого нет.

— Пардон, — повторяет тип, пятясь. — Айн минут, мерси, гуд бай.

Спина его упирается в зеркало, но он продолжает пятиться и вдруг проваливается в «зазеркалье», мелькнув в воздухе стоптанными сандалиями.

Саша медленно подходит к зеркалу, осторожно заглядывает в него. Отшатывается: своего отражения он в зеркале не видит. Видит стол, дверь, постель на полу — все что угодно, кроме себя. Он осторожно тянет руку к тусклой поверхности, упирается в твердое, и отражение сейчас же возникает. Мотнув головой, Саша изнеможенно опускается на скамью и сейчас же с криком вскакивает, держась рукой за трусы.

На скамье лежит, покачиваясь, блестящий цилиндрик величиной с указательный палец.

Саша берет его и принимается оглядывать со всех сторон. Цилиндрик тихо потрескивает. Саша стучит по нему ногтем, и из цилиндрика вылетает сноп искр, комната наполняется невнятным шумом, слышны какие-то разговоры, музыка, смех, кашель, шарканье ног, смутная тень на мгновение заслоняет свет лампочки, громко скрипят половицы, а по столу пробегает огромная белая крыса. И все снова стихает.

Саша, закусив губу, осторожно поворачивает цилиндрик, чтобы посмотреть на него с торца, и в то же мгновение комната перед его глазами стремительно поворачивается, тьма, грохот, летят искры, и Саша вдруг оказывается сидящим в очень неудобной позе в противоположном углу комнаты под вешалкой. Вешалка, секунду помедлив, с шумом обрушивается на него.

Раскачивается лампочка на длинном шнуре, на потолке явственно темнеют следы босых ног. Саша, заваленный тряпьем, смотрит сначала на эти следы, потом на свои голые пятки. Пятки вымазаны мелом. Саша рассеянно отряхивает их, глядя на цилиндрик. Цилиндрик стоит посреди комнаты, касаясь пола краем торца, в положении, исключающем всякую возможность равновесия. Он раскачивается и тихо потрескивает.

Тогда Саша выбирается из-под тряпья, выбирает наугад какую-то ушанку и осторожно накрывает ею цилиндрик. Руки у него трясутся.

— В-вот это в-вы н-напрасно, — раздается голос.

— Что — напрасно? — раздраженно спрашивает Саша, не оборачиваясь.

— Я г-говорю про умклайдет. Вы н-напрасно накрыли его шапкой.

— А что мне еще с ним делать? — спрашивает Саша и наконец оборачивается. В комнате никого нет.

— Это ведь, к-как говорится, в-волшебная палочка, — поясняет голос. — Она т-требует чрезвычайно осторожного об-обращения.

— Поэтому я и накрыл, — говорит Саша. — Да вы заходите, товарищ, а то так очень неудобно разговаривать.

— Б-благодарю вас.

Около дверей, как раз там, куда глядел тип в кепочке, неторопливо конденсируется из воздуха величественный человек преклонных лет в роскошном бухарском халате и комнатных туфлях. Он огромного роста, благородное чрево распирает шнур с кистями, великолепные седины, савао-фова бородища волной, огромные ладони привычно засунуты за шнур. Голос у него рокочущий, глубокий, он заметно заикается. Светлые глаза смотрят приветливо и благожелательно.

— Вы знаете, дружок, я, наверное, должен извиниться, — говорит он. — Я тут у вас уже полчаса торчу, надеялся — обойдется как-нибудь… Этот диван, черт его подери, так я и знал, что вокруг него начнется скандал. Халат накинул — и сюда.

— Насчет дивана вы опоздали, — с сожалением говорит Саша. — Украли его уже.

Человек в халате величественно отмахивается.

— Да он мне и ни к чему. Я, знаете ли, опасался, что они здесь все передерутся и в суматохе вас, так сказать, затопчут… Уж очень, знаете ли, страсти накалились. Вот видите, Корнеев умклайдет здесь потерял… волшебную свою палочку… а это, дружок, не шутка.

Оба одновременно поднимают глаза и смотрят на отпечатки на потолке.

— Курс управления умклайдетом занимает, знаете ли, восемь семестров, — продолжает гость, — и требует основательного знания квантовой алхимии. Вот вы, дружок, программист, умклайдет электронного уровня вы бы освоили без особого труда, но квантовый умклайдет… гиперполя… трансгрессивные воплощения… обобщенный закон Ломоносова-Лавуазье…

— Он сочувственно разводит руки.

— Да о чем речь! — восклицает Саша. — Я и не претендую! — Он спохватывается. — Может, вы присядете?

— Благодарю вас, мне так удобнее… Но вся эта премудрость в ваших руках. Поработаете у нас годик-другой… — Он прерывает самого себя. — Вы знаете, Александр Иванович, я бы все-таки просил вашего разрешения убрать эту шапку. Мех, знаете ли, практически непрозрачен для гиперполя…

Саша поднимает руку.

— Ради бога! Все, что вам угодно. Убирайте шапку, убирайте даже этот самый… кум… ум… эту самую волшебную палочку! — Он останавли — вается.

Шапки нет. Цилиндрик стоит в луже жидкости, похожей на ртуть. Жидкость быстро испаряется.

— Так будет лучше, уверяю вас, — объявляет незнакомец в халате.

— А то, знаете ли, могло так бабахнуть… А вот забрать умклайдет я не могу. Не мой. Условности, черт бы их подрал. И вы его лучше больше не трогайте. Бог с ним, пусть так стоит.

Саша в полной готовности отчаянно машет руками.

— Да, я ведь еще не представился, — продолжает незнакомец. — Киврин Федор Симеонович. Заведую у нас отделом Линейного счастья.

Саша застывает в почтительном изумлении.

— Федор Симеонович? — бормочет он в восхищении и растерянности.

— Ну еще бы!.. Я вот только позавчера вашу статью… В «Успехах физических наук»… Ну, знаете, эту… о квантовых основах психологии…

— Знаю, знаю, — благодушно говорит Федор Симеонович. — И как

вам эта статейка?

Саша не в силах говорить и всем своим видом демонстрирует крайнюю степень почтительного восторга.

— Да… гм… Пожалуй, — басит Федор Симеонович не без некоторого самодовольства. — Недурственная получилась работка. У нас, знаете ли, в институте, Александр Иванович, очень неплохо можно работать. Отличный коллектив подобрался, должен вам сказать. За немногими исключениями. Вот, скажем, даже Хома Брут… вот этот, в кепочке, с бутылками… Ведь на самом деле механик, золотые руки, потомственный добрый колдун… Правда, привержен… — Федор Симеонович щелкает себя по бороде. — Дурное влияние, черт бы его побрал… Ну, это вы все узнаете. Мы вас тут с распростертыми объятьями… А то ведь чепуха получается. Машину поставили наисовременнейшую, «Алдан-12», а наладить никак не можем, кадров нет. В институте у нас в основном уклон, знаете ли, гуманитарно-физический. Чародейство и волшебство главным образом, а новые методы требуют математики! Я вот все линейным счастьем занимаюсь, а с вашей машиной, глядишь, и за нелинейное возьмемся…

Саша чешет затылок.

— Я, знаете, насчет чародейства и волшебства не очень… Был у нас спецкурс, но я тогда болел, что ли… Вообще я это как-то в переносном смысле понимал… как иносказание…

Федор Симеонович добродушно хохочет.

— Ничего, разберетесь, разберетесь. Любой ученый, знаете ли, в известном смысле маг и волшебник, так что у нас и в переносном смысле бывает, и в прямом. Вы — молодец, что приехали. Вам у нас понравится. Вы, я вижу, человек деловой, энергичный, работать любите…

Саша стесняется.

— Да, конечно… — говорит он. — Но сейчас что об этом? Там видно будет… — Он озирается, ища, как бы переменить тему разговора.

— Вот диван пропал, — говорит он. — Вы мне не скажете, Федор Симеонович, что все это означает? Диван… суета какая-то…

— Ну, видите ли, это не совсем диван, — говорит Федор Симеонович. — Я бы сказал, это совсем не диван… Однако ведь спать пора, Александр Иванович. Заговорил я здесь вас, а ведь вам спать хочется…

— Ну что вы! — восклицает Саша. — Наоборот! У меня к вам еще тысяча вопросов!

— Нет, нет, дружок. Вы же устали, утомлены с дороги…

— Нисколько.

— Александр Иванович, — внушительно произносит Киврин. — Но

ведь вы *действительно* утомлены! И вы *действительно* хотите отдохнуть.

И тут глаза у Саши начинают слипаться. Он согласно кивает головой, вяло бормочет: «Да, действительно, вы уж меня простите, Федор Симеонович…», кое-как добирается до неведомо откуда появившейся застеленной раскладушки, ложится, подкладывает ладонь под щеку и, блаженно улыбаясь, засыпает.

Федор Симеонович, оглаживая бороду, некоторое время ласково смотрит на него, потом достает из воздуха большое яблоко, кладет рядом с Сашей и исчезает.

Становится темно и тихо.

Сильный грохот. Саша открывает глаза и поднимает голову.

Комната полна утренним солнцем.

Дивана по-прежнему нет, а посередине комнаты сидит на корточках здоровенный детина лет двадцати пяти, в тренировочных брюках и пестрой гавайке навыпуск. Он сидит над волшебной палочкой, плавно помахивая над нею огромными костистыми лапами.

— В чем дело? — спрашивает Саша хриплым со сна голосом.

Детина мельком взглядывает на него и снова отворачивается. У него широкое курносое лицо, могучая челюсть, низкий лоб под волосами ежиком.

— Не слышу ответа! — зло говорит Саша, приподнимаясь.

— Тихо, ты, смертный, — откликается детина. Он прекращает свои пассы, берет умклайдет и выпрямляется во весь рост. Рост у него — под лампочку. И весь он кряжистый, широкий, узловатый.

— Эй, друг, — говорит Саша. — А ну-ка положи эту штуку на место и очисти помещение!

Детина молча смотрит на него, выпячивая челюсть. Тогда Саша откидывает простыню и делает движение, чтобы вскочить. Раскладушка от толчка разваливается, и Саша опять оказывается на полу.

Детина гогочет.

— А ну, положи умклайдет! — рявкает Саша, поднимаясь.

— Что ты орешь, как больной слон? — осведомляется детина. — Твой он, что ли?

— А может, твой?

— Ну, мой!

Сашу осеняет.

— Ах ты, скотина! — говорит он. — Так это ты диван спер?

— Не суйся, братец, не в свои дела, — предлагает детина, запихивая умклайдет в задний карман брюк. — Целее будешь.

— А ну, верни диван! Мне отвечать за него, понял?

— А пошел ты к черту, — говорит детина, озираясь. Саша, подскочив, хватает детину за гавайку. Детина сейчас же хватает Сашу за майку на груди. Видно, что оба не дураки подраться.

Но тут дверь распахивается и на пороге появляется грузный рослый мужчина в лоснящемся костюме. Лицо у него надутое, бульдожье, движения властные, хозяйские, уверенные, под мышкой — папка на «молнии».

— Корнеев! — говорит он прямо с порога. — Где диван?

Детина и Саша сразу отпускают друг друга.

— Какой еще диван? — вызывающе осведомляется детина.

— Вы мне это прекратите, Корнеев! — объявляет мужчина с папкой.

— Сами знаете, какой диван.

Он проходит в комнату, а за ним входят: Эдик Почкин, очень серьезный и сосредоточенный; плешивый и бородатый, странного вида человек в золотом пенсне и смазных сапогах; Хома Брут в своей кепочке, сдвинутой на правый глаз. Саша кидается одеваться. Пока он одевается, в комнате развивается скандальчик.

— Не знаю я никакого дивана, — заявляет Корнеев.

— Я вам объяснял, Модест Матвеевич, — говорит Эдик человеку с папкой. — Это не есть диван, это есть прибор…

— Для меня это диван, — прерывает его Модест Матвеевич, достает записную книжку и заглядывает в нее. — Диван мягкий полуторный, инвентарный номер одиннадцать-двадцать три. Диван должен стоять. Если его будут все время таскать, то считайте: обшивка порвана, пружины поломаны.

— Там нет никаких пружин, — терпеливо объясняет Эдик. — Это прибор. С ним работают.

— Этого я не знаю, — заявляет Модест Матвеевич, пряча книжку. — Я не знаю, что это у вас за работа с диваном. У меня вот дома тоже есть диван, и я знаю, как на нем работают.

— Мы это тоже знаем, как вы работаете, — угрюмо говорит Корнеев.

— Вы это прекратите, — немедленно требует Модест Матвеевич, поворачиваясь к нему. — Вы здесь не в пивной, вы здесь в учреждении!

— Терминологические споры, товарищи, — восклицает вдруг высоким голосом плешивый, — могут завести нас только в метафизический тупик! Терминологические споры мы должны, товарищи, решительно отмести, как несоответствующие и уводящие. А нам, товарищи, требуются какие споры? Нам, товарищи, требуются споры с одной стороны соответствующие, а с

другой — наводящие. Нам требуются принципиальные споры, товарищи!

— Вы мне это прекратите, товарищ профессор Выбегалло! — решительно прерывает его Модест Матвеевич. — Нам тут не требуется никаких споров. Нам тут требуется диван, и немедленно.

— Правильно! — подхватывает профессор Выбегалло. — Мы решительно отметаем все и всяческие споры, и мы требуем, общественность требует, наука требует, товарищ Корнеев, чтобы диван был немедленно ей возвращен. В распоряжение моего отдела.

Все четверо начинают говорить разом.

Э д и к. Модест Матвеевич, это не диван! Это транслятор универсальных превращений! Ему не в музее место, его здесь вы по ошибке поместили, мы на него заявку еще два года назад написали!..

К о р н е е в (Выбегалле). Ну да, конечно, в ваш отдел. Чтоб вы на нем спали после обеда и кроссворды решали! Вы же с ним обращаться не умеете, опять все на Брута свалите вашего, а он его пропьет по частям!..

М о д е с т М а т в е е в и ч. Вы мне это прекратите, товарищи! Диван есть диван, и кто на нем будет спать или там работать, это решает администрация! Я лишнюю графу в отчетности из-за ваших капризов вводить не намерен! Мы еще назначим комиссию и посмотрим, может быть, вы его повредили, пока таскали, товарищ Корнеев!..

В ы б е г а л л о. Я ваши происки, товарищ Корнеев, отметаю решительно, раскаленной метлой! Я такую форму научной дискуссии не приемлю! Принципиальности у вас не хватает, товарищ Корнеев! Чувства ответственности! Нет у вас гордости за свой институт, за нашу науку!..

Пока продолжается этот гомон, Саша оделся и, широко раскрыв глаза и приоткрыв рот, слушает, застегивая верхнюю пуговицу на рубашке.

Хома Брут тоже не вмешивается. Он прислонился к притолоке, достал из-за уха сигаретку, раскурил ее от указательного пальца и через дымок подмигивает Саше, ухмыляется и кивает в сторону спорящих, как бы говоря: «Во дают!»

Тут Модест Матвеевич замечает развалившуюся раскладушку. Все замолкают. В наступившей тишине Модест Матвеевич озирает по очереди всех присутствующих. Взгляд его останавливается на Саше. Саша, не дожидаясь вопросов, виновато произносит:

— Она сама развалилась… Я встал, а она — раз!..

— Почему вы здесь спите? — грозно осведомляется Модест Матвеевич.

— Это наш новый заведующий вычислительным центром, — вступается Эдик. — Привалов Александр Иванович.

— Почему вы здесь спите, Привалов? — вопрошает Модест Матвеевич.

— Почему не в общежитии?

— Ему комнату не успели отремонтировать, — поспешно говорит Эдик.

— Неубедительно.

— Что же ему — на улице спать? — злобно спрашивает Корнеев.

— Вы это прекратите, — говорит Модест Матвеевич. — Есть общежитие, есть гостиница, а здесь музей. Госучреждение. Если все будут спать в музеях… Вы откуда, Привалов?

— Из Ленинграда, — мрачно отвечает Саша.

— Вот если я приеду к вам в Ленинград и пойду спать в Эрмитаж?

Саша пожимает плечами.

— Пожалуйста!

Эдик обнимает Сашу за талию.

— Модест Матвеевич, это не повторится. Сегодня он будет спать в общежитии. А что касается раскладушки… — Он щелкает пальцами. Раскладушка тут же самовосстанавливается.

— Вот это другое дело, — великодушно говорит Модест Матвеевич. — Вот всегда бы так и действовали, Почкин. Ограду бы починили… Лифт у нас не кондиционный…

Корнеев берется руками за голову и стонет сквозь стиснутые зубы.

— По-моему, эти стоны со стороны товарища Корнеева являются выпадом, — визгливо и мстительно вмешивается Выбегалло.

Модест Матвеевич поворачивается к Корнееву.

— Я еще раз повторяю, Корнеев, — строго говорит он. — Немедленно верните диван.

Корнеев приходит в неописуемую ярость. Лицо его темнеет, и сейчас же заметно темнеет в комнате. Огромная туча наползает на солнце. Свирепый порыв ветра сотрясает дуб. Где-то звенят вылетевшие стекла. У стола подгибаются ножки, проседает только что восстановленная раскладушка. В тусклом зеркале вспыхивают и гаснут зловещие огни.

Выбегалло отшатывается, испуганно заслоняясь от Корнеева ладонью. Хома Брут стремительно уменьшается до размеров таракана и прячется в щель. Эдик встревоженно и предостерегающе протягивает к Корнееву руку, шепча одними губами: «Витя, Витя, успокойся…»

И только Модест Матвеевич остается неколебим. Он с достоинством перекладывает папку под другую мышку и веско произносит:

— Неубедительно, Корнеев. Вы это прекратите.

И все прекращается. Корнеев в полном отчаянии машет рукой, в воздухе конденсируется диван и плавно опускается на свое прежнее место.

Модест Матвеевич неторопливо подходит к нему, ощупывает, заглядывает в книжку и проверяет инвентарный номер. Затем объявляет:

— В таком вот аксепте. И попрошу.

Затем он поворачивается ко всем спиной и громко провозглашает:

— Товарищ Горыныч!

— Иду, батюшка, иду! — доносится из прихожей испуганный голос.

Модест Матвеевич удаляется в прихожую, и тут Выбегалло приходит в себя и устремляется за ним с криком:

— Модест Матвеевич! Вы забываете, что у меня эксперимент международного звучания! Я без этого дивана как без рук! Модель идеального человека тоже без этого дивана будет как без рук!..

Дверь за ним захлопывается. Из щели выползает Хома Брут и снова начинает увеличиваться в размерах. Еще не достигнув нормального роста, он осведомляется:

— Политурки, значит, тоже нет? Или хотя бы антифриза…

— Бр-р-рысь, пр-р-ропойца! — рычит Корнеев, и объятый ужасом Хома Брут, снова уменьшившись, ныряет в щель под дверью.

Корнеев садится на диван и, наклонивши голову, вцепляется себе в волосы костистыми пальцами.

— Дубы! — говорит он с отчаянием. — Пни стоеросовые! К черту их всех! Сегодня же ночью опять уволоку!

— Ну, Витя, — укоризненно говорит Эдик. — Ну что ты, право… Будет ученый совет, выступит Федор Симеонович, выступит Хунта…

— Хунте самому диван нужен, — глухо возражает Корнеев, терзая себя за волосы.

— Ну, знаешь! С Кристобалем Хозевичем всегда можно договориться. Это тебе не Выбегалло…

При последних словах Корнеев вдруг вскакивает, щелкает пальцами, и перед ним возникает из ничего плешивый профессор Выбегалло, вернее, фигура, чрезвычайно на Выбегаллу похожая, но с большими белыми буквами поперек груди: «Выбегалло 92/К». Корнеев со сдавленным рычанием хватает фигуру за бороденку и яростно трясет в разные стороны. Фигура тупо ухмыляется.

— Витя, опомнись! — укоризненно говорит Эдик.

Корнеев с размаху бьет фигуру кулаком под ребра, отшибает кулак и, размахивая ушибленной рукой, принимается скакать по комнате.

— Тьфу на тебя! — орет он фигуре.

Фигура послушно исчезает, а Корнеев, дуя на кулак, отходит к окну и скорбно прислоняется к оконнице.

Эдик, глядя ему в спину, качает головой.

— Слушайте, Эдик, — тихонько говорит Саша. — В чем все-таки дело? Почему из-за паршивого дивана такой шум? Он же жесткий…

— Это не диван, — отвечает Эдик. — Это такой преобразователь. Он, например, может превращать реальные вещи в сказочные. Вот, например… Ну, что бы… — Эдик озирается, берет с вешалки драный треух, бросает на диван, а сам запускает руку в спинку и что-то там проворачивает со звуком заторможенной магнитофонной пленки. — Вот видите, была обыкновенная шапка. А теперь смотрите…

Он берет шапку и нахлобучивает себе на голову.

И сейчас же исчезает.

— Шапка-невидимка, понимаете? — раздается его голос. Он снова появляется и вешает шапку на место.

— А ты на нем, балда, спать расположился, — подает от окна голос Корнеев. — Скажи еще спасибо, что я его из-под тебя уволок, а то проснулся бы ты, сердяга, каким-нибудь мальчиком-с-пальчик в сапогах… Возись потом с тобой.

— Да, это моя вина, — сказал Эдик. — Надо мне было вам все это растолковать как следует.

Корнеев, словно что-то вспомнив, вдруг возвращается к ним.

— Так ты, значит, у нас заведующим вычислительным центром будешь? — говорит он, оглядывая оценивающе Сашу с головы до ног.

— Да, — отвечает Саша небрежно. — Попытаюсь.

— Ты машину-то знаешь нашу, «Алдан-12»…

— Приходилось, — говорит Саша.

— Так какого же дьявола она у тебя не работает? — произносит Корнеев, агрессивно глядя на Сашу. — Что ты тут тары-бары растабарываешь, когда мне машина вот так нужна? Если они мне, зануды, дивана не дают, так, может, хоть модель математическую рассчитаю, и тогда плевал я на этот диван… Ну что ты стоишь? Что ты здесь стоишь?

— Подожди, — говорит Саша, несколько ошеломленный. — А чего тебе надо, какая модель?

Корнеев делает движение, как будто собирается бежать за чем-то, затем передумывает, выхватывает из воздуха стопку бумаги, авторучку, бросает все на стол и с ходу принимается писать, приговаривая:

— Смотри сюда. Линейное уравнение Киврина, понял? Граничные условия такие… Нет, здесь в квадрате, так?

Саша тоже сгибается над столом. Эдик глядит Корнееву через плечо.

— Оператор Гамильтона… — продолжает Корнеев. — Теперь все это трансгрессируем по произвольному объему. По произвольному, понял? Здесь тогда получается ноль, а здесь произвольная функция. Теперь берем тензор воспитания… Ну чего ты смотришь, как баран? Не понимаешь? Ну, как он у вас называется…

Голос его заглушает конкретная музыка, а над столом взлетают фонтаны цифр и математических символов. Саша тоже приходит в азарт, стучит пальцем по написанному, выхватывает у Корнеева ручку и пишет сам.

Появляется кот Василий, обходит вокруг стола, заложив лапы за спину, пожимает плечами и скрывается.

Эдик некоторое время слушает, потом достает из нагрудного кармана умклайдет, поднимает его над головой и резко взмахивает им, словно стряхивает термометр.

Вспышка, тьма, и все трое уже стоят перед трехэтажным, современного вида зданием из стекла и бетона, но без дверей. Есть бетонный козырек над подъездом, есть несколько широких ступенек, но ступени эти ведут в глухой простенок между гигантскими черными окнами. Возле правого окна над громадной плевательницей в виде жабы с отверстой пастью висит строгая вывеска: «Научно-Исследовательский Институт Чародейства и Волшебства».

Корнеев и Саша все продолжают спорить, Саша только на мгновение замолкает, озадаченно оглядываясь по сторонам, и тотчас рядом с ними возникают его чемоданы. Он снова бросается в спор.

Эдик берет чемоданы, поднимается по ступенькам и пихает в простенок ногой. Появляется стеклянная дверь. Смутно видимый сквозь стекло устрашающего вида вахтер-ифрит, в огромном тюрбане и с кривым мечом на плече, распахивает перед ними двери.

И полетели дни и ночи, заполненные работой.

Саша за пультом «Алдана-12» сосредоточенно следит за вспыхивающими и гаснущими рядами цифр на контрольном табло, нажимает кнопки; бешено несется за стеклом магнитная лента, стрекочет печатающее устройство. Саша просматривает таблограмму, отрывает кусок рулона, проглядывает ряды цифр, с досадой рвет бумагу, отшвыривает ее в сторону и снова возвращается к пульту. Над пультом возникает полупрозрачное лицо Федора Симеоновича. Великий маг сочувственно наблюдает за Сашей, затем кладет тихонько ему под руку банан и исчезает. Саша, не прекращая работы, рассеянно берет банан и ест.

Комната в общежитии. За окном дождь, мечутся тени голых ветвей. Саша, обхватив голову руками, читает толстенный том, потом берет его двумя руками, ставит на стол ребром и опирается на него подбородком. Глаза у него пустые и обращенные внутрь. Название книги: «Уравнения математической магии».

Лаборатория Корнеева. Саша и Виктор сидят за столом, уставленным разнообразной электроникой. Перед ними беспорядочные груды исчерченной исписанной бумаги, и весь пол вокруг стола усыпан исписанной бумагой. Ребята продолжают чертить и писать и исписанные листки бросают на пол. Входит фигура, как две капли воды похожая на Корнеева, с тупым выражением на физиономии и с белыми буквами на груди: «Корнеев 186/К». Фигура ставит на стол две бутылки кефира и исчезает. Корнеев пытается что-то втолковать Саше, показывает пальцами, но Саша не понимает. Тогда Корнеев хватает бутылку, подбрасывает ее в воздух, она повисает над столом, а он снова принимается показывать руками, и, следуя его движениям, бутылка начинает изгибаться, пересекая самое себя, расплющивается, и в разных точках образовавшейся абстрактной модели вспыхивают латинские буквы A, B, C и т. п. Саша радостно тычет пальцем в одну из точек, хлопает себя по лбу и снова принимается писать.

Снова перед пультом машины. Кристобаль Хозевич Хунта напяливает на голову никелированный колпак, из которого выходит пучок проводов, соединенных с печатающим устройством. Саша смотрит на этот колпак с сомнением, качает головой и принимается нажимать кнопки и клавиши. На табло вспыхивают и гаснут цифры, из печатающего устройства ползет лента. На ленте текст: «ПЕРВЫЙ ОТВЕТ: ДА, ВОЗМОЖНО. ВТОРОЙ ОТВЕТ: НЕТ. ТРЕТИЙ ОТВЕТ: НЕ ЗАСОРЯЙТЕ МНЕ ПАМЯТЬ. ЧЕТВЕРТЫЙ ОТВЕТ: ПРИ УСЛОВИИ, ЕСЛИ ХР ХР ХР ХР…» Саша поспешно нажимает кнопку, лента останавливается. Хунта недовольно поворачивается к Саше, Саша разевает рот: у Хунты вместо глаз окошечки, как на табло, и в них, как на табло, вспыхивают и гаснут неоновые четверки, семерки и прочие нули.

Улица перед институтом, осень, ветер несет желтые листья, по лужам бежит рябь.

Саша отрывает таблограмму и, рассматривая ее на ходу, бежит по коридору. Врывается в лабораторию Федора Симеоновича, вручает ему таблограмму. Федор Симеонович поворачивается к стенду, где под стеклянным колпаком — обугленные останки сгоревшей книги. Великий маг, глядя в строчки цифр, принимается набирать код на клавишном

устройстве, нажимает на кнопку «Пуск», и обугленная книга начинает дымиться, вспыхивает ярким пламенем, из которого появляется та же книга, но целая и невредимая. Федор Симеонович хлопает в ладоши, потирает руки, Саша тоже хлопает в ладоши и потирает руки.

Саша у себя в кабинетике просматривает заказы и распределяет машинное время. Перед его столом очередь человек в пять — все знакомые лица, только тупые и какие-то окаменевшие, у каждого на груди надпись: «Выбегалло 11», «Хунта 1244», «Киврин 67», «Корнеев 421»… В хвосте стоит обыкновенный живой человек с толстым портфелем, бледный и напуганный. Саша кончает просматривать листок с заданием и возвращает его «Выбегалле 11».

— Я тысячу раз просил на машинке печатать, — строго говорит он.

— Почерк же, как курица лапой. Перепечатать!

Тут он замечает человека с портфелем.

— А! — говорит он. — Проходите, проходите, присаживайтесь, пожалуйста… Вы ведь с рыбозавода? Мне звонили… Да идите же сюда!

Человек с портфелем, виновато кивая и озираясь, приближается к столу и присаживается на краешек стула.

— Неудобно как-то, — бормочет он, опасливо косясь на очередь. — Вот ведь товарищи ждут, раньше меня пришли…

— Ничего, ничего, это не товарищи… — Саша протягивает руку за пачкой бумаг, которую человек достал из портфеля.

— Ну, граждане…

— И не граждане… — Саша начинает просматривать бумаги. — Это называется дубль, — объясняет он, не поднимая глаз. — Времени сотрудникам не хватает: в очереди им стоять некогда, вот они и посылают свои копии… Кого сюда, кого за получкой… кого в магазин… кого на свидание… Я что-то тут не понимаю, к какому же вам числу это нужно? А, понятно…

Человек с портфелем опасливо оглядывается на очередь.

— Дубли… То-то же я смотрю — не мигают оне… а вот этот, с бородой, он, по-моему, и не дышит даже…

Общежитие. Эдик учит Сашу проходить сквозь стены. Сначала проходит сам, возвращается, что-то втолковывает Саше, показывает, что надо выгибать грудь и тянуть носки. Саша закрывает глаза, шагает в стену и отшибает лоб. Эдик снова втолковывает ему, что нужно прогибаться, прогибаться! Саша повторяет попытку, прогибаясь. Верхняя часть его тела проходит, нижняя остается. Саша судорожно сучит ногами. Тут же стоит Корнеев со стаканом чаю, гогочет. Потом они вдвоем с Эдиком пробуют

вытащить Сашу. Пробуют так и эдак. Лица у них становятся серьезными.

Разобранная стена. Саша сердито отряхивается. Корнеев и Эдик, насупленные, закладывают кирпичами пролом.

Саша работает у пульта машины — очень усталый, озабоченный, встрепанный. За окном крупными хлопьями падает густой снег.

Входит дубль Эдика — «Почкин 107».

— Чего тебе? — раздраженно спрашивает Саша, не отрываясь от работы.

— Хозяин… просит… явиться… на доклад… Выбегаллы… — монотонно бубнит дубль.

— Не могу, не могу, занят, — нетерпеливо отвечает Саша. — Пошел вон.

Дубль исчезает, но в дверях сейчас же появляется хорошенькая девица, ведьма Стеллочка.

— Саша, — говорит она, — чего же ты? Пойдем!

Саша смотрит на нее, мотает головой.

— Стеллочка, не могу, — говорит он. — Честное слово, не могу.

— Но ты же обещал! Пойдем, говорят, будет что-то феноменальное…

Саша опять трясет головой.

— Нет-нет, не могу. Не проси.

Он включает печатающее устройство. Стеллочка, надув губки, удаляется. В дверь левым плечом вперед вдвигается Хома Брут, руки в карманы, кепочка на глаз.

— Слышь, Саш, — сипит он. — А ты чего тут торчишь? Все, понимаешь, бегут, а он тут торчит, как приклеенный…

— Отстань, отстань! — говорит Саша со злостью.

— Во дает! — удивляется Хома. — Зря. Мы там с шефом такую штуку сейчас отколем — закачаетесь! Весь институт на воздух пустим…

Саша поворачивается к нему.

— Вместе со своим шефом, — говорит он громким шепотом, — иди, иди и иди. Понятно? Занят я! — орет он. — Некогда мне вашей чепухой заниматься!

Хома обиженно пожимает плечами и тут замечает на полочке склянку с ярлыком. Видно только слово «спирт». Лицо Хомы немедленно проясняется. Покосившись на Сашу, который снова погрузился в работу, он вороватым движением хватает склянку, свинчивает колпачок и опрокидывает содержимое в рот.

Лицо его чудовищно искажается, из ушей вырываются струи дыма. (Саша рассеянно отгоняет дым ладонью.) Глаза съезжаются и

разъезжаются.

Он смотрит на ярлык. «Нашатырный спирт».

Хома укоризненно качает головой, завинчивает колпачок, ставит склянку на место и вытирает губы.

Из стены выходит озабоченный Эдик Почкин.

— Ну что же ты, Саша? — говорит он. — Я же тебя звал.

— Да что там у вас происходит? — раздраженно спрашивает Саша. — Занят я. Не нужен мне ваш Выбегалло, и я, надеюсь, ему не нужен…

— Сейчас там каждый порядочный маг нужен, — говорит Эдик. — Это серьезно, Саша.

Звонит телефон. Саша срывает трубку. Голос Корнеева хрипит:

— Сашка? Ты что там отсиживаешься, хомяк? Трусишь?

Саша поражен.

— Да что вы, в самом деле, ребята, — лепечет он. — Ну пожалуйста, ну пошли…

Он бросает трубку и вслед за Эдиком устремляется в стену.

По занесенной снегом дороге Саша и Эдик спешат к огромному приземистому зданию, похожему на ангар. За ними по пятам, засунув руки глубоко в карманы, семенит Хома Брут.

Перед распахнутыми воротами ангара оживление: только что подъехавший автобус извергает из недр своих кучу корреспондентов с фото- и киноаппаратами наголо; спецмашина телевидения, от нее внутрь ангара уже тянутся кабели, глава телегруппы в роскошной шубе нараспашку отдает распоряжения, его люди с натугой катят по снегу тележки с телекамерами; толпа сотрудников института собралась перед огромным плакатом ярмарочного вида.

Надпись на плакате: «Внимание! Внимание! Сегодня! Впервые в истории науки! Грандиозный эксперимент профессора Выбегалло! Демонстрация совершенной модели идеального человека! Доклад профессора Выбегалло А. А. Начало в 18.00. Просьба места для прессы не занимать».

Саша входит в ангар — огромное помещение на дырчатых железных фермах. Здесь уже светят юпитеры, вспыхивают блицы фотокорреспондентов. В глубине ангара на дощатом помосте возвышается знакомый диван-транслятор. От него в разные стороны бегут пучки проводов и кабелей. На диване лежит гигантское яйцо, испещренное темными пятнами. По сторонам помоста стоят генераторные башни с металлическими шарами наверху, между шарами время от времени проскакивают молнии, и тогда звучат раскаты грома.

Почти сразу же Саша натыкается на группу ожесточенно спорящих людей. Здесь Федор Симеонович Киврин, Кристобаль Хунта, Модест Матвеевич с неизменной папкой и профессор Выбегалло — в валенках, подшитых кожей, в извозчицком тулупе и в роскошной пыжиковой шапке.

— Достаточно того, — говорит Хунта, обращаясь к Выбегалле, — что ваш, простите, родильный дом находится рядом с моими лабораториями. Вы уже устроили один взрыв, и в результате я в течение двадцати минут был вынужден ждать, пока у меня в кабинете вставят вылетевшие стекла…

— Это, дорогой, мое дело, чем я у себя занимаюсь, — огрызается Выбегалло фальцетом. — Я до ваших лабораторий не касаюсь, хотя у вас там в последнее время бесперечь текет живая вода, я себе в ей все валенки промочил…

— Г-голубчик, — рокочет Федор Симеонович. — Амвросий Амбруазович! Н-надо же принимать во внимание возможные осложнения… Ведь никто же не работает на территории института, скажем, с огнедышащим драконом…

— У меня не дракон! У меня идеальный счастливый человек! Исполин духа! Как-то странно вы рассуждаете, товарищ Киврин! Странные у вас аналогии! Чужие! Модель идеального человека и какой-то внеклассовый огнедышащий дракон!

— Г-голубчик, да дело же не в том, что он внеклассовый, а в том, что он пожар может устроить!

— Вот опять! Идеальный человек может устроить пожар! Не подумали вы, товарищ Федор Симеонович!

— Я г-говорю о драконе…

— А я говорю о вашей неправильной установке! Вы стираете, Федор Симеонович, вы всячески замазываете! Мы, конечно, стираем противоречия… между умственным и физическим… между мужчиной и женщиной… Но замазывать пропасть мы вам не позволим!

— К-какую пропасть? Что за чертовщина? Кристобаль, в конце концов, вы же ему только что объяснили! Я говорю, профессор, что ваш эксперимент опасен! Понимаете? Институт можно повредить, понимаете?

— Я-то все понимаю, — визжит Выбегалло. — Я-то не позволю идеальному человеку вылупляться среди чистого поля на ветру! И Модест Матвеевич вот тоже понимает! Там мы имеем что? — Он указывает в пространство. — Природу! Стихии! Снег вон идет. Значит, считайте: обшивка сгниет, пружины лопнут. А кому отвечать? Модесту Матвеевичу!

— Это убедительно, — говорит Модест Матвеевич раздумчиво.

— Да он весь ангар вам разворотит, — говорит Федор Симеонович. —

Этот эксперимент надо проводить не ближе пяти километров от города! А лучше дальше…

— Ах, вам лучше, чтобы дальше? — зловеще вопрошает Выбегалло. — Понятно. Тогда уж, может быть, не на пять километров, Федор Симеонович, а прямо уж на пять тысяч километров? Подальше где-нибудь, на Аляске, например! Так прямо и скажите! А мы запишем!

Воцаряется молчание, и слышно, как грозно сопит Федор Симеонович, потерявший дар слова.

— За такие слова, — цедит сквозь зубы Хунта, — лет триста назад я отряхнул бы вам пыль с ушей и провертел бы в вас дыру для вентиляции…

— Ничего, ничего, — отвечает Выбегалло, — это вам не Португалия. Критики не любите…

— А ведь вы пошляк, Выбегалло, — неожиданно спокойным голосом объявляет Федор Симеонович. — Вас, оказывается, гнать надо.

— Критики, критики не любите, — отдуваясь, твердит Выбегалло. — Самокритики не любите…

— Значит, так, — вмешивается Модест Матвеевич. — Как представитель администрации и хозяйственных отделов, я в науке разбираться не обязан. Поскольку товарищ директор находится в отъезде, я могу сказать только одно: обшивка должна остаться целой, и пружины в порядке. В таком вот аксепте. Доступно, товарищи ученые?

С этими словами, переложив папку под другую мышку, он торопливо удаляется.

— Критики не любите! — в последний раз торжествующе восклицает Выбегалло и тоже удаляется.

Хунта и Киврин безнадежно глядят друг на друга.

— А что если я превращу его в мокрицу? — кровожадно говорит Хунта.

— Лучше уж в стул, — говорит Федор Симеонович.

— Можно и в стул, — говорит Хунта. — Я охотно буду на нем сидеть.

Федор Симеонович спохватывается.

— Г-голубчик, о чем это мы с тобой говорим? Это же негуманно… — Взгляд его падает на Хому. — Минуточку, дружок! Подите-ка сюда, подите!

Хома, сдернув кепочку, неуверенно приближается, искательно улыбаясь.

— Скажите-ка, дружок, — спрашивает Федор Симеонович. — Какие там у вас с Выбегаллой задействованы мощности?

Хома пытается уменьшиться в размерах, но Хунта ловко хватает его за ухо и распрямляет.

— Отвечайте, Брут! — гремит он.

— Да я-то что? — ноющим голосом говорит Хома. — Как мне приказали, так я и сделал. Мне говорят на десять тысяч сил, я и дал десять тысяч!

— Каких сил?! — восклицает Федор Симеонович, раздувая бороду.

— Ма… магических, — мямлит Хома.

— Десять тысяч магических сил?! — Ошеломленный Хунта отпускает Хому, и тот мгновенно улетучивается. — Теодор, я принимаю решительные меры.

Он взмахивает умклайдетом, длинным и блестящим, как шпага.

И сейчас же в отверстые ворота ангара с ревом вкатываются гигантские МАЗы, груженные мешками с песком, козлами с колючей проволокой, пирамидальными надолбами, бетонными цилиндрами дотов. Целая армия мохнатых домовых облепляет грузовики, со страшной быстротой разгружает их и начинает возводить вокруг помоста с яйцом кольцо долговременных укреплений.

— Десять тысяч магосил! — бормочет Федор Симеонович, ошеломленно качая головой. — Однако ж, друзья мои! Это же нельзя просто так… Это ж рассчитать надо было!.. Это же в уме не сосчитаешь!

Оба они поворачиваются и смотрят на Сашу. У Саши несчастное лицо, но он еще ничего не понимает и пытается хорохориться.

— А в чем, собственно, дело? — бормочет он, озираясь в поисках поддержки. — Ну, рассчитал я ему… заявка была… модель идеального человека… Почему я должен был отказывать?

— А потому, голубчик, — внушительно говорит ему Федор Симеонович, — что вы спрограммировали суперэгоцентриста. Если нам не удастся остановить его, этот ваш идеальный человек сожрет и загребет все материальные ценности, до которых сможет дотянуться, а потом свернет пространство и остановит время. Это же гений-потребитель, понимаете? По-тре-би-тель!

— Выбегалло — демагог, — добавляет Хунта. — Бездарь. Сам он ничего не умеет. И выезжает он на таких безответных дурачках, как вы и этот алкоголик — золотые руки.

Под сводами ангара вспыхивают яркие лампы. Хома Брут с переносной кафедрой на спине поднимается на помост и устанавливает ее рядом с диваном. На кафедру взгромождается профессор Выбегалло.

Корреспонденты бешено строчат в записных книжках, щелкают фотоаппаратами, жужжат кинокамерами. Ассистенты Выбегаллы в белых халатах устанавливают вокруг дивана мешки с хлебом и ведра с молоком.

Один из них приносит магнитофон.

Выбегалло залпом выпивает стакан воды и начинает:

— Главное — что? Главное, чтобы человек был счастлив. А что есть человек, философски говоря? Человек, товарищи, есть хомо сапиенс, который может и хочет. Может, ета, все, что хочет, а хочет, соответственно, все, что может. В моих трудах так и написано. (Корреспондентам.) Вы, товарищи, все пока пишите, а потом я сам посмотрю, какие надо цитаты вставлю, кавычки, то-сё… Продолжаю. Ежели он, то есть человек, может все, что хочет, и хочет все, что может, то он и есть, как говорится, счастлив. Так мы его и определим. Что мы здесь, товарищи, перед собой имеем?..

Пока Выбегалло говорит, с гигантским яйцом происходят изменения. Оно покрывается трещинами, сквозь которые пробиваются струйки пара.

— Мы имеем модель. То есть мы пока имеем яйцо, а модель у ей внутре. Имеется метафизический переход от несчастья к счастью, и это нас не может удивлять, потому что счастливыми не рождаются, а счастливыми, ета, становятся в дальнейшем. Вот сейчас оно рождается или, говоря по-научному, вылупляется…

Яйцо разваливается. Среди обломков скорлупы на диване садится удивительно похожий на Выбегаллу человек в полосатой пижаме. Поперек груди белая надпись: «Выбегалло-второй Счастливый». Человек, ни на кого не глядя, хватает ближайшую буханку хлеба и принимается с урчанием пожирать ее.

— Видали? Видали? — радостно кричит Выбегалло. — Оно хочет, и потому оно пока несчастно. Но оно у нас может, и через это «может» совершается диалектический скачок. Во! Во! Смотрите! Видали, как оно может?.. Ух ты мой милый, ух ты мой радостный… Во! Во как оно может!.. Вы там, товарищи в прессе, свои фотоаппаратики отложите, а возьмите вы киноаппаратики, потому как мы здесь имеем процесс… здесь у нас все в движении! Покой у нас, как и полагается быть, относителен, движение у нас абсолютно. Но это еще не все. Потребности у нас пойдут как вширь, так, соответственно, и вглубь. Тут говорят, что товарищ профессор Выбегалло, мол, против духовного мира. Это, товарищи, клеветнический ярлык! Нам, товарищи, давно пора забыть такие манеры в научной дискуссии! Все мы знаем, что материальное идеть впереди, а духовное идеть позади, или, как говорится, голодной куме все хлеб на уме…

Модель жрет. Мешки с хлебом пустеют один за другим. В широкую пасть опрокидываются ведра молока. Модель заметно раздуло, полосатая пижама ей уже тесна.

— Но не будем отвлекаться от главного, от практики. Пока оно

удовлетворяет свои матпотребности, переходим к следующей ступени эксперимента. Поясню для прессы. Когда временное удовлетворение матпотребностей произошло, можно переходить к удовлетворению духпотребностей. То есть: посмотреть кино, телевизор, послушать народную музыку или попеть самому, и даже почитать какую-нибудь книгу, скажем, «Крокодил» или там газету, не говоря уж об том, чтобы решить кроссворд. Мы, товарищи, не забываем, что удовлетворение матпотребностей особенных талантов не требует, они всегда есть. А вот духовные способности надобно воспитать, и мы их сейчас у него воспитаем.

Профессор Выбегалло дает сигнал ассистентам.

Угрюмые ассистенты разворачивают на помосте магнитофон, радиоприемник, кинопроектор и небольшую переносную библиотеку.

— Принудительное внушение культурных навыков! — провозглашает Выбегалло.

Магнитофон сладко поет: «Мы с милым расставалися, клялись в любви своей…» Радиоприемник свистит и улюлюкает. Кинопроектор показывает на стене ангара мультфильм «Волк и семеро козлят».

Два ассистента с журналами в руках становятся перед моделью и наперебой читают вслух, а Хома Брут, примостившись тут же, бьет по струнам гитары и с чувством исполняет что-то залихватское.

Модель никак не реагирует. Проглотив последнюю буханку и опорожнив последнее ведро, она сидит на диване и шарит в неопрятной бороде. Извлекает из бороды длинную щепку, запускает ее между зубов, отрыгивает— ся.

Затем выплевывает щепку и оценивающим взглядом обводит толпу.

Толпа пятится.

Саша мужественно заслоняет собой Стеллочку.

Пятятся чтецы с журналами, Хома Брут соскакивает с помоста и приседает на корточки.

Шум стихает. В наступившей тишине Выбегалло заканчивает свою речь:

— И вот он, товарищи, перед нами! Образец потребления материальных и духовных ценностей, счастливый рыцарь без страха и упрека.

Упырь внимательно смотрит на него. Он уже огромен, пижамная пара свисает с него клочьями.

Встретив внимательный взгляд, Выбегалло нервно поправляет пенсне и произносит:

— Собственно, я закончил. Может быть, есть какие-нибудь вопросы?

Ему отвечает спокойный голос Хунты:

— Спасайтесь, старый дурак.

Но Выбегалло еще не понимает.

— Есть предложение, — начинает он, — эту реплику из зала решительно отмести…

Упырь не дает ему закончить. Он вытягивает неимоверно длинную руку и хватает Выбегаллу за тулуп. Выбегалло замолкает и покорно вылезает из тулупа. Упырь хозяйски встряхивает тулуп, оглядывает его и кладет рядом с собой у дивана.

Выбегалло, ссыпавшись с помоста, ныряет в толпу. Толпа продолжает пятиться, а упырь тем временем неторопливо подтягивает к себе поближе радиоприемник, магнитофон, кинопроектор.

— Это, значить, все будет мое, — рокочущим голосом объявляет он. Он снова оглядывает толпу. Взгляд у него нехороший, оценивающий какой-то. При этом он непрерывно облизывается.

С головы Саши вдруг срывается финская шапочка и улетает на помост. Упырь напяливает ее себе на плешь.

Стеллочка взвизгивает: с ее руки срываются часики. Упырь ловит их на лету.

— Всем в укрытие! — гремит усиленный мегафоном голос Хунты.

Все бросаются в проходы между проволочными заграждениями, а по очистившемуся пространству ангара ползут, скачут по-лягушачьи, летят птичками полушубки, манто, дубленки, часы, портсигары, кошельки, брюки, валенки, ботинки — и все на помост, все на помост.

Упырь мечется по помосту, подхватывает, жадно оглядывает, примеряет, запихивает в мешки из-под хлеба, злобно озирается, скалит клыки и взрыкивает.

— Мне! — хрипит он. — И ето мне! И ето! Мое!

За валом из мешков паника. Мечутся полуодетые, возмущенные и испуганные люди.

Толпа ограбленных терзает Выбегаллу. Особенно неистовствует Хома Брут в одной длинной рубахе до колен. Выбегалло отдувается и кричит фальцетом:

— Критики! Критики не любите!

Начальник группы телевизионщиков в подтяжках и трусах надрывается в телефонную трубку:

— Милиция! Милиция? Немедленно выезжайте! Массовое ограбление! Банда гангстеров! Главарь шайки — некий Выбегалло из

НИИЧАВО!

Тем временем упырь на помосте подтащил к себе телевизионную камеру, груду фото- и киноаппаратов и жадно озирается, ища, чем бы еще завладеть. Его со всех сторон окружает кольцо проволочных заграждений и глухой вал из мешков. Мрачно смотрят амбразуры дотов.

— Машину! — капризно басит упырь. — Машину желаю!

И стена из мешков напротив вдруг разваливается, в пролом задом вкатывает огромный МАЗ, подкатывает к помосту и останавливается.

Упырь прыгает в ковш, жадно ощупывает кабину, ревет:

— Еще!

В пролом один за другим катят: автобус, на котором приехали корреспонденты, какой-то газик — из него на ходу выскакивает испуганный шофер, запутывается в проволоке, орет ужасным голосом; два «Москвича»; «Жигули»; старая «Волга», новая «Волга», кадиллак…

— По-моему, пора, — говорит Федор Симеонович Хунте, который не отрываясь наблюдает за упырем в стереотрубу.

— Начнем со снотворного, — говорит Хунта. — Давайте! — командует он кому-то через плечо.

Из-за вала высовываются несколько сотрудников и направляют на упыря брандспойт, присоединенный к серебристой цистерне с надписью «Пиво». Пенная струя ударяет прямо в распахнутую клыкастую пасть.

Упырь приходит в дикий восторг. Сначала он жадно глотает, посыпая струю сверху солью из солонки, потом прыгает под струей как под душем Шарко, гогоча и шлепая себя под мышками, потом принимается торопливо наполнять ведра из-под молока — терпения у него не хватает: он протягивает руку на все двадцать метров, хватает брандспойт (сотрудники — врассыпную), тянет к себе, за брандспойтом тянется кишка, а за кишкой, разворотив мешочную стену, во владения упыря втягивается цистерна.

— Ну, с меня хватит! — объявляет Федор Симеонович.

Он засучивает рукава и порывается в пролом, но тут на нем повисают все, кто находится поблизости. Федор Симеонович в небывалом гневе. Из глаз его скачут шаровые молнии, он кричит:

— Дайте его мне! Сколько же можно терпеть!

— Пускайте Голема! — громовым голосом командует Хунта.

Слышится могучее шипение и свист.

Все приседают и втягивают головы в плечи.

Перемахнув через вал, на середину ангара ловко выскакивает Голем — не глиняный Голем из сказок, а современный робот из фантастических романов, весь из металла и пластика, гибкий, шестирукий, жутко светятся

четыре пары глаз, из головы выдвигаются и прячутся телескопические рога антенн.

Упырь поворачивается к противнику, садится на ближайший мешок и длиннющими руками старается прикрыть свое богатство, как хохлушка цыплят.

— Не дам! — рычит он. — Катись отседова!

Робот с пневматическим шипением и свистом приближается.

Тогда упырь вскакивает, выламывает доску из помоста и кидается на врага.

— И-иэх-х!!

Робот легко уклоняется от молодецкого удара и средней правой наносит упырю короткий удар в лоб.

Упырь спиной вперед, размахивая руками, летит и врезается в помост.

Над валом ликование. Свист, аплодисменты.

Упырь вскакивает, выворачивает из бетонного пола железный швеллер, летит на робота, вращаясь вокруг собственной оси, как метатель молота.

И снова робот легко уклоняется и встречает упыря могучей оплеухой.

Новый взрыв ликования на валу.

Упырь лежит под грузовиком, на физиономии у него набухают два здоровенных фингала.

Робот, деловито наматывая на четыре руки толстый трос, приближается к нему.

На морде упыря ужас вдруг сменяется вожделением.

— Хочу! — хрипит он. — Желаю!!

Робот приостанавливается. Упырь выбирается из-под грузовика и, непрерывно облизываясь, бормочет:

— Это будет мое! Это мне! Ух ты мой милый! Ух ты мой радостный!..

Руки робота разом опускаются, трос падает на пол, глаза меркнут.

— Давай, давай! — говорит ему упырь и толкает в сторону помоста.

— Давай, дело делай. Нечего тебе тут стоять…

И робот покорно принимается всеми шестью своими руками укладывать и упаковывать награбленное барахло.

Упырь радостно хохочет, разевая пасть на весь ангар.

— Ну, все, ребята, — говорит за валом Витька Корнеев. — Теперь наша очередь.

Саша с Эдиком Почкиным подтаскивают плетеную корзину, набитую стружками, из которых торчит горло четвертной бутыли, залитое сургучом. Торопливо горстями выбрасывают стружки.

Корнеев легко, одной рукой извлекает бутылку, читает ярлык:

— «Джин Злой дух ибн Джафар. Выдержка с 1015 года до нашей эры. Опасно! Не взбалтывать!»

Виктор старательно трясет бутыль, поворачивает ее горлышком вниз и снова трясет. За стеклом возникает на мгновение, расплывается и снова исчезает жуткое искаженное рыло с кривым клыком и черной повязкой через глаз.

Вой милицейской сирены. К воротам ангара подкатывает милицейская «Волга» со световой вертушкой на крыше, из нее высыпаются оперативные работники. Все они кидаются рассматривать в лупу и фотографировать следы на снегу, а юный сержант милиции, подтягивая на ходу перчатки, устремляется в ангар.

Все замирают.

Сержант проходит через пролом в стене и, звеня подковками по бетонному полу, печатая шаг, направляется к упырю.

Упырь озадаченно смотрит на него. Потом облизывается, приседает, свесив длинные руки, и мелкими шажками движется навстречу.

Сержант, не останавливаясь, достает свисток, и длиннейшая трель оглашает ангар.

Робот за спиной упыря поднимает все шесть рук и опускает голову.

Упырь распахивает гигантскую клыкастую пасть, и в этот момент…

— Ложи-и-ись! — орет Корнеев на весь ангар.

Падает ничком сержант.

Падают ничком все за стеной.

Корнеев, занося назад правую руку с бутылью, разбегается и, как гранату, швыряет бутыль прямо в разверстую пасть.

Раздается звон битого стекла. Дикий хохочущий вой.

В воздухе появляется давешняя клыкастая морда с повязкой через глаз, затем все заволакивается клубами огненного дыма, словно вспыхнула бочка с нефтью.

Громовые удары, рычание, хохот… Отчаянный вопль: «Не отдам, не отдам, милиция!..»

Дым и огонь скатываются в клубок, и клубок этот катится по ангару.

Рушатся мешки с песком. Рвется в клочья колючая проволока. Валятся столбы генератора Ван де Граафа, летят в воздух доски постамента, огромные подбитые кожей валенки, колеса автомашин, крутится, переворачиваясь в воздухе, цистерна с надписью «Пиво»…

Сержант милиции с трудом поднимается на ноги, заслоняясь рукой, пытается приблизиться к огненному клубку и пронзительно свистит.

В то же мгновение клубок с грохотом и треском лопается, выбросив в

разные стороны струи огня.

Тишина. Там, где был постамент и горой высилось награбленное, ничего нет. Только неглубокая воронка, из которой под своды ангара нехотя поднимается жиденькая струйка дыма.

Закопченный и основательно ободранный сержант приближается к воронке, заглядывает, наклоняется, поднимает огромную вставную челюсть и довольно долго рассматривает ее со всех сторон.

По всему ангару зашевелились, поднимаясь, люди. Тоже закопченные и оборванные, словно побывавшие под бомбежкой.

Сержант берет челюсть под мышку, извлекает из планшета блокнот и провозглашает:

— Потерпевших и свидетелей прошу записываться.

В лаборатории Витьки Корнеева ребята умываются и приводят себя в порядок. У Корнеева забинтована голова, Эдик пришивает пуговицу к куртке, Саша стоит столбом, а Стеллочка старательно чистит его щеткой. В углу пригорюнившись сидит Хома Брут в больших, не по росту, штанах.

— Выбегаллу-то в милицию забрали, — говорит, похохатывая, Корнеев.

— Массовое ограбление под видом научного эксперимента… Модест помчался выручать. Потеха!

— Этому гаду голову оторвать надо, — плачущим голосом говорит Хома. — Такую гитару мне загубил…

— Гитара — бог с ней, — замечает Эдик. — Диван погиб.

— Ничего, ребята! — говорит Корнеев, подмигивая. — Без гитары мы проживем, а что касается дивана — как-нибудь с диваном уладится.

— Самим нам такой транслятор не смастерить, — говорит Эдик грустно.

Корнеев театральным жестом распахивает дверь в соседнее помещение, и все видят на центральном стенде знаменитый диван во всей его красе, правда, слегка подзакопченный.

Всеобщее изумление.

— Главное — что? — объявляет Корнеев. — Главное — вовремя схватить и рвануть когти.

— Ну, братва, — восхищенно восклицает Хома, — по этому поводу надо выпить. Я сбегаю, а?

— Сядь, Хомилло! — властно гремит Корнеев, и Хома покорно опускается на стул. — Мы здесь посоветовались с народом, и есть мнение, что пора и можно уже теперь сделать из тебя настоящего человека.

И снова полетели дни и ночи.

После долгих усилий из Хомы Брута сделали настоящего человека. Вот решающая стадия эксперимента. Хома Брут, побритый и в приличном костюме, с нормальным цветом носа, поставлен перед полкой, на которой выстроены несколько бутылок с водкой. Эдик вручает ему мелкокалиберный пистолет. Корнеев настраивает сложную аппаратуру из витых стеклянных трубок.

— Давай! — командует Эдик.

Хома силится поднять пистолет — не может, лицо его искажается, по лбу струится холодный пот. Эдик кивает Корнееву. Тот поворачивает какой-то верньер.

— Давай, давай, Хома! — приказывает Эдик. — Это враг! Это лично профессор Выбегалло! Гитару свою вспомни!

Хома, закрыв глаза левой рукой, вытягивает правую с пистолетом. Корнеев наводит стеклянный агрегат прямо Хоме в затылок.

— Глядеть! — командует Эдик.

Хома гордо вскидывает голову и закладывает левую руку за спину. Гремят выстрелы. Бутылки одна за другой разлетаются вдребезги. Гремит туш.

Саша и Стеллочка подносят Хоме новую гитару. На глазах у Хомы слезы, он судорожно принюхивается и вдруг чихает и мотает головой.

Федор Симеонович проводит серию экспериментов по омоложению. К «Алдану-12» с помощью множества проводов и датчиков присоединена Наина Киевна. Она сидит в кресле, скрючившись, положив руки и подбородок на свою клюку. Саша закладывает в программное устройство пачку перфокарт, Федор Симеонович сидит перед экранами контрольной аппаратуры, на которых имеют место рентгеновские изображения черепа, грудной клетки и прочих деталей организма Наины Киевны. «Пуск!» — командует Федор Симеонович. Саша нажимает кнопку. Наина Киевна превращается в приятную женщину средних лет. Клюка в ее руках дает молодые побеги, на которых распускаются цветочки. Наина Киевна восторженно и изумленно ощупывает себя, затем встает и, игриво покачивая бедрами, приближается к Федору Симеоновичу. Тот отмахивается от нее и пятится в дверь. Наина устремляется за ним. Саша, поджав губы, рассматривает кусок ленты с длинными рядами цифр, чешет в затылке.

Саша продолжает совершенствоваться в магическом искусстве. На столе перед ним основательно потрепанный том «Уравнений математической магии», распухший от многочисленных закладок, счетная машина «мерседес», стопка бумаги. В руке — умклайдет, деревянный, для

начинающих, похожий на жезл регулировщика. Эдик сидит перед ним с видом экзаменатора, сцепив руки на колене, крутя большими пальцами. Саша, поминутно заглядывая в учебник, производит какие-то вычисления на «мерседесе», рвет из бороды волосок и взмахивает умклайдетом. На столе перед ним появляется блюдце с грушей. Эдик, презрительно усмехаясь, берет грушу и бросает ее на пол. Груша разбивается на мелкие осколки. Саша озадаченно рассматривает умклайдет. Эдик показывает, как надо взмахивать. Саша повторяет его движение. На блюдечке появляется второе блюдечко с грушей. Саша пытается взять грушу и поднимает ее вместе с блюдечком, к которому она приросла. Саша со зверским лицом отрывает кусок груши и пробует. Морщится и выплевывает. «Ешь!» — грозно приказывает Эдик. Саша ест. По лицу его текут слезы.

А между тем Витька Корнеев разрабатывал в страшной тайне свою методику изъятия излишков времени у населения. Ночь, в окно Витькиной лаборатории вовсю светит луна. Она озаряет опутанный проводами диван, в спинку которого встроены два экрана. Над каждым экраном — циферблат, и еще один циферблат — между экранами. Витька, хмурый, обросший щетиной, заканчивает какие-то вычисления, берет листок с числами и садится перед диваном на табуретку. Включает экраны. На правом экране — прокуренная комната: Выбегалло, молодая Наина Киевна и Модест Матвеевич дуются в преферанс. На левом экране — Хома Брут, трезвый и бритый, в белом халате, собирает какой-то прибор: работа у него явно сложная, идет медленно. Стрелки на всех трех циферблатах показывают одно и то же время, секундные движутся с одной и той же скоростью. Витька набирает несколько цифр на миниатюрной клавиатуре, берется за верньер, встроенный в подлокотник дивана, и начинает медленно вращать. Раздается длинный звук тормозящейся магнитофонной ленты. Картины на экранах и на циферблатах плавно меняются. Движения преферансистов становятся все более замедленными, и одновременно замедляется движение секундной стрелки на их циферблате. Хома же Брут, напротив, начинает двигаться все быстрее, и все быстрее бежит его секундная стрелка: собираемый прибор растет на глазах. Только на среднем циферблате стрелка продолжает отсчитывать истинное время. На правом экране игроки почти застыли в неподвижности, а на левом экране Хома Брут в бешеном темпе заканчивает работу, суетливо отряхивает руки и летит к двери. Витька поворачивает верньер в обратную сторону до щелчка. Все циферблаты приходят в соответствие с центральным, движения игроков становятся нормальными. Виктор выключает прибор, экраны гаснут, и в ту же минуту входит Хома. «Ну, я все закончил, —

говорит он. Смотрит на часы. — Обалдеть можно, за десять минут управился, а думал, до утра не кончу!» — «Я тебе всегда говорил, что водка — яд», — угрюмо говорит Витька.

Саша Привалов в своей вычислительной лаборатории снимает трубку телефона и набирает номер. Лицо у него унылое. В лаборатории дым стоит коромыслом: с машины сняты все кожухи, в потрохах ее копаются люди в халатах, возглавляемые Хомой Брутом.

— Стеллочку можно? — говорит Саша в трубку.

На другом конце провода Федор Симеонович передает трубку Стеллочке. Стеллочка держит в одной руке реторту. Она сотрудница отдела Линейного счастья. Здесь работают на оптимизм. Лаборатория похожа на роскошный цветник. Из зарослей цветов торчат грандиозные стеклянные трубчатые установки, в которых мерцает жидкий огонь.

— Алё! — говорит Стеллочка.

— Ну как ты там? — со вздохом осведомляется Саша.

— Я хорошо, — отвечает Стеллочка, косясь на Федора Симеоновича.

— А ты?

— Пошли сегодня в кино, — предлагает Саша.

— В кино? Ты же работать грозился всю ночь.

Саша уныло оглядывает свою разгромленную лабораторию.

— У меня машина полетела, — говорит он жалобно. — Чинят. Долго будут чинить. Так пошли?

— Не знаю, — нерешительно говорит Стеллочка. — У нас сегодня…

— С-сходите, с-сходите, Стеллочка, — басит добродушно Федор Симеонович. — П-посмотрите что-нибудь т-такое… Потом р-расскажете…

— Что у тебя сегодня? — спрашивает Саша нетерпеливо.

— В шесть часов, — говорит Стеллочка.

— Где? — спрашивает Саша.

— Где обычно.

Саша, слегка повеселев, вешает трубку. Подходит Хома с тестером.

— Ты бы сдвинулся куда, Сашка, — говорит он. — Мешаешь…

Саша пятится, роняет прислоненные к стене кожухи и спотыкается об инженера, сидящего на корточках.

— Вы бы шли пока отсюда, Александр Иванович, — говорит тот недовольно. — Только мешаетесь…

— Иди, иди, — говорит Хома. — Там получку дают.

— Получку так получку, — со вздохом говорит Саша. — Но к завтрашнему-то дню вы управитесь?

Ему никто не отвечает. Он опять вздыхает и выходит.

Он идет по длинным коридорам. Все заняты, все спешат. Саша спускается в бухгалтерию, распихивает очередь, состоящую сплошь из дублей, и нагибается к окошечку кассира.

— А, Александр Иванович? Что это вы сегодня лично? Вот здесь, пожалуйста…

Саша расписывается в ведомости.

— А что, профессор Выбегалло в отъезде? — спрашивает кассир, отсчитывая деньги.

Саша пожимает плечами.

— Вы его не видели? — спрашивает кассир.

— Слава богу, нет, — говорит Саша.

— Вы знаете… — говорит кассир, отсчитывая деньги. — Раз, два, три, четыре, пять… Уже два часа выдаю, а его все нет. Обычно окошечко открываю, а он уж тут как тут, самый первый…

— Проспал, наверное, — равнодушно говорит Саша. — Прибежит еще.

— Проспал? — Кассир с сомнением качает головой. — Чтобы профессор Выбегалло проспал в день получки?

— Может быть, заболел? — Саша заинтересовался.

— Дубля бы непременно прислал, что вы!

— Действительно, странно, — говорит Саша.

Он выходит в коридор и останавливает какого-то сотрудника.

— Выбегаллу не видел?

— Бог спас, — бросает сотрудник и устремляется дальше.

Саша останавливает другого сотрудника.

— Выбегаллу не видел?

— А что это такое?.. А, Выбегаллу? Что ты, конечно нет!

Саша в задумчивости бредет по коридору. Все, кого он останавливает, отвечают ему:

— Выбегалло? Оно где-то здесь болталло… Но вот когда — не помню. Давно.

— Один раз видел. Хватит с меня.

— А зачем он тебе? Делать нечего?

Саша проходит мимо дверей, на которых висит табличка: «Заведующий отделом Разнообразных приложений тов. проф. Выбегалло А. А.». На ходу на всякий случай дергает ручку. Дверь заперта. Саша проходит дальше и заглядывает в лабораторию отдела Разнообразных приложений.

Атмосфера здесь не самая деловая. Все курят. Двое играют в крестики

и нолики. Кто-то читает Сименона, поглощая бутерброды. Кто-то вытачивает красивый мундштучок. Играет магнитофон.

— Выбегаллу не видели? — спрашивает Саша.

Все взоры обращаются на него. Затем все вопросительно переглядываются.

— А зачем он тебе? — спрашивает тот, что читал Сименона. — Что тебе — плохо без него?

— Серьезно, ребята, где Выбегалло? — спрашивает Саша.

— Был здесь как-то… — нерешительно говорит тот, что читал Сименона. — Дня три, наверное, назад.

— Раньше, — авторитетно отзывается сотрудник с мундштучком. — Это было еще до того, как ты на бюллетень уходил… Он еще спросил, что такое постельная принадлежность из пяти букв.

— А что это такое? — заинтересованно спрашивает один из игроков в крестики и нолики.

Со всех сторон сыпются предложения: диван, тумба, одеял. Начинается спор. Саша проходит в дверь, на которой написано: «Группа самонадевающейся обуви». Здесь работают. Один сотрудник сидит в носках в специальном кресле, выставив наготове ноги, а другой регулирует чудовищный мокроступ, заводя его специальным ключиком, как заводную игрушку. Затем он пускает мокроступ по полу. Мокроступ с жужжанием, мигая маленькими фарами, подъезжает к сидящему и надевается на подставленную ногу. Жужжание переходит в визг, сидящий с воплями принимается стаскивать мокроступ. Когда ему удается извлечь ногу, оказывается, что носок в лохмотьях.

Саша осторожно прикрывает дверь и снова выходит в коридор. В коридоре Модест Матвеевич с неизменной папкой под мышкой дает указание двум лешим в комбинезонах и с ломами. Выслушав указания, лешие подходят к стене и принимаются долбить ее.

Саша проходит в кабинет Эдика. Эдик занят — рассматривает что-то в бинокулярный микроскоп, рядом с ним из регистрирующего прибора ползет лента самописца. Саша садится рядом с ним на стол и говорит:

— Выбегалло пропал.

— Это хорошо… — рассеянно говорит Эдик, но тут же спохватывается. — То есть, позволь… В каком смысле пропал?

— В буквальном. Нет его нигде. И давно.

Эдик хмурится.

— В бухгалтерии спроси, — говорит он. — Сегодня получка…

— Спрашивал.

— Подожди, подожди, — испуганно говорит Эдик. — Он и за деньгами не пришел?

Саша мотает головой. Эдик тихонько свистит, затем решительно берет телефонную трубку.

— Алло-оу? — откликается томный женский голос.

— Извините, пожалуйста, — говорит Эдик. — Профессора Выбегалло можно к телефону?

— Кого?

— Это квартира профессора Выбегалло?

— Да-а… кажется. Толик, твой папа профессор?

В трубке вдруг раздается мужской голос:

— В чем дело?

— Профессор Выбегалло дома? — спрашивает Эдик.

— Слава богу, нет.

— Вы не скажете, где он?

— Ушел покупать «Огонек[4].

— Давно?

— Недели две.

Эдик ошеломленно смотрит на трубку, затем осторожно кладет ее.

— Плохо дело, — говорит он. — Неужто пропал?

Они радостно смотрят друг на друга. Потом Эдик снова спохватывается.

— Нет, Саша, так нельзя, — решительно говорит он. — Надо искать. Сейчас я Модесту позвоню.

— А он тут, в коридоре…

Они выходят в коридор. Пролом уже сделан, Модест Матвеевич примеряется к нему. Рука с папкой не проходит. Модест Матвеевич дает лешим новые указания. Грохочут ломы, гремит осыпающийся кирпич. Саша и Эдик объясняют Модесту Матвеевичу ситуацию. Тот слушает со строгим выражением лица, приложив к уху руку.

Выслушав, он перекладывает папку под другую мышку и говорит:

— Вы полагаете, иностранная разведка?

— Вряд ли, — отвечает Эдик. — Это было бы слишком хорошо.

— Возможно, пьяный где-нибудь лежит, — раздумчиво говорит Модест Матвеевич. — Бывали прен-цен-денты… И в кабинете нет?

— Кабинет заперт.

— Есть предложение, — провозглашает Модест Матвеевич. — Создать временную комиссию по расследованию дела об исчезновении товарища профессора Выбегаллы в составе: председатель — Камноедов М. М., то

есть я, члены комиссии — Почкин и Привалов, то есть вы двое. Доступно?

Он делает поворот кругом и гордо проходит сквозь пролом в стене. Эдик и Саша тоже проходят сквозь стену справа и слева от пролома. Лешие принимаются заделывать пролом.

Около кабинета Выбегаллы Модест Матвеевич извлекает из кармана связку ключей, выбирает нужный и открывает дверь.

Все трое входят и останавливаются на пороге. Страшная картина встает перед их глазами. Профессор Выбегалло неподвижно сидит за своим столом, склонившись над журналом «Огонек». В руке его карандаш. Он похож на покойника.

Модест Матвеевич снимает шляпу.

— Мир тебе, дорогой товарищ, — произносит он торжественно. — Ты погиб на посту.

Эдик бросается вперед и берет профессора за руку. Рука у профессора окоченелая, как палка.

— По-моему, он жив, — неуверенно говорит Эдик. — Рука теплая.

— Как так — жив? — спрашивает Модест Матвеевич и надевает шляпу.

— Значит, спит?

Эдик вглядывается в лицо профессора.

— Да нет, — говорит он. — Глаза открыты.

— Это еще ничего не значит, — уверенно возражает Модест Матвеевич.

— Нынче многие по конторам наладились спать с открытыми глазами.

Между тем кабинет наполняется любопытными. Ходят, смотрят, недоумевают. Кто-то отмечает толстый слой пыли на столе. Кто-то замечает паутину, растянутую между плечами профессора и стеной. Саша заглядывает в журнал. «Огонек» раскрыт на кроссворде. Рядом лежат разрозненные тома энциклопедии. На них тоже пыль.

Все вдруг расступаются. В кабинет стремительно входят Федор Симеонович и Кристобаль Хозевич. При почтительном молчании присутствующих они приступают к делу: Федор Симеонович ощупывает Выбегаллу, а Кристобаль Хозевич словно бы ощупывает вокруг Выбегаллы воздух.

К и в р и н. Ан-набиоз…

Х у н т а. Похоже… Анабиоз во внешнем поле.

К и в р и н. Д-да, внутреннего поля не ощущается… Т-ты знаешь, Кристо, это пох-хоже на остановку… А какое там у тебя поле?

Х у н т а. Похоже на темпоральное. Но очень мощное. Источник

примерно там…

Раскинув руки крестом, он медленно поворачивается и замирает. На лице его смущение.

— Странно… — говорит он. — В моем отделе… Двести вторая комната…

Саша с Эдиком быстро переглядываются. Эдик кивает, и Саша, выбравшись из толпы, выскакивает за дверь.

Он со всех ног мчится по коридорам и по лестницам и запыхавшись останавливается перед дверью, на которой обозначен номер 202 и красуется табличка: «Лаборатория Корнеева В. П.». Он дергает ручку. Дверь заперта. Он стучит. Никто не отзывается. Тогда он выгибает грудь колесом, вытягивает носочки и шагает сквозь дверь.

В лаборатории Корнеева царит полумрак. Ярко светится большой экран, на котором видны оцепенелый Выбегалло, Киврин, Хунта и прочие. Киврин и Хунта, настороженно выпрямившись, пристально глядят с экрана прямо на Сашу. В отсветах экрана Саша различает Витьку Корнеева. Витька почти не виден. С неимоверной скоростью он двигается в сплошном сплетении проводов, перегонных кубов и прочей аппаратуры.

— Витька! — испуганно кричит Саша.

Мгновение, и Корнеев оказывается возле экрана. Что-то щелкает.

Профессор Выбегалло оживает на экране. Он подносит карандаш ко рту, кусает его и задумчиво говорит:

— Прогулочное судно из четырех букв… Лодка! Л… О… Т…

И тут он замечает вокруг себя людей, остолбенело глядящих на него.

— В чем дело, товарищи? — раздраженно осведомляется он. — Вы же видите — я занят! Модест Матвеевич, я прошу это немедленно прекратить!

Витька выключает экран, и сейчас же загорается свет. Вид у Витьки ужасен: он небрит, осунулся, двухнедельная щетина покрывает его щеки.

— Засекли все-таки… — бормочет он хрипло.

— Что все это значит, Виктор? — спрашивает Саша.

— Мне бы еще часов пятнадцать, — бормочет Витька. Он берет большой стеклянный сосуд с прозрачной жидкостью и смотрит его на свет.

— Видал?

— Ничего не понимаю, — говорит Саша. — Что ты с Выбегаллой сделал? Что ты с собой сделал?

— Я живую воду сделал, балда! — хрипит Корнеев. — Смотри!

Он ставит сосуд на стол, хватает из ведра со льдом замороженную камбалу и кидает в живую воду. Камбала переворачивается вверх брюхом и вдруг оживает, переворачивается и ложится на дно, шевеля плавниками.

— Колоссально! — восклицает Саша, загораясь.

— Мне бы еще часиков пятнадцать… ну, десять! — бормочет Корнеев. — Скорость реакции очень маленькая, понимаешь? Мне бы реакцию ускорить!

Саша опомнился.

— Подожди, — говорит он. — А Выбегалло-то здесь при чем? Что ты с ним сделал?

— Да ничего я с ним не сделал, — нетерпеливо говорит Корнеев. — Две недели времени у него отобрал, у тунеядца. Зачем ему время? Все равно же кроссворды дурацкие решает да в преферанс дуется… Да это вздор! Ты мне лучше вот что… ты мне лучше подсчитай вот такую штуку…

Он наклоняется над столом и принимается быстро писать.

Между тем в кабинете Выбегаллы назревает очередной скандальчик.

— Вы мне это прекратите, товарищ профессор Выбегалло! — орет Модест Матвеевич. — Вы мне объясните, почему вы нарушаете трудовое законодательство?

— Никогда! — вопит Выбегалло. — Основы трудового законодатель—ства я всосал с молоком матери! А что касается кроссвордов, то это есть гимнастика ума! Великий Эйнштейн, если хотите знать, решал кроссворды! И великий Ломоносов решал кроссворды! И этот… как его… великий этот…

— Вы это прекратите! — перебивает Модест Матвеевич. — Работой временной комиссии установлено, что вы четырнадцать суток провели в данном кабинете, следовательно, четырнадцать ночей ночевали здесь, следовательно, четырнадцать раз нарушали трудовое законодательство, а также категорическую инструкцию о непребывании!

Выбегалло вытаращивает глаза.

— То есть как это — четырнадцать суток? Это какое же нынче число?

— К вашему сведению, сегодня девятнадцатое!

Выбегалло медленно поднимается.

— Так позвольте же! — произносит он. — Это, значить, получку дают! Как же вы можете меня от этого отвлекать? Позвольте, позвольте, товарищи! — Он устремляется было от стола, но паутина не пускает его.

— Да позвольте же! — в полный голос вопит Выбегалло, рвет паутину и, распихивая присутствующих, пулей вылетает в коридор.

— В таком вот аксепте, — говорит Модест Матвеевич, строго озирая присутствующих. — Трудовое законодательство — это вам не формулы, понимаете, и не кривые. Его соблюдать надо. — Он делает движение,

чтобы уйти, но любопытство пересиливает, и он наклоняется над кроссвордом. — Прогулочное судно из четырех букв… Лодка! Л… О… Т… Гм!

В лаборатории Корнеева Саша и Витька, упершись друг в друга головами, что-то чертят и пишут. Пол уже забросан исчерканными листками бумаги. Сосуд с камбалой стоит на диване. Камбала чувствует себя хорошо.

— Конечно, если в нашем озере всю воду превратить в живую… — бормочет Саша.

— Да не в нашей луже, балда, — огрызается Корнеев.

— Ну, я понимаю, из озера вытекает ручеек, ручеек впадает в речку…

— Да при чем здесь речка, кретин! Всю воду, понимаешь? Всю воду на Земле можно превратить в живую. Всю!

— Вот этого я не понимаю, — говорит Саша. — Энергии же не хватает.

— Да как же не хватает? — плачущим голосом восклицает Корнеев. — Ну что ты за дубина? Я же тебе показываю…

Задвижка на двери сама собой отодвигается, и дверь распахивается. На пороге — Киврин, Хунта, Эдик Почкин, Стеллочка и прочие другие.

— Что же это вы, г-голубчик, затеяли? — укоризненно осведомляется у Корнеева Федор Симеонович.

— В уголовщину ударились, Корнеев? — неприятным голосом произносит Хунта.

Корнеев стоит, набычившись.

— Почему это — в уголовщину? Ничего такого в уголовном кодексе нет. Если у человека не хватает времени для работы, а ослы гоняют в это время в домино и в карты… Может же человек…

— Н-нет, голубчик! — строго говорит Федор Симеонович. — Н-не может. Человек — не может.

— Федор Симеонович! — восклицает Саша, выскакивая вперед. — Кристобаль Хозевич! Он же живую воду сделал!

— Живая вода — это прекрасно, — говорит Хунта. — Однако даже такая блестящая цель не может оправдать таких позорных средств. Вы, Корнеев, кажется, взяли на себя права и обязанности Господа Бога — решать, кому время нужно, а кому оно не нужно. А ведь вы не Господь Бог! Вы всего лишь маг и волшебник. Способный маг и волшебник, но не более того.

Корнеев открывает было рот, чтобы начать спор, но Федор Симеонович останавливает его властным движением руки.

— Н-нет, голубчик, — говорит он. — И вы сами з-знаете, что нет. Живая вода, наука, открытия — все это прекрасно. Но не за чужой счет, голубчик. Не к-кажется ли вам, что усматривается некоторая параллель между вашими действиями и действиями некоего профессора, специалиста по разнообразным приложениям? Н-нет уж, вы не морщитесь, голубчик. А к-как же? Тот ворует чужой труд, а вы воруете ч-чужое время. Н-не годится, и н-не верю я, что вы об этом не думали. — Он подходит к дивану, ласково гладит обшивку. — Вот и диван вы украли… д-деградируете, Витя, деградируете…

— Вы не младенец, Корнеев, — говорит Хунта. — Могли бы, кажется, понять, что задача не в том, чтобы перераспределить время — у одних отобрать, а другим отдать. Задача в том, чтобы ни у кого на Земле — понимаете? — ни у кого! — не было лишнего времени. Чтобы все жили полной жизнью, чтобы все жили увлеченно и в увлечении этом видели свое счастье!

Часть стены обрушивается. Пролом имеет вид фигуры Модеста Матвеевича. Входит Модест Матвеевич и хозяйственно озирается.

— Так! — произносит он. — Я вижу здесь диван, инвентарный номер одиннадцать-двадцать три, каковой диван числится у нас списанным.

Камбала в сосуде медленно переворачивается вверх брюхом и всплывает.

Вечереет. За окном закат. Витька, Эдик и Саша, теперь уже втроем, работают за столом в корнеевской лаборатории. Трещит «мерседес», летят на пол исписанные листки бумаги. Из-под знаменитого дивана торчат ноги Хомы Брута. Потом он вылезает из-под дивана, озабоченно оглядывает его со всех сторон, стучит по нему ногой, как шофер по скату.

— Порядок, — говорит он. — Принимайте.

Саша вздрагивает, смотрит на него, смотрит в окно, смотрит на часы, с досадой бьет кулаком по столу.

По берегу озера, держась за руки, медленно идут парень и девушка. Останавливаются, целуются, поворачивают обратно.

По шоссе проходит машина. Фары ее озаряют спины молодых людей. У парня белая надпись «Привалов 12», у девушки — «Стелла 56»…

НЕТ-НЕТ, — говорит за кадром голос Саши. — ЭТО ПРОСТО ШУТКА…

Парень счищает надпись у девушки со спины.

…ЭТО, КОНЕЧНО, ШУТКА, ТАК ВООБЩЕ НЕ БЫВАЕТ, ДАЖЕ У НАС В ИНСТИТУТЕ.

Девушка счищает надпись со спины парня.

…НО ЗАТО ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ, ЧТО ВЫ ЗДЕСЬ ВИДЕЛИ, ЭТО ПРАВДА, ЧИСТЕЙШАЯ ПРАВДА… И ТО ЛИ ЕЩЕ БУДЕТ!

МАШИНА ЖЕЛАНИЙ

Отвратительно резкий звонок будильника.

В комнате темно, только каждую секунду озаряется мертвенным синим светом далекой неоновой рекламы прямоугольник окна.

Звонок обрывается, и сейчас же вспыхивает неяркий огонек ночника. Угрюмый мужчина отбрасывает одеяло и садится в постели, свешивает ноги и ожесточенно обеими руками чешет взлохмаченные волосы. Неожиданно легким скользящим движением отделяется от постели и оказывается у окна. Оглядывает небо, улицу — неоновый свет равномерно выхватывает из полутьмы и гасит его быстрые внимательные глаза, твердо сжатые губы. Он словно и не спал вовсе.

Тихонько скрипит дверь. В комнате появляется молодая женщина в длинной ночной рубашке, бесшумно подходит к столу и ставит поднос: кофейник и чашка с дымящимся кофе. Мужчина берет чашку, жадно, в два глотка выпивает и сейчас же наливает еще.

— Что Мартышка? — хриплым голосом спрашивает он.

— Спит... — тихо отзывается женщина. — Ночью два раза плакала...

Мужчина залпом выпивает вторую чашку и наливает третью. Женщина закуривает две сигареты сразу, одну протягивает ему. Он глубоко затягивается и, сказавши: «Ну, ладно...», начинает одеваться.

Он снимает пижаму и берет со стула нечто вроде белого длинного жилета из блестящего материала, расправляет его на вытянутых руках с растопыренными пальцами и внимательно оглядывает. Жилет соскальзывает с пальцев и падает на пол со странным звякающим звуком. Мужчина, чертыхнувшись невнятно, поднимает жилет и натягивает поверх майки.

— Виктор... — тихо говорит женщина.

— Ну? — Он не оборачивается.

Но женщина молчит — курит и глядит, как он напяливает на руки длинные рукава из такого же блестящего материала, пристегивает их к жилету, а затем принимается бинтовать кисти рук полупрозрачной клейкой лентой. Снимает пижамные штаны и натягивает на ноги рейтузы со штрипками, такие же серебристые и, видимо, тяжелые, как жилет. Облачившись, он делает несколько резких гимнастических движений: приседает, нагибается во все стороны, затем берет сигарету, затягивается и снова отхлебывает кофе.

Громко стучит будильник. Стрелки показывают начало третьего.

Виктор влезает в просторный комбинезон, тщательно застегивает все пуговицы, и задергивает все молнии, и натягивает перчатки. Затем опускается на корточки перед ночным столиком и открывает выдвижной ящик. В свете ночника прежде всего бросается в глаза огромный черный пистолет. Виктор сдвигает его в сторону и зачерпывает горстью из россыпи девятимиллиметровых гаек, устилающих дно ящика. Ссыпает гайки в правый набедренный карман, зачерпывает еще одну горсть и ссыпает в левый карман. Закрывает ящик и поднимается. Глоток кофе, затяжка. Он садится на кровать и принимается бинтовать прозрачной лентой голые ступни.

— Хочешь еще кофе? — спрашивает женщина.

— Нет.

Он поднимается, докуривает сигарету, раздавливает окурок о блюдце. Не взглянув на женщину, выходит в прихожую. Двигается на редкость легко и бесшумно, как тугая резиновая шина.

В прихожей он садится на низенькую скамейку и натягивает резиновые сапоги. Женщина, прислонившись плечом к косяку, молча смотрит, как он встает, притопывает, натягивает плотно кожаную шапочку с длинным козырьком, поднимает и вскидывает за спину тяжелый рюкзак и берет из угла футляр с удочками и сачок.

— Сигареты, — говорит он.

Женщина бесшумно скрывается в полутьме комнаты, а он в два шага оказывается у входа в детскую, приоткрывает дверь, смотрит.

В круге слабого света видна детская кроватка, голая детская рука на подушке. Рядом с кроваткой — пара детских костыликов, и на ночном столике — черные детские очки.

Виктор тихо закрывает дверь. Женщина молча стоит возле него с пачкой сигарет в руке. Он берет пачку, засовывает ее в нагрудный карман, неловко действуя одной рукой (в другой у него удочки).

— Все, — говорит он. — Держи хвост пистолетом.

Он прикрывает за собой дверь квартиры и начинает спускаться по лестнице. Грязноватый пролет ярко освещен лампочкой без плафона. На шероховатой стене рядом с дверью грубо выцарапана злая и глупая карикатура: растрепанная и уродливая девчонка в огромных черных очках и на растопыренных костылях.

Пролетом ниже, на площадке в углу торчит, заметно покачиваясь, какой-то хорошо одетый человек без шляпы, в испачканном пальто. Широченный цветастый шарф, выбившись, свисает до полу. Когда Виктор

проходит мимо него, видно, что человек этот изжелта-бледен и мертвецки пьян.

Диктор. Два десятилетия прошло с тех пор, как наш маленький голубой шарик, несущийся по необъятным просторам Вселенной, впервые на памяти человечества стал объектом внимания могущественной сверхцивилизации, родина которой затеряна где-то в безбрежном Космосе. Кто они были? Зачем посетили нас? Куда ушли потом — так же внезапно, как появились? Об этом можно только догадываться. Были они добры или жестоки? Пришли к нам с миром или с войной? Видели в нас равноправных братьев по разуму, или пренебрегли нами, или вообще не заметили нас? В ту страшную ночь двадцать лет назад тысячи людей поседели от ужаса, сотни стариков и детей были растоптаны в обезумевших толпах беженцев, некоторые навсегда лишились рассудка, некоторые временно потеряли зрение и слух, но! — ни один человек не погиб под развалинами, ни один не сгорел, не погиб от таинственных излучений, ни один человек не пострадал от чудовищных взрывов, сотрясавших окрестности. И могущественной боевой технике Земли, мгновенно изготовившейся к отражению инопланетного нашествия, так и не пришлось вступить в дело. Космические пришельцы посетили нас и ушли, и как след посещения — осталась Зона.

Зона! Неизгладимый шрам на лике нашей матери-Земли, вместилище жестоких чудес, могучее щупальце невероятно далекого будущего, запущенное в наш сегодняшний день!

Первый _ученый_. Мы — счастливые люди. Нам повезло увидеть своими глазами и пощупать своими руками образцы технологии нашего послезавтрашнего дня...

Второй _ученый_. Я лично не жду больше никаких открытий. Главное открытие уже сделано: человечество не одиноко во Вселенной...

Третий _ученый_. Пришельцы так невероятно далеко обогнали нас, что имеет смысл рассматривать Зону со всем ее содержимым не как дело чьих-то рук, а как явление природы, каковое надлежит тщательно изучить и поставить на службу земной науке и технике...

Диктор. Поставить на службу земной науке и технике! Этак — вечный аккумулятор. Никто не знает, как он устроен, но мы научились размножать его, и вот — двигатели на этаках, коренной переворот в малогабаритной технике, миллионы и миллиарды тонн сэкономленной драгоценной нефти... «Синяя Глина»! Никто не знает, как и почему она лечит, но уже теперь человечество навсегда забыло, что такое

инфекционные заболевания... Но не так-то просто добраться до тайн и сокровищ Зоны. Всем памятны ужасные катастрофы, которыми закончились первые героические, но неумелые попытки проникнуть в глубину Зоны с земли и с воздуха. Погибли десятки энтузиастов. Взять Зону штурмом не удалось, и тогда человечество перешло к планомерной осаде.

Директор _Международного_ _института_ _внеземных_ _культур_. Мы по-прежнему бесконечно далеки от победы над Зоной. Однако нам удалось организовать сравнительно безопасные и эффективные мероприятия, обеспечивающие непрерывный и достаточно обильный поток новой информации из Зоны... Во всяком случае, жертв больше нет, и земная наука не успевает изучать и обрабатывать доставляемые из Зоны материалы... Мне кажется, что проблема сейчас лежит в совсем другой плоскости, относящейся скорее к компетенции не науки, а политики. Я имею в виду прежде всего безответственную и в конечном счете античеловеческую деятельность агентуры военно-промышленных комплексов...

Диктор. Едва возникла Зона, как возникла новая профессия: космический браконьер, расхититель космической сокровищницы. У него нет никакого оборудования. Он знает, что идет на верную смерть. Он знает, что возвращается один из десяти. Один из пяти возвратившихся остается калекой на всю жизнь. У семи из десяти уцелевших рождаются дети-уроды. Он вне закона, он вне морали, но он снова и снова идет в Зону, потому что находятся люди, готовые заплатить огромные деньги за любой экспонат, неизвестный науке.

Ученый — _директор_ _военно-промышленного_ _объединения_ «_Альфа_ — _Пегас_». Наши лаборатории не имеют дело с космическими объектами, мы уважаем эмбарго ООН. Но лично я никогда не поддерживал этого эмбарго. Опыт показывает, что частные исследования сплошь и рядом оказываются более эффективными, нежели государственные или международные. Я признаю, конечно, что имеет место определенный риск, связанный с бесконтрольностью и прочими отрицательными факторами. Но не кажется ли вам, что ставка достаточно велика и оправдывает этот риск?

Диктор. Ставка невообразимо велика: счастье людей, населяющих нашу планету. Именно поэтому мы не можем, не имеем права рисковать. Человечество защищается. Вокруг Зоны сооружается стена. Полицейские силы ООН днем и ночью патрулируют подступы к Зоне. Никакие меры не могут считаться слишком жестокими, когда речь идет о том, чтобы пресечь

утечку космических сокровищ в жадные и нечистые руки. Зона принадлежит только человечеству в целом. Со всеми ее чудесами, жестокими и добрыми. Кто не знает легенды о Золотом Круге? Где-то в глубине Зоны, в мрачном ущелье, опутанном чудовищной паутиной, лежит огромный золотой диск. Тот счастливец и смельчак, которому удастся преодолеть тысячи смертельных опасностей и ступить ногой на этот диск, получит право на исполнение любого своего желания. Легенда? Сказка? Вот уникальные кадры, полученные искусственным спутником «Европа-711» с высоты сто двадцать километров. После получения этих кадров связь со спутником была утрачена... Но может быть, это и есть таинственный Золотой Круг? Машина, исполняющая желания...

Вагон электрички, битком набитый рабочими ночной смены. Виктор стоит в тамбуре, прижатый к двери, курит и смотрит, как за окном проносятся какие-то огни и отражения огней в мокром асфальте, подсвеченные снизу дымы за высокими кирпичными стенами, залитые ярким светом гектары, уставленные неподвижными автомобилями, фабричные трубы с гирляндами красных опознавательных огней... Электричка останавливается, угрюмые заспанные люди валом вываливаются на перрон, двери захлопываются, и электричка катит дальше. Теперь за окнами темно, и в грязноватом стекле с потеками отражается лицо Виктора и тлеющий огонек его сигареты.

Виктор выходит из пустого вагона на пустой перрон. Здесь — дождь. Блестит асфальт, блестят пустые скамейки. Электричка, блестящая и мокрая, срывается с места и скрывается в темноте. Виктор поглубже натягивает на лоб длинный козырек своей кожаной шапки и, ссутулившись, идет по перрону, шлепая прямо по лужам. Спускается с перрона и сворачивает в темноту, в мокрые кусты. Некоторое время он бредет напролом, кусты кончаются, начинается лес. Под ногами чавкает, вдалеке взвыла и затихла электричка. Однообразно шуршит дождь в ветвях над головой. Виктор идет уверенно — видно, что путь этот хорошо ему знаком. Лес обрывается внезапно, и, перепрыгнув через кювет, Виктор оказывается на заброшенном проселке. Шагах в десяти от него темнеет силуэт автомобиля. Это маленький вездеход вроде «лендровера» или «джипа».

Виктор подходит к машине, распахивает дверцу и садится рядом с водителем. Человек за рулем сразу же заводит двигатель и включает фары.

— Прямо вперед, — говорит Виктор.

Машина трогается.

Дорога скверная. Машина скачет и подпрыгивает на колдобинах,

каскады воды из луж то и дело заливают ветровое стекло. Свет фар выхватывает из мокрой тьмы то наполненные водой колеи, то мокрые стволы деревьев, то верхушки телеграфных столбов с оборванными проводами.

— Меньше газу, — говорит Виктор. — Притормозите. Около того белого камня — направо.

Машина сворачивает и осторожно въезжает на покосившийся мостик. Свет фар скользит по крестам и обелискам заброшенного кладбища. Потом начинается заброшенный дачный поселок. Здесь давно уже никто не живет, аккуратные белые заборчики покосились, буйно разрослась сирень в палисадниках, окна домов заколочены, и только на окраине в одном из домиков желтеет освещенное окошко, в его свете мокнет под дождем развешенное белье, и здоровенный пес, задыхаясь от ярости, вылетает наперерез машине и некоторое время мчится следом в вихре грязи из-под колес.

— Позаброшен дом наш, — декламирует водитель, — пуст он и покинут смелыми и верными, выросшими в нем...

— Помолчите, — сквозь зубы говорит Виктор.

Некоторое время они едут сквозь тьму и дождь молча, а потом впереди, за поворотом дороги появляется вилла: крепкая фигурная решетка, домик привратника у запертых ворот, двухэтажное модерновое здание — стекло и бетон в стиле Райта, смутно белеют абстрактные скульптуры сквозь заросли. Нижний этаж здания залит светом.

— Остановитесь, — произносит Виктор.

Водитель удивленно поворачивает к нему лицо.

— Зачем?

— Остановитесь! — повторяет Виктор, чуть возвысив голос.

Водитель резко тормозит. Чехол с удочками и рюкзак валятся с заднего сиденья, а сачок падает водителю на голову.

— Ч-черт... — шипит водитель, выпутывая из сачка сбитые очки.

Виктор протягивает руку к рулю и дает короткий гудок. Сейчас же свет на вилле гаснет. Окрестность погружается во тьму. Где-то хлопает дверь, слышится веселое посвистывание и чавканье шагов по грязи. В отсветах фар возле водительской двери появляется мокрое веселое лицо, которое, впрочем, тут же недоуменно вытягивается.

— Пардон, — произносит человек из виллы. — Я думал, это за мной.

— За вами, за вами, — говорит Виктор. — Садитесь сзади.

— А, шеф, вы здесь... Прелестно. А кто же этот тип? По-моему, он в очках...

— Садитесь! Быстро!

Человек из виллы вваливается на заднее сиденье и принимается возиться там, пристраивая свой рюкзак.

— Надо вам сказать, — говорит он, чуть запинаясь, — я испытал некоторый шок. Откуда очки? Почему на моем шефе очки?..

— Вперед, — командует Виктор.

— Вперед и только вперед! — подхватывает человек из виллы.

Водитель, поджав губы, трогает машину.

— Очки — это признак интеллигентности! — объявляет человек из виллы.

Виктор произносит через плечо:

— Все-таки напился.

— Напился? Ни в коем случае. Я выпил. Я выпил, как это делает половина народонаселения. Другая половина — напивается, женщины и дети включительно. Ну и бог с ними. А я выпил. Направляясь на рыбную ловлю. Ведь мы направляемся на рыбную ловлю, а, шеф?..

Машина с погашенными фарами стоит на проселке. Вокруг смутно виднеются мокрые кусты, но дождь прекратился. Виктор бесшумно выходит из машины и идет вперед, туда, где в конце проселка влажно поблескивает асфальт. Водитель тоже выходит, догоняет его и идет рядом.

— Зачем вы взяли этого пьянчугу? — говорит он.

— Ничего, — отзывается Виктор. — Он протрезвеет. Это я вам обещаю. — И, помолчав, добавляет: — А потом, его деньги ведь ничуть не хуже ваших...

Водитель быстро взглядывает на него, но не говорит больше ни слова. Они останавливаются на перекрестке и из-за кустов смотрят на заставу в сотне метров впереди по шоссе. В маленьком деревянном домике-времянке горит одинокое окошко. Рядом в мертвом свете мощного прожектора чернеют два мотоцикла с колясками и патрульная машина. Вправо и влево от шоссе уходят в лес столбы с колючей проволокой.

— Они все спят, — шепчет водитель. — Разогнаться как следует и проскочить на полной скорости... Они и мигнуть не успеют.

— М-да... — говорит Виктор. — На полной скорости... Пошли.

Они возвращаются к машине. Водитель направляется было к своему месту, но Виктор молча отстраняет его и садится за руль сам. Водитель безропотно обходит машину и садится на место Виктора. Человек из виллы, дремавший на заднем сиденье, вскидывается.

— А? — зычно произносит он. — Приехали?

Виктор поворачивается и, взяв его пятерней за физиономию, с силой отталкивает назад. Человек из виллы ошеломленно таращит глаза, затем говорит шепотом:

— Понял... Понял...

Машина трогается, на малых оборотах выползает на шоссе, сворачивает и тихо, очень тихо, в полном соответствии со знаками, ограничивающими скорость, светящимися на обочине, катится мимо заставы. Когда она входит в луч прожекторной лампы, на черном мокром кузове ее видны надписи на разных языках: «ООН. Институт внеземных культур», «ЮНО. Инститьют ов Экстратеррестриал Калчерз»...

Машина на бешеной скорости несется во тьме по широкому мокрому шоссе. Виктор с потухшим окурком в углу рта — за рулем. В отсветах фар поблескивают очки его соседа справа. Человек из виллы, весь подавшись вперед, держится обеими руками за спинки передних сидений и напряженно смотрит на дорогу. Он заметно протрезвел.

Впереди в свете фар справа от дороги появляется огромный щит с флюоресцентными надписями на разных языках: «Внимание! До границы Зоны 300 метров», «Этеншн! 300 митерз то зе Зоун лимитс»... Виктор сбрасывает газ и переключается на ближний свет.

Машина с потушенными фарами — горят одни подфарники — осторожно сползает с шоссе, вваливается в кювет, вылезает из него и, пофыркивая двигателем, вламывается в кусты. Она хрустит и ворочается в зарослях, как некое чудовище, потом двигатель затихает, гаснут подфарники, и голос Виктора произносит во тьме:

— Берите вещи. Выходите. И побыстрей.

Едва заметными тенями они отделяются от темной массы машины. Потом вдруг становится светлее — голубоватым бегущим светом озаряются низкие тучи, и теперь видно, что машина остановилась у подножья четырехметровой стены: верхняя кромка ее резко вырисовывается на фоне голубых сполохов. Потом где-то вдали глухо стучит пулеметная очередь, ей отвечает очередь поближе и более отчетливо.

— Стреляют... — сообщает человек с виллы.

— За мной, — командует Виктор, — рюкзаки нести в руках.

Он идет вдоль стены, время от времени наклоняясь и что-то разглядывая под ногами. Через минуту он опускается на колени и принимается расшвыривать кучу ветвей и листьев. Далекий пулемет за стеной бьет длинными очередями. Виктор садится на пятки, покрепче

ухватывает рюкзак. «За мной», — командует он и ныряет в подземный лаз, ведущий под стену.

— Прошу вас, Профессор, — говорит человек с виллы.

Профессор покрепче насаживает на нос очки и опускается на четвереньки. Пулеметная очередь ударяет совсем близко. Человек из виллы втягивает голову в плечи и приседает.

— Интересно, в кого они стреляют? — бормочет он. — Ведь я еще здесь...

В тот момент, когда Виктор высовывает голову из кучи веток по ту сторону стены, слышится дробная серия хлопков, и в небо взлетает дюжина осветительных ракет. Становится светло, как днем.

Сразу за стеной — кочковатое ровное пространство, высохшее болото, торчат редкие прутики. Дальше, шагах в двухстах, тянется железнодорожная насыпь.

Ракеты медленно опускаются. Виктор следит за ними, прищурившись. Цедит сквозь зубы:

— Ж-жабы...

Снова наступает тьма. И сейчас же откуда-то слева протягивается голубой луч прожектора. Прожектор далеко, но света от него достаточно, чтобы видеть, как Виктор торопливо выбирается из норы и, вытянув рюкзак, плашмя ложится на землю.

— Быстро! — шипит он. — Быстрее, быстрее!

Неуклюже выбирается Профессор, таща за собой свою поклажу, за ним из норы высовывается сначала рюкзак человека из виллы, а затем высовывается и сам он, но в эту секунду где-то рядом грохочет пулемет, и голова человека из виллы поспешно снова прячется под землей.

— Да быстрее! Быстрее, ты! — шипит Виктор.

Когда человек из виллы выбирается наконец наружу, Виктор говорит вполголоса:

— Ползком за мной. Головы не поднимать, мешок держать так, слева. Не трусьте, они нас не видят. Если кого случайно зацепит, не орать, не метаться — увидят и убьют. Ползи назад, выбирайся на шоссе. Утром подберут. Все ясно?

— Я бы хлебнул... — тихонько говорит человек из виллы.

— Нельзя. Потом. Пошли.

И они ползут в призрачном рассеянном свете, прикрывая головы рюкзаками, и скоро их уже не разглядеть на поле, а пулеметы все постреливают, и то место, где они были минуту назад, вдруг вспарывает

густая очередь.

Раннее утро, густой молочно-белый туман, видны только мокрые ржавые рельсы. Очень тихо. Потом из тумана доносится железное постукивание. Оно приближается, и вот сквозь него уже пробивается унылое посвистывание на какой-то веселый разбитной мотивчик.

Это дрезина. Впереди на платформе, свесив ноги, сидит Виктор с потухшим окурком на губе. Он напряженно вглядывается в туман перед собой. Рюкзаки свалены у него за спиной. Профессор и человек из виллы, оба грязные и встрепанные, качают рычаги дрезины. Веселый мотивчик насвистывает человек из виллы. Свистит он чисто, красиво, мелодично и в такт движению рычага. Потом он обрывает свист и взглядывает на часы.

— Без десяти шесть, — говорит он хрипловато. — И все время в гору...

Ему не отвечают.

— А вы в самом деле профессор? — не унимается он.

— Да, — отвечает Профессор.

— Меня зовут... — начинает человек из виллы.

— Его зовут Антон, — не оборачиваясь, громко говорит Виктор.

Человек из виллы потрясен этим сообщением, но молчит.

— Гм... — говорит Профессор. — А меня как?

— А тебя зовут Профессор, — отзывается Виктор.

— Меня зовут Профессор, — сообщает человек в очках. — И я профессор.

— Польщен, — говорит Антон, пытаясь шаркнуть ножкой. — А я — писатель, но все зовут меня почему-то Антон. Представляете, как неудобно?

— Известный писатель? — спрашивает Профессор.

— Нет. Модный. Видели мою виллу?

Некоторое время они молчат, усердно работая рычагом. Потом Виктор вдруг говорит: «Тихо!» Он наклоняется вперед, всматриваясь, и хватается за ручной тормоз.

Впереди из тумана надвигается что-то большое и темное, и дрезина останавливается в нескольких метрах от буферов товарного вагона.

— Приехали, — говорит Виктор и спрыгивает на шпалы. — Отдых.

— Ф-фу! — произносит Антон, распрямляясь. — Ну теперь-то мне можно хлебнуть?

На газете, расстеленной поверх платформы, стоят термосы с кофе, бутылка спиртного, развернуты пакеты со снедью. Все трое усердно жуют,

прихлебывая кофе из складных стаканчиков. Теперь уже совсем светло, но туман пока не рассеялся, он такой же густой, как и раньше, только уже не молочно-белый, а зеленоватый. Но из всего окружающего мира видна по-прежнему только задняя стенка товарного вагона.

— Вы для меня оба новички, — говорит Виктор. — Я вас в Зоне не видел и ничего хорошего от вас не жду. Вы меня наняли, и я постараюсь, чтобы вы остались живы как можно дольше. А поэтому не извольте обижаться. В Зоне церемониться некогда. Буду просто лупить чем попадя, если что не так...

— Только, пожалуйста, не по левой руке, — говорит Антон.

— А почему не по левой? — удивился Виктор.

— Она у меня сломана с детства. Я ее берегу.

— А... — Виктор усмехается. — А я думал — ты левша, пишешь левой. Ладно, буду по голове. Как она у тебя с детства?

— Уж очень вы с нами суровы, шеф, — говорит Антон и тянется к бутылке.

Но Виктор перехватывает бутылку, накрепко завинчивает пробку и сует бутылку в рюкзак.

— Хватит, — говорит он.

— Эхе-хе-хе-хе, — произносит Антон и наливает себе еще кофе.

— Тихо как, — говорит Профессор. Он задумчиво курит, откинувшись спиной на рычаг.

— Здесь всегда тихо, — говорит Виктор. — До пулеметов далеко, километров пятнадцать, а в Зоне шуметь некому.

— Неужели пятнадцать километров? — говорит Профессор. — Я и представления не имел, что можно так далеко углубиться...

— Можно. Углублялись. Сейчас вот туман рассеется, увидишь, как они тут углублялись.

Длинный скрипящий звук доносится вдруг из тумана. Все, даже Виктор, вздрагивают.

— Что это? — одними губами произносит побелевший Антон.

Виктор молча мотает головой. Он все еще прислушивается, но вокруг снова стоит ватная тишина.

— А может быть, это все-таки правда, что здесь... живут? — говорит Профессор.

— Кто? — презрительно говорит Виктор.

— Не знаю... Но есть легенда, будто какие-то люди остались в Зоне...

— Болтовня это, а не легенда, — обрывает его Виктор. — Никого здесь нет и быть не может. Зона это, понятно? Зона!

На протяжении этого разговора Антон вертит головой, переводя взгляд с одного на другого. Он все еще бледен, но постепенно успокаивается.

— Я, конечно, понимаю, — говорит он, — что Зона — это именно Зона, а не лоно, не два газона и не три, скажем... э... бизона. Но на всякий случай я с собой кое-что прихватил. — Он похлопывает себя по заднему карману.

— Что прихватил? — Виктор уставился на Антона неподвижным взглядом. — Что ты там еще прихватил, голова два уха?

Антон продолжает многозначительно похлопывать себя по заду.

— Дай сюда, — говорит Виктор и протягивает руку.

— Зачем?

— Дай сюда, говорю!

Антон колеблется. Выражение многозначительного превосходства сходит с его лица. Он растерянно глядит на Профессора.

— В Зоне стрелять не в кого, дурак, — говорит Виктор. — Давай свою пушку.

— Не дам, — решительно говорит Антон, но сейчас же добавляет тоном ниже. — Мне нужно, понимаете, шеф?

— Понимаю, — говорит Виктор неожиданно мягко. — Только на самом деле ничего такого тебе там не понадобится. Если долбанет тебя по-настоящему, то ничего тебе уже не поможет. А если прикует тебя или, скажем, прижмет, то я тебя вытащу. Мертвого — да, брошу. Ну а живого — вытащу. Это я тебе обещаю. Зря денег не беру. Давай.

Антон нехотя вытаскивает из заднего кармана и протягивает ему крошечный дамский браунинг.

— Там всего один заряд, — бормочет он. — В стволе.

— Поня-атно... — Виктор выщелкивает патрон и небрежно бросает оружие на шпалы. — В Зоне стрелять нельзя, — говорит он поучительно. — В Зоне не то что стрелять — камень бросить иной раз опасно. А у тебя? — обращается он к Профессору.

— У меня на этот случай ампула... — говорит он виновато.

— Чего-чего?

— Ампула зашита. Яд.

Виктор ошеломленно крутит головой.

— Н-ну, ребята!.. Нет, этого я не понимаю. Вы что сюда — помирать пришли? — По-прежнему крутя головой, он соскакивает на шпалы. — Облегчиться никто не хочет? Смотрите, потом, может, и некогда будет... Или негде...

Он отходит от дрезины и сейчас же скрывается в тумане. Профессор

смотрит на Антона, высоко задирая брови.

— А действительно, Антон, зачем вы сюда пришли? Модный писатель, вилла... женщины, наверное, на шею гроздьями вешаются...

— Этого вам не понять, Профессор, — рассеянно отзывается Антон, подбрасывая на ладони складной стаканчик. — Есть у писателей такое понятие: вдохновение. Так вот у меня это понятие есть, а самого вдохновения нет. Иду выпрашивать.

— То есть вы что же — исписались? — негромко говорит Профессор.

— Что? А, да. То есть у меня его никогда не было. Это неинтересно. А вы?

Профессор не успевает ответить. Появляется Виктор, на ходу оправляя комбинезон.

— Ч-черт, сбруя проклятая... — Он задирает голову. — Ага, вот скоро и пойдем. Укладывайтесь...

Тумана больше нет.

Слева от насыпи расстилается до самого горизонта холмистая равнина, совершенно безжизненная, погруженная в зеленоватые сумерки. А над горизонтом, расплываясь в ясном небе, разгорается жуткое, спектрально чистое зеленое зарево — неземная, нечеловеческая заря Зоны. И вот уже тяжело вываливается из-за черной гряды холмов разорванное на несколько неровных кусков раздутое зеленое солнце.

— Вот за этим я тоже сюда пришел... — сипло произносит Антон.

Лицо его зеленоватое, как и у Профессора. Профессор молчит.

— Не туда смотрите, — раздается голос Виктора. — Вы сюда смотрите.

Антон и Профессор оборачиваются.

Справа от насыпи тоже тянется холмистая равнина, но вдали виднеются какие-то строения, торчит церквушка, среди холмов видна дорога. Насыпь здесь изгибается широкой дугой, и от последнего вагона, где стоят наши герои, хорошо видна голова состава. Этим составом доставлена была сюда когда-то танковая часть. Но что-то случилось там впереди: тепловоз и первые две платформы валяются под откосом; несколько следующих стоят на рельсах наперекосяк — танки с них сползли и валяются на боку и вверх гусеницами на насыпи и под насыпью. Десяток-другой машин удалось, видимо, благополучно спустить под насыпь; видимо, их даже пытались вывести на дорогу, но до дороги они так и не дошли — остались стоять между дорогой и насыпью небольшими группами, пушками в разные стороны, некоторые почему-то без гусениц,

некоторые вросшие в землю по самую башню, некоторые наглухо закупоренные, а некоторые — с настежь распахнутыми люками. Это было похоже на поле танковой битвы, но там были не сгоревшие остовы, не искореженные взрывами металлические коробки — машины были целы, если не считать сорванных гусениц у некоторых. Целы и безнадежно мертвы.

— А где же... люди? — тихо спрашивает Антон. — Там же люди были.

— Это я тоже каждый раз здесь думаю, — понизив голос, отзывается Виктор. — Я ведь видел, как они грузились у нас на станции. Я тогда еще мальчишкой был. Тогда все еще думали, что пришельцы нас завоевать хотят. Вот и двинули этих... стратеги... — Он сплевывает. — Никто ведь не вернулся. Ни одна душа. Углубились. Ну, ладно. Значит, общее направление у нас будет вон на ту церквушку... — Он протягивает руку, указывая. — Но вы на нее не глядите. Вы под ноги глядите. Я вам уже говорил и скажу еще раз. Оба вы дерьмо, новички. Без меня вы ничего не стоите, пропадете, как котята. Поэтому я пойду сзади. Идти будем гуськом. Путь прокладывать будете по очереди. Первым пойдет Профессор. Я указываю направление — не отклоняться, вам же будет хуже. Берите рюкзаки.

Когда они разобрали и подняли на плечи рюкзаки, Виктор снял дрезину с тормоза и, навалившись, сдвинул ее с места. Дрезина сначала медленно, потом все набирая скорость, постукивая все чаще на стыках, катится обратно. Все провожают ее взглядом.

— Пошла старуха, — с какой-то нежностью произносит Виктор. — Даст бог, еще послужит... Так, Профессор, первое направление — вон тот белый камень. Видишь? Пошел.

Профессор первым начинает спускаться с насыпи. Отпустив его на пяток шагов, Виктор командует:

— Как тебя... Антон! Пошел следом!

И, подождав немного, начинает спускаться сам.

Зеленое утро Зоны закончилось, растворилось в обычном солнечном свете.

Они уже довольно далеко отошли от насыпи и медленно, гуськом поднимаются по склону пологого холма. Насыпь отсюда видна как на ладони. Что-то странное происходит там, над поверженными танками, над разбитыми платформами, над опрокинутым тепловозом: словно бы струи раскаленного воздуха поднимаются над этим местом, и в них время от времени вспыхивает и переливается яркая клочковатая радуга.

Но они не смотрят туда. Профессор идет впереди и перед каждым

шагом настороженно высматривает место, куда поставить ногу. Антона мучает плохо уложенный рюкзак, но и он не вертит головой, хотя смотрит не столько под ноги себе, сколько под ноги Профессору. Дистанцию он соблюдает плохо, но Виктор пока молчит. Взгляд его с привычной автоматической быстротой скользит от собственных ног к затылку Антона и затылку Профессора, вправо от Профессора, влево от Профессора и снова к себе под ноги.

Профессор добирается до вершины холма, и Виктор сейчас же командует:

— Стой!

Профессор замирает на месте и осторожно приставляет поднятую было для следующего шага ногу. Они сбиваются в кучку, смотрят вниз. Ниже по склону, метрах в тридцати-сорока лежит обширная проплешина, начисто лишенная растительности, гладкая и даже отсвечивающая на солнце, как мутное стекло. Посередине ее красуется что-то вроде большой металлической лепешки, в которой только по вдавленным в проплешину лопастям можно узнать остатки вертолета.

— Господи, — произносит Антон, вытирая со лба пот. — Что это с ним?

— Гравиконцентрат, — объясняет Профессор.

— Как вы сказали?

— Заткнитесь, — говорит Виктор.

Прищуренными глазами он внимательно разглядывает проплешину и ее окрестности. Он колеблется. Потом решительным движением запускает руку в набедренный карман и извлекает несколько гаек.

— Это область повышенной гравитации, — вполголоса втолковывает Профессор Антону. — В этом месте сила тяжести в тысячи раз выше обычной...

Антон пораженно цокает языком, но, судя по всему, не очень хорошо понимает, о чем идет речь.

Виктор, нешироко размахнувшись, бросает гайку. Описав высокую дугу, она падает в десятке метров впереди.

— Идите за мной, — произносит Виктор. — Шаг в шаг.

Остановившись на месте падения гайки, он бросает вторую, целясь правее края проплешины. Несколько первых метров гайка летит по обычной дуге, а потом словно кто-то невидимый срывает ее с траектории, и она вкось, со страшной скоростью уходит влево по прямой и врезается в почву в метре от края проплешины.

— Ага! — удовлетворенно говорит Виктор. — Расползлась жаба.

И он бросает следующую гайку еще правее от проплешины. На этот раз гайка летит, как ей положено, и падает в тридцати шагах впереди.

— За мной, — командует Виктор. — Шаг в шаг.

Они переходят на место падения третьей гайки, причем Антон следует за Профессором в ногу, прижимаясь грудью к его рюкзаку и опасливо косясь влево, на страшную проплешину.

Виктор кидает следующую гайку, забирая еще правее.

Проплешина осталась позади и выше.

— Теперь впереди Антон, — распоряжается Виктор. — Вон тот кустик видишь?

Профессор трогает его за рукав.

— Простите, Виктор. Могу я вас попросить...

— Ну?

— Разоритесь на одну гайку. Бросьте в самый центр.

— Зачем это тебе? — осведомляется Виктор подозрительно.

— Просто я хочу посмотреть. Никогда этого не видел. Только в кино.

— Хм... Что ж... Так ведь она до центра и не долетит, наверное...

— А вы киньте повыше.

Виктор выбирает гайку покрупнее и, размахнувшись, изо всех сил швыряет ее вверх в сторону проплешины. Им удается проследить полет гайки только до верхней точки траектории. Потом она исчезает, в то же мгновение раздается громовой удар, и они хватаются друг за друга, потому что земля сильно вздрагивает под ногами, а по проплешине и раздавленному вертолету словно бы проходит какая-то рябь. Некоторое время все трое молчат. Затем Виктор произносит с досадой:

— Черт бы тебя драл с твоими опытами... Что тут тебе — институт, что ли, в самом деле? И я тоже, дурак битый, за тобой... Эй, как тебя... Антон! Направление на тот кустик — марш!

Ведет Антон. Профессор, идеально выдерживая дистанцию и глядя себе под ноги, идет за ним. Виктор, ни на секунду не переставая смотреть по сторонам и под ноги, говорит в спину Профессору:

— У нас эту штуку называют «комариная плешь», а у вас как-то по-другому?

— Гравиконцентрат.

— И что это, по-вашему, такое, по-научному?

— Участок повышенной...

— Да нет. Не о том речь. Откуда это взялось? Как она работает?

— Этого никто не знает, — говорит Профессор.

— Вот и у нас никто не знает... А сколько народу на этих плешаках приковалось! Особенно в первое время. Каждый дурак думал: обойду, дескать, ее стороночкой, а его как швырнет на бок, и либо сразу расплющит, либо еще хуже, так и подыхает с голоду прикованный... — Совершенно механически он вытягивает в сторону левую руку и вдруг кричит: — Стой!

Профессор послушно замирает, а Антон делает еще пару шагов и оборачивается, очень недовольный. Виктор стоит неподвижно, полузакрыв глаза, и шевелит пальцами вытянутой руки, словно что-то ощупывая в воздухе.

— Ну, что там еще, шеф? — брезгливо осведомляется Антон.

Виктор осторожно опускает руку и бочком-бочком придвигается ближе к Профессору. Лицо его напряженное и недоумевающее.

— Не шевелитесь... — хрипло говорит он. — Стоять на месте, не двигаться...

Антон испуганно озирается, втянув голову в плечи.

— Не шевелись, дурак! — севшим голосом шипит Виктор.

Они стоят неподвижно, как статуи, а вокруг — мирная зеленая травка, кусты тихонько колышутся под ветерком, и над всем этим яркое ласковое солнце. Потом Виктор вдруг говорит на выдохе:

— Обошлось... Пошли. Нет, погоди, перекурим.

Он присаживается на корточки и тянет из кармана пачку с сигаретами. Губами вытягивает сигарету и протягивает пачку Профессору, который присаживается рядом. Антон спрашивает с раздражением:

— Ну хоть подойти-то к вам можно?

— Можно, — отзывается Виктор, затягиваясь. — Подойти можно. Подойди. — Голос его крепнет. — Я тебе что говорил? (Антон останавливается на полпути.) Я тебе что говорил, дура? Я тебе говорю «стой», а ты прешься, я тебе говорю «не шевелись», а ты башкой вертишь... Нет, не дойдет он, — сообщает Виктор Профессору.

— У меня реакция плохая, — жалобно говорит Антон. — С детства. Дайте сигаретку, что ли...

— А реакция плохая — сидел бы дома, — говорит Виктор и протягивает ему пачку.

Они прежним осторожным аллюром движутся вдоль поваленной изгороди: Профессор — Антон — Виктор. Солнце уже поднялось высоко, на небе ни облачка, припекает. Слева — изгородь, справа — канава, наполненная черной стоячей водой. Очень тихо: не слышно ни птиц, ни

насекомых. Только шуршит трава под ногами.

Антон приостанавливается, вытирает со лба пот, подбрасывает спиной рюкзак, прилаживая поудобнее, и засовывает большие пальцы за лямки. Через несколько шагов он начинает насвистывать, еще через несколько шагов наклоняется, подбирает прутик и идет дальше, похлопывая себя прутиком по ноге.

Виктор тяжелым взглядом наблюдает за его действиями. И когда Антон принимается своим прутиком сшибать пожухлые цветочки справа и слева от себя, Виктор достает из кармана гайку и очень точно запускает ее прямо в затылок модному писателю. Веселый свист обрывается тоненьким взвизгом, Антон хватается за голову и приседает на корточки, согнувшись в три погибели. Виктор останавливается над ним.

— Вот так вот оно и бывает, — говорит он. — Только вот взвизгнуть ты на самом деле не успеешь... В штаны не наложил?

Антон медленно распрямляется.

— Что это было? — с ужасом спрашивает он, ощупывая затылок.

— Это я тебе хотел показать, как бывает, — объясняет Виктор. — Неужели и тут не понял? Ну что, по морде тебе дать? Самоубийца...

— Не надо, — отвечает Антон, облизывая губы. — Понял.

Они бредут через свалку, по слежавшимся грудам мусора, мимо облупленных и ржавых ванн, расколотых унитазов, мимо покореженных автомобильных кузовов... блестит битое стекло, валяется мятый электрический самовар, кукла с оторванными ногами, рваное тряпье, россыпи ржавых консервных банок...

Впереди опять идет Антон, лицо у него злое и напряженное, губы кривятся. Он шепчет сквозь зубы:

— Опять дерьмо... и опять дерьмо... и всюду дерьмо... и даже здесь дерьмо... дерьмо, и только дерьмо, и ничего, кроме дерьма, и да поможет мне Бог! Аминь.

Посвистывает ветер, катит мятую бумагу, вздымает клубочки пыли. На небе появились облака, они временами закрывают солнце.

Идет Профессор, сосредоточенно глядя себе под ноги. Лицо у него спокойное и даже какое-то умиротворенное. Он меланхолически декламирует вполголоса:

— Кто знает, что ждет нас? Кто знает, что будет? И сильный будет, и подлый будет. И смерть придет и на смерть осудит. Не надо в грядущее взор погружать... Не надо в грядущее взор погружать.

Идет Виктор. Он ничего не шепчет. Он работает: взгляд прямо, взгляд

вправо, взгляд влево, взгляд вниз... Время от времени он поднимает над головой руку и снова шевелит пальцами, словно бы что-то ощупывая в воздухе. Очень не нравится ему эта свалка.

И вот в равномерный шум ветра вмешивается новый, посторонний звук. Какое-то тиканье. Стрекотание какое-то. Виктор останавливается и наклоняет голову, прислушиваясь. Стрекотание постепенно усиливается, словно приближается.

— Стой! — командует Виктор.

Все замирают на месте. И вдруг слева, над кучками мусора возникает из ничего темный полупрозрачный вертящийся столб. Он похож на маленький смерч, но это не смерч. Он похож на «пылевого чертика», но это и не «чертик». Он неподвижно стоит, крутясь вокруг оси, над кучей битых бутылок, и от него исходит шуршащее металлическое стрекотание, как будто стрекочет гигантский кузнечик. Виктор, не шевелясь, только скосив глаза, наблюдает за ним. Призрачный столб вдруг сдвигается с места и, описывая замысловатую кривую, скатывается с кучи мусора и проходит между Антоном и Профессором.

— Стоять! Стоять! Не шевелиться! — хриплым шепотом кричит Виктор.

Крутящийся столбик на мгновение задерживается возле Профессора и легко уходит вправо в заросли пыльных лопухов, тая, рассеиваясь, распадаясь на ходу. Стрекотанье, достигнув нестерпимо высокой ноты, обрывается.

Все стоят неподвижно. А вокруг снова тишина, только посвистывает ветер и шуршит мятая грязная газета, обмотавшаяся вокруг ноги Профессора.

— Вперед, — говорит Виктор и прокашливается.

Но двое впереди не двигаются.

— Погодите, шеф, — говорит Антон. — Ноги что-то шалят...

— Что это было? — спрашивает Профессор, не оборачиваясь.

Антон нервно хихикает, а Виктор говорит:

— Не знаю я... Было и прошло, и слава богу. Вперед, вперед! Скоро привал! — И шипит, озираясь: — Экое дрянное место!

Они расположились в тени церквушки на окраине поселка. Виктор разливает в протянутые стаканчики спиртное. Все выпивают и принимаются за еду.

— Как у вас аппетит, Профессор? — спрашивает Антон, с отвращением откусывая от крутого яйца.

— Признаться, тоже неважно, — отзывается тот.

— Пива бы сейчас, — вздыхает Антон. — Холодненького! В глотке пересохло.

Виктор сейчас же разливает еще по стопке. Он единственный из троих, кто ест и пьет с аппетитом. Профессор осторожно спрашивает его:

— Далеко нам еще?

Виктор долго молчит, а потом угрюмо отвечает:

— Не знаю.

— А по карте?

— А что по карте? Масштаба там нет. Стервятник обернулся за двое суток, так то Стервятник...

— Кто это такой — Стервятник? — спрашивает Антон.

Виктор усмехается, неторопливо закуривает.

— Стервятник — это, брат, не нам чета. Последний из стариков. С первых же дней начал, меня водил, когда я подрос. Большой был человек. Ас.

— А почему — был? — спрашивает Антон.

Виктор продолжает, как бы не слыша вопроса.

— И большая была сволочь. Сколько он новичков загубил! Уходили вдвоем-втроем, а возвращался один. Вот вам бы с ним сходить... — Он неприятно смеется, переводя взгляд с Профессора на Антона и обратно. — А впрочем, досюда вы бы и с ним дошли. Ладно! — обрывает он себя. — Вы как хотите, а я приспну. Да не галдите здесь. И из тени не выходите.

Виктор спит, положив голову на рюкзак, а Профессор с Антоном, прислонившись спинами к кирпичной стене церкви, курят и беседуют.

— А что с ним все-таки случилось, с этим Стервятником? — спрашивает Антон.

— Он был единственным человеком, который добрался до Золотого Круга и вернулся, — отзывается Профессор. — Легенда существует много лет, но Стервятник первый подтвердил эту легенду. Вернувшись, он в два дня невероятно, невообразимо разбогател... — Профессор замолкает.

— Ну?

— А потом вдруг повесился.

— Почему?

Профессор пожимает плечами.

— Это какая-то темная история. Он собирался снова идти к Золотому Кругу, вдвоем с нашим Виктором. Виктор пришел к нему в назначенное время, а тот висит, и на столе карта и записка с пожеланием всяческих успехов.

Антон с сомнением смотрит в сторону похрапывающего Виктора.

— А может быть, наш шеф его... того?

— Все может быть, — легко соглашается Профессор.

Некоторое время они молча курят.

— А как вы полагаете, Профессор, этот самый Золотой Круг — действительно Машина Желаний?

— Стервятник разбогател. Он всю жизнь мечтал быть богатым.

— И повесился...

— И повесился. Тут нет никакого противоречия. Просто на самом деле человек никогда не знает, чего он хочет. Человек — существо сложное. Голова его хочет одного, спинной мозг — другого, а душа — третьего... И ни один человек не способен в этой каше разобраться.

— Это верно, — говорит Антон. — Это очень верно вы говорите. Давеча вот я сказал вам, что иду сюда за вдохновением... Вранье это. Плевал я на вдохновенье...

Профессор с любопытством смотрит на него. Антон, помолчав, продолжает:

— Нет, это не объяснить. Может быть, и в самом деле за вдохновеньем. Откуда я знаю, как назвать то, чего я хочу? И откуда мне знать, что я действительно не хочу того, чего я не хочу? Это какие-то чертовски неуловимые вещи: стоит их назвать, и они пропадают... Как тропическая медуза — видели? В воде волшебный цветок, а вытащишь — комок мерзкой слизи... А вы тоже не знаете?

— Не знаю. Знаю только, что надо многое менять, что так дальше продолжаться не может... Нет, не знаю. Иду за знанием.

— Во многие знания — многие печали... — бормочет Антон.

— Тоже верно, — со вздохом говорит Профессор. — Давайте считать, что я иду ставить эксперимент — чисто, точно, однозначно... Просто научный эксперимент, связанный с неким фактом. Понимаете?

— Нет, — говорит Антон. — По-моему, фактов не бывает. Особенно здесь, в Зоне. Здесь все кем-то выдумано. Чья-то бесовская выдумка... Нам всем морочат голову. Кто — непонятно. Зачем — непонятно...

— Вот и хотелось бы узнать: кто и зачем.

— А кому это надо? Надо ведь совсем другое. Что толку, если вы и узнаете? Чья совесть от этого станет чище? Чья совесть от этого заболит? Чья душа найдет покой от этого?

Антон безнадежно машет рукой и отбрасывает окурок. Потом он смотрит на сладко похрапывающего Виктора.

— А он зачем идет? Какие у него такие желания, что он не может их исполнить там, дома?

— Не знаю, — медленно говорит Профессор. — Но ему очень надо добраться до Золотого Круга. Я давно его знаю, это интересный человек, необычный человек...

— Не знаю, что в нем такого необычного, — возражает Антон, — но человек он надежный, положиться на него можно. Он нас доведет, такое у меня впечатление...

Профессор искоса смотрит на него, лицо у него такое, словно он хочет что-то сказать, но раздумывает: стоит ли. Затем он аккуратно гасит окурок и устраивается прилечь.

— С добычей вернулся — счастье, — говорит он вдруг. — Живой вернулся — удача. Патрульная пуля — везенье, а все остальное — судьба.

— Это еще что за унылая мудрость? — озадаченно спрашивает Антон.

— Фольклор.

— И что из этого фольклора следует?

— По-моему, — отвечает Профессор, — вы все время забываете, друг Антон, что мы находимся в Зоне. В Зоне ни на кого нельзя полагаться.

Антон нервно зевает и озирается.

— Позвольте! — восклицает вдруг он. — Что за притча? Солнце — вон оно, а тень...

— Что? — откликается Профессор. — А... Да. С тенями здесь такое бывает... Давайте-ка поспим немного.

Профессор и Антон спят под стеной церквушки. Виктор открывает глаза. Некоторое время лежит, прислушиваясь. Затем быстро и бесшумно поднимается, мягко ступая, выходит из тени и выглядывает из-за угла церкви. Шагах в ста перед ним начинается главная улица мертвого поселка, совершенно пустая, залитая веселым ярким солнечным светом. Потом он так же бесшумно возвращается и останавливается над спящими. Какое-то время он внимательно разглядывает их по очереди. Лицо у него сосредоточенное, глаза прищурены, взгляд оценивающий. Наконец, покусав нижнюю губу, он негромко командует:

— Подъем!

Они вступили на гладкую улицу поселка. Ведет Антон. Дома по сторонам улицы наполовину обвалились, заросли колючкой, зияют выбитыми окнами. Уцелевшие стены покрыты пятнами и потеками. Но попадаются и абсолютно целые, новенькие с иголочки дома. Они кажутся только что построенными, чистенькими, с промытыми окнами, словно в них никогда никто еще не жил. Словно они только еще ожидают жильцов. Вот только с телевизионными и радиоантеннами на этих домах не все

ладно. Они обросли как бы рыжеватым растрепанным мочалом, свисающим иногда до самой земли. Налетающие порывы ветра раскачивают эти странные лохмотья, и тогда слышится тихое электрическое потрескивание.

Улица круто поворачивает, и Антон вдруг останавливается, поворачивается к своим спутникам и растерянно произносит:

— Там машина какая-то... И двигатель у нее работает...

— Не обращай внимания, — говорит Виктор. — Он уже двадцать лет работает. Лучше под ноги гляди и держись середины...

Действительно, слышен звук работающего двигателя, и они проходят мимо стоящего у обочины совершенно новенького, как с конвейера, грузовика. Двигатель его работает на холостых оборотах, из глушителя вырывается и стелется по ветру синеватый дымок. Но колеса его по ступицы погружены в землю, сквозь приоткрытую дверцу и дно кабины проросла тоненькая березка.

Они стоят посредине улицы перед новым препятствием. Когда-то, вероятно, в самый день Посещения, огромный грузовоз тащил по этой улице на специальном прицепе длинную, метрового диаметра трубу для газопровода. Грузовоз врезался в двухэтажный дом слева и обрушил его на себя, превратив в груду кирпичей. Труба скатилась с прицепа и легла слегка наискосок, перегородив улицу. Вероятно, тогда же сорвались и упали поперек улицы телеграфные и телефонные провода. Теперь они совершенно обросли рыжим мочалом. Мочало висит сплошным занавесом, перегородив проход. Пройти можно только сквозь трубу. Жерло трубы черное, закопченное какое-то, и дом справа, на который оно открыто, весь обуглен, словно он горел пожаром, и не один раз.

— Это что — сюда лезть? — спрашивает Антон, ни к кому не обращаясь.

Труба длинная, двенадцатиметровая, и дальний конец ее еле просматривается сквозь заросли мочала.

— Прикажу, и полезешь, — холодно говорит Виктор. — А ну, принеси несколько кирпичей, — приказывает он Профессору.

Профессор переходит улицу, набирает в охапку пяток кирпичей из разрушенного дома и молча складывает их у ног Виктора.

— Ну-ка, отойдите. — Виктор берет кирпич и, далеко отведя руку, швыряет его в жерло трубы, а сам отскакивает.

Слышно, как кирпич грохочет и лязгает внутри трубы. Подождав немного, Виктор швыряет второй кирпич. Грохот, дребезг, лязг. Тишина.

— Так, — произносит Виктор и медленными движениями отряхивает ладони. — Можно. — Он поворачивается к Антону. — Пошел.

Антон пытается улыбнуться, но у него только дергаются губы. Он хочет что-то сказать, но только судорожно вздыхает. Он достает из-за пазухи плоскую фляжку, торопливо отвинчивает колпачок, делает несколько глотков и отдает фляжку Профессору. Лицо у Профессора каменное. Антон вытирает рукавом губы и стаскивает рюкзак. Глаза его не отрываются от лица Виктора. Он словно ждет чего-то. Но ждать нечего.

— Ну? Все остальное — судьба? — произносит он, и ему наконец удается улыбнуться.

Он делает шаг к трубе, и тут Виктор берет его за плечо.

— Погоди, — говорит он. — Дай-ка еще разок на всякий случай.

Он стаскивает рюкзак, берет в руки сразу три кирпича и с натугой швыряет их в жерло. Грохот, лязг... и вдруг что-то глухо бухает в глубине трубы. Со свистящим воем из жерла вырывается длинный язык коптящего пламени и ударяет в многострадальный обуглившийся дом. Дом снова загорается.

— За мной! Быстро! — дико ревет Виктор и, схватив рюкзак, ныряет в еще дымящееся жерло.

Они стоят у противоположного конца трубы, закопченные, рваные, взлохмаченные. Рюкзаки валяются под ногами. Профессор тщательно протирает очки. Антон осторожно дует на обожженные ладони. Виктор, быстро стреляя по сторонам прищуренными глазами, сосет окровавленный палец, торчащий из дыры в перчатке. Правый рукав комбинезона у него начисто сгорел, тускло отсвечивает серебристый материал панциря.

— Ладно, — хрипло говорит он. — Одной жабой меньше...

И снова они идут посередине улицы. Ведет Профессор. Небо совсем закрылось облаками, тяжелыми, низкими, медлительными. Здесь по сторонам улицы почти не осталось целых домов, а мостовая покрыта обширными цветными пятнами неправильной формы, которые они осторожно обходят.

Они идут мимо бывшего дома, от которого остался только нижний этаж, а стен нет вовсе. По-видимому, здесь было какое-то учреждение: желтеют деревом шкафы, набитые папками, стоят канцелярские столы, а на столах — гроссбухи, счетные машины, на одном — пишущая машинка с заправленным листом бумаги. Вся эта обстановка выглядит так, как будто служащие несколько минут назад вышли на обеденный перерыв и скоро

вернутся.

Они уже почти миновали этот странный дом, как вдруг совершенно невероятный здесь, абсолютно невозможный здесь звук заставляет их остановиться и замереть в неподвижности.

Звонит телефон.

Медленно, со страхом, не доверяя собственным ушам, они оборачиваются. Телефон звонит — резкими, пронзительными звонками неравной длины. Он стоит возле пишущей машинки — маленький невзрачный аппарат серого цвета.

Это первый случай за весь поход, когда старый профессионал Виктор явно и бесстыдно растерялся. Он совершенно не понимал, что происходит и как следует поступать.

И тут Профессор вдруг, не говоря ни слова, широко шагая, устремляется к дому. Он взбегает по ступенькам крыльца, проходит между столами и берет трубку.

— Алло! — говорит он.

Квакающий голос в трубке раздраженно осведомляется:

— Это два — двадцать три — тридцать четыре — двенадцать? Как работает телефон?

— Представления не имею, — отзывается Профессор.

— Благодарю вас. Проверка.

В трубке короткие гудки отбоя. Профессор пальцем нажимает на рычажок и оглядывается на Виктора. Тот озадаченно чешет за ухом. Тогда Профессор поворачивается к ним спиной и быстро набирает номер. Через некоторое время в трубке звучит женский голос:

— Да-да, я слушаю...

— Здравствуй, Лола, — говорит Профессор. — Это я.

— Филипп, боже мой! Куда ты запропастился? Нет, в конце концов у меня когда-нибудь лопнет терпение! Вчера я вынуждена была идти одна, меня все спрашивают, а я как дура не могу ответить на простейшие вопросы, и эта шлюха смеется мне прямо в лицо, как гиена... и мне нечего ей сказать! Все эти старухи торчат около меня весь вечер, изображают сострадание... Ты будешь когда-нибудь обдумывать свои поступки? Я не говорю уже о себе, я прекрасно понимаю, что тебе на меня наплевать, но надо же все-таки немножко думать, как это выглядит со стороны...

Пока она говорит, плечи у Профессора ссутуливаются, и на эти сутулые плечи, на шкафы, на мостовую, на все вокруг начинает падать снег. Профессор медленно отнимает трубку от уха и кладет ее на рычажки. Затем он поворачивается. Лицо у него обычное.

— Может быть, еще кто-нибудь хочет позвонить? — спрашивает он.

Его спутники молчат.

Они уже почти достигли окраины поселка. Снег прекратился, на мостовой лужи, снова проглядывает солнце. Здесь, на окраине, почти все дома целы, и даже нет зловещего мочала на антеннах и карнизах.

— Стой! — командует вдруг Виктор. — Переждать придется, сучье вымя, в самую точку угодили, как назло... Снимай рюкзаки. Перекур.

Он смотрит на часы, смотрит на солнце. Он очень недоволен. Антон и Профессор недоуменно переглядываются, снимая рюкзаки, а между тем впереди, закрывая крайние дома поселка, возникает поперек улицы туманная дымка.

— А в чем, собственно, дело? — осведомляется Антон.

— Садись, кино будем смотреть, — отзывается Виктор, садится на рюкзак и достает сигареты.

Туман впереди еще сгущается, и вдруг перед ними возникает, закрыв весь горизонт, необычайно яркая по краскам и глубине панорама.

Целый мир раскинулся перед ними, странный полузнакомый мир. У самых ног их — спокойная поверхность то ли озера, то ли пруда. На пологом берегу, на мягкой траве сидит, поджав под себя ноги, молодая женщина, голова ее опущена, длинные волосы, почти касающиеся воды, скрывают ее лицо. За ее спиной — зеленые округлые холмы под необычайно ярким лазоревым небом, вдали виднеется темно-зеленая стена леса. На верхушке ближайшего холма врыт покосившийся столб с бычьим черепом, надетым на верхушку. Под столбом сидит, вытянув по траве ноги в лаптях, седой как лунь, старец, лицо у него почти черное, как старый мореный дуб, глаза под белыми пушистыми бровями слепые, корявые руки покойно сложены на коленях. А пониже старца сидит на камушке полуголый кудрявый мальчик и наигрывает на свирели. Видно, как надуваются и опадают его румяные щеки, как пальцы ловко бегают по отверстиям в дудочке, но ни одного звука не доносится из этого мира. У ног мальчика коричневым бугром дремлет огромный медведь, и еще один лениво вылизывает переднюю лапу, развалившись поодаль. Над тростником, окаймляющим часть пруда, трепещут синими крыльями стрекозы.

— Рерих, — спокойно произносит Профессор. — Рерих-старший. Очень красиво.

Виктор бросает на него короткий взгляд и поворачивает лицо к Антону. Тот, весь подавшись вперед, с полуоткрытым ртом, завороженно и не отрываясь впитывает в себя эту чудную картину. Потом он

поворачивается к Виктору — глаза у него совсем безумные.

— Что это? — спрашивает он. — Где это?

Виктор сплевывает.

— А черт его знает, — говорит он. — То ли где-то, то ли когда-то.

— Вы видели это раньше?

— Вот это — нет. Да картинки все время разные...

— Значит, это картинка...

— Н-ну, можно сказать и картинка... — уклончиво отвечает Виктор.

Взгляд его становится настороженным: теперь он смотрит только на Антона. Тот бормочет, как в лихорадке:

— Как же так — картинка?.. Нет, врешь, врешь... Опять врешь... Это же покой, тишина... тишина...

И тут Профессор, жалостливо наморщась, подбирает с мостовой камушек...

— Стой! — яростно кричит Виктор.

Но уже поздно. Камушек, описав дугу, падает в воду в двух шагах от девушки. Всплеск. Девушка поднимает голову, отводит волосы с прекрасного лица. По гладкой воде расходятся круги. Девушка, слегка сведя брови, с некоторым удивлением, но без всякого страха разглядывает грязных, оборванных, закопченных людей и снова опускает голову. Мир «по ту сторону» начинает таять, заволакиваться дымкой и исчезает. Впереди снова пустая унылая улица с мертвыми домами.

Антон сидит на своем рюкзаке, бессильно уронив руки, и плачет. Виктор поворачивается к Профессору и, злобно гримасничая, стучит себе костяшками пальцев по лбу. Тот растерянно бормочет:

— Я думал, это мираж... Я был уверен...

— Уверен, уверен... — злобно повторяет Виктор. — Ты уверен, а он теперь — видишь? Что с ним теперь делать?

Оба они смотрят на Антона. Антон молча плачет. Виктор вдруг дико орет:

— Подъем!

Профессор вздрагивает и хватается за рюкзак, а Антон медленно поднимает залитое слезами лицо к Виктору и говорит с отчаянием:

— Сволочь ты, не пустил меня туда... Чтоб ты сдох, гадина, чтоб ты сгнил...

Виктор, тяжело вздохнув, с размаху бьет его по лицу. Антон кубарем летит с рюкзака, но сейчас же поднимается. У него кровь на лице, но он смотрит на Виктора по-прежнему с ненавистью.

— Бери рюкзак! — рычит Виктор. — Вперед!

— Не пойду.

Виктор бьет его в живот, по голове сверху, хватает за волосы, распрямляет и хлещет по щекам.

— Пойдешь, пойдешь!.. — цедит он сквозь зубы.

Профессор пытается схватить его за руку, Виктор, не глядя, бьет его локтем в нос, сшибает очки...

— Пойдешь, пойдешь... — бормочет он.

От последнего страшного удара Антон снова летит на землю и лежит, скорчившись. Виктор, тяжело дыша, глядит на него сверху вниз, потуже натягивая перчатки. Антон со стоном поднимается и садится, упираясь руками в мостовую.

— Ну, очухался? — неожиданно мягко говорит Виктор. — Вставай, пойдем, время идет...

Антон отрицательно мотает головой.

— Сгинешь здесь, дурачок, — мягко говорит Виктор.

— Это не твое дело, — отвечает Антон. Он вытирает лицо, смотрит на ладонь. — Я тебе больше не верю, шеф, — спокойно говорит он. — Уходи с богом. Профессор, вы ему не верьте. Он знаете зачем нас с собой взял?

— Догадываюсь, — говорит Профессор. Он нервно курит, руки его дрожат. Одного стекла в его очках нет.

— Он нас взял, чтобы мы для него ходили через огонь, — говорит Антон. — Мы для него отмычки, живые тральщики. Ты зачем нас взял, шеф, а? Польстился на наши две сотни, уважаемый проводник? А?

Виктор присаживается напротив него, закуривает.

— Слушай, ты, — говорит он. — Это Зона. Здесь всегда так было и всегда так будет. Ты пойми: если ты со мной пойдешь, то, может быть, и вернешься живой. А если останешься, то верная смерть. Ты что же, надеешься этого своего покоя дождаться? Не дождешься. Он, может быть, в следующий раз только через сто лет снова появится...

— Не твое дело, — говорит Антон. — Дождусь.

— А может, и никогда не появится. А со мной пойдешь, будет тебе Золотой Круг, проси все, что хочешь... Покой хочешь? Тишину? Н а тебе тишину, н а тебе покой...

Антон сплевывает тягучую слюну.

— Золотой Круг, говоришь? — медленно произносит он. — А почему это Стервятник повесился, а, шеф?

— Стервятник-то здесь при чем? Ты ж не Стервятник!

— Нет, ты нам скажи: почему Стервятник повесился?

— Потому что сволочь он был, — резко говорит Виктор. — Убийца,

дрянь! Потому что он не за богатством к Золотому Кругу пошел, он за братом своим пошел, а его жадность одолела...

— Ну?

— Что — ну? Он брата своего загубил единственного, мальчишку! Повел его в Зону и подставил где-то... Ушел вдвоем, вернулся один. Его совесть замучила. Он потом себя совсем потерял. Вот и пошел за братом, брата пошел вернуть, а когда дошел, натура его поганая свое взяла... Ведь Золотой Круг только одно желание выполняет. Дошел до него — получай награду, но только одну. Еще чего-нибудь хочешь — снова иди... Он же дрянь был, понимаешь? Дрянь!

— Понима-аю, — говорит Антон, нехорошо улыбаясь. — Это я все понимаю. Тут и понимать нечего. А ты мне скажи, почему он повесился? Почему он снова к Золотому Кругу не пошел? За братом. А?

— Этого я не знаю, — угрюмо говорит Виктор.

— А я знаю! — вкрадчиво произносит Антон. — И ты знаешь, только признаться себе боишься...

Он рывком поднимается и оттаскивает свой рюкзак к стене ближайшего дома.

— Уходите от меня к черту! — говорит он. — Я здесь остаюсь. Ждать буду. Сто лет ждать буду. Сдохну здесь, а к вам не вернусь. Ничего там у вас не осталось. Ни добра, ни любви, ни дружбы. Только подлость и гниль. Я думал — вдохновенье. Я думал — шедевры... Профессор! Ничего этого нет! Понимаете? Нет! Потому что писать — это мерзко. Я не могу больше. И не хочу. Это постыдное, гнусное занятие, все равно что чирьи выдавливать перед зеркалом! А они требуют: пиши, пиши еще, пиши! Ты обязан, ты должен... Хватит. Сами теперь пишите. Я покоя хочу. Мне больше ничего не надо. Покоя и свободы от сволочей! Уходите.

Виктор и Профессор, горбясь под тяжестью рюкзаков, медленно уходят вдоль улицы. Антон смотрит им вслед. А может быть, и не им вслед. Может быть, он ждет, что вот-вот снова появится мир покоя и тишины. И он видит, заранее напрягаясь, как улица заволакивается дымкой, и он уже делает судорожный шаг вперед, но тут в дымке возникают очертания чего-то совсем другого: гигантские многоэтажные здания, отсвечивающие стеклом, потоки машин, толпы спешащих пешеходов, вспыхивающие рекламы... И, уже не дожидаясь, пока этот ненужный, ненавистный мир сформируется окончательно, Антон поворачивается к своему рюкзаку. И замирает, увидев то, чего не замечал раньше.

В десятке шагов у стены — груда каких-то лохмотьев, из-под которой

виднеются белые кости и жутко усмехается белый череп, и рядом — полуистлевший ранец.

Тогда он торопливо расшнуровывает свой рюкзак и вытягивает из него бутылку.

Виктор и Профессор идут по проселочной дороге. Поселок давно остался позади. Дорога покрыта тончайшей пылью, при каждом шаге пыль взлетает и некоторое время висит в неподвижном воздухе. Очень жарко, впереди над дорогой ходят марева.

Справа вдоль дороги тянется ветхая полусгнившая изгородь, за изгородью — поле, заросшее сильно засоренной пшеницей.

Потом они видят пролом в изгороди. И рубчатые следы гусениц, протянувшиеся от пролома к дороге и дальше по дороге вперед.

— Ага, — произносит Виктор. — Вот они, значит, где прошли.

— Кто? — спрашивает Профессор.

— Эти, ваши... Ну, экспедиция от вашего института... Ну, ты должен знать. Полгода назад они отправились и пропали...

Профессор останавливается.

— Милованович? — ошарашенно спрашивает он. — Группа Миловановича?

— Ну, это тебе виднее, чья это была группа, а я все думал: каким же путем они шли и где сгинули? Теперь понятно... Ну, досюда они во всяком случае дошли... Углубились. Ладно, посмотрим, где их пришлепнуло.

И они идут дальше по рубчатым следам гусениц.

Они стоят у развилки. Одна дорога идет вверх по склону пологого холма, а другая огибает этот холм слева и пропадает за ним. Рубчатые следы ушли по левой дороге.

— Вот досюда я в последний раз дошел, — с удовольствием говорит Виктор. — Стою, как дурак, и не понимаю, что дальше делать. У Стервятника на карте одна дорога, а здесь — две. Стою и не могу. Ни прямо не могу, ни влево. Ну, а раз не могу, значит, нельзя. И повернул я оглобли.

— Милованович пошел влево, — нерешительно говорит Профессор.

— И сгинул! — подхватывает Виктор. — Значит, нам куда идти? Постой, впереди пойду я. Не нравится мне этот холмик, все равно не нравится...

С вершины холма хорошо видно место, дальше которого не смогла пройти экспедиция Миловановича. Это мост через глубокий овраг. Нижняя

дорога ведет через этот мост и скрывается за купами деревьев на другой стороне оврага.

Профессор и Виктор смотрят туда, прикрывая глаза от солнца. На лице Профессора выражение ужаса и горестного изумления, а на лице Виктора — что-то вроде мрачного злорадства.

Группа Миловановича идет на трех гусеничных машинах. Передняя машина — обычный военный бронетранспортер, остальные две — вездеходы, оборудованные под походные лаборатории. Людей не видно, только из командирского люка передней машины торчит, высунувшись по пояс, сам Милованович — сухощавый пожилой человек в рубашке цвета хаки с засученными рукавами, черный, горбоносый, с толстыми усами, которые, как у гайдука, опускаются ниже подбородка.

Передняя машина подкатывает к мосту, Милованович оборачивается и, подняв руку, подает водителю следующей машины какой-то знак пальцами. Бронетранспортер вкатывается на мост, проходит его на малой скорости, выбирается на противоположный берег оврага, и сейчас же на мост выкатывается вторая машина, несущая над кузовом матово отсвечивающий белый купол в несколько метров поперечником, а за ней следует третья машина с огромным вращающимся локатором... Все три машины одна за другой бодро бегут по дороге и словно растворяются в воздухе вместе с поднятой ими пылью, а через мгновение вновь одна за другой появляются на прежнем месте перед мостом. Горбоносый, черный, как ворон, Милованович оборачивается и, подняв руку, подает какой-то знак пальцами, машины, одна за другой, перекатываются через мост, исчезают, подобно призракам, и вновь появляются на прежнем месте перед мостом, и снова Милованович поднимает руку... и снова, и снова, и снова.

— В петлю, значит, угодили, — произносит Виктор. — На Красной Горке тоже такое местечко есть, Горлохват туда вляпался, так уже десяток лет вот так крутится...

— Бедняга Милованович... — горестно бормочет Профессор. — Какой ученый был... какая судьба...

— Чего там судьба, — пренебрежительно возражает Виктор. — Зато они всех нас переживут... Мы подохнем, дети наши помрут, а они так и будут крутиться, и хоть бы хны... Они же там ничего не понимают и знать ничего не знают... знай себе прутся через мост, и каждый раз это им в новинку... Ну, нечего сопли распускать. Вперед!

Справа маслянисто-черное болото, слева маслянисто-черное болото. Они идут по полусгнившей хлюпающей гати. Над болотом медленными волнами колышутся испарения. Видно шага на четыре, не больше. Виктор

идет впереди. Оба они дышат тяжело, видно, что изрядно устали. Профессор еле плетется, спотыкаясь на каждом шагу.

Потом Виктор вдруг останавливается, будто налетев на невидимое препятствие. Он стоит совершенно неподвижно, осторожно поводя носом из стороны в сторону. Профессор останавливается рядом и опирается на жердь, еле переводя дух.

— Ну... что такое? Почему... стоим? — спрашивает он.

— Молчи... — тихо говорит Виктор.

Он делает движение шагнуть, но остается на месте. Запускает руку в набедренный карман, вытаскивает гайку, делает движение замахнуться, но не замахивается. Гайка падает из его руки. Лицо его бледно до зелени, покрыто потом.

— Н-нет, — бормочет он. — Не могу...

Растопырив руки, он пятится, оттесняя Профессора назад. Потом он, не глядя, отбирает у Профессора жердь и тыкает в болото рядом с гатью.

— Так-то оно будет вернее... — сипит он. — А ну, давай за мной...

Он осторожно слезает с гати и сразу проваливается выше колен.

— Зачем? — жалобно спрашивает Профессор. Он очень устал.

Виктор не отвечает. Ощупывая перед собой дорогу жердью, он все круче забирает в сторону от гати.

Они измотаны до предела и облеплены грязью. Туман совсем сгустился. Они бредут по пояс в чавкающей жиже, то и дело падая, погружаясь с головой, отплевываясь и кашляя. Остановиться нельзя, трясина засасывает.

Вдруг Профессор проваливается по шею, пытается вырваться и лечь плашмя, но у него ничего не получается, и он из последних сил кричит:

— Виктор... помогите!

Виктор оборачивается. Самый неподдельный ужас изображается на его лице.

— Ты к-куда? — хрипло кричит он и, расплескивая грязь, бредет к Профессору. — Рюкзак! Рюкзак сбрось!

Профессор мотает головой, торчащей над поверхностью жижи.

— Жердь! — сипит он. — Протяни жердь!

— Бросай рюкзак, тебе говорят!

— Же... — Профессор уходит в болото с головой, снова выныривает и ревет страшным голосом: — Жердь давай, скотина!

Он пытается схватиться за протянутую жердь, промахивается, потом ощупью находит ее и вцепляется обеими руками.

Солнце. Раскаленная кремнистая пустошь. Вдали желтые отвалы породы, торчит задранный ковш брошенного экскаватора. Виктор и Профессор сидят в тени домика, вернее — вагона, снятого с осей: когда-то здесь располагалась контора хозяйства, разрабатывавшего карьер.

Передавая друг другу бутылку, они тянут спиртное и вяло переругиваются.

— Ну и потонул бы, как крыса, — ворчит Виктор. — И меня бы с собой утянул...

— Нечего было в трясину лезть, — огрызается Профессор.

— Это не твоего ума дело — куда мне лезть...

— Вот и мешок этот — тоже не твоего ума дело...

— Да что у тебя там — золото, что ли?

— Нет, это просто уму непостижимо! — произносит Профессор. — Идем по прекрасной ровной дороге. И вдруг он лезет в болото!

— Чутье у меня, ты это можешь понять или нет? Чутье на смерть!

— Оставьте меня в покое со своим чутьем. Это просто чудо, что мы выбрались.

— Вот чудак очкастый! — Виктор хлопает себя по коленям. С него осыпаются ошметки засохшей грязи.

— Мои очки — это тоже не ваше дело. Вы и так меня наполовину ослепили.

— Тебя не ослепить, тебя жердью этой надо бы между ушей! Это надо же, из-за пары грязных подштанников чуть в рай не отправился! Дай сюда бутылку...

— При чем здесь подштанники?

— Ну, что там у тебя в мешке? Ну, консервы... Из-за банки консервов...

— Вы, между прочим, тоже свой рюкзак не сбросили.

— Я, во-первых, не тонул, это раз. А во-вторых, у меня там запасной панцирь! На всякий случай...

Профессор машет безнадежно рукой, кладет рюкзак на бок и ложится, положив на него голову. Виктор закуривает, оглядывает местность. Затем тоже ложится на спину, ворочается и достает из-под себя ржавую консервную банку. Вертит ее перед глазами.

— Стервятник закусывал... — произносит он и отбрасывает ее от себя. — Вот ведь сволочь, ничего на болоте не указал, а там что-то есть... Может быть, конечно, потом появилось, после него...

— Слушайте, Виктор, — подает голос Профессор, не раскрывая глаз. — Что, Стервятник — единственный человек, который дошел до Золотого Круга?

— Да. Других не знаю.

— А вы знаете таких, которые шли, но не дошли?

— Знаю кое-кого... Я и сам ходил и не дошел.

— А за чем они шли?

— Кто за чем... В основном за деньгами, конечно.

— А вы?

Некоторое время Виктор неприязненно молчит.

— У меня дела свои... семейные...

— Как у Стервятника?

Виктор резко поднимается и смотрит на Профессора. Но тот лежит с закрытыми глазами, покойно сложив руки на груди.

— Ты меня со Стервятником не ровняй, — произносит Виктор угрожающе.

Профессор молчит.

— Ты Стервятника не знал, в глаза не видел, — говорит Виктор, снова укладываясь, — и меня ты не знаешь. Так что нечего нас ровнять.

— Никто никого не знает, — говорит Профессор, не открывая глаз.

— Почему?

— Потому что век наш весь в черном, — говорит Профессор. — Он носит цилиндр высокий, и все-таки мы продолжаем бежать, а затем, когда бьет на часах бездействия час и час отстраненья от дел повседневных, тогда приходит к нам раздвоенье, и мы ни о чем не мечтаем.

— Это еще что за молитва? — презрительно говорит Виктор.

— Это святой Аполлинер.

— А? А-а... Ну, я не верующий.

— Но в Золотой Круг поверили?

— Так Золотой Круг... Как же не поверить? Одна надежда на него... Ты же и сам поверил, хотя и ученый...

— Да, я поверил. Я вообще склонен верить в страшные сказки. В добрые нет, а в страшные — да... — Профессор вдруг поднимается. — А вам никогда не приходило в голову, что будет, когда поверят все? Когда они все сюда кинутся, тысячами, сотнями тысяч...

— Ну и что? И сейчас многие верят, да поди доберись!

— Доберутся, дружок, доберутся. Один из тысячи, а доберется. Стервятник ведь добрался... А Стервятник еще не самый плохой человек. Бывают люди пострашнее... Им не золото нужно, и семейных дел у них никаких нет. Они будут мир исправлять, голубчик! Всех людей на свете переделывать по своей воле... Вы представьте только, сколько их среди нас, все эти несостоявшиеся императоры всея земли, фюреры всех мастей,

великие инквизиторы, фанатики, благодетели человечества, просто сумасшедшие... Думали вы об этом?

— Нет, — отвечает Виктор презрительно. — Плевать я на них хотел.

— Напрасно. Вы о них не думаете, но они-то о вас думают. Вы представьте себе на минутку, что вы нашего писателя довели-таки до Круга... Ведь он же всех ненавидит, ведь у него идеал какой — пустая зеленая земля, тишина и покой, кладбище... Я думаю, что он и сам это понял. Поэтому он и остался...

Некоторое время они молчат. Виктор задумчиво сковыривает с себя ошметки засохшей грязи.

— Нет, — говорит он. — Не знаешь ты людей, Филипп, поэтому и философию разводишь. Он, конечно, может и придет к Золотому Кругу, чтобы всю землю переделать, да ничего у него не выйдет, потому что на самом деле на землю ему плевать, а нужна ему баба, водка нужна и денег побольше... ну, в крайнем случае, чтобы у его начальника морда через пупок проросла... Фанатизмы все эти, фюреры — откуда все это берется? Либо его бабы не любят, либо желудок плохо варит и изо рта у него воняет, вот он и бесится. Вот ты — зачем идешь?

Профессор криво усмехается.

— Н-ну, не ради баб, во всяком случае.

— Да я и сам знаю, что не ради баб. Научное что-нибудь? В экспедицию тебя не взяли, вот ты и решил им всем доказать. И правильно. Правильно! Понимаешь? Не мир переделывать пришел, а свои личные дела поправить, открытие какое-нибудь сделать, чтобы все ахнули. Вот, мол, оказывается у нас Филипп-то какой, дать ему мировую премию! Так?

— Ну, допустим...

— Да не допустим, а так это все и есть! Что я зря, что ли, в вашем институте два года жалованье получал? Я вас всех как облупленных знаю... Хочешь — скажу, что у тебя там в рюкзаке?

Профессор тщательно протирает единственное стекло своих очков.

— Ну, скажите, — произносит он, не поднимая лица.

— Приборы какие-нибудь! Анемометры, понимаешь, радиометры, амперметры, вариометры... Вы же из-за них задавиться готовы. Стервятник из-за золота, а вы из-за этих своих железок с циферблатами! Понаставишь все это свое добро на Золотой Круг и начнешь показания снимать, и ничего тебе кроме этого не надо... Ну, угадал? Потонуть ведь был готов, но не бросил...

Профессор надевает очки и с вызовом смотрит на него.

— Угадали, но не совсем. Это экспресс-лаборатория. Автомат.

Виктор смеется, очень довольный.

— Ну, автомат. Какая разница? Телеметрия, значит, еще лучше. Вернешься домой, натянешь белый халат, а оно тебе отсюда все само передает... Так что ты мне тут не философствуй, старичок. Все мы человеки, все мы одним миром мазаны. Ты, понимаешь, на Золотом Круге можешь счастья человечеству пожелать, но Золотой-то Круг — он только СОКРОВЕННЫЕ желания выполняет!

Они идут через кремнистую пустошь, направляясь к желтым отвалам карьера, к задранному, красному от ржавчины ковшу экскаватора. Профессор идет впереди. Он сильно прихрамывает и опирается на жердь.

Они стоят на краю карьера и смотрят вниз, и на грязных их лицах мерцают желтые отблески от Золотого Круга.

Слева — пологий спуск в карьер, разбитый гусеницами и колесами грузовиков. У начала спуска стоит, покосившись на груде выветрившейся породы, экскаватор с задранным ковшом.

— Другого спуска нет, — говорит Виктор. — Здесь кругом «комариные плеши» и всякая другая дрянь...

Профессор вытирает лицо дрожащей ладонью.

— А если попробовать с обрыва, на веревке?

— Я же тебе объясняю, чудак: нельзя. Верная смерть.

Они говорят тихо и даже как-то равнодушно — усталые, вымотанные вконец люди, изнемогающие под беспощадным солнцем.

— А здесь — не верная?

— А здесь — пятьдесят на пятьдесят.

Профессор снова вытирает лицо и смотрит в сторону спуска. Широкая дорога, избитая гусеницами и колесами грузовиков. Ничего страшного, ничего угрожающего.

— А что здесь — огонь, ток?

— Не знаю, — говорит Виктор. — Знаю только, что первый проходит пятьдесят на пятьдесят, а второй — на все сто.

— Это как там, в трубе?

— Примерно.

Профессор смотрит на Виктора.

— Значит, ты для этого меня и взял?

— Да.

Профессор отводит глаза и снова смотрит на спуск.

— А если я не пойду?

— Тогда я тебя убью, — спокойно говорит Виктор. Профессор криво усмехается. — Тебя убью, — продолжает Виктор, — а экспресс-лабораторию твою измельчу на кусочки. Это тебе мое слово.

Профессор медленно стягивает рюкзак и расстегивает клапан. Обнажается верхняя часть массивного цилиндра, тускло отсвечивающего металлом на солнце. Там нет ни циферблатов, ни шкал. Только диск наподобие телефонного в центре верхнего днища.

Профессор медленно набирает четырехзначный номер. Раздается тихий щелчок.

— Ну, положим, такую штуку на кусочки не измельчить... — замечает он.

— Ничего, я уж постараюсь, — говорит Виктор. — Ты уж мне поверь. У меня с собой, между прочим, на всякий случай динамитная шашка. Вот уж не думал, не гадал, для какого дела она мне понадобится...

Профессор выпрямляется.

— Насчет пятьдесят на пятьдесят, — говорит он, — ты, конечно, врешь...

Виктор мотает головой.

— Нет, — говорит он. — Если Стервятник не наврал, то и я не наврал.

Профессор, теперь уже не отрываясь, смотрит на спуск.

— Глянуть смерти в лицо, — бормочет он, — сами мы не могли. Нам глаза завязали и к ней привели... Может быть, хоть жребий бросим все-таки?

— Нет. Жребий мы бросать не будем. Это не игра. Это вы всё в игры играете, а мне нельзя. У меня дочка калека. Я по Зоне ходил, а она за это расплачивается. Ребенок. Дразнят ее. И ничего нельзя сделать. Все, что приносил, на докторов ухлопал. Все без толку. Они уже и не обещают ничего. У меня это последняя надежда. Мне рисковать нельзя. Иди, Филипп, иди. Не бойся. Все обойдется. Иди.

Профессору очень страшно. Он делает несколько шагов к спуску, и видно, как у него подгибаются ноги. Потом он останавливается и стоит, понурив голову. Виктор вынимает из кармана нож и, заведя руку за спину, щелкает выскочившим лезвием.

— Это больно? — спрашивает Профессор, не оборачиваясь.

— Нет, — говорит Виктор. — Нет! И не почувствуешь ничего... Да что я говорю — ничего с тобой не будет! Иди, старик, иди!

И Профессор идет. Сначала медленно, спотыкаясь на колдобинах, затем все быстрее и быстрее, и вот он уже бежит, выставив перед лицом согнутую руку.

Виктор отворачивается. Глаза его крепко зажмурены, кулак с зажатым в нем ножом он прижимает ко рту, голова его втягивается в плечи. Несколько секунд он еще слышит за спиной удаляющееся буханье подкованных сапог Профессора, а потом этот звук внезапно обрывается, и раздается короткий сдавленный вопль. Виктор прижимает к ушам ладони, и к его ногам падают и вдребезги разбиваются очки.

Некоторое время он стоит неподвижно, затем осторожно отводит ладони от ушей.

Тишина. Нет, не совсем тишина. Слышится слабое тиканье. Виктор нагибается, подбирает оправу, зажимает ее в кулаке и осторожно оборачивается.

На спуске — никого. И ничего. А тиканье все громче. Это тикает экспресс-лаборатория, торчащая из развязанного рюкзака Профессора. В злобе и отчаянии Виктор пинает ее сапогом, и она тяжело заваливается набок. Ждать больше нечего.

Поминутно утирая единственным уцелевшим рукавом залитое потом лицо, Виктор начинает спускаться в карьер. Губы его беззвучно шевелятся, глаза полузакрыты. Он похож на одержимого. Он и есть одержимый.

Увязая по щиколотку в белом песке, он бредет по дну карьера и подходит к краю огромного желто-сверкающего диска. Не задерживаясь, он ступает на него, и нога его проваливается, и он бредет по золотой пленке, оставляя за собой черные рваные дыры, не переставая что-то беззвучно твердить, шевеля губами, полузакрыв глаза и откинув голову назад... И он сходит на песок и идет по песку, а в карьере сгущаются сумерки, а он все идет по песку, и карьер погружается во мрак, и слышится скрип, словно отворяется деревянная дверь, и шорох шагов по песку сменяется стуком каблуков по камню, и в сером свете Виктор поднимается по лестнице и вступает на лестничный пролет своего дома. Здесь все тот же режущий яркий свет лампочки без плафона, грязноватая лестница, уродливая карикатура на стене, и только пьяный в цветастом шарфе уже не стоит, а сидит в том же углу, широко раскинув ноги, бессильно уронив голову на грудь.

Трясущейся рукой Виктор отпирает дверь своей квартиры и входит в пустую прихожую, распахивает дверь в гостиную и останавливается на пороге.

Жена стоит у стола и смотрит на него, а рядом с нею стоит девочка-калека, опершись на костылики и высоко подняв острые плечи, косолапо поставив тоненькие больные ноги, и тоже смотрит — не на него, а немного мимо, сквозь черные очки.

Он сразу сникает. Опустив голову, он неловко стягивает с себя рюкзак и бросает его на пол. И рюкзак лопается во всю длину, и из прорехи извергается на пол поток золотых монет вперемешку с обандероленными пачками банкнот.

Он тупо смотрит на эту кучу, и жена его с окаменевшим лицом смотрит на эту кучу, и только девочка смотрит черными очками куда-то в сторону.

Они молчат. И в тишине слышно нарастающее тиканье. Это тиканье вдруг прерывается, и ослепительный свет заливает окна. Виктор и его жена, вскрикнув, закрывают лица руками, а девочка быстро поворачивает голову к окнам. Свет за окнами меркнет, и страшный удар сотрясает дом. С лязгом и дребезгом вылетают стекла, распахиваются рамы, и в опустевших проемах видно, как над черными силуэтами домов вспухает, раздувается гнойным пузырем огненный гриб атомного взрыва.

И тогда Виктор опускает взгляд на свой сжатый кулак и разжимает пальцы. Черная искореженная оправа очков соскальзывает с его ладони и падает на поток золота, еще продолжающий медленно изливаться из прорехи в рюкзаке.

СТАЛКЕР

1. Дом сталкера

Грязная захламленная квартира. Ночь, за окном тьма. Сталкер выбирается из-под одеяла, тихонько поднимается с кровати. Берет в охапку одежду и на цыпочках выходит в ванную. Одевается, затем становится на колени перед ванной и начинает молиться вполголоса

Сталкер. Пусть будет, как всегда было. Пусть ничего не изменится. Пусть все останутся живы, пусть всем будет хорошо. А если для всех это невозможно, пусть я сумею быть жестоким с добрыми и пусть я сумею быть добрым с жестокими, а главное – пусть будет как всегда, пусть стена останется стеной, тупик останется тупиком, а дорога останется дорогой, и пусть никто не останется обделенным. Пусть каждый получит свое, я не так уж много прошу…

Он замолкает и резко оборачивается. В дверях стоит его жена, заспанная, в поношенной ночной рубашке.

Жена. Что же ты делаешь? Где твое слово?

Он встает и стоит перед нею, виновато опустив голову.

Жена. Ты же мне слово дал, ведь я тебе поверила…

Он молчит. Нелепо пожимает плечом, криво и жалко улыбается.

Жена. Ну, хорошо, ты не хочешь думать о себе… Но ты о нас подумай! О дочке своей подумай, она же тебя не узнала, когда ты из тюрьмы вышел… она еще к тебе привыкнуть не успела, а ты опять уходишь! Обо мне – ты обо мне подумай, ведь я старуха в мои годы, ты меня доконал! Ведь я не могу больше тебя ждать, я умру! Ну зачем тебе сейчас идти? Пособие выдали, деньги есть, я устроюсь в магазин… Ну отдохни, ну побудь дома! Ты же обещал.

Сталкер. Как же – есть деньги… Нет денег…

Жена. А пособие?

Сталкер. Я его… Я его потерял.

Жена. Врешь!

Сталкер. Ну послушай, ну не надо так… Ну все будет хорошо! Я знаю! Я уверен!

Жена. Ты же обещал!

Сталкер. Ну обещал, ну соврал… Мне такое дело предлагают, что нельзя отказываться… И люди такие хорошие, приличные… им нужно…

Жена. Тебе люди важнее, чем жена с дочерью? Ты подумай, что с нами будет, если ты не вернешься!

Сталкер. Да вернусь я, вернусь, честное слово!

Жена. В тюрьму ты вернешься! Там еще твое место не остыло, а ты уже вернешься, и дадут тебе не два года, а пять лет… И пять лет у тебя ничего не будет! Ты подумай об этом: ничего! А я эти пять лет не выдержу…

Сталкер. (*с надрывом*). Ну не могу я! Не могу я здесь! Ну зачем все эти разговоры, ты же знаешь, что я не могу! Смерти я не боюсь, да и не верю я в смерть, не для того я на свет родился… И тюрьмой меня не испугаешь, потому что мне везде тюрьма… Ты тоже меня в тюрьме держишь разговорами этими… Ну я прошу тебя, это же всего одни сутки, завтра утром я вернусь, и снова все будет хорошо…

Жена. Не верю, не верю! Ни во что не верю! Клялся, обещал! Что мне делать? Что мне делать? Не пущу!

Она опускается на порог, падает лицом вниз, колотит кулаками по полу.

Жена. Не пущу! Не пущу!

А он бочком, бочком, осторожно подбирается к порогу, переступает через лежащую женщину и устремляется к выходу. Женщина все повторяет бессильно: «Не пущу!», и где-то в комнате сначала тихо, а затем все громче плачет ребенок.

Сталкер открывает дверь и выскакивает на лестничную площадку.

Грязноватый пролет тускло освещен лампочкой без плафона, и Сталкер сбегает по лестнице.

2. Писатель

Подъезд. Сталкер сбегает с лестницы и останавливается в дверях.

У подъезда стоит роскошный «кадиллак». Дверцы раскрыты, рядом

стоят Писатель и его приятельница. Писатель в длинном черном плаще и без шляпы, разглагольствует, делая широкие движения рукой с рюмкой. Приятельница внимает, опираясь на дверцу автомобиля. В одной руке у нее бутылка, в другой – рюмка.

Писатель. Дорогая моя! Мир непроходимо скучен, и поэтому нет ни телепатии, ни привидений, ни летающих тарелок.

Приятельница. Но я читала меморандум Кемпбелла…

Писатель. Кемпбелл – романтик. Рара авис ин террис. Таких больше нет. Мир управляется железными законами, и это невыносимо скучно. Серая чугунная скука железных законов… Они не нарушаются. Они не умеют нарушаться. Не надейтесь на летающие тарелки – это было бы слишком интересно…

Приятельница. А как же Бермудский треугольник?.. Вы же не станете спорить…

Писатель. Я стану спорить. Нет никакого Бермудского треугольника. Есть треугольник а бэ це, который равен треугольнику а-прим бэ-прим це-прим. Вы чувствуете, какая чугунная скука заключается в этом утверждении?.. Вот в средние века было интересно. В каждом порядочном доме жил домовой, в каждой церкви – бог… Люди были восхитительно невежественны! Как дети… И они были молоды! А сейчас каждый четвертый – старик. И все поголовно грамотные…

Приятельница. Но вы же не будете отрицать, что Зона… порождение сверхцивилизации, которая…

Писатель. Да не имеет Зона никакого отношения к сверхцивилизации! Просто появился еще один какой-то паршивый скучный закон, которого мы раньше не знали… А хотя бы и сверхцивилизация… Тоже, наверное, скука… Тоже чугунные законы, треугольники, и никаких тебе домовых и, уж конечно, никакого бога… Потому что если бог – это тоже треугольник, то я просто не знаю…

Сталкер выходит из парадного и кладет руку Писателю на плечо. Писатель оборачивается.

Писатель. Ага. Это за мной. Пардон… (*Забирает у приятельницы бутылку.*) Прощайте, моя конфеточка…

Сталкер. Пойдемте.

Писатель. Одну минуту. Вот эта дама любезно согласилась следовать за мною в Зону. Она – мужественная женщина, хотя и глуповата. Ее зовут…

э-э… Простите, как вас зовут?

Приятельница немедленно загорается интересом.

Приятельница. В Зону? Вы – сталкер?

Сталкер принужденно улыбается.

Сталкер. Ну какой я сталкер? (*Писателю.*) Вы все шутите. А нас тем временем уже ждут. Извините нас, мадам, нас ждут.

Он крепко берет Писателя за локоть и увлекает его по улице.

Писатель (*оборачиваясь*). Прощайте, моя бабочка! Моя, в каком-то смысле, стрекозочка! (*Сталкеру.*) Послушайте, вы не знаете, кто она такая?
Сталкер. Вы все-таки напились.
Писатель. Я? Ни в какой степени.

Сталкер увлекает его по улице.

Писатель. Я просто выпил, как это делает половина народонаселения. Другая половина – да! – напивается. Женщины и дети включительно. А я просто выпил…

3. Кафе

Грязное темное помещение ночного кафе. За стойкой маячит сонный бармен. В сторонке у столика стоит Профессор.
Сталкер и Писатель входят.

Писатель. Ну что ж, по стаканчику на дорогу? Как вы считаете? (*Смотрит на Сталкера.*)
Сталкер. Нет. Не надо.
Писатель. Понятно. Сухой закон. Алкоголизм – это бич народов. Что ж, будем пить пиво.

Они подходят к Профессору, и тот спрашивает Сталкера.

Профессор. Это что? С нами?
Сталкер. Да. Ему тоже надо туда. Ничего, Профессор. Не

беспокойтесь. Он протрезвеет.

Писатель. Вы действительно профессор?

Профессор. Если угодно.

Писатель. В таком случае разрешите представиться. Меня зовут…

Сталкер. Вас зовут Писатель.

Профессор. А как зовут меня?

Сталкер. Вас? Вас зовут Профессор.

Писатель. Ага. Понятно. Я – писатель, и меня все почему-то зовут Писатель…

Профессор. Известный писатель?

Писатель. Нет. Модный.

Профессор. И о чем же вы пишете?

Писатель. Да как вам сказать… В основном о читателях. Ни о чем другом они читать не хотят.

Профессор. По-моему, они правы. Ни о чем другом и писать, наверное, не стоит…

Писатель. Писать вообще не стоит. Ни о чем. А вы что – химик?

Профессор. Скорее физик.

Писатель. Тоже, наверное, скука. Поиски истины. Она прячется, а вы ее повсюду ищете. В одном месте копнули – ага, ядро состоит из протонов. В другом месте копнули – красота, треугольник а бэ це равен треугольнику а-прим бэ-прим це-прим… Вы неплохо устроились. Мне хуже. Я эту самую истину выкапываю, а в это время с нею что-то такое делается… Выкапывал я истину, а выкопал кучу дерьма. Возьмите вы какой-нибудь закон Архимеда. Он с самого начала был правильным, и сейчас он правильный, и всегда будет правильный. А вот стоит в музее античный горшок. В свое время в него объедки кидали, а сейчас он стоит в музее и вызывает всеобщее восхищение лаконичностью рисунка и неповторимостью форм… Все ахают и охают, и вдруг выясняется, что никакой он не античный, а подсунул его археологам какой-нибудь жулик или шутник. И форма у него осталась неповторимой, и рисунок лаконичный, но аханье, как ни странно, стихает…

Профессор. Вы не правы. Вы говорите о профанах и снобах…

Писатель. Ничего подобного. Я говорю о горшках. Я сам двадцать лет леплю такие горшки. И поскольку я – писатель модный, они восхищают книголюбов лаконичностью рисунка и неповторимостью формы. А через двадцать лет придет мальчик и заорет во все горло про голого короля!

Профессор. Господи. И вы об этом все время думаете?

Писатель. Первый раз в жизни. Я вообще редко думаю. Мне это

вредно.

Профессор. Наверное, невозможно писать и при этом все время думать, как ваш роман будет читаться через сто лет.

Писатель. Натюрлих! Но с другой стороны, если через сто лет его не станут читать, то на кой хрен его сегодня писать?

Сталкер. А деньги? А слава?

Писатель. Деньги! Слава! Слушайте, давайте поговорим о чем-нибудь приятном! Кстати, Профессор, ради чего вы впутались в эту историю? Чего вам понадобилось в Зоне?

Профессор (*несколько ошарашенно*). Н-ну… Что может физику понадобиться в Зоне? А вот что может в Зоне понадобиться Писателю – это интереснее. Деньги у вас, как я понимаю, есть. Слава – тоже.

Писатель. Женщины гроздьями. Вилла.

Профессор. Вот именно. Чего же вам еще не хватает?

Писатель. Вдохновенья, Профессор! Куда-то запропастилось мое вдохновенье. Хочу попробовать вернуть.

Профессор. А может, оно бы само вернулось?

Писатель. Не думаю. Не похоже.

Профессор. То есть, вы исписались…

Писатель. Что?

Некоторое время он молчит, затем говорит брюзгливо.

Писатель. Ведь предлагали же вам поговорить о чем-нибудь приятном…

Сталкер смотрит на часы.

Сталкер. Простите. Пора.

4. Застава

Они выходят из кафе. За углом застыл у обочины большой черный автомобиль. Профессор открывает дверцы. На водительское место забирается Сталкер, а Профессор с Писателем усаживаются на заднее сиденье. Сталкер оборачивается, протягивает руку.

Сталкер. Ключ, пожалуйста.

Профессор молча кладет ему на ладонь ключ от зажигания. Сталкер заводит мотор, и машина стремглав уносится по темным предутренним улицам.

Они мчатся молча. Писатель дремлет, откинувшись головой в угол, холодно блестят очки Профессора, согнулся над рулем Сталкер, пожевывая потухшую сигарету. Мелькают за окнами машины редкие огни в окнах, мокрые кусты, мокрые решетчатые изгороди…

Машина притормаживает. Поперек широкой пустынной улицы – транспаранты со светящимися надписями на трех языках: «Стоп! Проезда нет! Только по специальным пропускам». И ниже: «До въезда в Зону – 300 м».

Сталкер сворачивает машину в узкий, заросший травой проулок, затормаживает. Открывает дверцу, выходит и, прокравшись до поворота, выглядывает.

Перед ним – застава войск ООН, охраняющих въезд в Зону. Бетонные стены, узкие, как амбразуры, окна. Прожектора на крышах. Прожектора и пулеметы на башнях. Броневики с мокрыми от дождя клепаными бортами. Часовые в мокрых от дождя металлических касках. Шоссе упирается в наглухо закрытые ворота. Далее в темноте блестят под дождем мокрые рельсы. Железнодорожная ветка упирается в наглухо закрытые ворота.

Сталкер некоторое время внимательно разглядывает заставу и ее окрестности, затем возвращается к машине. Осторожно выводит ее из переулка, пересекает шоссе и спускается в пространство между шоссе и железной дорогой, а там, дав задний ход, прячет ее в заросли мокрого кустарника. Выключает мотор и откидывается на спинку сиденья.

5. В машине у железной дороги

В кустарнике у железнодорожного полотна прячется машина. За рулем, сгорбившись, сидит Сталкер. На заднем сиденье расположились Профессор и Писатель. Писатель спит, уткнувшись головой в угол. Тишина.

Сталкер оборачивается к Профессору.

Сталкер. (*вполголоса*). Канистру вы не забыли?
Профессор. Полная. В багажнике.
Сталкер. А фонарик?
Профессор. Не забыл.

Писатель просыпается, мутно оглядывается по сторонам.

Писатель (*зычным голосом*). А? Приехали?
Сталкер. Тише, пожалуйста.
Писатель (*шепотом*). Понял… Понял… Молчу…

Пауза.

Писатель (*вполголоса*). А чего мы, собственно, ждем?

Никто не отвечает ему. Писатель нервно позевывает, крутится, потом вдруг поворачивается к Профессору.

Писатель (*тихо*). Никакого мне вдохновенья не надо. Я сам не знаю, что мне надо. Откуда я знаю, как назвать то, чего я хочу? И откуда мне знать, что я действительно не хочу того, чего не хочу? Это какие-то неуловимые вещи. Стоит их назвать, и смысл их исчезает, тает, расползается. Как медуза на солнце. (*Пауза.*) Положим, я – убежденный вегетарианец. Сознание мое хочет победы вегетарианства во всем мире. Подсознание мое изнывает по куску сочного мяса. Вопрос: а чего хочу я? Я, сложный сплав сознания и подсознания…

Профессор. А вы хотите мирового господства. Конфликты сознания с подсознанием даром не проходят.

Сталкер. Чш-ш-ш…

Слышится гул и постукивание приближающегося электровоза.

Сталкер. (*хрипло*). Держитесь крепче! Упирайтесь. Сейчас!

Электровоз проходит.

Сталкер. (*кричит*). Пошли!

Он с места рывком бросает машину вперед. Машина выскакивает на железнодорожное полотно и мчится следом за электровозом в распахнувшиеся ворота.

6. Прорыв

Сразу за воротами Сталкер круто бросает машину с железнодорожного полотна влево, в темноту. Выпучив от ужаса глаза, разинув рот, прыгает на заднем сиденье Писатель, цепляясь то за спинку переднего сиденья, то за колени Профессора, а тот растопырился, уперся руками во все, что возможно, и только ежесекундно поправляет ползающие по лицу очки. Окостенел на водительском месте Сталкер, бешено работает руками, вцепившимися в руль.

А уже суматошно забегали во тьме прожектора, и вот ударила первая пулеметная очередь. Машина стремительно врывается в мертвые, давным-давно оставленные жителями кварталы. Мелькают в бегущем свете прожекторов запыленные стекла окон, стены с обсыпавшейся штукатуркой, повалившиеся заборчики. Теперь уже несколько пулеметов сразу вслепую лупят вслед нарушителям. Пули крошат ветхие стены, вдребезги разносят уцелевшие стекла и ставни, поднимают фонтаны воды в стоячих лужах…

Сталкер круто сворачивает в непроглядную тьму, резко тормозит.

Сталкер. Вылезай, живо! Канистру!

Распахиваются дверцы. Сталкер, Профессор и Писатель вываливаются в грязь.

Сталкер. Канистру, черт очкастый!

Профессор торопливо бежит на четвереньках к багажнику, распахивает его, выволакивает тяжелую канистру.

Г о л о с **Сталкер.** а (*из темноты*). Сюда, живее!

Профессор. Где вы там?

Снова грохочут пулеметы. В темноте под черным небом, в котором пляшут прожекторные лучи, на мгновение загорается фонарик.

Сталкер. Сюда! Давайте сюда! За мной ползком. Голов не поднимать. Канистру держите слева. Если кого-нибудь зацепит, не кричите, не метайтесь! Увидят – убьют. Потом, когда стихнет, ползите назад, к воротам. Утром подберут…

Сталкер ловко ползет на четвереньках, виляя тощим задом. Профессор, волоча канистру, ползет за ним. Пыхтя, ползет Писатель.

Они оказываются в полуразвалившемся сарае. Под его крышей проходят железнодорожные рельсы, а на рельсах красуется крошечная дрезинка с бензиновым моторчиком.

Сталкер, то и дело оглядываясь на треск пулеметных очередей, оскалившись, отвинчивает пробку.

Вдвоем с Профессором они заливают бак, затем Сталкер отбрасывает пустую канистру и принимается заводить мотор.

Сталкер. Садитесь. Скорее, пожалуйста!

Профессор и Писатель лезут на узкую платформу и кое-как рассаживаются, держась друг за друга. Мотор некоторое время не заводится. Сталкер рычит от бешенства и нетерпения. Но вот наконец мотор чихает и разражается залпами выхлопов, от которых мигающая от прожекторов полутьма в сарайчике заполняется клубами дыма.

Сталкер. Поехали!

Дрезина трогается с места, проламывает ветхие воротца и мчится в темноту по мокрым рельсам. А позади по-прежнему бегают прожекторные лучи и грохочут пулеметные очереди.

Катится по рельсам в кромешной тьме дрезина, ровно и мощно гудя мотором. Впереди, навалившись на пульт управления, жуя потухшую сигарету, сидит по-турецки Сталкер. Позади Сталкера, прижавшись друг к другу спинами, держась за края узкой платформы, сидят Писатель и Профессор. Профессор придерживает на коленях неуклюжий угловатый рюкзак.

7. В ожидании рассвета

Дрезина замедляет ход. Впереди из тумана выдвигается какое-то полуразрушенное станционное здание.

Дрезина останавливается. Сталкер спрыгивает на шпалы.

Сталкер. Ну вот мы и дома. Прошу.

Писатель. Ф-фу. Наконец-то…

Он тоже слезает с дрезины, за ним спрыгивает Профессор.

Профессор. Тихо как…

Сталкер. Здесь всегда тихо. Здесь некому шуметь. Это самое тихое место на Земле.

Сталкер очень возбужден, ноздри его раздуваются, глаза блестят.

Сталкер. Вы потом увидите. Здесь удивительно красиво… Странно! Цветами почему-то не пахнет… Или я отвык? Вы не чувствуете? Никто?

Писатель. Болотом воняет – это я чувствую…

Сталкер. Нет-нет, это рекой, здесь река близко… (*Показывает в сторону здания.*) А вон там был огромный цветник, Дикобраз его засыпал, затоптал, с землей сровнял, но запах оставался много лет… А вот сейчас я его не чувствую…

Профессор. Зачем?

Сталкер. Что – зачем? Ах, затоптал? Не знаю. Дикобраз был очень странный человек. Я, помню, его тоже спрашивал: зачем? А он мне отвечал: потом сам поймешь. Но я так и не понял. До сих пор не понял… Наверное, он просто ненавидел Зону. Возненавидел ее.

Писатель. Пардон! А кто это такой – Дикобраз? Это фамилия такая?

Сталкер. Нет, это кличка. Он был сталкер. Самый лучший из всех сталкеров. Двадцать лет он водил людей в Зону, и никто ему не сумел помешать. Он был моим учителем, он мне глаза открыл, и звали его тогда не Дикобраз, звали его тогда Мастер… А потом что-то с ним случилось, сломалось что-то в его характере, а может, и не сломалось, а переродилось. Я думаю, он просто поссорился с Зоной. С этого все началось… Ну, ладно, вы тут посидите, а я пройдусь, мне тут надо кое-что…

Он уходит в туман.

Писатель. Куда это его?

Профессор. Не знаю. Наверное, хочет побыть один.

Писатель. Зачем? Тут и втроем как-то неуютно…

Профессор. Свидание с Зоной. Он ведь сталкер.

Писатель. Ну и что же?

Профессор. Настоящий сталкер – это не просто профессия. Это в каком-то смысле призвание.

Писатель. Ну?

Профессор. Всё.

Писатель. Спасибо. Было очень интересно.

Профессор. Перестаньте суетиться. Сядьте и посидите спокойно. Здесь не так уж много мест, где можно посидеть спокойно.

Писатель, зябко поеживаясь, садится на край дрезины. Озирается.

Писатель (*брюзжит*). Удивительно красиво. Туман, и ничего не видно. Ну хорошо, а что там насчет Дикобраза? Что это значит – поссорился с Зоной? Это фигура речи?

Профессор. Не знаю. А Дикобраз кончил очень плохо. В один прекрасный день он дико, безобразно разбогател. Закатывал чудовищные кутежи. Завел гарем. Затеял несколько сумасшедших предприятий. А потом вдруг повесился.

Писатель. Разорился?

Профессор. Нет. Так и повесился посреди своих миллионов, своего гарема и всего прочего.

Писатель. Значит, следует понимать, что он таки дошел до терраски…

Профессор. Наш с вами шеф считает именно так…

Писатель. Значит, терраска таки действительно исполняет желания…

Профессор. Дикобраз разбогател.

Писатель. И повесился…

Из тумана появляется Сталкер.

Сталкер. А цветы снова цветут! Только не пахнут почему-то… Вы извините, что я вас тут бросил, но сейчас идти пока все равно… туман…

Длинный скрежещущий звук прерывает его. Все, даже Сталкер, вздрагивают.

Писатель. Господи, что это?

Сталкер молча прислушивается. Лицо у него напряженное и испуганное.

Профессор (*нерешительно*). А может быть, это все-таки правда, что здесь живут?

Сталкер. Кто?

Профессор. Ну, вы знаете эту легенду… ну, туристы эти, которые стояли здесь в ту ночь, когда возникла Зона…

Сталкер. Нет. В Зоне никого нет и быть не может. Если бы здесь

можно было жить!..

8. Зона

Тумана больше нет. С высоты насыпи открываются просторы Зоны, озаренные зеленым заревом с востока – утренней зарей Зоны.

Сталкер. Я уже говорил с каждым из вас в отдельности, но сейчас хочу еще раз повторить некоторые вещи. Зона требует выполнения определенных правил. Этих правил очень много, и у меня нет возможности вам их изложить. Поэтому для вас существует только одно правило: беспрекословное выполнение всех моих указаний. Беспрекословное! Иногда то, что я вам прикажу, покажется очень странным. Очень прошу вас не спорить. Если вы моих приказов выполнять не будете, я ничего не смогу для вас сделать. До терраски мы не дойдем, а может, даже случится беда. Это понятно? Теперь о порядке следования…

Писатель. А там что такое?

В километре от них в утреннем мареве виднеется бело-серое здание с черными провалами окон и входа.

Сталкер. А там и есть наша терраска. Нам – туда.

Писатель. Так это же рукой подать.

Сталкер. Да. Но рука должна быть очень длинная. У вас такой нет. И у меня тоже.

Он достает из кармана горсть гаек.

Сталкер. Сейчас начнется очень утомительный участок. Поэтому будьте внимательны и не отвлекайтесь. У нас это называется «провешивание дороги».

И начинается работа. Сталкер бросает гайку, внимательно следит за ее полетом, затем посылает к месту ее падения Писателя. Писатель, дойдя до этого места, останавливается, после чего к нему подтягивается Профессор, а следом за ним и Сталкер. Отсюда Сталкер кидает новую гайку, посылает к ней Профессора, и так далее они движутся на манер зеленой гусеницы под названием «землемер».

9. Терраска, вид с фасада

Они стоят у растрескавшейся бетонной плиты шагах в пятидесяти от угрюмого бело-серого здания с ободранными стенами, и отчетливо виден ведущий в черноту широкий, как ворота, прямоугольный вход, и обвалившиеся цементные ступени, ведущие к нему, и – на высоте человеческого роста, там, где кончается верхняя ступенька, – площадка, заросшая разноцветными мхами: терраска, заколдованное место, где исполняются желания. Всего в пятидесяти шагах. Может быть, даже меньше.

Профессор (*вполголоса*). Это она?
Сталкер. Да. Близко, правда? Камешек можно добросить, верно?

Профессор, не спускающий с терраски взгляд, с недоумением поворачивается к Сталкеру. Он же видит, что до терраски рукой подать, ему кажется, что он уже пришел, он уже начинает стягивать со спины рюкзак, но что-то в интонации Сталкера его настораживает.

Сталкер. Я всегда тут останавливаюсь. Это очень поучительно. Смотрите: оттуда (*он показывает за спину*) сюда попасть можно. Например, тем путем, которым мы шли. Но вот оттуда (*он показывает на терраску*) сюда вы не попадете. Никто никогда на обратном пути сюда не возвращался. Это как время – оно всегда течет в одну сторону: оттуда сюда. (*Показывает руками.*) Теперь слушайте дальше. Расстояние здесь кажется метров пятьдесят, но прямо пройти невозможно, надо идти далеко в обход. А прямо идет дорога чистых душ. Так ее называют сталкеры. А поскольку чистых душ в мире немного, то никто еще пока этой дорогой не проходил…

Профессор. То есть, вы хотите сказать, что физическое расстояние отсюда до терраски больше пятидесяти метров?

Сталкер. Ну да! Много часов обходного пути!

Профессор. Нет, я не об этом… Я говорю о физическом расстоянии. Если я брошу сейчас камешек, долетит он до терраски?

Сталкер. Нет, что вы! Здесь ничего нельзя бросать! Здесь можно только смотреть.

Профессор (*нетерпеливо*). Подождите. Я говорю о мысленном эксперименте. Долетит отсюда камень до этих вот ступенек?

Сталкер. Вы не понимаете. Долетит отсюда камень в завтрашний

день?

Профессор. Вы хотите сказать, что здесь нет пространства?

Сталкер. (*пожимает плечами*). Откуда я знаю? Я знаю, что это – дорога чистых душ. Я знаю, что здесь ничего нельзя бросать… Я знаю, что нам с вами здесь не пройти. Физика здесь ни при чем. И геометрия здесь ни при чем… Здесь чудо!

Профессор, не говоря ни слова, снова взваливает на себя рюкзак и угрюмо защелкивает карабин.

Писатель. А откуда вы все это знаете? Кто-нибудь пробовал?

Сталкер. Пробовали.

Писатель. Ну и что?

Сталкер. Ну и шли обходной дорогой. Как мы сейчас пойдем.

Писатель. Много часов?

Сталкер. Много часов. И путь трудный.

Писатель. Ну вот что. Я бы предложил идти прямо.

Сталкер. Это дорога чистых душ.

Писатель. Ну, у меня душа не грязнее, чем у прочих.

Профессор (*ожесточенно*). Не валяйте дурака.

Писатель. Погодите, Профессор… Послушайте, Мастер, башку мне там не оторвет?

Сталкер. Это дорога чистых душ.

Писатель. Ну?

Сталкер. Чистые души не задают таких вопросов.

Писатель. А, ч-черт, с вашими иносказаниями! Ну бросьте вашу гаечку, я посмотрю, что там.

Сталкер. Туда ничего нельзя бросать…

Профессор. Перестаньте валять дурака!

Писатель. Это вы перестаньте валять дурака! Пятьдесят шагов пройти – и мы на месте! Травка, солнышко, все видно! Вы что, не понимаете, что он цену набивает? (*Сталкеру.*) Ну признайтесь, шеф, я же угадал!

Сталкер. Нет. Не угадали.

Писатель нерешительно мерит взглядом расстояние до терраски, а затем быстро делает несколько шагов вниз по склону. Профессор пытается схватить его за руку, но Сталкер его останавливает.

Сталкер. Пусть. Это очень поучительно. Я видел это только один раз.

Писатель почти бегом идет по склону к терраске, потом шаги его замедляются, ноги начинают заплетаться, он хватается обеими руками за голову, описывает замысловатую кривую и, шатаясь, как пьяный, возвращается обратно и садится на обломок бетона. Профессор встревоженно наклоняется над ним.

Профессор. Что с вами? Целы?

Писатель. Цел? Не думаю. Я весь изранен. Обругает какая-нибудь сволочь – рана. Другая сволочь похвалит – еще рана. Вы ведь хотите только одного – жрать! И вам все равно, что жрать. Ведь вы же все поголовно грамотные, и у каждого сенсорное голодание. Душу вложишь, сердце свое вложишь – жрете и душу, и сердце. Мерзость душевную вам вывалишь – жрете мерзость. И все клубитесь, клубитесь вокруг – журналисты, редакторы, критики, бабы какие-то непрерывные… и все требуют: давай, давай!..

Профессор (*ошеломленно*). Послушайте, Писатель…

Писатель. Да какой я, к черту, писатель! Я же ненавижу писать! Это же для меня мука, болезненное, постыдное занятие, что-то вроде выдавливания фурункула… Я ведь раньше думал, что вы становитесь лучше, я пишу, а вы становитесь от этого лучше. Но ведь я никому не нужен, у меня только одна вилла за душой. С финской баней. Я сдохну, и через два дня вы меня забудете и начнете жрать кого-нибудь другого. Я пытался переделать вас, а переделали-то вы меня – по своему образу и подобию…

Он замолкает и роняет голову на руки. Сталкер, с жадностью слушавший его, переводит дух и успокоительно кивает Профессору.

Сталкер. Ничего, не беспокойтесь, уже все. Сейчас мы пойдем в обход.

10. В тумане

Профессор, Писатель и Сталкер по колено в воде бредут по подземному тоннелю. Клубы тумана, озаренные серыми отсветами недалекого выхода, ползут над водой. Профессор и Писатель страшно утомлены, они спотыкаются и то и дело падают.

Сталкер. Ну, еще немного… еще чуть-чуть, выход уже виден… Сейчас все кончится…

Они выбираются из прямоугольной ямы на «Опасную площадку». Сталкер озабоченно озирается.

Сталкер. Ну, кажется, все в порядке… Рукомойник, гайка… Можно передохнуть немного…

Профессор стягивает с плеч рюкзак и устало усаживается на него. Писатель со стоном облегчения валится рядом. Один Сталкер остается стоять. Он озирается, задрав голову, словно бы принюхиваясь. Над «Опасной площадкой» сгущается туман.

Сталкер. Туман… Ах, как неудачно! Ну ничего… Вы посидите, отдохните, я тут схожу… А вы сидите на месте, особенно не вздумайте подходить к той двери… (*показывает на дверной проем, в котором раскачивается на шнурке гайка*).

Писатель (*вяло*). А что там такое?

Сталкер. Туда нельзя. Видите, здесь Дикобраз специально повесил гайку… Туда нельзя.

Писатель (*ложится на спину, закинув руки за голову*). Ну, нельзя – и слава богу…

Сталкер уходит.

Писатель. Что он нас все пугает? Странный какой-то человечек… По-моему, он похож на паука. Он смотрит и слушает, как будто тебя высасывает. И пугает, пугает, пугает… Мы тут целый день уже ползаем на карачках, и ничего опасного, кроме вонючей вони, я не видел…

Профессор. Во-первых, не целый день, а всего-навсего два часа… А во-вторых, благодарите бога, что вы ничего не видели. Здесь всё есть, на все вкусы: и электрические разряды, и жаровни, когда воздух вокруг ни с того ни с сего раскаляется, как в домне… Пугает! Вам что – так уж понравилось на дороге чистых душ?

Писатель. Нет. Совсем не понравилось. Но это другое дело…

Профессор. Я же говорю: здесь есть всё, на все вкусы. Кому что нравится.

Из тумана раздается голос Сталкера.

Сталкер. Эй, Профессор! Писатель! Идите-ка сюда!..

Писатель. О господи! Опять будет лекцию читать про свою Зону…

Они поднимаются и нерешительно идут в туман.

Сталкер. Сюда, сюда! Я здесь! Писатель, давайте руку… Понимаете, положение немножко осложнилось… Обычно я иду этой дорогой, но сейчас, во-первых, туман, а во-вторых, видите, вода… Обычно этого нет, обычно здесь радуга… две, три, четыре радуги… Ослепительное зрелище… Пройдемте-ка дальше… Осторожно, держитесь друг за друга! Здесь под ногами консервные банки, это обычное место привала… Вон там наверху очень забавные надписи… Кто-то когда-то оставил, не знаю, давно… Теперь сюда… Здесь должна быть моя палка… Ага, вот она!

Писатель. Какая-нибудь знаменитая палка?

Сталкер. Нет, обычная палка. Можете убедиться.

Писатель. Спасибо, я верю…

Сталкер. Профессор, вы держитесь за Писателя? Возьмите его за полу, так удобнее… А вы держитесь за меня, да покрепче, не стесняйтесь… На самом деле нам очень повезло: если бы мы в таком тумане вышли на «Опасную площадку», то могли бы угодить прямо под гайку, такие случаи бывали…

Все это время они движутся через волны густого тумана. Сталкер, не переставая говорить, ощупывает перед собой землю палкой и все время поводит головой справа налево, как бы прислушиваясь и принюхиваясь. Шум воды становится все мощнее.

Сталкер. (*удовлетворенно*). Очень удачно мы проскочили. Я так и знал, что водопад усилится… Сейчас будет Сухой тоннель, и туман нам больше не страшен…

И тут Профессор вдруг останавливается.

Профессор. Подождите! Мы что – уже идем?

Сталкер. Да, конечно… А что случилось?

Профессор. Позвольте! Я же понял, что вы хотите нам что-то сказать! А как же мой рюкзак?

Сталкер. А что случилось с рюкзаком?

Профессор. То есть как что случилось? Я же не знал! Я его снял! Я его

там оставил!

Писатель киснет от смеха.

Профессор. Перестаньте ржать, идиот! Надо вернуться!

Сталкер. Куда вернуться? Там же теперь вода, вы же видели…

Профессор. Какая вода? Мне нужен мой рюкзак!

Писатель (*задыхаясь от смеха*). Ему нужно срочно сменить подштанники!

Профессор. Молчите, идиот! (*Его трясет.*) Слушайте, мне надо обязательно вернуться за рюкзаком!

Сталкер. (*растерянно*). Но это же невозможно! Там водопад, он вырос и продолжает расти… И я не знаю, сколько времени он будет расти…

Профессор со всхлипом опускается на землю. Писатель наконец понимает, что смешного здесь – чуть.

Писатель. Господи, да что у вас там такое было? Золото, брильянты?

Сталкер. Успокойтесь, Профессор, вы же идете на терраску! Она вам все вернет!

Вместо ответа Профессор разражается истерическим хохотом.

Профессор. Да, это было бы ловко! Это была бы штука! Ну надо же, ну надо же! Значит, не судьба? Значит, они правы, а я нет? Слушайте, туда точно нельзя вернуться?

Сталкер. Мы отрезаны водопадом, нас просто смоет…

Профессор. Ну и плевать. Значит, так и должно было случиться. (*Вскакивает.*) Пошли. Пошли, нечего тут сидеть. Куда вы там хотели идти? В тоннель? Прекрасно! Где он, ваш тоннель? Голубчик, теперь уж позвольте, я пойду впереди. Теперь я больше ни на что не годен. Теперь уже все равно!..

Сталкер. (*внимательно поглядев на него*). Успокойтесь, Профессор. Возьмитесь за полу Писателя и держитесь крепче… В тоннеле я опять пущу вас первым.

И они идут дальше. Сталкер молчит. Испуганно молчит Писатель. Только Профессор время от времени разражается судорожным хохотом и, мотая головой, приговаривает: «Ну и ну! Ай да я!»

Потом впереди в тумане возникает темное пятно, и они вступают по

колено в бегучую воду под гулкие своды нового тоннеля. Туман здесь гораздо реже, в сероватом свете поблескивают бетонные стены, по которым струится влага. Они бредут по воде, и несколько оправившийся Писатель бормочет: «Ничего себе – сухой тоннель!», Сталкер отвечает ему: «Это шутка. Обычно здесь по пояс, даже выше».

Профессор, который идет впереди, вдруг останавливается.

Профессор. Там свет…

Сталкер. Свет? Это выход… Подождите, пропустите меня вперед!

Они осторожно приближаются к выходу, выбираются из тоннеля и останавливаются в остолбенении.

Они снова на «Опасной площадке», и стоит, покосившись, рюкзак Профессора. Сначала они не понимают, куда попали.

Писатель. Смотрите-ка, рюкзак!

Сталкер. Подождите, как же так? Рукомойник… Гайка… Это же «Опасная площадка»! (*Торжественно.*) Мы прошли под гайкой! Она вернула нас и пропустила под гайкой!

Профессор на негнущихся ногах подходит к рюкзаку, ощупывает его, затем садится и кладет себе на колени, держа обеими руками.

11. Отдых после тумана

Сталкер, Писатель и Профессор расположились на отдых. По-прежнему туман.

Сталкер. Вы представить себе не можете, как все это получилось хорошо. Вы ей понравились, теперь я это знаю. Наверное, вы – хорошие люди. Я ведь никогда не знаю заранее, угадал я или нет. Тех ли я людей выбрал. Наверное, это вообще нельзя угадать, и все выясняется только здесь, когда уже поздно. У меня иногда руки опускаются из-за своего бессилия, от своего неумения разобраться в человеке… Но Зона не ошибается. Никогда. Смотрите, как мягко она с вами обошлась. Пропустила через водопад. Повернула – осторожно повернула! – не ушибла, не испугала, просто вывела нас обратно, и где вывела? – под гайкой, откуда вообще никогда никто не возвращался… а мы невредимы…

Писатель. Мы-то ладно! Главное – подштанники профессорские целы

остались…

Профессор. Послушайте, заткнитесь. Не суйте вы свой нос в дела, в которых вы ничего не понимаете.

Писатель. А чего здесь такого понимать? Подумаешь – психологические бездны… В институте мы на плохом счету, средств на экспедицию нам не дают, набьем-ка мы наш рюкзак всякими там манометрами-дерьмометрами, проникнем в Зону нелегально и все здешние чудеса проверим алгеброй… Никто в мире ничего про Зону не знает, а тут выходит наш Профессор весь в белом и объявляет: мене, текел, фарес… И все рты раскрывают и хором кричат: «Нобелевку ему! Две!»

Профессор. Писателишка вы задрипанный, трепло бездарное… Вам бы стены в сортирах расписывать, психолог доморощенный…

Писатель. Вяло. Вя-ло! Не умеете. Не знаете вы, как это делается. А потом, психология – это не моя сфера. Мое дело – улавливать социальные тенденции повышенным чутьем художника. Вы, ученые, эти тенденции создаете. Не спорю. Но сами вы в них ничего не понимаете.

Профессор. Чего же это мы, например, не понимаем?

Писатель. Главного не понимаете. Это раньше будущее было только повторением настоящего. Великие перемены маячили где-то за далекими горизонтами. А теперь вашими трудами нет уже никакого будущего. Оно слилось с настоящим. Завтрашний день здесь, рядом, он держит нас за горло, а вы этого не понимаете…

Профессор. Ну, хорошо. Я иду за нобелевкой. А вы зачем? Хотите подарить человечеству сокровища своего покупного вдохновенья?

Писатель. Кашлял я на человечество. Во всем вашем человечестве меня интересует только один человек – вот этот. (*Тычет себя в грудь пальцем.*) А в этом человеке меня интересует только одно: стоит он чего-нибудь или он такое же дерьмо, как и все прочие.

Профессор. Ну и что будет, если узнаете вы, что дерьмо?

Писатель. Знаете что, господин Эйнштейн? Занимайтесь своей наукой, занимайтесь своим человечеством. Но только человечеством минус я. И вообще я не желаю с вами спорить. В спорах рождается истина, будь она проклята. (*Он поворачивается к Сталкеру.*) Вот, кстати, шеф, вы ведь приводили сюда множество людей…

Сталкер. Не так их было много, как мне бы хотелось…

Писатель. Ну, все равно, не в этом дело… Зачем они шли сюда? Чего они хотели?

Сталкер. Счастья…

Писатель. Это-то понятно, за несчастьем никто не пойдет… Но

конкретно, какого именно счастья?

Сталкер. Я не могу об этом говорить. По-моему, это было бы нехорошо, если бы я рассказывал о том, что я знаю… Это ведь не касается ни вас, ни меня… Да и знаю я очень мало. Люди не любят говорить о сокровенном…

Писатель. Да, пожалуй, вы правы… Я глупость спросил. Но что же это получается? Значит, вы на своем веку повидали множество счастливых людей… Я вот, например, не видал за всю свою жизнь ни одного…

Сталкер. А я тоже. Они возвращаются с терраски, я веду их назад, и больше мы никогда не встречаемся… Ведь желания исполняются не мгновенно… Наверное, дни проходят, прежде чем каждый получит свое…

Писатель. А сами вы… никогда?

Сталкер. А я и так счастлив. Больше мне ничего не надо.

Все молчат.

Писатель. Нет, все это как-то непонятно. Есть во всем этом какое-то недоразумение… Желания, счастье… Ну, предположим, вступлю я на эту терраску и вернусь завтра на свою виллу самым гениальным писателем нашего времени. Я же знаю, чем это кончится. Все, что я с этого момента напишу, будет казаться мне особенно скверным и ни к черту не годным. Критики примутся рвать меня в клочки, как это они всегда делали со всеми гениями. А то, что я гений, выяснится лет через сто. Ничего себе счастье! Значит, нельзя желать гениальности? А ради чего еще идти на терраску? Как вы считаете, Профессор?

Никто ему не отвечает.

12. Пробуждение

Сталкер открывает глаза. Некоторое время лежит, прислушиваясь. Тумана как не бывало. Сталкер бесшумно поднимается, мягко ступая, подходит к спящим спутникам и останавливается над ними. Какое-то время он внимательно разглядывает их по очереди. Лицо у него сосредоточенное, взгляд оценивающий.

Он явно выбирает одного из двоих и явно не знает, на ком остановить выбор. На лице его появляется выражение растерянности. И тогда он начинает молиться, как давеча в ванной. Губы его шевелятся, но слов почти не слышно. Можно расслышать только: «…Сумею быть жестоким

с добрыми… пусть я не ошибусь, пусть я выберу правильно…»

Затем он проводит по лицу ладонью и, наклонившись над спящими, говорит негромко: «Вставайте, пора»…

13. Испытание

Профессор, за ним Писатель и Сталкер выбираются, изогнувшись, из трубы и останавливаются у края узкого прямого рва, выложенного бетоном. Перед ними обширный мрачный зал – бетонные плиты пола, бетонные стены, обшарпанные бетонные колонны.

Сталкер. Дальше нам предстоит пройти через этот зал. Но здесь я не могу приказывать. Первым должен пойти доброволец. Поэтому, пожалуйста, решите сами, кто из вас пойдет.

Писатель (*раздраженно*). Что это за военные игры? Вот вы сами и идите. В конце концов, вам за это деньги платят…

Профессор. Перестаньте!

Писатель. Почему – перестаньте? Плевать я хотел на эти психологические этюды! Почему это мы с вами должны определять смертника? Сам я идти не хочу, но и вас посылать не намерен!

Профессор. Да перестаньте вы. Я пойду.

Писатель. Нет, вы не пойдете! Я не нуждаюсь в благотворительности! Пусть он идет!

Сталкер. Я не могу идти. Это бессмысленно. И бесполезно.

Писатель. Ах, бесполезно? Откуда вы знаете? Черт бы побрал ваше надутое смиренное всезнание! (*Профессору.*) Вы посмотрите на него! Ему же удовольствие доставляет – ставить нас в идиотское положение!

Сталкер. (*терпеливо*). Поймите: если со мной что-нибудь случится, то вы здесь погибнете оба. Поэтому мне идти бесполезно.

Профессор. Да давайте я пойду, что вы все спорите?

Писатель. А вы перестаньте строить из себя героя! Он, видите ли, пойдет, а мне всю жизнь сидеть в дерьме от срама… Тогда извольте жребий! Пусть жребий решит!

Профессор. Да не надо никакого жребия. Со мной ничего не случится, я уверен…

Писатель. В чем вы уверены?

Профессор. Я уверен, что я пройду через этот зал и со мной ничего не случится. Все дело вот в этом моем горбу… (*Он хлопает ладонью по рюкзаку.*) Зона совершенно явно хочет, чтобы я донес его до самой

терраски. А значит – со мной ничего не случится.

Писатель. Господи, ну и логика! Вы что – свихнулись?

Профессор. Нисколько. Логика, конечно, странная. Но ведь мы имеем дело с чудом… Само чудо вне логики, но внутри чуда есть логика, хотя и своя… Давайте будем логичны, Писатель!

Писатель открывает и закрывает рот, а Профессор перешагивает через ров и неторопливо движется по залу. Шаг, второй, третий… и вдруг пронзительный крик: «Стой!»

Профессор застывает на месте. Сталкер смотрит на Писателя, Писатель смотрит на Сталкера.

Сталкер. Зачем вы это сделали?

Писатель. Я?

Сталкер. Здесь нельзя кричать.

Писатель. Я не кричал!

Профессор. Мне вернуться?

Сталкер. (*помолчав*). Да, возвращайтесь. Все ясно.

Профессор возвращается.

Профессор. Что случилось? Зачем вы меня остановили?

Сталкер. Это не я вас остановил.

Профессор поворачивается к Писателю. Тот молча мотает головой. Затем вдруг ухмыляется и грозит Профессору пальцем.

Писатель. Ай да химик! Сам себе крикнул, сам себя остановил и вернулся героем…

Сталкер. Так. Здесь нам делать больше нечего. Идите за мной.

Они идут за ним некоторое время молча, затем Профессор говорит Писателю вполголоса: «Вы очень хорошо все объяснили, но вы знаете, я ведь не кричал…»

14. Коридорчик

Они стоят перед прямоугольным жерлом коридора, черного, закопченного, и под ногами у них черная обугленная земля.

Писатель. Это что же – туда идти?
Сталкер. Да, к сожалению. Другого пути нет.

Он очень напряжен и несчастен.

Писатель. Как-то там… тускло, а, Профессор?

Профессор подавленно молчит.

Писатель. Ну, что, может, и здесь добровольцы найдутся? Профессор, вы там что-то говорили насчет логики чуда…
Сталкер. Не надо. Будете тащить жребий. Вы ведь предлагали тащить жребий?
Писатель. Здесь я бы предпочел какого-нибудь добровольца.

Сталкер достает спички, отвернувшись, что-то делает с ними, потом выставляет зажатые между пальцами две спичечные головки.

Сталкер. Пойдет длинная. Тащите, Писатель.

Писатель вытаскивает спичку.

Сталкер. Длинная. Сожалею.

Он отбрасывает оставшуюся спичку далеко в кучу мусора. Писатель несколько секунд смотрит на него, затем поворачивается к входу в коридор. Вглядывается, гоняя свою спичку из одного угла рта в другой.

Писатель. Вы бы хоть гайку туда бросили, проверили бы…
Сталкер. Да, конечно. Пожалуйста.

Он торопливо вытаскивает гайку, швыряет ее в черное жерло. Слышно, как она прыгает там по цементному полу.

Писатель. Ну?
Сталкер. Могу бросить еще одну. Хотите?
Писатель. Эх, начальник!

Он решительно шагает к входу в коридор, на ходу вытаскивая из

кармана маленький пистолет. Сталкер прыжком нагоняет его и хватает за плечо.

Сталкер. Стойте! Что вы делаете?
Писатель. А что вы мне еще прикажете делать?
Сталкер. Отдайте.
Писатель. Какого черта?
Сталкер. В Зоне нельзя с оружием! Вы погибнете! Если у вас будет оружие, вы здесь не пройдете! Никогда, ни за что!
Писатель. А если не будет?
Сталкер. А если не будет – может быть… Я очень прошу вас – отдайте. Ну в кого вы там будете стрелять? В судьбу?
Писатель. И то верно…

Он отдает пистолет Сталкеру, тот брезгливо берет его двумя пальцами и осторожно кладет в сторонку.

Сталкер. Ну идите же, идите, пожалуйста.

Писатель засовывает руки в карманы и, ернически посвистывая, поминутно оборачиваясь и подмигивая остекленелым от ужаса глазом, входит в коридор.

Сталкер хватает Профессора за плечо и силой оттаскивает его в сторону с полосы обугленной земли. Замерев, они слушают стук, гул, лязг и прерывающееся посвистывание, доносящиеся из коридора. Потом оттуда раздается пронзительный скрип открываемой двери.

Сталкер. Скорее! За мной!

Он бросается в коридор, и Профессор, придерживая на носу очки, бежит следом.

15. Комната с телефоном

Насквозь пропыленная комната, заставленная старинным мебельным хламом. У входа на стене висит обросший пылью телефон. Профессор, стащив со спины рюкзак, тяжело опускается в отвратительно скрипящее ободранное кресло под телефоном. Писатель с руками в карманах, присев на край замызганного стола, усмехаясь, наблюдает за Сталкером,

который всячески суетится вокруг него – достает из полуразвалившегося комода бутылку, стакан, тщательно все это протирает, откупоривает, наливает, предлагает…

Сталкер. Ах, как все хорошо получилось – просто чудо! Вы сядьте, сядьте поудобнее. Вон еще одно кресло. Ничего, все мы перенервничали, но теперь все позади… Выпейте, выпейте, пожалуйста, теперь можно… Прекрасный вы мой человек, как же я за вас рад! Сомневался, сомневался, каюсь, но вы такую проверку выдержали! Это же страшное место, самое страшное! У нас его зовут мясорубкой, но это хуже любой мясорубки! Сколько людей здесь погибло! И брат Дикобраза здесь погиб, синеглазый поэт… Такой был милый мальчишка, кто бы мог подумать! А у нас так прекрасно все получилось! Это ведь не часто, ох как не часто бывает, чтобы все дошли и все вернулись…

Писатель пьет, глядит на него. Молчит, потом вдруг взрывается.

Писатель. Да что вы все юлите! Что вы суетитесь? Сядьте, смотреть на вас тошно!

Сталкер послушно садится в углу. Улыбается сконфуженно и заискивающе.

Писатель. Черт бы вас побрал с вашей болтовней! Рад он, видите ли, что все хорошо получилось! Я, видите ли, ему прекрасный человек! Вы думаете, я не видел, как вы мне две длинные спички подсунули? Судьба! Зона! А сам жульничает, как последняя дешевка…

Сталкер. Нет-нет! Вы не понимаете…

Писатель. Опять я не понимаю! Опять психологические бездны! (*Профессору.*) Вы меня извините, Профессор, я ничего плохого не хочу о вас сказать, но вот этот поганый гриб почему-то именно вас выбрал своим любимчиком, а меня, как существо второго сорта, сунул, видите ли, в мясорубку! (*Сталкеру.*) Да какое вы имеете право, сморчок поганый, выбирать, кому жить и кому умереть?

Сталкер. Я ничего не выбираю, поверьте! Вы сами выбрали!

Писатель. Что я сам выбрал? Одну длинную спичку из двух длинных?

Сталкер. Спички – это пустяк, это результат! Вы сами выбрали еще там, в зале, когда отказались идти, когда требовали жребия, когда позволили идти Профессору!

Писатель. Ну, знаете!..

Сталкер. Я никакая не судьба, я только рука судьбы! Я никогда никого не выбираю, я всегда боюсь ошибиться. Вы не можете себе представить, как это страшно… Но кто-то же должен идти первым!

В этот момент гремит телефонный звонок. Все вздрагивают, испуганно глядят на телефон. Снова гремит звонок. Профессор и Писатель вопросительно смотрят на Сталкера. Тот явно не знает, что делать.

Профессор поднимается и берет трубку.

Профессор. Да!.. Нет, это не клиника. (*Он вешает трубку, медлит несколько секунд и вдруг снова берет трубку и набирает номер.*)

Женский голос. Вас слушают.

Профессор. Девятую лабораторию, пожалуйста.

Женский голос. Одну минуту…

Мужской голос. Слушаю.

Профессор. Надеюсь, не помешал?

Мужской голос. Что тебе надо?

Профессор. Всего несколько слов. Вы спрятали, я нашел. Старое здание, четвертый бункер, справа под стеной. Ты меня слышишь?

Мужской голос. Я немедленно сообщаю в корпус безопасности.

Профессор. Можешь. Можешь сообщать, можешь писать на меня свои доносы, можешь натравливать на меня моих же сотрудников… Только поздно. Я уже здесь. Я уже в двух шагах. Ты меня слышишь?

Мужской голос. Ты понимаешь, что это конец тебе как ученому?

Профессор. Ну так радуйся!

Мужской голос. Ты понимаешь, что будет? Ты понимаешь, что произойдет, если ты осмелишься?

Профессор. Только не надо меня пугать. Я всю жизнь чего-то боялся. Я даже тебя боялся. Но сейчас мне совсем не страшно! Уверяю тебя!

Мужской голос. Боже мой! Ты ведь даже не Герострат… Ты… Тебе просто всегда хотелось мне нагадить, и теперь ты в восторге от того, что это тебе наконец удалось… Да ты вспомни, черт тебя подери, с чего все началось! А сейчас ты думаешь только обо мне и о себе! А как же люди, о которых мы говорили? Как же миллионы и миллионы ничего не ведающих душ? Ладно, иди, иди! Совершай свою гнусность! Но я тебе все-таки напомню. Ты – убийца. Новые поколения придут за нами, и каждое будет тебя проклинать за то, что ты уничтожил их надежды. Сейчас тебе

наплевать, сейчас ты на коне… Не смей вешать трубку! Тюрьма – не самое страшное, что тебя ожидает. Ты сам себе никогда не простишь, и я знаю… да я просто вижу, как ты висишь над тюремной парашей на собственных подтяжках!..

Профессор бросает трубку.

Писатель. Что это вы там такое затеяли, а, Профессор?

Профессор. А вы представляете себе, что будет, когда в эту комнату поверят все? И когда они все кинутся сюда… Ведь это только вопрос времени, не сегодня, так завтра… И не десятки – тысячи! Все эти несостоявшиеся императоры, великие инквизиторы, фюреры всех мастей. Все эти благодетели рода человеческого! И не за деньгами они сюда кинутся, не за вдохновеньем – мир переделывать!.. По своему отвратительному образу и подобию!

Сталкер. (*торопливо*). Нет-нет! Я таких сюда не беру! Я же понимаю!

Профессор. Да что вы можете знать, смешной вы человек! Да и не один вы на свете сталкер! И не все сталкеры такие, как вы! И никто из сталкеров не знает, с чем сюда приходят и с чем отсюда уходят люди, которых они ведут… Вы же сами признались, что не знаете! А уровень мотивации преступлений падает! Из-за медяка могут зарезать человека! Может быть, это ваша работа? А военные перевороты, «гориллы» у власти, мафия в правительствах – может быть, это тоже ваши клиенты! Откуда вы можете это знать? Ослепляющие лазеры, чудовищные сверхбактерии, вся эта угрюмая мерзость, запрятанная пока в бронированных сейфах…

Писатель. Да прекратите вы эту социологическую истерику! Неужели вы сами способны поверить в эти сказки?

Профессор. В страшные сказки я верю! В добрые – нет. А в страшные – сколько угодно!

Писатель. Бросьте, бросьте! Что такое фюрер, в конце концов? Это же всего-навсего несостоявшийся живописец, да еще импотент вдобавок… Неужели вы думаете, что, придя на терраску, он получил бы свое мировое господство? Чушь! Он получил бы прекрасную потенцию, ну и, может быть, умение малевать пейзажи лучше, чем у него получалось прежде… Не может быть у отдельного человека такой любви или такой ненависти, которые касались бы всего человечества! Хороший куш на бирже, женщина, ну месть какая-нибудь – начальника своего под машину загнать… Это еще туда-сюда, а власть над миром! Справедливое общество! Царство божие на земле! – это ведь не желания, это слова, идеология,

лозунги…

Сталкер. Вот-вот! Правильно. Счастье – это очень личное. Не может быть счастья за счет несчастья других…

Писатель (*не слушая*). Вот я совершенно ясно вижу, что вы замыслили сокрушить человечество каким-то невообразимым благодеянием. Но я совершенно спокоен! Спокоен за вас, за себя и уж тем более за человечество. Ничего у вас не выйдет. Ну, в лучшем случае получите вы свою нобелевку, а скорее всего, и нобелевки вам не будет, а будет вам что-нибудь совсем уж несообразное, о чем вы вроде бы и думать-то не думаете… Это же закон жизни! Мечтаешь об одном, а получаешь совсем-совсем другое.

Он замолкает, отдуваясь.

Сталкер. (*робко*). Может быть, пойдем на терраску? Скоро вечер, темно будет возвращаться…

Профессор. Да, пора кончать это дело.

16. Терраска

И вот они стоят в широком, как ворота, дверном проеме недалеко от края заросшей мхами терраски, а дальше за терраской – залитый вечерним солнцем зеленый пейзаж Зоны, и видна бетонная плита, у которой они топтались утром.

Профессор опускает к ногам рюкзак. Писатель делает несколько шагов к терраске, но Сталкер движением руки останавливает его.

Сталкер. (*мягко*). Одну минуточку, не надо так спешить.

Писатель. А я и не спешу никуда.

Сталкер. Да-да, спешить не надо. Позвольте мне сначала сказать вам несколько слов. (*Прокашливается в волнении.*) Друзья мои! Вы знаете, идти сюда нам было нелегко. Но мы все вели себя хорошо. Мы себя правильно вели. Именно поэтому мы благополучно миновали все опасности и теперь стоим на этом пороге. Я сделал для вас все, что я мог… все, что было в моих силах. Я очень рад за вас. Вы – добрые, честные, хорошие люди, и я бесконечно рад, что выбрал именно вас и не ошибся в выборе. Теперь слово за вами. Я прошу вас помнить, что Зона выполнит только самое заветное ваше желание, самое искреннее, самое глубокое. Самое выстраданное. Поэтому отнеситесь к предстоящему со всей серьезностью. Не надо

шутить, не надо быть грубым, вообще не надо ничего показного. Никакие слова вам не помогут. Вам ничего не надо говорить. Вам нужно просто сосредоточиться и вспоминать свою жизнь. Когда человек вспоминает свою жизнь, он становится добрее. Вам нужно быть очень добрыми сейчас. И тогда счастье, которое вы обретете, не станет источником несчастья для других. Вот и все, что я хотел вам сказать. А теперь – идите. Кто хочет первым? Вы?

Писатель. Я? Нет. Не хочу.

Сталкер. Понимаю. Это очень непросто. Но вы не беспокойтесь, это пройдет…

Писатель. Вряд ли это пройдет. Во-первых, если я стану вспоминать свою жизнь, вряд ли я стану добрее… А потом, разве вы не чувствуете, как все это срамно? Клянчить, вымаливать, сопли распускать, унижаться…

Сталкер. Ну, ведь это не надо делать сразу… Вы успокойтесь, это пройдет. Вы просто еще не готовы. Это бывает… довольно часто… (*Профессору.*) Может быть, вы?

Профессор сидит на корточках и расшнуровывает рюкзак. Обнажается массивный металлический цилиндр.

Писатель. Господа! Перед вами новое гениальное изобретение! Прибор для измерения параметров чуда! Чудомер!

Профессор (*не поднимая головы*). Нет. Это атомная мина.

Пауза. *Сталкер ничего не понял. Писатель думает, что это шутка.*

Профессор. Двадцать килотонн.

Писатель (*глупо*). З-зачем?

Профессор. Теперь я уже и сам не знаю – зачем. Я могу объяснить, зачем мы ее собрали. Мы решили тогда, что Зона, если она попадет в дурные руки, способна принести человечеству неисчислимые беды. Это казалось таким очевидным… столько примеров… А потом их осенило, что Зона – это чудо и что чудо нельзя убивать, оно неповторимо. Я не согласился, и мы поссорились. Они ее спрятали от меня… в четвертом бункере котельной. Они думали, что я не найду. А я нашел. Здесь все очень просто: надо набрать четыре цифры, и через сутки Зоны не станет…

Сталкер. (*в ужасе*). Вы… вы хотите…

Профессор. Ничего я не хочу. Ведь я же не идиот, не маньяк. Я же понимаю: нельзя совершать необратимые поступки. Чудо неповторимо. Мы

ничего не успели узнать про Зону. Но я боюсь опоздать! Зона – это тоже бомба – и пострашнее всех существующих… Может быть, она взорвет этот мир, и я не знаю – когда…

Сталкер кидается к Профессору и вцепляется в мину. Профессор тоже вцепляется в мину, тогда Сталкер с визгом принимается неумело, по-бабски, его избивать, валит, царапает, пинает коленками. Профессор почти не сопротивляется. Набегает Писатель, отрывает Сталкера от Профессора, бьет его – расчетливо, профессионально, и после каждого удара Сталкер летит на землю, но каждый раз, как заведенный, вскакивает и слепо бросается к Профессору. В конце концов Писатель скручивает Сталкеру руки и приводит его в относительную неподвижность.

Писатель. Ишь ты, хорек вонючий… задело-таки тебя за живое… смиренная крыса… А ну, стой смирно!

Сталкер. (*всхлипывая*). Вы подумайте… Вы подумайте… Почему вы меня?.. Он же хочет все это уничтожить… счастье, надежду… Он ведь и вашу надежду хочет уничтожить… Мне помогите! Мне!

Писатель отшвыривает его в угол. Сталкер оглушен. Он еле жив, но продолжает лихорадочно бормотать.

Сталкер. Ведь в этом мире у людей больше ничего не осталось… Только этот маленький родничок… Только сюда можно прийти, когда надеяться больше не на что… Неужели вы хотите этот родничок засыпать? С чем же человек тогда останется? С чем же вы тогда останетесь? Ведь вы же сами сюда пришли!..

Писатель. Молчи, лицемер! Перестань врать! Я же вижу тебя насквозь! Плевать ты хотел на человеческое счастье! Ты же себе бизнес сделал на наших надеждах! И не в деньгах даже дело… Ты же здесь наслаждаешься, ты же здесь царь и бог, ты, мелкая лицемерная крыса, решаешь, кому здесь жить, а кому умереть… Ты выбираешь! Ты решаешь! Теперь я понимаю, почему ваш брат сталкер сам никогда не ходит на терраску… Вы такие глубины нечистых ваших душ здесь услаждаете властью, тайной, авторитетом, что у вас больше и желаний не остается!..

Сталкер. (*исступленно*). Нет! Это неправда! Вы ошибаетесь! Не так все это, не так! Сталкеру нельзя ходить на терраску! Сталкеру вообще нельзя приходить в Зону с корыстной целью! Он погибнет! Вы вспомните

Дикобраза! (*Поднимается на колени.*) Вы правы, я – маленький крысенок, я ничего не сделал в том мире и ничего не могу сделать… И счастья я не сумел дать даже жене и дочери… Друзей у меня нет и быть не может. Но моего вы у меня не отнимайте. У меня и так уже все отняли – там, в том мире. Все мое – здесь, в Зоне. Свобода моя – в Зоне, счастье мое – в Зоне… Ведь я привожу сюда людей таких же несчастных, как я, замученных, израненных. Они ни на что больше не надеются – только на Зону! А я могу! А я могу им помочь! У меня сердце кровью обливается, когда я на них смотрю, я от счастья плакать готов, что я им могу помочь! Весь этот огромный мир не может, а я – могу! Вот и вся моя жизнь. И я больше ничего не хочу. А когда придет мне пора умирать, я приползу сюда, на терраску, и последняя мысль моя будет – счастье для всех! Даром! Пусть никто не уйдет обиженным!

Писатель с кряхтеньем опускается на пол.

Писатель. Ну, извините… Ну, может быть… Просто я терпеть не могу смиренных всезнаек. Но все равно – глупо! Вы меня извините, но все, что вы сейчас говорили здесь, – глупо. Вы просто блаженный. Вы не понимаете и не хотите понимать, что здесь делается. Почему, по-вашему, повесился Дикобраз?

Сталкер. Он пришел в Зону с корыстной целью. Он загубил в мясорубке своего брата, чтобы получить богатство…

Писатель. Это я понимаю. Я вас спрашиваю – почему он повесился? Почему он не пришел на терраску снова и не выпросил у нее для брата новую жизнь?

Сталкер. Он хотел, он все время говорил об этом… Он даже пошел, но… Не знаю. Через несколько дней он повесился.

Писатель. Неужели вы не понимаете? Вы же сами нам сказали: только самые заветные желания, самые искренние, самые выстраданные… А Дикобраз – он и есть Дикобраз. Стоял он там на терраске на коленях, кричал до хрипоты: брата-де хочу вернуть единственного, жизнь свою вспоминал, все тщился сделаться добрее. Но он не был добрым, и выстраданные желания у него были Дикобразовы: власть, деньги, роскошь… Вот вернулся он к себе в апартаменты, нашел там вместо брата еще один мешок с золотом и понял, что жить больше незачем, что он – дрянь, мерзость, дерьмо… Не-ет, туда нам ходить нельзя. Я понимаю: ходят, лезут, как мошки на огонь, но ведь это от глупости, от недостатка воображения! Я туда не пойду. Я за этот день здорово поумнел. А

профессор, умный человек, он и вовсе не собирался… Зачем это мне надо? Что у меня выстрадано? Ненависть? Гадливость? Неприятие? Как я туда полезу со своей израненной душой? Ведь одно из двух. Либо душа моя хочет покоя, тишины, безмыслия, беспамятства, забвения – и тогда я вернусь идиотом, счастливым кретином, пускающим пузыри… Либо душа моя отмщения жаждет. И тогда мне страшно даже подумать, сколько судеб окажется на моей совести… Нет, дружище, паршиво вы в людях разбираетесь, если таких, как я, водите в Зону…

Наступает долгое молчание. Сталкер плачет.

Сталкер. Это жестоко… Это неправда… Я всю жизнь положил здесь… У меня ведь больше ничего нет… Зачем я теперь буду жить?.. Я ведь не ради денег сюда приводил… и шли они сюда не ради денег… как в церковь… как к богу… (*Профессору.*) Профессор, скажите же что-нибудь ему! Почему вы молчите?

Профессор вздрагивает, словно очнувшись. Потом он начинает говорить, и пока он говорит, руки его как бы механически с натугой отвинчивают верхнюю часть цилиндра, приподнимают металлический колпак, обрывают тянущиеся провода и продолжают разбирать, рвать, ломать мину, разбрасывая деталь за деталью во все стороны.

Профессор. Я не знаю, что ему сказать. Я не знаю, прав он или нет. Наверное, прав. Наверное, сегодняшний человек действительно не умеет использовать Зону. Она попала к нам не вовремя, как и многое другое. Как самый роскошный телевизор в пещеру к неандертальцам. Он смотрит в огромный мертвый экран и ничего в нем не видит, кроме своей волосатой рожи… Не знаю, не знаю. Я знаю только одно. Все, что вокруг нас, и мы сами, и дела рук наших – все это не вечно. Все меняется. Все изменится. И, может быть, через века люди дорастут до Зоны и научатся извлекать из нее счастье, как научились извлекать энергию из каменного угля. Или произойдет такое потрясение на земном шаре, такая катастрофа, что у нас не останется никаких надежд на спасение, кроме Зоны. Пусть мы еще не успеем научиться пользоваться ею, но у нас будет надежда. Человек может обойтись без всего. Но надежда у него должна быть всегда.

Долго и молча сидят они на пороге комнаты. Сумерки сгущаются. Становится все темнее и темнее. Наступает тьма.

17. Снова кафе

Они сидят за столиком в том же самом кафе, грязные, оборванные, заросшие. Они так устали, что говорят с трудом. Перед каждым кружка с остатками пива.

Писатель (*допив свою кружку*). Давайте еще по одной.
Профессор. У меня больше нет денег.
Писатель (*упавшим голосом*). И у меня нет…
Профессор. Вы же хвастались, что у вас везде кредит.
Писатель. Да! Везде! А в этой дыре – нет!

Сталкер шарит в кармане, высыпает на стол несколько мелких монет пополам с мусором, двигает монетки пальцем, пересчитывая.

Сталкер. Вот. На две кружки еще хватит. А на три – не хватает.

В кафе входит Жена Сталкера. Останавливается возле столика.

Жена (*Сталкеру*). Ну что ты здесь сидишь? Пошли.
Сталкер. Сейчас. Ты присядь. Присядь с нами, посиди немножко.

Она охотно присаживается, берет его руку и обводит взглядом Писателя и Профессора.

Жена. Вы знаете, мама была очень против. Вы теперь, наверное, поняли – он же блаженный. Над ним вся округа смеялась, а он растяпа был, жалкий такой. Мама говорила: «Это же сталкер, это же смертник, это же вечный арестант! А дети? Ты посмотри, какие дети у сталкеров!» И знаете, я даже не спорила! Я ведь и сама это понимала: и что смертник, и что арестант, и про детей тоже… А только что я могла сделать? Я была уверена, что мне с ним будет хорошо. Я была уверена, что лучше уж горькое счастье, чем серая, унылая жизнь… А может, я все это уже потом придумала… А тогда он просто подошел ко мне и сказал: «Пойдем!» И я пошла, и никогда потом не жалела. Никогда. Горя было много, страшно было, стыдно было, больно было… А только я никогда ни о чем не жалела и никогда никому не завидовала. Просто такая судьба, такая жизнь, такие мы. И если бы не было в нашей жизни горя, то лучше бы от этого не стало. Хуже стало бы, потому что тогда и счастья бы тоже не было, и не было бы

надежды… (*Сталкеру.*) Ну, пойдем, Мартышка там одна.

Они встают. Сталкер что-то силится сказать на прощанье. Губы его шевелятся, потом он неуклюже произносит: «Это вот мои друзья. А больше у нас пока ничего не получилось».

Они уходят. Писатель и Профессор смотрят им вслед.

ДЕЛО ОБ УБИЙСТВЕ (ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО АЛЬПИНИСТА»)

«Как сообщают, в округе Винги близ местечка Мюр опустился летательный аппарат, из которого вышли желто-зеленые человечки о трех ногах и восьми глазах каждый. Падкая на сенсации бульварная пресса поспешила объявить их пришельцами из Космоса...»

(Из газет)

По обеим сторонам дороги тянулась нетронутая снежная долина, стиснутая отвесными скалами, — сизые, жуткого вида иззубренные гребни казались нарисованными на сочно-синей поверхности неба. Впереди уже был виден отель — приземистое двухэтажное здание с плоской крышей. Уютный дымок белой свечкой упирался в небо.

Солнце било в ветровое стекло, весело отражалось от приборов и наполняло машину душным зноем. Водитель открыл ветровик, и сейчас же стал слышен трескучий рев, словно шел на посадку спортивный биплан. Водитель едва успел подать машину вправо, как огромный мотоцикл с ревом пролетел мимо, залепив стекла ошметками снега, так что водитель успел разглядеть только тощую, согнутую в седле фигуру, развевающиеся черные волосы, торчащий, как доска, конец красного шарфа и еще одну фигуру — лыжника в ярком свитере, несущегося следом на туго натянутом блестящем тросе. Искрящееся снежное облако поднялось над дорогой, заволакивая солнце.

Перед зданием отеля водитель остановил машину, вылез и снял темные очки. Отель был уютный, старый, желтый с зеленым. Над крыльцом красовалась траурная вывеска «У Погибшего Альпиниста».

С крыши свисали мутные гофрированные сосульки толщиной в руку. Огромный мотоцикл остывал у крыльца, рядом, на снегу, валялись кожаные перчатки с раструбами.

Водитель извлек из машины тяжелый портфель и направился к крыльцу. Высокие ноздреватые сугробы вокруг крыльца были утыканы

разноцветными лыжами. Одна лыжа была с ботинком. Водитель остановился, внимательно оглядел лыжи, выдернул одну из сугроба, подержал на весу и воткнул обратно в снег. Потом он повернулся к двери и остолбенел.

В дверном проеме у самой притолоки, упираясь ногами в одну филёнку, а спиной — в другую, висел невесть откуда взявшийся молодой человек. Поза его при всей неестественности казалась вполне непринужденной. Он глядел на водителя сверху вниз, скалил длинные желтоватые зубы и отдавал по-военному честь.

— Здравствуйте, — сказал водитель, помолчав. — Вам помочь?

Незнакомец мягко спрыгнул вниз и, продолжая отдавать честь, стал во фрунт.

— Честь имею, — сказал он. — Разрешите представиться: старший лейтенант от кибернетики Симон Симоне.

— Вольно, — сказал водитель.

Они пожали друг другу руки.

— Собственно, я физик, — сказал Симоне. — Но «от кибернетики» звучит почти так же плавно, как от «инфантерии». Получается смешно!.. — И он неожиданно разразился ужасным рыдающим хохотом, в котором чудились сырые подземелья, невыводимые кровавые пятна и звон ржавых цепей на прикованных скелетах.

— Что вы делали там, наверху? — осведомился водитель, преодолевая некоторую оторопь.

— Тренировался, — объяснил Симоне, любезно распахивая перед водителем дверь. — Я ведь альпинист...

— Погибший? — сострил водитель и сейчас же пожалел об этом: на него вновь обрушилась лавина замогильного хохота.

Они вошли в холл.

— Неплохо, неплохо для начала, — проговорил Симоне, вытирая глаза. — Я чувствую, мы с вами подружимся...

В сумрачном холле тускло отсвечивали лаком модные низкие столики, на одном негромко мурлыкал транзистор, а рядом, развалившись в креслах, неподвижно застыли давешний мотоциклист и лыжник. Лыжник оказался румяным гигантом, этаким белокурым викингом, а что касается мотоциклиста, то это было на редкость тощее гибкое существо, то ли мальчик, то ли девочка. Маленькое бледное личико было наполовину скрыто черными очками. К губе прилипла потухшая сигарета.

— Тс-с-с! — сказал Симоне, понизив голос и подмигивая. — Вам сюда... Жду в бильярдной. Играете?..

И Симоне на цыпочках вышел из холла.

Инспектор отогнул портьеру, вышел в коридор и толкнул дверь с табличкой «Контора». В залитой солнцем комнате, небрежно опираясь на тяжелый сейф, стоял с дымящейся сигарой невообразимо длинный, очень сутулый человек в черном фраке с фалдами до пят. У него был галстук бабочкой и благороднейших очертаний лицо с печальными водянистыми глазами и аристократическими брылями. Рядом с сейфом, положив морду на лапы, лежал великолепный сенбернар, могучее животное ростом с теленка.

А за столом сидел лысый коренастый человек в меховом жилете поверх ослепительной нейлоновой рубашки. У него была грубая красная физиономия и шея борца-тяжеловеса.

— Разрешите представиться, — сказал человек в жилете. — Алек Сневар — владелец этого отеля, этой долины, близлежащих гор и ущелий... Господин Мозес — наш гость.

Господин Мозес любезно улыбнулся и покивал, тряхнув брылями.

— Очень рад, — сказал водитель сухо.

Господин Мозес понимающе развел руками, и сигара вдруг исчезла из пальцев его левой руки и оказалась в пальцах правой. Водитель растерянно мигнул, но тут же решил, что это ему показалось.

— Не буду вам мешать, — сказал господин Мозес, направляясь к дверям. — Боже! — воскликнул вдруг он, и взгляд его просветлел. — Какая прелесть! Где вы это взяли, сударь? — Он схватил водителя за лацкан, и в пальцах у него вдруг оказалась маленькая фиалка. Он посмотрел на водителя, удовлетворенно рассмеялся и вышел.

— У вас занятные постояльцы, — заметил водитель, усаживаясь в кресло.

— О да! — сказал хозяин многозначительно. — За обедом вы их всех увидите. — Он раскрыл громоздкий гроссбух и принялся сосредоточенно оскабливать ногтями кончик пера. — Итак?

— Я инспектор полиции Петер Глебски, — сказал водитель. — Что тут у вас случилось?

Хозяин поднял на него удивленные глаза.

— Простите?..

— Вы вызывали полицию?

— Я?! — Пораженный хозяин даже приподнялся со стула.

— Та-ак... — протянул инспектор. — Понятно... Лыжи у вас никто топором не рубил и шины у автомобилей не протыкал?

— Помилуйте, инспектор! — вскричал потрясенный хозяин. — Это

какая-то ошибка!..

— Ясно. — Инспектор поглядел на часы и подтянул к себе телефонный аппарат. — Вижу, что ошибка. — Он набрал номер. — Капитан? Это инспектор Глебски. Я прибыл на место и рад сообщить, что здесь ничего не произошло... Да, ложный вызов... Слушайте, дружище, я охотно верю, что вы проверяли, и тем не менее... Что? Да, это было бы неплохо, но для того чтобы этого типа оштрафовать, надо его сначала выловить... Что? — Он снова посмотрел на часы. — Нет, скоро стемнеет, а дорога дрянь. Завтра? Часам к двум... Хорошо... Какая-какая настойка? Ах, вот как... Ладно. Привет.

Он повесил трубку и откинулся в кресле, с наслаждением вытянув ноги.

— Насколько я понимаю, — сказал хозяин с достоинством, — кто-то из моих гостей...

— Увы, — сказал инспектор.

— Я приношу глубочайшие извинения, господин инспектор, — сказал хозяин, прижимая руку к жилету. — У меня нет слов...

— И не надо, — сказал инспектор добродушно. — Я, знаете ли, давно уже вышел из того возраста, когда огорчаются ложному вызову. С удовольствием проведу у вас вечер и ночь за казенный счет. Что это у вас тут за знаменитая эдельвейсовая настойка?

— Господин инспектор! — торжественно произнес просиявший хозяин. — Мои подвалы — к вашим услугам! — Он захлопнул гроссбух и приказал: — Лель! В шестой номер багаж господина инспектора!

Сенбернар поднялся, цокая когтями по линолеуму, подошел к портфелю, взял его в зубы и вынес в коридор.

У себя в номере инспектор симметрично расположил на лакированной поверхности стола чернильный прибор и пепельницу, рассеянно огляделся, подошел к окну и закурил сигарету. За окном расстилалась долина, снежный покров был чист и нетронут, как новенькая накрахмаленная простыня. Солнце стояло еще высоко, синяя тень отеля лежала на снегу, и видны были тени двух людей на крыше — один сидел, а другой неподвижно стоял рядом. Потом тень сидящего шевельнулась — человек поднял руку с бутылкой, основательно присосался, запрокинув голову, и вдруг сделал резкое движение. Пустая бутылка пролетела мимо окна и бесшумно канула в сугроб. Инспектор усмехнулся, раздавил в пепельнице окурок и прошел в спальню.

Там он оглядел себя в зеркале, поправил галстук, причесался и

опробовал несколько выражений лица, как-то: рассеянное любезное внимание, мужественная замкнутость профессионала, простодушная готовность к решительно любым знакомствам и ухмылка типа «гы-ы». Ни одно выражение не показалось ему подходящим, поэтому он не стал далее утруждать себя, сунул в карман сигареты и вышел в коридор.

В коридоре было пусто. Откуда-то доносилась музыка, резкие щелчки бильярдных шаров и рыдающий хохот лейтенанта от кибернетики.

На лестничной площадке инспектор столкнулся с незнакомым человеком, который по железной чердачной лестнице спускался, по-видимому, с крыши. Он был гол до пояса и лоснился от пота, лицо у него было бледное до зелени, обеими руками он прижимал к груди ком смятой одежды.

— Неужели до сих пор загорали? — удивился инспектор. — Этак и простудиться недолго...

Не дожидаясь ответа, он пошел вниз. Странный человек топал по ступенькам следом.

— Да ничего! — проговорил он хрипловато. — Выпью вот, и ничего.

— Вы бы оделись, — посоветовал инспектор. — Вдруг там дамы...

— Да. Натурально. Совсем забыл.

Странный человек остановился и принялся напяливать рубашку, а инспектор прошел в буфетную, где пышная горничная, с лицом миловидным и порядком глупым, подала ему кофе и тарелку с холодным ростбифом. Странный человек, уже одетый и уже не такой зеленый, присоединился к нему.

— Бренди, господин Хинкус? — спросила горничная.

— Да, — сказал господин Хинкус.

— Ваш приятель не пьет? — осведомился инспектор из вежливости.

— Какой приятель? — спросил господин Хинкус, наливая себе рюмку.

— Ну, вы же там не один?..

— Где? — отрывисто сказал Хинкус, осторожно поднося ко рту полную рюмку.

— На крыше.

Рука у Хинкуса дрогнула, бренди потекло по пальцам. Он торопливо выпил, потянул носом воздух и, вытирая рот ладонью, сказал:

— Почему не один? Один...

Инспектор с удивлением посмотрел на него.

— Странно, — сказал он. — Мне показалось, что там вас двое.

— А вы перекреститесь, чтоб не казалось, — грубо сказал Хинкус, наливая себе вторую рюмку.

— Что это с вами? — холодно спросил инспектор.

Некоторое время Хинкус молча смотрел на полную рюмку, потом сказал:

— Так. Неприятности. Могут быть у человека неприятности?

— Да, конечно, — сказал инспектор, смягчаясь. — Прошу прощения.

Хинкус хлопнул вторую рюмку.

— Послушайте, — сказал он. — А вы не хотите позагорать?

— Какое там — загорать! Солнце вот-вот сядет...

— Воздух там хорош, — сказал Хинкус как-то жалобно. — И вид прекрасный. Вся долина как на ладони... Горы... А?

— Я лучше сыграю в бильярд, — сказал инспектор.

Хинкус впервые посмотрел ему прямо в лицо маленькими больными глазками, потом завинтил колпачок, взял бутылку под мышку и направился к двери.

— Смотрите не свалитесь с крыши, — сказал инспектор через плечо.

Хинкус задержался в дверях, оглянулся, молча покачал головой и вышел.

Ориентируясь по стуку бильярдных шаров, инспектор прошел по мягкому ковру коридора и оказался в столовой. Там было темно, только из бильярдной через приоткрытую дверь падала узкая полоска света. В этой полоске стоял хозяин. Лицо его выражало какое-то недоумение, нижняя челюсть отвисла, мохнатые брови были высоко задраны. Он с таким увлечением рассматривал что-то в бильярдной, что даже не услышал, как инспектор подошел вплотную к нему. Инспектор кашлянул. Хозяин быстро повернул голову, закрыл рот и несколько смущенно улыбнулся.

— Феноменально... — пробормотал он. — Я... я о господине Олафе... Никогда не видел таких игроков...

Не переставая смущенно улыбаться, он боком отошел от инспектора, пересек столовую и скрылся в коридоре. Из бильярдной доносились хлесткие трески удачных клапштосов и досадливые возгласы Симоне. Инспектор тоже заглянул в щель. Ни Олафа, ни Симоне видно не было. У стены стояло кресло, а в кресле уютно расположилась женщина ослепительной и странной красоты. Ей было лет тридцать, у нее были нежные, смугло-голубоватые открытые плечи и огромные томно полузакрытые глаза. В высоко взбитых роскошных волосах сверкала диадема. Инспектор приосанился и вошел в бильярдную.

В бильярдной было полно народу. Красный и взъерошенный Симоне жадно пил содовую. Румяный викинг Олаф, добродушно улыбаясь,

неторопливо собирал шары в треугольник. На подоконнике, поставив рядом с собой бутылку с яркой наклейкой, сидело с ногами давешнее существо — не то мальчик, не то девочка, — странное чадо XX века. Устроившись в кресле неподалеку от прекрасной дамы, господин Мозес рассеянно развлекался колодою карт — пускал ее веером из руки в руку. Завидев инспектора, он благосклонно покивал и сказал роскошной женщине:

— Ольга, позволь представить тебе нашего нового друга — господина инспектора полиции Петера Глебски.

Инспектор поклонился сначала госпоже Ольге, а потом всем прочим.

— Какая прелесть! — пропела Ольга, широко раскрывая глаза. — Я обожаю полицию! Этих героев, этих смельчаков... Вы ведь смельчак, инспектор?

Повинуясь приглашающему жесту Олафа и стараясь держаться непринужденно, инспектор взял кий и принялся мелить наклейку.

— Увы, мадам, — сказал он. — Я обыкновенный полицейский чиновник...

— Не верю, — сказала мадам, закатывая глаза. — Человек с такой внешностью не может не быть героем и смельчаком!..

— А вы знаете анекдот про полицейского инспектора, который сел на кактус? — ревниво спросил Симоне. — Он тоже приехал по ложному вызову...

— Ах, Симоне, перестаньте, — сказала мадам, не поворачивая головы. — Все равно вы не знаете ни одного приличного анекдота... Инспектор, покажите, что вы настоящий мужчина, — разбейте, наконец, этого противного Олафа.

— Ольга, — сказал господин Мозес, — с твоего позволения я откланяюсь... Господа, пусть победит сильнейший!

Он вышел. Инспектор улыбнулся Олафу в ответ на его приветливую улыбку и разбил пирамиду. Тут Симоне вдруг улегся на пол в неглубокой, но широкой нише и, упираясь руками и ногами в края ниши, полез к потолку.

— Симоне! — в ужасе воскликнула госпожа Мозес. — Что вы делаете! Вы убьетесь!

В ответ Симоне заклекотал, повисел некоторое время, все больше наливаясь кровью, потом легко спрыгнул на пол и отдал ей честь.

— Ну, Олаф, — сказал он, чуть задыхаясь, — молитесь! Вот теперь я сделаю из вас бифштекс.

— Трепло, — кратко сообщило с подоконника чадо XX века, а Олаф,

внимательно рассматривая наклейку на своем кие, заметил:

— Бифштекс — это еда.

— Вот я и сделаю из вас еду! — заявил Симоне, бросая страстные взгляды на госпожу Мозес.

— Зачем? — спросил Олаф.

— Чтобы съесть! — гаркнул Симоне.

— Обед через два часа, — заметил Олаф, посмотрев на часы.

— Я не могу больше разговаривать с этой игральной машиной! — жалобно заревел Симоне, хватаясь за голову.

Госпожа Мозес залилась серебристым смехом, чадо на подоконнике бросило окурок на пол и закурило новую сигарету, а Олаф улыбнулся и, почти не целясь, с треском залепил шар в лузу через все поле.

— А по-моему, мы очень хорошо с вами беседуем, — сказал он. — Вы очень хороший собеседник, Симоне. — Он прицелился и закатил еще один шар. — Но бифштекс — это все-таки еда. И сделать из меня зайца вы не можете, хотя и обещали. И разукрасить меня, как бог черепаху, тоже нельзя. Бог вообще не красил черепах. Они серые...

Он неторопливо шел вокруг стола и, не переставая говорить, забивал шар за шаром — тихие, аккуратные шары, и шары стремительные, как выстрел, и шары, влетающие в лузы по каким-то фантастическим траекториям. С каждым ударом лицо инспектора все больше вытягивалось, госпожа Мозес ахала и ужасалась, а Симоне застонал и, обхватив руками голову, уселся в углу.

— С ума сойти, какая женщина! — заявил Симоне, отряхивая мел с рукавов. — Вы заметили, как она на меня смотрела?

— Никак она на вас не смотрела, — возразил инспектор.

Они шли по коридору из бильярдной, направляясь по своим номерам. Оба были возбуждены игрой и перепачканы мелом.

— Что вы понимаете! Вы старый полицейский тюфяк! Вы приходите с работы и идете гулять с собачкой... У вас есть собачка?

— У меня есть собачка. Но госпожа Мозес смотрела все-таки на меня и говорила, что я герой.

— Э, нет, — сказал Симоне. — Так у нас не пойдет! Не хватало мне еще конкурента в виде престарелого полицейского инспектора! Учтите, я четыре года без отпуска, и врачи прописали мне курс чувственных удовольствий!..

Навстречу им из пустого номера вышла пухленькая Кайса, держа в охапке кучу простынь и наволочек. Симоне замер.

— Пардон! — воскликнул он и, не говоря больше ни слова, устремился вперед. Кайса взвизгнула не без приятности и скрылась в номере. Симоне исчез там же, и через секунду оттуда донесся новый взвизг и раскат леденящего душу хохота. Инспектор усмехнулся и, вытирая испачканные мелом руки, вошел в свой номер.

В номере было нехорошо.

Кресло опрокинуто. Письменный стол залит уже застывшим клеем — поливали прямо из бутылки, бутылка валялась тут же, — и в центре этой засохшей лужи красовался листок бумаги. На листке корявыми печатными буквами было написано: «Инспектора Глебски извещают, что в отеле под именем Хинкус находится опасный гангстер, маньяк и убийца, известный в преступных кругах под кличкой Филин. Он вооружен и грозит смертью одному из клиентов отеля. Примите меры».

Не отрывая глаз от листка, инспектор вытащил сигарету, закурил, потом подошел к окну. Тень отеля синела на снегу. На крыше по-прежнему торчал опасный гангстер, маньяк и убийца господин Хинкус. Он был не один. Кто-то опять стоял рядом, в нескольких шагах от него.

К обеду в столовой собрались все, кроме Хинкуса. Столовая была большая, посредине стоял огромный овальный стол персон на двадцать. Роскошный, почерневший от времени буфет сверкал серебряными кубками, многочисленными зеркалами и разноцветными бутылками. Скатерть на столе была крахмальная, посуда — прекрасного фарфора, приборы — серебряные, с благородной чернью. Было весело. Симоне рассказывал анекдоты. Олаф и мадам Мозес их не понимали.

— Приезжает как-то один штабс-капитан в незнакомый город, — говорил Симоне. — Останавливается он в гостинице и велит позвать хозяина... — Тут он замолчал и огляделся. — Впрочем, пардон... — произнес он. — Я не уверен, что в присутствии дам... — он поклонился в сторону госпожи Мозес, — а также юно... э-э... юношества... — Он посмотрел на чадо. — Э-э-э...

— А, дурацкий анекдот, — сказало чадо с пренебрежением. — «Все прекрасно, но не делится пополам» — этот, что ли?

— Именно! — воскликнул Симоне и разразился хохотом.

— Делится пополам? — добродушно улыбаясь, осведомился Олаф.

— НЕ делится, — сердито поправило чадо.

— Не делится? — удивился Олаф. — А что именно не делится?

Чадо открыло было рот, но господин Мозес сделал неуловимое движение, и рот оказался заткнут большим румяным яблоком, от которого

чадо тут же сочно откусило.

— Не делится пополам, — очаровательно улыбаясь, объяснила госпожа Мозес. — Как вы не понимаете, Олаф! Это — из алгебры. Ах, алгебра! Алгебра — это царица наук!..

Симоне зарычал, схватил свою тарелку и пересел к инспектору. Тут в столовой объявилась Кайса и принялась тарахтеть, обращаясь к хозяину:

— Он не желает идти. Он говорит: раз не все собрались, говорит, так и он не пойдет. А когда все соберутся, говорит, тогда и он спустится. И две бутылки у него там пустые...

— Так пойди и скажи, что все уже давным-давно собрались, — приказал хозяин.

— Я так и сказала, что все собрались, что кончают уже, а он мне не верит...

Инспектор встал.

— Я его приведу, — сказал он.

Хозяин всполошился.

— Ни в коем случае, — вскричал он. — Кайса, быстро!

— Ничего, ничего, — сказал инспектор, направляясь к двери. — Я сейчас.

Выходя из столовой, он услышал, как Симоне провозгласил: «Правильно! Пусть-ка полиция займется своим делом», после чего залился кладбищенским хохотом.

Инспектор поднялся по лестнице, толкнул грубую деревянную дверь и оказался в круглом, сплошь застекленном павильончике с узкими скамейками вдоль стен. Фанерная дверь, ведущая на крышу, была закрыта. Инспектор осторожно потянул за ручку, раздался пронзительный скрип несмазанных петель. Инспектор открыл дверь и увидел Хинкуса. Лицо Хинкуса было ужасно — белое в свете низкого солнца, застывшее, с перекошенным ртом, с выкатившимися глазами. Левой рукой он придерживал на колене бутылку, а правую прятал за пазухой, должно быть, отогревал.

— Это я, Хинкус, — осторожно сказал инспектор. — Что вы так испугались?

Хинкус сделал судорожное глотательное движение, потом сказал:

— Я тут задремал... Сон какой-то поганый...

Инспектор украдкой огляделся... Плоская крыша была покрыта толстым слоем снега. Вокруг павильончика снег был утоптан, а дальше, к покосившейся антенне, вела тропинка. В конце этой тропинки и сидел в шезлонге Хинкус, закутанный в шубу. Отсюда, с крыши, вся долина была

как на ладони — тихая и синяя, без теней.

— Пойдемте обедать, — сказал инспектор. — Вас ждут.

— Ждут... — сказал Хинкус. — А чего меня ждать? Начинали бы.

Инспектор выдохнул клуб пара, поежился и сунул руки в карманы.

— Туберкулез у меня, — с тоской объяснил Хинкус и покашлял. — Мне свежий воздух нужен. Все врачи говорят. И мясо черномясой курицы...

— Зачем же вы так пьете, если у вас туберкулез...

Хинкус не ответил. В наступившей тишине инспектор услышал, как кто-то поднимается по железной чердачной лестнице. Протяжно заскрипела дверь тамбура.

— Видите, еще кто-то... — начал инспектор и осекся. Лицо Хинкуса снова стало похоже на уродливую маску — рот перекосился, белое гипсовое лицо покрылось крупными каплями пота. Дверь павильончика отворилась — и на пороге появился хозяин.

— Господа! — провозгласил он жизнерадостно. — Что такое прекрасная, но холодная погода по сравнению с прекрасной и горячей пуляркой?..

Инспектор натянуто улыбнулся. Он все смотрел на Хинкуса. Хинкус совсем ушел в воротник своей шубы, только глаза поблескивали, как у тарантула в норке.

— Господин Хинкус, — продолжал хозяин, — пулярка изнемогает в собственном соку.

— Ну ладно, — сказал вдруг Хинкус неожиданно жестко. — Поговорили, и хватит! Деньги мои — как хочу, так и трачу. Обедать не буду. Понятно? Всё.

— Но, господин Хинкус... — начал несколько ошеломленный хозяин.

— Все! — повторил Хинкус.

Тогда инспектор взял хозяина под руку и повернул к двери.

— Пойдемте, Алек, — сказал он негромко. — Пойдемте...

Инспектор, устроившись у окошка со стаканом и сигаретой, рассеянно наблюдал, как хозяин, грузно ступая, ходил по залу, выключал лишний свет, переставлял в буфете бутылки. Лель, опустив голову, ходил за ним по пятам.

Инспектор поглядел в окно. Тень закутанного в шубу Хинкуса четко рисовалась на освещенном луной снегу. Инспектор поднялся и подошел к хозяину.

— Алек, — сказал он. — У меня к вам просьба. Проводите меня к номеру Хинкуса.

Хозяин удивленно поднял брови.

Некоторое время они молча смотрели друг на друга, потом хозяин поставил бутылку, с которой стирал пыль, и, не говоря ни слова, пошел из столовой. Они вышли в коридор и повернули направо. Инспектор успел заметить, что в конце коридора стоят, держась за руки, чадо и Олаф. Хозяин остановился перед дверью с номером одиннадцать и сказал: «Здесь». Инспектор повернул ручку и вошел в номер.

Вид у номера был нежилой, кровать не смята, пепельница пуста и чиста. Посредине комнаты стояли два закрытых баула. Инспектор, присев рядом с ними на корточки, достал пилочку для ногтей.

— Вы будете свидетелем, Алек, — сказал он и открыл баул.

Баул оказался набит каким-то рваным тряпьем, старыми газетами и мятыми журналами. Хозяин тихонько свистнул.

— Что это? — сказал он. — Что это значит?

— Это называется «фальшивый багаж», — объяснил инспектор.

Инспектор открыл второй баул. Здесь тоже был фальшивый багаж, только поверх тряпья и мятой бумаги здесь лежал маленький дамский браунинг. Инспектор и хозяин переглянулись. Потом инспектор взял браунинг, вынул обойму и выщелкал патроны в ладонь.

— Значит, вызов был не ложный, — сказал хозяин медленно. — Ну и что все это значит?

Инспектор не успел ответить. Пол в номере дрогнул, жалобно звякнули оконные стекла, и послышался отдаленный мощный грохот.

— Ого! — сказал хозяин, поднимая голову. — А ведь это обвал. И недалеко...

Грохот затих, и тут где-то в коридоре хлопнула дверь.

В каминной жарко полыхал уголь, кресла были старинные, уютные, ярко светила большая люстра, в трубе посвистывало.

Инспектор стоял у окна, прислонившись лбом к стеклу, и смотрел на тень Хинкуса, скрючившегося на крыше. Потом он огляделся, взялся за ближайшее кресло и поставил его так, чтобы можно было одновременно следить и за тенью Хинкуса, и за отражающейся в большом зеркале тускло освещенной лестницей на крышу в конце полутемного коридора. Свет в каминной инспектор выключил, а сам сел в кресло и закурил.

Послышались шаги, вошел хозяин с кувшином горячего портвейна и двумя стаканами.

— Дело швах, Петер, — сказал он. — Связи с городом нет. Это значит, что обвалом засыпало дорогу и забило ущелье. Нас откопают не раньше

чем через неделю.

— Рация у вас есть? — спросил инспектор, отхлебывая из стакана.

— Нет. Но вы не беспокойтесь. Все остальное есть в избытке. А если мы захотим разнообразить меню, то съедим этого Хинкуса... Кстати, вы знаете, что нынче утром Хинкус отправил телеграмму?

Инспектор вопросительно взглянул на него.

— «Жду. Поторопитесь...» Или что-то в этом роде. Я слышал, как он диктовал ее по телефону.

Инспектор хмыкнул.

— Между прочим, Петер, — осторожно сказал хозяин, — почему бы нам не арестовать его сейчас? Все спят... Мне бы не хотелось волновать гостей...

Инспектор отхлебнул из стакана.

— Я не уверен, что его вообще надо арестовать, — сказал он. — Я лучше здесь посижу и посмотрю, кто это так хочет выдать Хинкуса за гангстера. Сдается мне, что этот Хинкус — не охотник, а дичь. Охотник, Алек, не станет возить с собой дамский пистолетик. У него будет «люгер» 0,45 с приставным прикладом... — Он замолчал.

Около чердачной лестницы появилась темная тоненькая фигурка — постояла в кругу желтого света, словно в нерешительности, а потом неуверенными шагами двинулась по коридору, ведя рукою по стене. Это было чадо. Войдя в каминную, оно, не говоря ни слова, подошло к огню, присело на корточки рядом с Лелем и принялось гладить его по голове. Багровые блики от раскаленных углей светились в его огромных черных очках. Чадо было очень одинокое, всеми забытое и маленькое.

— Холодно что-то... — сказало оно жалобно. — И выпить нечего...

— Ну почему же нечего, Брюн, — радушно сказал хозяин, берясь за кувшин. — Хотите горячего портвейна?

— Да. И хочу домой.

— Брюн, — сказал инспектор, — дитя мое, снимите ваши ужасные очки.

— Зачем? — спросило чадо.

— Мне бы очень хотелось, наконец, понять: мальчик вы или девочка?

— Идите вы знаете куда... Лучше бы рассказали что-нибудь.

— Расскажите, Алек, — сказал инспектор со вздохом, — что-нибудь таинственное.

Хозяин задумчиво посмотрел стакан на просвет.

— Таинственное... — повторил он. — Что ж, слушайте. В сырых и жутких джунглях Центральной Африки существует странное и страшное

поверье...

В холле часы начали бить одиннадцать.

К полуночи хозяин с инспектором прикончили кувшин горячего портвейна. Все было тихо, Хинкус по-прежнему торчал на крыше. Чадо заснуло в кресле, и было решено его не трогать — пусть спит.

— Вы ничего не поняли, Петер, — тихонько объяснял хозяин. — Зомби — это не мертвец. Но зомби — это и не живой человек. Понятно?

— Нет.

— Вы берете мертвеца и оживляете его. Он ходит, ест, пьет и выполняет все ваши приказания.

— Пьет?

— Вы напрасно смеетесь над этим, Петер. Это не смешно. Это страшно. И не приведи господь вам встретиться с зомби...

— Но ведь это в Африке. У нас они не водятся...

— Как знать, Петер, как знать! Я мог бы кое-что рассказать вам о таких вещах...

Тут Лель вдруг вскочил и глухо гавкнул. Хозяин воззрился на него.

— Не понимаю, — сказал он строго.

Лель гавкнул снова и ворча бросился по лестнице в холл.

— Ага, — сказал хозяин, поднимаясь. — Кто-то пожаловал.

Инспектор тоже поднялся, и они последовали за Лелем.

Собака стояла перед парадной дверью и вела себя как-то странно. Она была явно испугана — хвост поджат, голова опущена, шерсть на загривке поднялась дыбом. Из-за двери доносились непонятные скребущие и скулящие звуки.

Хозяин с инспектором переглянулись, потом хозяин протянул руку и отодвинул засов. Дверь отворилась, и к их ногам сползло облепленное снегом тело. Хозяин и инспектор бросились к нему, втащили его в холл и перевернули на спину. Облепленный снегом человек застонал и вытянулся. Глаза его были закрыты, длинный нос побелел. Одет он был явно не по сезону: кургузый пиджачок, брюки дудочками, модельные туфли.

— Слушайте, — сказал инспектор. — Он попал под обвал...

— В душевую! — скомандовал хозяин. — Берите его под мышки...

В душевой они положили незнакомца на топчан, и хозяин торопливо принялся его раздевать.

— А ведь это, наверное, приятель Хинкуса, — сказал инспектор. — Ну, тот, которому он давал телеграмму...

— Возможно, — отрывисто сказал хозяин.

— Пойду приведу Хинкуса, — сказал инспектор. Он выскочил из душевой, взбежал на второй этаж и бросился к чердачной лестнице.

Хинкус сидел в прежней позе, нахохлившись, уйдя головой в воротник, сунув руки в рукава.

— Хинкус! — гаркнул инспектор.

Хинкус не шевелился, и тогда инспектор подскочил к нему, схватил за плечо, потряс. Хинкус вдруг как-то странно осел и повалился набок.

— Хинкус! — растерянно воскликнул инспектор, непроизвольно подхватывая его. Шуба раскрылась, из нее вывалилось несколько комьев снега, упала меховая шапка — Хинкуса не было, было снежное чучело, облаченное в шубу Хинкуса.

Инспектор схватил горсть снега, яростно растер лицо и огляделся. На крыше было много следов — то ли здесь боролись, то ли собирали снег для чучела. В двух метрах от тропинки из снега торчало что-то черное. Инспектор наклонился, протянул руку и с усилием поднял тяжелый железный швеллер — обрезок рельса, странно скрученный, словно завязанный узлом. Неподалеку, припорошенная снегом, лежала груда таких швеллеров, только прямых. Инспектор оглядел долину. Яркая маленькая луна висела прямо над головой, долина была пуста и чиста, темная полоса дороги уходила на север, теряясь в голубой дымке.

Инспектор бросил гнутое железо, повернулся и медленно направился вниз. В душевой уже никого не было. Посредине холла стояла с обалделым видом сонная Кайса в ночной рубашке, держа охапку мокрой, смятой одежды незнакомца. Инспектор отобрал у нее одежду и вывернул карманы. В карманах не оказалось ничего: ни денег, ни документов, ни сигарет, ни носового платка — ничего.

Незнакомец уже лежал в постели, закутанный одеялом до подбородка. Хозяин поил его с ложечки чем-то горячим и приговаривал:

— Надо, сударь, надо... Пропотеть надо хорошенько.

Один глаз у незнакомца был болезненно сощурен, другой и вовсе закрыт. Он слабо постанывал при каждом вздохе.

— Вы один? — спросил его инспектор. — Кто-нибудь еще остался в машине?.. Или вы ехали один?..

Незнакомец приоткрыл рот, подышал немного и снова закрыл рот.

— Слаб, — сказал хозяин. — У него все тело, как тряпка.

— Вы — друг Хинкуса? — раздельно спросил инспектор.

И тут незнакомец заговорил.

— Олаф... — сказал он без выражения. — Олаф Анд-ва-ра-форс... Позовите...

— Ага... — сказал хозяин и поставил кружку с питьем на стол.

Хозяин торопливо вышел, а инспектор сел на его место. Он ничего не понимал.

— Кто-нибудь еще пострадал? — спросил он снова.

— Один... — простонал незнакомец. — Где Олаф Андварафорс?..

— Здесь, здесь, — сказал инспектор. — Сейчас придет.

Незнакомец закрыл глаза и затих. Инспектор откинулся на спинку стула.

Вернулся хозяин. Брови у него были высоко подняты, губы поджаты, в руке он держал связку ключей.

— Странное дело, Петер, — сказал он негромко. — Дверь заперта изнутри, Олаф не отзывается. Пойдем-ка вместе.

— Олаф... — простонал незнакомец. — Где Олаф?..

— Сейчас, сейчас... — сказал ему инспектор, поднимаясь. — Вот что, Алек. Позовите Кайсу — пусть сидит около этого парня, пока мы не вернемся...

Они вышли в коридор.

— Ага, — сказал хозяин, играя бровями. — Вот, значит, как!.. Лель, ко мне!.. Сиди здесь. Сидеть! Никого не впускать, никого не выпускать!

Они поднялись по лестнице, остановились перед дверью Олафа, и инспектор отобрал у хозяина связку ключей. Пока он возился, выталкивая ключ из скважины, в коридоре появился господин Мозес.

— Что происходит, господа? — благодушно осведомился он, затягивая пояс халата. — Почему постояльцам не дают спать?

— Тысяча извинений, господин Мозес, — сказал хозяин. — Но у нас тут происходят кое-какие события, требующие решительных действий.

— Ах, вот как? — произнес Мозес с интересом. — Надеюсь, я не помешаю?

Инспектор наконец расчистил путь для своего ключа, отпер и распахнул дверь. В прихожей на полу лежал человек. Света в номере не было, и видны были только его огромные подошвы.

Инспектор наклонился над ним. Это был Олаф Андварафорс. Он был явно и безнадежно мертв.

Инспектор зажег свет. Олаф лежал ничком, руки его были вытянуты и почти касались небольшого чемодана, лежавшего у стены. Кресло, обычно стоящее в таких номерах у стола, было выдвинуто на середину комнаты. Окно настежь распахнуто, покрывало на кровати смято.

— Боже мой... — прошептал Мозес за спиной инспектора.

— Что с ним? — спросил хозяин.

— Он мертв, — сказал инспектор, — насколько я понимаю, задушен... Оставайтесь в коридоре, — сказал он через плечо, перешагнул через тело, обошел комнату и выглянул в окно.

На карнизах лежал нетронутый снег. Внизу под окном на снегу тоже не было никаких следов.

— Вот что, Алек, принесите мне клей и несколько листков бумаги... Подождите. Это его чемодан?

— Да, — сказал хозяин.

— Был у него еще какой-нибудь багаж?

— Нет.

— Хорошо. Тащите бумагу и клей.

Инспектор взял чемодан, поставил его на стол и открыл. В чемодане, занимая весь его объем, помещался какой-то прибор — черная металлическая коробка с шероховатой поверхностью, какие-то разноцветные кнопки, стеклянные окошечки, никелированные верньеры.

Инспектор тщательно запер окно на все задвижки, взял чемодан и, осторожно перешагнув через тело, вышел в коридор. Хозяин уже ждал его с клеем и бумагой. Инспектор запер дверь, опечатал ее пятью полосками бумаги и дважды расписался на каждой полоске.

— Больше ключей нет? — спросил он у хозяина и спрятал ключи в карман. — У меня к вам просьба, Алек. Осмотрите гараж — все ли машины на месте. Если увидите Хинкуса... Впрочем, вряд ли вы его увидите. И никому ни слова, поняли? Особенно этому... потерпевшему.

Хозяин кивнул и пошел вниз. Инспектор направился было к себе, но тут заметил, как в конце коридора была приоткрыта и бесшумно захлопнулась дверь номера Симоне. Инспектор немедленно двинулся туда.

Он вошел не постучавшись. Через открытую дверь спальни было видно, как Симоне, прыгая на одной ноге, сдирает с себя брюки.

— Не трудитесь, Симоне, — произнес инспектор угрюмо. — Все равно вы не успеете развязать галстук.

Симоне обессиленно опустился на кровать. Инспектор вошел в спальню, аккуратно поставил чемодан и остановился перед Симоне, засунув руки в карманы. Некоторое время они молчали, потом Симоне не выдержал.

— Я буду говорить только в присутствии моего адвоката, — заявил он надтреснутым голосом.

— Бросьте, Симоне, — сказал инспектор с отвращением. — А еще физик... Какие здесь, в задницу, адвокаты?

Симоне вдруг схватил его за полу пиджака и, заглядывая ему в глаза

снизу вверх, просипел:

— Думайте что хотите, Петер... Но я вам клянусь... я клянусь вам, что я не убивал ее!

Теперь наступила очередь присесть инспектору. Он нащупал за собой стул и сел.

— Подумайте сами: зачем это мне? — страстно продолжал Симоне. — Ведь должны быть мотивы... никто не убивает просто так... Клянусь вам, она была уже совсем холодная, когда я обнял ее!..

Инспектор закрыл глаза.

— Разве я похож на убийцу?.. — горячо бормотал Симоне.

— Стоп, — сказал инспектор. — Заткнитесь на минуту. Подумайте и расскажите все по порядку.

— Пожалуйста! — с готовностью сказал Симоне. — Дело было так... Она и раньше давала мне понять, только я не решался... А сегодня решил: почему бы и нет? У Мозеса света не было, у нее тоже. Она сидела на кушетке, прямо напротив двери. Я тихонько ее окликнул — она не ответила. Тогда я, сами понимаете, сел рядом и, сами понимаете, ее обнял... Бр-р-р!.. Я даже поцеловать ее не успел! Она была совершенно мертвая. Лед! Окаменевшая, как дерево! Не помню, как я оттуда вылетел... По-моему, я там всю мебель поломал... Я клянусь вам, Петер...

— Надевайте брюки, — сказал инспектор с тихим отчаянием. — Приведите себя в порядок и следуйте за мной.

— Куда? — спросил Симоне с ужасом.

— В тюрьму! — гаркнул инспектор. — В карцер! В башню пыток, идиот!

— Сейчас, — сказал Симоне. — Сию минуту. Я просто не понял вас, Петер.

Они спустились вниз и остановились у номера госпожи Мозес. Инспектор решительно толкнул дверь и остолбенел. В комнате горел розовый торшер, а на диване, прямо напротив двери, в позе мадам Рекамье возлежала очаровательная Ольга и читала книгу. Увидев инспектора, она удивленно подняла брови, но, впрочем, тут же очень мило улыбнулась. Симоне за спиной инспектора издал странный звук — что-то вроде: «А-ап!».

— Прошу прощения... — еле ворочая языком, проговорил инспектор и со всей возможной стремительностью закрыл дверь. Затем он повернулся к Симоне и неторопливо, с наслаждением взял его за галстук.

— Клянусь!.. — одними губами произнес Симоне. Он был на грани обморока.

В номере инспектора Симоне повалился в кресло и принялся стучать себе по черепу кулаками, как развеселившийся шимпанзе.

— Спасен! — бормотал он с идиотской улыбкой. — Ура! Снова живу! Не таюсь, не прячусь... Ура!

Потом он положил руки на край стола, уставился на инспектора круглыми глазами и произнес шепотом:

— Но ведь она была мертва! Я клянусь вам, Петер!

— Пили после ужина? — холодно спросил инспектор.

— Да, но...

— Сколько?

— Слушайте, Петер, я был здорово навеселе, но...

— Хватит об этом. И хватит пить. Мне не нужны пьяные свидетели.

Некоторое время Симоне молча глядел на инспектора.

— Постойте-ка... — сказал он наконец. — Но ведь она жива! Зачем вам свидетели?

— Убит Олаф, — сказал инспектор.

Симоне отшатнулся.

— Олаф? — пробормотал он ошеломленно. — Как так? Я слышал, как вы только что с ним разговаривали...

— Я разговаривал не с ним. Олаф мертв.

Симоне вытер покрытый испариной лоб. Лицо у него сделалось несчастным.

— Безумие какое-то... — пробормотал он. — Сумасшедший бред... Кто убил?

— По-видимому, Хинкус.

— Хинкус? А, это который все время на крыше... Вы его арестовали?

— Нет, он сбежал, — сказал инспектор. — Оставим это. У меня к вам вопрос как к специалисту. — Он поднял и раскрыл чемодан Олафа. — Что это, по-вашему?

Симоне быстро оглядел прибор, осторожно извлек его из чемодана и, посвистывая сквозь зубы, принялся рассматривать со всех сторон. Потом он взвесил его в руках и так же осторожно положил обратно.

— Не моя область, — сказал он. — Судя по тому, как это компактно и добротно сделано, это либо военное, либо космическое... Даже догадаться не могу. Где вы это взяли?

— У Олафа.

— Подумать только, — пробормотал Симоне. — У этакой дубины... Впрочем, пардон... Я, конечно, могу понажимать клавиши и покрутить

ручки, но предупреждаю — это весьма нездоровое занятие.

— Не надо, — сказал инспектор, закрывая чемодан. — Идите к себе и ложитесь спать.

Симоне хотел что-то сказать, но только махнул рукой и направился к двери. В дверях он столкнулся с хозяином, извинился и вышел. Хозяин подошел к столу и поставил перед инспектором стакан с горячим кофе и сандвичи.

— Машины на месте, — объявил он. — Лыжи тоже. Хинкуса нигде нет. На крыше валяется его шуба...

— Знаю, — сказал инспектор. — Что же он — пешком ушел, что ли?

— Из долины ему все равно не выбраться...

— Да, — сказал инспектор. — Ничего не понимаю... Знаете, Алек, мне надо подумать...

Хозяин молча кивнул и пошел к двери. На пороге он остановился.

— Если не секрет, — сказал он, — что это вы с Симоне врывались к госпоже Мозес?

Инспектор сморщился.

— А, чушь! — сказал он. — Физику спьяну почудилась какая-то ерунда...

— Ах, ерунда?.. — неопределенным тоном произнес хозяин и вышел, аккуратно притворив за собой дверь.

Некоторое время инспектор неподвижно сидел, прихлебывая кофе и глядя перед собой. Потом вдруг вздрогнул и резко повернул голову. В стену ударили чем-то тяжелым — раз и еще раз. Вздрогнула и чуть покосилась картина, изображающая утро в горах. Инспектор быстро выскочил в коридор, распахнул дверь в соседний номер и включил свет. Номер был пуст, стук прекратился, но под столом кто-то возился и сопел. Инспектор отшвырнул тяжелое кресло и заглянул под стол. Там, втиснутый между тумбочками, в страшно неудобной позе, обмотанный веревками и с кляпом во рту, сидел, скрючившись в три погибели, опасный гангстер, маньяк и садист Хинкус и таращил из сумрака слезящиеся мученические глаза.

Инспектор выволок его на середину комнаты и вырвал изо рта кляп.

— Что это значит? — спросил он.

В ответ Хинкус принялся кашлять. Он кашлял долго, с надрывом, с сипением, и, пока он кашлял, инспектор заглянул в туалетную, взял бритву и разрезал на Хинкусе веревки. Бормоча ругательства, Хинкус принялся ощупывать себе шею, запястья, бока.

— Кто это вас? — спросил инспектор.

— Почем я знаю! — буркнул Хинкус. — Схватили сзади... Я и охнуть

не успел... — Он поднял левую руку и отогнул рукав. — А, черт! Часы раздавил, сволочь... Сколько сейчас, инспектор?

— Час ночи.

— Час ночи... — повторил Хинкус. — Час ночи... — Глаза у него остановились. — Нет, — сказал он, — надо выпить.

Он поднялся. Легким толчком инспектор усадил его снова.

— Успеется, — сказал он.

— А я хочу выпить! — сказал Хинкус, повышая голос и снова делая попытку встать.

— А я вам говорю: успеется! — сказал инспектор, пресекая эту попытку.

— Кто вы такой, чтобы распоряжаться? — в полный голос взвизгнул Хинкус.

— Тихо! — крикнул инспектор. — Произошло убийство. Вы на подозрении, Хинкус! Поэтому отвечайте на вопросы!

— Убийство?.. — Хинкус приоткрыл рот. — А я-то здесь при чем? Меня самого без малого укокошили...

— Кто? — быстро спросил инспектор.

Хинкус молча смотрел на него, потом его страшно передернуло, прямо-таки перекосило на сторону.

— Кто вас связал? Кого вы подозреваете?

И тут Хинкус заплакал. Сначала тихонько, весь содрогаясь, кусая пальцы, потом все громче, навзрыд, истерически взвизгивая и подскуливая. Инспектор, сунув руки в карманы, ошеломленно глядел на него, потом сказал:

— Ну, хватит. Пойдемте.

Он привел Хинкуса в свой номер, взял с подоконника бутылку и отдал ему. Хинкус жадно схватил спиртное и надолго присосался к горлышку.

— Господи... — прохрипел он, утираясь. — Смачно-то как!..

— Вы можете хотя бы примерно сказать, когда вас схватили? — спросил инспектор.

— Что-то около девяти, — сказал Хинкус, всхлипывая.

— Дайте часы.

Хинкус послушно отстегнул часы, прижимая бутылку к груди. Часы были раздавлены, стрелки показывали восемь сорок три.

— Слушайте, Хинкус, — мягко сказал инспектор. — Тот, кто вас схватил... Ведь вы видели его и раньше? Днем? На крыше?

Хинкус только дико глянул на него и снова присосался к бутылке. Лицо его перекосилось, по серым щекам снова поползли слезы.

Хозяин расположился в холле за журнальным столиком. Перед ним лежали какие-то счета, он сосредоточенно нажимал клавиши калькулятора. Рядом, прислоненный к стене, стоял тяжелый многозарядный винчестер.

— Алек, — сказал инспектор. — Дайте ключ от вашего сейфа. Я спрячу туда эту штуку... — Он показал хозяину чемодан.

— Пойдемте, — сказал хозяин, поднимаясь.

Чадо, свернувшись клубочком, безмятежно посапывало в глубоком кресле перед полупогасшим камином. Инспектор окликнул его, потом потряс за плечо. Чадо не желало просыпаться, оно неразборчиво чертыхалось, жалобно мычало и отчаянно отлягивалось. В конце концов инспектор усадил его прямо и тряхнул так, что оно проснулось.

— Какого дьявола? — спросило оно сонным баском.

— Снимите очки! — приказал инспектор.

— Еще чего!..

Инспектор протянул руку и снял очки сам. Конечно, это была девушка — и премилая, хотя глаза у нее и припухли со сна.

— Чего вы хамите! — сказала она, закрываясь. — Отдайте! Фараон чертов!

— А ну! — свирепо сказал инспектор. — Быстро и немедленно говорите: когда и где вы расстались с Олафом? Живо!

— С каким еще Олафом? Отдайте очки!

— Олаф убит, и вы последняя, кто видел его живым. Когда это было? Где? Живо, ну!

Брюн отшатнулась и, словно защищаясь, вытянула руки ладонями вперед.

— Неправда!.. Не может быть!.. — прошептала она.

— После ужина, — сказал инспектор спокойно, — вы вышли с ним из столовой и направились — куда?

— Н-никуда... просто вышли в коридор...

— А потом?

— А потом... мы вышли в коридор... я плохо помню... память у меня паршивая... Он что-то сказал... а я... это...

Инспектор покачал головой:

— Попробуйте еще раз.

— Ну... ну, дело было так. Мы вышли в коридор, и он принялся меня хватать. Пришлось дать ему по морде... по лицу. Ну, он обиделся, обругал меня и ушел...

— Где это было?

— В коридоре... у столовой...

— Хватит врать, скверная девчонка! — гаркнул инспектор. — Я видел вас у дверей Олафа! Если вы будете лгать и изворачиваться, я надену на вас наручники, — инспектор сунул руку в карман, — и отправлю в тюрьму! Дело идет об убийстве. Это вы понимаете?!

Брюн молчала. Она сидела съежившись, забившись в уголок кресла. Потом опустила голову и закрыла лицо руками.

— Он мне нравился, — прошептала она. — Он был такой добрый... сильный. Глупый... Мы пошли к нему в номер... Мне очень хотелось, чтобы он меня поцеловал... Мы просто болтали... Он был очень смешной, ничего не понимал... А потом я уже собиралась уходить, но тут раздался грохот, и я сказала: «Слушайте, лавина!» Он вдруг схватился за голову, как будто что-то вспомнил... и бросился к окну, но сейчас же вернулся, схватил меня за плечи и буквально выбросил в коридор. Я чуть не полетела... И разозлилась ужасно... Все настроение пропало... Вот и все.

— Так, — сказал инспектор. — Он кинулся к окну... Может быть, его кто-нибудь позвал?

— Нет, я не слышала.

— А в коридоре вы кого-нибудь видели?

— Никого. А еще до того, как мы вошли в номер, многих видела. Симоне видела, вас с хозяином... Еще этого видела... маленького такого... сутулого... Хинкуса!

— Стоп! — сказал инспектор. — Когда вы вышли из столовой?

— Часов в девять... Да, я точно помню — часы пробили девять, и я сказала Олафу: пошли...

— И после этого вы видели Хинкуса? Вы не ошибаетесь?

— Да нет... Правда, он сразу свернул на лестничную площадку... Но это был он — маленький, в этой своей дурацкой шубе до пят... А что такое? — Брюн перешла на шепот. — Это он убил? Хинкус, да?

Инспектор отпер дверь номера Хинкуса и остановился на пороге. Везде горел свет — в прихожей, в туалетной, в спальне. Сам Хинкус, оскаленный, мокрый, сидел на корточках за кроватью. Посредине комнаты валялся поломанный стул, а Хинкус сжимал в кулаке одну из ножек.

— Это вы... — сказал Хинкус хрипло и выпрямился.

— Вот что, — сказал инспектор, надвигаясь на него. — Вы сказали, что вас схватили в восемь сорок, но вас видели в коридоре после девяти! Вы будете говорить мне правду или нет?

На лице Хинкуса промелькнула растерянность.

— Меня?.. После девяти?..

— Да. Вы шли по коридору и свернули на лестничную площадку.

— Я? — Хинкус вдруг судорожно хихикнул. — Я шел по коридору?.. — Он снова хихикнул. И еще раз. И еще. — Я? Меня?.. Вот то-то и оно, инспектор, — проговорил он, захлебываясь. — Вот то-то и оно! Меня видели в коридоре... И я тоже видел меня! И я схватил меня... и я связал меня... и я замуровал меня в стену! Я — меня! Понимаете? Я — меня!..

В котельной инспектор спросил, указывая на большую железную дверь:

— А здесь что?

— Склад солярки.

Инспектор, поднатужившись, откатил дверь.

— Включите-ка свет, — попросил он.

— Лампочка перегорела. Все не соберусь ввинтить новую...

— А, ч-черт... Дайте фонарик.

— Пожалуйста. — Хозяин дал ему фонарик. — Но двойника Хинкуса там нет.

Они вошли в темное помещение. Луч фонарика скользнул по рядам грязных железных бочек, по затоптанному полу, по штабелям каких-то ящиков.

— Вы заблуждаетесь в самой основе, Петер, — продолжал хозяин. — Вы решили, что в отеле скрывается какой-то незнакомый нам человек. Вы идете по самому естественному пути, именно поэтому вы заблуждаетесь особенно сильно.

— Что вы предлагаете? — угрюмо спросил инспектор.

— Я ничего не предлагаю, Петер. Пока. Я все жду, когда вы созреете.

— Я уже перезрел. Я скоро упаду.

Хозяин хмыкнул и ничего не сказал. Некоторое время они молчали. Инспектор, чертыхаясь, освобождал полу пиджака.

— Хотите, для начала я расскажу вам, что именно почудилось нашему любвеобильному физику? — спросил хозяин.

— Ну, попробуйте.

— Наш любвеобильный физик залез в постель к госпоже Мозес и обнаружил там вместо живой женщины бездыханный манекен...

Инспектор резко обернулся и осветил фонариком лицо хозяина.

— Куклу, Петер, — сказал хозяин, щурясь от яркого света. — Мертвую, холодную куклу...

В холле хозяин поставил перед инспектором большую, исходящую паром кружку с кофе и сам опустился в кресло напротив.

— ...Если использовать терминологию современной науки, — неторопливо говорил он, — то зомби — мертвый человек, имеющий внешность живого, — представляет собою очень точный биологический механизм...

— Хватит, Алек, — с бешенством сказал инспектор. — К черту теорию. Я вас спрашиваю: откуда вы знаете, что увидел Симоне в номере госпожи Мозес? Вы что — тоже залезали к ней в постель?!

Хозяин смотрел на него грустными глазами.

— Да, — сказал он наконец с сожалением. — Вы еще не созрели. Ну, хорошо... — Он вздохнул. — Пусть будут одни факты. Шесть дней тому назад я отправился в номер к господину Мозесу, чтобы вернуть ему паспорта. Я был несколько рассеян и, постучав, отворил дверь, не дождавшись разрешения. В кресле посредине комнаты я увидел то, что при желании можно было бы назвать госпожою Мозес. Это была большая в натуральную величину кукла, похожая на госпожу Мозес и одетая в точности, как она. Это длилось считанные секунды. Сзади ко мне подошел господин Мозес и твердой рукой оттянул от двери...

— Кукла... — сказал инспектор задумчиво.

— Зомби, — мягко поправил его хозяин.

— Кукла... — повторил инспектор, не обращая на него внимания. — А какой у Мозеса багаж?

— Несколько обычных чемоданов и гигантский, окованный железом дорожный сундук.

Инспектор разочарованно вздохнул.

— Я знал миллионера, который везде таскал с собой коллекцию ночных горшков. А Мозесу, как видно, нравится возить с собою куклу своей жены. — Инспектор ухмыльнулся. — В конце концов, такой способ отваживать ухажеров ничем не хуже других. Даже еще смешнее. Ей-богу, славная шутка!..

— Ну вот вы все и объяснили, — тихонько проговорил хозяин. Он вдруг перегнулся через ручку кресла и принялся шарить между креслом и стеной. — Я вам уже рассказывал, Петер, что зомби обладает нечеловеческой силой... — Он не без труда вытащил и положил прямо на счета перед инспектором скрученный, завязанный узлом, еще влажный от растаявшего снега швеллер.

— Ну? — сказал инспектор без особого интереса. — Я уже видел эту

штуку. На крыше.

— И, вероятно, решили, что Алек Сневар на досуге занимается абстрактной скульптурой. Так вот, Алек Сневар искусством не занимается. Алек Сневар под присягой готов показать, что еще вчера это был обыкновенный прямой швеллер.

Инспектор помолчал, глядя на хозяина исподлобья, потом сказал негромко:

— Вот смотрю я на вас, Алек, и никак не могу понять: почему это вы так стараетесь запутать следствие? Зачем это вам? Ведь у вас стопроцентное алиби...

Хозяин вздернул голову, но ответить не успел — в коридоре глухо загавкал Лель.

— Так, — сказал хозяин, поднимаясь. — Мы еще продолжим этот разговор, а сейчас пойдемте — наш бедняга проснулся и зовет маму.

Незнакомец сидел на кровати, до пояса закрывшись одеялом. Чужая ночная рубашка была ему явно велика — ворот висел хомутом, обнажая острые ключицы. На лице его не было растительности — только несколько волосков на месте бровей да редкие белесые ресницы. Он сидел, откинувшись на подушку, но, увидев инспектора, живо наклонился вперед и спросил:

— Вы — Олаф Андварафорс?

Такого вопроса инспектор не ожидал. Он поискал глазами стул, придвинул его к кровати, уселся и только тогда ответил:

— Нет, я инспектор полиции Петер Глебски.

— Да? — сказал незнакомец удивленно, но без всякого беспокойства. — Но где же Олаф Андварафорс?

— Прошу прощения, — сказал инспектор. — Прежде всего мне хотелось бы узнать, кто вы такой и как вас зовут.

— Луарвик, — сказал незнакомец.

— А имя?

— Имя? Луарвик.

— Господин Луарвик Луарвик?

— Да.

— Хорошо. Кто вы?

Незнакомец уставился на него немигающими глазами. Он явно не понимал вопроса.

— Луарвик, — сказал он. — Я — Луарвик. — Он помолчал. — Луарвик Луарвик.

— Вы иностранец? — спросил инспектор.

— Очень. В большой степени.

— Вероятно, швед?

— Вероятно. В большой степени швед.

Дверь за спиной инспектора скрипнула. Он обернулся. На пороге, добродушно улыбаясь, стоял Мозес.

— Сюда нельзя, — резко сказал инспектор. Мозес, продолжая улыбаться, внимательно рассматривал незнакомца. Инспектор вскочил и пошел на него грудью. — Прошу вас немедленно выйти, господин Мозес... Прошу...

— Да-да... — проговорил Мозес, вытесняемый в коридор. — Конечно... Извольте... — Он все глядел на незнакомца.

Инспектор снова закрыл дверь и повернулся к Луарвику.

— Это был Олаф Андварафорс? — спросил тот.

— Нет, — сказал инспектор. — Олаф Андварафорс убит сегодня ночью.

— Убит... — повторил Луарвик. В голосе его не было ни удивления, ни страха, ни горя. — Я хочу его видеть.

— Зачем?

— Я хочу надеть одежду, — заявил Луарвик. — Я не хочу лежать. Я хочу видеть Олафа Андварафорса.

— Вы хотите опознать труп? Так я вас понимаю?

— Опознать?.. Узнать?

— Как вы можете его узнать, — сказал инспектор, — если не знаете его в лицо?

— Какое лицо?! Зачем лицо? — удивился Луарвик. — Я хочу видеть, что это не есть Олаф Андварафорс. Что это есть другой.

— Почему вы думаете, что это — другой? — быстро спросил инспектор.

— Почему вы думаете, что это Олаф Андварафорс? — возразил Луарвик.

Несколько секунд инспектор молча смотрел на него, потом встал и, сказав: «Одевайтесь», подошел к окну. Он смотрел на зубчатые скалы, уже озаренные розовым светом восходящего солнца, на бледное пятно луны, на чистую темную синеву неба. За спиной у него раздавалось какое-то шипение, шуршание, невнятное бормотание, почему-то двигали стулом. Потом Луарвик сказал: «Я одел».

Инспектор обернулся и удивился. Он очень удивился, но тут же подошел к Луарвику, поправил и застегнул ему воротник, перестегнул

пуговицы на пиджаке и пододвинул ему ногой шлепанцы. Пока инспектор все это делал, Луарвик покорно стоял, растопырив руки. Потом он с сомнением посмотрел на шлепанцы и проговорил:

— Это не мое. У меня не так.

— Ваши туфли еще не высохли, — сказал инспектор. — Обувайте это.

Можно было подумать, что Луарвик никогда в жизни не имел дела со шлепанцами. Дважды он с размаху пытался загнать в шлепанцы ноги и дважды промахивался, каждый раз теряя при этом равновесие. У него вообще было неважно с равновесием — видно, ему здорово досталось, и он далеко еще не пришел в себя. Поэтому, пока они шли через холл и поднимались по лестнице, инспектор на всякий случай придерживал его за локоть.

Хозяин проводил их задумчивым взглядом. Он устроился в холле за журнальным столиком. Тяжелый многозарядный винчестер стоял рядом, прислоненный к стене.

Перед дверью номера Олафа они остановились. Инспектор внимательно оглядел наклейки, достал ключ и распахнул дверь. Затем он посторонился, пропуская Луарвика вперед. Луарвик остановился над трупом и, закинув руку за спину, наклонился над ним. Ни брезгливости, ни страха, ни благоговения — его лицо было абсолютно равнодушно.

— Я удивлен, — сказал он наконец без всякого выражения. — Это есть Олаф Андварафорс на самом деле.

— Как вы его узнали? — сейчас же спросил инспектор.

Луарвик, не распрямляясь, повернул голову и посмотрел на инспектора снизу вверх. Он стоял, нагнувшись, расставив ноги, глядел на инспектора и молчал. Потом он произнес:

— Вспомнил. Видел раньше.

— Где вы его видели раньше?

— Там. — Луарвик, не разгибаясь, махнул рукой куда-то за окно. — Это не есть главное. — Он разогнулся и заковылял по комнате, странно вертя головой. Инспектор весь подобрался, не спуская с него глаз.

— Вы что-нибудь ищете? — спросил инспектор вкрадчиво.

— Олаф Андварафорс имел предмет, — сказал Луарвик. — Где?

— Вы ищете чемодан? Вы за ним приехали?

— Где он? — повторил Луарвик.

— Чемодан у меня.

— Это хорошо, — сказал Луарвик. — Я хочу его иметь здесь. Принесите.

— Ладно, — сказал инспектор. — Но сначала вы ответите на мои

вопросы.

— Зачем? — с огромным удивлением спросил Луарвик. — Зачем снова вопросы?

— Вы получите чемодан только в том случае, — терпеливо объяснил инспектор, — если из ваших ответов станет ясно, что вы имеете на него право.

— Не понимаю.

— Если чемодан ваш, — сказал инспектор, — если Олаф привез его для вас, докажите это. Тогда я его вам отдам.

И тут Луарвик вдруг как-то обмяк, словно из него выпустили воздух.

— Не надо, — сказал он. — Не хочу. Хочу лежать. Где можно?

Он часто и тяжело дышал.

Ослепительное солнце заливало долину, снежный покров был чист и нетронут, как новенькая накрахмаленная простыня, инспектор попрыгал на месте, пробуя крепления, гикнул и побежал навстречу солнцу, все наращивая темп, зажмурившись от солнца и наслаждения, и встречный ветер развевал его шарф, а где-то сзади таял и растворялся в кристально чистом воздухе проклятый отель, черный как гроб, мрачная развалина, населенная призраками и мертвецами, и только Лель, весело и яростно лая, мчался следом, то обгоняя, то скача рядом, и все норовил схватить за ногу, и лаял, лаял, весело, звонко, оглушительно, и наконец ему удалось схватить инспектора за штанину, и инспектор проснулся.

Лель облизывал ему уши и щеки, теребил штанину, толкался и легонько покусывал за руку. Инспектор с досадой отпихнул его и сел в кресле.

— Ты что мне спать не даешь!.. — проговорил он и осекся.

На блестящей лакированной поверхности столика, рядом с бумагами и счетами хозяина, лежал огромный черный пистолет. Он лежал в лужице воды, и комочки нерастаявшего снега еще облепляли его, и, пока инспектор смотрел, один комочек сорвался со спускового крючка и упал на поверхность стола. Инспектор оглядел холл. В холле было пусто, только Лель стоял рядом и, наклонив голову набок, серьезно-вопросительно смотрел на инспектора. Из кухни доносился звон кастрюль и слышался негромкий басок хозяина.

— Это ты принес? — шепотом спросил инспектор Леля.

Лель продолжал смотреть на инспектора. Лапы у него были в снегу, с лохматого брюха капало. Инспектор облизнул пересохшие губы и взял пистолет в руки.

— Где ты это нашел, старик? — пробормотал он.

Лель игриво мотнул головой и боком скакнул к двери.

— Понятно, — сказал инспектор. — Подожди минутку.

Он еще раз огляделся и, на ходу запихивая пистолет в боковой карман, торопливо пошел к выходу.

За дверью Лель скатился с крыльца и, проваливаясь в снег, поскакал вдоль фасада. Инспектор схватил первые попавшиеся лыжи, кое-как закрепил их на ногах и побежал следом. Они обогнули гостиницу, и Лель устремился прочь и остановился метрах в тридцати. Инспектор подъехал к нему и огляделся. Он увидел ямку в снегу, откуда Лель выкопал пистолет, борозды, которые оставил пес, прыгая через сугробы, и следы своих лыж позади. В остальном пелена снега вокруг была нетронута. В тридцати метрах возвышалась гладкая, без окон, стена отеля, и были отлично видны беседка на крыше, радиоантенна и раскрытый шезлонг Хинкуса.

— Что-нибудь новенькое, Петер? — спросил хозяин.

Они разговаривали в буфетной. Перед инспектором стояла тарелка с бутербродами. Инспектор кивнул, проглотил и сказал:

— Да, есть кое-что... Кстати, вы интересовались, Алек, что такое настоящее гангстерское оружие... полюбуйтесь. — Он вытащил из кармана и положил на стойку пистолет.

Хозяин оглядел пистолет, прищурившись, тихонько присвистнул.

— Между прочим, — продолжал инспектор, — вы слыхали когда-нибудь, чтобы пистолеты заряжались серебряными пулями?

Хозяин молчал, выпятив челюсть. Инспектор вынул обойму и выщелкал из нее несколько патронов. Хозяин взял один, повертел перед глазами и снова положил на место.

— Я читал об этом... — проговорил он. — Оружие заряжают серебряными пулями, когда собираются стрелять по призракам... (Инспектор хмыкнул.) Вурдалака не убьешь обычной пулей. И вервольфа... и жабью королеву... и зомби... Вы уж извините, Петер, но так пишут в книгах.

Инспектор пожал плечами и снова принялся за еду.

— При чем здесь «извините»... — проворчал он. — Понимаете, Алек, потусторонний мир — это все-таки ведомство церкви, а не полиции...

— Да нет, пожалуйста... — сказал хозяин. — Вы спросили, я ответил... — Он помолчал. — Вы узнали, чей это пистолет?

— Да есть тут у нас один охотник за зомби, — сказал инспектор. — Хинкус его фамилия. Дело в том, Алек...

Лель, лежавший у ног инспектора, вдруг грозно зарычал, вскочил и забился в углу под стол. Шерсть на нем встала дыбом. Инспектор замолчал и оглянулся.

В дверях, весь какой-то корявый и неестественный, стоял господин Луарвик Луарвик. Пиджак сидел на нем как-то особенно криво, брюки сползли и имели такой вид, словно их жевала корова.

— Один небольшой, но важный разговор, — объявил он.

— В чем дело? — спросил инспектор, собирая патроны и вставляя обойму в пистолет. Луарвик, по-птичьи наклонив голову, осматривал комнату. — Не ищите, чемодана здесь нет. Вы готовы отвечать на мои вопросы?

— Не надо вопросов, — сказал Луарвик. — Надо быстро убрать чемодан. Это не чемодан. Футляр. Внутри прибор. Олаф не убит. Олаф умер. От прибора. Прибор очень опасный — угроза для всех. Олаф дурак — он умер. Мы умные — мы не умрем. Скорее давайте чемодан.

— Так, — сказал инспектор. — Хорошо. Я вам дам чемодан. Что вы станете с ним делать?

— Увезу подальше. Попробую разрядить.

— Прекрасно, — сказал инспектор. — Поехали. — Он шагнул к двери. — Ну? Что же вы стоите?

Луарвик молчал.

— Не годится, — сказал он наконец. — Попробуем по-другому. — Он полез за пазуху и вытащил толстенную пачку банкнот. — Я даю деньги. Много денег. Вы даете мне чемодан. — Он положил пачку на стойку.

— Сколько здесь? — спросил инспектор.

— Мало? Тогда еще вот. — Луарвик полез в боковой карман, вытащил еще одну такую же пачку и бросил ее рядом с первой.

— Господи!.. — пробормотал хозяин ошеломленно.

— Сколько здесь денег? — повторил инспектор, повысив голос.

— Я не знаю, но все ваши, — ответил Луарвик.

— Ах, не знаете? А где вы их взяли? Вы явились сюда с пустыми карманами. Кто вам их дал? Мозес?

Луарвик молча попятился к двери.

— Вот что, Луарвик, — сказал инспектор. — Эти деньги я конфискую. Алек, вы свидетель: попытка подкупа.

Он взял обе пачки и, сложив в одну, взвесил на ладони.

— Вы взяли деньги? — оживился Луарвик. — А где чемодан?

— Я их конфисковал.

— Конфисковал... Хорошо. А где чемодан?

— Вы не понимаете, что такое «конфисковал»? — сказал инспектор. — Так вот пойдите и спросите у Мозеса...

Луарвик пятясь вышел. Инспектор отдернул штору — за окном было утро.

— Здесь, наверное, тысяч сто, — сказал хозяин. — Неужели этот чемодан столько стоит?

— Наверное, гораздо больше, — сказал инспектор. — Мозес... Мозес или Хинкус... — Он помолчал. — Ну ладно. Сейчас я попробую запустить хорька в этот курятник...

В столовой еще никого не было. Кайса расставляла тарелки с сандвичами. Инспектор выбрал себе место спиной к буфету, лицом — к входной двери, взял сандвич и, нехотя жуя, стал ждать. Часы пробили девять, и вошел Симоне — в толстом пестром свитере, свежевыбритый, но с помятым лицом.

— Ну и ночка, инспектор, — сказал он, усаживаясь. — Я и пяти часов не спал. Нервы разгулялись. Все время кажется, будто тянет мертвечинкой по дому... Нашли что-нибудь?

— Смотря что, — сказал инспектор мрачно.

— Ага... — сказал Симоне и неуверенно хохотнул. — Вид у вас неважный.

Вошла Брюн, по-прежнему в очках, с прежним нахально задранным носом. Она буркнула неразборчиво: «Привет» — и села, нахохлившись, уткнувшись в тарелку.

— Коньяку бы сейчас выпить... — сказал Симоне с тоской. — Но ведь неприлично... Или ничего? А, инспектор?

Инспектор пожал плечами и отхлебнул кофе.

— Жаль, — сказал Симоне. — А то бы я выпил...

В коридоре послышались шаги, инспектор весь поджался, уставясь в дверь. Вошли Мозесы. Эти были как огурчики. То есть это госпожа Мозес была как огурчик, как персик, как ясное солнышко. Но и старик был по-своему хорош: в петлице у него шевелилась астра, благородные кудри пушисто серебрились вокруг маковки, аристократический нос был устремлен вперед и вниз.

— Доброе утро, господа! — хрустально прощебетала мадам.

Инспектор покосился на Симоне. Симоне косился на госпожу Мозес. В глазах его было какое-то недоверие. Потом он судорожно передернул плечами и схватился за кофе.

— Прелестное утро! Так тепло, солнечно... Бедный Олаф — он не

дожил до этого утра.

— Как ваши дела, дорогой инспектор? — осведомился господин Мозес, искательно глядя на инспектора.

— Следствие напало на след, — сообщил тот. — В руках у полиции ключ. Много ключей. Целая связка.

Симоне снова загоготал было, но сразу же сделал серьезное лицо. Дверь отворилась, и на пороге появился Луарвик Луарвик в сопровождении хозяина.

— Доброе утро, господа! — произнес хозяин. — Позвольте представить вам господина Луарвика Луарвика, прибывшего к нам сегодня ночью...

— Очень приятно, господин Луарвик, — сказал Мозес, покровительственно улыбаясь.

Хозяин усадил Луарвика за стол и вопросительно посмотрел на инспектора. Инспектор наклонил голову, и хозяин тотчас же вышел.

Луарвик оглядел стол, выбрал крупный лимон и стал его есть, откусывая вместе с кожурой. По узкому подбородку его потек на пиджак желтоватый сок. У инспектора свело скулы, и он снова стал смотреть на дверь. А в дверь уже осторожно протискивался Хинкус. Он вошел и сразу остановился. Мозес равнодушно-приветливо покивал ему и вновь обратился к своему кофе. А вот Хинкус с лицом совладать не сумел. Сначала вид у него сделался совершенно обалделый, затем на лице явственно проступила радость, он даже заулыбался совершенно по-детски, потом перехватил удивленный взгляд инспектора, потупился и направился к своему месту.

— Как вы себя чувствуете, Хинкус? — спросил Симоне.

Хинкус вскинул на него вдруг ставшие бешеными глаза.

— Я-то себя ничего чувствую, — сказал он, усаживаясь. — Вы кое у кого другого спросите, как он себя чувствует...

— То есть как это? — удивился Симоне.

— А вот так... — Хинкус бешено уставился на Мозеса. — Что — не выгорело дельце? Сорвалось, а, старина?

До крайности изумленный господин Мозес откинулся на спинку кресла.

— Это вы мне? — спросил он.

— Ладно, ладно, — пробормотал Хинкус, с остервенением запихивая салфетку себе за ворот. — Замнем для ясности... — Он обеими руками взял большой сандвич, краем заправил его в рот, откусил и, ни на кого не глядя, принялся жевать.

— Господин Хинкус сегодня встал с левой ноги, — безмятежно улыбаясь, сказала госпожа Мозес. — Он, наверное, плохо спал, и ему приснилось что-нибудь нехорошее...

Хинкус коротко глянул на нее и сейчас же отвел глаза. За столом воцарилось неловкое молчание. Неловко было всем, кроме Луарвика. Луарвик, казалось, ничего не видел и не слышал. Он ел второй лимон. Хозяин поспешно сказал:

— Господа, я понимаю — нервы напряжены. Но мы должны помнить, что следствие находится в надежных руках господина инспектора Глебски, а тот факт, что мы оказались временно отрезаны от внешнего мира...

— Одну минуточку, — сказал инспектор. — Я имею сообщить следующее. Какие-то мерзавцы избрали этот отель местом сведения своих личных счетов. Предупреждаю, что два часа назад я воспользовался любезностью господина Сневара и отправил с почтовым голубем донесение в окружную полицию. Полицейский вертолет должен быть здесь с часу на час. А потому я предлагаю упомянутым мерзавцам прекратить всякую преступную деятельность, дабы не ухудшать своего и без того безнадежного положения. Благодарю за внимание, господа.

— Ах, как интересно! — восхищенно воскликнула госпожа Мозес. — Значит, среди нас есть бандиты? Ах, инспектор, ну хотя бы намекните, мы поймем!..

Инспектор не ответил. Разговор больше не возобновлялся, тихонько звякали ложечки в стаканах, все продолжали завтракать в молчании, не глядя друг на друга.

Первым поднялся Симоне. Он предложил руку госпоже Мозес, и они вместе покинули столовую. Господин Мозес извлек из-за стола Луарвика, поставил его на ноги, и тот, меланхолично дожевывая лимон, потащился за ним, заплетаясь башмаками. Потом ушла и Брюн. За столом остался только Хинкус. Он сосредоточенно ел, словно намеревался заправиться на долгий срок. Кайса собирала посуду, хозяин помогал ей. Инспектор неторопливо курил, разглядывая Хинкуса прищуренными от дыма глазами. Когда тот, наконец, поднялся тоже, инспектор сказал:

— Подождите-ка, Хинкус. Нам надо поговорить.

— Это насчет чего? — угрюмо осведомился Хинкус.

— Да насчет всего.

— Не о чем нам говорить. Ничего я по этому делу не знаю.

— А это мы сейчас увидим, — сказал инспектор. — Пойдемте-ка в бильярдную... Алек, будьте добры, спуститесь в холл и посидите там, как сидели ночью. Понимаете?

— Понимаю, — сказал хозяин. — Будет сделано.

Инспектор распахнул дверь в бильярдную, залитую ярким утренним солнцем, и пропустил Хинкуса вперед. Хинкус вошел и остановился на жарких солнечных квадратах, сунув в карманы руки и жуя спичку. В зале гремела тарелками Кайса, напевая что-то тонким голоском. Инспектор взял у стены стул, поставил его на самое солнце и сказал: «Сядьте». Хинкус сел и сразу сощурился — солнце било ему в лицо.

— Полицейские штучки... — проворчал он с горечью.

— Служба такая, — сказал инспектор и присел перед Хинкусом на край бильярда, в тени. — Ну, Хинкус, так что там у вас произошло с Мозесом?

— С каким еще Мозесом? Я его и знать-то не знаю.

— Это вы тоже знать не знаете? — Инспектор вытащил пистолет, показал издали и положил на бильярд рядом с собой.

Хинкус быстрым движением перебросил изжеванную спичку из одного угла рта в другой. Он молчал. В дверь просунулась Кайса и пропищала:

— Подать что-нибудь?

— Идите, идите, Кайса, — нетерпеливо сказал инспектор. — Ступайте... Ну? — сказал он Хинкусу.

Хинкус проворчал:

— Ничего я по этому делу не знаю. А вот точно знаю, что жалобу на вас подам — за истязание больного человека.

— Хватит болтать, Филин! — гаркнул инспектор. — Ты гангстер! Тебя разыскивает полиция! Ты влип, Филин! Твои ребята не поспели, потому что случился обвал! А полиция будет здесь самое большее через два часа. И если ты хочешь отделаться семьдесят второй, тяни на пункт «це» — чистосердечное признание до начала официального следствия! Понял, какая картинка?!

Хинкус выплюнул изжеванную спичку, покопался в карманах и вытащил мятую пачку сигарет. Затем он поднес пачку ко рту, губами вытянул сигарету и задумался. Инспектор сидел на краю бильярда, свесив одну ногу, а другой упираясь в пол, курил и, зло усмехаясь, разглядывал струйки дыма в солнечном свете.

И тут Хинкус вдруг наклонился вперед, поймал его за свисающую ногу, изо всех сил дернул на себя и повернул. Инспектора снесло с бильярда, и он всеми своими девяноста килограммами, плашмя, физиономией, животом, коленями грянулся об пол.

Первое, что инспектор увидел, придя в себя, был плафон над

бильярдом. По плафону бегали солнечные зайчики. Инспектор застонал и сел, прислонившись к ножке бильярда. Хинкус валялся неподалеку, скорчившись, обхватив руками голову, а над ним, как Георгий Победоносец над поверженным змием, возвышался Симоне с обломком тяжелого кия в руке.

— Вам повезло, инспектор, — сказал он, сияя. — Куда вам досталось? По плечу?

Инспектор кивнул. Говорить он не мог. Здоровой рукой достал из кармана платок и осторожно промокнул ссадину на лбу. Хинкус застонал, заворочался и попытался сесть. Он все еще держался за голову. Инспектор взял с подоконника графин, подобрался к Хинкусу и облил его водой. Хинкус зарычал и оторвал одну руку от макушки. Симоне присел на корточки рядом с ним.

— Надеюсь, я не перестарался? — озабоченно сказал он.

— Ничего, старина, все будет в порядке, — сказал инспектор. — Сейчас мы его живо приведем в порядок. Принесите-ка еще воды.

— И бренди! — с энтузиазмом подхватил Симоне.

— Правильно, — сказал инспектор.

Симоне принес еще воды и бутылку спиртного. Инспектор разжал Хинкусу рот и вылил в него полстакана коньяку. Остальные полстакана он выпил сам. Потом Хинкуса оттащили к стене, прислонили спиной, инспектор снова облил его из графина и два раза ударил по щекам. Хинкус открыл глаза и громко задышал.

— Еще коньяку? — спросил инспектор.

— Да... — сипло выдохнул Хинкус. Он выпил, облизнулся и спросил: — Так что вы там говорили насчет семьдесят второй «це»?

— Признания пока еще не было, — напомнил инспектор.

— Сейчас будет, — говорил Хинкус. — Но семьдесят вторую «це» вы мне обещаете? Вот в присутствии этого физика-химика?

— Ладно, — сказал инспектор. — Рассказывай... И смотри, если ты хоть слово соврешь... Ты мне два зуба расшатал, сволочь...

— Значит, так... — начал Хинкус. — Меня намылил сюда Чемпион. Слыхали про Чемпиона? Еще бы не слыхать... Так вот, полгода назад пригребся в нашу компанию один тип. Звали его у нас Вельзевулом. Работал он самые трудные и неподъемные дела. Например, работал он Второй Национальный банк — помните? Или, скажем, задрал он броневик с золотыми слитками... В общем, красиво работал, чисто, но вдруг решил завязать. Почему — не знаю, я человек маленький, но говорят, что поцапался он с самим Чемпионом и рванул когти. Вот Чемпион и намылил

нас кого куда — ему наперехват. Приказ был такой: засечь его, взять на мушку и свистнуть Чемпиона. Вот я его и засек здесь. Тут и все мое чистосердечное признание.

— Так, — сказал инспектор. — Ну и кто же у нас здесь Вельзевул?

— Ясно кто — Мозес.

— Та-ак. А кто такой Луарвик?

— Какой Луарвик? А, это который все лимоны жрал... Первый раз вижу.

— А Олаф? Тоже из вашей банды?

Хинкус прижал руку к сердцу.

— Вот тут, шеф, как на духу! Как в церкви, шеф! Сам ничего не знаю и ничего не понимаю. Я его не трогал. Одно скажу, шеф, — Вельзевул на мокрое дело ни за что не пошел бы: у него зарок такой — не убивать. У него тогда вся чародейская сила пропадет, если он живую душу загубит...

— Какая еще чародейская сила?

— Ха! — сказал Хинкус. — То-то и оно! Вельзевул, он что? Тьфу! Его соплей перешибить можно. А вот баба его... Ясное дело, кто сам не видел, тот не поверит, но я-то своими глазами видел, как она сейф в две тонны весом по карнизу несла...

— Ну-ну, Филин... — сказал инспектор.

— Что, не верите? — сказал Хинкус, криво усмехаясь. — Ну ладно, пускай я вру. А как броневик с золотом брали, знаете? Подошел человек, перевернул броневик на бок — голыми руками, — и пошло дело... В газетах же писали.

— Газеты врут, а ты повторяешь, — сказал инспектор.

— Повторяю... Чего мне повторять, когда я сам это видел... Да чего там: вот сейчас я вас, извиняюсь, как ребенка положил, шеф, а ведь вы мужчина рослый, умелый... Сами посудите, кто ж это меня мог таким манером скрутить и под стол засунуть?

— Кто? — спросил инспектор.

— Она! — В глазах Хинкуса плеснулся пережитый ужас. — Матерь пресвятая, сижу я там, а она стоит передо мной... то есть я сам и стою — голый, мертвый и глаза вытекли... Как я там с ума не свихнулся — не понимаю! Пью, пью и ведь не пьянею — как на землю лью!.. Господи, матерь пресвятая!.. Как она этот рельс взяла...

Хинкус сделал движение руками, словно завязывал что-то в узел. Лицо задергалось.

— Какой рельс? — ошеломленно пробормотал инспектор.

Симоне быстро налил полстакана и подал Хинкусу. Тот жадно высосал

спиртное, утерся, глядя перед собой стеклянными глазами.

— Я ведь как думал: сяду на крыше, все вокруг видно, живьем, думаю, не выпущу ни за что. Пули, думаю, серебряные — возьмут... Тут-то он ее на меня и наслал... Она ведь любой вид принимать может... Думали, гады, меня с ума свести, да не вышло у них! Тогда она меня и скрутила. — Хинкус безнадежно махнул рукой. — «Люгер» отобрала — я ей сам отдал, на, думаю, возьми, отпусти только душу на покаяние...

— Какой рельс? — гаркнул инспектор.

— Хе!.. — сказал Хинкус. — Вы думаете, она кто? Баба? Она и не человек вовсе.

Инспектор свирепо глядел на него.

— Покойник она, — шепотом сказал Хинкус. — Днем живая ходит, а ночью мертвая лежит!

Симоне, только что хлебнувший бренди, поперхнулся и закашлялся. Инспектор растерянно поглядел на него. Кашляя, Симоне выпученными глазами смотрел на Хинкуса. Тогда инспектор сильно потер ладонями щеки и сказал сквозь зубы:

— Стоп, Филин. Оставим это. Объясни лучше, почему они тебя просто не шлепнули?

— Так я же говорю: нельзя ему людей убивать, нельзя. Это же все знают. Господи, да разве я взялся бы его выслеживать, если бы этого не знал?

— Пусть так. Хорошо... Ну а почему они не смылись, когда тебя связали?

Хинкус замотал головой.

— Не знаю. Тут я сам ни черта не понимаю. Я уверен был — все: открутит мне теперь башку Чемпион. Смотрю — а они здесь! Не знаю... Может быть, дорогу завалило? Так ведь этой ведьме завал разбросать — раз плюнуть.

— Каким образом? — вдруг спросил Симоне. Он был необычайно серьезен и даже как-то хмур.

— Что? — сказал Хинкус.

— Как она может разбросать завал?

— Ну как... Как бульдозер! Как она подкоп под музей делала. Только дым шел... Она и на человека-то похожа не была — машина и машина...

— Слушайте, Симоне, — сказал инспектор. — Может быть, это гипноз?

Симоне не ответил, а Хинкус обиделся.

— Ладно-ладно, — сказал он. — Гипноз... Мне-то что, я свою игру

отыграл. А вот вам, шеф, еще придется с ней встретиться...

— Хватит об этом, — резко сказал инспектор. — Чемпион должен приехать один?

— Ну зачем один. При нем всегда трое, сами знаете...

— Что он собирается делать с Вельзевулом?

— Откуда мне знать, — угрюмо сказал Хинкус. — Шлепнуть он его собирался, — добавил он. — От Чемпиона не завяжешь.

— Так, — сказал инспектор. — Ну ладно... Симоне... Я вас попрошу... — Он осекся. Симоне в комнате не было. Рядом с его стулом стоял недопитый стакан.

В конторе инспектор, залепленный пластырем, морщась от боли в поврежденном плече, рассматривал оружие, разложенное на столе: тяжелый многозарядный винчестер, две охотничьи двустволки, облезлый старинный «смит-вессон». Хозяин, притихший и испуганный, с виноватым видом стоял рядом.

— Н-да... — процедил инспектор, щелкая расхлябанным механизмом «смит-вессона». — Не густо... Это все?

— Но ведь, Петер, — осторожно сказал хозяин, — на машине сюда не проедешь — обвал...

— Вы воображаете, что вертолеты есть только у полиции? Я удивляюсь, почему его до сих пор нет... — Инспектор с отвращением швырнул револьвер в угол. — Черт бы вас подрал, Алек! Надо быть полным идиотом, чтобы не завести в этом отеле рацию!

— Понимаете, — виновато сказал хозяин, — мне это невыгодно...

— Ах, это вам невыгодно! А то, что через два часа нас всех сожгут из огнемета, — это вам выгодно? Чемпион свидетелей не оставляет. Мы даже в горы не можем удрать — он найдет нас по следу!.. Ладно. Берите свою пушку и пошли к Мозесу.

— Зачем? — спросил хозяин, поднимая голову.

— Попробую взять его за глотку.

Инспектор вытащил из кармана «люгер» и положил пистолет за пазуху.

— Сволочь... — прошипел он сквозь зубы, ощупывая плечо. — Сломал-таки мне ключицу.

Хозяин нехотя взял винчестер, прислоненный к сейфу, но не тронулся с места.

— В чем дело? — спросил инспектор жестко.

— У меня нет серебряных пуль, Петер, — негромко сообщил хозяин.

— Так будете стрелять свинцовыми, мать вашу так... — гаркнул

инспектор. — И прекратите этот срам — нет там никакого зомби! Там всего-навсего, — он сказал это с огромной язвительностью, — всего-навсего гангстер первого класса и гипнотизер невероятной силы. Ясно?

— Ясно, — кротко сказал хозяин.

Они вышли в коридор, хозяин запер дверь в контору, позвал Леля и велел ему сидеть у порога. В доме было тихо, только Кайса на кухне звякала посудой.

Когда они вышли в холл, инспектор сказал:

— Подождите меня здесь, я сбегаю за Симоне. Лишний человек не помешает.

Он вбежал по лестнице на второй этаж и постучал к Симоне. Никто не откликнулся. Инспектор открыл дверь и заглянул в номер. Номер был пуст. Инспектор снова вышел в коридор, миновал опечатанный номер Олафа, заглянул в следующий номер, нежилой, и без стука ввалился в номер к Брюн. Брюн, пригорюнившись, сидела за столом с дымящейся сигаретой на губе. Перед ней стояла основательно початая бутылка и включенный транзистор. Из транзистора тянулась приглушенная сладенькая мелодия.

— Прошу прощения, — сказал инспектор. — Симоне здесь нет? — Он и сам видел, что нет.

Брюн медленно повернула голову, уставилась черными окулярами и произнесла хрипловато:

— Дверь закройте... Или туда, или сюда...

Инспектор затворил дверь и, все ускоряя шаг, двинулся по коридору. Он заглядывал в нежилые номера, сунулся к Хинкусу, миновал столовую и осмотрел бильярдную. Симоне нигде не было. Закусив губу, он уже почти бегом вернулся к Брюн. Она сидела все в той же позе, только сигарета докурилась почти до губ.

— Простите, Брюн, — сказал инспектор. — Вы Симоне не видели?

Брюн сунула окурок в пепельницу, пьяно хихикнула и сказала:

— Что — и этого стукнули? Правильно, чего время терять...

— Вы видели его после завтрака?

— Нет, — сказала Брюн. — И видеть не хочу...

Некоторое время инспектор молча глядел на нее, потом сказал:

— Слушайте, Брюн. Нам всем грозит очень большая опасность. Я вас прошу: возьмите свой транзистор и идите на крышу. Как только увидите какой-нибудь вертолет, или самолет... или, может быть, людей на дороге, сразу бегите ко мне. Я буду в номере у Мозеса.

— А на кой черт все это?

— Я вам потом объясню. В общем, нас всех могут перебить, если мы

зазеваемся... Так можно на вас надеяться?..

Вряд ли на нее можно было особенно надеяться, но она поднялась, взяла под мышку транзистор и стала искать пальто.

Инспектор повернулся и побежал вниз, в холл. Хозяин стоял там, как часовой у денежного ящика — с винчестером у ноги. Увидев лицо инспектора, он сразу спросил:

— Что случилось?

— Симоне пропал, — сказал инспектор сквозь зубы. — Ладно, пошли...

По дороге к номеру Мозеса инспектор заглянул еще в комнату Луарвика, но там тоже было пусто. Бормоча проклятия, инспектор двинулся дальше по коридору и остановился перед дверью с номером один. Здесь он оглянулся на хозяина. Хозяин держал винчестер на изготовку, лицо у него потемнело от нервного напряжения. Инспектор кивнул ему, чтобы ободрить, и рывком распахнул дверь.

Прямо перед ним, спиной к нему, стоял какой-то человек, мучительно знакомый и в то же время совершенно неуместный, совершенно невозможный здесь. Инспектор застыл на пороге. Человек быстро обернулся и отступил в сторону. Инспектор узнал его: это был инспектор полиции Петер Глебски.

— К стене, — севшим голосом сказал инспектор, тяжело шагнув вперед. Пистолет он держал в руке, изо всех сил сжимая рукоять. Ноги плохо слушались его. Как в тумане он видел перед собой строгое с поджатыми губами лицо Мозеса, стоявшего за столом; белое с закаченными глазами лицо Луарвика, лежавшего в кресле, и свое собственное лицо, равнодушное, равнодушно улыбающееся, невозможное, совершенно невероятное, — у него кружилась голова, когда он глядел на себя самого, и слабели ноги.

— Всем к стене! — повторил он хрипло.

— Уберите оружие, Петер, — сказал голос Симоне.

Инспектор дернулся. Симоне тоже был здесь — сидел верхом на стуле в сторонке, тоже сумрачный, строгий, сосредоточенный.

— Оружие здесь не понадобится, — сказал он. — Никто не собирается на вас нападать.

Инспектор покосился на своего двойника и испытал новый шок. Двойника не было: у стены, приветливо улыбаясь, стояла госпожа Мозес во всей красе.

— Так, — сказал инспектор. Он чувствовал, что рубашка прилипла ему к лопаткам. — Значит, вы тоже из этой банды, господин физик... Не

двигаться! — гаркнул он, заметив, что госпожа Мозес намеревается отойти в сторону, к свободному креслу.

— Здесь нет никакой банды, — сказал Симоне. — Здесь все гораздо сложнее, чем вы думаете, Петер. Это не люди...

— Помолчите, — сказал ему инспектор, не сводя глаз с Мозеса.

— Это не люди, — повысив голос, сказал Симоне. — Это пришельцы с другой планеты...

— Я вам сказал, помолчите! — сказал инспектор. — С вами я поговорю потом!

— Черт бы вас подрал! — рявкнул Симоне. — Вы дадите мне сказать хоть два слова, полицейская вы балда! Это пришельцы с другой планеты, понимаете! Они попали в беду, им надо помочь, а не размахивать «люгером»!

— Всё? — сказал инспектор. — Теперь сядьте и заткнитесь... Мозес, вы арестованы по обвинению в принадлежности к гангстерской шайке Джона О'Хара, известного по кличке Чемпион, а также в убийстве доброго гражданина Олафа Андварафорса.

— Слушайте!.. — в отчаянии воскликнул Симоне. Инспектор не обратил на него внимания.

— Предлагаю сдать оружие и прекратить все ваши гипнотические упражнения. Предупреждаю, что все, что вы с этого момента скажете, может быть использовано против вас на суде.

Мозес молчал. Он стоял, ссутулившись, тяжело опершись руками на стол, заваленный исписанной, исчерканной бумагой, лицо его обвисло, глаза полузакрыты. Потом он медленно сказал:

— Оружия у меня нет. И я не совершил никаких преступлений. Вы заблуждаетесь, инспектор. Я не участвовал в гангстерской шайке. Я помогал людям, которые боролись за справедливость. Ваша жизнь оказалась слишком сложной для меня. Когда я увидел, как вы здесь живете, я понял, что не могу быть просто наблюдателем. Я хотел помочь, я задыхался от жалости...

— Он был наблюдателем, понимаете! — вмешался Симоне. — Ему было запрещено вступать в контакт!

— Да, — сказал Мозес. — Мне было запрещено. Я нарушил запрет, и оказалось, что меня обманули. Оказалось, что это бандиты. Мафия или что-то в этом роде... Как только я понял это, я бежал. Часть убытков я уже возместил. Вот... — Он порылся в куче бумаг, вытащил чековую книжку, протянул ее инспектору. — Миллион крон я уже внес в Государственный банк. Остальное будет возмещено золотом, когда я вернусь домой. Чистым

золотом...

Инспектор взял книжку, не глядя сунул ее в карман.

— Продолжайте, — сказал он.

— Теперь об Олафе, — сказал Мозес. — Олаф не убит. Олаф не может быть убит, потому что он вообще не живое существо. Олаф и вот Ольга — это, как у вас называется, кибернетические устройства, роботы, запрограммированные так, чтобы походить на среднего человека соответствующего социального положения... Мы должны были покинуть Землю прошлой ночью. Здесь в горах наша стартовая площадка. Но случилась авария... Вот Луарвик — он наш пилот, он сильно пострадал, видите. И еще при взрыве погибла энергетическая станция, которая питала наших роботов. Ольгу я подключил к переносному аккумулятору... — он двумя пальцами поднял со стола и показал инспектору черную коробочку, — а аккумулятор Олафа, чемодан — помните? — оказался у вас. Олаф почему-то не успел включить свой аккумулятор... И вот мы здесь застряли. Я очень прошу вас помочь нам.

Все молчали. Госпожа Мозес любезно улыбалась, стоя у стены. Потом Луарвик что-то пробормотал и неуклюже заворочался в кресле. Мозес положил ему руку на лоб, и он затих. Инспектор сказал:

— Это вы меня вызвали сюда?

— Да. Я надеялся, что вы отвлечете Хинкуса.

— Записка — тоже ваша работа?

— Да. И браунинг.

— Плохо, — сказал инспектор. — Неуклюже.

— Да, — сказал Мозес. — Не умею я такие вещи... Поймите, я не преступник. Я виноват, конечно, но ведь еще не все потеряно. Вместо меня пришлют другого, и со временем мы установим с вами официальный контакт, поможем вам — поможем вам уничтожить на Земле горе, страх, нищету, ненависть... Дайте нам возможность вернуться домой, инспектор!..

— Вы могли уже двадцать раз уйти отсюда, — угрюмо сказал инспектор. — Мне понадобилось вас арестовать, чтобы узнать об этом вашем желании.

— Мы не можем уйти. Только Олаф умеет исправлять повреждения. Он механик. Без него мы как без рук. А аккумулятор у вас. Отдайте нам чемодан, и мы уйдем.

— Ах, чемодан!.. — неприятно улыбаясь, сказал инспектор.

— Слушайте, Петер, — снова вмешался Симоне. Видно было, что он изо всех сил сдерживается и очень старается говорить спокойно. — Ведь вы хотели бы, чтобы никакого убийства не было? Отдайте им чемодан, они

на ваших глазах снова включат Олафа и уйдут... Поймите, если бы не эта авария, их бы здесь уже давно не было, и не было бы убийства...

— Не пойдет, — коротко сказал инспектор и встал.

— Да почему же! — в полном отчаянии заорал Симоне, потрясая кулаками.

— Слишком много вранья наворочено вокруг этого чемодана, — жестко сказал инспектор. — Хватит на эту тему!.. Господин Вельзевул, повторяю: вы арестованы. Имейте в виду, Чемпион ищет вас, чтобы убить. Имейте это в виду, когда начнется стрельба. В ваших показаниях будет разбираться суд, и я могу вам только обещать, что буду защищать вас силой оружия до последнего. Всё.

Он шагнул к двери, и тут Симоне, налившись кровью, заорал во все горло:

— Да подождите же, черт вас дери!.. Стойте!.. Вот... Вот... Вот чертеж их корабля! — Он хватал со стола и тыкал в лицо инспектору смятые бумаги. — Вот траектория их полета... Вот схема робота... Вы можете понять: Ольга не человек. Это робот. Вы понимаете, каких высот в науке они достигли, если умеют создавать таких роботов!.. Вы понимаете, что мы потеряем, если они погибнут? Боже мой, Мозес, не стойте столбом! Покажите этому болвану хотя бы то, что вы показывали мне!..

Мозес схватил черную коробочку и завертел ее в длинных белых пальцах. Инспектор попятился, выставив перед собою «люгер». Он не отрываясь смотрел на госпожу Мозес. А госпожи Мозес уже не было — вместо нее хихикал, показывая плохие зубы, Филин-Хинкус. Потом он расплылся, потерял очертания и вдруг превратился в Симоне. Потом — в хозяина, потом — в инспектора, потом в какого-то незнакомого человека с толстой сигарой в зубах, потом — в Кайсу и наконец снова в госпожу Мозес, которая подхватила с пола скрученный узлом швеллер и легко, как пластилин, развязала его.

Инспектор медленно вытер с лица выступившую испарину. Он хотел заговорить и не мог. А Симоне кричал, брызгая слюной:

— Ну!.. Ну!.. Вы видели? Теперь вы верите?.. Ну!..

— Всем арестованным оставаться в комнате, — проговорил наконец инспектор и повернулся к двери.

— Инспектор, — сказал вдруг Мозес ему в спину. — Ну хотя бы Луарвика. Я — ладно... Пусть... Но отпустите хотя бы Луарвика. Он ни в чем не виноват. И он не приспособлен долго жить у вас, на Земле. Его не тренировали специально, как меня. Он умирает. Я прошу уже не за себя, инспектор...

Инспектор, не оборачиваясь, шагнул в дверь. Хозяин молча последовал за ним, и уже в коридоре огромными прыжками их нагнал Симоне.

— Вы понимаете, что вы делаете? — сказал он задыхаясь. — Ведь вы наврали насчет почтовых голубей?.. Если поможем им бежать, у нас хоть совесть будет чиста.

— Это у вас она будет чиста, — сказал инспектор угрюмо. — У меня будет замарана по самые уши...

— Но они же ни в чем не виноваты! Их обманом втянули в эту историю.

— В этом будут разбираться другие инстанции.

Они вышли через холл и остановились у дверей конторы.

— Вот тебе и первый контакт... — бормотал Симоне, голова его была опущена, плечи ссутулились. — Вот тебе и встреча двух миров!..

— Не капайте мне на мозги, — сказал ему инспектор. — Алек, отправляйтесь в холл, это будет ваш пост. Симоне, перестаньте ныть. Поднимитесь на крышу и следите за небом. Я буду здесь, в конторе.

Он достал ключ и отпер дверь.

— Алек, — в отчаянии сказал Симоне. — Попробуйте вы. Помогите мне убедить этого кретина!..

Инспектор вошел в контору, с грохотом захлопнул за собой дверь и повернул ключ. Симоне ударил в дверь обоими кулаками и заорал:

— Вы, мелкая полицейская пешка! Вы понимаете, что единственный и последний раз в жизни судьба бросила вам кусок! В ваших руках действительно важное решение, а вы ведете себя, как распоследний тупоголовый...

Инспектор не слушал его. Он подошел к окну, оглядел пустую равнину, опустил железные жалюзи и сел за стол. Он осторожно взялся обеими руками за голову и несколько секунд сидел неподвижно, постанывая сквозь зубы. Потом снял телефонную трубку. Трубка молчала. Инспектор постучал по рычагу, оскалился, швырнул трубку и яростно ударил кулаком по аппарату. Потирая ушибленную руку, встал, прошелся по комнате, остановился у стены, постоял, прислонясь лбом к холодной облицовке, потом вернулся к двери. За дверью было тихо. По-видимому, Симоне и хозяин уже ушли. Инспектор отпер дверь, выглянул. В коридоре было пусто, только у выхода в холл сидел, откинув хвост, Лель, неподвижный, как изваяние. Инспектор тихонько прикрыл дверь и снова сел за стол. Лицо у него осунулось, глаза стали бессмысленными. Некоторое время он сидел не двигаясь, потом произнес:

— Ну, хорошо... Ну а что делать-то? Делать-то что?.. — Он положил

голову на руки.

Дверь скрипнула, и инспектор поднял голову. Бесшумно ступая, вошла Брюн, чуть пошатываясь, остановилась у стола. Одной рукой она прижимала к груди початую бутылку, в другой был стакан. Она поставила все это на стол перед инспектором, а сама повалилась в кресло для посетителей.

— Ну, хорошо, — сказал инспектор. Он думал вслух. Он почти не замечал Брюн. — Пусть он пришелец. Пусть... Дальше-то что? Проходу же не будет... Поймал, в руках держал — и выпустил. Все отдал, нате, пользуйтесь, и — выпустил... Поверил краснобаю.

— Не верьте, — решительно сказала Брюн. — Нельзя.

— Просто он гипнотизер... Блестящий, невиданный мастер... Водит вокруг пальца, а мне два года до пенсии. — Инспектор застонал. — Какого черта я не уехал отсюда сразу же... Настойки эдельвейсовой ему захотелось, идиоту... — Он снова застонал и взялся за голову. — А если даже пришельцы? Мне-то какое дело? Какое мне до них дело?.. Не хочу я за них отвечать...

— Главное — не верьте, — снова сказала Брюн. — Никому нельзя верить. Я один раз поверила, всего один раз, и вот сижу в этой дыре — одна, и никому не нужна... В нашем прекрасном, замечательном, вонючем, гадском мире... Никому!

Она налила полстакана бренди, отхлебнула и передала стакан инспектору. Тот машинально допил остальное.

Тут дверь отворилась, и вошли Симоне с хозяином. Хозяин поставил перед инспектором кружку кофе, а Симоне, не обращая внимания на Брюн, взял у стены стул и уселся напротив инспектора.

— Луарвику совсем плохо, — сказал он. — Он задыхается. Мозес говорит, что больше часа ему не выдержать. Вы его загубите, Глебски, и это будет скотский поступок...

Держа «люгер» одной рукой, инспектор взял кружку другой, поднес ко рту и поставил обратно.

— Отстаньте от меня, — сказал он устало. — Все вы болтуны. Алек заботится о целости своего заведения, а вы, Симоне, просто интеллектуал на отдыхе.

— А вы-то, — сказал Симоне, — вы-то о чем заботитесь? Лишнюю бляху захотелось на мундир?

Брюн вдруг встала, неуверенным движением подхватила бутылку и вышла, бормоча: «Везде одно и то же... Скучища... Вранье».

— Нет, — сказал инспектор, покачав головой. — Не в этом дело, хотя

лишняя бляха полицейскому не помешает... Я не эксперт, Симоне. Я полицейский чиновник. Вы ни черта не смыслите в законе, Симоне. Вы воображаете, что существует один закон для людей, а другой — для вурдалаков и пришельцев. Мозес — бандит. Моя обязанность — передать его суду... Даже если он пришелец... Вот все, что я знаю.

Симоне молча щерился, глядя на него. Хозяин подошел к окну и поднял штору. Инспектор оглянулся на него.

— Зачем вы это сделали?

Прижимаясь лицом к стеклу, хозяин оглядывал небо.

— Да вот все посматриваю, Петер... — медленно сказал он, не оборачиваясь. — Жду, Петер... Жду...

Инспектор положил «люгер» на стол, взял кружку обеими руками и, закрыв глаза, сделал несколько глотков. И тут он ощутил, как сильные руки взяли его сзади за локти. Он открыл глаза и дернулся, и застонал.

— Ничего, Петер, ничего... — ласково сказал хозяин. — Потерпите.

Симоне с озабоченным и виноватым видом уже засовывал «люгер» себе в карман.

— Предатели!.. — сказал инспектор с удивлением.

— Нет-нет, Петер, — сказал хозяин. — Но надо быть разумным. Не одним законом жива совесть человеческая...

Симоне, осторожно зайдя сбоку, похлопал инспектора по карманам. Звякнули ключи. Инспектор рванулся изо всех сил и потерял сознание от страшной боли в поврежденном плече. Когда он пришел в себя, Симоне уже выходил из комнаты с чемоданом в руке, а хозяин, все еще придерживая инспектора за локти, тревожно говорил:

— Поторапливайтесь, Симоне, поторапливайтесь. Ему плохо...

Инспектор хотел заговорить, но у него перехватило горло, и он только захрипел. Хозяин озабоченно наклонился над ним.

— Господи, Петер... — проговорил он. — На вас лица нет...

— Бандиты... — прохрипел инспектор. — Арестанты...

— Да-да, конечно, — покорно согласился хозяин. — Вы всех нас арестуете и правильно сделаете, только потерпите немного, не рвитесь, ведь вам же очень больно, я вас пока все равно не выпущу...

Но инспектор рванулся снова, и все завертелось у него перед глазами, все застлала мутная звенящая пелена, и в этом тумане, сквозь этот звон раздавались какие-то неразборчивые голоса, кто-то кричал, кто-то торопил, что-то трещало и гремело, звенело разбиваемое стекло, и когда инспектор опомнился, он лежал на полу, а хозяин стоял рядом с ним на коленях и смачивал ему лоб мокрой тряпкой. Он был очень бледен.

— Помогите мне сесть, — прохрипел инспектор. Хозяин повиновался.

Дверь была распахнута настежь, слышались возбужденные голоса, потом что-то снова грохнуло и затрещало. Хозяин болезненно сморщился.

— Пр-роклятущий сундук! — произнес он сдавленным голосом. — Опять косяк разворотили...

Под окном голос Мозеса гаркнул с нечеловеческой силой:

— Готовы? Вперед!.. Прощайте, люди! До встречи! До настоящей встречи!..

Голос Симоне прокричал в ответ что-то неразборчивое, а затем стекла дрогнули от какого-то жуткого клекота и свиста, и стало тихо. Инспектор поднялся на ноги и пошел к двери. Хозяин суетился рядом. Он беззвучно шевелил губами, кажется, молился. По широкому лицу его стекали капли пота.

Они вышли в пустой холл, по которому гулял ветер. Входная дверь была снесена, журнальный столик перевернут и раздавлен.

Инспектор направился к лестнице, но на первых же ступеньках ему стало дурно и он остановился, вцепившись в перила. Хозяин кинулся поддержать, но инспектор отпихнул его и сказал:

— Убирайтесь к черту! Слышите?..

Он медленно побрел по лестнице, цепляясь за перила, миновал Брюн, испуганно прижавшуюся к стене, поднялся на второй этаж и направился в свой номер. Дверь номера Олафа тоже была распахнута, там было пусто. И тут внизу кто-то закричал — отчаянно, истошно, страшно:

— Вот они!.. Поздно!.. Будь оно все проклято! Поздно!..

Голос сорвался. Внизу в холле затопали, что-то упало, покатилось, и вдруг все эти звуки перекрыло ровное далекое гудение. Тогда инспектор повернулся и, спотыкаясь, побежал к чердачной лестнице.

Вся широкая снежная долина распахнулась перед ним. Вдаль, к синеющим горам, уходили две голубоватые совершенно прямые лыжни. Они уходили на север, наискосок от отеля, и там, где они кончались, видны были черные, словно нарисованные на белом, фигурки беглецов. Впереди мчалась госпожа Мозес с гигантским сундуком под мышкой, а на плечах у нее нелепо и дико моталась длинная, как удилище, фигура Мозеса. Правее, чуть отставая, ровным финским шагом несся Олаф с Луарвиком на спине. Они мчались быстро, сверхъестественно быстро, а сбоку, им наперерез, сверкая на солнце лопастями и стеклами кабины, заходил вертолет. Вся долина была наполнена ровным мощным гулом. Вертолет медленно, словно бы неторопливо, снижался, прошел над беглецами, обогнал их, вернулся, опускаясь все ниже, а они продолжали стремительно мчаться по

долине, будто ничего не видя и не слыша, и тогда в это могучее монотонное гудение ворвался новый звук, злобный отрывистый треск, и беглецы заметались, а потом Олаф упал и остался лежать неподвижно, кубарем покатился по снегу Мозес, а Симоне рвал на инспекторе воротник и рыдал ему в ухо: «Видишь!.. Видишь!..» А потом вертолет повис над неподвижными телами, медленно опустился и скрыл тех, кто лежал неподвижно, и тех, кто еще пытался ползти. Снег закрутился вихрем, и сверкающая снежная туча встала горбом на фоне сизых отвесных скал. Снова послышался злобный треск пулемета, и хозяин сел на корточки, закрыв глаза ладонями, а Симоне все рыдал, все кричал: «Добился?.. Добился своего? Дубина... Мерзавец!..»

Вертолет так же медленно поднялся из снежной тучи и, косо уйдя в пронзительную синеву неба, исчез за хребтом. И тогда внизу тоскливо и жалобно завыл Лель.

ПЯТЬ ЛОЖЕК ЭЛИКСИРА

Время действия: наши дни, поздняя весна.

Место действия: крупный город, областной центр на юге нашей страны.

Двухкомнатная квартира писателя средней руки Феликса Александровича Снегирева. Обычный современный интерьер. Кабинет идеально прибран: все полированные поверхности сияют, книги на полках выстроены аккуратными рядами, кресла для гостей, полосатый диван — красивы и уютны, пол чист и блестит паркетом. Порядок и на рабочем столе: пишущая машинка зачехлена, массивная стеклянная пепельница сияет первозданной чистотой, рядом затейливая зажигалка и деревянный ящичек, наполовину заполненный каталожными карточками.

Два часа дня. За окном — серое дождливое небо.

Феликс — у телефона на журнальном столике под торшером. Это обыкновенной наружности человек лет пятидесяти, весьма обыкновенно одетый для выхода. На ногах у него стоптанные домашние шлепанцы.

— Наталья Петровна? — говорит он в трубку. — Здравствуй, Наташенька! Это я, Феликс... Ага, много лет, много зим... Да ничего, помаленьку. Слушай, Наташка, ты будешь сегодня на курсах?.. До какого часу? Ага... Это славно. Слушай, Наташка, я к тебе забегу около шести, есть у меня к тебе некое маленькое дельце... Хорошо? Ну, до встречи...

Он вешает трубку и устремляется в прихожую. Быстро переобувается в массивные ботинки на толстой подошве, натягивает плащ и нахлобучивает на голову бесформенный берет. Затем берёт из-под вешалки огромную авоську, набитую пустыми бутылками из-под кефира, лимонада, «Фанты» и подсолнечного масла.

Слегка согнувшись под тяжестью стеклотары, выходит он на лестничную площадку за порогом своей квартиры и остолбенело останавливается.

Из дверей квартиры напротив выдвигаются два санитара с носилками, на которых распростерт бледный до зелени Константин Курдюков, сосед и шапочный знакомый Феликса, третьестепенный поэт городского масштаба. Увидев Феликса, он произносит:

— Феликс! Сам господь тебя послал мне, Феликс!..

Голос у него такой отчаянный, что санитары враз останавливаются.

Феликс с участием наклоняется над ним.

— Что с тобой, Костя? Что случилось?

Мутные глаза Курдюкова то закатываются, то сходятся к переносице, испачканный рот вяло распущен.

— Спасай, Феликс! — сипит он. — Помираю! На коленях тебя молю... Только на тебя сейчас и надежда... Зойки нет, никого рядом нет...

— Слушаю, Костя, слушаю! — говорит Феликс. — Что надо сделать, говори...

— В институт! Поезжай в институт... Институт на Богородском шоссе — знаешь?.. Найди Мартынюка... Мартынюк Иван Давыдович... Запомни! Его там все знают... Председатель месткома... Скажи ему, что я отравился, ботулизм у меня... Помираю!.. Пусть даст хоть две-три капли, я точно знаю — у него есть... Пусть даст!

— Хорошо, хорошо! Мартынюк Иван Давыдович, две капли... А чего именно две капли? Он знает?

На лице у Кости появляется странная, неуместная какая-то улыбка.

— Скажи: мафуссалин! Он поймет...

Тут из Костиной квартиры выходит врач и напускается на санитаров:

— В чем дело? Чего стоите? А ну, давайте быстро! Быстро, я говорю!

Санитары пошли спускаться по лестнице, а Костя отчаянно кричит:

— Феликс! Я за тебя молиться буду!..

— Еду, еду! — кричит ему вслед Феликс. — Сейчас же еду!

Врач, воткнув незажженную «беломорину» в угол рта, стоит в ожидании лифта. Феликс испуганно спрашивает его:

— Неужели и вправду ботулизм?

Врач неопределенно пожимает плечами:

— Отравление. Сделаем анализы, станет ясно.

— Мартынюк Иван Давыдович, — произносит Феликс вслух и, когда врач взглядывает на него непонимающе, торопливо поясняет: — Нет, это я просто запоминаю. Мартынюк, председатель месткома... Мафуссалин...

Дверь лифта раскрывается, и они входят в кабину.

— А как вы полагаете, — спрашивает Феликс, — мафуссалин этот и от ботулизма поможет?

— Как вы сказали?

— Мафуссалин, по-моему... — произносит Феликс смущенно.

— Впервые слышу, — сухо говорит врач.

— Какое-нибудь новое средство, — предполагает Феликс.

Врач не возражает.

— Может быть, даже наиновейшее, — говорит Феликс. — Это, знаете

ли, из того института, что на Богородском... Кстати, а куда вы моего Курдюкова сейчас повезете?

— Во Вторую городскую.

— А, это совсем рядом...

У неотложки они расстаются, и Феликс, гремя бутылками, бежит на середину улицы останавливать такси.

Выбравшись из машины, Феликс поудобнее прихватывает авоську и, кренясь под ее тяжестью, поднимается по широким бетонным ступенькам под широкий бетонный козырек институтского подъезда. Навалившись, он распахивает широкую стеклянную дверь и оказывается в обширном холле, залитом светом многочисленных ртутных трубок. В холле довольно много людей, все они стоят кучками и дружно курят. Феликс зацепляется авоськой за урну, бутылки лязгают, и все взгляды устремляются на авоську. Ежась от неловкости, Феликс подходит к ближайшей группе и осведомляется, где ему найти Мартынюка, председателя месткома. Его оглядывают и показывают в потолок. Феликс идет к стойке гардероба и вручает гардеробщику свой плащ и берет. Пытается он всучить гардеробщику и свою авоську, но получает решительный отказ и осторожненько ставит авоську в уголок.

На втором этаже он открывает дверь в одну из комнат и вступает в обширное светлое помещение, где имеет место масса химической посуды, мигают огоньки на пультах, змеятся зеленоватые кривые на экранах, а спиною к двери сидит человек в синем халате. Едва Феликс закрывает за собой дверь, как человек этот, не оборачиваясь, рявкает через плечо:

— В местком! В местком!

— Ивана Давыдовича можно? — осведомляется Феликс.

Человек поворачивается к нему лицом и встает. Он огромен и плечист. Могучая шея, всклокоченная пегая шевелюра, черные, близко посаженные глаза.

— Я сказал — в местком! С пяти до семи! А здесь у нас разговора не будет. Вам ясно?

— Я от Кости Курдюкова... От Константина Ильича.

Предместкома Мартынюк словно бы налетает с разбегу на стену.

— От... Константина Ильича? А что такое?

— Он страшно отравился, понимаете, в чем дело? Есть подозрение на ботулизм. Он очень просил, прямо-таки умолял, чтобы вы прислали ему две-три капли мафуссалина...

— Чего-чего?

— Мафуссалина... Я так понял, что это какое-то новое лекарство... Или я неправильно запомнил? Ма-фус-са-лин...

Иван Давыдович Мартынюк обходит его и плотно прикрывает дверь.

— А кто вы, собственно, такой? — спрашивает он неприветливо.

— Я его сосед.

— В каком это смысле? У него же квартира...

— И у меня квартира. Живем дверь в дверь.

— Понятно. Кто вы такой — вот что я хочу понять.

— Феликс Снегирев. Феликс Александрович...

— Мне это имя ничего не говорит.

Феликс взвивается.

— А мне ваше имя, между прочим, тоже ничего не говорит! Однако я вот через весь город к вам сюда перся...

— Документ у вас есть какой-нибудь? Хоть что-нибудь...

— Конечно, нет! Зачем он вам? Вы что — милиция?

Иван Давыдович мрачно смотрит на Феликса.

— Ладно, — произносит он наконец. — Я сам этим займусь. Идите... Стойте! В какой он больнице?

— Во Второй городской.

— Чтоб его там... Действительно другой конец города. Ну ладно, идите. Я займусь.

— Благодарю вас, — ядовито говорит Феликс. — Вы меня просто разодолжили!

Но Иван Давыдович уже повернулся к нему спиной.

Внутренне клокоча, Феликс спускается в гардероб, облачается в плащ, напяливает перед зеркалом берет и поворачивается, чтобы идти, но тут тяжелая рука опускается ему на плечо. Феликс обмирает, но это всего лишь гардеробщик. Античным жестом он указывает в угол на проклятую авоську.

Феликс выходит на крыльцо, ставит авоську у ноги и достает сигарету. Повернувшись от ветра, чтобы закурить, он обмирает: за тяжелой прозрачной дверью, упершись в стекло огромными ладонями и выставив бледное лицо свое, пристально смотрит на него Иван Давыдович Мартынюк. Словно вурдалак вслед ускользнувшей жертве.

Народу в трамвае великое множество. Феликс сидит с авоськой на коленях, а пассажиры стоят стеной, и вдруг между телами образовывается просвет, и Феликс замечает, что в этот просвет пристально смотрят на него светлые выпуклые глаза. Лишь на секунду видит он эти глаза, клетчатую

кепку-каскетку, клетчатый галстук между отворотами клетчатого пиджака, но тут трамвай со скрежетом притормаживает, тела смыкаются, и странный наблюдатель исчезает из виду. Некоторое время Феликс хмурится, пытаясь что-то сообразить, но тут между пассажирами вновь возникает просвет, и выясняется, что клетчатый наблюдатель мирно дремлет, сложив на животе руки. Средних лет мужчина, клетчатый пиджак, грязноватые белые брюки...

В зале дома культуры Феликс, расхаживая по краю сцены, разглагольствует перед читателями.

— ...С раннего детства меня, например, пичкали классической музыкой. Вероятно, кто-то где-то когда-то сказал, что если человека ежечасно пичкать классической музыкой, то он к ней помаленьку привыкнет и смирится, и это будет прекрасно. И началось! Мы жаждали джаза, мы сходили по джазу с ума — нас душили симфониями. Мы обожали душещипательные романсы — на нас рушили скрипичные концерты. Мы рвались слушать бардов и менестрелей — нас травили ораториями. Если бы все эти титанические усилия по внедрению классической музыки имели бы КПД ну хотя бы как у паровоза, мы бы все сейчас были знатоками и ценителями. Ведь это же тысячи и тысячи часов классики по радио, тысячи и тысячи телепрограмм, миллионы пластинок! А что в результате? Сами видите, что в результате...

Под одобрительный шум в зале Феликс отходит к столику и берет очередную записку.

— «Были ли вы за границей?»

Смех в зале. Возглас: «Как в анкете!»

— Да, был. Один раз в Польше туристом. Два раза в Чехословакии с делегацией... Так. А что здесь? Гм... «Кто, по-вашему, больше боится смерти: смертные или бессмертные?»

В зале шум. Феликс пожимает плечами и говорит:

— Странный вопрос. Я на эту тему как-то не думал... Знаете, по-моему, о бессмертии думают главным образом молодые, а мы, старики, больше думаем о смерти!

И тут он видит, как в середине зала воздвигается знакомая ему клетчатая фигура.

— А что думают о смерти бессмертные? — пронзительным фальцетом осведомляется клетчатая фигура.

Этим вопросом Феликс совершенно сбит с толку и несколько даже испуган. Он догадывается, что это неспроста, что есть в этой сцене некий

непонятный ему подтекст, он чувствует, что лучше бы ему сейчас не отвечать, а если уж отвечать, то точно, в самое яблочко. Но как это сделать — он не знает, а поэтому бормочет, пытаясь то ли сострить, то ли отбрехаться:

— Поживем, знаете ли, увидим... Я, между прочим, пока еще не бессмертный. Мне трудно, знаете ли, о таких вещах судить...

Клетчатого уже не видно в зале, Феликс утирается платком и разворачивает следующую записку.

Покинув дом культуры, Феликс решает избавиться от проклятой авоськи с бутылками. Он пристраивается в небольшую очередь у ларька по приему стеклотары и стоит, глубоко задумавшись.

Вдруг поднимается визг, крики, очередь бросается врассыпную. Феликс очумело вертит головой, силясь понять, что происходит. И видит он: с пригорка прямо на него, набирая скорость, зловеще-бесшумно катится гигантский МАЗ-самосвал с кузовом, полным строительного мусора. Судорожно подхватив авоську, Феликс отскакивает в сторону, а самосвал, промчавшись в двух шагах, с грохотом вламывается в ларек и останавливается. В кабине его никого нет.

Вокруг кричат, ругаются, воздевают руки.

— Где шофер?

— В гастроном пошел, разгильдяй!

— На тормоз! На тормоз надо ставить!

— Да что же это такое, граждане хорошие? Куда милиция смотрит?

— Где моя посуда? Посуда-то моя где? Он же мне всю посуду подавил!

— Спасибо скажи, что сам жив остался...

— Шофер! Эй, шофер! Куда завалился-то?

— Убирай свою телегу!

Выбравшийся из развалин ларька испуганный приемщик в грязном белом халате вскакивает на подножку и ожесточенно давит на сигнал.

Потряхивая головой, чтобы избавиться от пережитого потрясения, Феликс направляется на Курсы иностранных языков к знакомой своей, Наташе, до которой у него некое маленькое дельце.

По коридорам Курсов он идет свободно, как у себя дома, не раздеваясь и нисколько не стесняясь своих бутылок, раскланиваясь то с уборщицей, то с унылым пожилым курсантом, то с молодыми парнями, устанавливающими стремянку в простенке.

Он небрежно стучит в дверь с табличкой «Группа английского языка»

и входит.

В пустом кабинетике за одним из канцелярских столов сидит Наташа, Наталья Петровна, она поднимает на Феликса глаза, и Феликс останавливается. Он ошарашен, у него даже лицо меняется. Когда-то у него была интрижка с этой женщиной, а потом они мирно охладели друг к другу и давно не виделись. Он явился к ней по делу, но теперь, снова увидев эту женщину, обо всем забыл.

Перед ним сидит строго одетая загадочная дама. Прекрасная Женщина с огромными сумрачными глазами ведьмы-чаровницы, с безукоризненно нежной кожей лица и лакомыми губами. Не спуская с нее глаз, Феликс осторожно ставит авоську на пол и, разведя руками, произносит:

— Ну, мать, нет слов!.. Сколько же мы это не виделись? — Он хлопает себя ладонью по лбу. — Ну что за идиот! Где только были мои глаза? Ну что за кретин, в самом деле! Как я мог позволить?

— Гуд ивнинг, май дарлинг, — довольно прохладно отзывается Наташа. — Ты только затем и явился, чтобы мне об этом сказать? Или заодно хотел еще сдать бутылки?

— Говори! — страстно шепчет Феликс, падая на стул напротив нее. — Говори еще! Все, что тебе хочется!

— Что это с тобой сегодня?

— Не знаю. Меня чуть не задавили. Но главное — я увидел тебя!

— А кого ты ожидал здесь увидеть?

— Я ожидал увидеть Наташку, Наталью Петровну, а увидел фею! Или ведьму! Прекрасную ведьму! Русалку!

— Златоуст, — говорит она ядовито, но с улыбкой. Ей приятно.

— Сегодня ты, конечно, занята, — произносит он деловито.

— А если нет?

— Тогда я веду тебя в «Кавказский»! Я угощаю тебя сациви! Я угощаю тебя хачапури! Мы будем пить коньяк и «Твиши»! И Павел Павлович лично присмотрит за всем...

— Ну, естественно, — говорит она. — Сдадим твои бутылки и гульнем. На все на три на двадцать.

Но тут Феликс и сам вспоминает, что сегодняшний вечер у него занят.

— Наточка, — говорит он. — А завтра? В «Поплавок», а? На плес, а? Как в старые добрые времена!..

— Сегодня в «Кавказский», завтра в «Поплавок»... А послезавтра?

— Увы! — честно говорит он. — Сегодня не выйдет. Я забыл.

— И завтра не выйдет, — говорит она. — И послезавтра.

— Но почему?

— Потому что ушел кораблик. Видишь парус?

— Ты прекрасна, — произносит он, как бы не слушая, и пытается взять ее за руку. — Я был слепец. У тебя даже кожа светится.

— Старый ты козел, — отзывается она почти ласково. — Отдай руку.

— Но один-то поцелуй — можно? — воркует он, тщась дотянуться губами.

— Бог подаст, — говорит она, вырывая руку. — Перестань кривляться. И вообще уходи. Сейчас ко мне придут.

— Эхе-хе! — Он поднимается. — Не везет мне сегодня. Ну, а как ты вообще-то?

— Да как все. И вообще, и в частности.

— По-дурацки у нас с тобой получилось...

— Наоборот! Самым прекрасным образом.

— По-деловому, ты хочешь сказать?

— Да. По-деловому.

— А чего же тут прекрасного?

— Без последствий. Это ведь самое главное, диар Феликс, чтобы не было никаких последствий. Ну, иди, иди, не отсвечивай здесь...

Феликс понуро поворачивается к двери, берет авоську и вдруг спохватывается.

— Слушай, Наталья, — говорит он. — У меня же к тебе огромная просьба!

— Так бы и говорил с самого начала...

— Да нет, клянусь, я как тебя увидел — все из головы вылетело... Это я только сейчас вспомнил. У тебя на курсе есть такой Сеня... собственно, не Сеня, а Семен Семенович Долгополов...

— Ну, знаю я его. Лысый такой, из Гортранса... Очень тупой...

— Святые слова! Лысый, тупой и из Гортранса. И еще у него гипертония и зять-пьяница. А ему нужна справка об окончании ваших Курсов. Вот так нужна, у него от этого командировка зависит за бугор... Сделай ему зачет, ради Христа. Ты его уже два раза проваливала...

— Три.

— Три? Ну, значит, он мне наврал. Постеснялся. Да пожалей ты его, что тебе стоит? Он говорит, что ты его невзлюбила... А за что? Он жалкий, невредный человечек... Ну, что ты так смотришь, как ледяная? Что он тебе сделал?

— Он мне надоел, — произносит Наташа со странным выражением.

— Так тем более! Сделай ему зачет, и пусть он идет себе на все четыре стороны... Отсвечивать здесь у тебя не будет... Пожалей!

— Хорошо, я подумаю.

— Ну, вот и прекрасно! Ты же добрая, я знаю...

— Пусть он ко мне зайдет завтра в это время.

— Не зайдет! — произносит Феликс, потрясая поднятым пальцем. — Не зайдет, а приползет на карачках! И будет держать в зубах плитку «Золотого якоря»!

— Только не в зубах, пожалуйста, — очень серьезно возражает Наташа.

Вечереет. Феликс предпринимает еще одну попытку избавиться от посуды. Он встает в хвост очереди, голова которой уходит в недра какого-то подвала. Стоит некоторое время, закуривает, смотрит на часы. Затем, потоптавшись в нерешительности, обращается к соседу:

— Слушай, друг, не возьмешь ли мои? По пять копеек отдам.

Друг отзывается с мрачноватым юмором:

— А мои по четыре не возьмешь?

Феликс вздыхает и, постояв еще немного, покидает очередь.

Он вступает в сквер, тянущийся вдоль неширокой улицы, движение на которой перекрыто из-за дорожных работ. Тихая, совершенно пустынная улица с разрытой мостовой, с кучами булыжников, громоздящихся на тротуаре.

Феликс обнаруживает, что на правом его ботинке развязался шнурок. Он подходит к скамейке, опускает на землю авоську и ставит правую ногу на край скамейки, и вдруг авоська его словно бы взрывается — с лязгом и дребезгом.

Невесть откуда брошенный булыжник угодил в нее и произвел в бутылках разрушения непоправимые. Брызги стеклянного лома усеяли все пространство вокруг ног Феликса.

Феликс растерянно озирается. Сквер пуст. Улица пуста. Сгущаются вечерние тени. В куче стеклянного крошева над распластанной авоськой закопался испачканный глиной булыжник величиной с голову ребенка.

— Странные у вас тут дела происходят... — произносит Феликс в пространство.

Он делает движение, словно бы собираясь нагнуться за авоськой, затем пожимает плечами и уходит, засунув руки в карманы.

В шесть часов вечера Феликс входит в зал ресторана «Кавказский». Он останавливается у порога, оглядывая столики, и тут к нему величественно и плавно придвигается метрдотель Павел Павлович, рослый смуглый

мужчина в черном фрачном костюме с гвоздикой в петлице.

— Давненько не изволили заходить, Феликс Александрович! — рокочет он. — Дела? Заботы? Труды?

— Труды, вашество, труды, — невнимательно отзывается Феликс. — А равномерно и заботы... А вот вас, Пал Палыч, как я наблюдаю, ничто не берет. Атлет, да и только...

— Вашими молитвами, Феликс Александрович. А паче всего — беспощадная дрессировка организма. Ни в коем случае не распускать себя! Постоянно держать в узде!.. Впрочем, вы-то сюда приходите как раз для другого. Извольте вон туда, к окну. Анатолий Сократович вас уже ждут...

— Спасибо, Пал Палыч, вижу... Кстати, мне бы с собой чего-нибудь. Домой к ужину. Ну, там, пару калачиков, ветчинки, а? Но в долг, Пал Палыч! А?

— Сделаем.

В этот момент за спиной Феликса раздается оглушительный лязг. Феликс подпрыгивает на метр и в ужасе оборачивается. Но это всего лишь молоденький официант Вася уронил поднос на металлический столик-каталку.

— Шляпа, дырявые руки, — с величественным презрением произносит метрдотель Павел Павлович.

Главный редактор местного журнала Анатолий Сократович Романюк любит в меру выпить, вкусно закусить и угостить приятного, а тем более — нужного человека.

— Ты, Феликс, пойми, что от тебя требуется прежде всего, — произносит он, выставив перед собой вилку с насаженным на нее ломтиком кеты. — Прежде всего требуется выразить ту мысль, что в наше время понятие смысла жизни неотделимо от высокого морально-нравственного потенциала...

Феликс трясет головой.

— Это, Анатолий Сократыч, я все уже понял... Я хочу тебе возразить, что нельзя все-таки так, с бухты-барахты... Надо все-таки заранее, хотя бы за неделю, а еще лучше — за две... Ты сам подумай: разве это мыслимо — за ночь статью написать?

— Журнал должен быть оперативен! Как вы все этого не понимаете? Журнал по своей оперативности должен приближаться к газете, а не удаляться от нее! Ты знаешь, я тебя люблю. Ты сильно пишешь, Феликс, и я тебя люблю... Печатаю все, что ты пишешь... Но оперативности у тебя нет!

— Так я же не газетчик! Я — писатель!

— Вот именно! Писатель, а оперативности нет! Надо вырабатывать! Возьми, к примеру, этого... Курдюкова Котьку... Знаю, поэт посредственный и даже неважный... Но если ты ему скажешь: «Костя! Чтобы к вечеру было!» — будет. Он, понимаешь, как Чехов. За что я его и люблю. Тут же, понимаешь, на подоконнике пристроится — и готово: «По реке плывет топор с острова Колгуева...» Или еще что-нибудь в этом роде.

Феликс спохватывается.

— Ч-черт! Надо же позвонить, узнать, как он там...

— Где? — кричит редактор уже вслед убегающему Феликсу.

В вестибюле ресторана Феликс звонит на квартиру Курдюкова.

— Зоечка, это я, Феликс... Ну, как там Костя вообще?

— Ой, как хорошо, что вы позвонили, Феликс! Я только что от него! Только-только вошла, пальто еще не снимала... Вы знаете, он очень просит, чтобы вы к нему зашли...

— Обязательно. А как же... А как он вообще?

— Да все обошлось, слава богу. Но он очень просит, чтоб вы пришли. Только об этом и говорит.

— Да? Н-ну... Завтра, наверное. Ближе к вечеру...

— Нет! Он просит, чтобы обязательно сегодня! Он мне просто приказал: позвонит Феликс Александрович — скажи ему, чтобы пришел обязательно, сегодня же.

— Сегодня? Хм... — мямлит Феликс. — Сегодня-то я никак... Тут у меня Анатолий Сократыч сидит.

Зоя не слушает его.

— А если не позвонит, говорит, — продолжает она, — то найди его, говорит, где хочешь. Хоть весь город объезди. Что-то у него к вам очень важное, Феликс... И важное, и срочное...

— Ах, черт, как неудобно получается!..

— Феликс, миленький, вы поймите, он сам не свой... Ну забегите вы к нему сегодня, ну хоть на десять минут!

— Ну ладно, ну хорошо, что ж делать...

Феликс вешает трубку. Беззвучно и энергично шевелит губами. На физиономии его явственно изображен бунт.

Когда Феликс входит в палату, Курдюков сидит на койке и с отвращением поедает манную кашу из жестяной тарелки. Он весь в больничном, но выглядит в общем неплохо. За умирающего его принять невозможно. Палата на шесть коек, у окна лежит кто-то с капельницей, а

больше никого нет — все ушли на телевизор смотреть футбол.

Увидевши Феликса, Курдюков живо вскакивает и так яро к нему бросается, что Феликс даже шарахается от неожиданности. Курдюков хватает его за руку и принимается пожимать и трясти, трясти и пожимать, и при этом говорит как заведенный, почему-то все время оглядываясь на тело с капельницей и не давая Феликсу сказать ни слова:

— Старик! Ты себе представить не можешь, что тут со мной было! Это же десять кругов ада, клянусь тебе всем святым! Сначала меня рвало, потом меня судороги били, потом меня несло, да как! Стены содрогались! Тридцать три струи, не считая мелких брызг! Страшное дело! Но и они тоже времени не теряли... Представляешь, понабежали со всех сторон, с трубками, с наконечниками, с клистирами наперевес, все в белом, жуткое зрелище, шестеро меня держат, шестеро промывают, шестеро в очереди стоят...

Он все оглядывается и, наступая на ноги, теснит Феликса к дверям.

— Да что ты все пихаешься? — спрашивает Феликс, уже оказавшись в коридоре.

— Давай, старик, пойдем присядем... Вон там у них скамеечка под пальмой...

Они усаживаются на скамеечку под пальмой. В коридоре пусто и тихо, только вдали дежурная сестра позвякивает пузырьками да доносятся приглушенные взрывы эмоций футбольных болельщиков.

— Потом, представляешь, кислород! — с энтузиазмом продолжает Курдюков. — Сюда — трубку, в нос — две... Ну, думаю, все, врезаю дуба. Однако нет! Проходит час, проходит другой, прихожу в себя, и ничего!

— Не понадобилось, значит, — благодушно вставляет Феликс.

— Что именно? — быстро спрашивает Курдюков.

— Ну, этот твой... мафусаил... мафуссалин... Зря, значит, я хлопотал.

— Что ты! Они мне, понимаешь, сразу клизму, промывание желудка под давлением, представляешь? Такой кислород засадили, вредители! Только тут я понял, какая это страшная была пытка, когда в тебя сзади воду накачивают... У меня, понимаешь, глаза на лоб, я им говорю: ребята, срочно зовите окулиста...

И тут Курдюков вдруг обрывает себя и спрашивает шепотом:

— Ты что так смотришь?

— Как? — удивляется Феликс. — Как я смотрю?

— Да нет, никак... — уклоняется Курдюков. — Я вижу, отец, ты малость вдетый нынче, а? Поддал, старик, а?

— Не без того, — соглашается Феликс и, не удержавшись, добавляет:

— Если бы не ты, я и сейчас бы еще продолжал с удовольствием.

— Ничего! — с легкомысленным жестом объявляет Курдюков. — Завтра или послезавтра они меня отсюда выкинут, и мы с тобой тогда продолжим. Без балды. Я тебе знаешь какого коньячку выставлю? Называется «Ахтамар», прямо с Кавказа... Это, знаешь, у них такая легенда была: любила девушка одного, а родители были против, а сама она жила в замке на острове...

— Слушай, Костя, — прерывает его Феликс стеснительно, — знаю я эту легенду. Ты меня извини, ради бога, но мне сегодня еще работать всю ночь. Сократыч статью заказал...

— Да-да, конечно! — вскрикивает Курдюков. — Конечно, иди! Что тут тебе со мной? Навестил, и спасибо тебе большое.

Он встает. И Феликс тоже встает — в растерянности и недоумении. Некоторое время они молчат, глядя друг другу в глаза. Потом Курдюков вдруг снова спрашивает полушепотом:

— Ты чего?

— Да ничего. Пойду сейчас.

— Конечно, иди... Спасибо тебе... Не забуду, вот увидишь...

— Ты мне больше ничего не хочешь сказать? — спрашивает Феликс.

— Насчет чего? — произносит Курдюков совсем уже тихо.

— А я не знаю — насчет чего! — взрывается Феликс. — Я не знаю, зачем ты меня выдернул из-за стола... Ни поесть толком не дал, ни выпить... Сократыч обиделся... Мне говорят: срочное дело, необходимо сегодня же, немедленно. Какое дело? Что тебе необходимо?

— Кто говорил, что срочное дело?

— Жена твоя говорила! Зоя!

— Да нет! — объявляет Курдюков и снова делает легкомысленный жест. — Да чепуха это все, перепутала она! Совсем не про тебя речь шла, и было это не так уж срочно... А она говорила — сегодня? Вот дурища! Нет, Феликс, она просто не поняла с перепугу. Ну, напугалась же баба...

Феликс машет рукой.

— Ладно. Господь с вами обоими. Не поняла, так не поняла. Выздоровел — и слава богу. А я тогда пошел домой.

Феликс направляется к выходу, а Курдюков семенит рядом, забегая то справа, то слева, то хватая его за локоть, то сжимая его плечо.

— Ну, ты ж не обиделся, я надеюсь... — бормочет он. — Ну, дура же, молодая еще... Не понимает ничего... Ты, главное, знай: я тебе благодарен так, что если ты меня попросишь... о чем бы ты меня ни попросил... Ты знаешь, какого я страху здесь натерпелся? Не дай бог тебе отравиться,

Снегирев, ей-богу... Ну, ты не сердишься, да? Ну скажи, не сердишься?

А на пустой лестничной площадке, рядом с телефоном-автоматом, происходит нечто совсем уж несообразное. Курдюков вдруг обрывает свою бессвязицу, судорожно вцепляется Феликсу в грудь, прижимает его к стене и, брызгаясь, шипит ему в лицо:

— Ты запомни, Снегирев! Не было ничего, понял? Забудь!

— Постой, да ты что? — бормочет Феликс, пытаясь отодрать от себя его руки.

— Не было ничего! — шипит Курдюков. — Не было! Хорошенько запомни! Не было!

— Да пошел ты к черту! Обалдел, что ли? — гаркает Феликс в полный голос. Ему удается наконец оторвать от себя Курдюкова, и, с трудом удерживая его на расстоянии, он произносит: — Да опомнись ты, чучело гороховое! Что это тебя разбирает?

Курдюков трясется, брызгается и все повторяет:

— Не было ничего, понял? Не было!.. Ничего не было!

Потом он обмякает и принимается плаксиво объяснять:

— Накладка у меня получилась, Снегирев... Накладка у меня вышла! Институт же секретный, номерной... Не положено мне ничего про него знать... А тебе уж и подавно не положено! Не нашего это ума дело, Феликс! Я вот тебе ляпнул, а они уже пришли и замечание мне сделали... Прямо хоть из больницы не выходи!

Феликс отпускает его. Курдюков, морщась, принимается растирать свои покрасневшие запястья и все бубнит со слезой одно и то же:

— Накладка это... А мне уже влетело... И еще влетит, если ты болтать будешь... Загубишь ты меня своей болтовней! Секретный же! Не положено нам с тобой знать!

— Ну хорошо, хорошо, — говорит Феликс, с трудом сохраняя спокойствие. — Секретный. Хорошо. Ну чего ты дергаешься? Сам посуди, ну какое мне до всего этого дело? Не положено, так не положено... Надо, чтобы я забыл, — считай, что я все забыл... Не было и не было, что я — спорю? Что за манера, в самом деле?

Без всякой жалости он отодвигает Курдюкова с дороги и принимается спускаться по лестнице с наивозможной для себя поспешностью. Он уже в самом низу, когда Курдюков, перегнувшись через перила, шипит ему вслед на всю больницу:

— О себе подумай, Снегирев! Серьезно тебе говорю! О себе!

Феликс только сплевывает в сторону.

Дома, в тесноватой своей прихожей, Феликс зажигает свет, кладет на столик объемистый сверток (с едой от Павла Павловича), устало стягивает с головы берет, а затем снимает плащ и принимается аккуратно напяливать его на деревянные плечики.

И тут он обнаруживает нечто ужасное.

В том месте, которое приходится как раз на левую почку, плащ проткнут длинным шилом с деревянной рукояткой.

Несколько секунд Феликс оцепенело смотрит на эту округлую деревянную рукоятку, затем осторожно вешает плечики с плащом на вешалку и, придерживая полу, двумя пальцами извлекает шило.

Электрический блик жутко играет на тонком стальном жале.

И Феликс отчетливо вспоминает:

искаженную физиономию Курдюкова и его шипящий вопль: «О себе подумай, Снегирев! Серьезно тебе говорю! О себе!»;

стеклянный лязг и дребезг и булыжник в куче битого стекла на авоське;

испуганные крики и вопли разбегающейся очереди и тупую страшную морду МАЗа, накатывающуюся на него, как судьба...

и вновь бормотанье Курдюкова: «Не дай бог тебе отравиться, Снегирев...»

Слишком много для одного дня.

Феликс, не выпуская шила из пальцев, накидывает на дверь цепочку и произносит вслух:

— Вот, значит, какие дела...

Глубокая ночь, дождь. В свете уличных фонарей блестит мокрая листва, блестит брусчатка мостовой, блестят плиты тротуара. Дома погружены во тьму, лишь кое-где горят одинокие прямоугольники окон.

У подъезда десятиэтажного дома останавливается легковой автомобиль. Гаснут фары. Из машины выбираются под дождь четыре неясные фигуры, останавливаются и задирают головы.

Женский _голос_. Вон три окна светятся. Спальня, кабинет, кухня... Седьмой этаж.

Мужской _голос_. Странно... Почему у него везде свет? Может, у него гости?

Другой _мужской_ _голос_. Никак нет. Один он. Никого у него нет.

Кабинет Феликса залит светом. Горит настольная лампа, горит

торшер над журнальным столиком с телефоном, горит трехрожковая люстра, горят оба бра над полосатым диваном напротив книжной стенки.

Феликс в застиранной роскошной пижаме работает за письменным столом. Пишущая машинка по ночному времени отодвинута в сторону, Феликс пишет от руки. Заполненная окурками пепельница придавливает стопу исписанных страниц. На углу стола — пустая турка с перекипевшим через край кофе и испачканная кофейная чашечка. Страшное шило лежит тут же, в деревянном ящичке с каталожными карточками.

Звонок в дверь.

Феликс смотрит на часы. Пять минут третьего ночи.

Феликс глотает всухую. Ему страшно.

Он поднимается, идет в прихожую и останавливается перед входной дверью.

— Кто там? — *произносит он сипло.*

— Открой, Феликс, это я, — *отзывается негромко женский голос.*

— Наташенька? — *с удивлением и радостью говорит Феликс.*

Он торопливо снимает цепочку и распахивает дверь.

Но на пороге вовсе не Наташа. Давешний мужчина в клетчатом. Под пристальным взглядом его светлых выпуклых глаз Феликс отступает на шаг.

Все происходит очень быстро. Клетчатый неуловимым движением оттесняет его, проникает в прихожую, крепко ухватывает его за запястья и сразу же прижимает спиной к двери в туалет.

А с лестничной площадки быстро и бесшумно входят в квартиру один за другим:

огромный, плечистый Иван Давыдович в черном плаще до щиколоток, в руке — маленький саквояж, войдя, он только коротко взглядывает на Феликса и проходит в кабинет;

стройная и очаровательная Наталья Петровна с сумочкой на длинном ремешке через плечо, нежно улыбается Феликсу и картинно делает ручкой, как бы говоря: «А вот и я!»;

и высокий смуглый Павел Павлович в распахнутом сером пальто, под которым виден все тот же черный фрачный костюм с той же гвоздикой в петлице, с длинным зонтиком-тростью под мышкой, войдя, он приподнимает шляпу и, сверкнув лысиной, приветствует Феликса легким поклоном.

Феликс (*обалдело*). Пал Палыч?
Павел _Павлович_. Он самый, душа моя, он самый...
Феликс. Что случилось?

Павел Павлович ответить не успевает. Из кабинета раздается властный голос:

— Давайте его сюда!

Клетчатый ведет Феликса в кабинет. Иван Давыдович сидит в кресле у стола. Плащ его небрежно брошен на диван, саквояж поставлен у ноги.

Феликс. Что, собственно, происходит? В чем дело?
Иван _Давыдович_. Тихо, прошу вас.
Клетчатый. Куда его?
Иван _Давыдович_. Вот сюда... Сядьте, пожалуйста, на свое место, Феликс Александрович.
Феликс. Я сяду, но я хотел бы все-таки знать, что происходит...
Иван _Давыдович_. Спрашивать буду я. А вы садитесь и отвечайте на вопросы.
Феликс. Какие вопросы? Ночь на дворе...

Слегка подталкиваемый Клетчатым, он обходит стол и садится на свое место напротив Ивана Давыдовича. Он растерянно озирается, и по лицу его видно, что ему очень и очень страшно.

Хотя, казалось бы, чего бояться? Наташа мирно сидит на диване и внимательно изучает свое отражение в зеркальце, извлеченном из сумки. Павел Павлович обстоятельно устраивается в кресле под торшером и ободряюще кивает оттуда Феликсу. Вот только Клетчатый... Он остался в дверях — скрестивши ноги, прислонился к косяку и раскуривает сигарету. Руки его в черных кожаных перчатках.

Иван _Давыдович_. Сегодня в половине третьего вы были у меня в институте. Куда вы отправились потом?
Феликс. А кто вы, собственно, такие? Почему я должен...
Иван _Давыдович_. Потому что. Вы обратили внимание, что сегодня вы трижды только случайно остались в живых?.. Ну, вот хотя бы это... (*Он берет двумя пальцами страшное шило за кончик лезвия и покачивает перед глазами Феликса.*) Два сантиметра правее — и конец! Поэтому я буду

спрашивать, а вы будете отвечать на мои вопросы. Добровольно и абсолютно честно. Договорились?

Феликс молчит. Он сломлен.

Иван _Давыдович_. Итак, куда вы отправились от меня? Только не лгать!

Феликс. В дом культуры. Железнодорожников.

Иван _Давыдович_. Зачем?

Феликс. Я там выступал. Перед читателями... Вот гражданин может подтвердить. Он меня видел.

Клетчатый. Правильно. Не врет.

Иван _Давыдович_. Кто была та полная женщина в очках?

Феликс. Какая женщина?.. А, в очках. Это Марья Леонидовна! Она завбиблиотекой.

Иван _Давыдович_. Что вы ей рассказывали?

Феликс. Я? Ей?

Иван _Давыдович_. Вы. Ей.

Клетчатый. Рассказывал, рассказывал! Минут двадцать у нее в кабинете просидел...

Феликс. Что значит — просидел? Ну, просидел... Она мне путевку заверяла... Договаривались о следующем выступлении... Она меня просила в район выехать... И ничего я ей не рассказывал! Что за подозрения? Скорее уж это она мне рассказывала...

Иван _Давыдович_. Итак, она заверила вам путевку. Куда вы отправились дальше?

Феликс. На Курсы! Наташа, скажи ему!

Наташа. Феликс Александрович, ты не волнуйся. Ты просто рассказывай все, как было, и ничего тебе не будет.

Феликс. Да я и так рассказываю все, как было...

Иван _Давыдович_. Кого еще из знакомых вы встретили на Курсах?

Феликс. Ну, кого... (*Он очень старается.*) Этого... ну, Валентина, инженера, из филиала, не знаю, как его фамилия... Потом этого, как его... Ну, такой мордастенький...

Иван _Давыдович_. И о чем вы с ними говорили?

Феликс. Ни о чем я с ними не говорил. Я сразу прошел к Наташе... к Наталье Петровне...

Иван _Давыдович_. Потом вы оказались в ресторане. Зачем?

Феликс. Как это — зачем? Поесть! Я же целый день не ел... Между

прочим, из-за этого вашего Курдюкова!

Иван _Давыдович_. А почему вас там дожидался Романюк?

Феликс. Он заказал мне статью. О морально-нравственном потенциале. О смысле жизни современного человека... Вот я ее пишу, вот она!

Иван _Давыдович_. А зачем вам понадобилось рассказывать ему про Курдюкова?

Феликс. Про Курдюкова?

Иван _Давыдович_. Да! Про Курдюкова!

Феликс. Ничего я ему не рассказывал про Курдюкова! С какой стати?

Павел _Павлович_. Ну как же не рассказывали? Только и слышно было: Курдюков, Курдюков...

Произнеся эти слова, Павел Павлович поднимается, секунду смотрит на телефон, выдергивает телефонный шнур из розетки и снимает аппарат со столика на пол. Затем произносит: «Эхе-хе...» и направляется к двери на кухню.

Иван _Давыдович_ (*раздраженно*). Павел... э... Павлович! Я не понимаю, неужели вы не можете десять минут подождать?

Павел _Павлович_ (*приостановившись на мгновение в дверях*). А зачем, собственно, ждать? (*Издевательским тоном.*) Курдюков, Курдюков...

Он скрывается на кухне, и оттуда сейчас же доносится лязг посуды.

Феликс (*нервно кричит ему вслед*). Не было этого! Может быть, и упоминали мы его один или два раза... С какой стати? (*Ивану Давыдовичу.*) А если бы даже я ему и рассказал? Что тут такого?..

Иван _Давыдович_. Значит, вы все-таки рассказали ему про Курдюкова.

Феликс. Да не рассказывал я! Скорее это уж Романюк мне о нем рассказывал! Как Курдюков свои стишки пишет, и все такое... А я про Курдюкова только и сказал, что он отравился и я еду к нему в больницу... И все. И больше ничего.

Иван _Давыдович_. А о том, что Курдюков послал вас ко мне?

Феликс. Да господи! Да конечно — нет! Да ни единого слова!

Наступает внезапная тишина. Феликс обнаруживает, что все с

жадным вниманием смотрят на него. В тишине отчетливо слышно, как Павел Павлович на кухне чем-то побрякивает и напевает неопределенный мотивчик.

Иван _Давыдович_ (*вкрадчиво*). То есть вы уже тогда поняли, о чем можно говорить, а о чем нельзя?

Феликс молчит. Глаза его растерянно бегают.

Иван _Давыдович_. Феликс Александрович, будет лучше всего, если вы сами, без нашего давления, добровольно и честно расскажете нам: с кем вы сегодня говорили о Курдюкове, что именно говорили и зачем вы это делали. Я очень советую вам быть откровенным.

Феликс. Да господи! Да разве я скрываю? С кем я говорил о Курдюкове? Пожалуйста. С кем я говорил... Да ни с кем я не говорил! Только с одним Романюком и говорил... Да, конечно! С женой Курдюкова говорил, с Зоей!.. Она мне сказала, чтобы я поехал к нему в больницу, и я поехал... И все. Все! Больше ни с кем!

На кухне снова слышится звон посуды, и в кабинете появляется Павел Павлович. На нем кухонный фартук, в одной руке он держит шипящую сковородку, в другой — деревянную подставку для нее.

Павел _Павлович_. Прошу прощения. Не обращайте внимания... Я у вас, Феликс Александрович, давешнюю ветчину там слегка... Вы уж не обессудьте...

Феликс (*растерянно*). Да ради бога... Конечно!

Иван _Давыдович_ (*раздраженно*). Давайте не будем отвлекаться! Продолжайте, Феликс Александрович!

Но Феликс не может продолжать. Он с испугом и изумлением следит за действиями Павла Павловича. Павел Павлович ставит сковородку на журнальный столик и, нависнувши над нею своим большим благородным носом, извлекает из нагрудного кармана фрака черный плоский футляр. Открыв этот футляр, он некоторое время водит над ним указательным пальцем, произносит как бы в нерешительности: «Гм!» и вынимает из футляра тонкую серебристую трубочку.

Клетчатый (*бормочет*). Смотреть страшно...

Павел Павлович аккуратно отвинчивает колпачок и принимается капать из трубочки в яичницу — на каждый желток по капле.

Наташа. Какой странный запах... Вы уверены, что это съедобно?

Павел _Павлович_. Это, душа моя, «ухэ-тхо»... в буквальном переводе — «желчь водяного». Этому составу, деточка, восемь веков...

Иван _Давыдович_ (*стучит пальцем по столешнице*). Довольно, довольно! Феликс Александрович, продолжайте! О чем вы говорили с Романюком?

Феликс (*с трудом отрываясь от созерцания Павла Павловича*). О чем я говорил с Романюком?.. Он попросил меня написать статью. Срочно. Сегодня же... Вот эту. (*Он касается пальцем стопки бумаг под пепельницей.*)

Иван _Давыдович_. А о чем вы договорились с Курдюковым в больнице?

Феликс. С Курдюковым? В больнице? Н-ну... Ни о чем определенном мы не договаривались... Он обещал поставить бутылку коньяку, и мы договорились, что ее разопьем... Его ведь не сегодня-завтра выпишут...

Иван _Давыдович_. И все?

Феликс. И все...

Иван _Давыдович_. И ради этого вы поперли на ночь глядя через весь город в больницу?

Феликс. Н-ну... Это же почти рядом... И потом, просил же человек...

Иван _Давыдович_. Курдюков — ваш хороший друг?

Феликс. Что вы! Мы просто соседи! Раскланиваемся... Я ему — отвертку, он мне пылесос...

Иван _Давыдович_. Понятно. Посмотрите, что у вас получается. Не слишком близкий ваш приятель, чувствующий себя уже вполне неплохо, вызывает вас поздно вечером к себе в больницу только для того, чтобы пообещать распить с вами бутылку коньяка. Я правильно резюмировал ваши показания?

Феликс. Д-да...

Иван _Давыдович_. Вы бросили на середине деловой разговор с вашим работодателем, вы забыли, что вам предстоит всю ночь корпеть над работой, — и ради чего?

Феликс. Откуда я знал? Откуда мне было знать? Ведь мне его жена баки забила: срочно, немедленно!

Иван _Давыдович_. О чем вы сговорились с Курдюковым в

больнице?

Феликс. Ей-богу, ни о чем!

Иван Давыдович поворачивается и смотрит на Клетчатого. Тот, раскуривая очередную сигарету, отрицательно мотает головой.

Иван _Давыдович_ (*Клетчатому*). Вы полагаете?..

Клетчатый. Врет.

Иван _Давыдович_ (*с упреком*). Феликс Александрович, ведь я же предупреждал вас...

Феликс (*трусливо*). В чем, собственно, дело?

Клетчатый. Брешет он, сучий потрох! Не знаю, о чем они там сговорились, но на лестнице было у них крупное объяснение! Он же по ступенькам ссыпался — весь красный был, как помидор!

Феликс. Так я и не скрываю! Я и был злой! Я бы ему врезал, если бы не больница!

Клетчатый (*уверенно*). Врет. Врет. Я же вижу: где правда, там правда, а здесь — врет!..

Павел _Павлович_ (*негромко*). А всего-то и надо было вам, Ротмистр, сделать два шага вверх по лестнице, вот вы бы все и услышали, а мы бы здесь не гадали...

Клетчатый (*смиренно*). Виноват, ваше сиятельство. Однако были некоторые причины... А пусть-ка этот аферист объяснит нам, господа, что означали слова: «О себе подумай, Снегирев! О себе!» Эти слова я слышал прекрасно и никак не могу взять в толк, к чему бы они!

Иван _Давыдович_. О чем вы сговорились с Курдюковым?

Феликс. Да ни о чем мы не сговаривались! Ей-богу же — ни о чем!

Иван _Давыдович_. О чем вы сговорились с Курдюковым?

Феликс. Господи! Да что вы ко мне пристали, в самом деле? Нечего мне вам добавить!

Иван _Давыдович_. О чем вы сговорились с Курдюковым?

Феликс. Наташа! Да кто это такие? Что им нужно от меня? Скажи им, чтобы отстали!

Клетчатый коротко и очень страшно гогочет.

Иван _Давыдович_. Слушайте меня внимательно. Мы отсюда не уйдем до тех пор, пока не выясним все, что нас интересует. И вы нам обязательно расскажете все, что нас интересует. Вопрос только — какой

ценой. Церемониться мы не будем. Мы не умеем церемониться. И должно быть тихо, даже если вам будет очень больно.

Он берет саквояж, ставит его на стол, раскрывает, извлекает из него автоклавчик и, звякая металлом и стеклом, принимается снаряжать шприц для инъекций.

Феликс наблюдает эти манипуляции, покрываясь испариной.

Иван _Давыдович_. Разумеется, мы бы предпочли получить от вас информацию быстро, без хлопот и в чистом виде, без всяких примесей. Я думаю, это и в ваших интересах тоже...

Тем временем Клетчатый скользящим шагом пересекает комнату и намеревается встать у Феликса за спиной. Феликс в панике отодвигается вместе со стулом и оказывается загнанным между столом и книжной стенкой.

Клетчатый (*шепотом*). Тихо! Сидеть!

Феликс (*с отчаянием*). С-слушайте! Какого дьявола? Наташа! Пал Палыч!

Наташа сидит на диване, уютно поджавши под себя ноги. Она подпиливает пилкой ноготки.

Наташа (*ласково-наставительно*). Феликс, милый, надо рассказать. Надо все рассказать, все до последнего.

Павел _Павлович_. Да уж, Феликс Александрович, вы уж пожалуйста! Зачем вам лишние неприятности?

Феликс (*он сломлен, дрожащим голосом*). Да-да, не надо...

Иван _Давыдович_. Отвечать будете?

Феликс. Да-да, обязательно...

Иван _Давыдович_. О чем вы сговорились с Курдюковым?

Феликс не успевает ответить (да он и не знает, что отвечать). Дверь в комнату распахивается, и на пороге объявляется Курдюков. Он в мокром пальто не по росту, из-под пальто виднеются больничные подштанники, на ногах — мокрые растоптанные тапки.

— Ага! — *с фальшивым торжеством произносит он и вытирает рот тыльной стороной кулака, в котором зажата огромная стамеска.* —

Взяли гада? Хорошо! Молодцы. Но как же это вы без меня? Непорядок, непорядок, не по уставу! Апеллирую к вам, Магистр! Не по уставу... Итак? Кто ему рассказал про Эликсир?

Иван _Давыдович_ (*вскакивая*). Он знает про Эликсир?

Наташа (*тоже подскочив*). То есть как это?

Павел _Павлович_. Что-что-что?

Клетчатый. А что я вам говорил?

Курдюков. Хе! Он не только про Эликсир знает! Он мне намекал, что ему и про Источник известно! Он мне уже и Крапивкин Яр называл, сукин сын!

Все взоры устремляются на Феликса.

Феликс (*бормочет, запинаясь*). Ты что, Курдюков? Какой еще Эликсир? Крапивкин Яр — знаю, а Эликсир... Какой Эликсир?

Курдюков (*наклоняется к нему, уперев руки в боки*). А Крапивкин Яр, значит, знаешь?

Феликс. З-знаю... Кто ж его не знает?

Курдюков. Ладно, ладно! «Кто ж его не знает...» А что ты мне про Крапивкин Яр намекал давеча? Помнишь?

Феликс. Про Крапивкин Яр? Когда?

Курдюков. А сегодня! В больнице! «Вот поправишься, Костенька, и пойдем мы с тобой прогуляться в Крапивкин Яр...» У меня глаза на лоб полезли! Откуда? Как узнал? «Придется тебе, Костенька, одну ложечку для меня уделить...» Ложечку ему! А?

Феликс (*орет в отчаянии*). Какую ложечку? Да ты что — опять консервами обожрался? Что ты мелешь?

Слышны глухие удары в потолок. Все притихают.

Феликс (*понизив голос*). Послушайте, ночь на дворе, мы же людям спать не даем! Что вы у меня здесь сумасшедший дом устроили!

Курдюков (*сдавленным шепотом*). Ты что — про Крапивкин Яр мне не говорил? Посмей только отпираться, скотина! И про ложечку Эликсира не говорил?

Феликс. Да ничего подобного я тебе не говорил! Дурак ты консервный, заблеванный!

Курдюков. Не отпирайся! И про Крапивкин Яр говорил, и про Эликсир говорил, и про Источник намекал... Я тебе предупреждал давеча?

«Молчи! Ни единого слова! Никому!» Говорил я тебе это или нет?

Феликс. Ну, говорил! Так ведь ты про что говорил? Ты же ведь...

Курдюков. А! Признаешь! Правильно! А раз признаешь, то не надо запираться! Не надо! Честно признайся: кто тебе рассказал? Наташка? В постельке небось рассказала? Расслабилась?

Он оглядывается на Наташу и, тихонько взвизгнув, шарахается, заслоняясь кулаком со стамеской: Наташа надвигается на него неслышным кошачьим шагом, слегка пригнувшись, опустив вдоль тела руки с хищно шевелящимися пальцами.

Наташа (*яростно шипит*). Ах ты, паскуда противная, душа гадкая, грязная, ты что же это хочешь сказать, пасть твоя черная, немытая?

Курдюков (*визжит*). Я ничего не хочу сказать! Магистр, это гипотеза! Защитите меня!

Наташа вдруг останавливается, поворачивается к Ивану Давыдовичу и спокойно произносит: «Ну, все ясно. Этот патологический трус сам же все и разболтал. Обожрался тухлятиной, вообразил, что подыхает, и со страху все разболтал первому же встречному...»

Курдюков. Вранье! Первый был доктор из «Скорой помощи»! А потом санитары! А уж только потом...

Наташа. И ты им всем разболтал, гнида?

Курдюков. Никому! Ничего! Он уже и так все знал!

Клетчатый, оставивши Феликса, начинает бочком-бочком придвигаться к Курдюкову. Заметив это, Курдюков валится на колени перед Иваном Давыдовичем.

Курдюков. Магистр! Не велите ему! Я все расскажу! Я только попросил его съездить к вам... Назвал вас, виноват... Страшно мне было очень... Но он и так уже все знал! Улыбнулся этак зловеще и говорит: «Как же, знаю, знаю Магистра»...

Феликс (*потрясая кулаками*). Что ты несешь? Опомнись!

Курдюков. «Поеду, говорит, так и быть, поеду, но вечерком мы еще с тобой поговорим!» Я хотел броситься, я хотел предупредить, но меня промывали, я лежал пластом...

Феликс. Товарищи, он все врет. Я не понимаю, чего ему от меня

надо, но он все врет...

Курдюков. А вечером он уже больше не скрывался! Поймите меня правильно, я волнуюсь, я не могу сейчас припомнить его речей в точности, но про все он мне рассказал специально, чтобы доказать свою осведомленность...

Феликс. Врет.

Курдюков. Чтобы доказать свою осведомленность и склонить меня к измене! Он сказал, что нас пятеро, что мы бессмертные...

Феликс (*монотонно*). Врет.

Курдюков (*заунывно, словно бы пародируя*). «В Крапивкином Яре за шестью каменными столбами под белой звездой укрыта пещера, и в той пещере Эликсира Источник, точащий капли бессмертия в каменный стакан...»

Феликс. Впервые эту чепуху слышу. Он же просто с ума сошел.

Курдюков (*воздевши палец*). «Лишь пять ложек Эликсира набирается за три года, и пятерых они делают бессмертными...»

Феликс. Он же из больницы сбежал, вы же видите...

Курдюков (*обычным голосом*). Он вас назвал, Магистр. И Наташечку. И вас, Князь. «А пятого, говорит, я до сих пор не знаю...»

Все смотрят на Феликса.

Феликс (*пытаясь держать себя в руках*). Для меня все это — сплошная галиматья. Горячечный бред. Ничего этого я не знаю, не понимаю и говорить об этом просто не мог.

Все молчат. И в этой тишине раздается вдруг пронзительный звонок в дверь. Все застывают.

Иван _Давыдович_ (*глядя на Феликса*). М-м?

Феликс (*несколько ободрившись*). Я думаю, это сосед сверху. Я думаю, вы слишком тут все орете.

Снова звонок в дверь — длинный, яростный.

Иван _Давыдович_. Идите и извинитесь. Никаких лишних слов. И вообще ничего лишнего. Ротмистр, проследите.

Сопровождаемый Клетчатым, Феликс выходит в прихожую. Наружная дверь, оказывается, наполовину раскрыта, и на пороге маячит

фигура в полосатой пижаме.

— Я, гражданин Снегирев, жаловаться на вас буду, — *объявляет фигура.* — Полчетвертого ночи!

Феликс. Сергей Сергеич, простите, ради бога. Мы тут увлеклись, переборщили... Правильно, Ротмистров?

Клетчатый. Переборщили. Правильно. Больше не повторится, я сам прослежу.

Феликс. Простите, Христа ради, Сергей Сергеич! С меня полбанки, а?

Сергей _Сергеич_ (*плачуще*). Мне, Феликс Александрович, вставать в шесть утра! А вы тут, понимаете, произведения свои читать затеяли, да еще не просто читать, а на три голоса, с выражением... Сил же никаких нет!

Феликс. А что, все слышно?

Сергей _Сергеич_. Да вот как над ухом прямо!

Феликс (*Клетчатому*). Вот видите? Говорил же я вам, что пора уже расходиться...

Клетчатый. Все! Все. Сергей Сергеич, все. С него полбанки и с меня тоже полбанки. И полная тишина. Как в могиле. Правильно я говорю, Феликс Александрович? Как в могиле!

— И-иэх! — *произносит Сергей Сергеич горестно и удаляется, шлепая тапочками.*

Феликс пытается запереть дверь, но тут выясняется, что замок сломан.

Феликс (*с отчаянием*). Ну что за сволочь! Вы поглядите только, он же мне замок сломал!

Клетчатый (*с жадным любопытством*). Кто? Сергей Сергеич? А зачем?

Феликс. Да при чем здесь Сергей Сергеич? Курдюков этот ваш, псих полоумный! И что вы все свалились на мою голову? Забирайте вы его и уходите к чертовой матери, не то я милицию вызову!..

Клетчатый. Тихо! Эт-то еще что такое? А ну-ка, проходите и — тихо!

Едва Феликс вступает в кабинет, как на него сзади наскакивает Курдюков. Он обхватывает Феликса левой рукой за лицо, чтобы зажать рот, а правой с силой бьет стамеской в спину снизу вверх. Стамеска

тупая, рука у Курдюкова соскальзывает, и никакого смертоубийства не получается. Феликс лягает Курдюкова ногой, тот отлетает на Ивана Давыдовича, и оба они вместе с креслом рушатся на пол. Пока они барахтаются, лягаясь и размахивая кулаками, Клетчатый хватает Феликса за руки и прижимает его к стене.

Павел _Павлович_ (*насмешливо*). Развоевались!..
Наташа (*она уже возлежит на диване в позе мадам Рекамье*). Шляпа. И всегда он был шляпой, сколько я его помню...
Павел _Павлович_. Но соображает быстро, согласитесь...

Иван Давыдович наконец поднимается, брезгливо вытирая ладони о бока, а Курдюков остается на полу — лежит, скорчившись, обхватив руками голову.

Иван _Давыдович_. Господа, так все-таки нельзя. Так мы весь дом разбудим. Я попрошу, господа...

Клетчатый отпускает Феликса, и тот принимается ощупывать ушибленную спину.

Феликс (*дрожащим голосом*). Слушайте, а может, вообще хватит на сегодня? Может, вы завтра зайдете? Ведь, ей-богу, дождемся, что кто-нибудь милицию вызовет. А так — завтра...
Иван _Давыдович_. Сядьте. Сядьте, я вам говорю! И молчите. (*Курдюкову.*) А вы вставайте. Хватит валяться, вставайте!
Наташа. Пусть валяется.
Иван _Давыдович_ (*поднимая кресло и усаживаясь*). Хорошо, не возражаю. Пусть валяется.
Клетчатый. А может, вы его... того?
Иван _Давыдович_. Да нет. Притворяется... Перепугался. Ладно, пусть пока лежит... Вот что, господа. Ситуация переменилась. Я бы сказал, она усложнилась.
Павел _Павлович_. Тогда самое время сварить кофе.
Иван _Давыдович_. Нет, Князь. Кофе не надо. Нельзя.
Павел _Павлович_. Нельзя выпить по чашке кофе? Просто кофе?
Иван _Давыдович_. Просто?
Павел _Павлович_. Да! Просто кофе! Крепкий сладкий кофе по-венски.

Иван _Давыдович_. Хорошо. Сварите. Вы поняли, что ситуация осложнилась?
Павел _Павлович_. Ну, естественно!
Иван _Давыдович_. Тогда займитесь.

Павел Павлович умело и аккуратно собирает на поднос турку и чашечку со стола Феликса и уносит все это на кухню.

Иван _Давыдович_. Я, господа, прошу вас основательно усвоить, что сегодня нам ничего здесь делать нельзя. (*Он принимается собирать обратно в саквояж свои медицинские причиндалы.*) Если мы оставим здесь труп, милиция разыщет нас очень быстро. Это понятно?
Клетчатый. Виноват, герр Магистр, не совсем понятно. Нам же не обязательно оставлять труп здесь! Можно выкинуть его в окно... Седьмой этаж... Вдребезги! Самоубийство!

Иван Давыдович закрывает глаза, поднимает лицо к потолку и некоторое время молчит, сдерживаясь. Потом он говорит: «Пять минут назад сюда приходил человек. Вы заметили это, Ротмистр?»

Клетчатый. Так точно, заметил. Сергей Сергеевич. Это из верхней квартиры.
Иван _Давыдович_. Вы обратили внимание, что он вас тоже заметил, Ротмистр?
Клетчатый. Так точно.
Иван _Давыдович_. Он запомнил вас, понимаете? Ваш клетчатый пиджак, ваше кепи, ваши усики... Он вас опишет, и вас найдут. Самое большее — через неделю.
Курдюков (*из угла, куда он незаметно переполз*). А по-моему, ничего страшного. Ротмистр уедет куда-нибудь, отсидится годик...
Иван _Давыдович_. Вас, Басаврюк, спросят: откуда вы обрели в эту самую ночь такой великолепный синяк под глазом?
Курдюков. У меня алиби! Я в настоящий момент в больнице!

Пауза. Из кухни доносится гудение кофемолки.

Наташа (*решительно*). Нет, господа, я тоже против. Все знают, что мы с Феликсом дружили, вчера он ко мне заходил, ночью меня не было дома... Зачем мне это надо? Затаскают по следователям. Я вообще против

того, чтобы Феликса трогать. Его надо принять.

Курдюков (*выскакивает из угла, как черт из коробочки*). Это за чей же счет? Сука! Шлюха ты беспардонная!

Иван _Давыдович_. Да тише вы, Басаврюк! Сколько можно повторять? Ти-ше! Извольте не забывать, что это по вашей вине все мы сидим здесь и не знаем, на что решиться. Так что советую вам вести себя особенно тихо... Молчите! Ни слова более! Сядьте!

Клетчатый. В самом деле, сударь! Труса отпраздновали, а теперь все время мешаете...

Иван _Давыдович_. Я, господа, просто не вижу иного пути, кроме как поставить Феликса Александровича перед выбором...

И тут Феликс взрывается. Он изо всей силы грохает ладонью по столу и голосом, сдавленным от страха и ненависти, объявляет: «Убирайтесь к чертовой матери! Все до одного! Сейчас же! Сию же минуту! Чтобы ноги вашей здесь не было!..»

В дверях кухни появляется встревоженное лицо Павла Павловича, Клетчатый, хищно присев, делает движение к Феликсу.

Феликс (*Клетчатому*). Давай, давай, сволочь, иди! Ты, может, меня и изуродуешь, бандюга, протокольная морда, ну и я здесь тоже все разнесу! Я здесь вам такой звон устрою, что не только дом — весь квартал сбежится! Иди, иди! Я вот сейчас для начала окно высажу вместе с рамой...

Иван _Давыдович_ (*резко*). Прекратите истерику!

Феликс (*бешено*). А вы заткнитесь, председатель месткома! Заткнитесь и выметайтесь отсюда, и заберите с собой всю вашу банду! Немедленно! Слышите?

Иван _Давыдович_ (*очень спокойно*). Вашу дочь зовут Лиза...

Феликс. А вам какое дело?

Иван _Давыдович_. Вашу дочь зовут Лиза, ваших внуков зовут Фома и Антон, и живут они все на Малой Тупиковой, шестнадцать. Правильно?

Феликс молчит.

Иван _Давыдович_. Я надеюсь, вы понимаете, на что я намекаю? Книжки читаете?

Феликс (*угрюмо*). По-моему, вы все ненормальные...

Иван _Давыдович_. Этот вопрос мы сейчас обсуждать не будем.

Если вам удобнее считать нас ненормальными — пожалуйста. В известном смысле вы, может быть, и правы...

Феликс. Что вам от меня надо — вот чего я никак не пойму!

Иван _Давыдович_. Сейчас поймете. Судьбе угодно было, чтобы вы проникли в нашу тайну...

Феликс. Никаких тайн не знаю и знать не хочу.

Иван _Давыдович_. Пустое, пустое. Следствие закончено. Не об этом вам надлежит думать. Вам предстоит сейчас сделать выбор: умереть или стать бессмертным.

Феликс молчит. На лице его тупая покорность.

Иван _Давыдович_. Вы готовы сделать такой выбор?

Феликс медленно качает головой.

Иван _Давыдович_. Почему?

Феликс (*морщась*). Почему? Да потому что нет у меня никакого выбора... Если я выберу смерть, вы меня выкинете в окно... А если я выберу это ваше бессмертие... я вообще не знаю, какую гадость вы мне тогда сделаете. Чего от вас еще ждать?

Наташа. Святая дева! До чего же глупы эти современные мужчины! Я, помнится, моментально поняла, о чем идет речь...

Иван _Давыдович_. Не забывайте, мадам, это было пятьсот лет назад...

Наташа. Четыреста семьдесят три!

Иван _Давыдович_. Да-да, конечно... Вспомните, тогда ведь все это было в порядке вещей: бессмертие, философский камень, полеты на метле... Вам ничего не стоило тогда поверить по первому слову! А вы представьте себе, что пишете заметку для газеты «Кузница кадров», а тут к вам приходят и предлагают бессмертие...

Курдюков (*из угла*). Да врет он все. Ваньку он перед вами валяет. Давным-давно он уже все порешил и выбрал...

Иван _Давыдович_. Перестаньте, Басаврюк, вы уже надоели. Все это теперь несущественно. На самом деле даже интереснее, если Феликс Александрович действительно ничего не понимает. (*Некоторое время он пристально, изучающе смотрит Феликсу в лицо, а потом начинает с выражением, словно читая по тексту, говорить.*) Недалеко от города, в Крапивкином Яру, есть карстовая пещера, мало кому здесь известная. В

самой глубине ее, в гроте, совсем уж никому не известном, свисает со свода одинокий сталактит весьма необычного красного цвета. С него в каменное углубление — кап-кап-кап! — капает Эликсир Жизни. Пять ложечек в три года. Этот Эликсир не спасает ни от яда, ни от пули, ни от меча. Но он спасает от старости. Говоря современным языком, это некий гормональный регулятор необычайной мощности. Одной ложечки в три года достаточно, чтобы воспрепятствовать любым процессам старения в человеческом организме. Любым! Организм не стареет! Совсем не стареет. Вот вам сейчас пятьдесят лет. Начнете пить Эликсир, и вам всегда будет пятьдесят лет. Всегда. Вечно. Понимаете? По чайной ложке в три года, и вам навсегда останется пятьдесят лет.

Феликс пожимает плечами. Не то чтобы он поверил всему этому, но трезвая, разумная речь Ивана Давыдовича, а в особенности применяемые им научные термины производят на него успокаивающее действие.

Иван _Давыдович_. Беда, однако же, в том, что ложечек всего пять. А значит, и бессмертных может быть только пять. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Понятно? Или нет?

Феликс. Шестой лишний?

Иван _Давыдович_. Истинно так.

Феликс (*оживляясь*). Но ведь я, кажется, и не претендую...

Иван _Давыдович_. То есть вам угодно выбрать смерть?

Феликс. Почему — смерть? Меня это вообще не касается! Вы идите своей дорогой, а я — своей... Обходились же мы друг без друга до сих пор!

Иван _Давыдович_. Я вижу, вы пока еще не поняли ситуации. Эликсира хватает только на пятерых. Надо ли объяснять, что желающих нашлось бы гораздо больше! Если бы сведения распространились, у нас бы просто отняли Источник, и мы бы перестали быть бессмертными. Понимаете? Мы все были бы давным-давно мертвы, если бы не сумели до сих пор — на протяжении веков! — сохранить тайну. Вы эту тайну узнали, и теперь уж одно из двух: или вы присоединяетесь к нам, или, извините, мы будем вынуждены вас уничтожить.

Феликс. Глупости какие... Что же, по-вашему, я побегу сейчас везде рассказывать эту вашу тайну? Что я, по-вашему, идиот? Меня же немедленно посадят в психушку!

Иван _Давыдович_. Может быть. И даже наверное. Но согласитесь, уже через неделю сотни и сотни дураков выйдут на склоны Крапивкина Яра с мотыгами и лопатами... Люди так легковерны, люди так жаждут чуда!

Нет, рисковать мы не станем. Видите ли, у нас есть опыт. Мы можем быть спокойны лишь тогда, когда тайну знают только пятеро.

Феликс. Но я же никому не скажу! Ну зачем это мне, сами подумайте! Ну поверьте вы мне, ради бога! Дочерью своей клянусь!

Иван _Давыдович_. Не надо. Это бессмысленно.

Феликс. Но вы же должны понимать: у меня дочь, внуки, как же я в таких условиях могу проговориться? Это же не в моих интересах!

Иван _Давыдович_. Вы прекрасно знаете, вы же писатель, что люди сплошь да рядом поступают именно против своих интересов.

В кабинете появляется Павел Павлович с подносом, на котором дымятся шесть чашечек кофе.

Павел _Павлович_. А вот и кофеек! Выпьем по чашечке кофе, и все проблемы разрешатся сами собой! Прошу! (*Наташе.*) Прошу, деточка... Ротмистр! Магистр, прошу вас... Вам приглянулась эта чашечка? Пожалуйста!.. Феликс Александрович! Я вижу, они вас совсем разволновали, хлебните черной бодрости, успокойтесь... Басаврюк, дружище, старый боевой конь, что же ты забился в угол? Чашечку кофе — и все пройдет!

Обнеся всех, он возвращается на свое место к журнальному столику с оставшейся чашечкой и, очень довольный, усаживается в кресло.

Феликс жадно, обжигаясь, выхлебывает свой кофе, ставит пустую чашечку на стол и озирается.

Один только Павел Павлович с видимым наслаждением вкушает «черную бодрость». Иван же Давыдович, хотя и поднес свою чашечку к губам, но не пьет, а пристально смотрит на Феликса. И Наташа не пьет: держа чашечку на весу, она внимательно следит за Иваном Давыдовичем. Ротмистр ищет, где бы ему присесть. А Курдюков у себя в углу уже совсем было нацелился отхлебнуть и вдруг перехватывает взгляд Наташи и замирает.

Иван Давыдович осторожно ставит свою чашечку на стол и отодвигает ее от себя указательным пальцем. И тогда Курдюков с проклятьем швыряет свою чашечку прямо в книжную стенку.

Феликс (*вздрогнув от неожиданности*). Скотина! Что ты делаешь?

Павел _Павлович_ (хладнокровно). Что, муха попала? У вас, Феликс Александрович, полно мух на кухне...

Иван _Давыдович_. Князь! Ведь я же вас просил! Ну куда мы теперь денем труп!

Павел _Павлович_ (*ерничает*). Труп? Какой труп? Где труп? Не вижу никакого трупа!

Наташа высоко поднимает свою чашечку и демонстративно медленно выливает кофе на пол. Ротмистр, звучно крякнув, ставит свою чашку на пол и осторожно задвигает ногой под диван.

Павел _Павлович_. Ну, господа, на вас не угодишь... Такой прекрасный кофе удался... Не правда ли, Феликс Александрович?

Курдюков (*остервенело*). Гад ядовитый! Евнух византийский! Отравитель! За что? Что я тебе сделал? Убью!

Иван _Давыдович_. Басаврюк! Если вы еще раз позволите себе повысить голос, я прикажу заклеить вам рот!

Курдюков (*страстным шепотом*). Но он же отравить меня хотел! За что?

Иван _Давыдович_. Да почему вы решили, что именно вас?

Курдюков. Да потому что я сманил у него этого треклятого повара! Помните, у него был повар, Жерар Декотиль? Я его переманил, и с тех пор он меня ненавидит!

Иван Давыдович смотрит на Павла Павловича.

Павел _Павлович_ (*благодушно*). Да я и думать об этом забыл!.. Хотя повар был и на самом деле замечательный... Уникальный был повар...

Феликс наконец осознает происходящее. Он медленно поднимается на ноги. Смотрит на свою чашку. Лицо его искажается.

Феликс (*с трудом*). Так это что — вы меня отравили? Павел Павлович!

Павел _Павлович_. Ну-ну, Феликс Александрович! Что за мысли?

Феликс (*не слушая*). Пустите, пустите! Меня тошнит, пустите!

Он выбирается из-за стола и, оттолкнув Клетчатого, устремляется в уборную.

Он сидит на краю ванны, весь мокрый, и вытирается полотенцем, тупо глядя перед собой, а Клетчатый, стоя в дверях, благодушно разглагольствует: «Напрасно беспокоитесь, Феликс Александрович. Это

он, конечно, целился не в вас. Если бы он целился в вас, вы бы уже сейчас у нас тут похолодели... А вот в кого он целился — это вопрос! Конечно, у нас здесь теперь один лишний, но вот кого ОН считает лишним?..»

Феликс (*бормочет*). Зверье... Ну и зверье... Прямо вурдалаки какие-то...

Клетчатый. А как же? А что прикажете делать? У меня, правда, опыта соответствующего нет пока. Не знаю, как это у них раньше проделывалось. Я ведь при Источнике всего полтораста лет состою.

Феликс, вытираясь полотенцем, смотрит на него с ужасом и изумлением, как на редкостное и страшное животное.

Клетчатый. Сам-то я восемьсот второго года рождения. Самый здесь молодой, хе-хе... Из молодых, да ранний, как говорится... Но здесь, знаете ли, дело не в годах. Здесь главное — характер. Я не люблю, знаете ли, чтобы со мной шутили, и никто со мной шутить не рискует. Ко мне сам Магистр, знаете ли... хе-хе... не говоря уже о всех прочих... Быстрота и натиск прежде всего, я так полагаю. Извольте, к примеру, сравнить ваше нынешнее поведение с тем, как я себя вел при аналогичном, так сказать, выборе... Я тогда в этих краях по жандармской части служил и занимался преимущественно контрабандистами. И удалось мне выследить одну загадочную пятерку... Пещерка у них, вижу, в Крапивкином Яру, осторожное поведение... Ну, думаю, тут можно попользоваться. Выбрал одного из них, который показался мне пожиже, и взял. Лично. А взявши, обработал. Обрабатывать я уже умел хорошо, начальство не жаловалось. Ну-с, вот он мне все и выложил... Заметьте, Феликс Александрович: то, что вам нынче на блюдечке преподнесли по ходу обстоятельств, мне досталось в поте лица... Всю ночь, помню, как каторжный... Однако, в отличие от вас, я быстро разобрался, что к чему. Там, где место только пятерым, там шестому не место. А значит — камень ему на шею, а сам — в дамках...

Феликс. Так вот почему этот идиот на меня кинулся... со стамеской со своей... как ненормальный...

Клетчатый. Не знаю, не знаю, Феликс Александрович... Думаю, понормальнее он нас с вами, как говорится... Да и то сказать: вот у кого опыт. С одна тысяча двести восемьдесят второго годика! Такое время при Источнике удержаться — это надобно уметь!

Феликс. Костя? С тысяча двести? Да он же просто рифмоплет грошовый!

Клетчатый. Ну, это как вам будет удобнее... Облегчились? Тогда пойдемте.

Они возвращаются в кабинет. В кабинете молчание. Наташа вдумчиво, с каким-то даже сладострастием обрабатывает помадой губы. Павел Павлович озабоченно колдует со своими серебристыми трубочками над ломтиками ветчины, разложенными на дольках белого пухлого калача. Иван Давыдович читает рукопись Феликса, брови у него изумленно задраны. Курдюков же, заложив руки за спину, как хищник в клетке, кружит в тесном пространстве между дверью и окном. Битое лицо его искривлено так, что видны зубы. Увидев Феликса, он пятится к стене и прижимается к ней лопатками.

Павел _Павлович_ (*взглянув на Феликса*). Ну? Всё в порядке? Мнительность, голубчик, мнительность! Нельзя так волноваться из-за каждого пустяка...

Иван _Давыдович_ (*бодро*). Так! Давайте заканчивать. Ротмистр, пожалуйста, приглядывайте за обоими. Вы, Басаврюк, стойте где стоите и не смейте кричать. Иначе я тут же, немедленно объявлю, что я против вас. Феликс Александрович, вы — сюда. И руки на стол, пожалуйста. Итак... С вашего позволения, я буду сразу переводить на русский... М-м-м... «В соответствии с основным... э-э-э... установлением... а именно, с параграфом его четырнадцатым... э-э... трактующим о важностях...» Проклятье! Как бы это... Князь, подскажите, как это будет лучше — «ахэллан»...

Павел _Павлович_. «Наизначительнейшее наисамейшее важное».

Иван _Давыдович_. Чудовищно неуклюже!

Павел _Павлович_. Да пропустите вы всю эту белиберду, Магистр! Кому это сейчас нужно? Давайте суть, и своими словами!..

Иван _Давыдович_. Вы не возражаете, Феликс Александрович?

Феликс. Я вам только одно скажу. Если ко мне кто-нибудь из вас приблизится...

Иван _Давыдович_. Феликс Александрович! Совсем не об этом сейчас речь... Хорошо, я самую суть. Случай чрезвычайный, присутствуют все пятеро, каждый имеет один голос. Очередность высказываний произвольная либо по жребию, если кто-нибудь потребует. Прошу.

Курдюков (*свистящим шепотом*). Я протестую!

Иван _Давыдович_. В чем дело?

Курдюков. Он же не выбрал! Он же должен сначала выбрать!

Наташа (*глядясь в зеркальце*). Ты полагаешь, котик, что он выберет

смерть?

Все, кроме Курдюкова и Феликса, улыбаются.

Курдюков. Я ничего не полагаю! Я полагаю, что должен быть порядок! Мы его должны спросить, а он должен нам ответить!

Иван _Давыдович_. Ну, хорошо. Принято. Феликс Александрович, официально осведомляемся у вас, что вам угодно выбрать: смерть или бессмертие?

Белый как простыня, Феликс откидывается на спинку стула и в тоске хрустит пальцами.

Феликс. Объясните хоть, что все это значит? Я не понимаю!

Иван _Давыдович_ (*с досадой*). Все вы прекрасно понимаете! Ну, хорошо... Если вы выбираете смерть, то вы умрете, и тогда голосовать нам, естественно, не будет надобности. Если же вы выберете бессмертие, тогда вы становитесь соискателем, и дальнейшая ситуация подлежит нашему обсуждению.

Пауза.

Иван _Давыдович_ (*с некоторым раздражением*). Неужели нельзя обойтись без этих драматических пауз?

Наташа (*тоже с раздражением*). Действительно, Феликс! Тянешь кота за хвост...

Феликс. Я вообще не хочу выбирать.

Курдюков (*хлопнув себя по коленям*). Ну, вот и прекрасно! И голосовать нечего!

Иван _Давыдович_ (*с ошарашенным видом*). Нет, позвольте...

Наташа. Феликс, ты доиграешься! Здесь тебе не редколлегия!

Павел _Павлович_. Феликс Александрович, это что? Шутка? Извольте объясниться...

Курдюков. А чего объясняться? Чего тут объясняться-то? Он же этот... гуманист! Тут и объясняться нечего! Бессмертия он не хочет, не нужно ему бессмертие, а отпустить его нельзя... Так чего же тут объясняться?

Наташа (*взявшись за голову*). Ой, да перестань ты тарахтеть!

Иван _Давыдович_. Вы, Феликс Александрович, неудачное время

выбрали для того, чтобы оригинальничать...

Павел _Павлович_. Вот именно. Объяснитесь!

Курдюков. А чего тут объяс...

Иван Давыдович обращает на него свой мрачный взор, и Курдюков замолкает на полуслове.

Феликс. Я в эту игру играть не намерен.

Наташа (*нежно*). Это же не игра, дурачок! Никак ты свой рационализм преодолеть не можешь. Убьют тебя — и все. Потому что это не игра. Это кусочек твоей жизни. Может быть, последний.

Курдюков. А что она вмешивается? Что она лезет? Где это видано, чтобы уговаривали?

Наташа (*указывает пальцем на Феликса*). Я — за него.

Курдюков. Не по правилам!

Наташа. Пусть он тебя удавит, а я ему помогу.

Курдюков хватается за лицо руками и с тоненьким писком съезжает по стене на пол.

Павел _Павлович_. Магистр, а может быть, Феликс Александрович просто плохо себе представляет конкретную процедуру? Может быть, нам следует ввести его в подробности?

Иван _Давыдович_. Может быть. Попробуем. Итак, Феликс Александрович, когда вы выбрали бессмертие, вы тотчас становитесь соискателем. В этом случае мы утверждаем вашу кандидатуру простым большинством голосов, и тогда вам с господином Курдюковым останется решить вопрос между собой. Это может быть поединок, это может быть жребий, как вы договоритесь. Мы же, со своей стороны, сосредоточиваем свои усилия на том, чтобы ваше... э-э... соревнование... не вызвало нежелательных осложнений. Обеспечение алиби... избавление от мертвого тела... необходимые лжесвидетельства... и так далее. Теперь процедура вам ясна?

Феликс (*решительно*). Делайте что хотите. В «шестой лишний» я с вами играть не буду.

Павел _Павлович_ (*потрясенный*). Вы отказываетесь от шанса на бессмертие?

Феликс молчит.

Павел _Павлович_ (*с восхищением*). Господа! Да он же любопытная фигура! Вот уж никогда бы не подумал! Писателишка, бумагомарака!.. Вы знаете, господа, я, пожалуй, тоже за него. Я — консерватор, господа, я не поклонник новшеств, но такой поворот событий! Или я ничего не понимаю, или теперь уже новые времена наступили наконец... Хомо новус?

Курдюков (*скулит*). Да какой там хомо новус! Что вам, глаза позалепило? Продаст же он вас! Продаст! Для виду сейчас согласится, а завтра уже продаст! Да посмотрите вы на него! Ну зачем ему бессмертие? Он же гуманист, у него же принципы! У него же внуков двое! Как он от них откажется? Феликс, ну скажи ты им, ну зачем тебе бессмертие, если у тебя руки будут в крови? Ведь тебе зарезать меня придется, Феликс! Как ты своей Лизке в глаза-то посмотришь?

Наташа (*насмешливо*). А что это он вмешивается? Что он лезет? Где это видано, чтоб отговаривали?

Курдюков (*не слушая*). Феликс! Ты меня послушай, я ведь тебя знаю, тебе же это не понравится. Ведь бессмертие — это и не жизнь, если хочешь, это совсем иное существование! Ведь я же знаю, что ты больше всего ценишь... Тебе дружбу подавай; тебе любовь подавай... А ведь ничего этого не будет! Откуда? Всю жизнь скрываться, от дочери скрываться, от внуков... Они же постареют, а ты нет! От властей скрываться, Феликс! Лет десять на одном месте — больше нельзя. И так веками, век за веком! (*Зловеще.*) А потом ты станешь такой, как мы. Ты станешь такой, как я! Ты очень меня любишь, Феликс? Посмотри, посмотри повнимательнее, я — твое зеркало.

Все слушают, всем очень интересно.

Павел _Павлович_ (*блеет одобрительно*). Неплохо, очень неплохо изложено. Я бы еще добавил из Шмальгаузена: «Природа отняла у нас бессмертие, давши взамен любовь». Но ведь и наоборот, господа! И наоборот!

Курдюков (*не слушая*). Это же нужен особый талант, Феликс, — получать удовольствие от бессмертия! Это тебе не рюмку водки выпить, не повестуху настрочить...

Феликс. Что ты меня уговариваешь? Ты своих вон динозавров уговаривай, чтобы они от меня отстали! Мне твое бессмертие даром не нужно...

Павел _Павлович_. Позвольте, позвольте! Не увлекаетесь ли вы,

Феликс Александрович? Как-никак бессмертие есть заветнейшая мечта рода человеческого! Величайшие из великих по пояс в крови не постеснялись бы пройти за бессмертием!.. Не гордыня ли вас обуревает, Феликс Александрович? Или вы все еще не верите?

Феликс. Во-первых, я действительно вам не верю...

Павел _Павлович_. Но это же, простите, глупо. Нельзя же в своем рационализме доходить до глупости!

Феликс. А во-вторых, вы мне предлагаете не бессмертие. Вы мне предлагаете совершить убийство.

Курдюков (*страстно*). Убийство, Феликс! Убийство!

Феликс. Величайшее из великих — ладно. Знаю я, кого вы имеете в виду. Чингисхан, Тамерлан... Вы мне их в пример не ставьте, я этих маньяков с детства ненавижу...

Курдюков (*подхалимски*). Живодеры, садисты...

Феликс. Молчи! Ты мне никогда особенно не нравился, чего там... а сейчас вообще омерзителен. Такой ты подонок оказался, Костя, просто подлец... Но убить! Да нет, чушь какая-то... Несерьезно.

Павел _Павлович_. А вы что же, друг мой, хотите получить бессмертие даром? Забавно! Много ли вы в своей жизни получили даром? Очередь в кооператив получить — и то весь в грязи изваляешься... А тут все-таки бессмертие!

Феликс. Даром я ничего не получил, это верно. Но и в грязи никогда не валялся...

Курдюков. Ой ли?

Феликс. Да уж задниц не лизал, как некоторые! Я работал! Работал и зарабатывал!

Павел _Павлович_. Ну, вот и поработайте еще разок...

Феликс (*угрюмо*). Это не работа.

Клетчатый и _Наташа_ (*в один голос*). Почему это не работа?

Павел Павлович ухмыляется. Феликс оглядывает их всех по очереди.

Феликс. Господи! Подумать только — Пушкин умер, а эти бессмертны! Коперник умер. Галилей умер...

Курдюков (*остервенело*). Вот он! Вот он! Моралист вонючий в натуральную величину! Неужели вы и теперь не понимаете, с кем имеете дело?

Наташа. Да-а, Феликс... Я, конечно, не Галилей, но Афродитой, помнится, ты меня называл, и не раз...

Павел _Павлович_ (*поучительно*). Что жизнь, что бессмертие — и то и другое нам дарует Фатум. Только жизнь дается нам — грехами родителей — бесплатно, а за бессмертие надобно платить! Так что мне кажется, господа, вопрос решен. Феликс Александрович погорячится-погорячится, да потом и поймет, что жизнь дается человеку один раз, и коль скоро возникла возможность растянуть ее на неопределенный срок, то таковой возможностью надлежит воспользоваться независимо от того, какая у тебя фамилия — Галилей, Велизарий, Снегирев, Петров, Иванов... Феликсу Александровичу не нравится цена, которую придется ему за это платить. Тоже не страшно! Внутренне соберется, надуется... ну, нос зажмет в крайнем случае, если уж так его с души воротит... Кстати, вы, кажется, вообразили себе, Феликс Александрович, что вам предстоит перепиливать сопернику горло тупым ножом или, понимаете ли... как он вас, понимаете ли... стамеской... или шилом...

Курдюков. Только на шпагах.

Павел _Павлович_. Ну зачем обязательно на шпагах? Две пилюльки, совершенно одинаковые на вид, на цвет, на запах... (*Лезет в часовой кармашек, достает плоскую округлую коробочку, раскрывает и показывает издали.*) Вы берете себе одну, соперник берет оставшуюся... Все решается в полминуты, не более... и никаких мучений, никаких судорог, рецепт древний, многократно испытанный... И заметьте, мук совести никаких: Фатум!

Курдюков (*кричит*). Только на шпагах!

Наташа (*задумчиво*). Вообще-то, на шпагах зрелищнее...

Павел _Павлович_. Во-первых, где взять шпаги? Во-вторых, где они будут драться? В этой комнате? На площади? Где? В-третьих, куда деть труп, покрытый колотыми и рублеными ранами?.. Хотя, разумеется, это гораздо более зрелищно. Особенно если принять во внимание, что Феликс Александрович сроду шпаги в руке не держал... Это вы совершенно правильно подметили, деточка: такие бои особенно привлекательны при явном превосходстве одной из сторон...

Иван _Давыдович_. Господа, я вынужден еще раз напомнить. Никаких акций в этой квартире. В том числе и с вашими пилюлями, Князь.

Павел _Павлович_ (*вкрадчиво*). Ни малейших следов!

Иван _Давыдович_. Нет!

Павел _Павлович_. Я гарантирую вам совершенно. Просто с человеком случится инфаркт. Или апоплексический удар...

Иван _Давыдович_. Нет, нет и нет! Не сегодня и не здесь. Собственно, это вообще особый разговор. Вы забегаете, Князь! Давайте

подбивать итоги. Вы, Князь, за соискателя. Вы, сударыня, тоже. Басаврюка я не спрашиваю. Ротмистр?

Клетчатый (*бросает окурок на пол и задумчиво растирает его подошвой*). Всячески прошу вашего прощения, герр Магистр, но я против. И вы извините, мадам, целую ручки, и вы, ваше сиятельство. Упаси бог, никого обидеть не хочу и никого не хочу задеть, однако мнение в этом вопросе имею свое и, можно сказать, выстраданное. Господина Басаврюка я знаю с самого моего начала, давно уже, и никаких внезапностей от него ждать не приходится...

Наташа (*насмешливо*). И нынешнюю прелестную ночку вы тоже ожидали, Ротмистр?

Клетчатый. В нынешней прелестной ночке, мадам, прелестного, конечно же, мало, но ничего такого уж совсем плохого в ней тоже нет. Все утрясется, все будет путем. Господин Басаврюк — человек слабый, оступился, и еще, может быть, оступится — больно уж робок. Но он же наш... А вот господин писатель, не в обиду ему будет сказано... Не верю я вам, господин писатель, не верю и никогда не поверю. И не потому я не верю, что вы плохой какой-нибудь или себе на уме — упаси бог! Просто не понимаю я вас. Не понимаю я, что вам нравится, а что вам не нравится, чего вы хотите, а чего не хотите... Чужой вы, Феликс Александрович. Будете вы в нашей маленькой компании как заноза в живом теле, и лучше для всех для нас, если вас не будет. Совсем. Извините великодушно, ежели кого задел. Намерения такого не было.

Курдюков (*прочувствованно*). Спасибо, Ротмистр! Никогда я вам этого не забуду!

Клетчатый с заметной опаской взглядывает на него, делает неопределенный жест и принимается раскуривать очередную сигарету. И тут вдруг Курдюков, сидевший до сих пор на корточках у стены, падает на четвереньки, быстро, как паук, подбегает к Ивану Давыдовичу и стукается лбом в пол у его туфли.

Иван _Давыдович_ (*брезгливо-небрежно*). Хорошо, хорошо, я учту... Господа! Голоса разделились поровну. Решающий голос оказался за мной...

Он со значением смотрит на Феликса, и на лице его вдруг появляется выражение изумления и озабоченности.

Феликс больше не похож на человека, загнанного в ловушку. Он сидит вольно, несколько развалясь, закинув руку за спинку своего кресла. Лицо его

спокойно и отрешенно, он явно не слышит и не слушает, он даже улыбается углом рта! Наступившая тишина возвращает его к действительности. Он как бы спохватывается и принимается шарить рукой по бумагам на столе, находит сигареты, сует одну в рот, а зажигалки нет, и он смотрит на Клетчатого.

Феликс. Ротмистр, отдайте зажигалку! Давайте, давайте, я видел! Что за манеры?.. (*Ротмистр торопливо возвращает зажигалку.*) И перестаньте вы мусорить на пол! Вот пепельница, вытряхните и пользуйтесь!

Все смотрят на него настороженно.

Феликс. Господа динозавры, я тут несколько отвлекся и, кажется, что-то пропустил... Но, понимаете ли, когда до меня дошло наконец, что убивать вы меня сегодня не осмелитесь, мне значительно, знаете ли, полегчало... И знаете, что я обнаружил? У нас тут с вами, слава богу, не трагедия, а комедия! Комедия, господа! Забавно, правда?

Все молчат.

Курдюков (*неуверенно*). Комедия ему...
Наташа. Если комедия, то почему же не смешно?
Феликс (*весело*). А это такая особенная комедия! Когда смеяться нечему! Когда впору плакать, а не смеяться!

И снова все молчат, и каждый силится понять, что же это вдруг произошло с соискателем.

Иван _Давыдович_. Я хотел бы поговорить с соискателем наедине.
Павел _Павлович_. И я тоже...
Иван _Давыдович_. Куда у вас здесь можно пройти, Феликс Александрович?
Феликс. Что за тайны?.. А впрочем, пройдемте в спальню.

В спальне Феликс садится на тахту, Иван же Давыдович устраивается напротив него на стуле.

Иван _Давыдович_. Итак, насколько я понял по вашему поведению, вы наконец сделали выбор.

Феликс. Какой выбор? Смерть или бессмертие? Слушайте, бессмертие, может быть, и неплохая штука, не знаю... но в такой компании... В такой компании только покойников обмывать!

Иван _Давыдович_. Ах, Феликс Александрович, как вы меня беспокоите! Но смерть же еще хуже! Да, конечно, по-своему вы правы. Когда обыкновенный серенький человечек волею судьбы обретает бессмертие, он с неизбежностью превращается через два-три века в мономана... Черта характера, превалировавшая в начале его жизни, становится со временем единственной. Так появляется ваша эротоманка Наталья Петровна, маркитанточка из рейтарского обоза, — ныне в ней, кроме маркитантки, уже ничего не осталось, и надо быть, простите, Феликс Александрович, таким вот непритязательным кобелем, как вы, чтобы увидеть в ней женщину...

Феликс. Ну, знаете, ваш Павел Павлович не лучше!

Иван _Давыдович_. Нисколько не лучше! Я не знаю, с чего он начинал, он очень древний человек, но сейчас это просто гигантский вкусовой пупырышек...

Феликс. Недурно сказано!

Иван _Давыдович_. Благодарю вас... У меня вообще впечатление, Феликс Александрович, что из всей нашей компании я вызываю у вас наименьшее отвращение. Я угадал?

Феликс неопределенно пожимает плечами.

Иван _Давыдович_. Благодарю вас еще раз. Именно поэтому я и решил потолковать с вами без свидетелей. Чтобы не маячили рядом совсем уж омерзительные рожи. Не стану притворяться: я — холодный, равнодушный и жестокий человек. Иначе и быть не может. Мне пять сотен лет. За такое время волей-неволей освобождаешься от самых разнообразных химер: любовь, дружба, честь и прочее. Мы все такие. Но в отличие от моих компаньонов я имею идею. Для меня существует в этом мире нечто такое, что нельзя ни сожрать, ни облапить, ни засунуть под зад, чтобы стало еще мягче. За свою жизнь я сделал сто семь открытий и изобретений. Я выделил фосфор на пятьдесят лет раньше Брандта, я открыл хроматографию на двадцать лет раньше Цвета, я разработал периодическую систему примерно в те же годы, что и Дмитрий Иванович... По понятным причинам я вынужден сохранять все это в тайне, иначе мое имя уже гремело бы в истории — гремело бы слишком, и это опасно. Всю жизнь я занимаюсь тем, что нынче назвали бы синтезированием Эликсира.

Я хочу, чтобы его было вдосталь. Нет-нет, не из гуманных соображений! Меня не интересуют судьбы человечества. У меня свои резоны. Простейший из них: мне надоело сидеть в подполье и шарахаться от каждого жандарма. Мне надоело опережать свое время в открытиях. Мне надоело быть номером ноль. Я хочу быть номером один. Но мне не на кого опереться. Есть только четыре человека в мире, которым я мог бы довериться, но они абсолютно бесполезны для меня. А мне нужен помощник! Мне нужен интеллигентный собеседник, способный оценить красоту мысли, а не только красоту бабы или пирожка с капустой. Таким помощником можете стать вы. По сути, Курдюков оказал мне услугу: он поставил вас передо мной. Я же вижу — вы человек идеи. Так подумайте: попадется ли вам идея, еще более достойная, чем моя!

Феликс. Я ничего не понимаю в химии.

Иван _Давыдович_. В химии понимаю я! Мне не нужен человек, который понимает в химии. Мне нужен человек, который понимает в идеях. Я устал быть один. Мне нужен собеседник, мне нужен оппонент. Соглашайтесь, Феликс Александрович! До сих пор бессмертных творил Фатум. С вашей помощью их начну творить я. Соглашайтесь!

Феликс (*задумчиво*). Н-да-а-а...

Иван _Давыдович_. Вас смущает плата? Это пустяки. Нигде не сказано, что вы обязаны убирать его собственными руками. Я обойдусь без вас.

Феликс. Всунете меня в сапоги убитого?

Иван _Давыдович_. Вздор, вздор, Феликс Александрович! Детский лепет, а вы же взрослый человек... Константин Курдюков прожил на свете семьсот лет! И все это время он только и делал, что жрал, пил, грабил, портил малолетних и убивал. Он прожил лишних шестьсот пятьдесят лет! Это просто патологический трус, который боится смерти так, что готов пойти на смерть, чтобы только избежать ее! Шестьсот пятьдесят лет, как он уже мертв, а вы разводите антимонии вокруг его сапог! Кстати, и не его это сапоги, он сам влез в них, когда они были еще теплые... Послушайте, я был о вас лучшего мнения! Вам предлагают грандиознейшую цель, а вы думаете — о чем?

Феликс. Ни вы, ни я не имеем права решать, кому жить, а кому умереть.

Иван _Давыдович_. Ах, как с вами трудно! Гораздо труднее, чем я ожидал! Чего же вы добиваетесь тогда? Ведь пойдете под нож!

Феликс. Да не пойду я под нож!

Иван _Давыдович_. Пойдете под нож, как баран, а это ничтожество,

эта тварь дрожащая, коей шестьсот лет как пора уже сгнить дотла, еще шестьсот лет будет порхать с цветка на цветок без малейшей пользы для чего бы то ни было! А я-то вообразил, что у вас действительно есть принципы. Ведь вы же писатель. Ведь сказано же было таким, как вы, что настоящий писатель должен жить долго! Вам же предоставляется возможность, какой не было ни у кого! Переварить в душе своей многовековой личный опыт, одарить человечество многовековой мудростью... Вы подумайте, сколько книг у вас впереди, Феликс Александрович! И каких книг — невиданных, небывалых!.. Да, а я-то думал, что вы действительно готовы сделать что-то для человечества, о котором с такой страстью распинаетесь в своей статье... Эх вы, мотыльки, эфемеры!..

Феликс. Вот мы уже и о пользе для человечества заговорили...

Иван Давыдович поднимается и некоторое время смотрит на Феликса.

Иван _Давыдович_. Вам, кажется, угодно разыгрывать из себя героя, Феликс Александрович, но ведь сочтут-то вас глупцом!

Он выходит, и сейчас же в спальне объявляется Клетчатый.

Клетчатый. Прошу прощения... Телефончик...

Он быстро и ловко отключает телефонный аппарат и несет его к двери. Перед дверью он приостанавливается.

Клетчатый. Давеча, Феликс Александрович, я мог показаться вам дерзким. Так вот, не хотелось бы оставить такое впечатление. В моей натуре главное — прямота. Что думаю, то и говорю. Однако же намерения обидеть, задеть, возвыситься никогда не имею.

Феликс. Валите, валите отсюда... Да с телефоном поосторожнее! Это вам не предмет конфискации! Можете позвать следующего. Очередь небось уже выстроилась...

Оставшись один, Феликс валится спиной на кушетку и закладывает руки под голову. Бормочет: «Ничего... Тут главное — нервы. Ни черта они мне не сделают, не посмеют!..»

У двери в спальню Курдюков уламывает Клетчатого.

Курдюков. Убежит, я вам говорю! Обязательно удерет! Вы же его не знаете!

Клетчатый. Куда удерет? Седьмой этаж, сударь...

Курдюков. Придумает что-нибудь! Дайте я сам посмотрю...

Клетчатый. Нечего вам там смотреть, все уже осмотрено...

Курдюков. Ну я прошу вас, Ротмистр! Как благородный человек! Я вам честно скажу: мне с ним поговорить надо...

Клетчатый. Поговорить... Вы его там шлепнете, а мне потом отвечать...

Курдюков (*страстно, показывая растопыренные ладони*). Чем? Чем я его шлепну? А если даже и шлепну? Что здесь плохого?

Клетчатый. Плохого здесь, может быть, ничего и нет, но ведь, с другой стороны, приказ есть приказ... (*Он быстро и профессионально обшаривает Курдюкова.*) Ладно уж, идите, господин Басаврюк. И помогай вам бог...

Курдюков на цыпочках входит в спальню и плотно закрывает за собой дверь.

Феликс встречает его угрюмым взглядом, но Курдюкова это нисколько не смущает. Он подскакивает к тахте и наклоняется к самому уху Феликса.

Курдюков. Значит, делаем так. Я беру на себя Ротмистра. От тебя же требуется только одно: держи Магистра за руки, да покрепче. Остальное — мое дело.

Феликс отодвигает его растопыренной ладонью и садится.

Курдюков. Ну, что уставился? Надо нам из этого дерьма выбираться или не надо? Чего хорошего, если тебя шлепнут или меня шлепнут? Ты, может, думаешь, что о тебе кто-нибудь позаботится? Чего тебе тут Магистр наплел? Наобещал небось с три короба? Не верь ни единому слову! Нам надо самим о себе позаботиться! Больше заботиться некому! Дурак, нам только бы вырваться отсюда, а потом дернем кто куда... Неужели у тебя места не найдется, куда можно нырнуть и отсидеться?

Феликс. Значит, я хватаю Магистра?

Курдюков. Ну?

Феликс. А ты, значит, хватаешь Ротмистра?

Курдюков. Ну! Остальные, они ничего не стоят!

Феликс. Пошел вон!

Курдюков. Да почему? Дурак! Не веришь мне! Ну, ты мне только пообещай: когда я Ротмистра схвачу, попридержи Ивана Давыдовича!

Феликс. Вон пошел, я тебе говорю!

Курдюков рычит, совершенно как собака. Он подбегает к окну, быстро и внимательно оглядывает раму и, удовлетворившись, устремляется к двери. Распахнув ее, он оборачивается к Феликсу и громко шипит: «О себе подумай, Снегирев! Еще раз тебе говорю! О себе подумай!»

Едва он скрывается, в спальню является Наташа и тоже плотно закрывает за собой дверь. Она подходит к тахте, садится рядом с Феликсом и озирается.

Наташа. Господи, как давно я здесь не была! А где же секретер? У тебя же тут секретерчик стоял...

Феликс. Лизавете отдал. Почему это тебя волнует?

Наташа. А что это ты такой колючий? Я ведь тебе ничего плохого не сделала. Ты ведь сам в эту историю въехал... Фу ты, какое злое лицо! Вчера ты на меня совсем не так смотрел... Страшно?

Феликс. А чего мне бояться?

Наташа. Ну, как сказать... Пока Курдюков жив...

Феликс. Да не посмеете вы.

Наташа. Сегодня не посмеем, а завтра...

Феликс. И завтра не посмеете... Неужели никто из вас до сих пор не сообразил, что вам же хуже будет?

Наташа. Слушай. Ты же не понимаешь. Они же совсем без ума от страха. Они сейчас от страха на все готовы, вот что тебе надо понять. Я вижу, ты что-то там задумал. Не зарывайся! Никому не верь, ни единому слову. И спиной ни к кому не поворачивайся — охнуть не успеешь! Я видела, как это делается...

Феликс. Что это ты вдруг меня опять полюбила?

Наташа. Сама не знаю. Я тебя сегодня словно впервые увидела. Я же думала: ну, мужичишка, ну, кобелек, на два вечерка сгодится... А ты вон какой у меня оказался! (*Она совсем придвигается к нему, и прижимается, и гладит по лицу.*) Мужчина... Хомо... Обними меня! Ну что ты сидишь, как чужой?.. Это же я... Вспомни, как ты говорил: фея, ведьма прекрасная... Я ведь проститься хочу... Я не знаю, что будет через час... Может быть, мы сейчас последний раз с тобой...

Феликс с усилием освобождается от ее руки и встает.

Феликс. Да что ты меня хоронишь? Перестань! Вот уж нашла время и место!

Наташа (*цепляясь за него*). В последний разочек...

Феликс. Никаких разочков... С ума сошла... Да перестань, в самом деле!

Он вырывается от нее окончательно и отбегает к окну, а она идет за ним, как сомнамбула, и бормочет, словно в бреду: «Ну почему? Почему?.. Это же я, вспомни меня... Трупик мой любимый, желанный!..»

Феликс. Слушай! Тебе же пятьсот лет! Побойся бога, старая женщина! Да мне теперь и подумать страшно!..

Она останавливается, будто он ударил ее кнутом.

Наташа. Болван. Труп вонючий. Евнух.

Феликс (*спохватившись*). Господи, извини... Что это я, в самом деле... Но и так же тоже нельзя...

Наташа. Дрянь. Идиот. Ты что — вообразил, что Магистр за тебя заступится? Да ему же одно только и нужно — баки тебе забить, чтобы ты завтра по милициям не побежал, чтобы время у нас осталось решить, как мы тебя будем кончать! Что он тебе наобещал? Какие золотые башни? Дурак ты стоеросовый, кастрат неживой! Тьфу!

Тут в спальню заглядывает Павел Павлович. В руке у него бутерброд, он с аппетитом прожевывает лакомый кусочек.

Павел _Павлович_. Деточка, десять минут истекли! Я полагаю, вы уже закончили?

Наташа (*злобно*). С ним закончишь! И не начинали даже! (*Решительными точными движениями она оправляет на себе платье, волосы.*) Хотела напоследок попользоваться, но он же ни на что не годен, Князь! Не понимаю, на что вы надеетесь...

И она стремительно выходит вон мимо посторонившегося Павла Павловича.

Павел _Павлович_. Ай-яй-яй-яй-яй! Вы ее, кажется, обидели... Задели, кажется... Напрасно, напрасно. (*Садится на тахту, откусывает от бутерброда.*) Весьма опрометчиво. Могли бы заметить: у нас ко всем этим тонкостям, к нюансам этим относятся очень болезненно! Обратили внимание, как наш Басаврюк попытался Маркизу подставить вместо себя? Дескать, это она все наши секреты вам по женской слабости раскрыла? Ход простейший, но очень, очень эффективный! И если бы не трусость его, могло бы и пройти... Вполне могло бы! А что в основе? Маленькое недоразумение, случившееся лет этак семьдесят назад. Или сто, не помню. Отказала ему Маркиза. И не то чтобы он горел особенной страстью, но отказала! То есть никому никогда не отказывала, а ему отказала... Чувствуете? Вы не поверите, а вот семьдесят лет прошло, и еще сто семьдесят лет пройдет, а забыто не будет! А в общем-то мы все друг друга не слишком-то долюбливаем. Да и за что мне их любить? Вздорные существа, мелкие, бездарные... Этот Магистр наш, Иван Давыдович, высоко о себе мнит, а на самом деле — обыкновенный графоман от науки. Я же специально справки наводил у него в институте... Он там вечный предместкома. Вот вам и друг Менделеева! Диву даюсь, что в нем этот Ротмистр нашел? Откуда такое собачье преклонение? Да вы не стойте в углу, Феликс Александрович, присаживайтесь, поговорим...

Феликс садится на другой край тахты, закуривает и исподлобья наблюдает за Павлом Павловичем. А тот неторопливо извлекает из своего футляра очередную серебристую трубочку, капает из нее на последний кусочек бутерброда и, закативши глаза, отправляет кусочек в рот. Он наслаждается, причмокивает, подсасывает, покачивает головой как бы в экстазе.

Павел _Павлович_ (*проглотив наконец, продолжает*). Вот чего вы, смертные, понять не в состоянии — вкуса. Вкуса у вас нет! Иногда я стою в зале ресторана, и наблюдаю за вами, и думаю: «Боже мой! Да люди ли это? Мыслящие ли это существа?» Ведь вы же не едите, Феликс Александрович! Вы же просто в рот куски кидаете! Это же у вас какой-то механический процесс, словно грубый грязный кочегар огромной лопатой швыряет в топку бездарный уголь, коим только головы разбивать... Ужасающее зрелище, уверяю вас... Вот, между прочим, один аспект нашего бессмертия, который вам, конечно, на ум не приходит. Я не знаю, какого сорта бессмертие даровано Агасферу. По слухам, это желчный, сухопарый старик, совершеннейший аскет. Наше бессмертие — это бессмертие совсем

иного сорта! Это бессмертие олимпийцев, упивающихся нектаром, это бессмертие вечно пирующих воинов Валгаллы!.. Эликсир — это что-то поразительное! Вы можете есть все что угодно, кроме распоследней тухлятины, которую есть вам просто не захочется. Вы можете пить любые напитки, кроме откровенных ядов, и в любых количествах... Никаких катаров, никаких гастритов, никаких заворотов кишок и прочих запоров... И при всем при этом ваша обонятельная и вкусовая система всегда в идеальном состоянии. Какие безграничные возможности для наслаждения! Какое необозримое поле для эксперимента! А вы ведь любите вкусненько поесть, Феликс Александрович! Не умеете — да. Но любите! Так что нам с вами будет хорошо. Я вас кое-чему научу, век благодарны будете... и не один век!

Феликс. Да вы просто поэт бессмертия! Бессмертный бог гастрономии!

Павел _Павлович_. Оставьте этот яд. Он неуместен. По сути дела, я хотел помочь вам преодолеть вашу юношескую щепетильность. Я понимаю, что у вас нет и быть не может привычки распоряжаться чужой жизнью, это не в обычаях общества... А может быть, вы просто боитесь рисковать? Так ведь риска никакого нет. Пусть он сколько угодно кричит о шпагах — никаких шпаг ему не будет. Будут либо две пилюльки, либо два шприца — Магистр обожает шприцы! — либо «русская рулетка»... А тогда все упирается в чистую технику, в ловкость рук, этим буду заниматься я, как старший, и успех я вам гарантирую...

Феликс. Слушайте, а зачем это вам? Какая вам от меня польза, вашество? Чокаться вам не с кем, что ли? Нектаром...

Павел _Павлович_. Польза-то как раз должна быть вам очевидна. Во-первых, мы уберем мозгляка. Это поганый тип, он у меня повара сманил, Жерарчика моего бесценного... Карточные долги я ему простил, пусть, но Жерара! Не могу я этого забыть, не хочу, и не просите... А потом... Равновесия у нас в компании нет, вот что главное. Я старше всех, а хожу на вторых ролях. Почему? А потому, что деревянный болван Ротмистр держит почему-то нашего алхимика за вождя. Да какой он вождь? Он пеленки еще мочил, когда я был хранителем трех Ключей... А теперь у него два Ключа, а у меня — один!

Феликс. Понимаю вас. Однако же я не Ротмистр.

Павел _Павлович_. Э, батенька! Что значит — не Ротмистр? Физически крепкий человек, да еще с хорошо подвешенным языком, да еще писатель, то есть человек с воображением... Да мы бы с вами горы своротили вдвоем! Я бы вас с Маркизой помирил... что вам делить с

Маркизой? И стало бы нас уже трое...

Феликс. Благодарю за честь, вашество, но боюсь, что вынужден отказаться.

Павел _Павлович_. Почему, позвольте узнать?

Феликс. Тошнит.

Пауза.

Павел _Павлович_. Позвольте мне резюмировать ситуацию. С одной стороны, практическое бессмертие, озаренное наслаждениями, о которых я вынужденно упомянул лишь самым схематическим образом. А с другой стороны — скорая смерть, в течение ближайшей недели, я полагаю, причем, может быть, и мучительная. И вам угодно выбрать...

Феликс. Я резюмирую ситуацию совсем не так...

Павел _Павлович_. Батенька, да в словах ли дело? Бессмертия вы жаждете или нет?

Феликс. На ваших условиях? Конечно, нет.

Павел _Павлович_ (*воздевая руки*). На наших условиях, видите ли! Да что же вы за человек, Феликс Александрович? Ужасаться прикажете вам? Склонить перед вами голову? Или развести руками?

Феликс. Погодите, вашество. Я вам сейчас объясню...

Павел _Павлович_ (*не слушая*). Я чудовищно стар, Феликс Александрович. Вы представить себе не можете, как я стар. Я сам иногда вдруг обнаруживаю, что целый век выпал из памяти... Скажем, времена до Брестской унии помню, и что было после Ужгородской — тоже помню, а что было между ними — как метлой вымело... Так вы можете представить, сколько я этих соискателей на своем веку повидал! Кого только среди них не было... Византийский логофет, богомил-еретик, монгольский сотник, ювелир из Кракова... И как же все они жаждали припасть к Источнику! Головы приносили и швыряли передо мной: «Я! Я вместо него!» Конечно, нравы теперь не те, головы не принято отсекать, но ведь и не требуется! Простое согласие от вас требуется, Феликс Александрович! Так нет! Отказывается! Да что же вы за человек такой? И ведь знаю, казалось бы, я вас! Не идеал, совсем не идеал! И выпить, и по женской части, и материальных потребностей, как говорится, не чужд... И вдруг такая твердокаменность! Не-ет, потрясли вы меня, Феликс Александрович. Просто в самое сердце поразили. Сначала вы не понимали ничего, потом стали понимать, но никак не могли поверить, а теперь и понимаете, и верите... Может быть, мученический венец принять хотите? Вздор, знаете

вы, что не будет вам никакого венца... Фанатик? Нет! Мазохист? Тем более — нет. Значит — хомо новус. Снимаю перед вами шляпу и склоняю голову. А я-то, грешным делом, думал: человеков я знаю досконально... (*Он смотрит на часы и поднимается. Произносит задумчиво.*) Ну что ж, каждому свое. Пойдемте, Феликс Александрович, времени у нас больше не осталось.

В кабинете тем временем Наташа шарит по полкам с книгами, берет одну книгу за другой, прочитывает наугад несколько строчек и равнодушно роняет на пол. Из угла в угол по разбросанным книгам, по окуркам, по осколкам посуды снует Курдюков, руки его согнуты в локтях, пальцы ритмично движутся, словно он дирижирует невидимым оркестром. Клетчатый, стоя столбом у стены, внимательно следит за его эволюциями. А Иван Давыдович листает газетную подшивку.

Светает. За окнами туман. Входят Павел Павлович и Феликс.

Иван _Давыдович_. Наконец-то! (*Отбрасывает подшивку.*) Итак, Феликс Александрович, ваше решение!

Павел _Павлович_. Одну минуточку, Магистр. Я хочу сделать маленькое уточнение. Я тут поразмыслил и пришел к выводу, что Ротмистр прав. Отныне я за нашего дорогого Басаврюка. Как говорится, старый друг лучше новых двух.

Курдюков. Благодетель!

Наташа. Я тоже. К дьяволу чистоплюев.

Курдюков. Благодетельница! (*Торжествующе показывает Феликсу язык.*)

Иван _Давыдович_ (*после паузы*). Вот как? Н-ну что ж... А я, напротив, самым категорическим образом поддерживаю кандидатуру Феликса Александровича. И я берусь доказать любому, что он, несомненно, полезен для нашего сообщества.

Он бросает короткий взгляд на Клетчатого, и тот, сделав отчетливый шаг вперед, становится рядом с ним.

Клетчатый. Я тоже за господина писателя. Раз другие меняют, то и я меняю.

Курдюков (*плачет*). За что? Я же всегда за... Я же свой... А он сам не хочет...

Павел _Павлович_. Во-первых, он сам не хочет. А во-вторых,

Магистр, вы все-таки оказались в меньшинстве...

Иван _Давыдович_. Но я и не предлагаю принимать какие-нибудь необратимые решения прямо сейчас! Уже светло, сделать сегодня мы все равно ничего не сможем, мы не готовы, надо все хорошенько продумать... Господа! Мы расходимся. О времени и месте следующей встречи я каждого извещу во благовремении...

Курдюков (*хрипит*). Он же в милицию... Сию же минуту!..

Иван Давыдович обращает пристальный взор на Феликса.

Иван _Давыдович_. Милостивый государь! Вам были сделаны весьма лестные предложения, не забывайте об этом. Обдумайте их в спокойной обстановке. И помните, пожалуйста, что длинный язык может лишь принести вам и вашим близким непоправимые беды!

Феликс. Иван Давыдович! Да перестаньте же вы мне угрожать. Ну как можно быть таким самовлюбленным дураком? Неужели же не понятно, что я скорее откушу себе этот мой длинный язык, чем хоть кому-нибудь раскрою такую тайну? Неужели же вы не способны понять, какое это счастье для всего человечества — что у Источника бессмертия собралась именно ваша компания, компания бездарей, ленивых, бездарных, похотливых ослов...

Иван _Давыдович_. Милостивый государь!

Феликс. Какое это безмерное счастье! Помыслить ведь страшно, что будет, если тайна раскроется и к Источнику прорвется хоть один настоящий, неукротимый, энергичный, сильный негодяй!.. Что может быть страшнее! Бессмертный пожиратель бутербродов — да это же огромная удача для планеты! Бессмертный энергичный властолюбец — вот это уже беда, вот это уже страшно, это катастрофа... Поэтому спите спокойно, динозавры вы мои дорогие! Под пытками не выдам я вашей тайны...

Они уходят, они бегут. Первой выскакивает Наталья Петровна, на ходу запихивая в сумочку свои косметические цацки. Величественно удаляется, постукивая зонтиком-тростью, Павел Павлович, сохраняя ироническое выражение на лице. Трусливо озираясь, удирает Курдюков, теряя и подхватывая больничные тапочки. Клетчатый не совсем улавливает пафос происходящего, он просто дожидается Ивана Давыдовича. Иван же Давыдович слушает дольше всех, но в конце концов и он не выдерживает.

Феликс (*им вслед*). Под самыми страшными пытками не выдам! Умру за вас, как последняя собака! Курдюкова буду беречь как зеницу ока, за ручку его буду через улицу переводить... И запомните: ежели что, не дай бог, случится, я в вашем полном распоряжении! Считайте, что теперь есть у вас ангел-хранитель на этой Земле!

Феликс стоит у окна и рассматривает всю компанию с высоты седьмого этажа. Курдюкова запихивают в кремовые «Жигули», Клетчатый за ним, Наташа садится за руль, Иван Давыдович — с нею рядом. Павел Павлович приветствует отъезжающую машину, приподняв шляпу, а затем неспешно, постукивая тростью-зонтиком, уходит из поля зрения.

И тогда Феликс оборачивается и оглядывает кабинет. Вся мебель сдвинута и перекошена. На полу раздавленные окурки, измятые книги, черные пятна кофе, растоптанные телефонные аппараты, осколки фарфора. На столах, на листах рукописи валяются огрызки и объедки, тарелки с остатками еды, грязная сковородка.

Дом уже проснулся. Слышно, как гудит лифт, грохают где-то двери, раздаются шаги, голоса.

И тут дверь в кабинет растворяется, и на пороге появляется дочь Феликса Лиза с двумя карапузами-близнецами.

— Почему у тебя дверь... — *начинает она и ахает.* — Что такое? Что у тебя тут было?

Феликс. Пиршество бессмертных.

Лиза. Какой ужас... И телефоны разбили! То-то же я не могла тебе дозвониться... В садике сегодня карантин, и я привела к тебе...

Феликс. Давай их сюда, этих разбойников. Идите сюда скорее, ко мне. Сейчас мы с вами все тут приберем. Правильно, Фома?

Фома. Правильно.

Феликс. Правильно, Антон?

Антон. Неправильно. Бегать хочу.

ТУЧА

Под низким пасмурным небом, под непрерывным сеющим дождем по мокрому асфальтовому шоссе движется колонна машин: длинный лимузин впереди и три огромных автофургона следом. На мокрых брезентовых боках фургонов знаки «Опасный груз».

На заднем сиденье лимузина, сложивши руки на груди, расположился хозяин этой колонны, известный метеоролог и атмосферный физик профессор Нурланн, человек лет сорока, с надменным лицом. Впереди рядом с шофером сидит его ассистент, личность вполне бесцветная, доведенная своим начальником до состояния постоянной злобной угодливости. О шофере и говорить нечего, голова его втянута в плечи, словно он поминутно ожидает, что его ткнут в загривок.

Ассистент, вывернувшись на сиденье, насколько позволяют ремни безопасности, говорит ядовито-сладким голосом:

— Я правильно помню, профессор, что вы не бывали здесь вот уже больше пятнадцати лет?

Нурланн молчит.

— Пятнадцать лет! С ума сойти. Я понимаю ваше волнение — вернуться в родной город, даже при таких обстоятельствах...

Нурланн молчит.

— А может быть, именно при таких обстоятельствах? Вернуться как бы избавителем. Избавителем от большой беды...

— Сядьте прямо и заткнитесь, — холодно говорит Нурланн.

Ассистент моментально выполняет приказание. На губах его довольная улыбка.

Видимость отвратительная — не больше пятидесяти метров. За пеленой дождя по сторонам дороги уносятся назад:

шеренга каких-то зачехленных громадин вдоль шоссе и снующие среди них солдаты в плащ-накидках;

необозримое стадо пустых пассажирских автобусов;

походная радарная установка;

еще одна походная радарная установка, окруженная стадом пасущихся коров;

обширная асфальтовая площадка, несколько вертолетов на ней;

бензоколонка, очередь легковых машин с трейлерами, на крышах мокнут разнокалиберные чемоданы, и тут же остановился фермер с телегой

и взирает на это с видом глубокой задумчивости.

И вообще: то и дело проносятся навстречу лимузину легковые машины, тяжело нагруженные барахлом.

Колонна, замедлив ход, въезжает в город. Граница города обозначена гигантским медным барельефом городского герба: обнаженный богатырь с ослиной головой поражает трезубцем гидру о трех головах — две из них мужские, третья женская.

Сразу за барельефом в сквере стоят два танка, и тут же под навесом за походным столом кормятся несколько военных вперемежку со штатскими. Ослепительная молния вдруг обрушивается на сквер, и тотчас за ней вторая оплетает самое высокое дерево. Привычного грома нет, а есть какой-то странный свистящий шелест, но вспышки очень яркие и молнии очень страшные. Под навесом, однако, только один человек поднял голову и обернулся с недовольным видом, не переставая жевать.

В оперативном отделе штаба на огромном столе расстелена карта города. Вокруг стола стоят военные в пятнистых десантных комбинезонах без знаков различия и несколько штатских. В конусе света от лампы только карта и руки, упирающиеся в стол, лиц почти не видно.

На карте центр города занят угольно-черным пятном неправильной формы, по очертаниям немного напоминающим бабочку с распростертыми крыльями.

— Я полагаю ударить сюда, — говорит Нурланн, показывая пальцем. — Для начала рассечем ее пополам. Если повезет, мы сразу накроем активную зону. Здесь проходит магнитный меридиан, вот по этому проспекту...

— Дорога чистых душ, — негромко произносит кто-то из военных.

— Что? — надменно спрашивает Нурланн. — А! В мое время это был проспект Реформации... Очень удачно, что он проходит прямо по малой оси, можно бить прямой наводкой. Для начала, полковник, мне нужен дивизион «корсаров». Полагаю, его надо развернуть где-нибудь здесь... или здесь... А после того как она развалится надвое, будем бить в этом и этом направлении.

— А если не развалится? — насмешливо и раздраженно спрашивает кто-то.

Нурланн, резко вздернув подбородок, пытается рассмотреть в сумраке говорившего. Полковник поспешно произносит:

— Вы должны понять нас правильно, профессор. Все-таки мы здесь

уже полгода. Мы испробовали чертову пропасть всевозможных средств, а помогают одни только дальнобойные огнеметы... и вообще огонь...

Тот же насмешливо-раздраженный голос вставляет:

— Пока горит.

— Вот именно, — говорит полковник. — Пока горит, она не двигается.

— Там, где горит, — вставляет голос.

— Капитан, я попросил бы вас! — сердито говорит полковник.

Нурланн, несколько смягчившись, снисходит до объяснения:

— Я привез сорок пять снарядов, начиненных «Одеколоном АБ». Это коагулянт, который осаждает любое аэрозольное образование. Подчеркиваю: любое. Газетчики распространяют легенду, будто Туча — живое существо. Это вздор. Туча — это аэрозольное образование довольно сложной и не вполне понятной структуры. Поскольку оно возникло и распространяется в плотно населенном районе, у нас, к сожалению, нет возможности изучить его должным образом. Его придется уничтожить. Для этого я и приехал.

— То есть вы полагаете, — уточняет полковник, — что эвакуацию можно отменить?

Нурланн, повернув голову, смотрит на него. Полковник продолжает:

— Эвакуация практически подготовлена. Более того, если бы не... ну, некоторые обстоятельства... некоторые неконтролируемые обстоятельства, мы бы ее начали завтра. Дело в том, что скорость Тучи увеличивается, вчера на некоторых радиусах она превысила сто метров в сутки.

— Увольте, полковник, — недовольно говорит Нурланн. — В этом вопросе я не компетентен. Могу сказать только, что «Одеколон АБ» — штука очень ядовитая и людям лучше держаться от нее подальше. Таким вот образом. Может быть, еще есть вопросы?

Робкий голос:

— Правда, что вы родились в этом городе?

Нурланн ухмыляется:

— Правда. Вот здесь я родился (показывает пальцем на карте). Вот здесь жил. Здесь венчался (палец упирается в центр черного пятна). Так что, господа мои, эта штука (стучит по черному пятну) нравится мне еще меньше, чем вам, и играть с ней в научные игры, как вы, может быть, полагаете, я не намерен.

— Аминь, — произносит насмешливый голос, и все смеются с явным облегчением.

— Вот и славно, — произносит Нурланн покровительственно. — Теперь так, полковник. Первый залп назначаем на завтра, восемнадцать

ноль-ноль, раньше все равно не управимся. А утром, часов в десять, я бы хотел посмотреть на нее сверху. Напоследок. Могу я рассчитывать на вертолет?

Возникает нечто вроде замешательства.

— М-м-м... — тянет полковник. — Вертолет я, конечно, дам...

— Но? — спрашивает удивленный Нурланн.

— Смысла никакого нет, — говорит полковник. — Как бы это вам объяснить...

— Вы ничего не увидите, — говорит кто-то.

— Почему? — спрашивает Нурланн. — Облачность? Но Туча выше облаков!

— Нет, вы увидите, только не то, что есть на самом деле.

— А что? Мираж?

— Мираж не мираж, — говорит полковник в затруднении и от этого сердясь. — А, да что мне — вертолета жалко? Я распоряжусь.

— Вы лучше, профессор, посмотрите на это. Это дело верное, без миражей, — говорит кто-то и высыпает веером на карту несколько фотографий.

Нурланн небрежно перебирает их одну за другой.

— Это я видел... и это видел...

Его внимание задерживается только на одной фотографии: Туча просачивается через дом. Светлый тысячеоконный фасад на фоне угольно-черной стены и тысяча черных языков, выливающихся из окон. Нурланн бросает фотографию на стол и говорит:

— Хочу проехаться по городу. Посмотрю завтрашнюю позицию и посмотрю все это (он щелкает пальцем по фотографиям) вблизи.

— Конечно, — говорит полковник. — Разрешите представить вам сопровождающего: старший санитарный инспектор Брун.

При первых словах полковника лицо Нурланна неприязненно сморщивается, но при имени Бруна оно расцветает неожиданно доброй улыбкой.

— Господи, Брун! — восклицает Нурланн. — Откуда ты здесь?

Лимузин профессора Нурланна неторопливо катит по улицам.

В городе безраздельно царит дождь. Дождь падает просто так, дождь сеется с крыш мелкой водяной пылью, дождь собирается на сквозняках в туманные крутящиеся столбы, волочащиеся от стены к стене, дождь с урчанием хлещет из ржавых водосточных труб, разливается по мостовой, бежит по руслам, промытым между плитами тротуаров. Черно-серые тучи

медленно ползут над самыми крышами. Человек — незваный гость на этих улицах, дождь его не жалует, и людей почти не видно.

— Как это ты заделался санитарным инспектором? — спрашивает Нурланн сидящего за рулем Бруна. — Ты же, помнится, был по дипломатической части.

— Мало ли что... Вон Хансен — сидел-сидел у себя в суде, а теперь кто? Великий бард! Менестрель!

— О да. Давно ты его видел?

— Да два часа назад, он с утра до вечера торчит в отеле, где ты поселился. В ресторане, конечно. Пьет как лошадь, старый хрен.

Вместе с дождем в городе хозяйничают молнии. Странные, очень яркие и почти бесшумные молнии. Огненными щупальцами они то и дело проливаются из Тучи и уходят в фонарные столбы, в фигурные ограды палисадников, просто в мостовую. Вдоль стены дома пробирается случайный прохожий, согнувшийся под зонтиком, и молния падает на него, оплетает тысячью огненных нитей. У человека подкашиваются ноги, он роняет зонт, хватается за стену и приседает на корточки. Это длится несколько секунд. Вот он уже опомнился, подобрал зонтик и, очумело крутя головой, заспешил дальше.

— Невозможно поверить, что это безвредно, — говорит Нурланн, провожая прохожего взглядом.

— Даже полезно, — откликается Брун.

Лимузин сворачивает за угол и останавливается.

— Это еще что такое? — озадаченно спрашивает Нурланн. — Кто они такие, что они здесь делают?

На обширном газоне расположился странный лагерь. Прямо под дождем расставлены кровати, шкафы, столы и стулья, кресла — не походная мебель какая-нибудь, а дорогие спальни и кабинеты, безжалостно и противоестественно извлеченные из особняков и апартаментов. Тут и там торчат роскошные торшеры, которые, разумеется, не горят, трюмо и трельяжи, по зеркалам которых толстой пленкой стекает вода. И здесь полно людей, которые ходят, лежат и даже, кажется, спят под пропитанными водой одеялами. Мужчины и женщины, старики и старухи, все в одинаковых плащах-балахонах в черно-белую шахматную клетку. Кто-то из обитого бархатом кресла склонился над походной газовой плитой, помешивая в кастрюльке; кто-то стоя читает толстенький томик, видимо молитвенник; а кто-то целой бригадой стаскивает с грузовика

новую порцию диванов, торшеров и кроватей...

— Агнцы Страшного Суда, — произносит Брун с неопределенной интонацией. — Прочь из-под тяжких крыш. Они не спасут, они раздавят. Прочь из затхлых обиталищ. Они не согреют, они задушат. Под небо! Под очищающее небо! Причащайтесь чистой влаге! Только тот спасется, кто успеет очиститься. И так далее. Агнцы Страшного Суда. У нас их много.

— При чем здесь Страшный Суд?

— А при том, что вы все считаете Тучу аэрозольным образованием. А для них это начало Пришествия Того, кто грядет. И когда Туча закроет всю Землю, начнется Страшный Суд.

Сразу за лагерем Агнцев стоит на проспекте, взгромоздившись правыми колесами на тротуар, странная машина, этакая помесь «скорой помощи» и пожарной, длинная, желтая, непропорционально высокая, с огромными красными крестами на бортах, усаженная всевозможными фарами, прожекторами, проблесковыми маячками, ощетиненная причудливыми антеннами, стоит тихая, странная, словно бы брошенная, и только вспыхивает у нее на крыше фиолетовый слабый огонек.

— Я развелся тогда, пятнадцать лет назад, — говорит Нурланн, — и нисколько об этом не жалею...

— Да, я видел твою бывшую на прошлой неделе, — откликается Брун. — Был гран-прием у отцов города... Она у тебя очень, очень светская дама.

— Да провались она совсем, — говорит Нурланн раздраженно. — Мне дочку жалко. Так и не отдает она мне Ирму.

— У тебя дочка есть? — спрашивает Брун, насторожившись.

— Да. Вижусь с ней раз в два года... то ли дочка, то ли просто знакомый ребенок. Раз в два года мамаша изволит ее ко мне отпускать, стерва высокомерная...

— Угу, — произносит Брун. — А у меня, слава богу, детей нет. По крайней мере, в этом городе.

Туча.

Она перегораживает проспект и выглядит как непроницаемо-черная стена, поднимающаяся выше всех крыш и уходящая вершиной в низкие облака. Огромные медленные молнии ползают по ней, словно живые существа. Сама же она кажется абсолютно неподвижной и вечной, как будто стояла здесь и будет стоять всегда.

— Экая красотища, — произносит Нурланн сдавленным голосом.

— Жалко? — Брун криво ухмыляется.

— Не знаю... Не об этом речь. А поближе подъехать нельзя?

— Нельзя.

— Брось, давай подъедем.

Брун цитирует:

— Эти животные настолько медлительны, что очень часто застают человека врасплох.

Лимузин вынужден притормозить, чтобы проехать через толпу, сгрудившуюся вокруг тумбы регулировщика. В основном толпа состоит из шахматно-клеточных Агнцев, но довольно много среди них и простых горожан, они отличаются не только одеждой, но и тем, что прячутся под зонтиками — великое разнообразие зонтиков: огромные черные викторианские; пестрые веселенькие курортные; прозрачные коконы, укрывающие человека до пояса... В толпе можно видеть и военных в плащ-накидках.

Все лица обращены к человеку в клетчатой хламиде, который вдохновенно ораторствует, взобравшись на тумбу. За дождем его плохо видно и еще хуже слышно, доносятся только выкрики-возгласы:

— ...Последнее знамение! ...бедные, бедные агнцы мои! ...очищайтесь! ...и число его — шестьсот шестьдесят шесть! ...отчаяние и надежда, грех и чистота, черное и белое!

Лимузин уже почти миновал толпу, и тут со свистящим шелестом изливается из облаков лиловая молния и неторопливо, с каким-то даже сладострастием оплетает длинного унылого прохожего, задержавшегося на тротуаре посмотреть и послушать. Человек валится набок, как мешок с тряпьем, но он еще не успел коснуться асфальта, как вдруг раздается странный каркающий сигнал и, откуда ни возьмись, вынырнула и остановилась возле него давешняя нелепая машина с красными крестами на бортах. Сейчас на ней включено все: все прожектора, все окна, все фары, и добрый десяток красных, синих, желтых, зеленых огней одновременно перемигиваются у нее на крыше, на капоте, на боках. Расторопные люди в белых комбинезонах с красными крестами на спине, на плечах и на груди выскакивают под дождь и бегут к упавшему, волоча за собой шланги и кабели, на бегу распахивая черные чемоданчики со светящимися циферблатами и шкалами внутри. Они склоняются над пострадавшим и что-то делают с ним. Главный из них в причудливом шлеме, из которого рогами торчат две антенны, трясущиеся у самого рта тонкие лапки с набалдашниками и длинный штырь с микрофоном, человек этот, весь красный и потный от возбуждения, нависнув над пострадавшим, орет надрывно:

— Что вы видите? Говорите! Говори! Что видишь? Говори! Скорее! Говори!

Закаченные глаза пострадавшего обретают осмысленное выражение, и он лепечет:

— Коридор... Коридор вижу... Они уходят...

Он замолкает, и глаза его вновь закатываются.

— Дальше! Дальше! — надрывается главный. — Говори! Кто в коридоре? Кто уходит? Говори! Говори!

— Малыш... — бормочет пострадавший. — Малыш и Карлсон... По коридору... Длинный...

Тут взор его окончательно проясняется, он отпихивает от себя главного и садится.

— Все. Проехало, — говорит один из санитаров.

Пострадавшему помогают встать, подают ему зонтик.

— Спасибо, — запинаясь, бормочет пострадавший. — Ох, большое спасибо.

А в толпе хоть бы кто голову повернул.

Лора, бывшая жена Нурланна, принимает бывшего мужа в своей гостиной. Гостиная обставлена не просто богато, но изысканно, поэтому очень странно видеть на безукоризненном мозаичном паркете под портьерами, закрывающими окна, обширные темные лужи.

— Я пригласила тебя сюда не для того, чтобы обмениваться резкостями, — говорит Лора. — У меня к тебе дело. Однако я не хочу говорить о нем без моего адвоката. Имей терпение. Он должен прийти с минуты на минуту.

— Прекрасно, — произносит надменно Нурланн. — Поговорим о чем-нибудь другом. Где Ирма?

— Прекрасно, — в тон ему произносит Лора. — Поговорим об Ирме. Ты, безусловно, будешь рад услышать, что твоя дочь делает большие успехи в муниципальной гимназии и что ее лучший друг — сын гостиничного швейцара.

— Во всяком случае, ничего плохого я в этом не вижу.

— Ну конечно, было бы гораздо хуже, если бы твоя дочь получала образование в Женеве или хотя бы в Президентском колледже в столице... Мы же демократы! Мы плоть от плоти народа!

Нурланн не успевает ответить, потому что в гостиной появляется рослый человек в черно-белом клетчатом пиджаке и при клетчатом же галстуке. Нурланн не сразу соображает, что это тот самый проповедник,

который давеча вещал с регулировочной тумбы.

— Знакомьтесь, — произносит Лора. — Мой адвокат. А это — мой бывший муж, профессор Нурланн.

— Прошу прощения, я несколько опоздал, — говорит адвокат, кладя на стол бювар и усаживаясь. — Но тем больше оснований у нас перейти прямо к делу. Вот бумага, профессор. Моя клиентка хотела бы, чтобы вы эту бумагу подписали, а я, как свидетель и как юрист, удостоверил вашу подпись.

Нурланн молча берет бумагу и начинает читать. Брови его задираются. Он поднимает глаза на Лору.

— Позволь, — несколько растерянно говорит он. — На кой черт тебе это надо? Кому какое дело?

— Тебе трудно поставить подпись? — холодно осведомляется Лора.

— Мне не трудно поставить подпись. Но я хотел бы понять, на кой черт это нужно? И потом, это все вранье! Ты никогда не была верной женой. Ты никогда не ходила в церковь. Аборты ты делала! Только в мое время ты сделала три аборта!

— Господа, господа, — примирительно вступает адвокат. — Не будем горячиться. Профессор, я знаю, вы атеист. Ваша подпись под этим документом не может иметь для вас никакого значения. Она ценна только для моей клиентки. И не из юридических, а исключительно из религиозных соображений. Считайте свою подпись под этим документом просто актом прощения, актом братского примирения...

Он замолкает, потому что в глубине квартиры раздается какой-то лязг, дребезг, звон разбитого стекла. Нурланн еще успевает заметить, как внезапно побелело и осунулось лицо Лоры, как пришипился, втянув голову в плечи, клетчатый адвокат, но тут дверь в гостиную распахивается, словно от пинка ногой, и на пороге возникает Ирма.

Это девочка-подросток лет пятнадцати, высокая, угловатая, тощая, на ней что-то вроде мини-сарафана, короткая прическа ее схвачена узкой белой лентой, проходящей через лоб. Босая. И мокрая насквозь. Но ничего в ней нет от «мокрой курицы», она выглядит, как если бы в очень жаркий день с наслаждением искупалась и только что вышла из воды.

Лора и адвокат встают. Физиономии их выражают покорность, в них что-то овечье.

Ирма с бешенством произносит:

— Я двадцать раз просила тебя, мама, не закрывать окна в моей комнате! Что прикажешь мне делать? Выбить их совсем? Я выбила одно. В следующий раз выбью все.

Лора, совершенно белая, пытается что-то сказать, но из горла ее вырывается только жалобный писк. Адвокат, втянувши голову в плечи, смотрит себе под ноги. Ирма обращает взгляд на Нурланна. Тоном ниже, без всякой приветливости, произносит:

— Здравствуй, папа.

— Здравствуй, здравствуй, — говорит Нурланн озадаченно. — Что это ты сегодня так развоева...

Ирма прерывает его:

— Мы с тобой еще поговорим, папа. Может быть, уже сегодня вечером. Ты нам нужен.

И вновь — матери:

— Я в двадцать первый раз повторяю: не закрывай окна в моей комнате. В двадцать первый и последний.

Она поворачивается и уходит.

Воцаряется неловкая тишина, и адвокат, криво ухмыляясь, говорит:

— Дети — дар божий, и дети — бич божий.

И тут Лора срывается.

— Ну что — доволен? — визжит она, перегнувшись через стол к Нурланну. — Видел, как твоя дочь плюет мне в лицо? Как вытирает об меня ноги, словно не мать я ей, а половая тряпка? Тебе, наверное, тоже захотелось? Плюй! Топчи! Унижай! Не надо со мной церемониться! Да, я грешница, я грязь, я сосуд мерзостей! Я убивала нерожденных младенцев моих, я блудила, я ненавидела тебя и блудила, с кем только могла! Я смеялась над Богом... я, тля ничтожная! Это ты, ты научил меня смеяться над Богом! А теперь втаптываешь меня в ад, в вечный огонь... В серу меня смердящую, в уголья! Дождался! Вон она, тьма страшная, кромешная, надвигается на мир! Сколько еще дней осталось? Кто скажет? Это Суд идет! Последний Суд! Все перед ним предстанем, и спросится с тебя, зачем не простил женщину, которая была с тобою единой плотью и кровью, зачем толкнул ее в пропасть, когда одной лишь подписи твоей хватило бы, чтобы спасти ее! Лжец! Лжец! Чистая я! Перед Последним Судом говорю, я — чистая! Не было ничего, клевещешь! Подписи пожалел, единого росчерка!

— Да провались ты... — бормочет ошеломленный Нурланн и хватается за авторучку.

Вечер. На улицах тьма кромешная. Дождь льет как из ведра, а молний почему-то нет. Нурланн ведет машину по пустым улицам. Дворники не справляются с водой. Уличные фонари не горят, и лишь в редких окнах по сторонам улицы виден свет. В свете фар появляются посередине улицы

какие-то неопределенные фигуры. Нурланн совсем сбрасывает газ и наклоняется над рулем, пытаясь разобрать, что же там происходит за серебристыми в свете фар струями дождя.

А происходит там вот что.

Половину мостовой занимает большой легковой автомобиль, стоящий с погашенными огнями и распахнутыми дверцами. На другой половине двое здоровенных мужиков в блестящих от воды плащах пытаются скрутить мальчишку-подростка, который отчаянно извивается, брыкается длинными голыми ногами, отбивается острыми голыми локтями, крутится вьюном — и все это почему-то молча.

Лимузин Нурланна останавливается в пяти шагах от этой потасовки, фары его в упор бьют светом, и тогда один из мужиков бросает мальчишку и, размахивая руками, орет:

— Назад! Пошел отсюда! Мотай отсюда, дерьмо свинячье!

Поскольку ошеломленный Нурланн и не думает мотать отсюда, просто не успевает подчиниться, мужик в бешенстве бьет кованым сапогом по правой фаре и разбивает ее вдребезги.

Это он зря.

— Ах ты сволочь, — произносит Нурланн, достает из-под сиденья монтировку и вылезает под дождь.

Он не трус, наш Нурланн. Но откуда ему знать, что он имеет дело с профессионалом? Ленивым движением мужик в блестящем плаще уклоняется от богатырского удара монтировкой. В глазах у Нурланна вспыхивают огненные колеса, и наступает тьма.

Четверть века назад подросток Нурланн поздним вечером возвращался из кино домой этим самым переулком. Навстречу ему вышел из подворотни могучий шестнадцатилетний дебил по прозвищу Муссолини. Не говоря ни единого слова, он ухватил Нурланна двумя пальцами за нос, стиснул так, что у того слезы из глаз брызнули, а свободной рукой обшарил деловито его карманы. Вся операция не заняла и минуты. Муссолини скрылся в подворотне, а маленький Нурланн, опозоренный, униженный и ограбленный, остался стоять в темноте с вывернутыми карманами. Слезы текли неудержимо, и вдруг подул ветер и дождь брызнул ему в лицо...

— Профессор... Профессор... Очнитесь, профессор!

Тьма расходится перед глазами Нурланна, и он видит близко над собой мокрое мальчишеское лицо, большеглазое, со свежей ссадиной на скуле. Волосы схвачены белой лентой.

Это не тот мальчик. Тот был в красном, а на этом черная безрукавка и черные шорты. Еще один голоногий и голорукий мокрый мальчик.

Нурланн, охая и кряхтя, садится, ощупывает себя. Все болит: печенки, селезенки, кишки. Машина его стоит на прежнем месте, освещая уцелевшей фарой пустую мостовую.

— А эти где? — спрашивает Нурланн.

— Уехали, — отвечает мальчик. Он сидит перед Нурланном на корточках, озабоченно оглядывая его лицо.

— А мальчик где?

— Вы можете встать? — спрашивает мальчик вместо ответа.

Нурланн с трудом поднимается на ноги, делает шаг к лимузину и хватается за дверцу, чтобы не упасть.

— Надо же, как он меня...

— Давайте я сяду за руль, — говорит мальчик.

— Валяй. Мне нужно в «Метрополь».

— Я знаю, — говорит мальчик. — Садитесь, я вас отвезу.

Лимузин катит по улицам.

— Что это было? — спрашивает Нурланн. — Кто эти громилы?

Мальчик, не сводя глаз с дороги, отвечает после паузы:

— Не знаю.

— Чего они к нему прицепились? Он что-нибудь натворил?

Пауза.

— Может быть. Только это никого не касается.

— Он удрал?

Пауза.

— Нет.

— Значит, в полицию сдали... Это твой приятель, надо понимать. Я вижу, тебе тоже попало.

Мальчик не отвечает, только осторожно поглаживает ссадину на скуле.

— Так что же вы все-таки натворили? — спрашивает Нурланн.

— Ничего особенного.

— А если ничего особенного, тогда поехали в полицию вызволять твоего приятеля. Заодно хотелось бы узнать, кто мне разворотил фару и отбил печенки.

— Нет, — твердо произносит мальчик. — Я не могу тратить время на полицию.

Лимузин останавливается перед отелем «Метрополь». Это огромное

многоэтажное здание. Несколько редких светящихся окон, и еще свет падает сквозь застекленные двери в вестибюль.

— Спасибо, — говорит Нурланн. — Кстати, как тебя зовут?

— Циприан.

— Очень рад. Нурланн. Между прочим, Циприан, откуда ты все знаешь? Откуда знаешь, что я профессор, что я здесь живу?

— Мы дружим с вашей дочерью.

— Ага. Очень мило. Может быть, зайдешь ко мне, обсохнешь?

— Благодарю вас. Я как раз собирался попросить разрешения зайти. Мне нужно позвонить. Вы позволите?

Они проходят сквозь вращающуюся дверь в вестибюль, мимо швейцара, приложившего при виде Нурланна два пальца к форменной фуражке, мимо богатых статуй с электрическими свечами. В вестибюле никого больше нет, только портье сидит за стойкой.

Пока Нурланн берет у портье ключи, у входа происходит разговор.

— Ты зачем сюда вперся? — шипит швейцар на Циприана.

— Меня пригласил профессор Нурланн.

— Я тебе покажу профессора Нурланна, — шипит швейцар. — Манеру взял — по ресторанам шляться...

— Меня пригласил профессор Нурланн, — повторяет Циприан терпеливо. — Ресторан меня не интересует.

— Еще бы тебя, щенка, ресторан интересовал! Вот я тебя отсюда вышвырну, чтобы не разговаривал...

Нурланн оборачивается к ним.

— Э-э... — говорит он швейцару. — Парнишка со мной. Так что все в порядке.

Швейцар ничего не отвечает, лицо у него недовольное.

У себя в номере Нурланн прежде всего сбрасывает мокрый плащ и сдирает с ног отсыревшие туфли. Циприан стоит рядом, с него капает, но и он, как давеча Ирма, отнюдь не выглядит «мокрой курицей».

— Раздевайся, — говорит ему Нурланн. — Сейчас я дам полотенце.

— Разрешите, я позвоню.

— Валяй.

Нурланн, пришлепывая мокрыми носками, уходит в ванную. Раздеваясь там, растираясь купальной простыней и с наслаждением натягивая сухое, он слышит, как Циприан разговаривает — негромко, спокойно и неразборчиво. Только однажды, повысив голос, он отчетливо

произносит: «Не знаю».

Затягивая пояс халата, Нурланн выходит в гостиную и с изумлением обнаруживает там дочь Ирму; Киприан по-прежнему стоит у дверей, и с него по-прежнему капает. Ирма расположилась боком в кресле, она перекинула мокрые голые ноги через подлокотник.

— Здрасьте! — говорит Нурланн, впрочем, обрадованный.

— Слушай, папа, — капризным голосом произносит Ирма. — Где тебя носит? Я тебя двадцать часов жду!

— Где меня носит... Киприан, где меня носит? Иди в ванную и переоденься. Обсушись хотя бы.

— Что вас всех будто заклинило, — говорит Ирма. — Обсушись, оботрись, переоденься, не ходи босиком...

— Ну, мне кажется, это естественно, — благодушно произносит Нурланн, доставая из бара бутылку и наливая себе в стакан на два пальца. — Если мокрый человек...

— То, что наиболее естественно, — негромко говорит Киприан, — наименее подобает человеку.

Нурланн застывает со стаканом на полпути ко рту.

— Естественное всегда примитивно, — добавляет Ирма. — Амеба — да, она естественна. Но человек — существо сложное, естественное ему не идет.

Нурланн смотрит на Ирму, потом на Киприана, потом в стакан. Он медленно выцеживает бренди и принимает вызов.

— Ну, разумеется, — говорит он. — Поэтому давайте колоться наркотиками, одурять себя алкоголем, это ведь противоестественно. Пусть будут противоестественные прически, противоестественные одежды, противоестественные движения...

Ирма прерывает его:

— Нет! Противоестественное — это просто естественное навыворот. Мы говорим совсем не об этом...

Нурланн перебивает в свою очередь.

— Я не знаю, о чем вы говорите, — объявляет он покровительственно. — Зато я знаю, о чем вам следовало бы говорить. Не убий. Не укради. Не сладострастничай. Люби ближнего своего больше себя. Кумира себе не сотвори, лидера, пастыря, интерпретатора... Вот правила воистину неестественные, и они-то более всего подобают человеку. Не так ли? Тогда почему же на протяжении двадцати веков они остаются красивыми лозунгами? Разменной монетой болтунов и демагогов... Нет, мокренькие вы мои философы. Не так все это просто. Никому еще пока не удалось

придумать, что подобает человеку, а что — нет. Я лично думаю, что ему все подобает. Такая уж это обезьяна с гипертрофированным мозгом.

С этими словами он торжествующе наливает себе еще на два пальца и опрокидывает стакан залпом.

Циприан и Ирма переглядываются.

— Вполне, — говорит Циприан.

— А я тебе что говорила?

— Ну, тогда я пойду.

— Подожди... Папа, — Ирма поворачивается к Нурланну, — мы приглашаем тебя поговорить.

— Говорите, — благодушно предлагает Нурланн.

— Нет. Не здесь. Наши ребята хотят с тобой встретиться. Ненадолго, на час-полтора. Пожалуйста.

— Почему со мной? Что я вам — модный писатель?

— С модным писателем мы уже встречались, — говорит Ирма. — А ты — ученый. Ты приехал спасать город. У нас есть к тебе вопросы. Именно к тебе.

— Видишь ли, у меня очень мало времени. Давайте лучше я отвечу на эти вопросы вам. Прямо сейчас. Мне даже вопросы можно не задавать. Тучу я намерен уничтожить в течение пяти-семи дней. Можете быть совершенно спокойны. Будет применен сравнительно новый коагулянт под игривым названием...

— Нет, папа, — качает головой Ирма. — Как раз это нас не интересует. Вопросы к тебе у нас совсем другие.

— Какие? Я больше ничего не знаю.

— Папа, ну пожалуйста!

— Мы вас очень просим, профессор, — присоединяется Циприан.

— Хорошо, — решается Нурланн. — Тогда завтра. Между двенадцатью и двумя. Где?

— В гимназии. Тебя устроит?

— В которой?

— В нашей... и в твоей тоже. Где ты учился.

— Где я учился... — задумчиво произносит Нурланн. — О, забытые ароматы мела, чернил, никогда не оседающей пыли... изнурительные допросы у доски... О, запахи тюрьмы, бесправия, лжи, возведенных в принцип! Договорились.

— Ну, тогда я пошел, — снова говорит Циприан.

Нурланн неохотно поднимается с кресла.

— Подожди, я тебя провожу. А то наш швейцар что-то тебя невзлюбил.

— Не беспокойтесь, профессор, — говорит Циприан. — Все в порядке. Это мой отец.

Ресторан отеля «Метрополь». Огромная зала, уставленная накрытыми столиками, белоснежные скатерти, серебро, хрусталь, цветы. Возле каждого столика торшер, но горит только один — у столика, за которым ужинают Нурланн, Брун и их школьный друг, ныне известный поэт и бард Хансен.

— Разом сработало великое множество независимых факторов, — объясняет Нурланн. — Выбросы ядерных станций на севере. Раз. На юге пятьдесят лет коптят небо металлургические заводы. Два. На западе загубили Страну Озер, бездарно разбазарили на мелиорацию. Плюс ко всему этому — специфическая роза ветров этого района. И еще какие-то факторы, которые наверняка действуют, но мы о них не догадываемся. Мы многого пока не понимаем...

— Ни черта мы не понимаем, — злобно прерывает Брун. — Невинное аэрозольное образование! Анализы не дают никаких оснований для паники! Три десантные группы были сброшены туда, и ни одна не вернулась! Три! — Он выставляет три пальца. — И ни один профессор пока не объяснил — почему.

— Да, — соглашается Нурланн. — В активной зоне — там, вероятно, происходят какие-то грандиозные процессы. Честно говоря, я не могу сообразить, почему она все время расширяется...

— Погоди, — говорит ему Хансен. — Я сейчас все объясню.

На самом деле было так.

В доходном доме рядом с химическим заводом жил многосемейный коллежский секретарь Нурланн. Обстоятельства его: три комнатки, кухня, прихожая, стертая жена, пятеро зеленоватых детей, крепкая старая теща, переселившаяся из деревни. Химический завод воняет. Днем и ночью над ним стоят столбы разноцветного дыма. От ядовитого смрада вокруг умирают деревья, желтеет трава, дико и странно мутируют комнатные мухи. Коллежский секретарь ведет многолетнюю упорную кампанию по укрощению завода: гневные требования в адрес администрации, слезные жалобы во все инстанции, разгромные фельетоны в газетах, жалкие попытки организовать пикеты у проходной. Завод стоит, как бастион. На площади перед заводом замертво падают отравленные постовые. Дохнут домашние животные. Целые семьи покидают квартиры и уходят бродяжничать. В газетах появляется некролог по случаю преждевременной

кончины директора завода. У нашего коллежского секретаря умирает жена, дети по очереди заболевают бронхиальной астмой.

Однажды вечером, спустившись зачем-то в подвал, он обнаруживает там сохранившийся со времен Сопротивления миномет и двадцать два ящика мин. Той же ночью он перетаскивает все это на чердак. Завод лежит перед ним как на ладони. В свете прожекторных ламп снуют рабочие, бегают вагонетки, плывут желтые и зеленые клубы ядовитых паров. «Я тебя убью», — шепчет коллежский секретарь и открывает огонь. В этот день он не идет на службу. На следующий день — тоже. Он не спит и не ест, он сидит на корточках перед слуховым окном и стреляет. Время от времени он делает перерывы, чтобы охладился ствол миномета. Он оглох от выстрелов и ослеп от порохового дыма. Иногда ему кажется, что химический смрад ослабел, и тогда он улыбается, облизывает губы и шепчет: «Я убью тебя...» Потом он падает без сил и засыпает, а проснувшись, видит, что мины кончаются — осталось три штуки. Он высовывается в окно. Обширный двор завода усеян воронками. Выбитые окна зияют. На боках гигантских газгольдеров темнеют вмятины. Двор перерыт сложной системой траншей. По траншеям короткими перебежками двигаются рабочие. Быстрее прежнего снуют вагонетки, а когда ветер относит клубы ядовитых паров, на кирпичной стене открывается свежая белая надпись: «Внимание! При обстреле эта сторона особенно опасна!». В полном отчаянии коллежский секретарь выпустил последние три мины, и вот тут-то все и началось.

— Что именно? — спрашивает Нурланн.

— Лопнуло, — поясняет Хансен. — Лопнуло у них терпение. Сколько можно?

Он пьян, и Нурланн говорит снисходительно:

— Очень элегантная гипотеза. Только там, где на самом деле лопнуло, не было никакого химического завода, а была там наша муниципальная площадь, экологически вполне чистая.

— Да, муниципальная площадь, — соглашается Хансен. — Но плохо вы знаете историю родного города. На этой самой площади: тринадцатый век — восстание «серых», за день отрубили восемь сотен голов, в том числе сорок четыре детских, кровь забила водостоки и разлилась по всему городу; пятнадцатый век — инквизиция, разом сожгли полтораста семей еретиков, в том числе триста двенадцать детей, небо было черное, неделю падал на город жирный пепел; двадцатый век — оккупация, расстрел тысячи заложников, в том числе двадцати семи детей, трупы лежали на брусчатке одиннадцать дней... Двадцатый век! А бунт сытых в шестьдесят

восьмом? Две тысячи сопляков и соплячек под брандспойтами, давление пятьдесят атмосфер, сто двадцать четыре изувеченных, двенадцать гробов... Сколько же можно такое выдержать? Вот и лопнуло.

— Да что лопнуло-то? — с раздражением спрашивает Брун. — Опять ты надрался...

— Брун, — укоризненно-весело произносит Нурланн, — ты не способен этого понять. Классическая коллизия: поэт и санинспектор.

— Это все дожди, — заявляет Хансен. — Мы дышим водой. Шесть месяцев этот город дышит водой. Но мы не рыбы, мы либо умрем, либо уйдем отсюда. А дождь все будет падать на пустой город, размывать мостовые, сочиться сквозь крыши, он смоет все, растворит город в первобытной земле, но не остановится, а будет падать и падать, и когда земля напитается, тогда взойдет новый посев, каких раньше не бывало, и не будет плевел среди сплошных злаков. Но не будет и нас, чтобы насладиться новой вселенной...

— О боже! — восклицает Брун. — О чем ты говоришь?

— Я говорю о будущем, — с достоинством пьяного отвечает Хансен.

— О будущем... — Брун кривит губы. — Какой смысл говорить о будущем? О будущем не говорят, его делают! Вот рюмка коньяка. Она полная. Я сделаю ее пустой. Вот так. Один умный человек сказал, что будущее нельзя предвидеть, но можно изобрести. У нас нет времени рассуждать. Надо успевать поворачиваться. Если тебя интересует будущее, изобретай его быстро, на ходу, в соответствии со своими рефлексами и эмоциями. Будущее — это просто тщательно обезвреженное настоящее.

— Точка зрения санитарного инспектора, — бросает Нурланн. И тут по неподвижному лицу Хансена полились слезы.

— Они очень молоды, — произносит он чистым ясным голосом ни с того ни с сего. — У них впереди все, а у меня впереди — только они. Кто спорит, человек овладеет Вселенной, но только это будет совсем другой человек... И, конечно, человек справится с самим собой, но только сначала он изменит себя. Природа не обманывает, она выполняет свои обещания, но не так, как мы думали, и не так, как нам хотелось бы...

На другое утро Нурланн вылетает на вертолете обозреть Тучу сверху.

То, что он видит, потрясает его. Затопленный город. Над поверхностью воды выступают верхушки только самых высоких зданий. Торчит башня ратуши со старинными часами, плоская крыша городского банка с размеченной вертолетной площадкой, крест церкви, в которой он когда-то венчался...

— Что это такое? — кричит он пилоту, тыча пальцем в иллюминатор.

— Туча, — отвечает пилот меланхолично.

— Откуда вода? Вы видите воду?

— Нет. Вижу Тучу... молнии... воронка какая-то крутится над серединой... А вы воду видите? Не беспокойтесь, здесь всегда так. Некоторые пустыню видят, верблюдов... Миражи. Только у каждого свой.

Поперек проспекта Реформации, который все почему-то называют теперь Дорогой чистых душ, высится массивная триумфальная арка, увенчанная гербом города: ослиноголовый человек пронзает трезубцем дракона с тремя человеческими головами.

Вдали за пеленой дождя едва угадывается черная стена Тучи. Все пространство между аркой и Тучей забито людьми, толпящимися вокруг дюжины огромных автобусов: идет спешная эвакуация будущего сектора обстрела. Загруженные автобусы один за другим с ревом уходят под арку и дальше вверх по проспекту.

Чуть в стороне от арки стоят зачехленные ракетно-пушечные установки «корсар», возле них, собравшись кучками, курят в кулак нахохленные экипажи в плащ-накидках.

Рядом с аркой группа начальства: Нурланн, его ассистент, двое офицеров в пятнистых комбинезонах. Нурланн держит над собой зонт, остальные мокнут.

Нурланн говорит ассистенту, указывая на верхушку арки:

— Вот удобная площадка, потрудитесь расставить там все приборы. Полагаю, что места хватит.

— Там будет мой наблюдательный пункт, — произносит один из офицеров, командир дивизиона, человек с недовольным лицом, выражающим откровенную неприязнь к штатскому.

Нурланн бросает на него взгляд и продолжает, обращаясь к ассистенту:

— Позаботьтесь о генераторе. Городская сеть ненадежна.

— К сожалению, ничего не выйдет, профессор, — отзывается ассистент, злорадно поглядывая на недовольного офицера. — Нам предлагается пользоваться генератором дивизиона.

— Не возражаю, — благосклонно кивает Нурланн. — Извольте распорядиться, — говорит он офицеру.

— У меня нет приказа, — говорит тот, едва разжимая губы.

— Вот я вам и приказываю, — отчеканивает Нурланн.

— А вы мне не начальник. И если вы попытаетесь что-нибудь поставить у меня на командном пункте, велю все сбросить вниз.

Нурланн, словно не слыша его, говорит ассистенту:

— Я буду здесь в семнадцать тридцать. Все должно быть готово и отрегулировано.

Тут вступает второй офицер. С виноватым видом он говорит — и непонятно, то ли правду говорит, то ли издевается над высокомерным шпаком:

— Я имею приказ к семнадцати ноль-ноль установить вокруг дивизиона оцепление и никого не пропускать.

Тогда Нурланн поворачивается к офицерам, и такого Нурланна они видеть не ожидали.

— Вы, государи мои, — негромко говорит он, — плохо понимаете свое положение. Здесь командую я, и вы будете выполнять любое мое приказание. А пока меня нет, вы будете выполнять приказания вот этого господина. — Он показывает на ассистента.

В вестибюле гимназии Нурланна поджидает сутулый старик в вицмундире. Это нынешний директор гимназии, но Нурланн помнит его еще своим классным наставником. Четверть века назад это был тиран, одним взглядом своим внушавший гимназистам непереносимый ужас.

— Какая честь, какая честь, профессор! — блеет директор, надвигаясь на Нурланна с простертыми дланями. — Какая честь для доброй старой альма-матер! Орел навестил свое родовое гнездо! Знаю, знаю, вас ждут, и не задержу вас даже на одну лишнюю минуту. Позвольте представить вам: мой поверенный в делах...

— Мы уже знакомы, — говорит Нурланн, с изумлением обнаруживая за спиной директора клетчатую фигуру адвоката-проповедника.

— Совершенно верно, — мягко произносит адвокат, берет Нурланна под руку и увлекает его к барьеру пустующей раздевалки. — Аналогичное дело, профессор, если вам будет благоугодно...

На барьере лежит знакомый бювар и знакомая авторучка. Нурланн берет из бювара листок с текстом, пробегает его глазами и смотрит на адвоката. Тот легонько пожимает плечами.

— Я только заверяю подпись, и больше ничего. Я целыми днями хожу по городу и заверяю подписи.

Тогда Нурланн поворачивается к директору.

— Господин классный наставник, — говорит он. — Поймите, я не хочу вмешиваться в ваши дела. Ведь вы не религиозный маньяк, вы просвещенный человек. Во-первых, вот это, — он трясет листком, — сплошное вранье. Вы никогда не были добрым наставником юношества, вы

были аспид сущий, вы были дракон, вы были семь казней египетских для нас, несчастных и нечестивых. И правильно! Только так с нами и можно было! Либо вы нас, либо мы вас. Почему вы этого теперь стыдитесь? И потом. Ну, пусть Страшный Суд. Неужели вы всерьез верите, будто на Страшном Суде эта бумажка, эта закорючка, которую вы у меня просите, может что-нибудь изменить!

Адвокат торопливо вмешивается:

— Этот вопрос на самом деле очень и очень сложен...

Но директор перебивает его. Голова его трясется, и усы обвисают, как мокрые, и старческие глаза слезятся.

— Молодой человек, — говорит он Нурланну. — Пройдет время, и вы тоже состаритесь. Когда вы состаритесь, вам придет пора умирать. А тогда вы обнаружите, что на очень многие вещи вы смотрите совсем иначе, чем сейчас, когда вы здоровы, энергичны и вас ждут великие дела. И не приведи вам Бог ждать конца своего в такую страшную годину, как наша.

— Ты победил, галилеянин, — произносит Нурланн и берется за авторучку.

В актовом зале гимназии огромные окна распахнуты настежь, половина зала залита водой. С окон, с потолка, с люстр свешиваются пучки разноцветных нитей, и поэтому зал несколько напоминает подводную пещеру. Стулья стоят в полном беспорядке, и так же как попало и где попало расселись на этих стульях три десятка девчонок и мальчишек в возрасте от двенадцати до пятнадцати лет. Все они голоногие и голорукие, у многих длинные волосы схвачены белой ленточкой через лоб, у некоторых на безрукавках с правой стороны нашит черный силуэт бабочки, не сразу понимаешь, что это очертание Тучи, как она видится сверху.

Нурланн стоит на кафедре, все глаза устремлены на него. Одни смотрят со спокойным ожиданием, другие — с явным интересом, третьи с неприязнью, а некоторые с таким выражением, будто ждут, чтобы он поскорее отговорил и ушел и можно было бы заняться более важными делами. Циприан и Ирма сидят в сторонке у стены.

Нурланн с непринужденностью человека, привыкшего к публичным выступлениям, говорит:

— Как вам, может быть, известно, я и сам четверть века назад учился в этой гимназии. В этом зале и с этой кафедры я сделал свой первый в жизни научный доклад. Он назывался «О чувствительности рогатой гадюки к изменению среды обитания». Вторжение большой науки в мир моих одноклассников имело единственное последствие: преподавательницу зоологии с той поры наградили кличкой Рогатая Гадюка. Должен сказать,

что это довольно обычное преломление достижений науки в сознании широких масс.

Пауза. Две-три улыбки. Ну что ж, и это не так уж плохо. Правда, Ирма, кажется, недовольна.

— То было хорошее время. Единственное, что нам тогда угрожало, — это семестровая контрольная по латыни. Сейчас, к сожалению, наше ближайшее будущее безоблачным не назовешь. Туча...

Его прерывает смех. Он нахмуривается.

— Я не собирался каламбурить. Ничего смешного тут нет. Город охвачен паникой, многие из ваших родителей испуганы до такой степени, что ждут Страшного Суда. Город на военном положении. Готовится эвакуация. Для этого есть кое-какие основания, однако положение совсем не так плохо, как это вам, может быть, представляется. Что такое на самом деле Туча? Представьте себе...

Посредине зала воздвигается толстенький подросток с прекрасными синими глазами.

— Господин профессор, — говорит он. — Про Тучу мы все знаем. Не надо про Тучу.

— Вот как? — Нурланн прищуривается на него. — И что же вы знаете про Тучу?

Вопрос этот повисает в воздухе. Его пропускают мимо ушей.

— Меня зовут Миккель, — объявляет толстенький подросток. — Разрешите задать вопрос.

Нурланн пожимает плечами.

— Задавай.

— Что такое, по-вашему, прогресс?

— При чем здесь прогресс? — с недоумением и раздражением спрашивает Нурланн.

— Одну минуту, — громко произносит Киприан и встает. — Господин Нурланн, разрешите, я объясню. Мы бы не хотели сейчас затрагивать частные вопросы. Только общие. Самые общие. Мы обращаемся к вам не как к физику, а как к представителю авторитетной социальной группы. Мы многого не понимаем, и мы хотели бы узнать, что думают сильные мира сего.

— Послушайте, — говорит Нурланн. — Каждый должен заниматься своим делом. Если вам хочется знать, что такое прогресс, обратитесь к социологу, к философу... При чем здесь я?

— Социолога мы уже спрашивали, — терпеливо говорит Киприан. — Мы его поняли так, что никто толком не знает, что такое прогресс. Вернее,

существуют разные мнения...

— Вот мы и хотим знать ваше мнение по этому поводу, — подхватывает Миккель. — Только мнение, больше ничего.

Некоторое время Нурланн смотрит на него, затем говорит:

— Хорошо, пожалуйста. Прогресс есть непрерывное увеличение знаний о мире, в котором мы живем.

— Любой ценой? — звонко спрашивает смуглая девочка, и в голосе ее звучит не то горечь, не то ненависть.

— При чем здесь цена? Конечно, существуют запреты на определенные приемы и методы; скажем, можно платить своей жизнью, но нельзя чужой, и так далее. Но вообще говоря, прогресс — штука жестокая, и надо быть готовым платить за него, сколько потребуется.

— Значит, может быть безнравственный прогресс? — Это тощая девочка прямо перед Нурланном.

— Не может, но бывает, — парирует Нурланн. — Прогресс, повторяю, — это штука жестокая.

Встает Миккель.

— Ваш прогресс — это прогресс науки. А человек?

— Это все связано. Прогресс науки — прогресс общества. Прогресс общества — прогресс человека.

— Вы верите в то, что говорите? — осведомляется Миккель. — Это же несерьезно.

— Почему несерьезно? — изумляется Нурланн.

— Потому что прогресс науки есть определенно. Прогресс общества? Возможно. А уж прогресса человека — точно нет.

Нурланн слегка сбит с толку.

— Н-ну... Это, наверное, все же не так... Есть все же разница между нами и...

Его перебивают.

— Какими вы бы хотели видеть нас в будущем?

Нурланн совсем теряется и поэтому ожесточается:

— Вас? В будущем? С какой стати я должен по этому поводу что-либо хотеть?

Все смеются.

— В самом деле, — говорит Нурланн, несколько приободрившись. — Странный вопрос. Но я догадываюсь, что вы имеете в виду. Так вот, я хотел бы, чтобы вы летали к звездам и держались подальше от наркотиков.

Пауза. Все ждут, что он скажет дальше. Нурланн сам ощущает острую недостаточность своего ответа, но он и впрямь не знает, что сказать.

— И это все? — спрашивает тощенькая девочка.

Нурланн пожимает плечами. По залу пробегает шум. Ребята переглядываются, вполголоса обмениваются репликами.

Поднимается Ципριан.

— Разрешите мне. Давайте рассмотрим такую схему. Автоматизация развивается теми же темпами, что и сейчас. Тогда через несколько десятков лет подавляющее большинство активного населения Земли выбрасывается из производственных процессов за ненадобностью. Из сферы обслуживания тоже. Все сыты, никто друг друга не топчет, никто друг другу не мешает... и никто никому не нужен. Есть, конечно, миллион человек, обеспечивающих бесперебойную работу старых машин и создание машин новых... Ну, и летающих к звездам тысяч сто. Но остальные миллиарды друг другу просто не нужны. Это хорошо, как вы полагаете?

— Не знаю, — говорит Нурланн сердито. — Это и не хорошо, и не плохо. Это либо возможно, либо невозможно. Нелепо ставить отметки социологическим законам. Хорош или плох второй закон Ньютона? Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов — это хорошо или плохо?

— Наверное, я неправильно выразился, — вежливо отвечает Ципριан. — Я хотел спросить: нравится ли вам лично такое состояние общества? Или вот вопрос еще более общий: какое состояние общества представляется лично вам наиболее приемлемым?

— Боюсь, я разочарую вас, — высокомерно произносит Нурланн. — Меня лично вполне устраивает нынешнее состояние общества.

Смуглая девочка яростно говорит:

— Конечно, ведь вас устраивает, что можно схватить человека, сунуть его в каменный мешок и вытягивать из него все, пока он не умрет!

Нурланн пожимает плечами.

— Ну, это никому не может нравиться. Я понимаю, вы молоды, вам хочется разрушить старый мир и на его костях построить новый. Однако имейте в виду, это очень старая идея, и пока она еще ни разу не привела к желаемым результатам. То самое, что в старом мире вызывает особенное желание беспощадно разрушить, — например, тайная полиция, — особенно легко приспосабливается к разрушению, жестокости, беспощадности, становится необходимым и непременно сохраняется, делается хозяином в новом мире и в конечном счете убивает смелых разрушителей.

— Боюсь, вы нас неправильно понимаете, господин профессор, — возражает Миккель. — Мы вовсе не собираемся разрушать старый мир.

Мы собираемся строить новый. Только строить! Ничего не разрушать, только строить.

— За чей счет? — насмешливо спрашивает Нурланн.

— Этот вопрос не имеет смысла для нас. За счет травы, за счет облаков, за счет текучей воды... за счет звезд.

— В точности как все, кто был до вас, — говорит Нурланн.

— Нет, потому что они вытаптывали траву, рассеивали облака, останавливали воду... Вы меня поняли буквально, а это лишь аллегория.

— Ну что ж, валяйте, стройте, — говорит Нурланн. — Не забывайте только, что старые миры не любят, когда кто-то строит новые. Они сопротивляются. Они норовят помешать.

— Нынешний старый мир, — загадочно произносит Киприан, — нам мешать не станет. Ему, видите ли, не до нас. Прежняя история прекратила течение свое, не надо на нее ссылаться.

— Что ж, тем лучше, — говорит утомленно Нурланн. — Очень рад, что у вас все так удачно складывается. А сейчас я хотел бы уточнить относительно прогресса...

Но Миккель прерывает его:

— Видите ли, господин профессор, я не думаю, чтобы это было нужно. Мы уже составили представление. Мы хотели познакомиться с современным крупным ученым, и мы познакомились. Теперь мы знаем больше, чем знали до встречи с вами. Спасибо.

Раздается гомон: «Спасибо... Спасибо, господин Нурланн...», зал понемногу пустеет, а Нурланн стоит на кафедре, стиснув ее края изо всех сил, и чувствует себя болваном, и знает, что красен и что вид являет собой растерянный и жалкий.

Проспект между триумфальной аркой и черной стеной Тучи пуст. На тротуарах и на мостовой огромное количество брошенных зонтиков — это все, что осталось от эвакуированных. Три «корсара» в боевой готовности выстроены шеренгой под аркой, пространство вокруг арки оцеплено солдатами в плащ-накидках, а за оцеплением волнуются толпы Агнцев Страшного Суда в клетчатых балахонах.

Дождь не очень сильный, и с вершины триумфальной арки черная стена Тучи видна вполне отчетливо.

На часах без двух минут шесть.

Нурланн смотрит на Тучу в бинокль. Ассистент застыл на корточках у приборов. В нескольких шагах от него стоит, расставив ноги и перекатываясь с носка на пятку, командир дивизиона. Рядом с ним радист с

микрофоном у рта.

— Синхронизации хорошей не получится, — с улыбочкой сообщает ассистент.

— Это несущественно, — отзывается Нурланн сквозь зубы.

— Готовность шестьдесят, — бросает командир дивизиона.

— Готовность пятьдесят девять, — бормочет в микрофон радист.

В этот момент Нурланн вдруг обнаруживает в поле зрения бинокля две человеческие фигурки.

— Что за черт! — говорит он громко. — Там люди!

— Где? — Командир дивизиона утыкается лицом в нарамник стереоприцела.

— Это дети, — говорит Нурланн сердито. — Отмените стрельбу.

В поле зрения его бинокля отчетливо видны двое ребят, голоногих и голоруких, они идут к Туче, причем один оживленно размахивает руками, словно что-то рассказывает.

— Где вы кого видите? — рявкает командир.

— Да вон же, у самой Тучи, посередине проспекта!

— Нет там никого! Пусто!

— Никого нет, профессор, — подтверждает ассистент.

Нурланн дико глядит на него, потом на командира.

— Отменить стрельбу! — хрипло кричит он и бросается к лестнице. Это железная винтовая лестница в одной из опор арки, в мрачном каменном колодце с осклизлыми стенами. Нурланн сыплется вниз по ступенькам, судорожно хватаясь то за ржавые перила, то за сырые плиты стен. Сверху, наклонившись в колодец, командир дивизиона орет ему вслед:

— Еще чего — отменить! Надрался, понимаешь, до чертиков и еще командует...

Нурланн бросается в лимузин, машина с диким ревом устремляется в пустой каньон проспекта, расшвыривая зонтики. Он уже простым глазом видит двух подростков на фоне черной стены, и тут...

Багровым светом озаряются стены домов, и над самой крышей лимузина, над самой головой Нурланна с раздирающим скрежетом и воем проносятся к черной стене огненные шары ракетных снарядов. Нурланн инстинктивно бьет по тормозам, машину несколько раз поворачивает по мокрому асфальту, и, когда Нурланн на дрожащих ногах выбирается из-за руля, он видит впереди, на сколько хватает глаз, абсолютно пустой, абсолютно сухой, слегка дымящийся проспект, и нет больше ни черной стены, ни детей.

Шепча молитву, Нурланн долго смотрит на то место, где только что

были дети, а тем временем, прямо у него на глазах, справа, слева, сверху, словно беззвучная черная лавина, заливает открывшуюся прореху черная стена. В этот момент он окончательно приходит в себя. Лавина звуков обрушивается на него: ужасные вопли, свист, звон разлетающихся стекол, выстрел, другой... Он оборачивается.

На позиции «корсаров» медленно кипит людская каша — Агнцы Страшного Суда, прорвав оцепление, лезут на «корсары», ломая все, что им под силу...

— Никого там не было! — гремит Брун. Он стоит посередине номера Нурланна, засунув руки за брючный ремень, а Нурланн, обхватив голову руками, скрючился в кресле. — Это мираж! Галлюцинация! Она обморочила тебя, она же морочит людей, это все знают.

— Зачем? — спрашивает Нурланн, не поднимая головы.

— Откуда я знаю — зачем? Мы здесь полгода бьемся как рыба об лед и ничего не узнали. Не хотела, чтобы ты в нее палил, вот и обморочила.

— Господи, — вздыхает Нурланн. — Взрослый же человек...

Он берет бутылку и разливает по стаканам.

— Да, взрослый! — рявкает Брун. — А вот ты — младенец. Со своим детским лепетом про аэрозольные образования... Младенец ты, девятнадцатый век ты, Вольтер-Монтескье, рационалист безмозглый!

Брун опрокидывает свой стакан, подтаскивает кресло и садится напротив Нурланна.

— Слушай, — говорит он. — Ты же сегодня был в гимназии. Ты видел здешних детей. Ты где-нибудь когда-нибудь еще видел таких детей?

Нурланн отнимает ладони от головы, выпрямляется и смотрит на Бруна. В глазах его вспыхивает интерес.

— Ты что имеешь в виду? — спрашивает он осторожно.

— Ты прекрасно знаешь, что я имею в виду. Это нашествие! Вот что ты попытайся понять. Ну, не понять, так хотя бы взять к рассмотрению как некую гипотезу. Нашествие! Только идет не марсианин и не мифический Антихрист, а кое-что вполне реальное. Будущее идет на нас. Бу-ду-ще-е! И если мы не сумеем принять немедленные меры, нас сотрут в порошок. Нам с ними не справиться, потому что они впереди нас на какие-то чертовы века!

— Ты... вот что, — произносит Нурланн встревоженно. — Ты давай-ка успокойся. Налить тебе еще? — Не дожидаясь согласия, он разливает бренди. — Ты, брат, начал меня утешать, а теперь что-то сам уж очень возбудился.

— В том-то и трагедия, — произносит Брун, мучительно сдерживаясь. — Нам, кто этим занимается, все кажется очевидным, а объяснить никому ничего невозможно. И понятно, почему не верят. Официальную бумагу напишешь, перечитаешь — нет, нельзя докладывать, бред. Роман, а не доклад...

Тут дверь распахивается, и в номер без стука входит Хансен.

— Проходи, — бросает он кому-то через плечо, но никто больше не появляется, а Хансен с решительным видом подступает к Бруну и останавливается над ним.

— Мой сын рассказывает мне о твоей деятельности странные вещи, — говорит он. — Как прикажешь это понимать?

— Что там еще стряслось? — раздраженно-устало произносит Брун, не глядя на него.

— Твои громилы хватают детей, бросают их в твои застенки и там что-то у них выпытывают. Тебе известно об этом?

— Чушь. Болтовня.

— Минуточку! — говорит Хансен. — У моего сына много недостатков, но он никогда не врет. Миккель! — обращается он в пустоту рядом с собою. — Повтори господам то, что ты рассказал мне.

Наступает тишина. Брун пытается что-то сказать, но Хансен орет на него:

— Заткнитесь! Извольте не перебивать!

И снова тишина. Слышен только шум дождя за окном. На лице Нурланна явственно написано: в этом мире все сошли с ума. У Бруна лицо каменное, он смотрит в угол без всякого выражения.

— Так, — говорит Хансен. — Что вы можете на это сказать?

— Ничего, — угрюмо говорит Брун.

— Но я требую ответа! — возвышает голос Хансен. — Если вы ничего не знаете об этом, извольте навести справки! Мальчик должен быть выпущен на свободу немедленно! Вы же слышали, он может умереть в любую минуту. Его нельзя держать под замком! — Он обращается к Нурланну. — Ты представляешь, Нурланн? Твою Ирму подстерегают вечерком в темном переулке, хватают, насильно увозят...

И тут до Нурланна доходит.

— Послушай, Брун, — говорит он встревоженно, — это же правда. Я своими глазами видел, как схватили мальчишку. Да я тебе рассказывал — разбили мне фару, дали по печени... а мальчишку, значит, увезли?

— Идиоты, — говорит Брун сквозь стиснутые зубы. — Боже мой, какие болваны. Слепые, безмозглые кретины! Ни черта не понимают.

Жалеют их. Это надо же — сопли пораспустили! Ну еще бы — они же такие умненькие, такие чистенькие, такие юные цветочки! А это враг! Понимаете? Враг жестокий, непонятный, беспощадный. Это конец нашего мира! Они обещают такую жестокость, что места для обыкновенного человека, для нас с вами, уже не останется. Вы думаете, если они цитируют Шпенглера и Гегеля, то это — о! А они смотрят на вас и видят кучу дерьма. Им вас не жалко, потому что вы и по Гегелю — дерьмо, и по Шпенглеру вы — дерьмо. Дерьмо по определению. И они возьмут грязную тряпку и вдумчиво, от большого ума, от всеобщей философии смахнут вас в мусорное ведро и забудут о том, что вы были...

Брун являет собой зрелище странное и неожиданное. Он волнуется, губы его подергиваются, от лица отлила кровь, он даже задыхается. Он явно верит в то, что говорит, в глазах его ужасом стынет видение страшного мира.

— Подожди... — бормочет Нурланн потерянно. — Дети-то здесь при чем?

— Да при том, что мы ничего не знаем! А они знают все! Они шляются в Тучу и обратно, как в собственный сортир, они единственные, кто знает все. Может быть, они и не дети больше. Я должен знать, кто на нас идет, и в соплях ваших я путаться не намерен!

— Вы негодяй, — холодно говорит Хансен. — Вы признаете, что схватили мальчика и пытаете его в своих грязных застенках?

Брун вскакивает так, что кресло из-под него улетает в угол номера.

— Тройной идиот! — шипит он, хватая Хансена за грудки. — Какие застенки? Какие пытки? Проклятое трепло! Пойдем, я покажу тебе застенки. Это недалеко, это не в подвале, это здесь, в министерском люксе...

Он волочит за собой по коридору вяло отбрыкивающегося Хансена, Нурланн еле поспевает за ними. У последней по коридору двери они останавливаются. Брун стучит нетерпеливо. Дверь приоткрывается, внимательный глаз появляется в щели, затем дверь распахивается.

Широко шагая, Брун проходит через холл, распахивает дверь в гостиную. В гостиной ковры, стол завален фруктами и блюдами со сластями, беззвучно мерцает экран гигантского телевизора, валяются в беспорядке видеокассеты.

Номер огромен, в нем несколько комнат, одна роскошнее другой. Мальчика находят в последней комнате.

Он лежит под окном в луже воды, уткнувшись лицом в пол, голоногий и голорукий подросток в красной безрукавке и красных шортах. Тот самый.

Брун падает перед ним на колени, переворачивает на спину.

— Врача! — кричит он хрипло. — Скорее!

Поздняя ночь. В холле отеля, едва освещенном слабой лампочкой над конторкой портье, сидят и разговаривают сквозь плеск дождя за окнами Нурланн и швейцар.

— Что ваша ведьмочка, что мой сатаненок, — тихо говорит швейцар, — они одного поля ягоды. Что мы для них? Лужи под ногами. Даже хуже. Воду они как раз любят. Дай им волю, они бы из воды и не вылезали. Пыль мы для них, деревяшки гнилые...

— Ну зачем же так, — говорит Нурланн. — Мне ваш Киприан очень понравился, замечательный парнишка.

— Да? — Швейцар как бы приободряется. — А что, может, еще и породнимся... если так.

Оба усмехаются, но как-то невесело.

— Уж нас-то они не спросят, — говорит швейцар, — будьте покойны. Главное, никак я не пойму, лежит у меня к ним сердце или нет. Иногда прямо разорвал бы — до того ненавижу. А другой раз так жалко, так жалко их, ей-богу, слезы из глаз... Смотрю я на него и думаю: да он ли это? Мой ли это сын, моя ли кровь? Или, может, он уже и не человек вовсе? — Он наклоняется к Нурланну и понижает голос. — Говорят же, что ходят они в Тучу эту и обратно. Туда и обратно. Как хотят. Вот вы рассказываете: утром... Они же в Тучу шли! И вы не сомневайтесь, были они там, были! Офицеры — дураки, что они понимают? Слепые они. Это — таинство, так люди говорят. Это не каждому дано увидеть. Вот вам дано. Уж я не знаю, счастье это ваше или беда...

— Да уж какое счастье, — произносит Нурланн, кривя лицо. — Получается, что я их убил...

— Ну что ж, — говорит швейцар. — Значит, судьба ваша такая. Может быть, и вы. Только стоит ли огорчаться по этому поводу? Я не знаю. Убить-то вы, может, и убили, а вот кого? — Он совсем приникает ртом к уху Нурланна. — Знаете, что люди говорят? Детишки-то эти... в Тучу входят и тут же сгорают. А выходят оттуда уже не они. Обличьем похожи, но не они. Призраки выходят. Мороки. А потом смотришь ты на него и думаешь: да сын ли он мой? Моя ли это кровь?

— Призраки, мороки... — бормочет Нурланн, уставясь перед собой. — Это все нечистая наша совесть. Убиваем мы их. Каждый день убиваем. И знаете почему? Не умеем мы с ними больше ничего делать. Только убивать и умеем. Всю жизнь мы только тем и занимались, что превращали их в

таких, как мы. А теперь они отказываются превращаться, и мы стали их убивать.

Маленькому Нурланну не повезло с отцом. Отец был художником — огромный, громогласный, неумный и неописуемо эмоциональный человек. Он не желал слушать никаких оправданий, не терпел никаких объяснений и вообще ничего не понимал. Он не понимал шалостей. Он не понимал детских страхов. Он не понимал маленьких детских радостей. И в самых жутких кошмарах уже взрослого профессора Нурланна нависало вдруг над ним огромное, как туча, лицо. В нем все было огромно: огромные выпученные глаза, огромные усы, огромные волосатые ноздри и огромные колышущиеся волосы вокруг всего этого. Огромная, испачканная красками рука протягивалась и хватала маленького человечка за ухо, и волокла мимо огромных стульев и столов в распахнувшуюся тьму огромного чулана, и швыряла его туда, и рушились сверху какие-то картонки, какая-то рухлядь, и гремел засов, и наступала тьма, в которой не было ничего, кроме плача и ужаса...

В конце проспекта Реформации (он же Дорога чистых душ), в сотне метров от черной стены Тучи, мокрый клетчатый проповедник гремит, потрясая руками, над толпой мокрых клетчатых Агнцев Страшного Суда, понурых и жалких. На другой стороне проспекта Нурланн, тоже мокрый и тоже жалкий, скрючившись, сидит на краешке роскошного дивана, брошенного поперек тротуара у подъезда покинутого дома.

— Город тот расположен четырехугольником! — гремит проповедник. — И длина его такая же, как и ширина... Стена его построена из ясписа, а город — чистое золото, подобен чистому стеклу. Основание стены украшено всякими драгоценными камнями: основание первое — яспис, второе — сапфир, третье — халкидон, четвертое — смарагд, пятое — сардоникс, шестое — сардолик, седьмое — хризолиф, восьмое — вирилл, девятое — топаз, десятое — хризопрас, одиннадцатое — гиацинт, двенадцатое — аметист... И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо светильник его — Агнец... Ворота его не будут запираться днем, а ночи там не будет вовсе... Среди улиц его... древо жизни, двенадцать раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой; и листья дерева — для исцеления народов...

Пока он говорит, от толпы Агнцев один за другим отделяются адепты, человек десять или двенадцать, они идут один за другим к стене Тучи. Им очень страшно, одного трясет, будто в лихорадке, у другого безумные глаза

и губы, закушенные до крови, какая-то женщина плачет, прикрыв лицо ладонями, и спутник ведет ее под руку, сам белый как простыня.

— И принесут в него славу и честь народов! — ревет проповедник. — И не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни! И ничего уже не будет проклятого! Приииди! Жаждущий пусть приходит и желающий пусть берет воду жизни даром...

Люди, идущие в Тучу, вдруг начинают петь. Сначала два жидких, неуверенных голоса, потом подхватывают третий и четвертый, и вот уже они поют все, с каждым шагом все более исступленно и уверенно. Это — псалом, это крик отчаяния и надежды, это исступленная попытка задавить в себе животный страх неизвестности.

И они уходят в Тучу один за другим, и один за другим на полуслове замолкают голоса. И вот уже остается только один, поющий высоким козлетоном, какой-то калека, изо всех сил спешащий на костылях. Он погружается в тьму, голос его обрывается, и ничего больше не слышно, кроме плеска дождя.

Нурланн, вскочивший от ужаса, медленно опускается на край дивана и закрывает лицо руками.

Темнеет. Зажглись редкие фонари вдоль проспекта Реформации. Черная стена Тучи стала ближе. Туча и в самом деле ведет себя, как подкрадывающееся животное. Только что стоял чуть покосившийся фонарный столб с разбросанными под ним перевернутыми зонтиками, наполненными водой, и вдруг что-то неуловимо меняется, и уже нет ни фонаря, ни зонтиков, а черная стена еще на пяток метров ближе, и большая лиловая молния проходит по ней наискосок.

Нурланн сидит, где и прежде, на том же диване, глубоко засунув руки в проемы плаща, и смотрит на большую лужу, пузыристую от дождевых капель. В луже появляется пара ног в тяжелых армейских башмаках и пятнистых маскировочных штанинах.

— Господин профессор, — произносит прокуренный голос. — Вас ждут в штабе. Полковник просит вас явиться в штаб.

Нурланн поднимает глаза и видит перед собой молодцеватого вояку в берете набекрень, черноусого и чернобрового, с наглыми сержантскими глазами.

— Передайте полковнику, — с трудом ворочая губами, произносит Нурланн. — Здесь нужно поставить заслон. Люди уходят туда и сгорают. Дети уходят. Нужен заслон.

Вояка мельком взглядывает на Тучу и говорит:

— Мы имеем приказ не вмешиваться в эти дела.

— Заслон, — упрямо повторяет Нурланн. — Никого не пропускать!

— Прикажут — поставим, — бодро говорит вояка. — Только вряд ли прикажут. А вас ждет полковник. Пожалуйте в машину.

Нурланн некоторое время смотрит на него, затем говорит устало и злобно:

— Оставьте меня в покое.

И уже совсем ночью озябший и измученный Нурланн слышит то ли сквозь дремоту, то ли сквозь бред и плеск дождя приближающийся странный разговор:

— Свадебные машины катят к церкви! — с издевательской торжественностью произносит ломкий юный баритон. — Это не может не тревожить!

— Мы научились критиковать религию! — в тон ему отзывается девчоночий голос. — Но не противопоставляем ей ничего своего, положительного. Критикуем обрядность, но не подкрепляем слово делом!

— Человеку нужен обряд! — с издевательским пафосом произносит третий голос, этакий ядовитый тенорок. — Обряд дает выход как положительным, так и отрицательным эмоциям!

И все трое говоривших, словно бы не выдержав, разражаются хохотом. Этот хохот так заразителен (хотя ничего смешного, казалось бы, не сказано), что Нурланн, не в силах поднять тяжелые веки, сам улыбается в полусне.

— А вот папа сидит, — говорит девочка.

Нурланн наконец просыпается. Перед ним стоят трое подростков, все трое знакомые: дочка его Ирма, сын швейцара Циприан и синеглазый сын Хансена Миккель. Как всегда, они мокры, полны скрытой энергии и сам черт им не брат. Отблески лиловых молний от близкой Тучи то и дело выхватывают из мокрой тьмы их мокрые физиономии.

Нурланн с трудом встает.

— Это вы. Я ждал вас. Не смейте туда ходить.

— Отрекохом, — серьезно произносит Циприан. — Отрекохом от сатаны, от скверны.

— Я не шучу, Циприан, — говорит Нурланн.

— Но это же присно и во веки веков, — убеждающе произносит Миккель. — Во веки веков, профессор!

— Ребятки! — проникновенно говорит Нурланн. — Вы одурманены.

Вы как мотыльки. Мотыльки летят на свет, а вы летите на тьму. А там — смерть. И хорошо еще, если моментальная... Слушайте, давайте уйдем отсюда, присядем где-нибудь, поговорим спокойно, рассудительно. Это же как липучка для мух... Я вам все объясню.

— Церковь, — серьезным голосом объявляет Миккель, — учитывая естественное стремление к прекрасному, издавна пыталась использовать красоту для религиозного воздействия на прихожан.

Это явное издевательство, но Нурланну не до свары.

— Хорошо, — говорит он. — Хорошо. Об этом мы тоже поговорим. Только пойдемте отсюда! Вам хочется поиздеваться надо мной — пожалуйста. Но сейчас я плохой оппонент, сейчас со мной неинтересно. Уйдемте отсюда, и я постараюсь соответствовать...

Циприан, подняв палец, важно произносит:

— Не все одинаково приемлемо в новых ритуалах. Но сложность работы не пугает подлинных энтузиастов.

— Папа, — говорит вдруг Ирма обыкновенным голосом. — Пойдем с нами. Это так просто.

И они, больше не взглянув на него, легким шагом идут дальше к Туче. Несколько мгновений он смотрит им вслед, а затем бросается, охваченный жаждой схватить, остановить, оттащить. И вдруг вселенная вокруг него взрывается лиловым огнем.

Он видит зеленую равнину под ясным синим небом, и купы деревьев, и какую-то старую полуразвалившуюся часовню, замшелую и опутанную плющом, и почему-то идет снег крупными белыми хлопьями. На фоне синего неба один за другим, подрагивая в каком-то странном ритме, проплывают: серьезный, сосредоточенный Циприан; задумчивая, очень хорошенькая Ирма; ехидно ухмыляющийся Миккель...

И какой-то вкрадчивый полузнакомый голос шепчет ему на ухо:

— Как ты думаешь, что это такое? Что ты видишь перед собой?

— Я вижу свою дочь.

— А еще что ты видишь? Расскажи, расскажи нам, это очень интересно.

— По-моему, она повзрослела... Красивая стала девушка.

— Рассказывай, рассказывай!

— Циприан... Хорошая пара.

Голос становится назойливым и крикливым.

— Говори! Говори, Нурланн! Что ты видишь? Говори!

Видение светлого мира исчезает, заволакивается тьмой, и в этой тьме возникает лицо Бруна, мокрое, свирепое, огромный орущий рот,

раскачиваются в электрическом свете блестящие штыри антенн...

— Говори, Нурланн! Говори! Говори, скотина!

Ранним утром в номер Нурланна врываются Лора и Хансен. Нурланн, измученный событиями прошлой ночи, спит одетый: как пришел накануне, как повалился на кушетку в чем был, так и заснул, словно в омут провалился.

Лора и Хансен набрасываются на него и ожесточенно трясут.

— Нурланн, боже мой, сделай что-нибудь! — стонет Лора. — Ирма ушла, оставила записку, что никогда не вернется... Боже, за что мне это? За какие грехи?

— Нурланн, надо что-то делать, — хрипит мучительно трезвый Хансен. — Дети ушли! Все! В городе не осталось ни одного ребенка. Да черт же тебя возьми, проснись же! Пьян ты, что ли?

Нурланн садится на кушетке. Он и в самом деле словно пьяный: его пошатывает, глаза не раскрываются, лицо опухло, волосы встрепаны и слиплись.

— Я боюсь, Нурланн, — ноет Лора. — Сделай что-нибудь! Я ничего не понимаю... Почему, за что?

— Сволочи! — хрипит Хансен, бегая по комнате. — Сманили детей! Но это им не пройдет. Хватит, кончилось мое терпение. Кончилось! Да поднимайся же ты, нашел время дрыхнуть!

— Ну хорошо, хорошо... — бормочет Нурланн, растирая лицо ладонями. — Сейчас. Дайте штаны надеть. Где здесь у меня штаны? А! Да что случилось-то, в самом деле? — Он грузно поднимается на ноги. — Что вы раскудахтались?

— Дети ушли из города! — орет Хансен. — Увели наших детей!

Когда пятьдесят лет назад детей уводили из города, это было так. Тянулась бесконечная серая колонна. Дети шли по серым размытым дорогам, шли спотыкаясь, оскальзываясь и падая под проливным дождем, шли согнувшись, промокшие насквозь, сжимая в посиневших лапках жалкие промокшие узелки, шли маленькие, беспомощные, непонимающие, шли плача, шли молча, шли оглядываясь, шли, держась за руки и за хлястики, а по сторонам дороги вышагивали мрачные черные фигуры как бы без лиц — железные отсвечивающие каски, руки, затянутые в черные перчатки, лежали на автоматах, и дождь лил на вороненую сталь, и лаяли иноземные команды, и лаяли мокрые иноземные псы...

— Чепуха! — говорит Нурланн, тряся головой и зажмуриваясь. — Это совсем не то...

— Да очнись ты, черт тебя подери! — орет Хансен. — Их Туча заманила! Туча их сожрала, ты понимаешь?

— Погоди, — говорит Нурланн. — Надо без паники. Погоди.

— У тебя оружие есть? — спрашивает Хансен. — Пистолет какой-нибудь, автомат... Хоть что-нибудь?

— Какое оружие, дурак, — огрызается Нурланн. — При чем здесь оружие?

Лимузин Нурланна с трудом пробирается между брошенными как попало многочисленными автомобилями. За рулем Нурланн, рядом с ним истерически рыдающая, вся перемазанная расплывшейся косметикой Лора, на заднем сиденье озверелый Хансен.

Дальше ехать невозможно, и все они выбираются наружу. Кажется, весь город собрался здесь, плотно закупорив проспект Реформации, он же Дорога чистых душ. Тысячи людей, мокрых, жалких, растерянных, озлобленных, недоумевающих, плачущих, кричащих, с закаченными в обмороке глазами, оскаленных. Утонувшие в толпе автомобили — роскошные лимузины, потрепанные легковушки с брезентовым верхом, грузовики, автобусы, автокран, на стреле которого сидят несколько человек. И льет дождь. Да такой, какого Нурланн не видел никогда в жизни, он даже не представлял себе, что бывают такие дожди, — тропический ливень, но не теплый, а ледяной, пополам с градом, и сильный ветер несет его косо, прямо в лица, обращенные к еле видной черноте впереди, к мутным медленным лиловым вспышкам.

Толпа кричит, плачет, стонет, угрожает:

— Господи, за что? В чем согрешили мы, Господи?

— Идиоты! Слюнтяи! Давным-давно надо было их за ухо — и вон из города! Говорили же умные люди...

— В чем отказывали? Чего для них жалели? От себя кусок отрывали, босяками ходили, лишь бы их одеть-обуть...

— Сим, меня сейчас задавят! Сим, задыхаюсь! Ох, Сим...

— Пустите меня! Да пустите же вы меня! У меня дочка там!

— Они давно собирались, я видела, да боязно было спрашивать...

— Муничка! Муничка! Муничка мой! Муничка!

— Да что же это, господа? Это же безумие какое-то! Надо же что-то делать!

— Да я его в жизни пальцем не тронула! Я видела, как вы своего-то

ремнем гоняли. А у нас в доме такого и в заводе не было.

— В кр-р-ровь! Зубами рвать буду!

— Да-а, видно, совсем мы дерьмом стали, если родные дети от нас в эту Тучу ушли... Да брось ты, сами они ушли, никто их не притягивал...

— Муничек мой! Муничка!

— Надо телеграмму господину президенту! Десять тысяч подписей — это вам не шутка!

— Это мои дети, господин хороший, я их породил, я ими и распоряжаться буду, как пожелаю. Извольте их мне вернуть!

И тут раздался Голос. Он как шелестящий гром. Он идет со всех сторон сразу, и он сразу покрывает все остальные звуки. Он раздается как бы в мозгу у Нурланна, но тут же замирает и затихает вся толпа. Голос спокоен и даже меланхоличен, какая-то безмерная скука слышится в нем, безмерная снисходительность, будто говорит кто-то огромный, презрительный, высокомерный, стоя спиной к надоевшей толпе, говорит через плечо, оторвавшись на минутку от важных забот ради этой раздражившей его, наконец, пустяковины.

— Да перестаньте вы кричать, — произносит Голос. — Перестаньте размахивать руками и угрожать. Неужели так трудно прекратить болтовню и несколько минут спокойно подумать? Вы же прекрасно знаете, что дети ваши ушли от вас по собственной воле, никто их не принуждал, никто не тащил за шиворот, не одурманивал и не затягивал. Они ушли потому, что вы им стали окончательно неприятны.

Пока Голос говорит, дождь затихает, а потом прекращается вовсе, и черная стена Тучи, полосуемая медлительными молниями, становится видна совершенно отчетливо. И неподвижно стоит перед нею толпа. Люди словно боятся пошевелиться.

— Вы очень любите подражать своим предкам, — продолжает Голос, — и полагаете это важным человеческим достоинством, а они — нет. Не хотят они подражать вам. Не хотят они вырасти пьяницами и развратниками, скучными обывателями, рабами, конформистами, не хотят они, чтобы из них сделали преступников против Человечества, не хотят ваших семей и вашего государства. Поглядите на себя! Вы родили их на свет и калечили их по образу своему и подобию. Подумайте об этом. А теперь — уходите.

Толпа остается неподвижной. Может быть, она пытается думать. А у Нурланна в мозгу вспыхивают только отдельные странные и страшные картинки — собственные воспоминания вперемежку с виденным в кинохронике:

...огромное лицо отца и огромная рука его, тянущаяся с угрозой и злобной яростью...

...кучки наркоманов под мостом, жуткие морды вместо лиц, шприц вонзается в бедро прямо сквозь джинсы...

...дряхлый трясущийся Гитлер вручает железный крест мальчишке-смертнику, ласково треплет его по щечке...

...несметные толпы подростков, бессмысленно усеявших пустырь, словно огромная стая ворон на помойке...

...и подростки-фанаты, с ревом громящие стадион...

...и крепенькие румяные подростки в полувоенной форме, в золотых рубахах до колен, подпоясанные армейскими ремнями с тяжелыми пряжками, с массивными дубинками, и каждый заляпан эмблемами — эмблема на пряжке, эмблема на дубинке, эмблема на румяной морде — и значки, значки, значки...

...и сам Нурланн омерзительно, потеряв контроль над собой, орет на молодую еще Лору, а она орет на него, похожая на отвратительно красивую мегеру, и маленькая Ирма с ужасом и недоумением смотрит на них, забившись в угол с большой куклой...

...и какой-то молодой отец с кружкой пива у ларька — хлебает сам и дает отхлебнуть сынишке, который держится за его брючину...

— Ну, что же вы стоите? — произносит Голос. — Пошли вон. Уходите!

И черная стена Тучи толчком продвигается на толпу, разом прыгнув метров на пятнадцать.

— Уходите! Уходите совсем из города! Города больше не будет! Убирайтесь, пока целы!

И снова Туча делает огромный шаг на толпу.

Город прорвало как нарыв.

Впереди, по обыкновению, драпают избранные, драпает магистратура и полиция, драпает промышленность и торговля, драпают суд и акциз, финансы и народное просвещение, почта и телеграф — все, все, в облаках бензиновой вони, в трескотне выхлопов, встрепанные, злобные и тупые, лихоимцы, стяжатели, слуги народа, отцы города, в вое автомобильных сирен, в истерическом стоне сигналов, во вспышках фар спецмашин — рев стоит на проспекте, а гигантский фурункул все выдавливается и выдавливается, и когда схлынул гной, тогда потекла кровь — собственно народ, на огромных автобусах, на битком набитых грузовиках, в навьюченных «фольксвагенах», «тойотах» и «фордиках», на мотоциклах, на велосипедах, угрюмые, молчаливые, потерянные, оставив позади свои

дома, свои газоны, свое нехитрое счастье, налаженную жизнь, свое прошлое и свое будущее.

За народом отступает армия. Идут вездеходы с офицерами, бронетранспортеры, огромные машины полевых штабов, полевые кухни, зачехленные «корсары»... Последними идут танки, с башнями, развернутыми назад, в сторону наступающей Тучи.

И гремит над этим громадным бегством голос проповедника:

— ...Горе, горе тебе, великий город Вавилон, город крепкий! Ибо в один час пришел суд твой... И плодов, угодных для души твоей, не стало у тебя, и все тучное и блистательное удалилось от тебя, — ты уже не найдешь его... И голоса играющих на гуслях и поющих, и играющих на свирелях и трубящих трубами в тебе уже не слышно будет; не будет уже в тебе никакого художника, никакого художества, и шума от жерновов не слышно уже будет в тебе; и свет светильника уже не появится в тебе; и г`олоса жениха и невесты не будет уже слышно в тебе: ибо купцы твои были вельможи земли, и волшебством твоим введены в заблуждение все народы. И в тебе найдена кровь пророков и святых и всех убитых на земле...

К рассвету город опустел.

Утро хмурое, но дождь прекратился. По пустому проспекту Реформации мимо мрачных домов с мертвыми окнами бредет нога за ногу Нурланн, растерзанный, небритый, взлохмаченный, с отрешенным лицом, с глазами, как бы устремленными внутрь.

На асфальте проспекта, на тротуарах разбросано затоптанное тряпье, валяются раздавленные чемоданы, колесо грузовика лежит посередине мостовой, и тут же неподалеку — сам грузовик, перекошенный, с распахнутой дверцей, уткнувшийся в фонарный столб; и опрокинутая детская коляска; и остатки стойбища Агнцев, а на углу переулка и какой-то Агнец лежит, клетчатый, то ли мертвый, то ли смертельно пьяный. Нурланн равнодушно проходит мимо.

Потом навстречу ему с садовой скамейки скверика поднимается взъерошенный Хансен, в руке у него наполовину опорожненная бутылка, глаза осоловелые, его шатает, и поэтому свободной рукой он сразу же вцепляется в локоть Нурланна.

— Все убежали... — доверительно сообщает он. — То есть все удрали. До последнего человека. Пустой город. Представляешь?

Нурланн ничего не отвечает. Похоже, он просто не слышит Хансена. А тот продолжает на ходу:

— А я вот решил остаться и посмотреть все-таки. Ведь это будущее, Нурланн! Ведь мы же все его ждали. Мы все на него работали. И что же теперь? Удирать? Глупо! Пусть оно нас гонит. Ну и что? А мы не пойдем. Верно, Нурланн?

Нурланн молчит. Хансен на ходу подкрепляется из бутылки.

— Очень страшно, — признается он. — Просто мороз по коже — до чего страшно. Понимаешь, Нурланн? Будущее создается тобой, но не для тебя. Вот я ненавижу старый мир. Глупость ненавижу, равнодушие, невежество, фашизм. Но с другой-то стороны — что я без всего этого? Это же хлеб мой и вода моя! Новый мир — строгий, справедливый, умный, стерильно чистый... Ведь я ему не нужен, я в нем — нуль! Восхвалять я не умею, ненавижу восхваления, а ругать там будет нечего, ненавидеть будет нечего — тоска, смерть... И выпить мне там не дадут, ты понимаешь, Нурланн, они там не пьют, совсем!

На каком-то перекрестке к ним присоединяется швейцар отеля. «Фольксваген» его поломался, стоит с задранным капотом. Швейцар, потный, злой, в форменной своей фуражке и без пиджака, в жилетке, ругательски ругается:

— Да пропади они все пропадом! Сунул их в какой-то автобус, и сразу на душе полегчало. Главное, я говорю снохе: ну зачем тебе, дура, этот сервиз? «Саксонский фарфор, саксонский фарфор, голубые мечи...» Светопреставление наступает, а ей голубые мечи, видите ли! Дал я ей коленом под задницу толстую... А вы как же, господа? Не страшно?

— Страшно, — говорит Хансен. Нурланн молчит.

— И мне страшно. А с другой-то стороны, ежели подумать как следует, ведь от них не убежишь. Днем раньше, днем позже, а они тебя достанут. Мое меня не минует, вот что я вам скажу. И опять же: дети-то наши не испугались? Может, глядят сейчас на нас из-за этой стены черной и посмеиваются... А?

Они идут и идут, черная стена Тучи все ближе и ближе, сейчас она абсолютно черная, на ней нет даже молний, и пустыми окнами смотрит на них город, покрытый плесенью, скользкий, трухлявый, весь в злокачественных пятнах, словно изъеденный экземой, словно он много лет гнил на дне моря, — и от него идет пар.

Из бокового переулка выскакивает на большой скорости, едва не перевернувшись, желтая машина во всей своей красе — с фарами, мигалками и антеннами — и резко тормозит перед идущими. Из кабины выскакивает Брун, как всегда подтянутый, резкий, решительный.

— В чем дело? — спрашивает он свирепо. — Почему вы здесь?

— Идем туда, — важно отвечает швейцар.

— Куда — туда? Вы что — с ума сошли?

— Тебя не спросили, — неприязненно произносит Хансен. — Проезжай, чего встал?

Брун бешеными глазами оглядывает каждого из них по очереди.

— Предатели, — говорит он сквозь зубы. — Подонки.

Нурланн ни с того ни с сего вдруг широко улыбается.

— Бедный прекрасный утенок, — говорит он. — До чего же хлопотно тебе жить! Все суетишься, все бегаешь, совершаешь глупости, совершаешь жестокости, и все тебе кажется, что ты тормозишь будущее. А на самом деле ты тоже его строишь, тоже кладешь свои кирпичики. Пойдем с нами, Брун. Пришла пора расплачиваться.

— Идиоты! — шепчет Брун побелевшими губами, прыгает обратно в машину и с силой захлопывает за собой дверцу.

И вот они стоят перед черной стеной, все трое, и всем им страшно, а швейцар монотонно читает вполголоса:

— И вот конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан ему венец; и вышел он как победоносный, и чтобы победить... И вышел другой конь, рыжий; и сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга; и дан ему большой меч... и вот конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей... хиникс пшеницы за динарий, и три хиникса ячменя за динарий; елея же и вина не повреждай... и я взглянул, и вот конь бледный, и на нем всадник, которому имя смерть; и ад следовал за ним, и дана ему власть над четвертою частью земли — умерщвлять мечом и голодом, и мором, и зверями земными...

Черная стена надвигается и поглощает их.

Зеленая равнина под ясным синим небом распахнута перед ними. Все заросло высокой густой травой: неузнаваемые развалины с пустыми проемами бывших окон и дверей; груды железного хлама — сплющенные ржавые кузова автомобилей, телевизоры с пустыми дырами вместо экранов, мотки спутанных ржавых тросов, бесформенные комки колючей проволоки между покосившимися гнилыми кольями, и тут же заплетенный плющом огромный танк, зарывшийся в траву хоботом пушки; клочья бумаги и раскисшие папки, и огромный том энциклопедии, страницы ее лениво шевелятся под ветерком. Прямо перед ними — полуразвалившаяся часовня, замшелая, опутанная плющом...

И над всем этим — ослепительно-синее небо, а над горизонтом

медленно поднимается сплющенный рефракцией румяный диск солнца. Стоит оглушительная, ошеломляющая тишина, и слышно, может быть, только, как глухо и неровно бьется сердце Нурланна.

И Нурланн начинает говорить, еле шевеля губами:

— Не надо жестокости. Милосердия прошу. Мы раздавлены. Нас больше нет. Наверное, мы заслужили это. Мы были глупы. Мы были высокомерны. Мы были жадны и нетерпеливы в своей жадности. Мы были жестоки. Не надо больше жестокости.

Пока он говорит, по сторонам от него, справа, слева, везде, из густой травы один за другим начинают подниматься люди. Ободранные, жалкие, грязные, мужчины небриты, женщины взлохмачены. Поднявшись, они стоят неподвижно и слушают, и смотрят на Нурланна с надеждой и ожиданием.

— Мы поносили тебя, — продолжает Нурланн. — Мы восхваляли тебя. Мы унижали тебя. Мы мастерили тебя по образу своему и подобию. Мы распоряжались друг другом, мы приказывали, мы горланили и галдели, и пустословили от твоего имени. Мы творили мерзости от твоего имени и во имя твое. Все мы клялись умереть за будущее, но умирать норовили в прошлом. Нам и в голову не приходило, что суждено нам наконец встретиться с тобой лицом к лицу... И вот теперь, когда мы с тобой встретились, молю тебя об одном: не карай! Многие из достойных кары твоей не ведали, что творят. Они вообще не думали о тебе. Милосердия! Но если справедливость твоя все же требует наказания, то покарай меня. И если нужно покарать миллионы, тогда покарай меня одного миллионы раз.

Он замолкает. И тут же где-то в невообразимой дали возникает чистый и сильный звук трубы. И начинает идти снег. С чистого ясного неба, на котором ни облачка, медленно падают, кружась, крупные белые хлопья — на зеленую траву, на цветы, на развалины, на ржавое железо, на запрокинувшиеся грязные лица.

И новый звук возникает: глухой мерный топот копыт, и из снежной мглы, пронизанной солнцем, появляются, выплывают всадники.

Киприан, повзрослевший, с молодой русой бородкой. Он в белых парусиновых штанах, белая сорочка распахнута на груди, белая шелковая лента схватывает длинные волосы, босые ноги упираются в стремена, левой рукой он держит поводья, а правая уперта в бок. И конь под ним белый как снег.

Ирма Нурланн на рыжем коне, крепкая красивая девушка с цветком в зубах, в оранжевом рабочем комбинезоне, скачет, бросив поводья, отнеся правую руку в сторону, и на ладони у нее трепещет стеклянными крыльями

большая зеленая стрекоза.

Миккель в черных трусах, голый до пояса и пунцово обгоревший на солнце, на вороном коне без седла и без уздечки, держится одной рукой за гриву, а в другой у него сверкающая золотом труба.

В неспешной рыси они проплывают мимо. Они не видят, может быть, даже и не замечают ободранных и грязных (многие встали на колени) людей.

Циприан скачет, задумавшись, подбородок его опущен на грудь, он всегда был серьезным мальчиком.

Ирма занята своей стрекозой — слегка повернув к ней лицо, словно бы помогает ей удерживаться на ладони.

У Миккеля же такой вид, будто он только что отмочил какую-то шуточку и вполне ею доволен. Он ехидно улыбается...

...и вдруг подносит трубу к губам и трубит — звонко, чисто и сильно.

Солнце уже высоко, и снег прекратился, и на горизонте из утреннего тумана возникают силуэты новых и новых всадников.

Будущее не собиралось карать. Будущее не собиралось миловать. Будущее просто шло своей дорогой.

Борис Стругацкий.
КОММЕНТАРИИ К ПРОЙДЕННОМУ.
1985-1990

«ОТЯГОЩЕННЫЕ ЗЛОМ»

Впервые над этим романом мы начали думать еще в октябре 1981-го, когда возникла у нас с братьями Вайнерами странная, нелепая даже, но показавшаяся нам плодотворной идея написать совместный фантастический детектив – так сказать, «в четыре башки». Чтобы состоял этот детектив из двух частей – «Преступление» и, сами понимаете, «Наказание». Чтобы в части «Преступление» (условное название «Ловец душ») описывалась бы совершенно фантастическая и даже мистическая ситуация, как по некоему райцентру российской глубинки бродит никому не знакомый Бледный Человек (БЧ) и скупает живые человеческие души. Причем никто не знает (да и знать не хочет), что это, собственно, означает вообще, и как, в частности, понимать словосочетание «живая человеческая душа» в последней четверти двадцатого века. Писать эту часть должны были АБС, как специалисты по мистике-фантастике, а на долю Вайнеров приходилась при таком раскладе часть «Наказание», где Бледного Человека (в скобках БЧ) отлавливает милиция и соответствующие органы возбуждают против него уголовное дело. Что это будет за уголовное дело, в чем, собственно, можно обвинить «ловца душ» и по какой статье УК РСФСР судить – не было ясно никому из соавторов, и именно поэтому профессионалы Вайнеры очень всеми этими мистико-юридическими проблемами заинтересовались.

В ноябре 81-го придуманы были и Сергей Корнеевич Манохин, астроном (область интересов – теория двойных и кратных объектов во Вселенной), и маленький бледный человечек Агасфер Кузьмич Прудков, загадочный «ловец душ», и место действия – город Ташлинск, дальний аналог того райцентра Ташла (Оренбургской области), где АН и БН побывали в эвакуации в 1942 – 43 гг. И многочисленные определения души были выписаны про запас, и составлен был проект типовой расписки о передаче таинственному Агасферу Кузьмичу души («особой нематериальной субстанции, не зависящей от тела», по определению Советского Энциклопедического Словаря). И многое другое было заготовлено для того, чтобы приступить к написанию части «Преступление», она же – «Ловец душ». Собственно, тогда был составлен подробный план этой повести вплоть до того момента, когда за Агасфером Кузьмичом приезжает милиция. Но на этом работа с «Ловцом душ» прервалась – АБС занялись «Хромой судьбой».

По записям в дневнике невозможно определить тот момент, когда «Союз четырех» распался окончательно и навсегда. Некоторое время в дневнике еще попадаются заметки, предназначенные вроде бы для «Ловца душ», но в дальнейшем использованные в «Хромой судьбе». Например: «У Манохина привычка – всем встречным и поперечным дает (мысленно, конечно) клички. „Ойло союзное“. Еще? „Клепсидра“...» Потом мы сосредотачиваемся на «Хромой судьбе» целиком и полностью, начинаем и заканчиваем ее, беремся за «Волны», начав, заканчиваем и «Волны» тоже, потом начинаем и заканчиваем сценарий «Пять ложек эликсира», и только лишь в феврале 1985 года снова возникает в наших рабочих записях Агасфер Кузьмич.

К этому моменту от «Союза четырех» осталось только несколько распечатанных на машинке страничек «Протокола собеседования двух пар чистых», приятные воспоминания о двух-трех встречах (в разное время и в разных составах) да смутные воспоминания о фонтанах идей, бивших в небо во время этих замечательных встреч. АБС с удовольствием листают странички протокола, перечитывают записи в дневнике четырехлетней давности, сюжет с «ловцом душ» симпатичен им по-прежнему, но теперь, когда идея фантастического детектива похерена и окончательно, чудится им в этом замысле нечто большее, чем просто история о толстеньком комичном Мефистофеле конца XX века.

Во время встречи в Москве, которая началась 15 февраля 1985 года, обсуждается совершенно новый замысел: что стало бы с человечеством, если бы оно вдруг лишилось чувства страха. Плюсы и минусы страха. Определение страха... Генезис страха... Отдельные фразы:

> «Свита дьявола – смертные, но бесстрашные как бессмертные...»
>
> «Антихрист. Проба. Или уступил ангелу, уверенному, что все беды людские – от страха...»
>
> «История с Агасфером Кузьмичом – скупщиком душ – сюда же? Начало: Христос и вновь назначенный Антихрист стоят на крыше только что построенной многоэтажки и беседуют. Антихрист – человек, которому Христос передает человечество».

Возникает и обдумывается даже такая идея: «...сделать повесть 3-й книгой ПНвС...» Двадцать лет миновало, в Соловце возведен дом-

небоскреб, все события описываются с точки зрения сына Саши Привалова – современного, практичного до цинизма, но тем не менее после окончания МГУ двинувшего «по магии» (против всякого желания отца). НИИЧАВО уж не тот, что раньше: «несуны» тащат все, что плохо лежит; процветает принцип «ты – мне, я – тебе»; на Кристобаля Хунту работают одни только зомби да капризные привидения; у Эдика Амперяна постоянно в ходу портативный реморализатор, а Хунта соорудил для своих нужд огромный, стационарный... И в этих вот условиях, приближенных к боевым, Кристобаль Хозевич во взаимодействии с Агасфером Кузьмичом проводят эксперимент по «обесстрашиванию» научного контингента. При этом выясняется любопытное обстоятельство: первое, что делают «обесстрашенные», – это перестают работать вообще... И итоговая запись 17.02.85: «Осознание огромного и безнадежного отставания от мирового уровня – во всем». «Нет победителей и побежденных – все в говне, все несчастны, все недовольны...» (Довольно-таки симптоматичные рассуждения конца «застойного периода», не правда ли? – к сведению тех, кто сегодня столь истерически ностальгирует по минувшим временам колбасы за два двадцать.)

Очередная идея продолжить «Понедельник» в очередной раз была отброшена. Но на протяжении всего 1985-го в дневнике идут записи, из которых видно, как АБС постепенно приближаются к окончательной формулировке новой своей литературной задачи.

> «Поскребите любое дурное свойство человека, и выглянет его основа – страх». С. Соловейчик (НМ, 3, 1985).
>
> «Обстоятельная подготовка к Страшному Суду... Герой взят в качестве секретаря-переводчика, ему обещано исполнение желания – изменение законов природы. Он заступается за человечество, и ему предлагают „искупить его грехи“... История нового Христа...»
>
> «Суд над человечеством. Разбираются случаи из жизни: подлость, низость, корыстолюбие, нищета духа. В т. числе странные истории из жизни японцев, новогвинейцев (каннибалов) и т. д. – другая мораль, другие нормы».
>
> «Имена Демиурга: Гончар, Кузнец, Ткач, Плотник... Гефест, Гу, Ильмаринен, Хнум, Вишвакарман, Птах, Яхве, Мулунгу,

Моримо, Мукуру».

И вот, наконец: «...у гностиков Демиург – творческое начало, производящее материю, отягощенную злом» (Е. М. Мелетинский, Миф. Словарь, т. I, стр. 366).

«Вариант названия: ОТЯГОЩЕННЫЕ ЗЛОМ».

К этому моменту одна из линий романа становится нам ясна окончательно, и мы принимаемся ее активно разрабатывать и даже (начиная с 25 января 1986 года, в Ленинграде) писать. Это – история Второго (обещанного) пришествия на Землю Иисуса Христа. Он вернулся, чтобы узнать, чего достигло человечество за прошедшие две тысячи лет с тех пор, как Он даровал ему Истину и искупил его грехи своей мучительной смертью. И Он видит, что НИЧЕГО существенного не произошло, все осталось по-прежнему, и даже подвижек никаких не видно, и Он начинает все сначала, еще не зная пока, что он будет делать и как поступать, чтобы выжечь зло, пропитавшее насквозь живую разумную материю, Им же созданную и так любовно слепленную много тысячелетий назад.

Наш Иисус-Демиург совсем не похож на Того, кто принял смерть на кресте в древнем Иерусалиме – две тысячи лет миновало, многие сотни миров пройдены Им, сотни тысяч благих дел совершены, и миллионы событий произошли, оставив – каждое – свой рубец. Всякое пришлось Ему перенести, случались с Ним происшествия и поужаснее примитивного распятия – Он сделался страшен и уродлив. Он сделался неузнаваем. (Обстоятельство, вводящее в заблуждение множество читателей: одни негодуют, принимая нашего Демиурга за неудачную копию булгаковского Воланда, другие – попросту и без затей – обвиняют авторов в проповеди сатанизма, в то время, как наш Демиург на самом деле – это просто Иисус Христос две тысячи лет спустя. Вот уж поистине: «Пришел к своим, и свои Его не приняли».)

Сейчас, листая рабочие дневники, я обнаружил вдруг, что совсем позабыл, оказывается, как писался этот наш роман! Оказывается, мы сначала почти до конца, а может быть и не «почти», а действительно до самого конца написали всю линию Манохин – Агасфер – Демиург, и лишь потом вышли на идею заслуженного учителя города Ташлинска – Г. А. Носова – с его печальной историей современного Иешуа Га-Ноцри. Только 27 февраля 1987 года в дневнике появляется запись:

«40 лет спустя». Учитель, проповедующий права людей, живущих в свое удовольствие и никому не мешающих. Общество его ненавидит. Уходят ученики, грозят родители, директор, РОНО, Академия педнаук. Мир 20... года».

А уже в середине марта приняты все принципиальные решения: история Демиурга есть рукопись Манохина, «попавшая к автору от его Учителя, найдена при сносе древней гостиницы при обсерватории»; «все апостолы Демиурга, которого мы время от времени называем еще и Ужасным Иешуа – соискатели, предлагают улучшить человечество путем ампутаций»; Демиург ищет Великого Терапевта – «...Все они хирурги или костоправы, и нет среди них ни одного терапевта» (парафраз слов умирающего генерала иезуитов из «Виконта де Бражелона»); история борьбы и гибели Настоящего Учителя становится сюжетным стержнем нового романа... Этот новый и окончательный вариант романа мы начинаем писать в конце апреля 1987 года, а последнюю точку в чистовике ставим 18 марта 1988-го.

Это был последний роман АБС, самый сложный, даже, может быть, переусложненный, самый необычный и, наверное, самый непопулярный из всех. Сами-то авторы, впрочем, считали его как раз среди лучших – слишком много душевных сил, размышлений, споров и самых излюбленных идей было в него вложено, чтобы относиться к нему иначе. Здесь и любимейшая, годами лелеемая идея Учителя с большой буквы – впервые мы сделали попытку написать этого человека, так сказать, «вживе» и остались довольны этой попыткой. Здесь старинная, годами лелеемая мечта написать исторический роман – в манере Лиона Фейхтвангера и с позиции человека, никак не желающего поверить в существование объективной и достоверной исторической истины («не так все это было, совсем не так»). Здесь даже попытка осторожного прогноза на ближайшие сорок лет, – пусть даже и обреченного изначально на неуспех, ибо нет ничего сложнее, чем предсказывать, что будет с нами на протяжении одной человеческой жизни (то ли дело строить прогнозы лет на пятьсот вперед, а еще лучше – на тысячу)...

Любопытно сегодня, с высоты последнего десятилетия XX века, смотреть на эти прогностические упражнения авторов, честно пытавшихся в меру сил своих и способностей нарисовать правдоподобную и, по возможности, содержательную картинку российской жизни третьего десятилетия века XXI. Эта картинка рисовалась уже в самый разгар перестройки, когда нам ясно стало, что серьезные изменения неизбежны и

надвигаются, но нам тогда и в голову не могло прийти, насколько радикальными они будут. Говоря сегодняшними терминами, АБС предполагали, что Россия (на самом деле, СССР, конечно) пойдет по «китайскому пути»: постепенная, очень медленная либерализация экономики под неусыпным контролем слегка реформированной, но по-прежнему всемогущей КПСС. Более радикальные перемены нетрудно было, разумеется, себе представить – и раскол Партии, и сам распад СССР, и даже новую гражданскую войну, – но почти инстинктивное неверие наше в резкие исторические переломы было слишком сильно. Такие переломы всегда казались нам возможными, но чрезвычайно маловероятными, и уж в особенности маловероятным всегда казался нам практически одномоментный (в историческом масштабе) развал могущественной государственной машины, создававшейся десятилетиями, основательно проржавевшей, конечно, абсолютно бесперспективной и уже начинающей сбоить, но еще вполне и до отвращения жизнеспособной и самодостаточной.

Мир, каким он у нас стал «сорок лет спустя», существенно отличается даже от сегодняшнего. Он гораздо более стабилен, спокоен, более сыт и доволен собой. Он менее свободен, но тоталитарность его не бросается в глаза – перестройка не прошла для него даром. Горком партии по-прежнему является в этом мире авторитетом номер один, но влияние его сильно смягчено и облагорожено по сравнению с годами застоя. Это – сегодняшний Китай, может быть, несколько более привлекательный и благополучный, чем Китай конца 90-х, но уж никак не сегодняшняя наша Россия, гораздо дальше продвинувшаяся по торной дороге постиндустриальной цивилизации и заплатившая за это продвижение дорогую цену.

Короче говоря, попытка среднесрочного прогноза нам, скорее, не удалась. Но иногда, наблюдая нынешние события, эту страшную, роковую, холопскую тягу нашу к стабильности любой ценой, к пресловутому «порядку», к «твердой руке и железной метле», – наблюдая все это, я без всякого удовлетворения думаю: «Черт побери, а, может быть, ошибившись в частностях, АБС угадали-таки конечный результат? Где, в конце-то концов, гарантия, что горком партии не вернется к нам опять на протяжении ближайшего поколения? А кроме того, у нас ведь ни слова в романе не сказано, горком КАКОЙ ИМЕННО ПАРТИИ правит в Ташлинске начала 2030-х годов...»

«ЖИДЫ ГОРОДА ПИТЕРА, ИЛИ НЕВЕСЕЛЫЕ БЕСЕДЫ ПРИ СВЕЧАХ»

На протяжении многих лет Стругацкие мечтали написать пьесу. Первое упоминание об этой сладостной мечте я обнаружил еще в письмах начала 60-х.

> 27.12.61 – АН: «...Идея № 2 – мысль написать пьесу. Давай попробуем, а? На современную тему. Про людей современных, удивительных, веселых, немного злых и оптимистов великих. А? Давай, Боря, а? А пьеса у нас с тобой преотлично бы пошла, уверяю тебя. Диалоги, монологи, полилоги – так бы и посыпались. И образА бы создали смачные. Как ты, дружище? Про веселых свирепых оптимистов, умных, знающих, честных. А? Давай попробуем?..»

Но мы не попробовали. То есть, АН сам, на свой страх и риск, пробовал и неоднократно. Но – либо не удавалось довести до конца, либо удавалось, но получалось «типичное не то», – вроде пьесы «Без оружия», по мотивам «Трудно быть богом». Написанная АН практически в одиночку, на взгляд БН она совсем не удалась, и не стоит, наверное, жалеть, что она так и не увидела (кажется) сцены, хотя какие-то областные театры, вроде бы, за нее брались, что-то там колдовали, репетировали, но не получалось у них ничего с этой пьесой.

> 4.11.66 – АН: «...Перед спектаклем Высоцкий сводил меня познакомиться с Любимовым. Очень понравился он мне. И в частности тем, что попросил поработать для них. Мы ему страшно нравимся, родственные души. Он не навязчив, просто просит посмотреть его работы и подумать, получится ли у нас что-нибудь. Проклял я, что ты не в Москве. Надо выписать тебе командировку, чтобы ты приехал специально на театр. Пьесу будем писать! <...> И Володя хорош (Высоцкий, то есть). Он бы отлично сыграл Румату».

> 7.03.71 – АН: «Был у режиссера из Театра Сатиры, написал им сходу ничего не обязывающую заявку. Режиссер снес заявку к

Плучеку и к директору театра, они будут принимать меня в среду вечером в театре. <...> Хочу дать сценку с Эдельвейсом или начало сценки с Пришельцем...»

14.03.71 – БН: «...пришло письмо от Ренца (Оренбургский театр кукол). <...> Он, Ренц, лично готов быть нашим соавтором. В этом случае он берет на себя консультации по композиционно-сценической организации пьесы. Мы организуем литературу». (Речь идет об инсценировании «Отеля...».)

16.03.71 – АН: «...был я у Плучека. Тоже дерьмо. Выслушал отрывок благосклонно, попенял, что нет-де этакой здоровой сумасшедшинки, нет бредятинки... Я его попытался прервать, что уж чего-чего, а этого... но он не слушал и нес, нес, блистал эрудицией, говорил час подряд и все без толку, и когда наш редактор – молодец! – спросил его в лоб, как насчет договора, Плучек сразу скис, и тут выяснилось, что они не могут, что их так часто подводили... пусть принесут первый вариант и тогда будет видно. Короче, я встал, поблагодарил за внимание и ушел...»

23.06.71 – АН: «Мы с тобой получили приглашение на инсценировку или написание самостоятельной пьесы для театра-студии „Жаворонок“. <...> Они намекают на смесь ТББ и ОО. А театр очень оригинальный – актеры, маски и куклы...»

Я привожу эти обрывки и выдержки из писем без всякой системы и практически наугад. Мог бы привести еще и еще. Попыток войти в контакт с театром и поработать для сцены было несколько, даже, я сказал бы, много, но чем дальше, тем меньше оставалось у нас энтузиазма по этому поводу, и в конце концов мы, отчаявшись создать для театра что-нибудь путное, махнули рукой на эту идею, полностью сосредоточившись на киносценариях. Похоже, сама судьба хотела, чтобы пьеса стала последней работой АБС.

Первые обстоятельные наметки, хотя еще вполне приблизительные, появляются в дневнике 6 октября 1989 года во время краткого наезда БН в Москву «для переговоров и обсуждений». Условное название – «Ночь страха», но уже есть среди будущих героев и еврей, получающий повестку, начинающуюся словами «Жиды города Москвы!..» Эпиграф предполагалось взять у Гойи: «Сон разума рождает чудовищ», но в общем и

целом сюжет с первого же захода определился вполне, и даже последняя немая сцена была придумана – с непрерывно звонящим телефоном, на который все молча смотрят, и никто не решается взять трубку.

Первая половина названия – «Жиды города Питера» – была принята позже («7.12.89. БН приехал в Мск писать ЖГП»), а вторую половину мы позаимствовали из старых записей еще конца 1988 года. Собственно, идея пьесы возникла именно тогда:

> «1.12.88. Б. прибыл в Мск обсуждать ситуацию. Пьеса: „Веселенькие беседы при свечах“ <...> Все начинается так:
> 1). Телевизор – детектив
> 2). Выключ. света
> 3). Разговоры о неуютности жизни...»

И, несколько позднее: «...„Разговорчики при свечах“. Действие происходит спустя лет 10. Полный развал, всё вырубается одно за другим, тихий разгул органов, абсурд кромешный».

Позднее кое-кто приписывал нам особую проницательность: АБС, якобы, предвидели и описали путч 1991 года. Это и верно, и неверно. В самом конце восьмидесятых было уже совершенно очевидно, что попытка реставрации должна воспоследовать с неизбежностью: странно было бы даже представить себе, чтобы советские вседержители – партийная верхушка, верхушка армии и ВПК, наши доблестные «органы», наконец, – отдадут власть совсем уж без боя. Гораздо труднее было представить себе ту конкретную форму, в которую выльется эта попытка повернуть все вспять, и уже совсем невозможно было вообразить, что эта попытка окажется такой (слава богу!) дряблой, бездарной и бессильной. Дракон власти представлялся нам тогда хромым, косым, вялым, ожиревшим, но тем не менее все еще неодолимым.

Другой вопрос казался нам гораздо менее тривиальным, когда мы писали свою пьесу: а нужно ли ИМ совершать путч вообще – двигать танки, вводить войска, сгонять арестованных на стадионы по методике генерала Пиночета? Может быть, вполне достаточно только припугнуть нас хорошенько, и все мы тут же послушно – с отвращением к себе и к своей судьбе, бормоча проклятия в адрес поганой власти, но послушно и безотказно как всегда – встанем по стойке смирно?

В реальности оказалось намешано всего понемножку – и беззаветного бунта, и покорности, и равнодушия, и радостной готовности подчиниться, – но одно АБС угадали точно: отношение к происходившему молодежи.

Молодежь с удивительным единодушием сказала перевороту либо «нет», либо, в крайнем случае, «плевать!». И это было лучшим доказательством тому, что Старый мир прекратил существование свое в прежнем, привычном качестве и обличье. Новое поколение устами Виктора Цоя объявило: «Перемен! Мы хотим перемен!» Ничего не зная о Новом мире, оно без колебаний отвергло Старый. Как это, впрочем, обычно и происходит с каждым новым поколением, только далеко не каждому новому поколению везет оказаться на взлете своем именно в эпохе перемен.

Мы закончили пьесу в начале апреля 1990 года, и уже в сентябрьском номере «Невы» она была опубликована. Своеобразный рекорд, однако. Напоследок.

Надо сказать, мы совсем не планировали ее для театра, и полной для нас неожиданностью оказалось, что пошла она неожиданно широко: Ленинград, Москва, кажется, Воронеж, Новосибирск, еще где-то, – был момент, когда она шла в доброй дюжине театров разом. В Киеве ее (с разрешения авторов) поставили под названием «Жиды города Киева», в Ленинграде (или уже в Петербурге?) сделали остроумную публицистическую телепередачу, в которой сцены из постановки перемежались вполне документальными разговорами на улицах Питера – наугад выбранным прохожим задавали вопрос, как бы они поступили, получивши, подобно героям пьесы, повестку соответствующего содержания...

Было довольно много хлопот с названием. Звонили из разных театров, произносили речи об опасности антисемитизма, просили разрешения переменить название, оставить только «Невеселые беседы при свечах» – мы отказывали, дружно и решительно. Название пьесы представлялось нам абсолютно точным. И дело здесь было не только в том, что название это перекидывало прочный мостик между страшным прошлым и нисколько не менее страшным виртуальным будущим. («Жиды города Киева!» – так начинались в оккупированном Киеве 1942 года обращения немецко-фашистского командования к местным евреям – приказы, собрав золото и драгоценности, идти на смерть.) Ведь все наши герои, независимо от их национальности, были в каком-то смысле «жидами» – внутри своего времени, внутри своего социума, внутри собственного народа – в том же смысле, в каком писала некогда Марина Цветаева:

> ...Жизнь – это место, где жить нельзя:
> Еврейский квартал...

Так не достойнее ль во сто крат
Стать Вечным Жидом?
Ибо для каждого, кто не гад,
Еврейский погром –
Жизнь...

Эти слова, написанные много лет назад, и по сей день остаются в значительной мере актуальными, – как тогда, как всегда. И, мне кажется, так же и по тем же причинам все еще остается актуальной наша пьеса, хотя очередного путча, вроде бы, пока и не предвидится (тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить).

КИНОСЦЕНАРИИ

В этом издании опубликованы далеко не все сценарии, написанные АБС за добрые тридцать лет. Некоторые из сохранившихся представляются мне (и представлялись в свое время обоим авторам) неудачными – например, сценарий по «Жуку в муравейнике», опубликованный в свое время в журнале «Уральский следопыт». Некоторые – безвозвратно утеряны: такие, скажем, как самый первый из наших киносценариев, писанный по роману «Страна багровых туч» еще в начале 60-х, или, скажем, сценарий «Бойцовый Кот возвращается в преисподнюю», который мы делали для Одесской киностудии, – он был зарублен Госкино по стандартному обвинению в «экспорте революции» (именно из него впоследствии произросла повесть «Парень из преисподней»).

Обоих вышеназванных сценариев, впрочем, ни чуточки не жалко. А вот самый первый сценарий по «Трудно быть богом» – жалко. У него своя, со специфическими хитросплетениями и неожиданными поворотами, история, его несколько раз начинали и бросали, были моменты, когда дело было, казалось, совсем уже на мази: еще немножечко, еще чуть-чуть, и фильм начнут снимать, – но каждый раз возникало какое-нибудь препятствие (иногда – вполне исторических масштабов, вроде вторжения в Чехословакию в 1968-м), и все надежды рушились, и все вновь откладывалось до морковкина заговенья. Сценарий добрых два года влачился по всем ленфильмовским инстанциям (от редсовета к худсовету), не пропуская ни единой. В обсуждениях его принимало участие множество людей, причем не только редакторы и кинокритики, «широко известные в узких кругах», но и литераторы знаменитые – Вера Федоровна Панова (выступавшая «против» с резкостью и жесткостью, меня, помнится, поразившими) и Александр Моисеевич Володин, заступавшийся за сценарий решительно, блестяще и неизменно. Но в результате этих редакционных перипетий все без исключения экземпляры (очень, на мой взгляд, недурного) сценария, который писался вместе с Алексеем Германом и специально для Алексея Германа, пропали безвозвратно.

Безвозвратно утрачены практически все варианты сценария фильма «Сталкер». Мы начали сотрудничать с Тарковским в середине 1975 года и сразу же определили для себя круг обязанностей – свое, так сказать, место в этой многомесячной работе. «Нам посчастливилось работать с гением, – сказали мы тогда друг другу. – Это значит, что нам следует приложить все

свои силы и способности к тому, чтобы создать сценарий, который бы по возможности исчерпывающе нашего гения бы удовлетворил».

Я уже рассказывал и писал раньше, что работать над сценарием «Сталкера» было невероятно трудно. Главная трудность заключалась в том, что Тарковский, будучи кинорежиссером, да еще и гениальным кинорежиссером вдобавок, видел реальный мир иначе, чем мы, строил свой воображаемый мир будущего фильма иначе, чем мы, и передать нам это свое, сугубо индивидуальное видение он, как правило, не мог, – такие вещи не поддаются вербальной обработке, не придуманы еще слова для этого, да и невозможно, видимо, такие слова придумать, а может быть, придумывать их и не нужно. В конце концов, слова – это литература, это высоко символизированная действительность, совсем особая система ассоциаций, воздействие на совсем иные органы чувств, наконец, в то время как кино – это живопись, это музыка, это совершенно реальный, я бы даже сказал – беспощадно реальный мир, элементарной единицей которого является не слово, а звучащий образ...

Впрочем, все это теория и философия, а на практике работа превращалась в бесконечные, изматывающие, приводящие иногда в бессильное отчаяние дискуссии, во время коих режиссер, мучаясь, пытался объяснить, что же ему нужно от писателей, а писатели в муках пытались разобраться в этой мешанине жестов, слов, идей, образов и сформулировать для себя наконец, как же именно (обыкновенными русскими буквами, на чистом листе обыкновеннейшей бумаги) выразить то необыкновенное, единственно необходимое, совершенно непередаваемое, что стремится им, писателям, втолковать режиссер.

В такой ситуации возможен только один метод работы – метод проб и ошибок. Дискуссия... разработка примерного плана сценария... текст... обсуждение текста... новая дискуссия... новый план... новый вариант – и опять не то... и опять непонятно, что же надо... и опять невозможно выразить словами, что же именно должно быть написано СЛОВАМИ в очередном варианте сценария...

(К сожалению, не вели мы тогда никаких протоколов наших бесед, и ничего от них не осталось ни в памяти, ни на бумаге, кроме нескольких строчек типа: «19.12.75 Тарковский. Человек = инстинкт + разум. Есть еще что-то: душа, дух (мораль, нравственность). Истинно великое м. б. бессмысленным и нелепым – Христос». Совершенно не помню, в каком контексте шла речь об этих существеннейших проблемах и почему мы именно об этом тогда говорили...)

Всего получилось не то семь, не то восемь, не то даже девять

вариантов. Почти все они утрачены. Здесь публикуется самый последний. Его мы написали в приступе совершеннейшего отчаяния, после того, как Тарковский решительно и окончательно заявил: «Все. С таким Сталкером я больше кино снимать не буду»... Это произошло летом 1977-го. Тарковский только что закончил съемки первого варианта фильма, где Кайдановский играл крутого парня Алана (бывшего Рэдрика Шухарта), фильм при проявлении запороли, и Тарковский решил воспользоваться этим печальным обстоятельством, чтобы начать все сызнова.

АН был там с ним, на съемках в Эстонии. И вот он вдруг, без всякого предупреждения, примчался в Ленинград и объявил: «Тарковский требует другого Сталкера». – «Какого?» – «Не знаю. И он не знает. Другого. Не такого, как этот». – «Но какого именно, трам-тарарам?!» – «Не знаю, трам-трам-трам-и-тарарам!!! ДРУ-ГО-ГО!»...

Это был час отчаяния. День отчаяния. Два дня отчаяния. На третий день мы придумали Сталкера-юродивого. Тарковский остался доволен, фильм был переснят. И вот именно тот сценарий, который мы за два дня переписали и с которым АНС помчался обратно в Таллин, этот последний вариант «Сталкера» публикуется здесь в своем (насколько я могу вспомнить) первозданном виде.

Кроме того, сохранился третий (или четвертый?) вариант сценария – он опубликован в НФ в 1981 году. И сохранился (чудом!) самый первый вариант – он приведен здесь под названием «Машина желаний», хотя, мне кажется, что самое первое, условное название фильма было все-таки «Золотой Шар». Сохранились в архиве еще какие-то разрозненные обрывки, вырезки и клочки – то, что осталось от предпоследнего варианта после того, как мы превратили его в последний. И осталась (естественно) литературная запись. Она очень похожа на самый последний вариант, хотя в нашем тексте, помнится, никогда не было великолепного финального прохода Сталкера с дочкой на плечах.

Мне кажется, знатокам и любителям как повести «Пикник на обочине», так и фильма «Сталкер» будет небезлюбопытно сравнить, насколько первый вариант киносценария отличается от самой повести, а последний вариант – от первого.

Вообще говоря, история написания киносценария есть, как правило, история жесткого взаимодействия сценариста с режиссером. История беспощадной борьбы мнений и представлений, зачастую несовместимых. Сценарист, как мне кажется, обязан в этом столкновении творческих подходов всегда идти на уступки, ибо кинофильм – это вотчина именно режиссера, его детище, его территория, где сценарист есть хоть и

творческий, но лишь наемный работник.

На протяжении тридцати лет нам приходилось иметь дело с самыми разнообразными типами, вариациями и разновидностями кинорежиссеров. Самый среди них распространенный вид – бурнокипящий, говорливый, абсолютно уверенный в себе энтузиаст. Он стремителен. Он как гром с ясного неба возникает вдруг из небытия, обрушивает на автора ворох соблазнительнейших предложений и остроумных (льстящих авторскому воображению!) идей, и так же стремительно, подобно молнии, исчезает опять в своем небытии – навсегда и без всякого следа. Таких у нас было множество. Если бы все их проекты реализовались, АБС были бы богаты и знамениты, не в пример своему нынешнему положению. Они были бы, наверное, самыми знаменитыми киноавторами в мире – куда там Федор Михайловичу Достоевскому или даже самому Стивену Кингу!

Если же говорить о серьезных режиссерах, то они все были очень не похожи друг на друга. Они были такие же разные, как и их фильмы.

Андрей Тарковский был с нами жёсток, бескомпромиссен и дьявольски неуступчив. Все наши робкие попытки творческого бунта подавлялись без всякой пощады и неукоснительно. Лишь однажды, кажется, удалось нам переубедить его: он согласился убрать из сценария и из фильма «петлю времени» (которую мы сами же для него и придумали – монотонно повторяющийся раз за разом проход погибшей некогда в Зоне бронеколонны через полуразрушенный мостик) – этот прием почему-то страшно его увлекал, он держался за него до последнего, и только соединенными усилиями нам удалось убедить его в том, что это банально, общеизвестно и тысячу раз «было». Он согласился наконец, да и то, по-моему, только оттого, что ему пришлась по душе наша общая идея: в Зоне должно быть как можно меньше «фантастики» – непрерывное ожидание чего-то сверхъестественного, максимальное напряжение, вызываемое этим ожиданием, и – ничего. Зелень, ветер, вода...

Александр Сокуров, снявший замечательный фильм «День затмения», был, напротив, мягок, уступчив, готов к компромиссам, его совсем нетрудно было убедить и переубедить. Сценарий проходил по начальственным инстанциям долго, трудно, даже мучительно, идиотские вопросы и рекомендации сыпались градом («Какие именно работы ведут ученые? Почему сверхцивилизация агрессивна? Убрать бытовые сцены и карлика!!!»). Авторы (теперь уже опытные, битые, многажды пытанные), скрипя зубами, соглашались переделывать целые сцены и переделывали их – режиссер оставался спокоен и тих. Просто он ТОЧНО знал, что там будет в конце концов и на самом деле – в его кино, в объективе камеры, на

пленке, на экране. И когда настал момент, он предложил свой, выношенный и любимый вариант (сделанный для него Юрием Арабовым) и именно по этому сценарию и отснял фильм, – фильм значительный, мощный, превосходный в своем роде, – но очень далекий и от исходной повести («За миллиард лет до конца света»), и от последнего варианта авторского сценария.

Мне приходилось работать с Григорием Кромановым («Отель У ПОГИБШЕГО АЛЬПИНИСТА») – это был тоже человек, скорее, мягкий, но в то же время отнюдь не уступчивый. У него явно была своя позиция, свой образ снимаемого кино, и фильм в результате получился неплохой – особенно для тех лет. Жалко только, что не удалось нам убедить его отказаться от финальной «дьявольской гонки» роботов-андроидов на лыжах – нам казалось, что это невозможно снять сколько-нибудь достоверно, и так оно, к сожалению, и вышло.

Безусловно интересно было работать с Константином Лопушанским. Но я знаю его, главным образом, по работе с фильмом «Письма мертвого человека», сценарий которого на девяносто процентов написал Вячеслав Рыбаков, а БН был там, скорее, на подхвате, – «для придания весу». (Прекрасно помню несколько последних авральных дней, когда до окончания всех сроков остается всего ничего, киноматериал уже отснят, но еще не смонтирован, и совершенно непонятно, как его монтировать, начальство стоит на рогах, требуя, чтобы фильм был антивоенным и «антиядерным», но чтобы, в то же самое время, ядерной катастрофы и духу в нем не было, – и вот мы втроем – Лопушанский, Ролан Антонович Быков и БН – трое суток подряд, по четырнадцать часов в сутки, сидим, запершись, в номере Быкова в ленинградской «Астории», и думаем, и сочиняем, и мучаемся в поисках хитрого и, одновременно, простого хода, чтобы вырулить из тупика... Толку, впрочем, от этого мозгового штурма оказалось чуть: понадобился еще один мозговой штурм – с участием Арановича и Германа, – чтобы довести материал до ума.) А когда, много лет спустя, АБС написали сценарий «Туча» специально по заказу Лопушанского, дело не пошло – сценарий оказался «не тот», а как сделать, чтобы он стал «тот», ни авторы, ни режиссер так и не сумели придумать.

Аналогичная история произошла со сценарием «Пять ложек эликсира». Мы писали его (год спустя после «Хромой судьбы» и на материале «Хромой судьбы») специально для хорошего знакомого АН – белорусского режиссера Бориса (кажется) Ивченко. Я уже толком не помню, что там, собственно, случилось – то ли Минская киностудия «Беларусь» заартачилась, то ли режиссеру сценарий не показался, но в

результате фильм (под странным названием «Искушение Б.») был снят лишь несколько лет спустя совсем другим режиссером и на совершенно другой киностудии. Неплохой, между прочим, оказался фильм. Отличные актеры. Точная режиссура... Крепкая «четверка», на мой взгляд, что, согласитесь, немало. (Как говаривала наша мама, старая учительница: «Четверка – хорошая отметка. Ее надо заслужить».)

А вот с Константином Бромбергом мне работать не пришлось совсем, я с ним лишь едва знаком. Первый вариант сценария по «Понедельнику» был написан очень давно, и писался он для студии Довженко в Киеве. Неплохой был сценарий (именно он и публикуется здесь, в этом издании), и сначала он пошел было в студии на ура, но потом там образовалось, как водится, новое начальство и объявило его издевательством и клеветой на советскую науку, чем дело в те времена (начало 70-х) и закончилось. Фильм «Чародеи» задумывался режиссером как мюзикл (песенки для него писал наш любимый Юлий Ким, – я так и не понял, почему эти песенки не попали в фильм). Мюзикл получился недурной. Сначала он мне, признаться, не понравился совсем, но посмотревши его пару раз, я к нему попривык и теперь вспоминаю его без отвращения. Кроме того, невозможно не учитывать того простого, но весьма существенного обстоятельства, что на протяжении множества лет этот мюзикл РЕГУЛЯРНО и ЕЖЕГОДНО идет по ТВ под Новый Год. Значит, нравится. Значит, народ его любит. Значит, – есть за что...

Я прикинул сейчас: за тридцать лет АБС написали в общей сложности десять полнометражных сценариев. Плюс добрую дюжину короткометражек и мультяшек. Плюс еще одну дюжину (насколько мне известно) полнометражных сценариев написали с нашего ведома и одобрения всевозможные сценаристы-доброхоты, среди которых были и любители, и матерые профессионалы. А реализовалось из всего этого многообразия потенциальных возможностей восемь фильмов – пять сняты были у нас и три за границей. Не густо. Правда, история пока еще не прекратила течение свое – регулярно на моем горизонте продолжают возникать (для того, чтобы тут же исчезнуть) энергичные энтузиасты со своими ультрарадикальными предложениями, а раз в два года удается даже продать какие-нибудь права на очередную экранизацию. Я наблюдаю за всеми этими перипетиями, разумеется, не без интереса, но ничего особенного от них более не жду. Вероятность появления действительно хорошего кинофильма – невелика. А времена самой интересной (с Алексеем Германом) и самой плодотворной (с Андреем Тарковским) работы уже миновали, и, думается мне, навсегда

notes

Примечания

1

«Мы обязаны изыскать способ... превращать безразличных и ленивых молодых людей в искренне заинтересованных и любознательных — даже с помощью химических стимуляторов, если не найдется лучшего способа».

2

«Оставь всякую надежду».

Данте, «Ад», песня третья.

3

«Незаурядный человек хочет оставить по себе мир иным, нежели тот, в который он явился, — лучшим, обогащенным его собственным творчеством. Для этого он готов пожертвовать большей частью радостей или даже всеми радостями, которыми наслаждается человек заурядный».

4

Авторы напоминают читателю, что действие сценария происходит в конце 60-х.